

МЕМУАРЫ ДЕКАБРИСТОВ

МЕМУАРЫ ДЕКАБРИСТОВ

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ




ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

МЕМУАРЫ ДЕКАБРИСТОВ

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
1988

84 Р 1
М 49

Составление,
вступительная статья и комментарии
А. С. Немзера

М $\frac{4702010100-1601}{080(02)-88}$ 1601—88

ЧЕТВЕРО О НЕЗАБЫВАЕМОМ

(Мемуарная проза декабристов)

В истории всякой страны есть незабываемые памятные даты. Проходят годы, меняются поколения, новые и новые люди выходят на историческую арену, меняется быт, уклад, общественное мировоззрение, но остается память о тех событиях, без которых нет подлинной истории, без которых немыслимо национальное самосознание. Декабрь 1825 года — явление такого порядка, «Сенатская площадь» и «Черниговский полк» давно стали историко-культурными символами. Достаточно произнести эти словосочетания, и испытываешь смешанные чувства — гордость и грусть: первое сознательное выступление за свободу — первое трагическое поражение.

Если бы декабристов (еще не «декабристов» — членов тайных обществ) не было?.. Смерть Александра I осталась бы важным событием, сложная борьба вокруг престола, развязанная из-за неясности российских законов вообще и «тайного» завещания покойного императора в частности (царем должен был стать младший Николай мимо старшего Константина), привлекала бы интерес историков и эрудированных любителей старины, но все же вряд ли бы каждый из нас столь ясно знал — вот один из звездных часов в истории Отечества.

Декабристы были. Возникший в 1816 году Союз Спасения — первая собственно декабристская организация, Союз Благоденствия, Северное и Южное тайные общества, Общество соединенных славян... Десятилетие шла подспудная работа, рассказывать о которой мы здесь не станем — ей-то и посвящены публикуемые сочинения,— финалом которой был «глоток свободы». Восстание 14 декабря. Восстание Черниговского полка. Картечь в Петербурге, картечь близ деревни Ковалевка.

Декабристы были. И вооруженные выступления утаить было невозможно, хотя император Николай I, на всю жизнь запомнивший ужас первого дня своего царствования, дорого бы дал за то, чтобы сама память о «друзьях четырнадцатого» исчезла. Одной из задач следствия, проводимого под постоянным контролем самодержца, и суда, заочно вынесшего приговоры, было создание государственной концепции случившегося.

«Не в свойствах, не в нравах российских был сей умысел. Составленный горстью извергов, он заразил ближайшее их сообщество, сердца развратные и мечтательность дерзновенную, но в десять лет злонамеренных усилий не проник, не мог проникнуть далее. Сердце России для него было и будет неприступно. Не посрамится имя русское изменою престолу и Отечеству. Напротив, мы видели при сем самом случае новые опыты приверженности, видели, как отцы не щадили преступных детей своих, родственники отвергали и приводили к суду подозреваемых, видели все состояния соединившимися в одной мысли, в одном желании: суда и казни преступникам» — так характеризуется место восстания в истории и отношение к нему российского общества манифестом 13 июля, подписанным «собственною его императорского величества рукою»[1].

В ночь на 13 июля были повешены Рылеев, Пестель, Муравьев-Апостол, Бестужев-Рюмин, Каховский. Накануне прошла гражданская казнь тех, кому суждены были «каторжные норы», поселение, дальние гарнизоны. Николай I подводил итоги, манифестом утверждалось: события не было — было нелепое и противное национальной традиции возмущение; борцов за свободу и просвещение не было — была кучка извергов; общественный резонанс сводился к ровному негодованию. В торжественно-витийственных периодах манифеста зарождалась будущая идеология николаевской эпохи, пока еще смутная идея печально известной триады: «православие— самодержавие — народность». Подобного рода концепции, выстраиваемые вопреки фактам и деформирующие другие факты до неузнаваемости, примечательны среди прочего тем, что им почти никто не верит. Не верил собственному манифесту даже Николай I.

До конца жизни император был убежден в том, что ему удалось выявить лишь «верхушку» заговора. Отсюда его пристальный и преувеличенный интерес к мнимым связям декабристов с иностранными дипломатами, к «видам» членов тайного общества на крупных государственных сановников и генералов (М. М. Сперанский, Н. С. Мордвинов, А. П. Ермолов). Николаю было легко поверить в могущественный аристократический заговор, поддержанный из-за границы и способный возродиться в любой момент, поэтому он боялся сосланных декабристов, подозревал их родственников, порой мелочно мстил, а порой совершал акты великодушия. Риторика манифеста скрывала от «толпы» этот затаенный страх, официальная версия была лишь фасадом, за которым скрывались далекие от истины предположения императора и его окружения. Того, что происходило в России с 1815 по 1825 год, того, о чем говорили на следствии сами декабристы, император понимать не желал. Ему оставалось метаться между фантасмагорическими подозрениями и бодрой ясностью официозных текстов. Более чем через 20 лет (1848 г.) будет поручено однокашнику Пушкина М. А. Корфу создание книги (разумеется, для узкого круга) «Восшествие на престол императора Николая I» — сводки «проверенных» свидетельств о восстании 14 декабря, скрепленной все той же официальной концепцией. Лишь после смерти Николая I, в 1857 году, книга эта выйдет в свет с курьезной надписью на титуле — «Издание 3 (первое для публики)». Сочинение Корфа будет встречено в штыки

[1] Цит. по: Восстание декабристов. Документы. Дела Верховного уголовного суда и следственной комиссии. М., 1980, т. XVII, с. 252.

как теми из декабристов, кому довелось дожить до его появления, так и вольной русской печатью, «Полярной звездой» Герцена. Заметим, однако, что даже такого рода откровенно тенденциозное сочинение при Николае I оставалось «тайной» [1].

Где нет информации — господствуют домыслы. Минимум информации приходился на долю народа — солдат и крестьян. Немудрено, что события 14 декабря легко «фольклоризировались», принимали в народном сознании причудливые очертания. В декабристах могли видеть заступников истинного царя — Константина, пострадавших от «узурпатора» Николая, но могли видеть и злых дворян, сгубивших государя, укрывавших от крестьян волю, которую, дескать, завещал покойный царь, за то и наказанных царем нынешним. В песне, записанной фольклористом А. Д. Григорьевым в 1900 году, в сложную реакцию вступили слухи и официальная версия.

Время страшное подходит
Пошел турок воевать
Да с англичанином скумился:
«Да нам нельзя Россию взять»
Да не в показанноё время
Да царя требует сенот.

Царь, разумеется, спасается, послав вместо себя в «сенот» (сенат) брата. Никакого сочувствия «полковник по прозванью офицер», что собирался снести царю голову саблей, у сложивших песню не вызывает:

Из сеноту вон пойдем же,
Да мы сенотичек зажгем.
Нам не дороги сеноты
Да сеноторские судьи.

Казалось бы, похоже на то «народное единство», что запечатлено в манифесте 13 июля 1826 года. Похоже, да не слишком — недаром песня слыла запрещенной. Антибарский пафос оказывался мощнее царистских иллюзий. Злой «полковник» легко мог стать «добрым». Недаром отголоски декабрьских событий возникают в многочисленных легендах о Константине-избавителе и ушедшем от трона Александре («старце Федоре Кузьмиче») [2]. Неясность чревата не только курьезами, но и будущими потрясениями. Легенды становятся взрывоопасными, когда им нечего противопоставить.

Если шагнуть из народной гущи в образованные слои общества, то картина изменится. Петербургское и московское дворянство, разумеется, располагало сведениями о деятельности тайных обществ, весьма отличными от тех, что предлагало правительство. Не следует забывать, что речь идет о родственниках, друзьях, знакомых, тех, кто постоянно общался с будущими заговорщиками, служил с ними рядом, знал их как общественных деятелей или литераторов. Пушкин не слишком преувеличивал, замечая в письме

---

[1] О книге Корфа см. подробнее: Эйдельман Н. Я. Герцен против самодержавия. Секретная политическая история России XVIII—XIX веков и Вольная печать. М., 1984, изд. 2, испр. и доп., с. 23—48.

[2] Подробнее см.: Чистов К. В. Русские народные социально-утопические легенды XVII—XIX вв. Л., 1967, с. 196 и сл.

Жуковскому от 20 января 1826 года: «...кто же, кроме полиции и правительства не знал о нем? о заговоре кричали по всем переулкам...» Знание предполагает размышление, рефлексию, оценку происшедшего.

Разумеется, она не была однозначной. И слухи были, и сплетни, и осуждения. Было и прямое предательство. Были и случаи, когда выдавали близких. Но было и сочувствие. Был подвиг женщин-декабристок, едва ли возможный без пусть и не декларируемой общественной поддержки. Семейные и дружеские узы могли и не порываться, несмотря на политическое расхождение, приведшее одних — на каторгу, других — к важным должностям и чинам. Порой сочувствие трудно отделимо от осуждения, недовольство декабристской тактикой может сосуществовать с верностью декабристским идеалам. После декабрьских событий образованное общество жило со смешанным чувством — тревоги, испуга... и надежды.

В ряде декабристских мемуаров проходит мотив: кто-либо из важных следователей (иногда это сам Николай I) говорит обвиняемому в ответ на его пылкую речь об общественной пользе, необходимости отменить крепостное право, покончить с коррупцией или военными поселениями и т. п.: «Да ведь и мы этого хотим». Порой возникает побочный мотив — «Вы своим выступлением лишь замедлили естественный процесс, отбросили Россию на 20 (30, 50) лет назад». Это не просто следовательская игра (хотя игра — и игра провокационная,— конечно, была),— это и попытка самооправдания, попытка переложить ответственность за будущие беды России на плечи тех, кто дерзнул...

«Вас развратило Самовластье» — начинает свое стихотворение о декабристах молодой Тютчев и продолжает:

О жертвы мысли безрассудной,
Вы уповали, может быть,
Что станет вашей крови скудной,
Чтоб вечный полюс растопить!

Едва, дымясь, она сверкнула,
На вековой громаде льдов,
Зима железная дохнула —
И не осталось и следов.

В стихах устойчивая символика подкреплена реалиями. В морозный день наступило царство холода, картечь предвещала «железную зиму», кровь смыли с площадей и улиц — и все стало еще хуже, чем прежде. Безрассудная жертвенность исторически обречена, порывы ее сродни тому самому самовластью, что превращает страну в ледяную пустыню.

Стихотворение Тютчева не просто трагично — оно пронизано духом предопределенности. Верящий в благородство порыва, поэт не только судит восставших, но и убежден в бесплодности их дела. Не остается ни следа: «И ваша память от потомства, // Как труп в земле, схоронена». А если нет памяти, то нет и духовного результата случившегося.

Память, однако, была. Сами напряженные стихи Тютчева свидетельствовали о том, что вопрос декабристов с повестки дня не снят. Умный консерватор-историк Н. М. Карамзин, решительно осудивший «возмущение», нашел в себе силы, чтобы сказать: «Заблуждения и преступления этих молодых людей суть заблуждения

и преступления нашего века». Карамзин выразил то, что не желали понимать Николай I и его окружение: тайные общества не были дурной случайностью или аристократическими выдумками. За ними стояла логика истории.

Об этом, начиная с 1826 года и до конца жизни, не перестает думать Пушкин. В его размышлениях движение декабристов предстает как важный и необходимый момент российской истории. Вступая во второй половине 1820-х годов в диалог с правительством Николая I, поэт ни на минуту не забывал об участи казненных и сосланных, искал «шекспировскую», то есть не одностороннюю, объективную точку зрения на трагические события. Пушкина нередко называют первым историком декабристов — и в этом есть резон, прежде всего потому, что поэт сумел донести до потомков мысль об исторической необходимости деятельности тайных обществ, об их органической природе, вырастающей из объективного хода русской истории. И все же Пушкин запечатлел в своих сочинениях, набросках, доходящих до нас через вторые руки устных суждениях скорее философский смысл, общий дух декабризма, чем его конкретный облик. История же требует фактов; Пушкин — автор «Истории Пугачева» и «Истории Петра» — это понимал, как мало кто другой. Фактов не хватало, хотя поэт весьма деятельно расспрашивал очевидцев и умел вспоминать то, что когда-то могло ему казаться обыденностью, а сейчас становилось драгоценным свидетельством минувшего. Факты были у тех, кто — сознательно или бессознательно — творил русскую историю не только на рубеже 1825—1826 годов, но и раньше — со дня вступления в тайное общество. Первыми историками декабризма были декабристы.

То, что сегодня называется политикой, завтра становится историей. Первую версию судьбы тайных обществ, восстаний в Петербурге и на юге декабристам пришлось создавать перед лицом следственного комитета, отвечая на допросные пункты, в письмах на имя императора или его доверенных лиц. Хорошо известно, что в ходе следствия декабристы (во всяком случае, многие из них) были весьма откровенны. С точки зрения грядущей революционной этики и тактики — излишне откровенны. Причин тому было немало: кто испытывал раскаяние за пролившуюся кровь и страх за судьбу людей, вовлеченных в общество буквально накануне событий, кто пережил нервный шок, кого сломили тяготы заключения, кто-то был по-человечески малодушен, кто-то поверил в добрые намерения императора, кто-то попросту не умел лгать. Причины могли сложно взаимодействовать, перекрещиваться, поведение в ходе следствия могло меняться,— но все же откровенность, установка на диалог превалировали[1]. Не в последнюю очередь искренность (порой утяжелявшая не только собственную участь, но и участь товарищей) диктовалась стремлением объяснить, ка́к же все было на самом деле, почему случилось 14 декабря, что́ заставило офицеров подымать полки, а солдат строиться в каре на Сенатской площади. Так или иначе декабристы подводили следователей к главному: таков дух времени, такова логика истории, к этому Россия шла и должна была прийти.

«Уверенный, что вы, государь, любите истину, я беру дерзновение изложить пред вами исторический ход свободомыслия в Рос-

---

[1] Подробнее см.: Эйдельман Н. Лунин. М., 1970, с. 104—214.

сии и вообще многих понятий, составивших нравственную и политическую часть предприятия 14 декабря» — так начал свое письмо из Петропавловской крепости к Николаю I Александр Бестужев[1]. Читая это письмо, испытываешь чувство давнего знакомства с текстом — декабрист развивал ту самую концепцию хода свободомыслия в России, к которой мы привыкли, с которой мы будем встречаться во многих мемуарах деятелей тайных обществ: прекрасное начало царствования Александра I, национальный подъем во время Отечественной войны 1812 года, пробудившей «во всех сердцах чувство независимости, сперва политической, а потом и народной», знакомство с «чужими землями» в заграничных походах, горестная картина крепостного бесправия по возвращении на родину, новые надежды на либерализацию, связанные с обещанием Александра I в речи при открытии Варшавского сейма 1817 года даровать стране конституцию, новые разочарования...

Письмо Бестужева не было известно позднейшим мемуаристам. Да они в нем и не нуждались. Те же чувства привели их — кого раньше, кого позже — в тайные общества, та же историческая реальность выковывала из них истинных сынов Отечества. Они могли по-разному оценивать те или иные конкретные ситуации, тех или иных людей, но они не могли расходиться в главном. Декабристы могли пересматривать тактику, могли задним числом заново «проигрывать» какие-то эпизоды, что повернули бы историю по-другому, могли сожалеть о тех или иных поступках — от главного они не отступались. Уже в следственной комиссии их оправдания переросли в *объяснения*, задачей же декабристской мемуаристики — серьезного ответа и на официальную ложь «Донесения» следственной комиссии или манифестов, и на круговорот сплетен, и на молчание — стало именно объяснение, объяснение неразрывное с утверждением: мы были.

Дистанция между показаниями декабристов на следствии и их мемуарами все же достаточно велика. И дело здесь не только в тех тяжелых обстоятельствах, что сопутствовали первым историческим свидетельствам. На следствии каждый создавал свою версию, и наряду с тактическими умолчаниями порой играла роль и неосведомленность о картине в целом. Со времен Герцена мы представляем себе декабристов фалангой, общностью, монолитом — и тому есть глубокие основания; на следствии каждый был одинок.

Мемуарам же предшествовало общение — тюрьмы Читы, а затем Петровского завода вновь соединили декабристов. Многие из них, собственно говоря, там и познакомились (например, члены Общества соединенных славян с «северянами»). Будущие мемуары росли из общих бесед, личные впечатления корректировались, сплавляясь с суждениями сокамерников.

Характеризуя воспоминания Николая Бестужева, выдающийся исследователь декабристской литературы М. К. Азадовский отмечал, что они «слагались не в одиночестве, не в тиши дарованного судьбой последнего уединения, но были единственными, которые возникли в товарищеской среде и которые подверглись предварительной критике и проверке декабристского коллектива»[2].

---

[1] Бестужев-Марлинский А. А. Соч. В 2-х т. М., 1981, т. 2, с. 485.

[2] Азадовский М. К. Мемуары Бестужевых как исторический и литературный памятник.— В кн.: Воспоминания Бестужевых. М.; Л., 1951, с. 582.

Признавая правоту исследователя, следует заметить, что в какой-то мере тезис его распространяется и на более поздние тексты: в эпоху «последнего уединения» декабристы не забывали старых сибирских бесед[1]. Чита и Петровский завод готовили будущее обращение к прошлому не только потому, что происходило уточнение деталей (кстати, не всегда успешное). Уверенность в своем деле, в осмысленности своей судьбы возникала на почве дружества, единства. Отпечаток общности, что приметили в вернувшихся декабристах люди другого поколения, был гарантией их права на личный рассказ о пережитом и перечувствованном. История едина, но ощущать ее можно по-разному. Четыре декабриста расскажут о себе и своем времени со страниц этой книги. Четыре разные судьбы откроются перед читателями.

Первый из наших мемуаристов — князь Сергей Петрович Трубецкой может по праву считаться и одним из первых декабристов. Один из самых знатных людей России, потомок великого князя Литовского Гедимина был активным членом уже Союза спасения, играл видную роль в Союзе благоденствия, в Северном обществе.

Репутации Трубецкого серьезно повредило его поведение в роковой день 14 декабря. Избранный диктатором восстания, активнейшим образом готовивший его, Трубецкой, как известно, не вышел на Сенатскую площадь. В показаниях ряда декабристов (в том числе К. Ф. Рылеева) именно на Трубецкого возлагалась вина за трагические события 14 декабря. Между тем внимательный анализ поведения Трубецкого, предпринятый в новейших исследованиях, убеждает, что дело обстояло не так просто. Отсутствие Трубецкого на площади объясняется не его «либеральной ограниченностью» или нерешительностью, но расчетом серьезного военного и политика. План, по которому должно было проходить восстание и на который давал согласие Трубецкой, предполагал предварительный захват дворца (с арестом царской фамилии) и Петропавловской крепости и лишь последующий захват Сената; предполагал введение в дело куда большего количества войск, чем удалось поднять декабристам. Трубецкой должен был не командовать на площади, но осуществлять политическое и стратегическое руководство восстанием. Поутру 14-го числа он предупреждал Рылеева о бессмысленности выступления малыми силами. Срыв первоначального плана, происшедший в основном по вине Булатова и Якубовича, которые должны были осуществить захват дворца и крепости, поставил Трубецкого в трудное положение. Он в отличие от Рылеева не верил в «революционную импровизацию» и потому не видел реального выхода из сложившейся ситуации[2].

День 14 декабря остался тяжкой ношей для совести Трубецкого. Возможно, именно события этого дня объясняют особую экзальтированность декабриста во время следствия, безудержность его покаяний (хотя здесь очень трудно делать выводы; «антагонист» Трубецкого — плебей и демократ Горбачевский, человек очень боль-

[1] Разумеется, это не отменяло возможности спора. Известны случаи печатной полемики вернувшихся после амнистии в Россию декабристов.

[2] Подробнее см.: Павлова В. П. Декабрист С. П. Трубецкой.— В кн.: Трубецкой С. П. Материалы о жизни и революционной деятельности. Иркутск, 1983, т. 1, с. 30—51; Гордин Я. А. События и люди 14 декабря. Л., 1985.

шого личного мужества, на следствии тоже впал в состояние, близкое к отчаянию). Заметим, однако, что на каторге и поселении Трубецкой пользовался любовью и уважением декабристов, попреки в его адрес уже не звучали. И надо думать, сказались тут не только такт и гуманность товарищей по несчастью, но и их умение понять сложность положения Трубецкого, прочувствовать его позицию.

Трубецкой был человеком «теоретического склада», что сказалось и в его поведении 14 декабря, и в его мемуарах, словно стоящих на грани политического трактата и автобиографии. История тайных обществ и события 14 декабря даны в ауре общего политического хода дел. Трубецкой был лучше других декабристов осведомлен о том, что̀ в дни междуцарствия происходило «в верхах», и эти страницы его мемуаров весьма ценны как исторический источник. Одним из первых Трубецкой понял и осмыслил политическую законность выступления 14 декабря (особая ситуация междуцарствия, сложная придворная борьба, за которой стояло плохо скрытое равнодушие к судьбе страны, потенциальная опасность «неорганизованного» переворота, в духе тех, что совершала гвардия в XVIII веке). Политическая законность организованного выступления подспудно противопоставляется тому сумбуру, что имел место в реальности: теория и практика не сходятся. Характерно, что в «Записках» Трубецкой фактически минует самый день 14 декабря, не дает анализа своего поведения. Несомненно, умолчание свидетельствует о том, насколько сложным оставался этот вопрос для бывшего диктатора и в эпоху работы над мемуарами.

Беззаконно, с точки зрения Трубецкого, и следствие, проводимое Николаем I, по сути дела, венчающее «разлад», характеризующий все междуцарствие и день восстания. Стихии «неправильного» мятежа и полицейской логике победителей в «Записках» Трубецкого противостоит просветительская идея Закона, неразрывно связанная с идеей личного достоинства политического деятеля. Сличение текста «Записок» с показаниями Трубецкого следственному комитету свидетельствует о том, что в воспоминаниях автор идеализировал свое поведение[1]. Здесь сказалось не только стремление «обелить себя», но и желание утвердить некий нравственный идеал. Трубецкой размышляет над тем, как следовало бы вести себя «человеку долга и закона» в обстоятельствах, самое понятие законности отрицающих.

Равным образом частые указания Трубецкого на законность, органичность, историческую необходимость деятельности тайных обществ отнюдь не означают его «поправения». Это особого рода идеология и особого рода политический язык: «законность» вовсе не означает идеи компромисса с властью, с определенной точки зрения законным может полагаться и цареубийство. Именно проведение идеи «законности» тайных обществ (и соответственно «беззаконности» расправы с ними правительства) составило стержень «Писем из Сибири» и других сочинений М. С. Лунина — сочинений, стоивших нераскаянному декабристу второго каторжного заключения, а возможно, и жизни.

Личностное и общеисторическое сходятся в «Записках» Трубецкого во имя утверждения значимости, а стало быть, незабываемости

---

[1] См.: Дружинин Н. М. С. П. Трубецкой как мемуарист.— В его кн.: Избранные труды. Революционное движение в России XIX в. М., 1985, с. 357—371.

событий 1815—1826 годов. «Теоретическая модель» свершившегося, воссозданная мемуаристом, расходится — местами резко — с тем жизненным кипением, водоворотом случайностей, каким видели историю тайных обществ другие мемуаристы. «Утопический» отпечаток, приметный в политической практике Трубецкого, ощущается и в его «Записках» (что не отменяет точности многих отдельных деталей). Многое в версии событий, предложенной Трубецким, можно скорректировать или оспорить, но, опираясь на новейшие данные, внося уточнения, следует помнить: порой концептуальные ошибки мемуариста говорят о духе времени и личности автора не меньше, чем строгие факты.

Второй из мемуаристов — барон Андрей Евгеньевич Розен — человек, во многом противоположный Трубецкому. Двадцатипятилетний поручик лейб-гвардии Финляндского полка вошел в орбиту Северного общества незадолго до восстания. Волей судьбы Розен оказался 14-го числа в лагере противников. На Финляндский полк декабристы возлагали большие надежды, однако уклончивое, а по сути дела, предательское поведение его батальонных командиров — полковников Моллера и Тулубьева сорвало задуманные планы. Полк присягнул Николаю I и пошел усмирять мятежников.

Что может сделать в такой ситуации младший офицер, командир взвода, неспособный повернуть полк? Естественный ответ — ничего. 13 декабря сослуживец Розена, член Северного общества штабс-капитан Николай Репин, скажет Рылееву: «Во всем полку один только Розен отвечает за себя, но я не знаю, что он будет в состоянии сделать»[1]. Розен сообразил; блестящий строевик и тактик, он, видимо, хорошо помнил правило о том, что каждый солдат должен знать свой маневр. Когда полк переходил Неву, Розен остановил свой взвод, а тем самым и тех, кто шел за ним следом. Пытавшихся двинуться с места он был готов заколоть на месте. Поручик знал, что такое субординация,— солдаты не смели двинуться без приказа непосредственного начальника.

На языке разрядной комиссии это звучало так: «лично действовал в мятеже возбуждением нижних чинов, хотя возбуждение сие было отрицательное, т. е. он остановил взвод, который должен идти для усмирения мятежников»[2]. Розен был приговорен по пятому разряду (десять лет каторги с последующим поселением в Сибири). Император, лично знавший поручика, сократил срок каторги осужденным по пятому разряду до восьми лет, но напротив фамилии Розена сделал пометку: «На 10 лет»[3]. Решительность и четкость действий Розена, как видим, были своеобразно оценены.

Изменилось ли бы что-нибудь в ходе восстания, не отдай Розен своего приказа? Нет, не изменилось бы — теперь знаем. Изменилась бы, вероятно, только судьба Розена — приведенное выше обвинение было единственным и, как знать, может быть, отделался бы поручик лишь ссылкой на Кавказ без лишения чинов и дворянства. А там способный и решительный офицер вполне мог бы и продви-

---

[1] Воспоминания Бестужевых. М.; Л., 1951, с. 35.

[2] Восстание декабристов. Документы. М., 1980, т. XVII. Дела Верховного уголовного суда и следственной комиссии, с. 124.

[3] Восстание декабристов. Документы. М., 1980, т. XVII. Дела Верховного уголовного суда и следственной комиссии, с. 232.

нуться по службе — так, кстати, случилось со свояком нашего мемуариста, однокашником Пушкина по Царскосельскому лицею В. Д. Вальховским.

Но Розен отдал свою команду: честь дворянина, давшего слово действовать, и глазомер офицера, чувствующего шаткость ситуации, перевесили природное благоразумие. Впрочем, почему перевесили? Розен мог надеяться на успех и должен был бороться за успех так, как мог. Он не был политиком и стратегом, подобно Трубецкому; он был честным и серьезным практиком, отвечавшим за «свой» участок боя и думавшим не о высоких материях (на то есть вожди движения), но о своем деле.

Молодой поручик происходил из остзейских дворян; немецкая его аккуратность вызывала порой ироничные улыбки декабристов. Аккуратность в сочетании с приверженностью дому, почтением к родителям, некоторой долей сентиментальности — все эти, так сказать, родовые черты «честных немцев», что так высоко будут цениться Николаем I. Но нельзя доверяться стереотипам — аккуратный и чуть сентиментальный Розен, тот самый, что с незабываемой наивностью повествует о том, как радовался он присвоению офицерского чина (и это после восстания, после суда и каторги!), о том, как счастлив он был, женившись и обзаведясь уютной квартирой [1],— тот самый Розен точно и обдуманно действует в день 14 декабря, умно и осмотрительно ведет себя в ходе следствия, ни в чем не раскаивается и явно почитает тех, благодаря кому он совершил свой поступок и понес за него тяжкое наказание, за лучших из людей. (Жена Розена — дочь первого директора Царскосельского лицея В. Ф. Малиновского и сестра пушкинского друга Ивана — Анна Васильевна, оправившись от родов, поедет за мужем в Сибирь; там, в Петровском заводе, 5 апреля 1831 г. родится второй сын Розена; его назовут Кондратием — в память погибшего Рылеева).

Воспоминания Розена в чем-то похожи на его действия 14 декабря: мемуарист не стратег, а тактик, он не решает глобальных задач, а цепко фиксирует подробности. Размышляя о поражении, он сосредоточен на его военных аспектах. Словно проводится «штабная игра», ставится вопрос, что было бы, действуй мы чуть иначе (вопрос, кстати, мучающий многих историков и по сей день).

Читая записки Розена, можно оценить меру духовной красоты и личного мужества рядового декабриста. Личность мемуариста прорисовывается отчетливо и последовательно, некоторые слабости (те же самые педантизм и сентиментальность) не умаляют обаяния дельного, как бы сказали в ту пору, рассказчика [2]. «Рядовой» декабрист, человек дела, Андрей Розен не похож на теоретика Сергея Трубецкого, и читатель это наверняка ощутит. Но, противопостав-

---

[1] Главы, предшествующие описанию событий 14 декабря, в настоящем издании опущены. См.: Розен А. Е. Записки декабриста. Иркутск, 1984, с. 62—117.

[2] Любопытен отклик на «Записки декабриста», сделанный М. А. Бестужевым в письме историку М. И. Семевскому: «Записки» <...> правдивые и полны даже слишком, а особенно где он без надобности распространяется о своих домашних делах или отстаивает баронов прибалтийского края».— Воспоминания Бестужевых, с. 469. Последняя часть фразы относится к II—III томам «Записок», посвященным современности.

ляя столь различных по духу, темпераменту, положению декабристов, надо помнить, что счел нужным написать Розен о Трубецком: «все согласятся, что он был всегда муж правдивый, честный, весьма образованный, способный, на которого можно было положиться». Единство декабристов выше естественных и неустранимых различий. Высокий спор — достояние единомышленников.

Мысль эту следует держать в памяти и читая «Записки» одного из активнейших деятелей Общества соединенных славян — Ивана Ивановича Горбачевского. Его воспоминания отличаются от остальных, представленных в нашем томе, довольно существенно. И Трубецкой, и Розен, и Лорер, о котором речь впереди, пишут не только об истории, но и о себе. Мемуарист Горбачевский о себе почти ничего не пишет; Горбачевский-персонаж на страницах записок куда менее приметен, чем Сергей Муравьев-Апостол или Иван Сухинов, Анастасий Кузьмин или Петр Борисов. То, что «Записки» Горбачевского вышли в свет анонимно, то, что спор об их авторе (ряд исследователей кандидатуру Горбачевского отводит, подробнее см. в примечаниях) не затихает, далеко не случайность. Мемуарист в данном случае последовательно стремится стать историком-хроникером, собирателем фактического материала.

Очень многое, о чем Горбачевский пишет, известно ему из рассказов участников событий: сам он не был в Черниговском полку в славные дни рубежа 1825—1826 гг., не присутствовал при наказании Грохольского и Ракузы, не шел по этапу с Соловьевым, Мозалевским и Сухиновым, не был свидетелем заговора на Зерентуйском руднике в 1828 г. Без помощи товарищей Горбачевский никогда бы не смог составить своего обстоятельного и очень конкретного свода. На собственную память он мог опираться лишь в первой части «Записок», где речь идет об истории Общества соединенных славян и о контактах «славян» с Васильковской управой Южного общества.

Горбачевский сознательно задвигает себя в тень не только потому, что использует чужие материалы, но и потому, что опускает собственные. В «Записках» нет и речи о личном пути Горбачевского к революционному образу мысли, о том, что предшествовало его приходу в Общество соединенных славян,— все это мы должны восстанавливать по крупицам, читая письма декабриста и немногочисленные свидетельства о нем современников. Более того, считая нужным подробно рассказать о судьбе участников восстания, мемуарист ничего не пишет о том, что происходило с ним самим, не говорит об аресте, допросах, приговоре, пути в Сибирь.

Есть и вторая особенность у этих странных «Записок». Подобно тому, как запрещает себе мемуарист отступления в личную сферу, воздерживается он и от широких историко-публицистических обобщений, от попыток вписать свой главный «сюжет» в общий ход событий. Горбачевскому важно лишь одно: история Общества соединенных славян, его особенности. Первый публикатор анонимных воспоминаний П. И. Бартенев очень точно выразил суть авторской позиции, предпослав им редакторское заглавие: «Записки неизвестного из Общества соединенных славян».

«Одна, но пламенная страсть» владеет мемуаристом. Ему надобно рассказать о своем Обществе, о его звездном часе — восстании Черниговского полка, о кровавом эпилоге — судьбе участников

восстания, чья участь была ужасной даже по сравнению с участью остальных декабристов.

Горбачевский — плебей по происхождению и демократ по духу — последовательно противопоставляет «славян» аристократам-южанам. Сказывается это и в первой части, где лидеры Южного общества предстают одновременно и экзальтированно-горячими, и недостаточно решительными. И во второй, где С. И. Муравьев-Апостол, возглавивший восстание Черниговского полка, изображен как человек, которому ничего иного не оставалось после действий младших офицеров-«славян». Своеобразный полемический подтекст ощутим и в описании неимоверных тягот, выпавших на долю «славян»-черниговцев после восстания. Во многом Горбачевский субъективен (и это при установке на жесткий протокольный стиль изложения, внешне чуждый любой эмоциональности), он явно идеализирует «славян», а возможно, вкладывает в их уста суждения, сформировавшиеся гораздо позже (например, в споре о «народном» или «чисто военном» характере грядущей революции). За его мемуарами не только память о давних спорах, не только опыт коллективного обсуждения отгремевших событий, но и память и опыт споров новых, что вел Горбачевский в Сибири с декабристами-«аристократами» (например, с лично очень близкими ему И. И. Пущиным или Е. П. Оболенским; следы этих споров отчетливо видны в эпистолярии декабриста).

Антиаристократизм Горбачевского очень последователен, порой кажется даже, что перед нами не декабрист, но разночинец 60-х годов, своего рода Базаров, опередивший эпоху. Это особый взгляд на события, не отменяющий иных, хотя порой на это и претендующий (сама установка только на факты, равно как и жестокость конкретных описаний — наказание шпицрутенами, тяготы этапа и тюремного заключения — работают на «объективность», к которой Горбачевский, как и всякий мемуарист, близок отнюдь не всегда). Версию событий, предложенную Горбачевским, не должно абсолютизировать — в таком случае мы рискуем увлечься противопоставлением «славян» «южанам» и забыть о том, что делали они общее дело. Да и сами записки Горбачевского были, кроме прочего, его долгом С. И. Муравьеву-Апостолу. В ночь с 14 на 15 сентября 1825 года (последнее свидание лидера Васильковской управы Южного общества с Горбачевским) Муравьев-Апостол сказал своему собеседнику: «...ежели кто из нас двоих останется в живых, мы должны оставить свои воспоминания на бумаге; если вы останетесь в живых, я вам и приказываю как начальник ваш по Обществу нашему, так и прошу как друга, которого я люблю почти так же, как Михайлу Бестужева-Рюмина, написать о намерениях, цели нашего Общества, о наших тайных помышлениях, о нашей преданности и любви к ближнему, о жертве нашей для России и русского народа. Смотрите, исполните мое вам завещание, если это только возможно будет для вас». Во время этого разговора Горбачевский случайно положил в карман головную щетку Муравьева-Апостола. «Эта щетка сохранилась от всех обысков во дворце, в Петропавловской и Шлиссельбургской крепостях, в Кексгольме, в Сибири», многажды и за большие деньги предлагали крепко нуждающемуся Горбачевскому щетку продать (в том числе просили его об этом декабристы Трубецкой и Поджио), «но я не могу с нею расстаться, так она мне дорога»,— писал Горбачевский, теперь уже несколько идеализируя прошлое, 12 июня 1861 г. М. А. Бестужеву в том же письме, где

поведал о «завещании» С. Муравьева-Апостола [1]. Так ли поминают «идейных противников»? Так ли берегут память о них? Сами старые споры были дороги Горбачевскому, и любовь к казненному Муравьеву-Апостолу диктовала строки о давних разногласиях. Затушевать их, скрыть свой взгляд (иное дело — насколько он был адекватен событиям) значило бы нарушить волю погибшего вождя и друга.

Если Горбачевский, как уже говорилось, ощущает себя историком, то последний из наших мемуаристов — Николай Иванович Лорер — занимает совсем иную позицию. По свидетельству Н. А. Бестужева «Лорер был такой искусный рассказчик, какого мне не случалось видеть в жизни» [2]. «Записки моего времени» и есть свободный, неторопливый рассказ с обширными отступлениями, по первому взгляду уводящими от сути, а на самом деле рисующими удивительно живую картину жизни 1810—1840 годов.

«Веселый страдалец» (определение кавказского знакомца Лорера М. Ф. Федорова) обладал не только наблюдательностью, но и явным литературным даром. Мемуары его необыкновенно богаты колоритными деталями, яркими портретами, запоминающимися пейзажными зарисовками Сибири и Кавказа. Читая Лорера, то попадаешь в атмосферу идеологических споров, то оказываешься в мире гоголевских персонажей (например, в рассказе о ловких казанских взяточниках), то переносишься в мир, знакомый по «кавказским» рассказам Льва Толстого. Лореру интересно рассказывать обо всем: причуды великого князя Константина, напряженные раздумья Пестеля, шутки Льва Пушкина, непонятный для декабриста, загадочный характер Лермонтова — все это Лорер запечатлевает, стараясь не потерять деталей, не забыть мелочей.

Политика и быт постоянно смешиваются, и от этого политические идеи не блекнут, а обыденность не возносится на котурны. Жизнь с мириадами случайных сцеплений оборачивается все новыми и новыми сторонами. Серьезное соседствует с комическим: выросший в «благословенной Малороссии» Лорер, несмотря на все выпавшие на его долю тяготы, сохранил чувство юмора, склонность к курьезам и анекдотам.

Случай может стать ключом к важным историческим событиям. Именно Лорер сохранил рассказ Л. С. Пушкина о письме, которым Пущин вызывал в дни междуцарствия (буквально — на 14 декабря) Пушкина из Михайловского в Петербург. Случай может изменить судьбу человека — счастливо увенчавшееся ходатайство племянницы Лорера, известной А. О. Россет, вызволяет декабриста из ситуации, кажущейся безвыходной — поселения в «нехорошем местечке» Мертвый Култук. События, происходящие в Петербурге и за тысячи верст в Восточной Сибири, вступают в сложное взаимодействие, жизнь человеческая зависит от цепи случайностей.

У Лорера нет «заветной» идеи, цементирующей его воспоминания. Точнее, она возникает исподволь, из описаний, размышлений, эмоциональных отступлений. Это, собственно говоря, даже не идея,

---

[1] Горбачевский И. И. Записки. Письма. М., 1963, с. 165, 166.

[2] Воспоминания Бестужевых, с. 263.

но чувство, чувство живого интереса ко всему сущему — природе и политике, людям и историческим событиям. Живость взгляда, постоянно ощущаемая в мемуарах Лорера, порождена тем огромным уважением к жизни, что было присуще этому скромному и остроумному человеку, чуждающемуся первых ролей. Это уважение ко всему доброму и честному объясняет, почему умеренный по взглядам Лорер оказался доверенным лицом крайне радикального Пестеля, почему именно Лорер, не разделявший республиканских устремлений своего полкового командира, сумел разглядеть оставшуюся для многих «закрытой» его душу. Под добрым взором Лорера люди словно бы становятся лучше. Это относится не только к декабристам, но и ко многим, кого Лорер на своем веку повстречал, особенно к людям «простого звания», всегда вызывающим интерес бывшего майора Вятского полка. Исключение составляют враги: предатель Майборода, генерал Чернышев — люди без совести, для которых у Лорера (рассердившегося доброго человека) нет снисхождения. Заметим, что в тех случаях, когда о человеке можно замолвить доброе слово, Лорер это делает: так, он полагает, что во время казни декабристов Бенкендорф сознательно затягивал приведение приговора к исполнению, ожидая амнистии, а затем «лежал ничком на шее своей лошади», дабы не видеть казни. Лорер, может быть, и ошибался в этом конкретном случае — важно другое: ему, человеку, воспитанному на идеях просвещения и терпимости, всегда хотелось отыскать доброе даже в политических противниках.

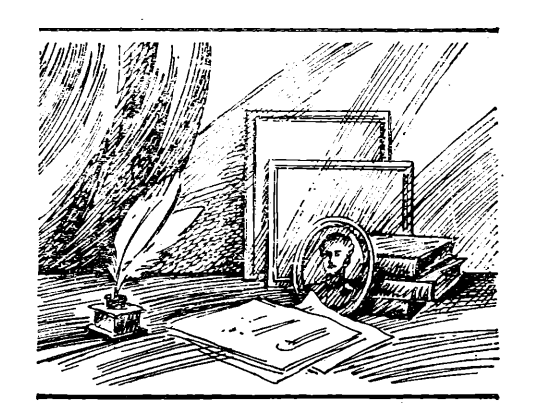
Рыцарственность и простодушие Лорера кажутся чуть архаичными, порой они могут вызвать улыбку, но надо помнить, что именно эти черты характера обеспечили высокий дух скромного «воспоминания о прошлом». Дух расположенности к людям и дружества, царящий в записках Лорера, был производным от того высокого чувства товарищества, без которого декабристы бы не были декабристами.

Они были разными — первые русские революционеры. Они много и часто спорили между собой. Они оставили разные версии того, что пережили и перечувствовали. И все же для нас они нечто единое, выразимое одним словом, внятным без комментариев,— декабристы. Так они и ощущали себя средь новых поколений. Не самый общительный из декабристов — Горбачевский 30 октября 1858 г. в письме к Пущину очень точно выразил это чувство единства, диктовавшее строки мемуаров, утверждавшее историческую значимость их дела: «Живу по-прежнему в Заводе. Люди те же, которых ты знал. Лампада (в часовне над гробницей А. Г. Муравьевой.— *А. Н.*) горит по-прежнему... Никогда никого не забуду,— и кто мне говорит о старом и бывалом, кто говорит о моих старых знакомых-сотоварищах, тот решительно для моей душевной жизни делает добро»[1].

А. Немзер

---

[1] Цит. по: Эйдельман Н. Я. Пушкин и декабристы. Из истории взаимоотношений. М., 1979, с. 145.



С. П. ТРУБЕЦКОЙ

ЗАПИСКИ

1844–1845, <1854> гг.



По окончании Отечественной войны имя императора Александра гремело во всем просвещенном мире; народы и государи, пораженные его великодушием, предавали судьбу свою его воле: Россия гордилась им и ожидала от него новой для себя судьбы. Она смыла позор Тильзитского мира, разорвала оковы, наложенные на неё властителем Европы, твердою ногою заняла первое место между сильнейшими государствами в мире. Эпоха самостоятельности настала. Оставалось вкусить плодов этого положения. Император изъявил манифестом благодарность свою войску и всем сословиям народа русского, вознесшего его на высочайшую степень славы, обещал, утвердив спокойствие всеобщим миром в Европе, заняться устройством внутреннего благоденствия вверенного провидением державе его пространного государства.

Некоторые молодые люди, бившиеся за Отечество и царя своего на поле чести, хотели быть верной дружиной вождя своего и на поприще мира. Они дали друг другу обещание словом и делом содействовать государю своему во всех начертаниях его для блага своего народа. Их было мало, но они уверены были, что круг их ежедневно будет увеличиваться, что другие, им подобные, не захотят ограничиться славою военных подвигов, но пожелают оказать усердие свое и любовь к Отечеству не одним исполнением возложенных на них службою обязанностей, но и посвящением всех средств и способностей своих на содействие общему благу во всех его видах.

От поступающих в это маленькое общество требовалось: 1) строгое исполнение обязанностей по службе; 2) честное, благородное и безукоризненное поведение в частной жизни; 3) подкрепление словом всех мер

и предположений государя к общему благу; 4) разглашение похвальных дел и осуждение злоупотреблений лиц по их должностям.

Сначала молодые люди ограничивались только разговорами между собою. Еще не известно было, что именно государь намерен был сделать, но в уверенности, что он искренне желает устроить благо России, решено было дать форму обществу, определить порядок действий. 9 февраля 1816 года Пестель, Никита Муравьев, Сергей Шипов и кн. Трубецкой положили основание обществу. К ним пристали Александр Ник<олаевич> Муравьев, Николай Новиков (бывший правителем канцелярии у кн. Репнина), Илья Бибиков, кн. Илья Долгоруков, Федор Николаевич Глинка, Сергей и Матвей Муравьевы-Апостолы, кн. Павел Петрович Лопухин и Якушкин. Пестелю, Долгорукову и Трубецкому поручено было написать устав общества, последний занялся правилами принятия членов и порядком действия их в обществе; Долгоруков — целью общества и занятиями его для ее достижения; Пестель — формою принятия и внутренним образованием. Он имел пристрастие к формам масонским и хотел, чтобы некоторые подобные были введены для торжественности. При первом общем заседании для прочтения и утверждения устава Пестель в прочитанном им вступлении сказал, что Франция блаженствовала под управлением Комитета общей безопасности. Восстание против этого утверждения было всеобщее, и оно оставило невыгодное для него впечатление, которое никогда не могло истребиться и которое поселило навсегда к нему недоверчивость. Масонские формы, введенные в заседаниях и в принятии членов, затрудняли действия общества и вводили какую-то таинственность, которая была противна характерам большей части членов; они хотели действия явного и открытого, хотя и положили не разглашать намерения, в котором соединились, чтобы не вооружить против себя людей неблагонамеренных. Общие собрания не требовались, но только частные свидания для сообщения предметов, требовавших распространения сведений о них в публике. И потому чрез непродолжительное время положено было изменить в этом отношении устав, как признанный неудобным к приложению. Пестель скоро по учреждении общества должен был уехать в Митаву, корпусную квартиру графа Витгенштейна, у которого он был адъютан-

том. Трубецкой также должен был уехать из столицы. В течение 1817 года часть гвардии отправилась в Москву, куда выехал двор. Члены, которых число умножилось, в это время были также рассеяны, и только немногие оставались в Петербурге.

Между тем император Александр приступил к исполнению двух своих мыслей: 1. Был составлен проект для освобождения крестьян Эстляндской губернии, и явно начали говорить, что он намерен дать свободу всем крестьянам помещичьим. 2. Другой проект, переданный графу Аракчееву, был об учреждении военных поселений, из которого мы поняли слова благодарного манифеста императора по окончании войны с французами, где он в награду войску обещал *оседлость*.

Первый проект должен был иметь противниками почти всех помещиков. Требовалось неусыпное действие членов для поддержания его и направления общего убеждения в необходимости этой меры. Должно было представить помещикам, что рано или поздно крестьяне будут свободны, что гораздо полезнее помещикам самим освободить их, потому что тогда они могут заключать с ними выгодные для себя условия, что если помещики будут упорствовать и не согласятся добровольно на освобождение, то крестьяне могут вырвать у них свободу, и тогда Отечество может стать на краю бездны. С восстанием крестьян неминуемо соединены будут ужасы, которых никакое воображение представить себе не может, и государство сделается жертвою раздоров и, может быть, добычею честолюбцев, наконец, может распасться на части и из одного сильного государства обратиться в разные слабые. Вся слава и сила России может погибнуть, если не навсегда, то на многие века. Члены общества были молодые люди, не имевшие еще собственных поместьев. Они не могли дать примера согражданам своим освобождением собственных крестьян, и потому им предстоял один только способ действия — убеждение словом. Второй проект — учреждение военных поселений для всей армии — был такое дело, которого дальнейшие последствия могли укрываться и от взоров самых проницательных мужей, опытнейших в государственном управлении.

Ему положено было начало еще в 1811 г., поселением Елецкого полка в Могилевской губ. Но в 1812 г. поселение было разрушено вторжением неприятеля,

и невозможно было из малого и кратковременного опыта судить, в какой степени могло быть полезно или вредно это учреждение для государства. Граф Аракчеев не отклонился от возложенного на него поручения, но, однако, начал тем, что представил возражение и предлагал вместо военных для солдат поселений сократить срок службы нижним чинам, определив вместо 25-летнего срока 8-летний. Государь был убежден в пользе своего предначертания, и исполнение начато. Оно встретило всем известное сопротивление в крестьянах тех селений, в которых положено ему начало. Жестокими мерами и некоторыми уступками преодолено было упорство крестьян.

Долго члены общества собирали сведения об этом предмете, слушали о нем рассуждения, наводили на него речь и старались исследовать его во всех отношениях, прежде нежели решились составить собственное о нем мнение. Наконец остановились на том, что новое образование армии усилит ее, образует хорошо обученных солдат, приучит их с малолетства к исправлению воинской службы, доставит возможность содержать войско с меньшим отягощением народа и уничтожит частые рекрутские наборы. Но что, с другой стороны, оно образует в государстве особую касту, которая, не имея с народом почти ничего общего, может сделаться орудием его угнетения, что эта каста составит собою силу, которой ничто в государстве противустоять не возможет. Сама будет в повиновении безусловном нескольких лиц, а может случиться, что и у одного, и если это будет искусный честолюбец, то он легко может приобресть любовь подчиненных своих, обольстить их и сделать из них орудие своего честолюбия. Сверх того, ненавистный начальник может быть причиною восстания вверенной ему части, и какая возможность к усмирению озлобленных, имеющих средства к отпору силы силою? Кто может поручиться, что небольшое даже неудовольствие не породит бунта, который, вспыхнув в одном полку, быстро распространится в целом округе поселения? И можно ли предвидеть, чем кончится таковое восстание многих полков вместе? Эти опасения подкреплены были происшествиями в начатых поселениях: Новгородском (гренадерском), Бугском и Чугуевском (уланских). Жестокие меры, употребленные против жителей мирных селений, из которых хотели сделать военных поселенцев, возбу-

дили всеобщее негодование. Исполнители графы Аракчеев и Витт сделались предметами всеобщего омерзения, и имя самого императора не осталось без нарекания. Трудно было поверить, чтоб ему не известны оставались варварские действия этих двух человек; это подавало невыгодное мнение о его сердце и нраве. Государь выехал не прямо в Москву, но чрез западные губернии и Малороссию. Кажется, что цель этой поездки была приготовить мысли жителей этих губерний к свободе крестьян. Первое начало положено было уже в Эстляндии, за которою должны были следовать Курляндия и Лифляндия. Псковская губерния была присоединена к генерал-губернаторству маркиза Паулуччи, и потому полагали, что освобождение русских крестьян начнется с этой губернии. В речи своей к малороссийским дворянам государь объявил о своем намерении, но в сердцах их не нашел созвучия. Сопротивление ясно изъявилось в ответных речах губернских предводителей полтавского и черниговского. Это, кажется, поколебало твердость государя, ибо в Москве он удержался от выражения своих мыслей касательно этого предмета. Должно думать, что он, однако ж, желал искренно его исполнения; но между тем он от дворянства хотел единственно повиновения своей воле, а не содействия. Доказательством тому служит следующее: члены общества собрали подписку на освобождение крестьян. Из числа известных лиц подписали согласие свое и обещание исполнить на правилах, какие составлены будут, графы Кочубей и Строганов, кн. Меншиков, ген. Илларион Васильевич Васильчиков. Последний, подписав, доложил тотчас о том государю, который изъявил свое неудовольствие и приказал уничтожить подписку.

В следующем обстоятельстве еще более является нежелание его, чтоб дворянство содействовало ему. Может быть, он не отвергнул бы личного содействия поодиночке, но решительно не хотел, чтоб оно обнаружилось совокупным действием. В бытность в Вильне он приказал тамошнему ген-губ. Римскому-Корсакову приготовить дворянство вверенных ему губерний к принятию монаршей воли. Корсаков нашел в губернском предводителе дворянства, гр. Платере, готового сотрудника. На выборах 1818 г. Платер сообщил дворянам волю государя, и, подготовленные им, они приняли изъявление ее с восторгом, ввели бывших при них лакеев и кучеров в зал

собрания и с наполненными шампанским бокалами поздравили их с будущим освобождением. Корсаков был тогда в Москве, и государь, узнав о происшествии, в жестоких словах излил на него гнев свой за нескромное действие и за то, что он в такое время оставил губернию свою.

Это было после сопротивления, оказанного государю в Малороссии, когда по Москве ходили рукописи харьковского помещика Каразина, восставшего всею силою своего красноречия против свободы крестьян и сравнивавшего состояние имевших счастье быть под его игом с состоянием свободных, у которых не будет собственности и которым можно сказать: «и та земля, в которую положат труп твой, не твоя!». В другой рукописи кн. Н. Г. Вяземский, свояк графа Кочубея и предводитель калужского дворянства, требовал наместнических собраний. Член общества А. Н. Муравьев написал возражения на обе эти рукописи и, распустив их по древней столице, представил список своего сочинения государю чрез кн. П. М. Волконского. Его величество, прочтя, сказал: «Дурак! не в свое дело вмешался».

Такие действия государя казались обществу не согласующимися с той любовью к народу и желанием устроить его благосостояние, которые оно в нем предполагало. Сомнение, что он ищет более своей личной славы, нежели блага подданных, уже вкралось в сердце членов общества сделавшимся им прежде известным откровенным разговором наедине государя с кн. Лопухиным. Пред самым отъездом своим из Петербурга государь объявил ему, что он непременно желает освободить и освободит крестьян от зависимости помещиков, и на представление князя о трудностях исполнения и сопротивления, которое будет оказано дворянством, сказал: «Если дворяне будут противиться, я уеду со всей своей фамилией в Варшаву и оттуда пришлю указ». Когда эти слова были переданы некоторым членам общества, бывшим в Москве, то в первую минуту мысль о том, каким ужасам безначалия могла подвергнуться Россия от такого поступка, так сильно поразила одного из членов, что он выразил готовность, если бы государь оказал себя таким врагом Отечества, то он чувствует в себе довольно духа, чтоб принести его в жертву, не щадя собственной жизни.

Эти слова тем замечательны, что они чрез восемь лет после того послужили поводом к приговору в каторжную работу того, кто их произнес, и тех, при ком были сказаны.

Члены общества, огорченные поступком государя и обманутые в тех великих надеждах, которые они на него полагали, не могли, однако ж, расстаться с мыслью, что, действуя соединенными силами, они могут сделать много для пользы своего Отечества. Пример прусского «Тугендбунда» доказывал, что усилия людей, имеющих одну цель, не остаются тщетны. Число готовых содействовать ежедневно увеличивалось; оставалось определить ясно порядок действия и начала, на которых он должен быть основан. Первый устав общества оказался неудобным в приложении, неполным и неопределенным, должно было составить такой, чтоб он соответствовал той обширной цели утверждения отечественного благоденствия, которую члены имели в виду. Дух кротости, любви к Отечеству и благонамерения, которые одушевляли их самих, должен был ясно выразиться во всех статьях устава; самое злостное розыскание не должно было найти в нем ничего такого, что бы могло подать повод к обвинению членов в себялюбии или в действии, опасном для спокойствия Отечества.

Четыре члена были избраны для составления нового устава. Они исполнили поручение, и новый устав был вполне одобрен и принят. Общество названо по предмету своей цели Союзом благоденствия, и эпиграф его означал твердое намерение членов посвятить всю свою жизнь исполнению этой цели; его составляли слова спасителя: «Никто же возложа руку свою на рало, и зря вспять управлен есть в царствие божие». Члены разделялись по предметам своих занятий или службы. Каждый по своей части обязан был приобретать познания, могущие сделать его полезнейшим гражданином, и сведения, потребные для действия общества, которое само оставалось неизменно первоначальному своему назначению, то есть: 1-е. Поддержание всех тех мер правительства, от которых возможно ожидать хороших для благосостояния государства последствий; 2-е. Осуждение всех тех, которые не соответствуют этой цели; 3-е. Преследование всех чиновников, от самых высших до самых низших, за злоупотребление должности и за несправедливости; 4-е. Исправление по силе своей и возможности

всех несправедливостей, оказываемых лицам, и защита их; 5-е. Разглашение всех благородных и полезных действий людей должностных и граждан; 6-е. Распространение убеждения в необходимости освобождения крестьян; 7-е. Приобретение и распространение политических сведений по части государственного устройства, законодательства, судопроизводства и прочих; 8-е. Распространение чувства любви к Отечеству и ненависти к несправедливости и угнетению.

Общее действие членов согласовалось с этими правилами, и сверх того каждый из них принимал обязанность освободить своих крестьян, когда поступят к нему во владение. Действие общества обнимало в своем предмете все сословия государства и все отрасли управления и потому должно было определить каждому члену круг его действия, для чего члены и разделились на четыре разряда, названные по отраслям. Каждая отрасль состояла из управ, которой все члены действовали по предмету своей отрасли. Управа управлялась председателем, который представлял предметы действия; члены сообщали сведения и доносили о своих действиях. Каждый член мог заводить вспомогательную управу. Цель вспомогательных управ была приготовлять членов для Союза; действие их — учебные занятия и содействие Союзу. Все управы состояли под ведением Коренного совета, который состоял из 24 членов. В Коренном совете избирались председатель и блюститель. Последний соединял в себе общий надзор за всем действием и не дозволял ни в чем отступать от духа, цели и порядка действия, определенного по уставу Союза благоденствия. Он же сверял все списки устава Союза и скреплял их своею подписью. Ему подведомственны были блюстители управ, назначаемые в управы от Коренного совета, из его членов (вспомогательные управы не имели блюстителей особых, но блюститель той управы, которой член завел управу, имел над нею надзор). Сверх наблюдения за общим действием блюстители наблюдали за действием частным каждого члена, за его поведением как члена Союза, так и общественным и частным, ему предоставлено было <...>вение члену и его обязанностей, когда он отступал от них. Блюститель управы собирал сведения о лицах, которые предлагались к принятию в Союз; он должен был стараться познакомиться с ними лично, чтобы короче их узнать и испытать, и только

по его представлению мог быть принят новый член. Блюститель хранил список устава, он давал его прочитывать тому лицу, которое предложено было к принятию, и брал с него предварительно подписку, что он не будет никому сообщать о прочтенном; когда же прочитавший соглашался вступить в Союз, то давал другую подписку на вступление. Блюстители управ препровождали все подписки к блюстителю Коренного совета и должны были часто с ним видеться для сообщения ему о всех действиях и для совещания по предмету своих занятий. В члены Коренного совета принимались уже из испытанных членов и не иначе как единогласным согласием всех членов Коренного совета, налицо в столице находящихся. Блюстители управ, отдаленных от столицы, сообщались с блюстителем Коренного совета по возможности, но обязаны были изыскивать средства частого сообщения. Члены Союза благоденствия очень понимали, что действие их на Отечество не может быть полезным, если оно не будет иметь верных и подробных сведений о состоянии его и если они не приобретут познаний в науках, имеющих целью усовершенствование гражданского быта государства, и потому приобретение этих необходимых сведений и познаний поставлялось в непременную обязанность всем членам Союза. Уже и прежде того некоторые из членов приговорили профессора для чтения курса политической экономии; после нескольких уроков профессор просил позволения одному своему приятелю быть в числе слушателей. Тем, к кому он имел доверенность, признался, что мнимый приятель прислан от полиции. Вскоре после государь потребовал сведений от полковых командиров о тех офицерах, которые слушали курс, и по хорошим о них отзывам нашел очень странным это необыкновенное явление и несколько раз повторил слова: «Это странно! Очень странно! Отчего они вздумали учиться!»

Сначала действие Союза благоденствия пошло быстро. Управы образовались в Москве, в разных губерниях, в Петербурге, между военными, гражданскими и неслужащими. Были и вспомогательные управы. В течение первого года некоторые из лиц Коренного совета выбыли из столицы, между ими и блюститель его Трубецкой. На место его был избран Долгоруков. Скоро после приехал в Петербург Пестель, который все был при гр. Витгенштейне, тогда уже главнокомандующем 2-й

армии. Он находил, что действие Союза благоденствия медленно и вообще не в том духе, в котором, по его мнению, должно действовать. Сообщил, что не принял устав, и продолжал свое действие согласно первому уставу. Многие члены возмущены были его рассуждениями, и общее действие охладело и лишилось единства. Положен был общий съезд в Москве; и там согласиться не могли. Между тем происшествия, случившиеся в лейб-гвардии Семеновском полку, и распределение всех членов в разные полки довершили расстройство Союза. Члены боялись собираться, чтоб не навести подозрения; многие испугались до того, что прекратили всякую связь с другими членами. Мало осталось верных сделанному обещанию при учреждении общества. В таком положении нашел Трубецкой общество, возвратясь в Отечество по двухлетнем отсутствии. Первым делом его было соединить тех, которые оставались верными Союзу. Их было тогда в столице только несколько человек. В непродолжительном, однако ж, времени число их увеличилось. Пестель опять приехал, упрекал в бездействии, представлял деятельность членов на юге, предлагал соединение управления под руководством трех директоров, из которых два на юге и один в Петербурге. Представлял необходимость изменения образа действия, как весьма медленного и отдаляющего цель неопределенно. По его мнению, цель должна быть: насильственное изменение образа правления, как скоро общество соединит довольно членов, чтоб быть в силе это исполнить; правление должно перейти в руки общества до тех пор, пока все начала нового образа правления будут введены. Проект предлагаемых им постановлений написан им был под названием «Русской правды». Открыто было общество между поляками, с которым вступили в сношение. Оно требовало отделения Польши, на которое давалось предварительно согласие, хотя и не в том размере, в котором требовали поляки.

В частных свиданиях Пестель убедил некоторых членов в справедливости некоторых из своих рассуждений. Эти члены поддерживали его и в общих собраниях. Но Никита Муравьев и Трубецкой сильно восставали против всех предложений Пестеля и поддержанные большею частью членов обратили опять на свою сторону тех, которые пристали было к Пестелю. Пестель уехал недовольный, однако ж обещал сообщать Трубецкому о сво-

их действиях и не предпринимать ничего решительного без согласия Северного общества.

Доверенность к Пестелю была сильно поколеблена, и петербургские члены видели необходимость бдительным оком следить за действиями его и Южного общества, которого члены были в совершенном у него повиновении. О бывших прениях и несогласии Северного общества с Пестелем было сообщено Сергею Муравьеву, бывшему на юге, и ему поручено наблюдение и противодействие. Вскоре открылась возможность усилить это наблюдение и подкрепить противодействие распространением основных правил Союза благоденствия в тех местах, где проповедовались другие.

Кн. Щербатов, назначенный командиром 4-го корпуса, предложил Трубецкому место дежурного штаб-офицера. Приехав в Киев *, Трубецкой нашел, что Южное общество во всем отклонилось от правил Союза. Некоторые только старые его члены оставались ему верными, но лишены были способа действовать. Внимание Трубецкого обращено было на то, чтобы воспрепятствовать распространению правил Южного общества в полках 4-го корпуса, соединить старых членов и дать им средства к действию по прежде принятым началам и отвратить членов Южного общества от мнений Пестеля. Одним из первых предметов было также войти в сношение с Польским обществом и убедить его ясными доказательствами, что Польша существовать не может отдельно от России и что не отделения они должны искать, но, напротив, присоединения к России и тех частей Польши, которые составляют владения Австрии и Пруссии.

Время не дозволило привести в исполнение этой последней статьи, но все прочие обещали увенчаться успехом.

---

* Может быть, удалившись из столицы, Трубецкой сделал ошибку.

Он оставил управление общества членам, которые имели менее опытности и, будучи моложе, увлекались иногда своею горячностью и которых действие не могло производиться в том кругу, в котором мог действовать Трубецкой. Сверх того, тесная связь с некоторыми из членов отсутствием его прервалась. Но опасения, которые поселял юг, были такого рода, что <далее зачеркнуто: «для успокоения общества по этому предмету»> признавалось необходимым отделить туда такого члена, который имел бы достаточный вес в обществе, имел и силу привести южное отделение к тем благодетельным началам, на которых основан был Союз и по которым продолжали действовать на севере.

Между тем Южное общество в недрах своих скрывало изменников. Образ действия Пестеля возбуждал не любовь к Отечеству, но страсти с нею несовместные. Квартирмейстер его полка Майборода, принятый им в члены, промотал в Москве часть полковых денег и, боясь ответственности, написал донос о существовании и намерениях Южного общества и успел препроводить его в Таганрог к государю. Шервуд, вольноопределяющийся унтер-офицер Нежинского конно-егерского полка, принятый Вадковским, был им послан с разными бумагами к Пестелю, но вместо того посредством гр. Витта нашел путь к государю, которому и передал бумаги в Таганроге. Какие меры принял государь или хотел принять, осталось обществу неизвестным.

В Петербурге общество оставалось под управлением Никиты Муравьева, Рылеева, Оболенского и Пущина. Последний оставил артиллерию и определен судьей надворного суда в Москву. Он находил, что в этом звании он более принесет пользы Отечеству, нежели в звании артиллерийского офицера.

В столицу приехал из Грузии Якубович. Он был не раз оскорблен по службе. Отличная репутация его в Кавказском корпусе, где он, невзирая на то, что был только в чине капитана, имел значительную команду на линии, не привлекла на него внимание государя. Якубович, если не в сердце, то на словах, питал к нему сильную ненависть и часто, в сообществе с военными, говорил о непременном своем намерении отомстить за претерпленные оскорбления. Были члены, которые изъявили мысль, что если Якубович исполнит свое намерение, то общество должно последствиями его воспользоваться. Другие, также приняв слова Якубовича за истину, говорили, что надобно воспрепятствовать ему в исполнении. Никита Муравьев, который должен был отлучиться из Петербурга, известил письмом об этих обстоятельствах Трубецкого и просил его содействия на обуздание Якубовича. Другие члены поручили также ехавшему через Киев фон дер Бриггену уведомить обо всем Трубецкого. Последний поспешил в столицу. Увидев Якубовича, убедился со слов его, что выражение его ненависти преувеличено и что он не способен ни на какое злодеяние. Незадолго пред этим были смотры корпусов 1-й армии; и когда был в сборе корпус ген. Рота, то некоторые члены Южного общества открыли между офи-

церами этого корпуса тайное общество под названием Славянского. Они вступили с ним в сношение, открыли ему о существовании своего и хотели его к своему присоединить, хотя, кажется, и не успели узнать, в чем, собственно, цель Славянского общества состояла.

В это время неожиданное известие поразило столицу: государь был при смерти. Через два дня пришло известие о его кончине. Кто был тогда в Петербурге, тот знает, какое уныние овладело всеми жителями. Чувство это объясняется и отношениями, которые существуют между русским государем и его подданными, и самим поведением Александра в течение 25-летнего его царствования, исполненного важнейшими событиями, какие когда-либо представлялись в истории мира. В самодержавном правлении, таком, как в России, личные качества государя имеют самое сильное влияние на судьбу народа. Русский царь не силен доставить благоденствие своим подданным, но каждая ошибка его, всякий недосмотр с его стороны сможет быть причиною всяких народных бедствий. Правда, царствование Александра не обошлось без них. Россия много при нем вытерпела, но его в том никто не винил. Виновником всех своих бедствий Россия признавала Наполеона; и попытки противиться ему, оставаясь долгое время безуспешными, вменялись Александру в достоинство, и когда борьба с этим величайшим гением своего времени кончилась к славе русского народа, то блеск ее не переставал озарять и царя до конца его жизни.

За событием такой важности должно было последовать другое, не менее важное. К владычеству Александра привыкли; мысль о наследнике пугала всех, тем более что покрыта была неизвестностью, кто будет этот наследник. При всех своих недостатках Александр почитался несравненно лучше своих братьев. Его озарял блеск славы, приобретенной борьбой с Наполеоном, величайшим гением своего времени. Великодушие его к победе, кротость к побежденным, отсутствие тщеславия не изгладились в памяти людей, хотя доверенность к нему народов и была поколеблена. Хотя в Европе укоряли его в неисполнении тех обещаний, которые были даны народам в 1813 г. и потом повторены торжественно на Венском конгрессе; хотя он и в собственном Отечестве своем не оправдал тех ожиданий, которые породили слова его; хотя он был привязан крепко к мысли

о своем самодержавии и, казалось, довольный приобретенною славою, не радел о благоденствии своих подданных, словом сказать, обленился; хотя ко всему этому должно прибавить черты деспотизма против многих лиц и гонение на те идеи совершенствования, которые сам прежде старался распространить, и хотя даже он подвергся обвинению в чувстве презрения к народу, но при всем том смерть его почиталась истинным несчастьем. Может быть, всякая перемена владетельного лица в деспотическом правлении наводит страх: к недостаткам деспота, когда они не великие пороки, привыкаешь, и перемена самовластительного правителя наводит невольную боязнь. Как бы то ни было, но страх господствовал в сердцах всех тех, кто не был приближен к тому или другому из двух лиц, которые могли наследовать престол. Константин не оставил по себе хорошей памяти в столице; надеялись, однако ж, что лета изменили его, и эта надежда подкреплялась вестями из Царства Польского. Николай известен был только грубым обхождением с офицерами и жестокостью с солдатами вверенной ему Гвардейской дивизии. Двор хотел Николая, и придворные говорили, что с ним ничего не переменится, все останется как было, только будет император 25 годами моложе; Константину уже потому неприлично быть императором русским, что он женат на польке; и как допустить, чтоб простая польская дворянка поставлена была саном выше великих княгинь из домов королевских?

Вел. кн. Николай Павлович в тот день, как узнал об опасной болезни государя, собрал к себе вечером князей Лопухина и Куракина и гр. Милорадовича, представил им возможность упразднения престола и свои на оный права. Гр. Милорадович решительно отказал ему в содействии, опираясь на невозможность заставить присягнуть войско и народ иначе как законному наследнику. Хотя некоторым лицам и известно обещание Константина при его женитьбе отказаться от наследия престола, но эти обещания сделаны частно, и имп. Александр не объявлял после себя никого наследником. Воля же его, изъявленная в запечатанной бумаге, не может служить законом, потому что русский государь не может располагать наследством престола по духовной. Если Константин не захочет принять престола, то он должен сделать это манифестом от своего лица; и тогда Нико-

лай будет законным наследником, но должно начать тем, чтоб тотчас по смерти государя присягнули Константину. Николай покорился необходимости.

В публике давно было известно, что...

СИИ ЗАПИСКИ ПИСАНЫ В 1844—5 ГОДАХ

Давно носилась молва, что покойный имп. Александр Павлович готовил престолонаследником брата своего Николая Павловича. Говорили, что это сделано с согласия прямого наследника Константина Павловича при женитьбе его на польке Грудзинской. Говорили, что Александр сделал духовную на этот случай, но никакого положительного сведения по этому предмету не было. Только в прусском придворном календаре на 1825 г. Николай Павлович был показан наследником российского престола *по условию, заключенному при женитьбе* Константина; говорили, что император изъявил за это обнародование неудовольствие свое прусскому двору. Но все это, как обыкновенно бывает в самодержавных государствах, где всякое действие правительства есть государственная тайна, было известно только немногим и имело только небольшие отголоски в обществе.

Известно, что император Александр Павлович скончался почти скоропостижно. В Петербурге узнали о кончине его почти в одно время, как и о болезни. Первый курьер из Таганрога привез (24 ноября) известие о его болезни, третий (27-го) о его кончине в самое то время, когда вся императорская фамилия служила благодарный молебен за полученное им облегчение, которое известие привезено было в этот же день поутру 2-м курьером, за несколько часов до его кончины отправленным.

Молебен был прерван. Собрался Государственный совет. Все члены молчали. Уста тех, которых голоса привыкли слышать в Совете, сомкнулись. Голос одного гр. Милорадовича был слышан. Он приглашал присягнуть законному наследнику Константину Павловичу. Кн. Голицын требовал прочтения духовной покойного государя. Гр. Милорадович согласился, оговоря, что духовная эта не может быть обязательством ни для кого и что прослушать ее можно только для того, чтоб показать знак уважения к покойному. Духовная принесена и прочтена для сведения. Члены встали и пошли

объявить вел. кн. Николаю Павловичу, что должно присягнуть Константину, вместе с ним пошли к Марии Федоровне, а оттуда в придворную церковь для принесения присяги.

Гр. Малорадович, как петербургский военный губернатор, приказал коменданту послать приказ по караульным постам, чтоб караулы были тотчас приведены к присяге Константину. Между тем поставили налой для присяги внутреннего караула, бывшего от 1-го батальона Преображенского полка. По ответе на вопрос о причинах этого приготовления головной гренадер вышел и сказал, что они даже и о болезни государя не слыхали, и оказывал с прочими сопротивление и недоверчивость к справедливости известия о смерти его величества. Никто из генералов не мог убедить их в истине кончины, доколе не пришел вел. кн. Николай Павлович и не объявил, что он сам присягнул уже новому государю Константину Павловичу. Тогда караульные гренадеры согласились принять присягу.

Сенаторы присягнули по изустному объявлению о кончине, сделанному министром юстиции. О запечатанном конверте, отданном покойным государем для сохранения в Сенате с тем, чтоб, не приступая ни к чему после его смерти, сначала распечатать его и прочесть в полном собрании, не было даже и спроса. На вопрос министру одного из обер-прокуроров его превосходительство приказал его прислать к себе на дом. Общая присяга последовала по напечатании о том сенатского указа.

Возвратясь в свой дворец, вел. кн. Николай Павлович послал за бывшим в отставке действ. стат. сов. Опочининым и просил его съездить к Константину Павловичу и напомнить ему, что он сам добровольно отказался от наследования престола пред своей женитьбой еще в 1822 г. Несколько часов держал его у себя и только вечером отпустил, снабдив его письмами, с тем, чтоб он немедленно отправился. Опочинин уехал в ночь. Великий князь присылал удостовериться, точно ли он уехал. На другой день вечером Опочинин возвратился с вел. кн. Михаилом Павловичем, которого он встретил, едущего из Варшавы. Узнал, что в Царстве Польском Константин не приводил никого к присяге и в тот день, когда получил известие о смерти императора, заперся и видеть никого не хотел. Опочинин вновь

был чрез несколько часов отправлен с новыми письмами и возвратился уже по присяге Николаю Павловичу.

Необъявление известия о смерти государя, полученного Константином прямо из Таганрога, доказывало, что он или ожидает дальнейших известий из Петербурга, или не желает наследия. Но после принесения ему присяги он только один имел власть разрешить от нее своих подданных.

Опочинин должен был уговорить его прислать манифест о своем отречении. Он поехал с сильным желанием привезти его самого в ту столицу, в которой должна была решиться участь государства. В семействе его, однако же, не надеялись, чтоб он успел в этом намерении. Помнили, что Константин много раз говорил, что царствовать не хочет, и прибавлял: «Меня задушат, как задушили отца».

Столица государства представляла тогда странное явление. Был названный государь, но не было действительного, и никто не знал наверное, кто им будет. Константин в течение последних лет пребывал в Варшаве, сделался почти чужим для русских и потому не имел в Петербурге приверженцев. Воспоминания, которые оставались о нем, не привлекали к нему публики, хотя говорили, что нрав его много изменился к лучшему, но многие, особенно придворные, вооружались против него. Гордость дам оскорблялась мыслью, что полька, и притом незнатного рода, может быть императрицей.

Молодые великие князья также не имели дара поселить к себе любовь, их особенно не любили военные. Однако ж большая часть высшего круга желали иметь императором Николая. Надеялись, что при нем двор возвысится, что придворная служба получит опять прежний почет и выйдет из того ничтожества, в котором была при покойном государе и в которое еще бы более погрузилась при Константине.

Надеялись, что двор будет не так скучен, вел. кн. Александра Федоровна была молодая еще женщина, любила веселости и удовольствия. При знакомом императоре и императрице все надеялись сохранить занимаемые ими места и потому говорили, что если будет Николай императором, то все останется в прежнем положении, только государь будет 25 годами моложе.

Так говорили придворные. Другие классы общества молча ожидали окончания междуцарствия. Они пони-

мали свою незначительность, хотя, впрочем, более были склонны к Константину, но только потому, что в пожилом человеке предполагали больше опытности, нежели в молодом, который до тех пор занимался единственно фрунтовою службою. Народ был вообще равнодушен. Одни военные искренне желали, чтоб Константин остался императором. Им молодые великие князья надоели. Гвардейские офицеры с нетерпением ожидали приезда своего нового государя. Солдаты, ничего не зная о происходившем, не ожидали никакой новой перемены и уверены были, что государь скоро к ним прибудет.

Можно утвердительно сказать, что эта уверенность солдат была причиной спокойствия столицы в эти дни и этим обязаны бывшему военным ген.-губ. гр. Милорадовичу.

Его деятельному попечению обязаны, что до слуха солдат и народа не доходило и о том, что готовится какое-либо необыкновенное событие. Он смело принял на себя всю власть, которая заключалась в высших государственных местах, и полную ответственность за спокойствие не только одной столицы, но всего государства. Он был тогда единственным действующим лицом и распорядителем всего с самого начала и до конца, сохранив присутствие духа, хладнокровную и твердую деятельность. Он был единственным виновником присяги законному наследнику и устранения духовной покойного государя. Убежденный им вел. кн. Николай покорился власти закона и терпеливо ожидал престола от добровольного и торжественного отречения Константина. Меры, принятые им, содержали в спокойствии гвардию и народ. Николаю Павловичу нельзя не отдать справедливости, что он при всем своем желании престола, подстрекаемый сверх того голосом придворных, умел, однако ж, овладеть собою и подчиниться с покорностью закону. Престол, и еще самодержавный, имел столько прелестей, что редкий на месте Николая стал бы ожидать его терпеливо от благоволения другого. Константин, конечно, изъявил прежде, что он отказывается от наследства, и теперь, что он не хочет власти, но все это было, когда власть не была в его руках, а теперь, когда вся обширная империя присягнула ему в верности, можно ли было ручаться, что он останется столько же равнодушен к власти? Он имел бы достаточно извинений для принятия престола, на который был возведен без пред-

варительного своего согласия и в исполнение государственных законов о производстве. Умеренность Николая в этих обстоятельствах еще тем замечательна, что на противное поведение с его стороны поощрял его голос придворных и молчание всех без исключения важнейших сановников государства, а удерживаем он был одним гр. Милорадовичем. Как легко было вел. кн. заставить Государственный совет и правительствующий Сенат исполнить всякую его волю, является из последовавших ранее и позже происшествий.

В первом собрании Совета, где было объявлено известие о смерти Александра, один только голос гр. Милорадовича был слышан, прочие члены безмолвно приступили к его мнению; и Сенат также; все покорилось его воле. Сенаторы присягнули без всякого прекословия и просто по изустному объявлению министра юстиции. Когда Константин упорно отказался в присылке манифеста о своем отречении, не принял даже посланных с объявлением ему о принесенной всеми сословиями присяге, ни Совет, ни Сенат не помыслили о том, что одно только высшее правительственное место имеет власть объявить народу все случившееся, удостоверить в истине отречения Константина и несомненным следствием того — права Николая на престол. Что всякий иной образ восшествия Николая на престол должен иметь пред народом вид похищения. Если не робость виною этого молчания, то оно доказывает саверщенное незнание в государственных сановниках политических прав.

Николай оказанным уважением законов заслужил признательность Отечества, и если б он до конца сохранил то же поведение и не издал манифеста от своего имени, то он воссел бы на престол спокойно, но здесь боязнь унизить самодержавную власть взяла верх над всяким другим рассуждением.

Между тем тайное общество, следившее неусыпно за всеми происшествиями и хорошо извещенное о малейших обстоятельствах, определило в предположении воцарения Константина приостановить свое действие и ограничиться на некоторое время наблюдением, какой ход примут дела при новом императоре. Когда же начало сомневаться в принятии престола Константином и, узнав дух войска, убедилось, что восшествие на престол Николая не может последовать без сопротивления, то стало помышлять о том, чтоб извлечь из этого обстоятель-

ства всю ту пользу для России, которую действие общества до тех пор могло обещать ей только в неопределенной отдаленности.

Оно могло действовать в единственном предположении, что Константин не издаст от собственного лица манифеста о своем отречении; иначе восстание было бы неповиновением законной власти; и должно было бы действовать на военную силу обольщением. В случае даже совершенной удачи невозможно было предвидеть, к какому концу это приведет; и нельзя было надеяться, чтоб порядок и спокойствие сохранились в государстве.

Общество знало, что Сенату не будет предоставлено издание манифеста, а что сам он не осмелится взять этого на себя, но, безусловно, исполнит то, что повелено будет. Давно уже он перестал считать себя первым государственным местом, хотя и считается таковым в народе; выше его уже были Комитет министров и Совет. В последнем скорее можно было ожидать как-то людей, способных взвесить всю важность настоящих обстоятельств.

Большой наклонности к Николаю Павловичу от них не должно было ожидать, и, скорее, должно было предполагать, что они предпочитают Константина, ибо в противном бы случае они поддержали бы кн. Голицына и подали бы мнение, что нужно исполнить духовную, но этого никто не сделал.

Нельзя было также ожидать, чтоб кто из них решился бы выразить такое мнение, которое, не будучи поддержано прочими членами, подвергло бы подавшего немилости будущего государя. Следовательно, не должно было ожидать никакого начинания от высших государственных мест или лиц; и обществу оставалось действовать собственными силами. Оно чувствовало себя слишком слабым для того.

Столица, где должно было все решиться, заключала в себе небольшое число членов. Прочие были рассеяны по всему пространству обширнейшей Российской империи. Некоторые были за границей (Тургенев, Бибиков, Перовский). Несмотря на то, обстоятельства показались такими благоприятными, что оно решилось испытать свои силы и подвергнуться всем личным бедствиям, в которые неудача должна была погрузить их. Они давно уже обрекли себя служению Отечеству и презрели страх бесславия и позорной смерти.

Сколько человек ни бывает привязан к жизни, но он готов рисковать ею за всякую безделицу. Везде, где какая-нибудь страсть овладеет рассудком, человек жертвует ею, хотя в обыкновенных обстоятельствах дорожит очень бытием своим. Но во всех почти случаях, когда разум не омрачен, то за такую жертву он ожидает какого-нибудь вознаграждения, и, сверх того, есть какая-нибудь надежда на счастливый случай. Когда же идет дело на то, чтоб хладнокровно предаться опасности, утратить жизнь и, сверх того, подвергаться, может быть, бесславию и позорной смерти, то недостаточно одной врожденной храбрости. Человек, дорожащий честью, не иначе решится на такой поступок, как в полном убеждении, что прошедшая жизнь его и возложенные ею на него обязанности требуют этой великой от него жертвы. Члены общества, решившие исполнить то, что почитали своим долгом, на что обрекли себя при вступлении в общество, не убоялись позора. Они не имели в виду никаких для себя личных видов, не мыслили о богатстве, о почестях, о власти. Они все это предоставляли людям, не принадлежащим к их обществу, но таким, которых считали способнейшими по истинному достоинству или по мнению, которым пользовались, привести в исполнение то, чего они всем сердцем и всею душою желали: поставить Россию в такое положение, которое упрочило бы благо государства и оградило его от переворотов, подобных французской революции, и которое, к несчастью, продолжает еще угрожать ей в будущности. Словом, члены тайного общества Союза благоденствия решились принести в жертву Отечеству жизнь, честь, достояние, все преимущества, какими пользовались, все, что имели, без всякого возмездия.

На письма, отправленные с Опочининым, Константин Павлович не сделал никакого ответа, который бы мог послужить доказательством для народа, что он добровольно отказывается от престола и уступает его ближайшему по себе наследнику. Говорили, что ответ, которым он предоставлял престол на волю желающего, был написан в самых неприличных выражениях, что и несколько подтверждается тем, что он не был напечатан при манифесте, которым Николай объявлял о своем вступлении на престол. Должны были удовлетвориться напечатанием писем Константина Павловича покойному императору, писанных в 1822 г. во время женитьбы его

на кн. Ловичевой. Время же междуцарствия продолжалось ровно 2 недели. Никакой другой случай не мог быть благоприятнее для приведения в исполнение намерения тайного общества, если б оно было довольно сильно для приведения в действие своих предположений. Но члены его были рассеяны по большому пространству обширной Российской империи, другие были за границей. Столица, где должно было происходить главное действиие, заключала небольшое число членов. Несмотря на то, бывшие в ней члены положили воспользоваться предстоящим случаем, особенно когда в мыслящей публике поселилось ожидание, что Константин Павлович не примет следующего ему наследия престола. Причины, побудившие их воспользоваться предстоящим случаем, были следующие: 1. В России никогда не бывало примера, чтобы законный наследник престола добровольно от него отказывался, и должно было полагать, что с трудом поверят такому отказу. 2. Молодых великих князей не любили, особенно военные. Только некоторая часть двора предпочитала иметь императором Николая. Придворные дамы находили, что им низко будет иметь даже незнатного рода польку императрицей. 3. Во всех домах, принадлежащих к знатному обществу столицы, изъявлялось негодование на странное положение, в котором находилось государство. Это негодование не смело выказываться речами дерзкими или решительными, но выражалось насмешками. Но, однако же, никто из этих лиц не возвысил голоса в эти дни, в которые отозвался бы ему сильный отголосок; недостаток ли духа или любви к Отечеству? Или попечение о собственных выгодах замкнули уста? Только никто не смел выразить мысли о возможности и надобности улучшить государственные постановления. Негодование высшего круга столицы и странное положение, в котором находилось государство, изъявлялось одними плоскими насмешками. Били заклады, кому достанется престол; спрашивали, «продадутся или нет бараны?». Смеялись над тем, что от Сената послан был к императору Константину с объявлением о принесенной ему присяге чиновник, бывший за обер-прокурорским столом, известный картежный игрок, хорошо передергивающий карты; и это обстоятельство применяли с насмешками к тогдашнему случаю. 4. Наконец, члены тайного общества уверены были в содействии некоторых из высших сановников го-

сударства, которые, опасаясь действовать ясно, когда еще общество не оказало своей силы, являли себя готовыми пристать, как скоро увидели бы, что достаточная военная сила может поддержать их.

Первое действие тайного общества было удостовериться, что все его члены будут равно действовать общей его цели. Но здесь оказалось то же, что обыкновенно оказывается во всех человеческих делах. Многие члены вступили в общество, когда еще конечное его действие представлялось в неизвестной дали. Будучи его членами, они знали, что всегда будут поддержаны им и что это могло способствовать к их возвышению. Теперь, когда они не видели пользы для себя действовать сообразно видам такого общества, где члены, не имея никакой личной цели, стремились жертвовать собою единственно для блага своего Отечества и не предоставлявшего никаких личных выгод ни одному из своих членов. Многие, бывшие ревностными членами в молодости, охладели с летами. Теперь предстояло действие решительное, которое в случае успеха не представляло никаких личных выгод, с другой стороны, в случае неуспеха, грозило гибелью. Выгоднее было поддержать имеющего надежду получить престол и повергнуть себя и все свои способности и средства пред стопами того, от кого можно было надеяться наград и которому все предположения обещали успех *.

---

* Прим<еч>. к стр. 9. Многие из <в оригинале далее зачеркнуто: «спасшихся от ссылки»> оставшихся в России членов общества занимали после и ныне еще занимают важные должности в государстве <далее фамилии до Граббе вынесены на левое поле листа>: Вольховский (нач. штаба в Грузии), Гурко, Бурцов, Колошин, Михаил Муравьев, кн. Долгоруков, кн. Лопухин, Обручев, Граббе (ген.-адьют.— командовал на кавказской линии дивизией; Гурко заменил его и был начальником штаба Кавказского корпуса, ныне тож запасных войск); Мих. Горчаков — нач. штаба действующей армии; Ник. Ник. Муравьев — командовал корпусом; Мих. Ник. Муравьев — сенатор; Петр Колошин — начальник департамента; Илья Бибиков — при вел. кн. Михаиле Павловиче; Кавелин — военный ген.-губ. в С. Петербурге: Литке — наставник вел. кн. Константина Николаевича. Не поминаю других, менее значительные должности занимавших. Л. В. Перовский — министр внутренних дел; кн. Меншиков — член Общ<ества> р<усских> р<ыцарей>, начальник штаба морского. Также не считаем Сергея Шипова, Ростовцева, Моллера — изменивших обществу, и кн. Долгорукова — отступившего из страха.

Здесь прилагаем список всех пострадавших:

1. Якушкин. 2. Семенов. 3. Свистунов. 4. Муханов. 5. Мих. Орлов,

Общество видело себя ослабленным чрез отступление таких членов, которые бы непременно сделали бы значительный перевес по власти, которую чины, занимаемые ими в рядах гвардии, предоставляли в их руки, но в то же время оно видело, что большая часть офицеров гвардии не верила возможности отречения Константина. Нелюбовь их к молодым великим князьям явно оказывалась в их разговорах, и те, которым общество открыло свои намерения, с восторгом оказали готовность действовать под его руководством. Все эти офицеры были люди молодые, никто из них не был чином выше ротного командира. Надобно было найти известного гвардейским солдатам штаб-офицера для замещения передавшихся на сторону власти батальонных и полковых командиров. Этот начальник нужен был только для

---

5. Кн. Волконский. 6. Фонвизин. 7. Лунин. 8. Нарышкин. 9. Бригген. 10. Никита Михайлович Муравьев. 11. Митьков. 12. Фаленберг. 13. Кн. Голицын. 14. Артамон Муравьев. 15. Александр Мих. Муравьев. 16. Александр Ник. Муравьев. 17. Осип Поджио. 18. Александр Поджио. 19. Кн. Фед. Шаховской. 20. Вас. Л. Давыдов. 21. Андр. Быстрицкий. 22. Сутгоф. 23. Якубович. 24. Кн. Оболенский. 25. Тизенгаузен. 26. <И. И.> Пущин. 27. Басаргин. 28. Кн. Щепин-Ростовский. 29. Вольф. 30. Кн. Барятинский. 31. Юшневский. 32. Ентальцев. 33. Арбузов. 34. Крюков 1-й. 35. Лорер. 36. Вадковский. 37. Розен. 38. Гр. Зах. Григ. Чернышев. 39. Соловьев. 40. Батеньков. 41. Спиридов. 42. Анненков. 43. Ивашев. 44. Кн. Трубецкой. 45. Вегелин. 46, 47, 48. Александр, Николай, Михаил Бестужевы. 49. Торсон. 50. Кн. Одоевский. 51. Муравьев-Апостол Матвей. 52. Муравьев-Апостол Сергей. 53. Каховский. 54. Пестель. 55. Бестужев-Рюмин Мих. 56. Рылеев. 57, 58. Михаил и Вильгельм Кюхельбекеры. 59. Веденяпин 1-й. 60. Веденяпин 2-й. 61. Заикин. 62. Репин. 63. Глебов. 64. Андреевич. 65. Андреев. 66, 67. Борисовы 1-й и 2-й. 68. Горбачевский. 69. Завалишин. 70. Мозалевский. 71. Мозгалевский. 72. Мозган. 73. Корнилович. 74. Люблинский. 75. Штейнгель. 76. Повало-Швейковский. 77. Крюков 2-й. 78. Киреев. 79. Тютчев. 80. Назимов. 81. Мих. Ив. Пущин. 82. Лихарев. 83. Бечаснов. 84, 85. Аврамовы 1-й и 2-й. 86, 87. Бр. Беляевы. 88. Лисовский. 89. Бар. Черкасов. 90. Толстой. 91. Булатов. 92. Поливанов. 93. Гр. Мусин-Пушкин. 94. Цебриков. 95. Бодиско. 96. Петр Пущин. 97. Дивов. 98, 99. Бобрищевы-Пушкины. 100. Выгодовский. 101. Шимков. 102. Пестов. 103. Сухинов. 104. Ник. Тургенев. 105. Як. Толстой. 106. Игельстром. 107. Рукевич. 108. Гр. Коновницын. 109. Путята. 110. Фохт. 111. Кн. Рамоль-Сапега. 112. Фролов. 113. Раевский (имеется в виду Владимир Федосеевич Раевский.— Ред.). 114. Панов. 115. Громницкий. 116. Кривцов. 117. Берстель. 118. Норов. 119. Гр. Булгари (против № 117—119 помета: «креп<остные работы>»). 120. Загорецкий. 121. Краснокутский. 122. Чижов. 123. Фурман. 124. Шихарев. 125. Враницкий. 126. Оржицкий. 127. Кожевников. 128. Лаппа. 129. Мусин-Пушкин 2-й. 130. Акулов. 131. Вишневский. 132. Фок. 133. Ипполит Муравьев-Апостол. 134. Щепилло. 135. Казиков.

самого первого начала, чтобы принять начальство над собравшимися войсками. Был в столице полковник Булатов, который недавно перешел из Лейб-гренадерского полка в армию. Его помнили и любили лейб-гренадеры, а этот был одним из полков, на который более надеялись. Булатов согласился принять начальство над войсками, которые соберутся на сборном месте.

Общество не имело опоры в старших чинах гвардии. 2-е батальоны всех полков стояли не в городе, но в окрестностях и не могли принять участия. Из бывших в самом городе оба батальонных командира лейб-гвардии Финляндского полка, бывшие членами общества, отказали в содействии. Лейб-гвардии Семеновского полка командир Шипов признался Трубецкому, что он дал слово вел. кн. Николаю привести к присяге свой полк, как скоро получит от него приказание; кроме членов из обер-офицеров, присоединились все те, которые отозвались несогласием дать присягу новому императору, если Константин не объявит о том изустно перед войсками или изданным от себя манифестом. Манифесту нельзя верить в отсутствие Константина. Многим из таковых не было даже доверено о существовании общества, и они действовали просто по убеждению долга.

В полках Измайловском, Егерском, Лейб-гренадерском, Финляндском, в Морском экипаже и частью в артиллерии очень ясно в этом объяснились офицеры. Преображенского полка солдаты оказывали сильное нерасположение к Николаю. На кавалергардов можно также было несколько полагаться, и потому план общества был следующий: воспользовавшись упорством солдат, не давать новой присяги, вывести полки и посредством их, собрав другие, заставить Сенат: 1) издать манифест для возвещения народа, в каких необычайных обстоятельствах находится Россия, и для приглашения выбранных людей от всех сословий для решения предстоящего затруднения.

Между тем стало известно, что имп. Константин сам не едет и не хочет дать от себя манифеста о своем отречении и передаче престола Николаю Павловичу. Обстоятельство очень затруднительное для последнего. Надобно издать манифест от собственного лица, но каким образом убедить в истине отречения и на каком праве основать свое вступление? Не будет ли оно иметь всех признаков похищения? Издать манифест именем

Сената было бы действие самое законное и народное, потому что народ привык получать все указы из Сената; находили, что это было бы предоставить такую власть Сенату, которая принадлежит одному только императору, а такой пример мог служить на будущее время поводом Сенату распоряжаться и самою верховною властью по своему усмотрению. В таких обстоятельствах решились издать манифест от лица императора, принимающего престол, и обнародовать письма Константина Павловича к покойному императору; начать присягу с военной силы и обязать гвардейских полковых командиров под личную ответственность, если они не сумеют преодолеть ожидаемого упорства подчиненных им полков. Гр. Милорадович, убедивший Николая в необходимости предоставить престол законному наследнику, видя странное действие Константина, решился теперь содействовать к преодолению препятствий о провозглашении Николая императором.

Тайное общество, хорошо извещенное о всех действиях великого князя и всего военного начальства, а также о мыслях офицеров и нижних чинов, проявлявшихся в их разговорах, распорядило действия свои сообразно этим сведениям. Оно знало, что трудно будет или даже и совсем невозможно уверить всех нижних чинов и многих офицеров, что Константин Павлович произвольно отказался от престола. Даже в народе признавали законным не Николая, а Михаила, как родившегося в то время, как отец был императором. Одна привычка к безусловному повиновению и насильство могли заставить солдат присягнуть по требованию их начальников; а так как начальники полков большей частью были мало любимы подчиненными и не имели их доверенности, то легко было поколебать их повиновение. Действительно, когда поутру 14 декабря выведены были в полках люди для присяги, то вообще они оказали недоумение и нерешительность, которые при первых словах офицеров, изъявивших сомнение касательно законности требуемой присяги, обратились в явное упорство. Русский солдат так, однако ж, привык к слепому повиновению, что большая часть начальников успели удержать своих подчиненных. Но Фридерикс и Стюрлер, бывшие нелюбимы более прочих, и Карпов, не имевший никакого уважения подчиненных, не могли удержать вверенных их начальству.

Известно, что высшее военное начальство привыкло почитать русского солдата болваном, который поворачивается и идет туда, куда его направит начальник. Однако ж гр. Милорадович, собиравший в продолжение всего времени междуцарствия сведения о духе и расположении солдат и офицеров, убедился, что не легко будет заставить их присягнуть посредством манифеста, изданного от имени того лица, которое желает воссесть на престол. Граф тщетно добивался, чтоб этот манифест был издан тем императором, которому присягнули уже, и только в таком случае обещал, что порядок в столице не будет нарушен. Сомнения графа поколебали уверенность Николая, тем более что и он со своей стороны от приверженцев своих был предварен о расположении гвардии и о существовании тайного общества, намеревавшегося воспользоваться этим расположением. В ночь с 13-го на 14-е число полковой командир Преображенского полка старался привлечь свой полк на сторону Николая Павловича. Это казалось тем необходимее, что гренадерский взвод роты его величество изъявил наклонность к сомнению в бытность свою во внутреннем карауле в день присяги. Кроме обещаний, роздана была большая сумма денег, и поутру, когда выведен 1-й батальон и Николай Павлович, подъехав, спросил рядовых, хотят ли они его своим государем, они отвечали утвердительно. Тогда он приказал зарядить ружья и идти за ним.

Происшествия 14-го числа и последующих дней известны. Казематов Петропавловской крепости недостало для помещения всех арестованных, взятых в столице и привезенных со всех сторон обширной Российской империи. Военное сопротивление преодолено, и вся знать, все государственные чины и верховные правительственные места безусловно признали воссевшего на российском престоле. Никто не осмеливался изъявить мнения, что неправильность принятия скипетра в новые руки могла быть причиною бывшего сопротивления. Все приписано было злонамерению тайного общества, и члены его, также и все участвовавшие в происшествиях сих дней преданы были суду как злоумышленники и ослушники законной власти.

Все нижние чины, схваченные на месте битвы, были заключены в Петропавловской крепости. Все прочие лица приводились во дворец, и новый император сам всех допрашивал. На многих гнев его выражался руга-

тельством. Кн. Оболенский был приведен с связанными руками; император обругал его и, обратившись к стоящим генералам, сказал: «Вы не можете себе вообразить, что я от него терпел». Кн. Оболенский был старшим адъютантом в дежурстве Гвардейской пехоты, а Николай Павлович, как великий князь, командовал одной из дивизий Гвардейской пехоты. Многие из верноподданных сами спешили привозить к императору ближайших своих родственников, не дожидая, чтоб приказано было их взять. Так, В. С. Ланской не дозволил родному племяннику жены своей, кн. Одоевскому, никакой попытки к избежанию ожидавшей его участи и, не дав ему ни отдохнуть, ни перекусить, повез во дворец. Супруга Ланского наследовала 2 тыс. душ от кн. Одоевского по произнесении над ним приговора. Были, однако ж, лица, оказавшие сострадание и человеколюбие. Кап.-лейт. Николай Бестужев, укрываясь от преследования, вошел в незнакомый ему дом и, пройдя ряд пустых комнат, очутился в кабинете одного знатного пожилого человека. Удивленный неожиданным явлением, N спросил Бестужева, чего он хочет, и, узнав, что он скрывается и голоден, запер его в своем кабинете, сам принес ему закусить, предложил денег и сказал, что скрыть его у себя не может, потому что имеет сына в гвардии, который непременно его выдаст, но проводит его сам из дому скрытно. Во время разговора услышали в ближайшей комнате голос сына, возвратившегося с несколькими другими офицерами и резко изъявлявшего свое мнение против лиц, действовавших в сей день. Старик немедля вывел Бестужева, который успел уехать в Кронштадт.

Многие бежавшие с площади нижние чины и офицеры скрывались в доме тещи моей, и он был окружен с обеих сторон. Сестра тещи моей, кн. Б<елосельская-Белозерская>, предложила ей ночлег в своем доме, а сестра жены моей, гр. Л<ебцельтерн>, предложила в своем доме — жене моей и мне. Это после причтено мне было, как намерение укрыться в доме иностранного посланника. Ночью с 14-го на 15-е число гр. Лебц<ельтерн> приходит меня будить и говорит, что император меня требует. Я, одевшись, вошел к нему в кабинет и нашел у него гр. Нессельроде в полном мундире, шурина его, гр. Александра Гурьева, который пришел из любопытства и с которым мы разменялись пожатием руки, и фли-

гель-адъют. кн. Андрея Михайловича Голицына, который объявил мне, что меня требует император. Я сел с ним в сани, и, когда мы приехали во дворец, он в прихожей сказал мне, что император приказал ему потребовать у меня шпагу: я отдал, и он повел меня в генерал-адъютантскую комнату, а сам пошел доложить. У каждой двери стояло по трое человек. Везде около дворца и по улицам, к нему ведущим, стояло войско и были разведены большие огни. Меня позвали; император пришел ко мне на встречу в полной форме и ленте и, подняв указательный палец правой руки прямо против моего лба, сказал: «Что было в этой голове, когда вы с вашим именем, с вашей фамилиею вошли в такое дело? Гвардии полковник! Князь Трубецкой!.. как вам не стыдно быть вместе с такою дрянью? Ваша участь будет ужасная»,— и, обратившись к генералу Толю, который один был в комнате, сказал: «Прочтите». Толь выбрал из бумаг, лежавших на столе, один лист и прочел в нем показание, что бывшее происшествие есть дело общества, которое кроме членов в Петербурге имеет еще большую отрасль в 4-м корпусе, и что дежурный штаб-офицер этого корпуса лейб-гвардии Преображенского полка полк. Трубецкой может дать полное сведение о помянутом обществе. Когда он прочел, император спросил: «Это Пущина?».

Толь: — Пущина.

Я: — Государь, Пущин ошибается...

Толь: — А! вы думаете, это Пущин? А где Пущин живет?

Я видел, что почерк не Пущина, но думал, что, повторив имя его, может быть, назовут мне показателя. На вопрос Толя я отвечал: «Не знаю».

Толь: — У отца ли он теперь?

Я: — Не знаю.

Толь: — Я всегда говорил покойному государю, ваше величество, что 4-й корпус — гнездо тайного общества и почти все полковые командиры к нему принадлежат; но государю не угодно было верить.

Я: — Ваше превосходительство имеете очень неверные сведения.

Толь: — Уж вы не говорите, я это знаю.

Я: — Последствия докажут, что ваше превосходительство ошибаетесь. В 4-м корпусе нет никакого тайного общества, я за это отвечаю.

Император прервал наш спор, подав мне лист бумаги, и сказал: — Пишите показание, — и показал мне место на диване, на котором сидел и с которого теперь встал. Прежде, нежели я сел, император начал опять разговор: — Какая фамилия! Князь Трубецкой! Гвардии полковник! И в таком деле! Какая милая жена! Вы погубили жену. Есть у вас дети?

Я: — Нет.

Император, прерывая: — Вы счастливы, что у вас нет детей. Ваша участь будет ужасная! ужасная! — и, продолжав некоторое время в этом тоне, заключил: — Пишите все, что знаете, — и ушел в другой кабинет.

Я остался один. Видел себя в положении очень трудном. Не хотел скрывать принадлежности своей к тайному обществу, что и не привело бы ни к чему доброму, потому что ясно было из прочтенного мне и многих исписанных листов, что более известно, нежели бы я желал. Но между тем я не хотел иметь возможность упрекать себя, что я кого бы то ни было назвал. И потому я в своем ответе написал, что принадлежу к тайному обществу, которое имело целью улучшение правительства, что обстоятельства, последовавшие за смертью покойного императора, казались обществу благоприятными к исполнению намерений его и что они, предприняв действие, избрали меня диктатором, но что я, наконец, увидя, что более нужно мое имя, нежели лицо и распоряжение, удалился от участия. Этой увerткой я надеялся отсрочить дальнейшие вопросы, к которым не был приготовлен. Пока я писал, вошел Михаил Павлович и подошел ко мне, постоял против меня и отошел. Между тем приводили другие лица, которых расспрашивал Толь, которых потом выводили. Входил и император для допросов и уходил обратно. Когда я окончил писать, подал лист вошедшему Толю; он унес его к императору. Несколько погодя Толь позвал меня в другой кабинет.

Я едва переступил за дверь, император — навстречу в сильном гневе: — Эх! что на себя нагородили, а того, что надобно, не сказали. — И, скорыми шагами отойдя к столу, взял на нем четвертку листа, поспешно подошел ко мне и показал: — Это что? Это ваша рука?

Я: — Моя.

Император, крича: — Вы знаете, что я могу вас сейчас расстрелять!

Я, сжав руки и также громко: — Расстреляйте, государь, вы имеете право.

Император, также громко: — Не хочу. Я хочу, чтоб судьба ваша была ужасная.

Выпихав меня своим подходом в передний кабинет, повторял то же несколько раз, понижая голос. Отдал Толю бумаги и велел приложить к делу, а мне опять начал говорить о моем роде, о достоинствах моей жены, о ужасной судьбе, которая меня ожидает, и уже все это жалобным голосом. Наконец, подведя меня к тому столу, на котором я писал, и подав мне лоскуток бумаги, сказал: — Пишите к вашей жене.— Я сел, он стоял. Я начал писать: «Друг мой, будь спокойна и молись богу...» — император прервал: — Что тут много писать, напишите только: «Я буду жив и здоров». Я написал: «Государь стоит возле меня и велит написать, что я жив и здоров». Я подал ему; он прочел и сказал: — Я жив и здоров буду, припишите «буду» вверху. Я исполнил. Он взял и велел мне идти за Толем. Толь, выведя меня, передал тому же кн. Голицыну, который меня привез и который теперь, взяв конвой кавалергардов, отвез меня в Петропавловскую крепость и передал коменданту Сукину. Шубу мою во дворце украли, и мне саперный полковник дал свою шинель на вате доехать до крепости. Здесь я несколько часов дожидался сначала в зале, потом в домовой церкви до тех пор, как отвели меня в № 7 Алексеевского равелина. В церкви я горячо помолился, особенно при мысли, что, может быть, я более никогда уже не буду в храме божием.

Когда меня привели в назначенный мне № 7 равелина, велели раздеться и, оставя на мне только рубашку, портки и чулки, подали халат и короткие туфли, которые чрез несколько дней переменили на большие изорванные. Окно мое не было замазано подобно другим окнам; причины этому я никогда не мог узнать.

Окошечко в дверях, завешенное снаружи, давало возможность видеть меня во всякое время, а мне воспрещало видеть, что делается в коридоре. На ночь горела на окне лампада, которую зажигали, как скоро погасала. Мебель состояла из жесткой очень постели, маленького столика, стула и судна. Вечером подали свечу и щипцы, у которых обломан был кончик. Ножей и вилок не давали, посуда была оловянная. Чрез несколько дней жена моя прислала мне белья, и мне давали его в пере-

мену. Осматривали пристально, чтоб ничего не было остроконечного, даже булавки. Пищу давали: поутру чай с белой булкой; обедать суп или щи, говядину и кашу или картофель; вечером чай и ужин. В течение первых, не менее как шести, недель по ночам будили нас громким стуком; на вопросы о стуке не давали ответа, и вообще все вопросы почти всегда оставались без ответа или ответ был: «не знаю, не слыхал» и т. п. В течение дня и по вечерам прислужники подкрадывались тихонько в валенках или чем подобном, чтобы слышно не было их шагов, и украдкой посматривали в дверное окно. Случалось сначала часто слышать и деревяшку коменданта, сопровождавшую ноги, обутые в сапоги и шпоры, и голоса, между которыми многие полагали похожий на голос императора. Однажды я довольно внятно слышал, как Сукин с уважением отвечал и называл номера и сидящих в них.

17-го вечером пришел за мной плац-адъютант и принесли мне мой мундир. Я оделся, и меня отвели в дом коменданта, где я нашел ген. Левашова. Дорогой я, будучи в одном мундире, жестоко озяб, и, кажется, Левашов принял дрожь мою за трусость, потому что он спросил меня, отчего я дрожу. Сказав мне по-французски, что он прислан от императора, и прибавил:— Ah! mon Prince, vous avez fait bien du mal à la Russie, vous l'avez reculée de cinquante ans! *

Потом он стал спрашивать меня о составе и образовании Южного общества. На ответ мой, что я никаких сведений ему дать не могу, потому что сам их не имею, он мне прочел многие подробности, из которых я, к удивлению, увидел, что известен весь состав и все лица. (Я не знал, что Майборода сделал свой донос.)

Я: — Вы, генерал, гораздо больше знаете, нежели я: почти все, что вы мне читали, для меня ново.

Он: — Это не может быть, вы только не хотите сказать.

Я: — Если б я желал, то ничего не могу сказать, потому что ничего этого не знал.

Он: — Вы были на юге, и вы виделись с Пестелем.

Я: — Нет, я Пестеля не видел уже несколько лет. Могу ли я теперь об нем просить?

---

* Ах, князь, вы сделали много зла России, вы ее отодвинули назад на пятьдесят лет! *(фр.)*.

Он: — Он арестован. Если вы не хотите мне отвечать, то вы можете писать прямо к государю.

Спросив меня, принадлежит ли к обществу полк. И. М. Бибиков, и получив от меня отрицательный ответ, ген. Левашов меня отпустил. Мне показалось, что ген. Левашов не очень поверил моему утверждению о непринадлежности Бибикова к тайному обществу, и потому я, возвратившись в номер, спросил лист почтовой бумаги, перо и чернильницу и написал к Левашову письмо, в котором утверждал, что Бибиков положительно не принадлежал к тайному обществу и ничего не знал ни о существовании его, ни о 14-м числе.

В один из следующих дней пришел ко мне смотритель равелина старик Лилиенанкер с большим конвертом в руке и спросил меня, писал ли я к государю. На отрицательный мой ответ сказал, что кто-то писал из равелина и что, вероятно, он ошибся номером.

23-го вечером приходит за мной плац-адъютант. Я оделся; меня повезли в дом коменданта. Войдя в комнату, я нашел сидящих за столом: в голове — военного министра Татищева, по правую его руку — вел. кн. Михаила Павловича, по левую — кн. А. Н. Голицына, возле них ген.-адъют. Голенищева-Кутузова, Бенкендорфа, Левашова, флиг.-адъют. полк. Адлерберга и 5-го класса Боровкова. Начались вопросы о 14-м числе, о цели, о средствах достижения цели его.

Я отвечал, что цель была доставить России правильное правление, воспользовавшись обстоятельствами, небывалыми в России; что мы уверены были, что войско не поверит манифесту, который не будет издан от лица государя, которому присягали, и упорство войска принести присягу хотели обратить к произведению в законоположении тех перемен, которые избавили бы Отечество наше на будущее время от переворотов, подобных Французской революции; что, когда сопротивление оказалось бы довольно сильное, вероятно, власть вступила бы с нами в переговоры, и тогда мы могли бы Отечеству своему доставить то, чего желали.

Вел. кн.: — Кто вступил бы с вами в переговоры?

Я: — Государь.

Вел. кн. с гневом: — С вами? с бунтовщиками!? Это дело иностранное. На площади был кн. Шварценберг, от австрийского посольства.

Я: — Мы не допустили бы никакого иностранца вмешаться в наше дело. Оно должно было быть совершенно русское.

Вел. кн.: — Как зовут секретаря графа Лебцельтерна?

Я: — Их несколько.

Вел. кн.:— Son secretaire particulier? *

Я: — Я не знаю его имя.

Вел. кн.: — Как вы не знаете? Humlauer.

Я: — Он не частный секретарь, но секретарь посольства.

Вел. кн.: — Все равно.

Продержав меня довольно долго, отпустили. Выходя в другую комнату, я увидел, что поспешно накинули кому-то, небольшого роста, на голову мешок, чтобы я не узнал. 24-го вечером опять потребовали меня, и я нашел то же собрание. Сегодня вопросы были многочисленнее: два, три человека спрашивали разные вещи в одно время с насмешками, колкостями, почти ругательствами, один против другого наперерыв.

Между прочими после разных вопросов о разговорах и совещаниях между членами до 14-го числа Бенкендорф спросил:

— Когда все было положено между вами, вы, возвратившись домой, поверили все княгине, вашей жене?

Я: — Нет, генерал. Я жене ничего не поверял, она знала не более, как и вы.

Бенкендорф: — Почему не поверить, это очень натурально. Когда любишь жену, то очень натурально поверить ей свои тайны.

Я: — Я не понимаю, какое вы имеете понятие о супружеской любви, когда полагаете, что можно поверить жене такую тайну, которой познание может подвергнуть ее опасности.

Бенкендорф: — Да что тут удивительного? C'est trés naturel, que vous avez confié a votre femme les projets, qui vous occupaient, et il n'y a rien là qui doive étonner. C'est fort simple, si vous n'avez pas tout dit à la princesse, vous deviez necessairement lui confier, du moins, quelque chose**.

---

* Его личный секретарь? *(фр.)*

** Это очень естественно, что вы доверяли вашей жене прожекты, которые вас занимали, и в этом нет ничего, что должно удивить, это очень просто. Если бы вы не говорили ничего княгине, то вы должны были ей доверить хоть что-нибудь *(фр.)*.

При каждом вопросе Бенкендорфа мое негодование возрастало и теперь возросло до высочайшей степени.— Je ne sais pas, Genéral, comment vous aimez votre femme, mais ce que je sais moi, c'est que si jammais j'avais confié, à ma femme un secret, dont la connaissance aurait pu sculement la compromettre je me serais considéré comme un infâme *.

Левашов, который сидел последний ко мне и возле Бенкендорфа, поспешил теперь прервать разговор, и, обратясь к нему, сказал: — Ecoutes Benkendorff, c'est, tres probable, que le prince n'a voalu rienconfier a sa femme et qu'elle n'a rien sú **.

Я, наконец, сказал: — Господа, я не хочу отвечать всем вместе, каждый спрашивает разное, извольте спрашивать меня по порядку, и тогда я буду отвечать.

Ген.-адъют. Кутузов <Голенищев>:—Нет, эдак лучше, скорее собьется.

Я: — Надеюсь, что не доставлю этого удовольствия вашему превосходительству. Я повторяю, что не могу отвечать, когда меня так спрашивают, как теперь. Все говорят, вместе наперерыв. Напали на меня, как на бешеную собаку. Вы требуете ответа о бывшем за несколько тому лет. Можно ли все припомнить в одну минуту. Если всем вам угодно иметь от меня ответы, задайте мне писаные вопросы, и тогда я буду отвечать.

Почти все: — Вот еще, отвечайте словесно.

Я: — Я не могу отвечать.

Вел. кн:. — Требование кн. Трубецкого справедливо. Задайте ему письменные вопросы и пошлите их к нему, чтобы он отвечал.

Члены согласились. Все встали. Кн. Голицын подошел ко мне и сказал: — Государь вами очень недоволен. Вы не хотите ничего отвечать, государю ваши ответы не нужны для узнания дела; все уже известно. Он желает видеть только вашу откровенность и что вы чувствуете милости его. Не заставьте принять с вами неприятных для вас мер.

Я: — Я уже сказал государю в первый день все, что касается моего участия, и готов пополнить все, что угод-

* Я не знаю, генерал, как вы любите вашу жену, но сам я знаю, что если бы я когда-нибудь доверил моей жене тайну, знание которой могло ее скомпрометировать, я счел бы себя бесчестным *(фр.)*.

** Послушайте, Бенкендорф, вполне возможно, что князь не захотел ничем поделиться со своей женой и что она ничего не знала *(фр.)*.

но будет его спросить. Но согласитесь, ваше сиятельство, что я не могу быть доносчиком.

Подошел военный министр и плачущим тоном стал уговаривать меня, чтоб я все открыл. Наконец меня отпустили, продержав очень долго. Я пришел в свой номер в изнеможении и стал харкать кровью.

На другой день Рождества Христова я был болен. Присланы вопросные пункты, на которые отвечал.

Не помню, в какой день я получил запросы о письме, писанном чрез Свистунова в Москву к Степану Михайловичу Семенову. Отвечал, что уведомлял его о происшествиях, бывших в Петербурге. Потом получил запрос: «Кем Семенов принят в общество?». Отвечал, что не знаю. Вечером требуют меня в Комитет. После различных вопросов о знакомстве моем и переписке с Семеновым и о принадлежности его к обществу отвечал, что полагал его членом, но утвердительно сказать не могу, чтоб он был им. Говорят мне, чтоб я обернулся назад, и спрашивают, узнаю ли я Семенова? Я обернулся и увидел его за собою. Повторяют вопрос: «Этот ли Семенов принадлежал к обществу?» На повторный мой ответ, что я утвердительно сказать не могу, принадлежал ли он к обществу, Семенов возразил: «Как же, князь! Вы знаете, что я не принадлежал к обществу, вы меня в тайное общество не принимали, а с тех пор, как я уехал из Петербурга, вы знаете, где я был и что я там не мог быть принять никем».

Я: — Г-н Семенов говорит правду; я его никогда не принимал и не знаю, чтоб кто другой его принял.

Вопрос: — Вы писали к г-ну Семенову через Свистунова: вы писали к нему, как к члену тайного общества?

Я: — Что я писал г-ну Семенову, я мог писать и ко всякому другому знакомому, хоть бы он и не был членом тайного общества.

Вопрос: — Но ведь вы полагали г-на Семенова членом тайного общества и писали к нему не только чрез Свистунова, но и прежде с ним переписывались?

Я: — Наша переписка касалась единственно личных дел г-на Семенова.

Семенов: — Кн. Трубецкой знает, что, когда мы виделись с ним последний раз, я не был членом тайного общества, это он может подтвердить. С тех пор я жил три года, отдален от всех моих знакомых.

Ген. Левашов, обращаясь к Комитету: — Кн. Трубец-

кой не хочет доказать, что г-н Семенов принадлежит к тайному обществу, и я знаю почему. Г-н Семенов принял брата его, и кн. Трубецкой боится, чтоб г-н Семенов этого не объявил, когда он докажет ему, что он член тайного общества.

Я: — Предположение ген. Левашова несправедливо, ни один из моих братьев не принадлежит к обществу.

Левашов: — Ваш брат, который служит в Кавалергардском полку, член тайного общества.

Я: — Неправда.

Левашов, к Комитету: — Г-н Семенов воспитывал меньшого брата кн. Трубецкого и принял его в тайное общество.

Я: — Неправда. Брат мой, о котором говорит теперь ген. Левашов, не принадлежит к тайному обществу, и ни один из моих братьев не знает о существовании тайного общества.

Г-н Семенов приезжал из Москвы с моею мачехою и жил у нее в доме, занимаясь меньшим моим братом, и если б он тогда был членом тайного общества, то не мог бы принять моего брата, которому было не более 15 лет. Тогда г-н Семенов не был членом общества, а после того он брата моего не видал.

После этого Семенов продолжал доказывать, что он не мог принадлежать к тайному обществу, опираясь более на том, что он был в разлуке с членами его, и на том, что изо всех он был более знаком со мною и что, кроме меня, никто по этой причине не мог бы его принять, а что я его не принимал, в этом он ссылается на меня. И вообще все свои ссылки на меня делал так ловко, что я должен был, по справедливости, все подтверждать. Наконец меня отпустили, оставив Семенова.

В другой раз призвали меня, также вечером, в Комитет, который я нашел этот раз полнее прежнего. Тут сидели кроме прежних виденных мною лиц г-да Дибич и Потапов. Во все время говорил и допрашивал Дибич один. Пред Комитетом стоял Батеньков. Требовали, чтобы я доказал, что Батеньков принадлежал к обществу, и говорили, что 19 есть на то показаний. Я ответствовал, что доказать о принадлежности Батенькова не могу, потому что не знаю, чтоб кто когда его принимал, и сам никогда не говорил с ним об обществе, что я с ним очень мало был знаком; что раз я разговаривал с ним перед

14-м числом о странных обстоятельствах, в которых было тогда наше Отечество, и что этот разговор оправдывался бывшими тогда обстоятельствами, и не нужно было принадлежать к тайному обществу, чтоб разговаривать о таком предмете, который так много всех занимал.

Сидя в своем номере равелина, я дивился, что не имею вопросов о членах общества на юге. Раз только получил я бумагу, в которой было сказано, что полк. Пестель показывает одно обстоятельство, на которое требовали моего объяснения, и более никогда не поминали ни о ком из южных членов. Я не знал ни доносов Майбороды, Шервуда и Витта, ни восстания Черниговского полка и не мог разгадать такого молчания. Должен, однако ж, был заключить, что Комитет имел сведения, важнейшие тех, которые бы мог ожидать от меня.

До масленицы я не получил никаких почти вопросов, исключая о принадлежности некоторых членов и о том, кем и когда они были приняты. На эти вопросы отзывался незнанием. Наконец в начале поста, на 2-й неделе, пришел за мной плац-адъютант и в комнате, в которой собирался Комитет, я нашел ген. Чернышева и полк. Адлерберга. Первый держал в руках тетрадь в несколько листов, по которой предлагал мне различные вопросы, большей частью нелепые, по показанию будто бы многих членов общества, о пребывании моем за границей, действии там и знакомстве. Адлерберг в это время рисовал на бумаге, пред ним лежащей, и, как мне многие сказывали, это было вообще его занятие во время допросов. Чернышев допрашивал с какою-то насмешкою. Продержав довольно, отпустили. На другой день я получил огромную тетрадь, в которой различные подробности о действии пред 14-м числом и о предположенном действии этого числа. Большею частью допросные пункты были нелепы; между ими был: «кто вызвался нанести удар по моему предложению царствующему императору?». На этот вопрос следовало бы было просто отвечать, что этого никогда не было и что никто не вызывался, что была истина. Но я, прежде нежели отвечать на него, вздумал намекнуть о нем в письме к жене моей (я каждый вечер посылал к ней письма чрез плац-адъютанта). На другой день, поутру, плац-адъютант принес мне письмо назад, сказав, что велено мне сказать, что не нужно подобных вещей писать, что они могут огорчить жену мою. Тогда я в ответ на допрос написал, что такого ужасного

допроса Комитет, вероятно, не сделал бы мне, если б кто-нибудь того не показал, и потому могут показателя спросить, чтоб он назвал того, кто вызвался, а я сам никого не знаю. Рассуждение, которому я следовал, было ложно: оно основывалось на уверенности, что Комитет и все действия его ничто более как комедия, что участь моя и всех прочих со мною содержащихся давно уже решена в уме императора и что как бы дело ни шло, мне суждено сгнить в крепостном заточении, и потому, если император будет по моим ответам заключать, что я упорствую в запирательстве, то заключение мое будет строже. Оттого я вздумал, не отвергая решительно показания, заставить обратиться к показателю, который не в состоянии будет поддержать своего показания, назвав небывалое лицо. Я, кажется, в предположении своем кругом ошибся.

На прочие вопросы я отвечал подробно, когда касалось это собственно моих предположений или действий, стараясь избегать утверждения показаний на другие лица; при всем том вырвались у меня неосторожные слова на лейтенанта Морского гвардейского экипажа Арбузова.

Чрез несколько после сего пришел ко мне священник. Он уже раз был у меня и, как мне казалось, хотел ко мне подладиться, но не довольно ловко, и я остался в сомнении относительно его мыслей и намерений. Теперь, казалось мне, представился случай узнать и те, и другие, и то, прямо ли он действует или хитрит? Для этого я ему рассказал о вопросе касательно лица императора и о моем на него ответе. По впечатлению, которое это на него сделало, я заключил, что он человек с хорошими чувствами. Он просил меня, чтоб я всякую ложь отвергал решительно. Потом он спросил меня, не хочу ли я принять исповедь, и на согласие мое сказал, что будет ко мне для принятия ее. Я, однако ж, ожидал его несколько недель, и он пришел уже только тогда, когда я перестал его ждать. С искренним чувством моего недостоинства приступил я к причащению крови и тела христовых, и чистая радость овладела в эту минуту душою моею, и упование на милость божию твердо вкоренилось в сердце моем. Исповедь моя, кажется, привязала ко мне священника, он меня полюбил и с этой поры довольно часто меня навещал. Он убедился, что все то, что он слышал про меня, была ложь

и что я мог ошибаться на пути добра, но зла никогда на уме не имел и что находили нужным приписать мне злые умыслы для того, чтоб оправдать ту степень приговора, которому намерены были меня подвергнуть. В течение этого времени я не получал почти никаких запросов, и меня ничем Комитет не тревожил. Но 28 марта, после обеда, отворяют дверь моего номера и входит ген.-адъют. Бенкендорф, высылает офицера и после незначащих замечаний о сырости моего жилища садится на стул и просит меня сесть. Я сел на кровать.

Он: — Я пришел к вам от имени его величества. Вы должны представить себе, что говорите с самим императором, в этом случае я только необходимый посредник. Очень естественно, что император сам не может же прийти сюда; вас позвать к себе — для него было бы неприлично; следовательно, между вами и им необходим посредник. Разговор наш останется тайною для всего света, как будто бы он происходил между вами и самим государем. Его величество очень снисходителен к вам и ожидает от вас доказательства вашей благодарности.

Я: — Генерал, я очень благодарен его величеству за его снисходительность, и вот доказательство ее (показывая на кипу писем жениных, лежавшую у меня на столе и которые я получал ежедневно).

Он: — Да, что это!.. Дело не в том. Помните, что вы находитесь между жизнью и смертью...

Я: — Я знаю, генерал, что нахожусь ближе к последней.

Он: — Хорошо. Вы не знаете, что государь делает для вас. Можно быть добрым, можно быть милосердным, но всему есть границы. Закон предоставляет императору неограниченную власть, однако есть вещи, которых ему не следовало бы делать, и я осмеливаюсь сказать, что он превышает свое право, милуя вас. Но нужно, чтоб и со своей стороны вы ему доказали свою благодарность. Опять повторяю вам, что все сообщенное вами будет известно одному только государю, я только посредник, через которого ваши слова передаются ему.

Я: — Я уже сказал, генерал, что очень благодарен государю за позволение переписываться с моей женой. Мне бы очень хотелось знать, каким образом я могу показать свою признательность.

Он: — Государь хочет знать, в чем состояли ваши сношения с М. С<перанским>.

Я: — У меня не было с М. С<перанским> особенных сношений.

Он: — Позвольте, я должен вам сказать от имени его величества, что все сообщенное вами о М. С<перанском> останется тайной между им и вами. Ваше показание не повредит М. С<перанскому>, он выше этого. Он необходим, но государь хочет только знать, до какой степени он может доверять М. С<перанскому>.

Я: — Генерал, я ничего не могу вам сообщить особенного о моих отношениях к М. С<перанскому>, кроме обыкновенных светских отношений.

Он: — Но вы рассказывали кому-то о вашем разговоре с М. С<перанским>. Вы даже советовались с ним о будущей конституции России.

Я: — Это несправедливо, генерал, его величество ввели в заблуждение.

Он: — Я опять должен вам напомнить, что вам нечего бояться за М. С<перанского>. Сам государь уверяет вас в этом, а вы обязаны ему большою благодарностью, вы не можете себе представить, что он делает для вас. Опять говорю вам, что он преступает относительно вас все божеские и человеческие законы. Государь хочет, чтоб вы вашей откровенностью доказали ему свою признательность.

Я: — Мне бы очень хотелось доказать свою признательность всем, что только находится в моей власти, но не могу же я клеветать на кого бы то ни было; не могу же я говорить то, чего никогда не случалось. Государь не может надеяться, чтоб я выдумал разговор, которого вовсе не происходило. Да если бы я и был достаточно слаб для этого, надо еще доказать, что я именно имел этот разговор.

Он: — Да, вы рассказали кому-то об нем.

Я: — Нет, генерал, я не мог рассказывать разговор, которого не было.

Он: — Государь знает, что вы рассказывали его одному лицу, и он узнал об нем именно от этого лица.

Я: — Могу вас уверить, генерал, что это лицо солгало государю.

— Он: — Берегитесь, князь Трубецкой, вы знаете, что вы находитесь между жизнью и смертью.

Я: — Знаю, но не могу же я сказать ложь, и я должен повторить вам, что лицо, имевшее дерзость сообщить государю о каком-то разговоре моем с М. С<пе-

ранским>, солгало, и я докажу это на очной ставке. Пусть государь сведет меня с этим лицом, и я докажу, что оно солгало.

Он: — Это невозможно, вам нельзя дать очную ставку с этим лицом.

Я: — Назовите мне его, и я докажу, что оно солгало.

Он: — Я не могу никого называть, вспомните сами.

Я: — Совершенно невозможно, генерал, вспомнить о разговоре, которого никогда не было.

В этом роде разговор продолжался еще долгое время, сначала по-французски, потом по-русски. Ген. Бенкендорф, стараясь меня уговорить рассказать мой разговор со Сперанским, а я, требуя очной ставки с доносчиком.

Наконец он ушел, потребовав от меня сей же час, чтоб я написал к нему все, что знаю о Сперанском, и сказав мне, что он будет ожидать моего письма в крепости. По уходе его от меня я думал, что напишу; наконец решился написать разговор о Сперанском, Магницком и Баранове, который был у меня с Батеньковым и Рылеевым, и, запечатав, отправил тут же в собственные руки Бенкендорфа.

Этот разговор я рассказал после исповеди священнику, который в свою очередь рассказал мне, что 29 или 30 марта возили полковника Батенькова во дворец. Долго думав о том, кто бы мог сказать такую вещь императору, он, наконец, уверял меня, что это не из крепости вынесено, но что, наверное, кто сказал, тот вне крепости. Тогда я подумал, что это должен быть ген. Сергей Шипов, к которому теперь должно обратиться.

По смерти имп. Александра я поехал к Шипову, и мы вдвоем разговаривали о тогдашних обстоятельствах. Он сожалел, что брата его не было в городе, который со 2-м Преображенским батальоном стоял вне города, как и все 2-е батальоны гвардейских полков. С. Шипов говорил, что желает устроить так, чтоб можно было нам втроем поговорить. Чрез несколько дней я поехал к нему опять. Мне казалось, что он хотел избежать разговора, потому что он просил меня прослушать его проект о фурштатских батальонах. Я скоро прекратил чтение огромнейшей тетради, сказав ему, что можем заняться важнейшим и поговорить о предметах, которые ближе касаются нас. Он положил свою тетрадь, и мы снова стали говорить о тогдашних обстоятельствах

и делать различные предположения о будущем императоре. Наконец, он сказал: «Большое несчастье будет, если Константин будет императором».

Я: — Почему ты так судишь?

Он: — Он варвар.

Я: — Но и Николай очень жестокий человек.

Он: — Какая разница! Этот человек просвещенный, а тот варвар.

Я: — Константин теперь не молод. С тех пор как он в Варшаве, он ведет себя совсем иначе, нежели вел себя в Петербурге. Говорят, жена его очень смягчила его нрав и почти совсем его переменила.

Он: — Нет, как можно сравнить его с Николаем; это человек просвещенный, европейский, а тот злой варвар.

Я: — Ты, может быть, ближе знаешь Николая, нежели я, и можешь лучше о нем судить. Я вижу, что Константину солдаты присягнули с готовностию, может быть, оттого, что они его не знают; десять лет он в отсутствии, а меньших братьев они ненавидят и очень худо об них относятся. Если Константин откажется, то трудно будет заставить солдат присягнуть Николаю. Ты можешь судить о том по тому, что было во внутреннем карауле в день присяги. У нас это новое, чтоб император, которому присягнули, отказался от престола. Каким образом заставить солдат поверить такому небывалому примеру, особенно если Константин не приедет и лично не объявит солдатам, что он передает престол меньшому брату, то я не знаю, что из этого будет.

Он: — Я отвечаю за свой полк, я могу заставить своих солдат присягнуть, кому хочу.

Я: — Из всех полковых командиров ты, верно, один можешь это сказать; к прочим, кажется, люди не имеют такой доверенности.

Он: — Меня солдаты послушают. Я первый узнаю, если Константин откажется, мне тотчас пришлют сказать из Аничкова дворца; я тотчас привожу свой полк к присяге. Я отвечал за него, я дал слово.

Я: — Но можешь ли ты знать, что тебе скажут истину? Кажется, очень желают царствовать и в таком случае разве не могут прислать тебе сказать, что Костантин отказался, и обмануть тебя? Ты приведешь полк к присяге, а окажется, что Константин не отказывался; что ты будешь тогда делать? Ты несешь голову на плаху.

Эти слова поразили Шипова; он отскочил от меня, потом спросил:

— Трубецкой, что ж делать?

Я продолжал: — Если даже Константин и откажется, то можем ли мы полагать, что все спокойно кончится? Ненависть солдат, дурное мнение, которое вообще все имеют о Николае, разве не может возродить сопротивления и не от одних солдат?

Он: — А разве есть что? Разве говорят о чем?

Я: — Я не знаю, но все может быть.

Он: — Трубецкой, у тебя много знакомых; ты многих знаешь, в Совете, в Сенате. Если есть что, если о чем поговаривают в Совете, то, пожалуйста, уведомь меня.

Из продолжения разговора я видел, что Шипов передался совсем на сторону вел. кн. Николая и не с тем требует сведений, чтоб действовать в наших видах. Это была для нас большая потеря, потому что Шипов был всегда членом, на которого полагались, и очень дружен с Пестелем. Он был полковой командир, и не только по словам его, но и по слухам был любим в полку, и хотя, может быть, слишком много приписывал себе власти на своих подчиненных, но, без сомнения, мог иметь довольно влияния на умы их и, следовательно, сделать большой перевес на ту сторону, которую примет.

Долго я думал о разговоре с Бенкендорфом. Необычайная милость, объявленная мне им от императора, приводила меня в недоумение. «Неужели я так ошибся в его нраве,— говорил я сам себе,— полагая его человеком жестоким, не имеющим ни доброты сердечной, ни великодушия, желающим власти единственно для удовлетворения своему властолюбию, а нисколько не для того, чтоб иметь возможность устроить благо подданных и владеть сердцами их посредством кротости и милосердия. Грубо, очень грубо ошибся я в нем; даже и тогда грубо ошибся, если милосердие, которое хочет он оказать нам, проистекает более от ума, нежели от сердца. Что должен заключить для себя из сказанного Бенкендорфом? Что меня и всех задержанных выпустят по окончании следствия? Всех восстановят в прежних званиях и достоинствах, а я думал, что меня запрут и я никогда не вырвусь из Алексеевского равелина? Когда меня водили в Комитет или баню, я всегда изы-

скивал средства уйти, если определено будет мне вечное здесь заключение. Тяжела мысль быть вечно обязанным благодарностию человеку, о котором я имел такое худое мнение. А если он будет в рассуждении меня так великодушен, каковым представил его Бенкендорф, то я обязан буду посвятить ему все остальные дни моей жизни. Эти мысли бродили некоторое время в голове моей и тревожили меня; наконец я успокоился, убедив себя, что дело несбыточное, чтоб все так могло кончиться, как казалось из речей Бенкендорфа.

На 6-й неделе поста, не помню в какой день, а кажется, в четверг, приходит за мной плац-адъютант в необычайное время, скоро после обеда, и приносит мой мундир. Приглашает меня одеться с видом каким-то приятным*, как бы для предварения моего, что выход мой не принесет мне ничего, кроме удовольствия, и ведет меня в дом коменданта. Вхожу в комнату, и в объятия мои бросается сестра. Она несколько уже дней имела позволение видеть меня, но лед на Неве препятствовал переехать в крепость, ныне это было возможно, и она воспользовалась дозволением, выпрошенным ею лично, когда откланивалась императрице, намереваясь отъехать в Москву. Сестра рада была меня видеть, между тем была грустна, хотя старалась скрыть грусть свою под улыбкою. Разговор наш не мог быть свободен, потому что комендант ген. Сукин все время сидел возле нас за столиком, на котором угощал нас чаем. Несколько раз за ним приходили, но он отлучаться не хотел; наконец доложили ему, что приехал от государя ген.-адъют. (кажется, Левашов), он и тогда сказал, что ему не время. Приехавший генерал пошел ходить по крепости и опять требовал свидания. Сукин велел его позвать, а сам, дойдя до дверей комнаты и сказав ему одно слово, поспешил на своей деревяшке воротиться к занимаемому им месту. Сестра только успела в это время спросить меня, замешан ли я в покушении на жизнь императора. Я отвечал, что нет, но что, кажется, есть намерение меня замешать. Она отерла слезу, но сказать более ничего не могла, потому что комендант

---

* За несколько дней этот же плац-адъютант принес мне кусочек просвирки от имени моей сестры. Когда я развернул ее, он наклонился и с большим вниманием искал долго на полу. С удивлением я увидел, что он так старательно отыскивал булавку, которою была заколота бумажка.

сидел уже на своем месте прежде, нежели я договорил ответ. (Я после узнал от жены моей, что ему было велено записать и представить весь наш разговор; сестра это знала и потому не смела говорить того, что бы хотела.) Пришло время расстаться нам, и со стороны сестры не обошлось без слез, мне также было грустно. Мы не надеялись больше видеться, она чрез несколько дней уехала в Москву. Я тогда не знал, что моя добрая сестра выпросила обещание свидания жене моей со мною.

Несколько дней провел я довольно спокойно в каземате, вспоминая свидание с сестрою. На страстной неделе, в два разные дня, я имел еще удовольствие получить вопросные пункты такого рода, ответы на кои должны были служить к облегчению судьбы тех лиц, кого они касались. Такой случай представился в первый раз и, следовательно, был для меня отраден. В одном вопросе спрашивали, почему я просил Рылеева, чтоб он не сообщал полковнику Глинке о наших намерениях. В другом,— что кн. Оболенский ссылается на меня, что когда в 1823 году приехал Пестель в Петербург и своими рассуждениями увлек его к признанию необходимости республиканского правления в России, то я отвратил его, доказывая ему, что республику не иначе можно учредить, как истреблением императорского дома, чрез какое действие общество поселило бы к себе омерзение и привело бы в ужас весь народ.

В понедельник на святой неделе я имел неожиданное счастье обнять мою жену. Я не знал, что сестре моей было обещано позволение жене видеться со мною. Нелегко изобразить чувства наши при этом свидании. Казалось, все несчастия были забыты, все лишения, все страдания, все беспокойства исчезли. Добрый, верный друг мой, она ожидала с твердостию всего худшего для меня, но давно уже решалась, если только я останусь жив, разделить участь мою со мной и не показала ни малейшей слабости. Она молилась, чтоб бог сохранил мою жизнь и дал мне силы перенести с твердостию теперешнее и будущее мое положение. Наше свидание было, подобно свиданию с сестрой, в присутствии коменданта, который, как будто бы для того, чтобы дать нам более свободы, притворился спящим в своих креслах. До сих пор я не имел никакой надежды увидать когда-нибудь жену мою, но это свидание заставило меня на-

деяться, что мы опять будем когда-нибудь вместе; и потому, может быть, час разлуки не так показался мне тягостен, как должно было ожидать.

Воспоминание о проведенных вместе часах сладостно занимало меня многие дни. Я благодарил бога от глубины души за то, что он милостию своею так поддержал ее и в чувствах и в наружном виде. Ничего отчаянного, убитого не было ни в лице, ни в одежде; во всем соблюдено пристойное достоинство. Вид ее и разговор с нею укрепили во мне упование в бога, и я с тех пор совершенно покорился воле провидения, предавшись всеми моими чувствами с полною покорностию всему, что ему угодно будет послать в будущности.

Спокойствие мое было прервано. 8 мая призывали меня поутру к допросу; я нашел одного Чернышева и Адлерберга, который по обыкновению рисовал и чертил на листе, перед ним лежащем. Чернышев с язвительною, казалось мне, улыбкою объявил мне, что ответы мои на большой допрос, посланный мне в феврале, казавшиеся подробными и удовлетворительными, оказались пустыми (т. е. Комитет был ими недоволен потому, что они никого не запутывали). Он мне сделал много вопросов, по большей части вздорных. Если это было с показаний некоторых из подсудимых, то, должно быть, таких, которые не имели со мной никакого знакомства и знали меня только по дальним слухам. Так оно действительно и было. Некоторые слухи, которые были обо мне в Обществе славян (вовсе не бывшем мне известным и о существовании которого я не имел никакого сведения), были предложены как показания членов, и ни в чем не было не только истины, но и тени справедливости.

Несмотря на то, от меня потребовали письменных ответов, которые я и дал, получив на другой день письменные вопросы, из которых, однако ж, многие сделанные мне словесно были исключены. Напирали, однако ж, на намерение цареубийства. В этом случае я сослался на записку свою, которую в ночь с 14-го на 15-е я видел в руках императора и из которой ясно было видно, какие были мои намерения. В ней ничего похожего на такой умысел не было; напротив, определено вступить в переговоры с Николаем Павловичем и вступление на престол подвергнуть решению общего собрания доверенных людей всех сословий государства,

собранных призывом Сената, следовательно, мы не принимали на себя никакой власти.

До сих пор я не имел ни с кем очных ставок. Наконец меня позвали, и я увидел себя пред Бриггеном, которого я полагал за границей. Меня спрашивали, от кого я слышал о ненависти к покойному государю Якубовича и о намерении его принести жизнь его в жертву этому чувству, основанному на личном мщении. Я имел неосторожность отвечать, что от полк. Бриггена. Меня заставили это при нем подтвердить, и, вероятно, это было причиною осуждения его на один год каторжной работы. Из слов Бриггена я увидел, что ему ставят в вину познание этого обстоятельства, но уже нельзя было отречься, потому что не мне одному было известно, что Бригген это рассказывал.

С лейтенантом Арбузовым я был счастливее. В допросе о нем вырвались у меня его слова: «если будут в нас стрелять, то мы пушки отберем». Наученный примером бывшего с Бриггеном, я отказался от этого показания, объявив, что если я сказал это на Арбузова, то это неправда. Арбузов говорил мне, что слышал мои слова, потому что ожидал возле в комнате очной ставки со мною.

В день преполовения меня повели поутру дорогой очень кружной в нижнюю комнату комендантского дома, где я просидел до вечера в ожидании, но отпустили, не дав очной ставки.

С этого дня пошло в Комитете очищение очными ставками всех сомнительных пунктов, и я имел очную ставку с Рылеевым по многим пунктам, по которым показания наши были несходны. Между прочими были такие, в которых дело шло об общем действии, и когда я не признал рассказ Рылеева справедливым, то он дал мне почувствовать, что я, выгораживая себя, сваливаю на него. Разумеется, мой ответ был, что я не только ничего своего не хочу свалить на него, но что я заранее согласен со всем, что он скажет о моем действии, и что я на свой счет ничего не скрыл и более сказал, нежели он может сказать.

Вид Рылеева сделал на меня печальное впечатление, он был бледен чрезвычайно и очень похудел; вероятно, мой вид сделал на него подобное же впечатление. Но его вид так поразил меня, что я сделал то, чего бы не должен был, а именно: я, по некотором оспаривании

показаний его мнения о других лицах, не стал упорствовать и согласился, что он говорил то, чего я от него не слыхал, как и теперь в том уверен, и что, может быть, подвергло строжайшему осуждению эти лица.

По соглашении предмета, по которому была у нас очная ставка, кн. А. Н. Голицын вступил с Рылеевым и со мною в частный разговор и продолжал его некоторое время в таком тоне, как будто мы были в гостиной; даже с приятным видом и улыбкой, так, что, вопреки всем дотоле бывшим убеждениям, пришла мне мысль, что, вероятно, кн. Голицыну известно, что дело наше не так худо кончится; что религиозный человек, каким он издавна почитался, не мог бы так весело разговаривать и почти шутить с людьми, обреченными смерти. Разговор кн. Голицына касался различных предположений Рылеева, Пестеля, моих относительно Временного правления в случае, если б наша попытка удалась. Он разбирал различные предположения, говорил о Сперанском, Мордвинове, Ермолове, как о лицах, которых мы предполагали облечь временною верховною властию. Рассуждал о составе Пестелевой директории, шутил мне, что Пестель, находя, что образ мыслей моих не сходен с его, не хотел иметь меня членом своей директории и оттого назначил мне министерство внутренних дел, а Сергею Шипову министерство военных сил; и расспрашивал нас по этим предметам, рассуждал о лучшем, по его мнению, составе временной верховной власти, о различных мерах, которыми могла быть установлена конституция, и развивал суждения свои об этих предметах. Словом, он меня удивил несказанно. Я долго рассуждал о неизъяснимом для меня поведении кн. Голицына и старался объяснить его себе.

Между тем Рылеев имел свидание с женой, и после того имел случай уведомить меня о том запиской и сообщить мне, что жена его сама лично выпросила у императора свидание с мужем и просила ему помилования; получила соизволение на первую просьбу, а на вторую была успокоена словами: «никто не будет обижен».

Потом опять чрез несколько дней Рылеев сообщил мне, что многие лица, особенно из сенаторов, требуют нашего осуждения, но что Сперанский и Кочубей настаивают у императора на милость, к которой он очень склонен. Я не очень всем надеждам, которые, казалось, Рылеев имеет, доверял; но стало опять вкрадываться

сомнение, что я, быть может, очень несправедлив был против Николая Павловича, полагая его человеком жестоким.

Последний запрос, который был мне принесен из Комитета, был следующий. В 1820 г., когда Пестель приезжал в Петербург, то многие собрания были у полк. Сергея Шипова и полк. Глинки, и на них рассуждали об образе правления, который предполагается учредить в России. Все единогласно, исключая полк. Глинку, согласились в том, что правлению следует быть республиканскому, причем Н. Тургенев сказал: «Un président sans phrases» *. Меня спрашивали, точно ли сказал это Тургенев. Мне легко было отвечать, что я был за границей и не мог знать происходившего в то время.

Вероятно, ответы мои, каковы бы они ни были, ни в каком случае не изменили бы моего приговора. Я всегда был уверен, что он изречен заранее, и, кажется, в том не ошибся. Слова, сказанные мне самим императором, в том меня убеждали, но я думаю, что я не должен был допустить этой мысли овладеть столько мною, чтоб заставить меня отвечать с некоторою беспечностию на несправедливые обвинения. В последнюю половину моего заключения в равелине я совершенно покорился воле провидения и в твердом уповании на бога рассуждал, что я себя своей защитою не спасу и чем она будет слабее, тем милость господня, в случае моего спасения, явится яснее. Эта мысль почти всегда владела мною, когда я должен был писать ответы. Под влиянием ее я и теперь отвечал только на сделанный мне вопрос касательно другого лица и не хотел опровергать несправедливости, которая была сказана обо мне и которая была уже, как было видно из смысла бумаги, принята как дело решенное, но насчет которого от меня не требовалось никакого и прежде сведения, так что я удивился, увидев, что признан в том виновным. Рылеев, узнав, что я получил запрос, прислал спросить меня, о чем дело. Я его уведомил, и он отвечал, что оно ему известно.

Наконец начал проникать ко мне в тюрьму слух, что дело наше не кончится Комитетом, но что нас будут судить в Сенате. Солдаты между тем, стерегшие нас, уверяли, что все хорошо кончится для нас, что в бывшем

* «Президент — без лишних слов» *(фр.)*.

14 декабря происшествии сам император с главными лицами виноват, и ему нельзя нас наказывать. 5 июля подали мне мой мундир и повели в комендантский дом; в комнате, в которую ввели меня, я нашел новые лица, сидевшие за круглым столом: посредине — гр. Головкин, по правую руку — кн. С. Н. Салтыков (перед ним лежала толстая связка бумаг), по левую руку графа — сенатор Баранов и Бенкендорф — немного от всех поодаль. Сенатор Баранов спросил меня: «Ответы, писанные вами в Комитет, все ли писаны собственною рукою?» Кн. Салтыков молча показал на кипу, перед ним лежавшую. Я отвечал, что я все свои ответы писал сам, своею рукою.

Баранов: — Итак, не угодно ли вам это подписать? — написали записку, которую подал мне Бенкендорф с особенною учтивостью, встал и подал мне стул. Я сел и подписал записку, которая заключала сказанный мною ответ, и меня тотчас отпустили *.

После этого дня я оставался в ожидании суда, как вдруг 10-го числа пришли за мной рано поутру и повели меня в комендантский дом. Я нашел его наполненным часовыми, а в комнате, в которую меня ввели,— Артамона Муравьева и кн. Барятинского. Я удивился, увидев себя в их обществе, ибо полагал, что ничего не имею с ними общего. За мною вслед вошли два брата Борисовых, которых я ни лиц, ни имен, ни участия не знал. Удивление мое возросло. Муравьев, как скоро увидел меня, сказал мне: «Как я счастлив, что я с тобою».

Я: — Нисколько не радуюсь твоему счастию.

Муравьев: — Это значит, что моя судьба будет лучше, нежели я ожидал.

Я: — А я думаю, что ты жестоко ошибаешься.

Муравьев: — Нет, и я тебе скажу почему. Государь писал к твоей жене, что он участь твою облегчит. Я это знаю от жены, которая получила, еще будучи в Ахтырке, письмо от гр. Самойловой, которая ей это писала.

Я: — Я не верю, чтобы это была правда.

Муравьев: — Я тебя уверяю, что это точно было.

Тут я спросил Муравьева, кто были те лица, о кото-

* Некоторые лица из подсудимых объявили, что ответы их были вынуждены противоестественными мерами: голодом, закованием в железа и т. п. Послан был к ним священник упрашивать их, чтобы они взяли назад это показание, и он в этом успел.

рых я не имел никакого понятия. Он отвечал, что не знает. Барятинский сказал мне после, что Борисовы, но это мне ничего не разъяснило. Я дивился, что не вижу того, с кем ожидал быть. Наконец, пришел кн. Оболенский, и я увидел, что комната возле нас наполнена разными мундирами. Между тем в нашу вошли еще лица, мне совершенно неизвестные, но ни Рылеева, ни Пестеля не было.

Вдруг входит священник. Я к нему подошел, он меня отвел к окошку. Я его спросил, что это все значит? Он отвечал, что будут нам читать приговор и что мы осуждены в работу. Я изъявил ему удивление, что не вижу Рылеева, Пестеля и других, кроме Оболенского. Он сказал: «Не пугайтесь того, что я вам скажу. Они будут приговорены к смертной казни, и даже их поведут, но они будут помилованы. Я хотел вас предупредить».

Меня обступили, хотели знать, что сказал ушедший священник. Между тем все назначенные в эту комнату собрались. Это были, кроме меня и пятерых вышепоименованных, еще майор Спиридов, Бечаснов, Якубович и Вадковский. Спустя некоторое время нас повели, и я, к удивлению своему, увидел себя поставленного пред бесчисленным собранием важнейших государственных чинов. В большом зале комендантского дома был поставлен покоем огромный стол. За ним сидели члены Совета, сенаторы, митрополиты и разные первых чинов люди, не принадлежавшие к сим государственным местам. Всем недостало места за столом, многие были сзади в глубине комнаты.

Торжественно прочли каждому из нас, начиная с меня, сентенцию Верховного уголовного суда (названного так). Все мы были осуждены к отсечению головы, которая казнь императором уменьшена и изменена в осуждение в вечно на каторжную работу. Мне суждено было переходить от удивления к удивлению. Я не знал, что есть суд надо мною — теперь узнал, что он уже и осудил меня; я думал, что если будут судить меня, то или особой комиссией, или в Сенате — теперь узнал, что установлен для этого Верховный уголовный суд из Синода, Совета, Сената и присоединенных к ним различных особ; думал, что меня осудят за участие в бунте — меня осудили за цареубийство. Я готов был спросить: какого царя я убил или хотел убить? Нас отвели уже не в те казематы, где мы прежде сидели, но в Крон-

веркскую куртину. Мне достался № 23, пять шагов в длину и три в ширину; во всю длину проходила сквозь окно над головою железная труба из печи, стоявшей в глубине каземата, от которого был отгорожен мой номер. Скоро услышал я вокруг себя человеческие голоса, и некоторые знакомые. Потом из-за перегородки вопрос соседа, желавшего знать, кто в его соседстве. Я не могу выразить, какое чувство радости овладело мною от того, что я, наконец, могу разговаривать с подобными себе. Я узнал, что сосед мой Веденяпин, приговоренный на поселение в Сибирь. Мы разговаривали до глубокой ночи. Надобно было наконец лечь спать, но я не имел отдыха — крупные блохи заели меня, и только в 4-м часу от сильной усталости я мог заснуть ненадолго. Нас разбудили и велели одеваться. Мы услыхали шум у наших окон, звук цепей, людей проходящих. После узнали, что это были пять наших товарищей, осужденных на смерть, которых заранее вывели к приготовлявшейся для них виселице. Сосед мой предостерегал меня, чтобы я не надевал орденов и не застегивал мундирного воротника на крючки, потому что он узнал от служителя, что их будут с нас срывать. Я не хотел последовать его совету.

Когда рассвело, нас вывели и поставили посреди солдат Павловского полка, которые окружили со всех сторон. Здесь я увидел многих, кого не ожидал: Александра Николаевича Муравьева, Лунина, Фонвизина, Краснокутского и других. Последний сказал мне: «Вероятно, тебя много спрашивали обо мне, потому что я во всем на тебя ссылался». Ни в одной бумаге, ни же словесно меня об нем никто не спрашивал, и я полагал, что он даже не арестован. Помина об нем не было, равно как и о других вышепоименованных. Когда свели нас всех вместе, то начали выкликать для разделения по роду службы. Я был поставлен сам-семь, и мы семеро были приведены пред знамена лейб-гвардии Семеновского полка. После барабанного боя нам прочли вновь сентенцию, и профос начал ломать над моею головою шпагу (мне прежде велено было стать на колени). Во весь опор прискакал генерал и кричал: «Что делаете?». С меня забыли сорвать мундир. Подскакавший был Шипов. Я обратил голову к нему, и вид мой произвел на него действие Медузиной головы. Он замолчал и стремглав ускакал. Вид знамен того полка, в котором я некогда служил, возбудил во мне воспоминание моей

службы в нем, Кульма, за который были даны знамена; я их видел в руках людей, не имевших на них право, тогда как заслужившие были в гонении и рассеяны по всей армии. Эта мысль возбудила во мне чувство негодования. Довольного труда стоило профосу сорвать с меня мундир, он так хорошо был застегнут, должно было изорвать в клочки, шпагу также не подпилили и, ломая ее, довольно больно ушибли мне голову. Все наши доспехи сложены были в костры, сожжены, а нас одели в полосатые халаты и отвели обратно в казематы. Мы заметили столбы на валу одного бастиона кронверка. Это была виселица, но которая не имела еще перекладины; и в нашем отделении казни товарищей мы видеть не могли, ибо прежде вошли в крепость. Народа было немного. Уже в своем номере я узнал от соседа своего, что наших товарищей повесили, о чем он узнал от прислуживавшего унтер-офицера. Я верить не хотел; но пришедший священник подтвердил эту весть. Рассказывал о их смерти, которая его тронула до глубины души. Он и теперь и после не мог говорить о них без глубокого умиления, особенно о Рылееве, Муравьеве и Пестеле. Последний просил его благословения, хотя и был другого исповедания. У двух первых оборвались веревки, и Чернышев закричал, чтоб скорее повторили над ними казнь. Священник сказал мне, что он ежеминутно ожидал гонца о помиловании и, к крайнему своему удивлению, тщетно.

Мысль о казни товарищей заставила меня забыть свое положение; я ни о чем ином не мог думать.

Принесли письмо от жены, которая уведомляла меня, что она вслед за мной едет в Сибирь. Тогда я понял многое, что мне темно было в ее письмах. Она давно к этому готовилась, но страшилась, чтоб я не был осужден на смерть. Она знала, что многие требовали моей казни и нескольких других, за мною следовавших. Говорят, что Николай Павлович не согласился на нее. Может быть, он хотел сдержать то, что заставил меня именем своим написать к жене моей, что я буду жив *.

На следующий день, т. е. в четверг, духовник наш пришел приобщить нас всех святых тайн.

---

* 15 генералов, в числе которых были Головин и Башуцкий, ездили просить государя, чтобы большее число было осуждено на смерть.

В пятницу, 12-го, я виделся с женою моею у коменданта. С нею приехала моя теща и оба мои брата. Этого свидания описать нельзя. Жена впилась в меня, братья бросились в ноги и обнимали колена; и теперь при воспоминании их любви слеза навертывается на глаза. Теща также была очень нежна и много плакала. Я возвратился в свою тюрьму в большом волнении, часть ночи не спал — писал письмо, которое хотел отдать жене при первом свидании, другую часть — от блох. Наконец изнеможение навело сон. Поутру встав, я стал разговаривать с солдатом, как вдруг кровь хлынула горлом и пошла как из кувшина. Поспешно прибежал лекарь; дал мне всю нужную помощь. Кровь остановилась, волнение продолжалось, но не столь сильное; слабость овладела всем телом.

В понедельник перевели меня в № 3 Невской куртины, мне жаль было расстаться с соседом и с голосами знакомыми вокруг меня, но я был слишком слаб и сам не мог принимать участия в разговорах. В четверг встал я с постели и мог сделать несколько шагов по комнате довольно большой. В пятницу старались укрепить мои силы пищею и лекарством, которым лекарь снабдил меня и в запас. Вечером велели приготовиться к отъезду и уложить присланное платье, белье и пр. и ночью повели в дом коменданта. Я здесь встретился с Волконским и Борисовым, с которыми должен был вместе ехать.

Камердинер Сукина провел меня в кабинет своего господина, который сказал мне, что он хочет проститься со мною, отдал поклон от Маврина и сказал мне, что я найду в Пелле ** жену мою, которая туда уже отправилась, что в крепости он не мог мне дать с нею другого свидания.

Потом, вышед к нам, объявил, что император приказал отвезти нас в Сибирь, в каторжную работу, закованными. Нам надели кандалы и посадили в телеги с жандармами.

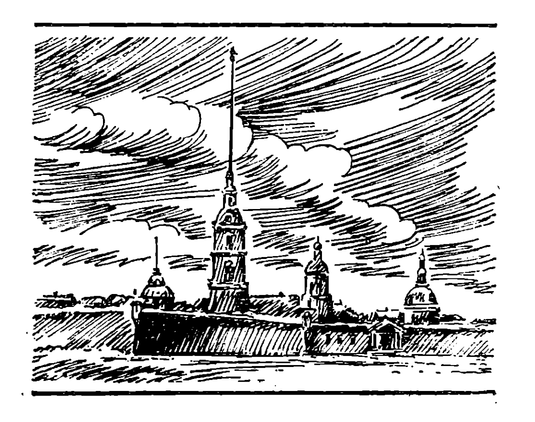
В Пелле я нашел жену мою и брата Александра, княгиню С. Г. Волконскую с сыном. Жена сказала мне, что она завтра же за мной выезжает; мы пробыли вместе часа два и расстались. Свежий воздух укрепил меня, и, невзирая на скорую езду и тряску кибитки, я приехал в Иркутск совершенно здоровый.

** Пелла — 1-я станция по дороге в Сибирь чрез Кострому.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Отчет, напечатанный правительством по окончании следствия, произведенного составленным на то Тайным комитетом, представил тогдашнее действие общества как какое-то безрассудное злоумышление людей порочных и развратных, сумасбродно желавших только произвести в Отечестве смуты и не имевших никакой благородной цели, кроме ниспровержения существовавших властей и водворения в Отечестве безначалия.

К несчастью, общественное устройство России еще и до сих пор таково, что военная сила одна, без содействия народа, может не только располагать престолом, но и изменить образ правления. Достаточно заговора нескольких полковых командиров, чтоб возобновить явления, подобные тем, которые возвели на престол большую часть царствовавших в прошлом веке особ. Благодаря промыслу, ныне просвещение распространило понятие, что подобные дворцовые перевороты не ведут ни к чему доброму. Что лицо, сосредоточившее в себе власть, не сильно устроить благоденствие народа в теперешнем его быту; но что только усовершенствованный образ государственного устройства может со временем покарать злоупотребления и притеснения, неразлучные с самодержавием; лицо, им облеченное, какой бы оно ни горело любовью к Отечеству, не в состоянии поселить этого чувства в людях, которым оно по необходимости должно уделять часть своей власти. Нынешнее государственное устройство не может всегда существовать, и горе, если оно изменится через восстание народное. Обстоятельства, сопровождавшие восшествие на престол ныне царствующего государя, были самые благоприятные для введения нового порядка в государственном устройстве и безопасного участия народного, но высшие государственные сановники или не постигли того или не желали его введения. Сопротивление, которое можно было ожидать по духу, овладевшему гвардейским войском, должно было ожидать, не имея благодетельного направления, должно было разрешиться беспорядочным бунтом. Тайное общество взяло на себя обратить его к лучшей цели.



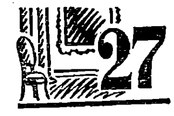
А. Е. РОЗЕН

ЗАПИСКИ ДЕКАБРИСТА

Глава третья

14 ДЕКАБРЯ 1825 ГОДА

Кончина Александра I.— Присяга Константину.— Междуцарствие.— Начало заговора.— Решение заговора.— Присяга и восстание.— Часть л.-гв. Московского полка.— 1-й батальон.— Лейб-гренадеры.— Гвардейский экипаж.— Расставление войска.— Уговорители и мирители.— Последнее убеждение.— Очищение площади.— Толки.— Неудача.— Булатов.— Книга барона Корфа.— Восстание на юге.— Заключение



27 ноября рано утром вхожу в мою залу, вижу там придворного полотера, нанятого погодно для налощения паркета. С таинственным видом поклонился он мне и в смущении спросил: «Слышали ли вы о великом несчастии? Император умер в Таганроге». Весть эта поразила всех. Странные мы люди! Все в жизни нашей неизвестность! Даже не знаем, что будет с нами сегодня, завтра или чрез неделю, но знаем одно лишь наверно, что непременно, рано ли, поздно ли,— все мы расстанемся с земною жизнью; а когда случится смерть человека, близкого нашему сердцу или сильного властелина, то сперва верить этому не хотим; а если же видим самый труп, то слагаем причины на лекаря, на аптеку, на непредусмотрительность и забываем всеобъемлющий Промысел.

Александру I было только 48 лет от роду, хотя он был здорового сложения, из этого выводили, что он был отравлен: разве люди молодые и здоровые не умирают без яду, кинжала и пули? Известно, что Александр в последние годы своей жизни имел душевные страдания. В борьбе с Наполеоном, быв главным двигателем дел Европы, занимал он первое место между современными ему венценосцами; он повсюду был предметом

удивления, благодарности, высших ожиданий для грядущего времени. Женщины были без ума от его наружности и его любезности; мужи государственные, с закоренелыми убеждениями в пользе и необходимости власти неограниченной, называли его даже венчанным якобинцем. Он был тогда усердный поклонник прав человечества, не на словах одних, но на самом деле, что и доказал в Париже, в Вене, в Берлине: добровольно дал он конституцию Польше и обещал то же своему отечеству на Варшавском сейме — и вдруг переменил свой образ мыслей и действий в политическом отношении. Кроме того, он страдал от внутренних борений религиозных, он не мог быть доволен самим собою. Те же люди, которые величали его несколько лет сряду освободителем, стали после именовать его притеснителем. Мудрено ли, что, будучи одарен чувствительным сердцем, он стал сомневаться в самом себе? Развлечения на конгрессах наскучили ему. Убедившись, что в продолжение 24-летнего царствования своего не выполнил своих предначертаний в пользу своего народа, стал он искать уединения и даже изъявил желание сойти с престола. Тайный червь меланхолии точил его сердце, и он предчувствовал близкую кончину свою. По целым часам стоял он у окна, глядя все на точку в раздумье; вечером, когда камердинер приносил свечи, он замечал ему часто: рано подаешь, как бы для покойника. 30 августа, в день своего ангела, он всегда щедро дарил храму Александро-Невской лавры; в последний же год он пудами подарил ладан и свечи. Пред отъездом в Таганрог посетил он схимника, известного совершенным отречением от мира, и долго с ним беседовал о бессмертии души. В Крыму лошади понесли и разбили передового фельдъегеря, которого государь увидел на дороге умирающим и тогда же сказал о нем, что он предупредил его ненадолго для отбытия в другой мир. Дюжины таких случаев и выражений доказывают верность его предчувствия, и много ли надобно расстроенной и пережившей себя душе, чтобы все земное становилось невыносимым! История и беспристрастное потомство воздадут должное его памяти, как царю, так и человеку. Нет сомнения, что всего чувствительнее для души Александра I отозвался удар по греческому, или восточному, вопросу, по коему Священный союз действовал против его убеждений и желаний; пред ним ясно выказались ничтожество и вред этого

Союза, главного дела его жизни, и напрасных жертв, кои он приносил для поддержания и сохранения такого Союза.

В Петербурге все сословия и возрасты были поражены непритворною печалью; нигде не встретил я веселого лица. К вечеру вывели наш полк на улицу против госпиталя; К. И. Бистром объявил о кончине императора, поздравил с новым императором Константином, поднял шляпу, воскликнул: «Ура!» — и слезы покатились из глаз его и многих воинов, бывших в походах с Александром, который называл их «любезными товарищами». По команде раздалось «ура!». Офицеры подписали присяжный лист в госпитальной комнате и с полком разошлись по казармам и по квартирам. С таким же настроением духа присягнули другие полки; чувство скорби взяло верх над всеми другими чувствами — и начальники, и войска так же грустно и спокойно присягнули бы Николаю, если бы воля Александра I была им сообщена законным порядком. Беспредельную любовь офицеров к Александру могу засвидетельствовать клятвою офицеров во многих армейских полках в 1812, 13, 14-м годах: «Не пережить любимого государя!»

Во дворец пришла печальная весть в то самое время, когда в храме пели благодарственный молебен о выздоровлении Александра. Великий князь Николай Павлович немедленно решил присягнуть Константину Павловичу и лично принять присягу для своего старшего брата от внутренних караулов Зимнего дворца. Граф М. А. Милорадович и князь А. Н. Голицын старались отклонить и отговорить его от этого действия: им известно было завещание Александра; но Николай Павлович заметил им решительно: «Кто не последует за мною и не присягнет старшему моему брату, тот враг и мне и отечеству». С каждым часом увеличивались толки, предположения, ожидания. Государственному совету известно было с 1823 года, что в архиве его хранится завещание Александра с собственноручною его надписью: «Хранить до моего востребования, а в случае моей кончины раскрыть *прежде всякого другого действия* в чрезвычайном собрании». Копии этого завещания хранились в Сенате и в Синоде в Петербурге и в Успенском соборе в Москве. Спрашивается: кого винить? Александра I ли, который в свое время при жизни своей не обнародовал исключения или отречения по престолонаследию?

Верховный ли совет, который не исполнил своей обязанности и оправдывался неуместной отговоркою, что мертвого не следует слушаться? Митрополита ли Филарета Московского, который собственноручно написал царское завещание и хранил копию в Успенском соборе? Великого князя ли Николая Павловича, который боролся с братскою любовью,— мог думать, что принудительными средствами заставили старшего брата отказаться от престола? или что тот преждевременно даже не имел права отказаться? или Николай думал этим предупредить всякий повод к неудовольствиям и смутам, тем вероятнее, что еще до получения вести о кончине императора ему были уже известны цель тайного общества и члены его? Будь они все частные лица, то могли быть оправданы различными побуждениями; но, как сановники, люди государственные, как правители, они все виновны: им следовало действовать по закону, а не предаваться увлечениям любви родственной или преданности безусловной подчиненности. Могу сказать утвердительно, что с обнародованием завещания 27 ноября все присягнули бы беспрекословно Николаю Павловичу. По крайней мере, восстание не имело бы предлогом вторичную присягу, при коей одна клятва нарушала другую клятву и обнаружила незаконность первой.

Фельдъегерь, доставивший весть о кончине Александра I, привез вместе и доносы Майбороды и именные списки членов тайного общества. Копия с этих списков была отправлена в Варшаву к новому императору. Между тем от 27 ноября до 14 декабря тянулось междуцарствие. Император Константин, которому присягнула вся Россия, остался спокойно в Варшаве; твердо и неуклончиво отказался от права на престолонаследие; не принял поздравлений; не распечатал пакета министра, потому что надпись была сделана на имя императора. Великий князь Михаил Павлович был послан навстречу императору и остановился на станции Ненналь, Лифляндский губ., где ожидал его прибытия или верной вести об отказе его от престола. В Петербурге все умолкло среди ожиданий; музыке запретили играть на разводах; театры были закрыты; дамы оделись в траур; в церквах служили панихиду с утра до вечера. В частных обществах, в кругу офицеров, в казармах, разносились шепотом слухи и новости, противоречившие одни другим. Рассказывали о духовном завещании Александ-

ра I; рассуждали о неотъемлемом праве Константина на престол, о недействительности преждевременного его отречения, когда престол еще не был упразднен, когда царствовавший брат не был лишен возможности иметь еще своих прямых наследников — детей. Выставляли великодушие великого князя Николая, который по завещанию одного брата и по отречению другого имел все права на престол, но не принял власти, чтобы не обидеть брата и чтобы отстранить всякую причину к восстанию. Я уже сказал, что он знал о существовании тайного общества, о цели его: он имел именной список большей части членов общества. О том знали и гр. Милорадович и много приближенных к вел. кн. Николаю, которому адресованы были важнейшие бумаги в Петербург, откуда сообщаемы были в Варшаву. Какие же меры были приняты к уничтожению предстоявших опасностей заговора или грозившего восстания?! Решительно никакие. Во всем выказывалось колебание, недоумение, все предоставлено было случаю: между тем как, по верным данным, следовало только арестовать Рылеева, Бестужевых, Оболенского и еще двух или трех декабристов — и не было бы 14 декабря. Но у страха глаза велики — в виду были отношения семейные. Правительственные лица думали о сохранении своих мест и доходов, прильнулись к лицу, к государю, оставив в стороне отечество и государство.

6 декабря стоял я во внутреннем карауле в Зимнем дворце; выход к обедне был многолюдный; до появления царской фамилии не было никаких бесед в разных кучках, как водилось прежде: кое-где сходились офицеры и говорили вполголоса. Генерал-адъютант В. В. Левашов имел особенно воинственный вид и ни на шаг не отходил от вел. кн. Николая. По окончании обедни подошел ко мне Оболенский и сказал: «Надо же положить конец этому невыносимому междуцарствию».

10 декабря вечером получил я записку от товарища капитана Н. П. Репина, в которой он просил меня немедленно приехать к нему; это было в 8 часов. Я тотчас поехал, полагая, что он имел какую-нибудь неприятность или беду; я застал его одного в тревожном состоянии. В кратких и ясных словах изложил он мне дело важное, цель восстания, удобный случай действовать для отвращения гибельных междоусобий. Тут речи были бесполезны: надлежало иметь материальную силу, по крайней

мере, несколько батальонов с орудиями. Он просил моего содействия к присоединению 1-го батальона, в чем я положительно отказался, командуя в нем только стрелковым взводом. Можно было положиться на готовность молодых офицеров, но отнюдь не на ротных командиров. Осталась еще попытка — она могла удаться тем легче, что утверждали содействие полковника А. Ф. Моллера, командира 2-го батальона, давнишнего члена тайного общества. С Репиным поехал я к К. Ф. Рылееву: он жил в доме Американской компании у Синего моста: мы застали его одного, сидевшего с книгою в руках — «Русский ратник»,— и с большим шерстяным платком, обвернутым вокруг шеи по причине болезни горла. Во взорах его выразительных глаз, всех чертах его лица виднелась восторженность к великому делу; речь его убедительная просто текла без всякой самонадеянности, без надменности, без фигурных фраз и возгласов; вскоре приехали Бестужевы и князь Щепин-Ростовский и положили собраться при первом нужном случае, смотря по получению вестей из Варшавы.

11 декабря поехал к Репину, где к большому неудовольствию моему застал до 16 молодых офицеров нашего полка, рассуждавших о событиях дня и частью уже посвященных в тайны главного предприятия. Мне удалось отозвать Репина в другую комнату, заметить ему неуместность и опасность таких преждевременных откровений, что в минуту действия можно положиться на их содействие. Юность легко приводится в восторг, нет ей преград непреодолимых, нет невозможности,— а чем больше затруднений и опасностей, тем больше в ней отваги. Из всех тут присутствовавших не было ни единого члена тайного общества, кроме хозяина.

12 декабря вечером был я приглашен на совещание к Рылееву и князю Оболенскому; там застал я главных участников 14 декабря. Постановлено было в день, назначенный для новой присяги, собраться на Сенатской площади, вести туда сколько возможно будет войска под предлогом поддержания прав Константина, вверить начальство над войском князю Трубецкому, если к тому времени не прибудет из Москвы М. Ф. Орлов. Если главная сила будет на нашей стороне, то объявить престол упраздненным и ввести немедленно временное правление из пяти человек, по выбору членов Государственного совета и Сената. В числе пяти называли заранее

Н. С. Мордвинова, М. М. Сперанского и П. И. Пестеля. Временному правлению надлежало управлять всеми делами государственными с помощью Совета и Сената до того времени, пока выборные люди всей земли русской успеют собраться и положить основание новому правлению. Наверно никто не знал, сколькими батальонами или ротами, из каких полков можно будет располагать. В случае достаточного числа войска положено было занять дворец, главные правительственные места, банки и почтамт для избежания всяких беспорядков. В случае малочисленности военной силы и неудачи надлежало отступить к Новгородским военным поселениям. Принятые меры к восстанию были неточны и неопределительны, почему на некоторые мои возражения и замечания князь Оболенский и Булатов сказали с усмешкою: «Ведь нельзя же делать репетиции!» Все из присутствовавших были готовы действовать, все были восторженны, все надеялись на успех, и только один из всех поразил меня совершенным самоотвержением; он спросил меня наедине: можно ли положиться наверно на содействие 1-го и 2-го батальонов нашего полка; и когда я представил ему все препятствия, затруднения, почти невозможность, то он с особенным выражением в лице и в голосе сказал мне: «Да, мало видов на успех, но все-таки надо, все-таки надо начать; начало и пример принесут плоды». Еще теперь слышу звуки, интонацию — все-таки надо,— то сказал мне Кондратий Федорович Рылеев. 13 декабря, в воскресенье, навестили меня несколько офицеров полка. На вопрос их, как следует поступить тому, кто в день восстания будет в карауле, ответил я положительно и кратко, что тот для общей безопасности и порядка должен держаться на занимаемом посту. Если этот случай спас и наградил офицера, занимавшего караул 14 декабря в Сенате, Якова Насакина, то я искренно тому радовался. К вечеру получил я частное уведомление о назначении следующего дня к принятию присяги. Ночью вестовой принес приказ полковой, по коему всем офицерам велено было собраться в квартире полкового командира в 7 часов утра. Сон прошел; с женою рассуждали об обязанностях христианина, гражданина, о предстоящих опасностях, о коих в эти последние дни мы беспрестанно беседовали; я мог ей совершенно открыться — ее ум и сердце все понимали. Наконец с молитвою предались воле божией. Наступил час разлуки.

14 декабря до рассвета собрались все офицеры у полкового командира генерала Воропанова, который, поздравив нас с новым императором, прочел письмо и завещание Александра, отречение Константина и манифест Николая. В присутствии всех офицеров я выступил вперед и объявил генералу, что если все им читанные письма и бумаги верны с подлинниками, в чем не имею никакой причины сомневаться, то почему 27 ноября не дали нам прямо присягнуть Николаю? Генерал в замешательстве ответил мне: «Вы не так рассуждаете, о том думали и рассуждали люди поопытнее и постарше вас; извольте, господа, идти по своим батальонам для присяги». 2-й наш батальон полковника А. Ф. Моллера занял в этот день караулы в Зимнем дворце и по 1-му отделению. 1-й батальон наш присягнул в казармах, кроме моего стрелкового взвода, который накануне занял караул в Галерной гавани и еще не успел смениться. Из казарм поехали во дворец к разводу нашего 2-го батальона, развод был без парада. На Сенатской площади еще не было ни одного солдата. Воротившись домой, получил записку Рылеева, по коей меня ожидали в казармах Московского полка. Было 10 часов утра, лошади мои стояли запряженные. Взъехав на Исаакиевский мост, увидел густую толпу народа на другом конце моста, а на Сенатской площади каре Московского полка. Я пробился сквозь толпу, прошел прямо к каре, стоявшему по ту сторону памятника, и был встречен громким «ура!» В каре стояли князь Д. А. Щепин-Ростовский, опершись на татарской сабле, утомившись и измучившись от борьбы во дворе казарм, где он с величайшим трудом боролся: переранил бригадного командира В. Н. Шеншина, полкового — Фредерикса, батальонного полковника Хвощинского, двух унтер-офицеров и, наконец, вывел свою роту; за ней следовала и рота М. А. Бестужева 3-го и еще по несколько десятков солдат из других рот. Князь Щепин-Ростовский и М. А. Бестужев 3-й ждали и просили помощи, пеняли на караульного офицера Якова Насакина, отчего он не присоединялся к ним с караулом своим? На это я подтвердил им данную мною инструкцию накануне. Всех бодрее в каре стоял И. И. Пущин, хотя он, как отставной, был не в военной одежде; но солдаты охотно слушали его команду, видя его спокойствие и бодрость. На вопрос мой Пущину, где мне отыскать князя Трубецкого, он мне ответил: «Пропал

или спрятался,— если можно, то достань еще помощи, в противном случае и без тебя тут довольно жертв».

Народ со всех сторон хлынул на площадь: полиция молчала. Войска еще не было никакого с противной стороны. Поспешно поехал в Финляндские казармы, где оставался только наш 1-й батальон, куда только что успел воротиться мой стрелковый взвод по смене из караула в Галерной гавани. 2-й наш батальон в этот день занял караулы по 1-му отделению во дворце и в городе, 3-й батальон по очереди зимовал за городом по деревням. Прошел по всем ротам, приказал солдатам проворно одеться, вложить кремни, взять патроны и выстроиться на улице, говоря, что должно идти на помощь нашим братьям. В полчаса выстроился батальон, подоспели офицеры; никто не знал, по чьему приказанию выведен был батальон. Адъютанты скакали беспрестанно, один из них прямо к бригадному командиру Е. А. Головину с приказанием от корпусного Воинова вести батальон. Мы тронулись ротными колоннами; у Морского кадетского корпуса встретил нас генерал-адъютант граф Комаровский верхом, который государем послан был за нашим батальоном. Нас остановили на середине Исаакиевского моста подле будки; там приказали зарядить ружья; большая часть солдат при этом перекрестилась. Быв уверен в повиновении моих стрелков, вознамерился сначала пробиться сквозь карабинерный взвод, стоявший впереди меня, и сквозь роту Преображенского полка капитана Титова, занявшую всю ширину моста со стороны Сенатской площади.

Но как только я лично убедился, что восстание не имело начальника, следовательно, не могло быть единства в предприятии, и не желая напрасно жертвовать людьми, а также не будучи в состоянии оставаться в рядах противной стороны,— я решился остановить взвод мой в ту минуту, когда граф Комаровский и мой бригадный командир скомандовали всему батальону: «Вперед!» — взвод мой единогласно и громко повторил: «Стой!» — так что впереди стоявший карабинерский взвод дрогнул, заколебался, тронулся не весь, и только личным усилием капитана А. С. Вяткина, не щадившего ни ругательств знаменитых, ни мощных кулаков своих, удалось подвинуть этот первый взвод. Батальонный командир наш, полковник А. Н. Тулубьев, исчез, быв отозван в казармы, где квартировало его семейство. Дваж-

ды возвращался ко мне бригадный командир, чтобы сдвинуть мой взвод, но напрасны были его убеждения и угрозы. Между тем я остановил не один мой стрелковый взвод, за моим взводом стояли еще три роты, шесть взводов; но эти роты не слушались своих командиров, говоря, что впереди командир стрелков знает, что делает. Был уже второй час пополудни; по мере увеличения числа войск для оцепления возмутителей полиция стала смелее и разогнала народ с площади, много народу потянулось на Васильевский остров вдоль боковых перил Исаакиевского моста. Люди рабочие и разночинцы, шедшие с площади, просили меня держаться еще часок и уверяли, что все пойдет ладно. В это время вместе с отступающим народом командиру нашей 3-й егерской роты, капитану Д. Н. Белевцову удалось отвести свою роту назад и перейти с нею чрез Неву от Академии художеств к Английской набережной, к углу Сенатской площади; за этот открытый и мужественный поступок Белевцов награжден был Владимирским крестом с бантом; остальные две роты оставались за моим взводом. С лишком два часа стоял я неподвижно, в самой мучительной внутренней борьбе, выжидая атаки на площади, чтобы поддержать ее тремя с половиною ротами, или восемьюстами солдат, готовых следовать за мною повсюду.

Между тем на Сенатской площади около восьмисот человек л.-гв. Московского полка составили каре: рота М. А. Бестужева 3-го стояла лицом к Адмиралтейскому бульвару, он по необходимости должен был наблюдать за тремя фасами, а четвертым, обращенным к Исаакиевскому собору, командовал утомившийся князь Щепин-Ростовский. Это обстоятельство дало возможность М. А. Бестужеву спасти два эскадрона конногвардейцев, обскакавших каре и построившихся на полуружейный выстрел от него. Весь фас каре, обращенный к Сенату, приложился, чтобы дать залп, но был остановлен М. А. Бестужевым, который выбежал вперед фаса, скомандовал: «Отставь!» Несколько пуль прожужжало мимо его ушей, и несколько конногвардейцев свалилось с лошадей.

После московцев прибыл на площадь Сенатскую по Галерной улице батальон Гвардейского экипажа. Когда батальон этот собран был во дворе казарм для принятия присяги и несколько офицеров, сопротивлявшихся при-

сяге, были арестованы бригадным командиром генералом Шиповым, то в воротах казарм показался Н. А. Бестужев 1-й, в то самое мгновение, когда с площади послышались выстрелы ружейные против атаки конногвардейцев, и закричал солдатам: «Наших бьют! ребята, за мной!» — и все ринулись за ним на площадь. Второпях забыли прикатить за собою несколько орудий, стоявших в арсенале батальонном; впрочем, все надеялись на содействие гвардейской конной артиллерии. Батальон этот, выстроившись в колонну к атаке, стал за каре л.-гв. Московского полка, за фасом, обращенным к Исаакиевскому собору.

Потом присоединились три роты л.-гв. Гренадерского полка, приведенные поручиком А. Н. Сутгофом, батальонным адъютантом Н. А. Пановым и подпоручиком Кожевниковым. Перебежав через Неву, они вошли во внутренний двор Зимнего дворца, где уже стоял полковник Геруа с батальоном гвардейских сапер. Комендант Башуцкий похвалил усердие гренадер на защиту престола, но люди, заметив свою ошибку, закричали: «Не наши!» — и, повернув полукружием около двора, вышли из дворца, прошли мимо государя, спросившего их: «Куда вы? если за меня, так направо, если нет, так налево!» Кто-то ответил: «Налево!» — и все побежали на Сенатскую площадь врассыпную и были помещены внутри каре Московского полка, чтобы там рассчитать и построить их поротно, чего еще не успели, как артиллерия начала действовать. Должно, однако, заметить, что Сутгоф вывел свою роту в полной походной амуниции, с небольшим запасом хлеба, предварив ее о предстоящих действиях.

Всего было на Сенатской площади в рядах восстания больше 2000 солдат. Эта сила в руках одного начальника, в виду собравшегося тысячами вокруг народа, готового содействовать, могла бы все решить, и тем легче, что при наступательном действии много батальонов пристали бы к возмутившимся, которые при 10-градусном морозе, выпадавшем снеге с восточным резким ветром, в одних мундирах ограничивались страдательным положением и грелись только неумолкаемыми возгласами «ура»!. Не видать было диктатора, да и помощники его не были на месте. Предложили Булатову: он отказался; предложили Н. А. Бестужеву 1-му: он, как моряк, отказался; навязали, наконец, начальство князю Е. П. Обо-

ленскому, не как тактику, а как офицеру, известному и любимому солдатами. Было в полном смысле безначалие: без всяких распоряжений — все командовали, все чего-то ожидали и в ожидании дружно отбивали атаки, упорно отказывались сдаться и гордо отвергли обещанное помилование.

Постепенно, смотря по расстоянию казарм от дворца, собирались войска противной стороны: л.-гв. Конный полк приблизился к площади со стороны Английской набережной, батальоны Измайловского и Егерского полков по Вознесенской улице к Синему мосту. Л.-гв. Семеновский по Гороховой. Близ Адмиралтейского бульвара стояло каре л.-гв. Преображенского полка — там присутствовал новый император на коне с многочисленною свитою; в каре находился цесаревич, отрок семилетний, с воспитателем своим. Впереди каре поставлены были орудия бригады полковника Нестеровского, под прикрытием взвода кавалергардов, под командою поручика И. А. Анненкова. Позади каре батальон л.-гв. Павловского полка; саперы стерегли дворец. Преданность войск к престолу была не безусловная: она колебалась в эту минуту. Когда 2-му батальону л.-гв. Егерского, ныне Гатчинского, полка приказано было двинуться вперед от Синего моста и он уже тронулся, то по команде Якубовича «Налево кругом!» весь батальон обратился назад, несмотря на совершенную преданность престолу батальонного командира полковника В. И. Буссе, который за этот случай не получил звания флигель-адъютанта, отличия, коего удостоились получить все батальонные командиры, кроме еще моего батальонного командира А. Н. Тулубьева за то, что один взвод задержал три роты. Измайловский полк в тот день был также весьма ненадежен. Зато Конногвардейский полк под начальством А. Ф. Орлова молодецки пять раз атаковал каре московцев и пять раз был отбит штыками и залпами; два эскадрона их были спасены от истребления М. А. Бестужевым 3-м. Я уже сказал, что у солдат было не больше пяти патронов в суме; пулею ранен был в руку ротмистр Велио, а поручик Галахов — камнем, брошенным из толпы народа.

Когда войско было расставлено так, что возмутители со всех сторон были окружены густыми колоннами, то народу уже немного оставалось на площади, и полиция уже смелее начала разгонять его с Адмиралтейской пло-

щади и Дворцовой, где сам император, на коне, приказывал народу и упрашивал его разойтись по домам, чтобы не мешать движению войск. Все средства были употреблены государем, чтобы прекратить возмущение без боя, без кровопролития.

Первый из тех, которые желали и старались уговорить возмутителей к возвращению в казармы, был корпусной командир Воинов; но все его убеждения были напрасны, угрозы также, и кончилось тем, что из толпы народа кто-то пустил в него поленом так сильно в спину, что у старика свалилась шляпа, и он принужден был удалиться. Генерал Бистром удерживал остальные роты л.-гв. Московского полка от присоединения их к восставшим товарищам и уговаривал их содержать караулы в тот же вечер. Генерал И. О. Сухозанет примчался к каре как бешеный, просил солдат разойтись, прежде чем станут стрелять из пушек; его спровадили и сказали: «Стреляйте!» Великий князь Михаил Павлович, в этот день только что возвратившийся из Ненналя, с самоотвержением подъехал к каре, стал уговаривать солдат и едва не сделался жертвой своей смелости. В. К. Кюхельбекер, видя, что великому князю может удаться отклонить солдат, уже прицелил в него пистолетом, Петр Бестужев отвел его руку, пистолет дал осечку; князь должен был удалиться. Граф М. А. Милорадович, любимый вождь всех воинов, спокойно въехал в каре и старался уговорить солдат; ручался им честью, что государь простит им ослушание, если они тотчас вернутся в свои казармы. Все просили графа скорее удалиться; князь Е. П. Оболенский взял под узду его коня, чтобы увести и спасти всадника, который противился; наконец, Оболенский штыком солдатского ружья колол коня его в бок, чтобы вывести героя из каре. В эту минуту пули Каховского и еще двух солдат смертельно ранили смелого воина, который в бесчисленных сражениях и стычках участвовал со славою и оставался невредимым; ему суждено было пасть от русской пули. Командир л.-гв. Гренадерского полка, полковник Стюрлер, старался отвести своих гренадер, отделившихся от полка, и уговаривал их возвратиться с ним к полку и к долгу своему: пули Каховского и нескольких солдат ранили его смертельно. Наконец, по приказанию государя, употреблено было еще последнее средство к усмирению: на извозчичьих санях подъехал митрополит Серафим в сопро-

вождении киевского митрополита Евгения и нескольких священников с животворящим крестом, умолял братьев христианскою любовью возвратиться в свои казармы. Серафим, равно как прежде него великий князь Михаил и граф Милорадович, обещал именем государя совершенное прощение всем возмутившимся, кроме зачинщиков. Его выслушали; воины осенили себя знамением креста, но мольбы его остались также тщетными, ему сказали: «Поди, батюшка, домой, помолись за нас за всех, здесь тебе нечего делать!»

День декабрьский скоро кончается: в исходе третьего часа начинает смеркаться; без сомнения, в сумерки нахлынул бы народ, разогнанный полицией; наверно, пристала бы часть войска. Император долго не решался на ultimo ratio regnum *, но видел, что медлить было нечего, и был вынужден прибегнуть к этому средству, когда граф К. Ф. Толь, прибывший в Петербург в тот же день после великого князя Михаила, сказал ему: «Sire, faites balayer par la mitraille, ou renoncez au trone» **. Государь никогда не мог простить ему этой выходки, хотя не пренебрегал его полезною службою и доказанными его знаниями и способностями полководца.

Первый выстрел пушки, заряженной холостым зарядом, прогремел, в ответ послышалось «ура», второй и третий посылали ядра, одно засело в стене Сената, другое навесно полетело по направлению от угла Сената к Академии художеств. Восстание опять ответило громким и звонким «ура!». Зарядили картечью: полковник Нестеровский наводил пушки, сам государь скомандовал: «Первая! — фейерверкер с фитилем начал креститься; опять послышался тот же голос: «Первая»; тогда поручик Илья Бакунин приложил фитиль; в секунду картечь из орудий посыпалась градом в густое каре. Восстание разбежалось по Галерной улице и по Неве к Академии. Пушки двинулись вперед и дали другой залп картечью, одни — по Галерной, другие — поперек Невы. От вторичного, совершенно напрасного залпа картечью учетверилось число убитых, виновных и невинных, солдат и народа, особенно по узкому дефиле или ущелью Галерной улицы. Три фаса московского каре

---

* последний довод короля (*лат.*).

** Ваше величество, прикажите очистить площадь картечью или отрекитесь от престола (*фр.*).

бросились с М. А. Бестужевым 3-м к набережной, картечь их провожала; на Неве он хотел построить людей по отделениям, но ядра, пущенные с угла Исаакиевского моста, подломили лед, и много потонуло людей; без этого обстоятельства, может быть, удалось бы Бестужеву занять Петропавловскую крепость. Лейб-гренадеры, Гвардейский экипаж и четвертый фас московского каре бросились по Галерной, куда подвезли пушки и повалили солдат продольными выстрелами. По этому случаю л.-гв. Павловский полк не мог быть помещен в Галерной улице во время дела, как повествует о том граф Комаровский в своих записках; но этот полк был поставлен там поздно вечером, после решения дела, и едва не арестовал Бестужева, когда тот, уже переодетый в партикулярное платье, пробирался к К. П. Торсону.

Почти покажется невероятным, что из моих товарищей никто не был ни убит, ни ранен: у многих шинели и шубы были пробиты картечными пулями. Из залпа, сделанного против третьей атаки конной гвардии, одна пуля сорвала у меня левую кисточку от киверного кутаса и заставила ряд стрелков наклонить головы вбок; шутник это заметил и сказал: «Что это вы кланяетесь головами не прямо, а в сторону?» Особенно в батальоне Гвардейского экипажа легли целые ряды солдат; офицеры остались невредимы. Все бросились с площади по двум означенным направлениям, один только остановился, подошел к генералу Мартынову, чтобы через него передать свою саблю великому князю Михаилу,— то был Гвардейского экипажа лейтенант М. К. Кюхельбекер. В это самое время наскочил на него полковник пионерного эскадрона Засс с поднятою саблей, что заставило генерала Мартынова остановить его порыв и сказать ему: «Ай да храбрый полковник Засс! Вы видели, что он вручил мне свою полусаблю!» Когда площадь очистилась от возмутителей, то конная гвардия повернула к Исаакиевскому мосту на Васильевский остров. Я скомандовал «налево кругом!» и остановил взвод возле манежа 1-го Кадетского корпуса. По прибытии полкового командира из дворца приказано мне было вести мой взвод во двор директора всех корпусов, в 1-й линии против Большого проспекта. Приехал полковой священник; мне приказано было отойти от моих людей. Я видел, что солдаты сомкнулись в круг, священник стал их расспрашивать и готовить к присяге; тогда я быстро ворвался

в круг и громко, во всеуслышание объявил священнику, что солдаты мои ни в чем не виноваты, они слушались своего начальника. Взвод мой присягнул. Звезды горели на небе, а на земле бивачные огни в разных направлениях; меня со взводом моим назначили занять Андреевский рынок и караулить тамошний небольшой гостиный двор. Патрули ходили беспрестанно, и конные, и пешие; послали за шинелями в казармы. С 10 часов утра до 10 часов вечера щеголял я с солдатами в одних тонких мундирах. Взводу принесли хлеба из казарм; негоциант Герман Кнооп, мой нарвский знакомец, велел им дать пищу и по чарке водки, а для меня принес бутылку отличнейшего вина. В течение ночи очищали Сенатскую площадь, Галерную улицу и дорогу чрез Неву; раненых отвезли в госпиталя, близ прорубей находили различные одежды. На другой день увиделся с женою на два часа, чтобы расстаться надолго. Меня арестовали по высочайшему повелению 15 декабря рано утром.

Действия или действователи 14 декабря обсуждены различным образом: одни — видели в них мечтателей, другие — безумцев, третьи — бранили, называли их обезьянами Запада, четвертые — укоряли их в непомерном честолюбии; иной порицал безусловно, другой жалел; мало кто судил беспристрастно, и то почти тайно, соображаясь с достоинствами отдельной личности и выпуская из виду главную причину и главную цель. Газеты тогда не смели печатать правду; сплеча постановили приговор свой, что все мятежники-декабристы были гадко одеты и все имели зверский вид и отвратительную наружность. Совершившееся дело показало, что предприятие было явно начато среди белого дня. На большой площади, в виду народа, несколько человек дерзнуло обнаружить неудовольствие и ожидало общего участия для лучшей перемены. Правда, что первые роты из л.-гв. Московского полка были выведены под предлогом верности данной присяге Константину. Правда и то, что когда послышались возгласы в толпе «лучше вместо Константина конституцию!» и когда спросили нескольких человек: «Кто это конституция!» — то ответили им: «Это супруга Константина». Но также правда и то, что гренадерам и надежным унтер-офицерам были объявлены другие причины,— а в толпе посторонних хорошо знали эти причины! Декабристам на площади легко было предвидеть худой конец. Рылеев как угорелый бросался во

все казармы, ко всем караулам, чтобы набрать больше материальной силы, и возвращался на площадь с пустыми руками; следовательно, они сознательно обрекли себя на жертву, обнаружили мужество, которое борется без всякой надежды на успех; и вышло, как мне сказал Рылеев: «А все-таки надо, все-таки надо!»

Однако успех предназначенного предприятия был возможен, если сообразим все обстоятельства. Две тысячи солдат и вдесятеро больше народу были готовы на все по мановению начальника. Начальник был избран, я жил с ним вместе под одною крышею шесть лет в читинском остроге и в Петровской тюрьме за Байкалом. Товарищи знали его давно и много лет до рокового дня; все согласятся, что он был всегда муж правдивый, честный, весьма образованный, способный, на которого можно было положиться. Не знаю, отчего он не явился в назначенный час в назначенное место?! Он, я думаю, и сам этого не знал: психология или физиология на то ответит. Согласен, что он потерял голову, могу назвать его жалким в этот день, но подлости, измены в нем не допускаю. В критическую минуту пришлось его заменить; из двух назначенных ему помощников один, полковник Булатов, имел способность и храбрость, но избрал себе сам отдельный круг действия; другой,— капитан А. И. Якубович с повязкою на простреленном челе, с безответною саблею, лихой рубака на Кавказе,— не принял начальства, он хотел действовать независимо. И в самом деле — хотел ли он протянуть или затянуть дело,— но он играл роль двусмысленную: то подстрекал возмутителей, то обещал императору склонить их к покорности. Предложили начальствовать Н. А. Бестужеву 1-му: он, как моряк, отказался. Почти насильно поручили начальство князю Е. П. Оболенскому. Между тем уходило время; не было единства в распоряжениях, отчего сила вместо действующей стала только страдательною. Московцы твердо устояли и отбили пять атак л.-гв. Конного полка. Солдаты не поддавались ни угрозам, ни увещеваниям. Они не пошатнулись пред митрополитом в полном облачении с крестом, умолявшим их во имя господа. Эта сила на морозе и в мундирах стояла неподвижно в течение нескольких часов, когда она могла взять орудия, заряженные против нее. Орудия стояли близко под прикрытием взвода кавалергардов, под командою члена тайного общества И. А. Анненкова. Нетрудно было при-

манить к себе л.-гв. Измайловский полк, в котором было много посвященных в тайные общества. В ту же ночь бритвою лишил себя жизни капитан Богданович, упрекнув себя в том, что не содействовал. Она <эта сила> могла разогнать полицию и удержать народ, доказавший свою готовность вооружиться чем попало, хоть поленом. Наконец в этот самый день занимал караулы во дворце, в Адмиралтействе, в Сенате, в присутственных местах 2-й батальон л.-гв. Финляндского полка под начальством полковника А. Ф. Моллера, старинного члена тайного общества; в его руках был дворец. Относительно Моллера я должен сказать, что накануне, 13 декабря, был у него Н. А. Бестужев, чтобы склонить его на содействие с батальоном; он положительно отказался и среди переговоров ударил по выдвинутому ящику письменного стола, ящик разбился. «Вот слово мое,— сказал он,— если дам его, то во что бы ни стало сдержу его; но в этом деле — не вижу успеха и не хочу быть четвертованным».

На Адмиралтейском бульваре, в двадцати шагах от императора, стоял полковник Булатов, командир армейского Егерского полка в дивизии Н. М. Сипягина, недавно прибывший в Петербург в отпуск. Он имел два пистолета заряженных за пазухой с твердым намерением лишить его жизни: но рука невидимая удерживала его руку. В Булатове всегда было храбрости и смелости довольно. Лейб-гренадерам хорошо известно, как он в Отечественную войну со своею ротою брал неприятельские батареи, как он восторженно штурмовал их, как он, под градом неприятельской картечи, во многих шагах впереди роты увлекал людей куда хотел. Этот смелый воин, когда государь при личном допросе изъявил ему удивление свое, что видел его в числе мятежников, ответил откровенно, что, напротив того, он видел пред собою государя. «Что это значит?» — «Вчера с лишком два часа стоял я в двадцати шагах от вашего величества с заряженными пистолетами и с твердым намерением убить вас; но каждый раз, когда хватался за пистолет, сердце мне отказывало». Государю понравилось откровенное признание, и он приказал не сажать его в казематы крепости, где мы все содержались, но поместить его в квартире коменданта и дать ему хорошее содержание. Чрез несколько недель Булатов уморил себя голодом, выдержав ужасную борьбу: имея пред собою хорошую и вкусную пищу, он сгрыз ногти своих пальцев и сосал

кровь свою. Эти подробности передал мне плац-адъютант капитан Николаев и прибавил: Булатов сделал это от угрызений совести и глубокого раскаяния. «В чем же он раскаивался, когда он никого не убил и все стоял в стороне, как прочие зрители?» — спросил я. «То господу богу известно одному!» — ответил адъютант крепости.

Воспоминания мои написаны были в тридцатых годах. В 1857 году напечатана была книга «Восшествие на престол императора Николая I», составленная бароном М. А. Корфом по запискам многих членов императорского дома и приближенных ко двору. Если эти показания разнятся с многими, то это очень естественно, потому что составители записок, кроме великого князя Михаила Павловича и А. Ф. Орлова, находились в Зимнем дворце или окружали государя и двигались с ним только по Дворцовой и по Адмиралтейской площади, вдоль бульвара. Впрочем, разности эти столько же неважны, сколько разности в описании какого бы то ни было сражения, в коем невозможно, чтобы один человек верно и точно обнял бы взглядом все совершившиеся одновременные действия и движения в различных местностях.

Барон Корф приводит положительные факты, из коих видно, что император, быв еще великим князем, знал об изменении престолонаследия и еще до 27 ноября знал о существовании тайных обществ и до 14 декабря имел именной список заговорщиков. То же самое подтверждает г. Устрялов в своем сочинении «Царствование императора Николая I», напечатанном в 1848 году. Говорили, что первые страницы этой книги были пересмотрены самим императором до напечатания книги. Положительны были донесения графа Витта, доносы Шервуда и Майбороды, особенно последнего, бывшего казначеем Вятского пехотного полка полковника П. И. Пестеля и промотавшего в Москве несколько тысяч рублей при закупке полковых вещей. Кроме названных доносчиков, был еще предостерегатель — молодой офицер Я. И. Ростовцев, адъютант генерала Бистрома. Нельзя причислить его к доносчикам, потому что он 12 декабря предварил членов общества Рылеева и Оболенского, дав им прочесть письмо, написанное великому князю Николаю Павловичу, благодетелю его семейства. В письме своем предостерегал он его высочество от предстоящей опасности вообще, но не называл никого. В своем месте далее приложу

подлинное письмо Оболенского ко мне относительно Ростовцева. По всем этим данным нетрудно сделать вывод, по какой причине великий князь Николай Павлович 27 ноября не исполнил завещания императора Александра I. Упомянутые два сочинения приписывают эту причину братской любви; но всем известно, что между обоими братьями, Константином и Николаем, не было никогда особенного сочувствия или дружбы; сверх того, характеру Николая несродно было увлечение нежности или равнодушие к власти. Не вернее ли будет заключение, если скажем, что, имея в руках все доносы, в коих могли быть названы важные лица, даже не принадлежавшие к тайным обществам, Николай видел в одном краю России брата своего Константина, наследника престола по праву, во главе лучшей армии по своему устройству и обучению, в другом краю А. П. Ермолова с обстреленными и порохом пропитанными своими кавказцами, в Петербурге напрасно заподозрили К. И. Бистрома, идола гвардейских солдат, и еще Н. С. Мордвинова и М. М. Сперанского и других, известных по любви к свободе, на юге он видел в Тульчине и в Белой Церкви генералов и полковых командиров Пестеля, Бурцова, Абрамова, Тизенгаузена, А. З. Муравьева и батарейных начальников — Ентальцева и Берстеля... Такие сведения, подобные доносы заставляли невольно призадумываться...

В тот же самый день, 14 декабря, за 1500 верст от Петербурга, был арестован полковник П. И. Пестель, главный двигатель общества на юге. Приказ об его арестовании дан был из Таганрога вследствие доноса Майбороды. Штаб главной квартиры 2-й армии вытребовал полкового командира под предлогом дел по службе; Пестель догадался, но не думал о восстании, просил только спрятать его «Русскую правду» и поехал в Тульчин, где перед заставой встретили его жандармы и проводили уже как арестанта. 29 декабря были арестованы братья С. и М. Муравьевы-Апостолы полковым командиром Черниговского пехотного полка; в ту же ночь молодые офицеры, члены тайного общества Соединенных славян Кузьмин, Соловьев, Сухинов, Мозалевский и другие освободили арестантов, ранили полкового командира Гебеля и подняли шесть рот, расположенных ближе к полковому штабу. С. И. Муравьев выступил 31 декабря с намерением присоединиться к ближайшим сообщ-

никам в Киеве. 1 января была дневка в Мотовиловке: через день повернул на Белую Церковь, а между Устновкой и Королевкой был он настигнут отрядом гусар генерала Гейсмара; он выстроил каре, не велел стрелять и повел солдат в атаку на орудия. Картечный выстрел ранил и повалил его, а когда он опомнился, то уже не мог собрать солдат; он и Бестужев-Рюмин были ими выданы гусарскому эскадронному командиру. Прочие офицеры и М. И. Муравьев-Апостол были взяты в плен, а младший брат его Ипполит Иванович был убит во время атаки. Ротный командир Кузьмин под арестом застрелился, Сухинову удалось дойти до Кишинева, чтобы перебраться за границу, но он был выдан. В своем месте возвращусь к этому происшествию, теперь выведу заключение о 14 декабря.

На упрек в употреблении для восстания и переворота военной силы, которая назначена на охранение и на защиту общественного спокойствия, замечу только, что к тому прибегли обдуманно для избежания междоусобной брани, для быстрого введения первоначального нового порядка. Напрасно много твердили и писали, что восстание 14 декабря осадило Россию назад на полстолетия и не позволило правительству привести в скорейшее исполнение свои благие намерения. Напротив того, оно было поводом к изобличению всех злоупотреблений старинных и новых, и вместе с тем последовавшее расследование заговора указало не только на язвы государственного устройства, но и представляло средства к вернейшему и скорому излечению. Новый государь в несколько месяцев узнал все состояние России лучше, нежели то удалось предшественникам его в десятки лет. Время скоро сотрет наименование мятежников и верноподданных 14 декабря и соединит всех граждан для блага и для пользы общей. Конечно, так или иначе, благо устроилось бы и без 14 декабря, но это уже зависело бы не от тайного общества, не от заговора, а от правительства. 27 ноября была сделана ошибка; но в десятых днях декабря, когда не оставалось никакого сомнения в чистосердечном отречении Константина от престола, когда Николаю известны были имена главных заговорщиков в Петербурге, то становится непостижимым, почему не предпринимал он никаких предупредительных мер? Дело выказалось и было очень просто; следовало арестовать Рылеева, Оболенского, Бестужевых, много

что десять человек, и не было бы кровопролития 14 декабря, а там уже нетрудно было справиться поодиночке с отдельными членами тайных обществ. Ошибка важная со стороны государя; вот почему он и забыть не мог этого рокового дня. При малейшем нарушении могильной тишины и дисциплины имел он привычку повторять: «Ce sont mes amis du quatorze» *. Воспоминание государя о 14 декабря на смертном одре своем в 1855 году застало еще 25 ссыльных в Сибири, переживших друзей. Впрочем, не один Николай называл их своими друзьями, но случалось мне слышать иногда от сосланных товарищей и родственников их: «Ce sont nos amis du quatorze**, которые удружили нам ссылкою». На это возражал я каждый раз, что лучше томиться в Сибири, чем сгнить в Шлиссельбурге и Бобруйске.

Глава четвертая

СЛЕДСТВЕННАЯ КОМИССИЯ

Арест.— Спор за грамматику.— Караульня кавалергардская.— Допрос в Зимнем дворце.— Н. А. Бестужев 1-й.— Холод и голод.— Сострадательный часовой.— Перемещение.— Петропавловская крепость.— Каземат.— Одиночество.— Припоминания.— Следственная комиссия.— Допрос в крепости.— Действия комиссии.— Песни.— Кандалы.— Похороны.— Предчувствие, сочувствие.— М. Ф. Митьков.— Полночь.— Очная ставка.— Свидание

Поутру 15 декабря, как я уже сказал, за мной приехал полковой адъютант Грибовский и отвез меня к полковому командиру, где застал всех офицеров, кроме бывших еще в карауле с 14 декабря и еще не сменившихся. Генерал вспомнил мое вчерашнее замечание по поводу присяги, упрекнул меня, что я замарал мундир, и спросил присутствовавших: «Кто из вас отвезет Розена на Главную гауптвахту Зимнего дворца?» Никто не вызвался; тогда обратился он к дежурному по полку капитану А. Д. Тулубьеву и приказал отвезти меня в своей карете, а сани мои, по моему приказанию, ехали за каретой. В комендантской взяли мою шпагу, поставили ее в угол, где их стояло уже с полдюжины, и отвезли меня на гауптвахту, где уже другие сутки стоял караул от наше-

---

* Это мои друзья по четырнадцатому (*фр.*).
** Это наши друзья по четырнадцатому (*фр.*).

го полка. В числе караульных офицеров стоял тут добрый мой товарищ П. И. Греч; больше обыкновенного бледный от утомления беспокойного караула, кивнул головою и сказал: «Ах, душа! жаль тебя!» Полковник А. Ф. Моллер, напротив того, раскрасневшись, ходил взад и вперед и насвистывал в явном смущении, я попросил у него позволения написать к жене моей и отправить их с кучером моим, чтобы ее успокоить. Он сказал мне откровенно, что это невозможно, но если имею что передать словесно, то охотно сделает, что сам и исполнил, передав чрез кучера, что я здоров, и остался в Зимнем дворце. Меня отвели потом в длинную узкую заднюю комнату гауптвахты, где обыкновенно находятся караульные офицеры и днем и ночью. Угол задней стены был отделен большим столом, за коим стоял диван, а на диване спал К. В. Чевкин, имея в изголовье свой свернутый мундир Генерального штаба; он был арестован еще накануне 14 декабря за слишком смелую беседу с унтер-офицерами Преображенского полка в воротах казарм на Миллионной, которые пригласили его к полковому командиру. Чевкина перевели в другое место, а ко мне присоединили моего сослуживца капитана Н. П. Репина. При нас сменился караул, вошел славный комендант Башуцкий, осведомился о числе арестантов и, увидев меня, воскликнул: «Что это, боже мой! такой отличный офицер!» — но, догадавшись тотчас, что неуместно хвалить такого арестанта, хотел поправиться и прибавил: «То есть такой хорошей наружности!» Тогда новый караул перевел меня с Репиным в переднюю комнату, за стеклянную дверь первой перегородки от входа, где обыкновенно складывали дрова на суточное отопление караульни. Из-за стеклянной двери мы видели, как конвой преображенцев окружил А. А. Бестужева 2-го (Марлинского), который сам явился во дворец с повинною головою; он был одет как на бал, и когда конвою велели идти с ним, то сам скомандовал: «Марш!» — и пошел с ним в ногу. Через полчаса таким же порядком отвели И. И. Пущина; тут я был растроган, когда в минуту движения конвоя увидел молодого офицера, который бросился в средину конвоя, чтобы обнять Пущина: то был батальонный адъютант л.-гв. Гренадерского полка С. П. Галахов.

Был уже двенадцатый час ночи; опять готовили конвой из 12 солдат Преображенского полка, не видать бы-

ло арестанта; тогда вошел в мою перегородку дежурный по караулам полковник Микулин, чтобы осмотреть меня и Репина, не было ли у нас спрятанного оружия; потом объявил, что приказано вести нас к государю. Конвой повел нас по коридорам, по изгибам лестницы; в это время я почувствовал, что меня кто-то дергает за фалды мундира, оглянулся и увидел полковника Микулина, который на походе ощупал в моем кармане какую-то бумажку и вынул ее. Пришли в другой этаж, в просторную освещенную переднюю, где беспрестанно приходили и уходили генералы и флигель-адъютанты. Неотвязчивый полковник спросил меня, от кого была записка, найденная в моем кармане? Я ответил, что не помню, но узнаю по почерку. Когда он показал мне записку, то объявил, что она жены моей. По окончании канонады на Сенатской площади просил я Репина зайти к ней и успокоить ее, потом отправил к ней солдата; чрез два часа она написала мне на бумажке: «Sois tranquile, cher ami, Dieu me soutient, ménages-toi»*. Микулин возразил мне, что это невозможно или что жена моя не умеет писать по-французски, потому что ясно видно, что не женщина к мужчине, а, наоборот, мужчина пишет к женщине. «Не берусь быть судьею, в какой степени жена моя знает французский язык, но ручаюсь, что в этой записке нет ошибки грамматической».— «Помилуйте, да как же она пишет в мужском роде tranquille два ll и e!». На счастье мое подошел адъютант государя полковник В. А. Перовский и прервал неприятный спор, сказав ученому грамматику: «Cessez donc, mon cher, vous dites des bêtises» **. Из царского кабинета чрез генерал-адъютантские и флигель-адъютантские комнаты прошел И. В. Васильчиков в слезах; за ним шел Нейдгард, начальник штаба. На поклон мой ответил он вежливо и платком утер слезы. Вошел мой бригадный командир, остановился предо мною с невыразимым самодовольством, смотрел на меня с торжествующею улыбкою после вчерашнего неловкого положения и наконец удалился, когда я посреди конвоя скрестил руки на груди, по-наполеоновски, и готовился к допросу. Дежурный адъютант поспешно вошел и объявил, что государь более не принимает, и приказал фельдъегерям отвести меня на

* Будь спокоен, дорогой друг, господь меня поддерживает, береги себя *(фр.)*.

** Оставьте же, друг мой, вы говорите глупости *(фр.)*.

гауптвахту Кавалергардского полка, а Репина на гауптвахту Преображенского полка.

Здесь в полковой караульне просидел я одну неделю. На другой день имел я радость увидеться с женою: она сидела в санях, я стоял на платформе и успокоил ее сколько возможно было. На третий день вступил в караул И. А. Анненков, тот самый, который 14 декабря прикрывал артиллерию, а чрез полгода был приговорен к каторжной работе и к вечной ссылке. Надобно упомянуть здесь, что из гвардейских и армейских полков всего более было членов тайного общества в Генеральном штабе и в Кавалергардском полку. Странно было слышать суждение караульных офицеров и гостей их об арестованных однополчанах; слава богу, что таких чудаков было не много! С удовольствием провел сутки с ротмистром Тимковским; во всем видна была непритворная его привязанность к покойному императору Александру I; он не мог без слез вспоминать его. 21 декабря еще раз увиделся я с женою несколько минут. 22-го после обеда приехал за мною фельдъегерь; караульный офицер штаб-ротмистр Гудим-Левкович, знаменитый в свое время мазурист, проводил меня до саней, искренно пожелав мне лучшего окончания дела. Приказано было от коменданта отвести меня в Зимний дворец к допросу.

На главной гауптвахте Зимнего дворца ожидал я моей очереди. В 10 часов вечера с конвоем отвели меня во внутренние покои царские; чрез полчаса, уже без конвоя позвали меня в третью комнату к дежурному генерал-адъютанту В. В. Левашову. Он сидел за письменным столом, пред ним лежали бумаги,— и начал меня допрашивать по вопросным пунктам и писал мои ответы. В начале допроса отворились другие двери, вошел император; я сделал несколько шагов вперед, чтобы ему поклониться, он повелительно и грозно сказал: «Стой!» Подошел ко мне, положил свою руку под эполет моего плеча и повторял: «Назад, назад, назад», подвигая меня и следуя за мною, пока не ступил я на прежнее место к письменному столу, и восковые свечи, горевшие на столе, пришлись прямо против моих глаз. Тогда более минуты пристально смотрел он мне в глаза и, не заметив ни малейшего смущения, вспоминал, как он всегда доволен был моею службою, как он меня отличал, и прибавил, что теперь лежат на мне важные обвинения, что

я грозил заколоть первого солдата, который вздумал бы двинуться за карабинерным взводом, что он требует от меня чистосердечных сознаний, обещал мне сделать все, что возможно будет, чтобы спасти меня, и ушел. Допрос продолжался, я не мог сказать всю правду, не хотел назвать никого из членов тайного общества и из зачинщиков 14 декабря. Чрез полчаса опять вошел государь, взял у Левашова ответные пункты, искал чего-то; имен собственных никаких не было в моих показаниях; еще раз взглянул на меня с благоволением, уговаривая быть откровенным. Император был одет в своем старом сюртуке Измайловского полка без эполет, бледность на лице, воспаление в глазах показывали ясно, что он много трудился и беспокоился, во все вникал лично, все хотел сам слышать, все сам читать. Когда он ушел в свой кабинет, то еще в третий раз отворил дверь и в дверях произнес последние слова, мною слышанные из уст его: «Тебя, Розен, охотно спасу!» Когда Левашов дописал последний пункт, то передал мне прочесть бумагу и приказал подписью засвидетельствовать истину моих показаний. Я просил его уволить меня от подписи, дав ему разуметь, что не мог показать всю правду. «В таком случае следует снова допросить вас!» Но ответы мои вторичные все-таки не могли назвать других; о личных моих действиях мне нечего было скрывать, потому что они были явны, в виду многих, под открытым небом во время дневного света: и так оставалось мне подписать правду и неправду. Эта скрытность или это пренебрежение царским милостивым обещанием, вероятно, были одною из причин, почему 11 июля 1826 года, при утверждении приговора Верховного уголовного суда, из общего смягчения приговора для всех осужденных в каторгу изъяты были только четверо: два брата Н. А. Бестужев 1-й, М. А. Бестужев 3-й, М. Н. Глебов и я, может быть, за рассуждение мое, высказанное полковому командиру в присутствии всех офицеров полка 14 декабря поутру. Еще изъят был от смягчения весь 8-й разряд, приговоренный на поселение, кроме Бодиско 1-го.

Первые эти высочайшие личные допросы государя были не для всех одинаковы, не для всех ласковы. Государь говорил с каждым обвиненным; после того делались допросы и были собственноручно записываемы генерал-адъютантами Левашовым, Толем и Бенкендорфом по очереди, всего чаще первым из них, который иногда

в нетерпении, или от утомления, или от неограниченной преданности позволял себе странные выходки. Например: юному Бестужеву-Рюмину сказал он: «Vous savez, l'empereur n'a qu'a dire un mot et vous avez vécu!» * Полковнику М. Ф. Митькову сказал он: «Mais il y a des moyens pour vous faire avouer» ** — так что Митьков нашелся вынужденным заметить ему, что мы живем в XIX веке и что пытка у нас уничтожена законом.

Начальные допросы в Зимнем дворце не могли вникать во все подробности, но только служили к тому, чтобы государь лично мог каждого видеть и узнать новых сообщников, за которыми тотчас отправляли во все стороны фельдъегерей, жандармов и офицеров различных частей. Один из очень замечательных допросов состоялся с капитан-лейтенантом Н. А. Бестужевым. Надобно сказать наперед, что 14 декабря он хотел спастись бегством чрез ближайшую границу в Швецию: он дошел до Толбухина маяка, где караульные матросы его знали как помощника Спафарьева, директора всех маяков. Там он остановился, чтобы обогреться, но на беду узнала его жена одного матроса и донесла: там его догнали и на третий день привели во дворец. Он был измучен и голодом, и холодом. На счастье его проходил в это время великий князь Михаил Павлович, так что Бестужев мог обратиться к нему с просьбой, чтобы он приказал дать ему пищи для подкрепления силы, иначе он не будет в состоянии отвечать на допросе. Кстати, в этой же комнате стоял ужин для дежурных флигель-адъютантов, и великий князь приказал ему сесть за стол и во время его ужина беседовал с ним несколько минут. Известны юмор великого князя и способность составлять каламбуры. Говорили, что он, по уходе Бестужева, обратился к адъютантам своим, Бибикову и Анненкову, и сказал им, перекрестившись: «Слава богу, что я с ним не познакомился третьего дня, он, пожалуй, втянул бы и меня!»

Государь принял Н. А. Бестужева ласково, был тронут его выражениями и чувствами, исполненными высокой любви к отечеству, и сказал ему: «Вы знаете, что все в моих руках, что могу простить вам, и если бы мог увериться в том, что впредь буду иметь в вас верного

* Вы знаете, императору достаточно сказать одно слово, и вы прикажете долго жить! *(фр.)*

** Но есть много способов, чтобы заставить вас признаться *(фр.)*.

слугу, то готов простить вас».— «Ваше величество! в том и несчастье,— ответил Бестужев,— что вы все можете сделать; что вы выше закона: желаю, чтобы впредь жребий ваших подданных зависел от закона, а не от вашей угодности». В том же духе говорили другие, стараясь, сколько возможно, яснее представить зло от своеволия и самовластья. Они не могли укорять нового государя, царствующего только несколько дней; они не могли иметь личностей к нему, следовательно, могли говорить беспристрастно. С гораздо большими подробностями и с большею откровенностью могли они развить свои убеждения изустно и письменно пред комитетом. Были, однако, примеры: чистосердечное признание императору, мольбы к нему о пощаде спасали приведенных в Зимний дворец. Так было с Трубецким, с Раевским, с Бурцовым, который в 1827—28 годах оказывал величайшую храбрость и величайшие заслуги в турецкой и персидской войне как авангардный генерал, так что о нем печатно упоминалось в каждой реляции. Почти все члены первоначального тайного общества, не участвовавшие в тайных совещаниях 1824 года и 1825-го, и особенно последних недель до 14 декабря, были изъяты от предания суду и только временно удалены на Кавказ или оставлены в местах своего жительства под присмотром полиции.

По окончании моего первого допроса повели меня обратно на главную гауптвахту дворца, за ту же перегородку, которую занимал прежде; она была первая на правой руке при входе в первую караульную комнату. Свет получала комнатка от полустеклянной двери, а тепло чрез верхний край деревянной перегородки, следовательно, не могло быть ни светло, ни тепло, а только сносно на несколько часов. Я ожидал каждую минуту, что переведут меня или на другую гауптвахту, или в крепость. Ночь проспал на стуле, облокотясь о большой стол. На другой день видел, как беспрестанно приводили и уводили новых арестантов, военных и статских, знакомых и незнакомых. В случае слишком многочисленного их съезда сажали некоторых на несколько часов за мою перегородку, тогда приставляли еще другого часового с ружьем, со строгим приказанием, чтобы арестанты не говорили между собою; большой стол служил нам тогда внутренней перегородкой. Так провели со мною по нескольку часов Поливанов, гр. Булгари и много незнако-

мых: всех долее, даже целую ночь провел в моей комнатке полковник П. Х. Граббе, что особенно памятно для меня по бодрости его духа, по совершенному спокойствию его. Он был одет щеголем в мундире Северского конно-егерского полка, со множеством орденов, в числе их Георгиевский крест. Когда на другой день вошел караульный полковник, то я с негодованием сказал ему: «Прикажите дать заслуженному полковнику хоть сноп соломы: он целый день и всю ночь провел здесь хуже, чем на бивуаках!»

Наступили праздники рождественские, меня забыли, между тем я сидел в узких ботфортах, в мундире; к счастью, имел при себе шинель, которая меня грела. Все проходящие в караульную смотрели в стеклянную дверь мою, почему я перевернул стул так, что мог сидеть спиною к дверям. Каждый день полковник и капитан нового караула обходили всех арестантов. В пятый день пришла очередь полковнику В. И. Буссе, прежнему моему сослуживцу: я просил его послать на мою квартиру, чтобы принесли мне сюртук, рейтузы, полусапожки и белье. Чрез несколько часов эти вещи были мне доставлены; добрая жена моя прибавила мягкую сафьяновую желтую подушку. В конце декабря рано смеркается; свечей мне не давали, да и незачем, потому что книг не было, а чрез стеклянную дверь проникал свет огня караульных и отражал на противоположной стене тени проходящих. Голоса разговаривающих были ясно слышны. Вообразите себе мое положение, когда я вечером услышал голос родного брата моего Отто; я вскочил, увидел его, слышал, как он просил позволения со мною видеться. Я его видел, но не мог говорить; он говорил, но меня видеть не мог...

В третий день праздника великий князь Михаил Павлович вошел в караульную, остановился при входе у моих дверей и спросил: «Как! он все еще здесь?» Мне не хотелось ему сказать, что мне не на чем даже лежать, что мне холодно и что я голоден. Действительно, мне давали буквально к обеду и ужину по полутарелке холодного супу и по тоненькому кусочку ситного хлеба, в несколько золотников весу. Помню, что когда полковник Микулин во второй раз занял караул во дворце, то, лично осмотрев, приказал, чтобы не давали мне пищи больше той, которую я получал. Понятно, что это было не от скупости, не от жестокости, не от бережливости

дворцовой кухни, а от беспечности и от несметного числа неожиданных гостей, стекавшихся со всех концов России. Один из товарищей моих, быв на допросе у государя, заявил, что его помещение невыносимо смрадно во дворце. «Что же делать,— ответил государь,— всех теперь равно и одинаково содержать: это случайно и временно!»

Сон мой не мог быть продолжителен; я лег бы охотно на голый пол, но на полу было нестерпимо холодно; в моей каморке, прежде нежели она стала моею резиденцией, складывались дрова на суточное отопление покоев караульных. Ночью услышал я вполголоса зовущего солдата: «Ваше благородие, ваше благородие!» Я обернулся на стуле с вопросом: «Что такое?» — «Извольте испить свежего кваску, и вот еще мягкая булочка». То и другое он передал мне, просунув в дверь. Я ел и пил с жадностью, припоминая поговорку: «Хлеб мягкий, да квас яшный,— проел бы целую осеннюю ночь!» Кормилец мой был солдат Преображенского полка, в тот самый день, когда полковник Микулин строго приказал не давать мне более той пищи, которую он сам осмотрел. Таких сострадательных солдат нашел я четырех в двенадцатидневную бытность мою на дворцовой гауптвахте; кроме упомянутого солдата, еще из полка, в котором я служил, и из л.-гв. Измайловского и Егерского. Иногда я вслушивался внимательно в ночные разговоры караульных солдат; в передней стояло их человек до двенадцати: «А жалко, брат! много молодцов запирают в крепости, то и дело что с утра до вечера туда их возят фельдъегеря!» Может статься, что сострадание их или внимание ко мне было возбуждено тем обстоятельством, что за другою перегородкою возле печки, в той же общей передней содержались арестанты из Гвардейского экипажа — два брата Беляевых, Бодиско, Акуловых, которым приносили такой же обед роскошный, какой приносили караульным офицерам; крох от их стола было бы достаточно на пропитание такого же еще числа арестантов: дворцовая казна не скупилась, но караульные начальники не умели распорядиться.

Наступил новый 1826 год; я встретил его за тою же холодною перегородкою. 3 января вошел опять в караульную великий князь Михаил Павлович и, повернувшись к моей двери, сказал сердито: «Что это такое, он все еще здесь?!» — и тотчас вернулся. Чрез два часа

флигель-адъютант полковник Веселовский перевел меня чрез дворцовый коридор к салтыковскому подъезду, где меня поместили в чистой комнате, где была кровать с тюфяком и чистым бельем. К двум запертым дверям анфилады комнат были приставлены по одному часовому фурштадтского батальона с голыми саблями. Я бросился на постель, забыл все горе, уснул, как блаженный, пока не разбудил меня стук сабель и бряцанье шпор конвоя. Вошел тот же Веселовский, а за ним арестованный полковник Н. Н. Раевский, которого поместили в комнате рядом с моею, заперли дверь и приставили часового. Попеременно начинали мы разговор, но часовые упрашивали не говорить; это не помешало нам сообщаться несколькими словами нараспев, как будто бы распевали вполголоса каждый про себя. Величайшую тоску терпел мой сосед от запрещения курить табак; на другой день увели моего соседа. Ему пришлось опять идти чрез мою комнату, он обнял меня со слезами и сказал: «Le même sort nous attend» *. Слава богу, пророчество для него не сбылось. Меня так долго держали во дворце, что я начал надеяться на счастливый оборот, как 5 января увидел из окна подъехавшего к салтыковскому подъезду моего бригадного командира; худое предвестие, подумал я, и в самом деле: после обеда, в три часа вошел дежурный по караулам с фельдъегерем, который отвез меня в Петропавловскую крепость.

Со стесненным сердцем въехал я в ворота крепости; меня приветствовали колокольные звуки крепостных часов, старинных курантов, звонивших протяжно каждый час мелодию: «God save the king» **. В комендантском доме застал я четырех офицеров: л.-гв. Измайловского полка Андреева, князя Вадбольского, Миллера и Малютина. Чрез полчаса вошел комендант на деревянной ноге, генерал-адъютант Сукин, прочел пакеты, поданные фельдъегерем, и объявил нам, что по высочайшему повелению приказано держать нас под арестом. В этой же комнате с нами стоял пожилой мужчина с проседью, в статском сюртуке, с анненским крестом, украшенным бриллиантами, на шее. Комендант обратился к нему, узнал его и воскликнул с укором: «Как! и ты здесь по

* Одна судьба ожидает нас *(фр.)*.
** Боже, храни короля! *(англ.)*

этому же делу с этими господами?» — «Нет, ваше превосходительство, я под следствием за растрату строительного леса и корабельных снарядов».— «Ну, так слава богу, любезный племянник»,— сказал комендант и родственно пожал руку честного чиновника. Плац-майор крепости Е. М. Подушкин отвозил нас поодиночке; он спросил меня: «Есть ли у вас чистый платок носовой?» — «На что это?» — «Чтобы по форме завязать вам глаза». К счастью, был у меня такой: иначе пришлось бы понюхать его табачный платок. Он завязал мне глаза, взял под руку, свел с крыльца и посадил в сани с нежнейшею заботливостью, чтобы я не споткнулся и не ушибся. С такою же предусмотрительностью помог мне выйти из саней; опять взял под руку, предварил, что тут порог, тут шесть ступеней, потом повелительно произнес: «Фейерверкер! отопри 13-й нумер!». Зазвенели ключи, брякнули два замка, один висячий, другой внутренний: мы вошли, двери притворились. Тогда плац-майор снял мой платок с глаз и пожелал мне возможно скорейшего освобождения. Я просил, чтобы он приказал накормить меня; в тот день я ничего не ел, а четырнадцать дней сряду во дворце голодал каждый день. Плац-майор затруднился моею просьбою, заметив, что обеденная пора уже давно прошла; извинялся простотою крепостной кухни, вероятно, предполагая меня в числе избалованных гастрономов, однако обещал прислать мне тем охотнее, что я спросил только хлеба и воды.

В конурке моей было темно, что меня не поразило, потому что на дворе вечерело. Окно было забито плотною и частою железною решеткою; днем виднелась только узкая полоса горизонта и часть крепостного гласиса. К одной стенке приставлена была кровать с тюфяком и серо-сизым одеялом, а у другой стоял столик и ставчик; пространство было треугольное — два простенка каменных Кронверкской куртины, соединенные загородкою из стоячих бревен. Все эти загородки только что были сделаны из сырого лесу в два ряда, по двум продольным стенам куртины, наружная стена имела треугольные, а внутренняя — четырехугольные каморки и стойла, в четыре аршина длины и три аршина ширины. Гипотенуза моего треугольника была почти в шесть аршин длины. В дверях было небольшое окошечко, завешенное снаружи холстом, дабы часовые, стоявшие в коридоре, могли во всякое время заглядывать за аре-

стантами. В этом новоселье, лишь только вышел плац-майор, я усердно помолился богу; святой его воле предал совершенно себя, и жену мою, и всех близких сердцу, и особенно всех пленных и страждущих. Вскоре застучали шаги часовых, звякнули замки — сторож принес мне лампаду, горшок супу и огромный кусок хлеба. На три вопроса моих не получил ответа и перестал спрашивать, зато жадно и проворно очистил горшок картофельного супу с лавровым листом и фунта два хлеба. Фейерверкер смотрел на меня с удивлением, почему объяснил ему причину и продолжительность моего голода, но он, как немой, взял посуду и ушел.

Куранты прозвонили 8 часов; протяжный гул — «God save the king» — еще звонил в ушах, когда я уснул крепким сном; проспал бы, наверно, целые сутки, если бы не разбудил меня сторож ключами своими. Особенно неприятен для слуха был визг железной задвижки от висячего замка. После адского стука отворились двери, вошли плац-адъютант Николаев, за ним мужчина высокого роста в черном фраке, за ним фейерверкер. Я присел на кровати и думал, что мне привели еще товарища; конурка набилась битком. Адъютант спросил меня, здоров ли я, и представил мне доктора, который расспрашивал меня о моем здоровье. Обоим ответил, что чувствую себя здоровым и что я сладко спал. «Извините, что мы вас обеспокоили,— возразили они,— это по обязанности и по предписанию начальства»,— и как вошли, так и ушли. Я опять заснул и проспал до обеда; но не становилось светлее: окно было в амбразуре крепостной стены — ни разу не видел ни солнца, ни луны, только изредка звезду на оконечности небосклона. К вечеру приносили лампаду: в зеленом стакане над водою плавало масло конопляное, и светильник в поплавке рассеивал мрак. У меня не было книги, и никому из нас в первое время книг не давали. Чем теснее и тошнее становилось одиночество в стенах каземата, тем дальше и шире носилась мысль повсюду. Предстоящее было печально и неизвестно, настоящего у меня не было, оставались со мною только воспоминания прошедшего. Признаюсь, не могу согласиться с Байроном, что в несчастье все воспоминания минувшего счастья только увеличивают горе. Напротив того, я вспоминал прошедшее счастье с восторгом и с благодарностью и припоминал стих Жуковского: «Кто счастлив был, тот жил сто лет».

Во всякое время мог я себе представить присутствие жены моей, не только черты лица, но даже все движения, и слышал голос ее, и мысленно беседовал с нею. Когда я хотел вызвать образы моих родителей и друзей, то мне труднее было перевести их к себе, чем самому переселиться к ним. Воображение и память иногда представляли мне вызываемое лицо темным образом, не подробно, не в целости,— в таком случае от лица переходил я мысленно в дом, в котором оно жило; припоминал знакомые мне комнаты, расстановку мебели и других памятных предметов и тогда уже в эту готовую рамку вставлял лицо, и чем лучше я помнил одежду и наружность того лица, тем яснее и продолжительнее впечатлевались в моей мысли все черты и все оттенки лица, как будто действительно имел его пред собою.

Мышление человека невольно занято беспрестанно, особенно в темнице, где мысль отвлекается только мыслью. Счастлив, кто с детства приучаем был к мышлению; кому образование дало обширный круг мышлений, тому и темница на время становится одним из лучших университетов. Мы знаем, что величайшие ученые и гениальные мужи искали по временам глубочайшего уединения, где силы их увеличивались, чтобы потом в шумной практической жизни полезнее и лучше действовать на пользу общую. Это дознанное дело; но надобно, чтобы уединение или заточение зависели от меня, чтобы я сам мог себе назначить время и срок. Но сидеть в тюрьме без надежды освободиться самому, без видов быть освобожденным, а, напротив, в ожидании или позорной смерти, или вечного заточения, или изгнания — вот что поставит и лучшего мыслителя в великое затруднение и может иступить его и ум и сердце, если он не имеет полного упования на бога и крепкой веры на господа нашего спасителя Иисуса Христа. Такое упование, такая вера поддерживали меня: так мудрено ли, что я легко выдержал всю тяжесть испытания?

8 января по пробитии вечерней зори вошел плац-майор, чтобы отвести меня в комитет, собиравшийся ежедневно в комендантском доме. Опять завязал он мне глаза, но на этот раз так, что все лицо мое было закрыто, и повел меня к саням; ехать было недалеко. У комендантского крыльца слышал говор людей и сквозь батистовый платок мог разглядеть горящие фонари карет. Передняя набита была слугами. В другой комнате оста-

новил меня плац-майор, просил меня спокойно сесть и подождать его возвращения. Я приподнял платок, увидел пред собою притворенные двойные двери, позади себя ширмы сквозящие, за ширмами две свечи и ни одного человека во всей комнате. Не знаю, почему пришла мне мысль, что вдруг отворятся двери и меня расстреляют? Вероятно, эта мысль пробудилась от таинственности плац-майора и оттого, что завязали мне глаза. Тут я сидел, по крайней мере, целый час. С завязанными глазами повели меня чрез комнату, ярко освещенную, где слышен был скрип множества перьев; в следующей комнате такой же скрип перьев при совершенном безмолвии. Наконец в третьей комнате остановил меня плац-майор, сказав вполголоса: «Стойте на месте». С полминуты была мертвая тишина, как послышался отрывистый голос: «Снимите платок!» — то был голос великого князя Михаила Павловича. Я увидел пред собою длинный стол. На главном конце сидел председатель комиссии, военный министр Татищев; по правую сторону его сидели великий князь Михаил Павлович, генерал-адъютанты И. И. Дибич, П. В. Кутузов, А. Х. Бенкендорф; по левую сторону князь А. Н. Голицын, единственный из гражданских сановников, генерал-адъютанты А. И. Чернышев, Н. Н. Потапов, В. В. Левашов и с краю флигель-адъютант полковник В. Адлерберг в должности временного секретаря. Главным правителем дел назначен был действительный статский советник Д. Н. Блудов, но сей последний никогда не заседал в присутствии комиссии; говорили, что это по его личной настоятельной просьбе. Он заведовал всею канцелярией, он собирал и сличал все письменные показания и по оным составил отчет Следственной комиссии.

Все лица заслуженные, достойные уважения по многим отношениям, но невозможно признать в них судей сведущих и беспристрастных. Допросы и делопроизводство этой комиссии походили на личные допросы императора и очередных трех генерал-адъютантов, только в обширнейших размерах и в подробнейших частностях, потому что в комиссии беспрестанно бывали очные ставки. Если эта Следственная комиссия по своему назначению должна была составить суд военный, то в таком случае дело могло быть решено в 24 часа без помощи законоведов, и один главный аудитор указал бы на статью воинского устава, по коей каждый обвиненный

в государственной измене весьма имел быть артибузирован! Иначе и не возможно было принять эту Следственную комиссию, как за военный суд; кроме единственного Голицына, все члены были военные, и слава богу, что между ними были лица образованные и честные. Нельзя было ожидать суда, который должен был бы допустить и прения, и защитников опытных, но тогда этого у нас не водилось; Следственная комиссия представляла зрелище, куда вызывали обвиненных, а обвинители их были вместе и судебными следователями и судьями.

Первый вопрос был мне сделан великим князем:

— Каким образом вы, командир стрелков, могли остановить три роты, стоявшие впереди вашего взвода?

— Ваше императорское высочество, батальон по сбору из казарм был построен в ротные колонны, таким образом, мой взвод находился впереди трех егерских рот.

— Извините, я не знал этого обстоятельства,— заметил мне великий князь самым ласковым образом.

И. И. Дибич спросил меня, почему я остановил солдат посредине Исаакиевского моста. Я ответил, что удостоверившись лично, что на Сенатской площади не было начальника, не было никакого единства и никакой точности в распоряжениях, что, кроме того, взвод мой не присягнул новому императору, то считал за лучшее остановиться и не действовать.

— Понимаю,— сказал Дибич,— как тактик, вы хотели составить решительный резерв.

На это я ничего не возразил.

— С какого времени,— продолжал спрашивать Дибич,— вы находитесь в тайном обществе? и кто принял вас в число членов?

— Я никогда ни в каком тайном обществе не бывал.

— Может быть, вы разумеете, что для этого необходимы особенные обряды, знаки и условия, как в обществах масонских лож; если вы знали цель общества, то уже и были членом его.

— Я уже имел честь ответить, ваше превосходительство, что меня никто не принимал в тайное общество, что это не могло бы остаться сокрытым.

Тут прервал мое слово П. В. Кутузов:

— Ведь вы знали Рылеева?

— Знал, ваше превосходительство; я с ним вместе воспитывался в 1-м Кадетском корпусе.

— Разве вы и Оболенского не знали?

— Знал очень хорошо, мы были однополчане, сверх того он был старшим адъютантом всей гвардейской пехоты, как же было мне не знать его?

— Так чего же нам больше еще надобно! — заметил добродушно Кутузов.

Полковник Адлерберг прибавил:

— На вас показывают, что вы шпагою хотели заколоть второго стрелка с правого фланга, который уговаривал товарищей идти вслед за карабинерским взводом.

— Солдаты мои, г. полковник, никогда во фронте не разговаривали; один из них, не знаю — второй ли с фланга, сделал шаг, чтобы подвинуться вперед, тому грозил я шпагою и обещал то же всякому, кто только тронется с места без моего приказания.— Замечание полковника Адлерберга показало мне, что добрые люди уже много рассказали обо мне, особенно мой бригадный командир и батальонный и еще кто-нибудь, кто имел причины опасаться моих показаний. Надеюсь, что они совершенно успокоились.

Наконец генерал-адъютант А. И. Чернышев объявил, что я завтра получу письменные вопросы от комиссии и чтобы на каждый вопрос написан был ответ по пунктам.

Весь этот допрос был словесный. Председатель позвонил, вошел плац-майор, тут же, в присутствии, завязал мне глаза и вывел меня. Лицо было завешено платком, дабы секретари и писаря, сидевшие в двух проходных комнатах, не могли узнавать арестантов. Чрез несколько минут вошел я в мой 13-й нумер.

На третий день доставили мне запечатанный пакет. Вопросы были почти те же, только в них заключались новые обвинения с поименованием разных лиц и с прибавлением различных показаний. Плац-майор, отдав мне пакет, сказал: «Не спешите, обдумайте все». Когда, пробежав глазами вопросные пункты, я встретил имена собственные, то тяжело становилось на сердце: да неужели и все они подвергнутся заточению и суду?!

Уже известно было о собрании моих сослуживцев у Репина, о совещаниях, бывших у Рылеева и Оболенского; все это удостоверило меня, что комиссия предупреждена во многих отношениях. На все, что лично касалось меня, нетрудно было мне ответить — и на действия 14 декабря; но совсем другое дело были совещания до 14 декабря. Я был так счастлив, что никто за меня даже не был арестован: никто из моих солдат не был

ни наказан, ни удален на Кавказ. Мои ответы были причиною одной только очной ставки, о коей упомяну в своем месте. Написав все ответы, я обратился в комиссию с просьбою о позволении писать к жене моей.

На другой же день я получил это позволение; я мог писать один раз в месяц кратко, несколько строк. Ответы жены моей доставляли мне истинное утешение.

Еще просил я разрешения получать книги из дому, в чем было отказано, а плац-майор принес мне псалтырь.

Комиссия заседала ежедневно. Великий князь стал приезжать все реже и реже; некоторые члены чередовались; арестованных было уже довольно; но бессменно трудился А. И. Чернышев: он был главным деятелем, неутомимым сыщиком при допросах. Д. Н. Блудов, правитель огромной канцелярии комиссии, составлял нечто целое или вывод из отдельных показаний: исключил важнейшие дела и выставил сплетни и разговоры, в чем каждый беспристрастный читатель печатного донесения Следственной комиссии легко может удостовериться. Основатели общества, самые деятельные члены, зачинщики заговора, очень часто были вызываемы в комиссию. Пестеля до того замучили вопросными пунктами, различными обвинениями, частыми очными ставками, что он, страдая сверх того от болезни, сделал упрек комиссии, выпросил лист бумаги и в самой комиссии написал для себя вопросные пункты: «Вот, господа, каким образом логически следует вести и раскрыть дело, по таким вопросам получите удовлетворительный ответ». По разногласию показаний бывали очные ставки, словесные объяснения, вносимые в протокол иногда в превратном смысле. Вообще не все члены комиссии поступали совестливым образом, иначе как мог бы Чернышев спросить М. А. Назимова: «Что вы сделали бы, если бы были в Петербурге 14 декабря?» (Назимов был в это время в отпуску в Пскове.) Этот вопрос был так неловок, что Бенкендорф, не дав времени отвечать Назимову, привстал и, чрез стол взяв Чернышева за руку, сказал ему: «Ecoutez, vous n'avez pas le droit d'adresser une pareille question c'est une affaire de consience» *. Чернышев, как главный труженик в комиссии, вероятно, от усталости, от утомления, от нетерпения, забывался

* Послушайте, вы не имеете права задавать подобный вопрос, это дело совести *(фр.)*.

иногда в своих замашках, выходках и угрозах, так что П. Х. Граббе был вынужден сказать ему правду, за что по оправдании судом оставлен был в крепости под арестом на шесть месяцев за дерзкие ответы, данные комиссии. При очных ставках обыкновенно вызываемы были обвиненные сперва поодиночке, и когда показания их разнствовали, то сводили их вместе для улики. Когда Чернышев прочел показания Граббе, то спросил его: не упустил ли он чего, или не забыл ли какого важного обстоятельства? На отрицательный ответ его повели в другую комнату и призвали обличителя, который также оставался при высказанном своем мнении. Тогда снова призвали Граббе, и Чернышев, известный красавчик и щеголь, качаясь в креслах, крутя то ус, то жгут аксельбанта, с улыбкою спросил: «Что вы теперь, полковник, на это скажете?» Граббе с негодованием ответил ему: «Ваше превосходительство, вы не имеете права мне так говорить: я под судом, но я не осужден, и вам повторяю, что я показал правду, и не переменю ни единого слова из моих показаний». Обличитель опомнился и сознался в своей ошибке; Чернышев побледнел сквозь румяна и в тот же вечер пожаловался государю на дерзость арестованного полковника.

Председатель комиссии Татищев редко вмешивался в разбор дела; он только иногда замечал слишком ретивым ответчикам: «Вы, господа, читали все — и Destutt-Tracy, и Benjamin Constant, и Benthame — и вот куда попали, а я всю жизнь мою читал только священное писание, и смотрите, что заслужил»,— показывая на два ряда звезд, освещавших грудь его.

Каждый день плац-адъютант Николаев обходил казематы. Сначала был он очень молчалив и несловоохотлив. Фейерверкер Соколов и сторож Шибаев были хуже немых: немой хоть горлом гулит или руками и пальцами делает знаки, а эти молодцы были движущиеся истуканы. Чтобы привести тело мое в некоторое равновесие, я топтался на одном месте, кружился, вертелся и скакал как мог. Сон сокращал мне большую часть неволи: я спал или дремал по двенадцати часов в сутки. Пищу давали простую, но здоровую и достаточную, не так худо и скудно, как во дворце. Весьма часто, особенно по вечерам, имел потребность петь: пение поддерживало грудь мою, заменяло мне беседу, и пением выражал я расположение духа. Распевал и прозу, и стихи,

и псалмы; сам сочинял напевы, фантазии; иногда повторял старинные песни. Так однажды запел «Среди долины ровной, на гладкой высоте»; при втором куплете слышу, что мне вторит другой голос в коридоре за бревенчатой перегородкой; я узнал в нем голос моего фейерверкера. «Добрый знак! — подумал я.— Запел со мною, так и заговорит». Еще раз повторил песню, и он на славу вторил ей с начала до конца. Когда он чрез час принес мой ужин, оловянную мисочку, то я поблагодарил его за пение, и он решился мне ответить вполголоса: «Слава богу, что вы не скучаете, что у вас сердце веселое». С тех пор мало-помалу начинался разговор с ним, и он охотно отвечал на мои вопросы.

— Скажи мне, пожалуйста, Соколов (прозвание фейерверкера), как мне сделать, чтобы получить книги? Слышу, как мой сосед в 16-м нумере, наискось против моего нумера, целые ночи перелистывает книги.

— Сохрани вас боже от таких книг! он, сердешный, так много читает и пишет, что уже написал себе железные рукавчики.

— Что это значит?

— Да надели железную цепь на обе руки весом фунтов в пятнадцать.

Это был юный Бестужев-Рюмин, сильно замешанный по делу Южного общества и по сношениям со славянами и поляками. Такими браслетами хотели вынудить его к полному признанию; он на французском языке выражался лучше и легче, нежели на русском, а как он должен был писать в комиссию по-русски, то ему дали лексиконы: вот отчего мне слышно было по ночам поспешное и частое перелистывание книги. Чрез несколько дней услышал звук от цепей против моего каземата в 15-м нумере.

— Разве привезли кого нового? — спросил я у Соколова.

— Нет, все тот же сидит, но также написал себе беду!

Это был Н. С. Бобрищев-Пушкин старший, офицер Генерального штаба, от которого комиссия добивалась узнать место, где хранилась «Русская правда» — конституция, написанная Пестелем. Она была уложена в свинцовом ящике и зарыта в землю близ Тульчина. Место было известно только Пушкину и Заикину, последнего отправили туда с фельдъегерем, где после долгих поис-

ков в мерзлой земле, наконец, нашли и прямо передали в собственные руки императора.

— Много ли таких невольников сидит в железах?

— Из тридцати моих нумеров до десятка будет.— В таком же размере было число и в других куртинах. Юноша Гвардейского экипажа, мичман Дивов, которого сторожа называли младенцем, также сидел в узах. Воображение его было расстроено, случалось ему сообщить в комиссию ужаснейшие небылицы, сновидения, кои возбуждали новые расследования и дополняли сказки в Донесении комиссии. Зато он впоследствии был избавлен от каторжной работы и находился в крепостной работе в Бобруйске. Были и другие, которые вынудительными средствами показывали или подтверждали, чего сами не знали, чтобы только избавиться от муки. Некоторых уверяли, что только совершенная искренность и полнота признаний может спасти их самих и тех, которые приняли их в тайное общество. Так, Н. Н. Раевский упрашивал П. И. Фаленберга быть искренним: он признался, что князь А. И. Барятинский принял его в общество. Барятинский в том отпирался постоянно в письменных ответах, наконец, дали очную ставку в комиссии, и там он отрицал, а Фаленберг утверждал, так что Барятинский, желая спасти его, сказал Чернышеву: «Вы сами видите, мог ли я его принять в тайное общество?» Несмотря на настойчивые признания, Фаленберга все-таки осудили в каторгу по собственному его бездоказательному сознанию. Благородный и честный товарищ, прочитав в немецком переводе мой отзыв о нем, в коем была небольшая опечатка, исказившая смысл моего подлинника, вручил мне чрезвычайно важное описание своего ложного самообвинения. Он после ложных показаний на себя писал о том Дибичу и Чернышеву, но они не поверили ему и не продолжали разысканий. Наконец, он на другой день исполнения приговора просил к себе пастора, чтобы приобщиться св. тайне и, укрепившись причащением, объявил Рейнботу все откровенно и объяснил причины, по коим он вынужден был ложно обвинить себя. «Das ist schrecklich» * — вскричал пастор и ушел и не осмелился возвысить голос в защиту невинности. Этот случай напоминает правильность регламента, определяющего верно, *что не довольно собственного признания, надобно, чтобы оно подтвердилось еще всеми обстоя-*

* Это ужасно! *(нем.)*

тельствами. Наши судьи забыли это, а судьям необходимо это помнить каждый день при всяком случае. Были в числе моих товарищей и такие, которые, кроме уз на руках или ногах или одновременно на обоих местах, содержались в совершенном мраке, даже без лампады, и по временам уменьшали им пищу и питье.

6 марта плац-адъютант не приходил в обычное время. Фейерверкер Соколов имел вид таинственный и был одет в новую шинель. Сторож Шибаев, инвалид л.-гв. Егерского полка, также был в новой шинели, опрятно одет и выбрит. «Что, сегодня праздник?» — «Никак нет!» — «Чего же вы так принарядились?» — «Сегодня царя хоронят». Все было тихо вокруг меня, как всегда; толстые внешние крепостные стены со сводами и с земляною насыпью не пропускают шума; только через амбразуры, сквозь окна с решеткою, доходил гул от колоколов. Вдруг после обеда раздался пушечный выстрел, другой — без счету; настал конец погребального обряда и печальной процессии; а я, заключенный арестант без видов на освобождение, но с ожиданием казни, мог ли я не радоваться смерти? не смерти Благословенного, а всех смертных, но преимущественно всех страждущих и несчастливых? И в самом деле, после первого грома пушки я невольно воскликнул: «Да здравствует смерть!» Признаюсь, что мысль о смерти покоила душу мою, исполненную веры Христовой в лучшую будущность. Отчего же люди боятся смерти? Отчего предаются горести и унынию при кончине друга? Оттого, что или вера их не крепка, или они слишком привязаны к земле, к случайностям.

18 марта был день для меня памятный. После утренней молитвы я долго припоминал добрейшую и нежную мать. По необходимости и заведенному порядку собирался для движения вертеться и скакать, чтобы дать крови легкое обращение, как делывал каждый день, но не мог. Я лег на постель, заложил обе руки под голову и горько заплакал. Часовой в эту минуту приподнял завешенную снаружи тряпку с окошечка в дверях: я вскочил, стал к нему спиною, к решетке, и слезы потекли обильно. «Вот дамская истерика или нервный припадок! — подумал я.— Вот что наделала крепость в два месяца, а что будет дальше?» Опять лег, закрыл глаза; мне слышался голос матери, она меня утешала и благословляла. У кровати я бросился на колени, упер голову

о край кровати; не знаю, как долго я молился, но душою был с нею. Я встал, когда сторож отпирал замки и принес мне обед; отломив кусочек хлеба, велел ему унести обед. В этот же день к вечеру была моя очередь писать к милой жене моей; письмо это сохранилось; в нем прошу убедительно уведомить меня о моей матери. Через три дня получил ответ, что хотя здоровье ее слабо, но ей не хуже. Впоследствии, через два месяца, сообщила жена подробно, что мать моя скончалась именно 18 марта, во втором часу пополудни, что она в этот самый день поутру приобщилась св. тайне и в присутствии отца моего и двух сестер объявила священнику и всем прочим присутствовавшим из родных и прислуги, чтобы никто не укорял меня в причине ее смерти, что, напротив того, я из числа тех ее детей, которые от самой колыбели причиняли ей меньше забот и доставляли больше радостей, и что она до последнего дыхания жизни сохранит ко мне чистейшую любовь. Кто изъяснит это сочувствие, это ведение того, что совершалось в ту же самую минуту за 350 верст от меня? Телеграфной проволоки тогда не водилось нигде; телеграмма передала бы весть и ответ; но кто передал мне звук голоса? кто слил любовь?

Как все простенки, все углы и щели крепости были напичканы арестантами, то по их многочисленности и по запрещению водить их вместе десятками или сотнями невозможно было часто водить их в баню; моя очередь настала в первый раз в половине апреля. Снег уже сошел; погода стояла ясная; конвой проводил меня — глаз моих не завязали платком. Только что спустился по коридорной лестнице и переступил за наружную дверь, как солнечный свет до такой степени поразил мое зрение, что я мгновенно остановился и закрыл глаза руками. Сквозь пальцы дал им света понемногу. Мне казалось, что земля качается,— это ощущает и моряк, вышедший на берег; свежий чистый воздух останавливал дыхание. Следуя вдоль внутренней стены Кронверкской куртины, по длинному ряду окон, не мог увидеть никого из товарищей, потому что стекла были выбелены мелом. Повернул направо вдоль куртины, посреди коей главные ворота в крепость, аллея, ведущая к церкви и к комендантскому дому. Над воротами заметил окно, коего стекла не были замазаны, и узнал возле окна пишущего М. Ф. Орлова. Недалеко от ворот стоял неболь-

шой унтер-офицерский караул. Можно себе представить, как я обрадовался, когда увидел там моих стрелков; они поспешно собрались на платформу, дружно и громко ответили на мое приветствие, как бывало прежде в строю. Баня была славная, чистая и просторная, она освежила и укрепила меня. На обратном пути заметил я возле караула стоявшего слугу моего Михайла, который странными движениями лица, рук и ног выражал свою радость и свою преданность. «Здорова ли Анна Васильевна?» — «Слава богу, они сейчас были здесь в церкви и идут назад по аллее». Я прибавил шагу и увидел, как она, покрытая зеленым вуалем, шла тихими шагами на расстоянии двухсот сажен от меня; хотел к ней броситься, но ее положение при последних месяцах беременности и ответственность моего конвоя удержали меня; рукою посылал ей поцелуи и пошел в свой каземат. Возвратившись, нашел его гораздо темнее прежнего, потому что при входе не мог отличить стола от ставчика, и только виднелась белая кайма серо-сизого одеяла. Это было следствием быстрой смены ясного света дневного полумраком каземата. Постепенно обозначились предметы в моем нумере; зато в миллион раз несноснее показался мне казематный воздух — один раз в сутки выносили то, что всего вреднее для воздуха в запертой келье и имеет гибельное влияние на всякое здоровье.

На страстной неделе разрешено было императором, что арестанты в крепости могут получать книги духовного содержания, трубки и табак. Это было уже действительное облегчение для нас и роскошь после продолжительного лишения. Давно уже отвыкнув от трубки, принялся за нее с наслаждением, чтобы по возможности оборониться от сырого и нестерпимого воздуха. Жена моя прислала мне несколько частей «Stunden der Andacht».— Часы благоговения для распространения истинного христианства и домашнего благопочитания, сочинение известного Цшокке; несколько томов, содержащих преимущественно суждения о любви к отечеству, об обязанностях гражданина, воззвания во время войны 1812 и 1813 годов, были задержаны цензурою нашей Следственной комиссии. Однажды спросил я у плац-адъютанта Николаева, получают ли товарищи мои табак, книги, белье от своих родственников? Он сказал мне, что получают те, у которых есть родственники и знакомые в Петербурге, что он вчера отнес узел пол-

ковнику Михаилу Фотьевичу Митькову с бельем и английским фланелевым одеялом; но когда он узнал от меня, что не все арестанты, а, напротив того, весьма немногие получают такие вещи из дому, то он снова завязал узел, просил меня возвратить его, сказав, что он может обойтись без этих вещей. Надобно при этом заметить, что здоровье Митькова уже давно было расстроено, несмотря на строгую умеренность и на двухлетнее пользование его целительными водами в чужих краях. Этот поступок его в крепостных стенах согласовался с его характером, с его правилами. Я помню, когда прежде на парадах и маневрах он командовал нашим батальоном и во время отдыха или привала приносили барону Саргеру большие корзины с завтраком, то Митьков каждый раз отказывался от угощения, прося извинить его по нездоровью, но действительная причина заключалась в том, что он не мог разделить эту закуску с целым батальоном своим. Это делалось при людях, скажет иной; но в каземате не было зрителей и свидетелей, кроме одного только Николаева. Чрез каждые шесть недель навещали нас, по приказанию государя, генерал-адъютанты его: Сазонов, Стрекалов и Мартынов; последний добродушно отозвался обо мне сопровождавшему его коменданту и припоминал мне, как в его присутствии отличал меня в Красном Селе, в Петергофе и в Ораниенбауме бывший мой дивизионный командир, ныне император Николай.

В кануне 18 апреля, праздника пасхи, пушечный выстрел возвестил о времени, в которое православные собираются в церковь. В полночь повторяемые выстрелы означали, что уже начали христосоваться. Громко воскликнул я в каземате: «Христос воскрес!» — никто не ответил; некого было обнять в такую минуту, когда с восторженною любовью обнимаются и други, и недруги. На другой день похристосовался с Соколовым и с Шибаевым. Купечество в этот день доставило нам чрез крепостное начальство множество куличей, чаю и сахару. Трезвон отрывками проникал и наши стены, и узники рассуждали о бессмертии и припоминали беззаботные гуляния и пирования ликующего народа. Товарищ мой, князь А. И. Одоевский, выразил свои чувства в эту ночь следующими стихами:

Пробила полночь... грянул гром,
И грохот радостный раздался;
От звона воздух колебался,

От пушек в сумраке ночном
По небу зарева бежали
И, разлетаяся во тьме,
Меня, забытого в тюрьме,
Багровым светом освещали.
Я, на коленях стоя, пел,
С любовью к небесам свободный взор летел...
И серафимов тьмы внезапно запылали
В надзвездной вышине;
Их песни слышалися мне;
С их гласом все миры гармонию сливали.
Средь горних сил воскресший бог стоял,
И день, блестящий день сиял
Над сумраками ночи...
Стоял он радостный средь волн небесных сил
И, полные любви, божественные очи
На мир спасенный низводил.
И славу вышнего, и на земле спасенье
Я тихим гласом воспевал,
И мой, мой также глас к воскресшему взлетал:
Из гроба пел я воскресенье.

Комиссия оставила меня в покое от первого допроса 8 января. В конце апреля потребовали меня на очную ставку. В комиссии присутствовали только генерал-адъютанты Чернышев и Бенкендорф; первый прочел мне краткую выписку из моих показаний и спросил: имею ли что дополнить и заключает ли она в себе сущность моих показаний? Я подтвердил, и приказано было мне дожидаться в другой комнате. Я услышал звонок, говор, но не мог расслышать, о чем говорили. Чрез пять минут призвали меня опять, и я увидел стоявшего у стола однополчанина моего, подпоручика Богданова, в мундире, при шпаге. Чернышев вторично прочел при нем выписку и спросил: «Можете ли вы теперь подтвердить ваши показания?» — «Могу, ваше превосходительство».

Подпоручик Богданов, вероятно, полагал, что мною были переданы все подробности совещания, бывшего у князя Оболенского 12 декабря; мне легко было его разуверить и успокоить. При нем объяснил, что хотя вместе с ним на моих дрожках приехал я к Оболенскому, но там застали с лишком двадцать человек, помещавшихся в трех комнатах, беседовавших в различных группах, следовательно, не было общего совещания; отчего он не мог слышать того, что слышал я. Кроме того, он чрез несколько минут вышел, а я воротился домой один. Слава богу, Богданов оставался при своей шпаге, а за то, что отказался от вступления в караул на сенатскую гауптвахту 14 де-

кабря, должен был участвовать только в походе сборных гвардейцев, возмутившихся и отправленных на Кавказ. В моих показаниях комиссии на заданный вопрос: с кем я ехал к Оболенскому 12 декабря — я должен был назвать Богданова, иначе имел бы очную ставку с кучером моим, и тогда дело показалось бы более подозрительным и опаснее для Богданова. Эта была единственная очная ставка. Многих из моих соузников беспрестанно водили на очные ставки и этим усугубляли муки тюремной жизни. Каждое различие в показаниях, даже по самым маловажным предметам, вызывало очную ставку, причем расстроенное здоровье вызванных лиц, малейшее изменение памяти, смещение дней и чисел служило поводом к кривым толкам, сплетням и искажениям в Донесении Следственной комиссии.

13 мая в седьмом часу утра разбудил меня плац-адъютант Николаев. Из коридора послышался его голос — он велел призвать цирюльника. «Вставайте скорее, А<ндрей> Е<вгеньевич>!» — «Что такое? опять в комиссию?» — «Нет, в дом коменданта; ожидает вас радость: ваша супруга приехала на свидание». Вмиг я оделся, не хотел дождаться бородобрея. Мы вышли, и теплый душистый воздух упоил и освежил меня. У поворота поклонился мне слуга мой Михайла; на площадке стояла карета моя, и как только кучер Василий завидел меня, то ударил по вороным коням и лихо представил их, объехав вокруг меня. В покоях коменданта обнял я мою Annette; она была в глубоком трауре по кончине матери моей. Вид ее, слова и голос радовали и утешали. При нашем свидании присутствовал все время комендант крепости, отчего беседа наша не могла быть искреннею и касалась только родных и домашних отношений. По посредничеству В. В. Левашова жена моя получила высочайшее соизволение на свидание со мною; приближалось время ее разрешения от бремени, и она желала, чтобы мы еще раз могли благословить друг друга. Она передала мне все подробности о последних часах жизни моей матери, скончавшейся 18 марта, в тот самый день, когда предчувствие все мне сообщило в тот же самый час. Я всячески старался успокоить жену насчет ожидающей меня участи; час промчался быстро; комендант не мог продлить свидание, и мы должны были расстаться. Не легко было и это второе расставание. С особенными чувствами возвратился я в мой 13-й номер;

я был спокойнее, увидев добрую жену мою, получив более надежды, что она с упованием и с верою перенесет разлуку и предстоящее ей близкое разрешение. Чаще и громче напевал я песни, и наяву и во сне продолжал я беседы душевные. На третий день получил я письмо от нее, в котором уведомила, что свидание укрепило ее. Помню только, что я передал ей при коменданте последние слова, слышанные мною от императора; старался по возможности успокоить ее, что было мне не трудно, потому что в эти минуты свидания я забыл, где я был; не видел я коменданта, не слышал курантов крепостных часов, не думал о предстоящем мне жребии: я был как дома, я был счастлив!

Глава пятая

ВЕРХОВНЫЙ УГОЛОВНЫЙ СУД

17 мая.— Алексеевский равелин.— Духовные утешители.— Рождение сына.— К. И. Бистром.— Два столба.— Объявление приговора.— Лабораторный бастион.— 13 июля.— Исполнение приговора.— Пестель.— Рылеев.— Муравьев-Апостол.— Бестужев-Рюмин.— Каховский.— Соединенные славяне.— Примечания.— Вывод о комиссии и суде.— Что скажут правнуки.— Я. И. Ростовцев

Мая 17-го было необыкновенное движение в коридоре Кронверкской куртины; беспрестанно уводили и приводили арестантов. Многие из них незнакомым мне голосом, проходя мимо дверей моих, приветствовали по номеру: «Bon jour 13; votre sante 13; portez vous bien 13»*. После обеда Соколов сообщил мне, что только часть арестантов водят в комитет, где они подписывают какие-то бумаги и немедленно возвращаются. «А как ты думаешь: к лучшему или к худшему для тех, которых водят туда?» — «Бог весть!» — «Кажись, что тем будет легче, которых оставляют в покое». В беспокойном ожидании, наконец, уснул, как вдруг бряцанье ключей и замков, стук задвижки меня подняли. Плац-адъютант пригласил идти с ним в комитет; час был пятый после обеда. В воздухе пахло цветущею сиренью; птицы порхали и щебетали в комендантском саду, где они сосредоточи-

* Здравствуйте, 13; ваше здоровье, 13; как себя чувствуете, 13! *(фр.)*

лись поневоле, потому что вокруг все холодные каменные стены, прижатые с трех сторон Невою. Меня повели чрез комнату писцов, не с завязанными глазами и не в прежнюю залу комиссии, но вправо, в другую залу, где за письменным столом заседали Бенкендорф и сенатор Баранов. Мне подали написанные мною ответы на вопросы Следственной комиссии и спросили: «Ваша ли это рукопись? — добровольны ли ваши ответы — не имеете ли чего прибавить особенного?» На первые два вопроса ответил утвердительно, третий я отвергнул; тогда велели мне подписать бумаги, что они написаны мною без всякого приневоливания. В чертах лица Бенкендорфа я мог прочесть, что мне несдобровать. Сенатор Баранов не был членом Следственной комиссии, но как влиятельный сенатор и как член Верховного уголовного суда был назначен удостовериться в подлинности письменных показаний; следовательно, выбор жертв был сделан окончательно до суда, оставалось только соблюсти внешнюю формальность и распределить нас по разрядам. Между тем как в этих письменных показаниях Пестель, Рылеев, Сергей Муравьев-Апостол, Юшневский, Бестужев, Штейнгель и другие откровенно исповедовали свои убеждения, свою любовь к Отечеству и открыли все злоупотребления и средства к исправлению — большинство подсудимых отговаривалось от принятого участия или отрекалось от первых своих показаний не из школьной боязни или из раскаяния, а просто по ясной причине тайного суда или тайной канцелярии и по совершенной бесполезности метать бисером при такой обстановке, где увеличили бы наказание для себя, без всякой пользы для других. Люди, сведущие с порядком такого судопроизводства, поймут дело легко. Знаменательное и чудное совпадение дней и месяцев в различных годах по одному и тому же делу. Я составил краткие очерки или таблицы моих записок в 1828, 1829, 1830 годах, начал писать их подробно в сороковых годах и снова переписал и дополнил их с наступлением 1866 года. Читатели видели порядок судоустройства и судопроизводства 17 мая 1826 года,— помните же с благодарностью 17 мая 1866 года — день, в который в том же Петербурге начались действия новых судебных учреждений. Прощай, старинная юридическая практика, прощай, «слово и дело», и если даже старинные практиканты займут места в новых судах, то уже не могут быть опасными

при гласности заседаний, при решении уголовных дел присяжными, при публичности обвинения и защиты, при коих каждый присутствующий имеет право следить за ходом правосудия.

На обратном пути в каземат я с жадностью глотал душистый майский воздух; подле забора сада сорвал свежей травки, прибавил шагу в темницу, чтобы не разнежиться. Я целовал эту траву, и попадись мне дерево, я обнял бы его, как друга. С 17 мая движения в нашей Кронверкской куртине стали реже и тише: перестали звать в комиссию для очных ставок. Обычные посещения плац-майора и плац-адъютантов, приход сторожа с пищею нарушали глубокую тишину, прерываемую в отдельных номерах где песнью, где декламацией, где вздохом. Один из арестантов, М. А. Фонвизин, сколько ни старался, но не мог перенести затворничества; хотя духом он бодрствовал, но нервы не сносили такого состояния, и, наконец, приказано было, чтобы не запирали его дверей ни задвижкою, ни замками, а чтобы часовой стоял в его номере. Не было средств переписываться друг с другом. Перья и бумагу по счету давали только для ответов в комиссию, да и не было таких сторожей, которые согласились бы передавать записки. Особенное было содержание тех 16 товарищей, которые сидели в тайном отделении крепости, в Алексеевском равелине, где главным надзирателем был особый гражданский чиновник. Пред окнами, в близком расстоянии от них, стояла высокая каменная стена, а внутри равелина, где не было ни одного окна в здании, стояло несколько деревьев кленовых в тесном треугольном пространстве, куда изредка по очереди приводили их поодиночке, чтобы подышать свежим воздухом. Тут Рылеев сорвал кленовые листья и, за неимением бумаги, написал:

Мне тошно здесь, как на чужбине,
Когда я сброшу жизнь мою?
Кто даст мне крыле голубине,
Да полечу и почию!
Весь мир как смрадная могила!
Душа из тела рвется вон.
Творец! ты мне прибежище и сила,
Вонми мой вопль, услышь мой стон!
Проникни на мое моленье,
Вонми смирению души,
Пошли друзьям моим спасенье,
А мне даруй грехов прощенье
И дух от тела разреши!

Е. П. Оболенский таким же средством нашел случай писать ему и на кленовых же листьях получил следующий ответ:

О милый друг! как внятен голос твой,
Как утешителен и сладок;
Он возвратил душе моей покой
И мысли смутные привел в порядок.
Спасителю, сей истине верховной,
Мы подчинить от всей души должны
И мир вещественный и мир духовный.
Для смертного ужасен подвиг сей —
Но он к бессмертию стезя прямая:
И, благовествуя, речет о ней
Сама нам истина святая:
Блажен, кого отец мой изберет,
Кто истины здесь будет проповедник:
Тому венец, того блаженство ждет,
Тот царствия небесного наследник.
Как радостно, о друг любезный мой,
Внимаю я столь сладкому глаголу.
И, как орел, на небо рвусь душой,
Но плотью увлекаюсь долу.
Блажен, кто ведает, что бог един,
И мир, и истина, и благо наше.
Блажен, чей дух над плотью властелин,
Кто твердо шествует к Христовой чаше.
Прямой мудрец! он жребий свой вознес,
Он предпочел небесное земному;
И, как Петра, ведет его Христос
По треволнению мирскому.
Душою чист и сердцем прав,
Пред кончиною — сподвижник постоянный,
Как Моисей с горы Навав,
Узрит он край обетованный.

По временам по особенному желанию арестантов навещали нас служители церкви: православных — казанский протоиерей Петр Ник<олаевич> Мысловский, протестантов и лютеран — Анненской церкви пастор Рейнбот. Оба отличнейшие витии с благообразною наружностью; беседа их была умна, назидательна и занимательна, иногда отклонялась она от предмета духовного и переходила к политическому. Представляя гибельные последствия от либеральных идей и от насильственных переворотов, они, как везде было тогда принято, ссылались на Францию, припоминая все совершившиеся там ужасы в конце прошедшего столетия, и выводили, что она, после многих искушений и страданий, опять прибегла поневоле к королю и довольствуется Людовиком XVIII. Так, но они забывали, что Франция стала счаст-

ливее и богаче, нежели как была прежде, и что народ приобрел права, коих прежде не имел. Вероятно, имели они причину выпустить из виду примеры Швейцарии, Голландии, Англии, Америки, имевших гораздо прежде Франции свои перевороты, борьбы политические и религиозные, после коих обитатели этих стран созрели к быту лучшему. Без сомнения, гораздо счастливее были бы те народы, которые, не прибегая к насильственным мерам, к возмущениям и восстаниям, имели бы правителей, совестливо старающихся не о собственной своей власти или славе, но об истинном благе народа. Это благо не может продолжительно существовать без права, без закона, одинаково равного для всех, избавляющего всех от причуд самых умных и великодушных правителей.

С половины июня имел я беспокойства о жене моей; наступило время ее разрешения. Пение мое ежедневное умолкло. Фейерверкер Соколов и сторож Шибаев часто осведомлялись, не болен ли я? Сон мой сократился, а сновидения представляли мне жену больную, зовущую меня на помощь, одним словом, вера будто ослабела. И в каземате случилось, как обыкновенно замечено, что везде хорошие вести доходят медленно, опаздывают, между тем как худые, горестные долетают скоро. Бог дал мне первого сына 19 июня; в тот же день жена писала мне две строчки, но я получил их только 21-го вечером. Я радовался за нее, она перестала быть одинокою. Заочно в молитвах благословлял сына и просил, чтобы отец небесный заменил ему отца временного. Тогда я не имел надежды на свидание с сыном и ожидал ежедневно решения моей участи. По-прежнему опять напевал я песни, а на полу все глубже и глубже выдалбливались ямки от беспрестанных поворотов ноги.

Сторож Шибаев с каждым днем становился словоохотнее; за ранами он числился в гвардейской инвалидной бригаде и рассказывал о славных походах л.-гв. Егерского полка. Он с такою непритворною любовью отзывался о бывшем полковом командире своем, К. И. Бистроме, или Быстрове, как называли его солдаты, что растрогал меня совершенно, когда уверял, что каждый день, поминая родителей своих в молитве, он также молился за Бистрома. Зато и генерал этот, герой, любил солдат, как отец своих детей. Бывало, он едет в отпуск в Черковицы на две недели и по возвращении, приветствуя батальон в строю из Гвардейского корпуса, просле-

зится от радости свидания, хотя разлука продолжалась несколько дней. Он все делил с солдатами: и жизнь и копейку. Когда 14 декабря большая часть Московского полка осталась в казармах в нерешимости и уже трудно было удержать их, то Бистром послал туда л.-гв. Егерского полка унтер-офицера Гурова, который спас ему жизнь в битве под Лейпцигом, чтобы возвестить им прибытие свое в казармы. Он только что показался им и сказал краткое солдатское слово, как все подчинились ему, выстроились и выступили в порядке, чтобы на площади Сенатской занять ночной караул. Храбрый Бистром, идол солдат, не был назначен генерал-адъютантом, между тем как дюжина генералов гораздо ниже его были удостоены этим отличием. С лишком два месяца все подозревали его тайным причастником восстания или, по крайней мере, в том, что он знал о приготовлениях к 14 декабря, потому что большая часть его адъютантов были замешаны в этом деле, а старший из них был главным зачинщиком и начальствовал над восставшими солдатами. Когда Следственная комиссия убедилась в его неприкосновенности к этому делу, тогда государь пожаловал ему аксельбанты, самую лестную награду в царствование Александра I.

Июля 12-го поутру заметил я на Кронверкском валу против моего окна работающих плотников,— не понимал, что они строят из бревен на крепостном валу. Часто посматривал я в окно. Раз увидел на том же месте генерал-адъютанта в шляпе с бледным султаном в сопровождении адъютанта. Около полудня на том самом месте то подымали, то опускали два столба, после не видно было ни одного человека, а только бревна, обтесанные брусья лежали на валу. После обеда в 4 часа плац-адъютант Николаев пригласил меня в комитет; я собрался туда с стесненным сердцем, предполагая, что опять будет очная ставка или новый допрос. Можно себе представить, как я был обрадован в комендантском доме, когда увидел несколько комнат сряду, наполненных моими соузниками, и с каким восхищением обнял знакомых товарищей. Мне сказали, что нас собрали для объявления нам приговора. Некоторых из товарищей искал я напрасно: или их совсем тут не было, или они состояли в высших разрядах и уже были потребованы к выслушанию приговора. В двух комнатах, ближайших к зале присутствия, были собраны осужденные по разря-

дам,— так что когда 1-й вступил в присутствие, то 2-й разряд занял место его, а на место 2-го собрался 3-й разряд,— так следовали все разряды один после другого, а по прочтении приговора выходили также по разрядам в другую дверь анфилады комнат, и каждый разряд отдельно был размещен по крепостным нумерам, но не по прежним местам, а по порядку по числу лиц, составляющих разряд. Я принадлежал к 5-му разряду, всех было 12. С полчаса имели времени расспрашивать друг друга и утешать себя взаимно. Настала очередь моему разряду явиться в присутствие. Конвой с ружьями стоял у всех дверей.

Ввели 5-й разряд, состоявший только из пяти человек; мы стали в ряд спиною к окнам. Весь Верховный уголовный суд сидел пред нами за большими столами, расставленными покоем по трем стенам залы. Пред нами, в средине, сидел митрополит с несколькими архиереями; по правую сторону генералы; по левую сенаторы. В числе генералов заметил тотчас Бистрома в слезах; за несколько минут до того он видел осужденного любимого адъютанта своего Е. П. Оболенского; еще несколько лиц из судей военных выражали или участие, или негодование. Из сенаторов что-то многие показались мне непристойно и дерзко любопытными: они наводили на нас не только лорнеты, но и зрительные трубки. Может быть, это было из участия и сострадания: им хотелось хоть видеть один только раз и в последний раз тех осужденных, которых они же осудили, никогда не видев их и никогда не говорив с ними до осуждения. Посреди залы стоял обер-секретарь сената Журавлев и громким внятным голосом прочел наши сентенции. Верховный уголовный суд приговорил наш разряд 10 июля—сослать в каторжную работу на десять лет, а потом на поселение навечно. Император 11 июля смягчил этот приговор товарищам моим Н. П. Репину и М. К. Кюхельбекеру на 8 лет; Бодиско по молодости лет избавил от каторжной работы, заменив ее крепостною работою. М. Н. Глебов и я ожидали, что и нам прочтут какое облегчение, но вместо того Журавлев умолк, и велено было вести нас в казематы. Причину этому исключению, которому из 121 осужденных подверглись только 4, а именно: Н. А. Бестужев 1-й, М. А. Бестужев 3-й, М. Н. Глебов и я, из числа всех осужденных в каторжную работу, и еще весь 8-й разряд, приговоренный на поселение, при-

писываю, как я, кажется, уже сказал выше, 14 декабрю и особенно ко мне доброму расположению императора, когда он был моим дивизионным начальником. Всякий читатель поймет, что, с моей стороны, никакая злоба личная не могла быть поводом моих поступков. Вся эта процессия и церемония продолжалась несколько часов среди глубочайшей тишины. В 3-м разряде только М. С. Лунин, когда прочли сентенцию и Журавлев особенно расстановочно ударял голосом на последние слова — на поселение в Сибири навечно,— по привычке подтянув свою одежду в шагу, заметил всему присутствию: «Хороша вечность! — мне уже за пятьдесят лет от роду!» — он скончался от апоплексического удара в изгнании в 1845 году: так, почти 20 лет тянулась для него эта вечность. Может быть, что по этому обстоятельству в позднейших сентенциях, по делу Петрашевского, упущено было слово «навечно». Еще в 8-м разряде Н. С. Бобрищев-Пушкин 1-й, при выслушании своего приговора, трижды перекрестился пред присутствием. И. И. Пущину, захотевшему говорить, запретили говорить. Мы были не в суде, не пред судьями; тут нечего было и сказать и возражать: было бы то же, что спорить с конвоем или с палачом. Верховный уголовный суд утвержден был 1 июня. Он состоял из членов Государственного совета, правительствующего Сената, святейшего Синода; к ним по воле государя причислены были граф Юрий Головкин, граф Ланжерон, барон Григорий Строганов, генерал Воинов, граф Опперман, граф Ламберт, вице-адмирал Сенявин, Бороздин, Паскевич, Эмануэль, Комаровский, Башуцкий, Закревский, Бистром и тайный советник Кушников. Суд начал заседания в Сенате 15 июня под председательством князя Лопухина, обязанность генерал-прокурора исполнял князь Лобанов-Ростовский, производителем был обер-прокурор Журавлев. Занятия суда продолжались две недели. Суд состоял из 80 членов и выбрал из среды своей комитет для распределения преступников по разрядам; членами комитета были избраны граф П. А. Толстой, Васильчиков, Сперанский, Строганов, Комаровский, Кушников, сенатор Энгель, Д. О. Баранов и граф Кутайсов.

Выходя из комендантского дома, увидел близ ворот и пред домом толпу адъютантов генеральских, полковых и лакеев, собравшихся из любопытства. Пока мы шли пятеро вместе, мудрено ли, что после разлуки и заточе-

ния обрадовались свиданию и вели разговор веселый, живой и дружеский?! Это обстоятельство было передано за крепостные стены как доказательство нашего хвастовства или гордого пренебрежения. Меня повели в батальон лабораторный, где заперли в комнату довольно просторную с большим окном, в котором только нижние стекла были выбелены мелом. На стенах увидел нацарапанные имена нескольких арестантов, из которых осужден был один только граф З. Г. Чернышев. Мне сначала показалось странно находиться в просторной комнате, довольно светлой. В молитве предался во всем всемогущему и вселюбящему господу богу, и ему поручил я все, что было мне дорого и мило, и всех моих ближних по сердцу, и по заповеди, вспоминая слова спасителя на кресте: «Отче! прости им; ибо не знают, что делают». Это совершенно применимо к нашему синедриону. Солнце смеркалось, а все было не темно в июльскую ночь, отчего не мог уснуть, хотя несколько раз ложился на кровать. Зато было просторнее прохаживаться взад и вперед по комнате в девять шагов длины. Плац-адъютант Николаев предупредил меня, что рано поутру придет за мною, что приговор приведен будет в исполнение. Я ожидал немедленного отправления в дальний путь.

Июля 13-го до рассвета вывели меня на площадку крепостную, где уже выстроено было большое каре, в четыре шеренги, из л.-гв. Павловского полка и крепостных артиллеристов. Меня ввели в каре, где было уже несколько человек из моих товарищей и куда беспрестанно вводили других. Я обрадовался свиданию, все обнимались, и знакомые, и незнакомые, искали друзей и приятелей, но тщетно искал я Рылеева; тогда мне сказали, что он, в числе пяти главнейших сообщников, осужден на позорную казнь. Все сообщали друг другу свои сентенции: князь С. Г. Волконский был особенно бодр и разговорчив; Г. С. Батенков грыз щепку и обнаруживал негодование; А. И. Якубович бросил свой белый султан со шляпы и прохаживался один задумчиво и пасмурно; Е. П. Оболенский пополнел в крепости и получил розовые щеки от здоровья; И. И. Пущин, по обыкновению, был весел и заставлял громко хохотать целый собравшийся кружок. Никто не обнаруживал уныния; страдания видны были только на больных: таких было гораздо больше половины. Из моряков не было никого в нашем каре. Вокруг нас за линией солдат прохаживались

отдельно генерал-адъютанты Бенкендорф и Левашов и конвойные офицеры. Товарищ мой, полковник П. В. Абрамов, громко звал капитана Польмана, начальника каре, который не откликнулся; тогда Бенкендорф спросил его, что ему надобно. Он изъявил желание передать родному брату своему л.-гв. Павловского полка капитану новые свои золотые эполеты, которые скоро пригодятся ему при производстве в полковники. Бенкендорф охотно согласился и приказал офицеру передать их брату. В этом каре стояли мы с лишком полчаса, оттуда разделили нас на отделения, каждое окружено было многочисленным конвоем. В одном отделении находились офицеры, осужденные из 1-й гвардейской дивизии и Генерального штаба, гвардейских кавалерийских дивизий особо, в другом — офицеры 2-й гвардейской дивизии, саперы и пионеры, в третьем — офицеры армии, в четвертом — служившие в гражданской службе, пятое отделение состояло из моряков и отправлено было в Кронштадт, где исполнен был приговор в присутствии флота. В таких отделениях вывели нас из крепостных ворот на гласис Кронверкской куртины. Спиною к петербургской стороне стояло войско, по одной роте и по одному эскадрону с каждого полка Гвардейского корпуса, с заряженными пушками. На Кронверкском валу видна была виселица, тогда узнал я работу виденных мною плотников из окна моего каземата. Отделения наши стояли в ста саженях расстояния одно от другого, возле каждого отделения пылал костер и стоял палач. По гласису между войском и отделениями разъезжал верхом генерал-адъютант Чернышев, в этот раз без румян. Красивый гнедой конь его с гордою поступью, но без хвоста, был с голой репицей: вероятно, слишком рано утром не успели убрать или плохо убрали седока и коня!

При каждом отделении находился генерал: при нашем 2-м был мой бывший бригадный начальник Е. А. Головин. По старшинству разрядов вызывали нас вперед поодиночке; каждый должен был стать на колени; палач ломал шпагу над головою, сдирал мундир и бросал их в пылающий костер. Став на колени, я сбросил с себя мундир, прежде чем палач мог до меня дотронуться, за что генерал закричал ему: «Дери с него мундир!» Шпаги и сабли были заранее уже подпилены, так что палач без всякого усилия мог их переломить над головою, только с бедным Якубовичем поступил он неосторожно,

прикоснувшись его головы, пробитой черкесскою пулею, над правым виском. С И. Д. Якушкина также неосторожно содрали кожу с чела. Последним из нашего отделения был М. И. Пущин, который по приговору был разжалован в рядовые до выслуги без лишения прав дворянства, следовательно, закон запрещал ломать над ним саблю, о чем он заметил генералу, но тому было не до закона и, не выслушав его, приказал и над ним переломить саблю. В огонь вместе с мундирами были брошены и ордена второпях. Процессия эта продолжалась с лишком час; на нас надели полосатые госпитальные халаты и теми же отделениями повели обратно в крепость. Я взял под руку всеми искренно уважаемого, заслуженного полковника моего М. Ф. Митькова, который больной поступил в крепость и здесь еще более расстроил здоровье.

Народу, зрителей было мало, только около входа в крепость пред подъемным мостом толпилась куча небольшая. Накануне дали знать, что решение будет на Волковом поле. Народ, повсюду любопытный, на этот раз или сам не хотел присутствовать, или было еще слишком рано, или полиция не допустила. Когда нас повели обратно, то на Кронверкском валу виселица еще ждала обреченных жертв — там еще никого не было. Мы обратились в ту сторону, перекрестились, и каждый по-своему просил бога принять с любовью наших товарищей, опередивших нас рвением и отшествием от мира сего. На виселицу и на повешенных народ мог глядеть долго, до позднего вечера, но только издали, потому что она стояла на высоком валу за рвом непроходимым, на месте неприступном. Не знаю, чему приписать причину, что казнь не была совершена на наших глазах, в нашем присутствии,— деликатности ли? или обдуманной осторожности, или неисправности? Конечно, не хотели утаить ее, она должна была служить примером и страшилищем, но все как-то не клеилось одно с другим — с народным духом и с гласностью. Говорили после, что Чернышеву сделано было замечание за то, что казнь была не одновременна с нашей экзекуцией, другие говорили, что перекладина была забыта в мастерской. Меня отвели в прежнюю мою Кронверкскую куртину, но в другой нумер, соседний, в 14-й, в котором Рылеев провел последнюю ночь своей земной жизни. Я вступил туда, как в место освященное; молился за него, за жену его, за дочь

Настеньку; тут писал он последнее, всем известное письмо, изуродованное переписчиками. Из оловянной кружки пил я не допитую им воду. Возле меня в 15-м нумере посажен был товарищ мой Н. П. Репин; двойная бревенчатая стена отделяла наши стойла, или казематные кельи. В моем прежнем 13-м нумере наискось против меня сидел в тот день М. А. Назимов; ему, сердечному, суждено было видеть ужасную казнь на валу: до ночи висели тела мертвых, разрешившихся и освободившихся душ бессмертных.

Очевидцы последних часов жизни Павла Ивановича Пестеля, Кондратия Федоровича Рылеева, Сергея Ивановича Муравьева-Апостола, Михаила Павловича Бестужева-Рюмина, Петра Григорьевича Каховского были протоиерей П. Н. Мысловский, плац-майор Е. М. Подушкин, плац-адъютант Николаев, фейерверкер Соколов и несколько солдат в крепости, а на месте казни находились, кроме названных: петербургский плац-майор А. А. Болдырев, городской полицмейстер гвардейского Генерального штаба штабс-капитан В. Д. Вольховский и еще несколько солдат. Последний день и последнюю ночь 12 июля осужденные на смерть провели в нумерах Кронверкской куртины. П. И. Пестель от начала до конца сохранял необыкновенную твердость духа, без малейшего волнения, в готовности принять и вытерпеть все муки. Образованием своим он был обязан не столько хорошим наставникам и учебным заведениям, сколько отличным способностям своим и великой цели всей жизни. Много лет трудился он над «Русской правдою», которая не многим кому известна от начала до конца, а подлинник в свинцовом ящике, закопанный в мерзлую землю близ деревни Кирнасовки Заикиным и Пушкиным, передан в собственные руки императора, как я уже упомянул выше. При каждой двери квартиры его был приделан колокольчик, так что он всегда успевал прятать свои бумаги от нежданных гостей. Весь труд свой сообщил он сам Алексею Петровичу Юшневскому, бывшему интенданту 2-й армии, мужу большого ума, с самыми строгими правилами нравственности. Отдельные части «Русской правды» сообщал он и посторонним, и П. Д. Киселеву, и многим членам, от которых мог ожидать дельных примечаний или дополнений. Сущность «Русской правды» заключала в себе распределение обширнейшей в мире страны на области и округи по ме-

стности и по составу населения, но притом — единство России. Как ныне Финляндия, так могло бы существовать и Царство Польское 1815 года, но никогда не было ни помышления, ни речи, ни сделки об отречении России от Польши; перенесение правительственных мест в Нижний Новгород; освобождение всех крестьян из крепостной зависимости и наделение всех землею в собственность; общинное управление крестьян; гласное судопроизводство с присяжными по делам уголовным; преобразование войска и уменьшение срока обязательной службы. Все собеседники Пестеля безусловно удивлялись его уму положительному и проницательному, дару слова и логическому порядку в изложении мысли. Коротко знавшие и ежедневно видавшие его, когда он был еще адъютантом графа Витгенштейна, сравнивали его голову с конторкою со множеством отделений и выдвижных ящиков: о чем бы ни заговорили, ему стоило только выдвинуть такой ящик и изложить все с величайшею удовлетворительностью. Составитель и редактор отчета, или Донесения Следственной комиссии, собрав материал свой из частных разговоров, показаний, мнений нескольких членов общества, выставляет Пестеля как честолюбца непомерного, думавшего только о собственной своей славе, о своем личном повышении. Кто хочет верно оценить Пестеля, тот должен знать его «Русскую правду». Насчет замечаний о его действиях как полкового командира должно помнить, что они сделаны Майбородою, предателем, который был его казначеем, истратил для себя полковые деньги в Москве, куда послан был для покупки офицерских вещей и казенных, и был великодушно спасен Пестелем от стыда и от суда. Относительно замечания Рылеева, что в Пестеле можно скорее предугадывать Наполеона, чем Вашингтона, то оно было извлечено из частной беседы его после первого знакомства с ним, когда Пестель укорял Северное общество в бездействии и предложил соединить Северное с Южным. В роковую ночь он приобщился св. тайн у пастора Рейнбота, который изъявил ему свою готовность сопутствовать ему до последней минуты; но Пестель благодарил и отказал ему в предложении, заметив, что довольно будет напутствования одного священника русского, что он сам приготовился на все и что у всех христиан спаситель един. Пестель оставался спокойным до последнего мгновения, он никого ни о чем не просил; равно-

душно смотрел, как заковали ноги его в железо, и когда под конец надели петлю, когда из-под ног столкнули скамейку, то тело его оставалось в спокойном положении, как будто душа мгновенно отделилась от тела, от земли, где он был оклеветан, где трудился не для себя, где судили его за намерения, за мысли, за слова и просто умертвили. Ссылаюсь на решения и доказательства лучших и опытнейших юристов.

Я не пишу биографий моих товарищей и соузников, а только кратко касаюсь последних минут их земной жизни, припоминая главные черты их характера. В моих записках я уже не раз упоминал о Кондратии Федоровиче Рылееве. Вся жизнь его, от самого выпуска из 1-го Кадетского корпуса в конную артиллерию, дышала любовью к отечеству. Прочтите его сочинения — вы повсюду найдете эту любовь, готовую принять все муки адские, лишь бы быть полезным своей стране родной. Читайте думу «Волынский», «Исповедь Наливайки», поэму «Войнаровский» — вы в них услышите и увидите самого Рылеева. Всего теснее и искреннее был он связан с Оболенским и с Николаем и Александром Бестужевыми; двое первых написали биографию Рылеева, мне остается только досказать, что он в досужие часы от дел Американской торговой компании, коей он был секретарем, хаживал в губернское правление; вызывался хлопотать за людей безграмотных, бедных или притесненных, так что в последние годы все такие просители хорошо его знали. Я уже доказал, как он безусловно и охотно жертвовал собою при восстании 14 декабря; он предвидел неудачу, но хотел явного восстания, явного требования прав, в полном убеждении, что иначе народу не получить того, что ему следует. Он был душою этой попытки; с радостью принимал он на себя всю ответственность; сам просил императора и комиссию и комитет, чтобы его не щадили, но чтобы облегчили участь товарищей его, о чем даже упоминается и в Донесении Следственной комиссии. Только не знаю, откуда редактор Донесения почерпнул, что будто бы Рылеев сам не являлся на Сенатскую площадь, когда я сам видел его там; но ему незачем было долго там оставаться, потому что он деятельнее всех других собирал силы со всех сторон: ездил по всем казармам, по караулам, искал отдельных лиц, не явившихся к сборному месту. Он только не мог принять начальства над войском, не полагаясь на свое

уменье распорядиться и еще накануне избрав для себя обязанность рядового. В каземате в последнюю ночь получил он позволение писать к жене своей; он начал, отрывался от письма, молился, продолжал писать. С рассветом вошел к нему плац-майор со сторожем, с кандалами и объявил, что через полчаса надо идти: он сел дописать письмо, просил, чтобы между тем надевали железы на ноги. Соколов был поражен его спокойным видом и голосом. Он съел кусочек булки, запил водою, благословил тюремщика, благословил во все стороны соотчичей, и друга и недруга, и сказал: «Я готов идти!»

В 12-м нумере Кронверкской куртины заключен был накануне казни Сергей Иванович Муравьев-Апостол 2-й. Его пламенная душа, его крепкая и чистейшая вера еще задолго до роковой минуты внушали протоиерею П. Н. Мысловскому такое глубокое почитание, что он часто и многим повторял: «Когда вступаю в каземат Сергея Ивановича, то мною овладевает такое же чувство благоговейное, как при вшествии в алтарь пред божественною службою». Так чисты были его помышления, так сердце его исполнено было любви к спасителю и к ближнему. Беседы его были всегда назидательны и утешительны. С юных лет предметом любимой мысли его было благо отечества; для него учился он старательно сперва дома, после в корпусе путей сообщения генерала Бетанкура, наконец в Париже; служил в л.-гв. Семеновском полку, откуда после восстания полка в 1820 году при распределении целого полка по всем полкам армии переведен был в Черниговский пехотный полк подполковником. Для отечества он готов был жертвовать всем; но все еще казалось до такой степени отдаленным для него, что он иногда терял терпение; в такую минуту он однажды на стене Киевского монастыря карандашом выразил свое чувство. В. Н. Лихарев открыл эту надпись:

Toujours rêveur et solitaire,
Je passerai sur cette terre,
Sans que personne m'ait connu;
Ce n'est qu'au bout de ma carriére,
Que par un grand trait de lumiere,
L'on verra ce qu'on a perdu.*

---

* Задумчив, одинокий,
Я по земле пройду, не знаемый никем.
Лишь пред концом моим,
Внезапно озаренный,
Познает мир, кого лишился он. *(фр.)*

Душа его была достойна и способна для достижения великой цели. В последние минуты жизни он не имел времени думать о себе. Возле его каземата в 16-м нумере сидел юный друг его — Михаил Павлович Бестужев-Рюмин; нужно было утешать и ободрять его. Соколов и сторожа Шибаев и Трофимов не мешали им громко беседовать, уважая последние минуты жизни осужденных жертв. Жалею, что они не умели мне передать сущность последней их беседы, а только сказали мне, что они все говорили о спасителе Иисусе Христе и о бессмертии души. М. А. Назимов, сидя в 13-м нумере, иногда мог только расслышать, как в последнюю ночь С. И. Муравьев-Апостол в беседе с Михаилом Павловичем Бестужевым-Рюминым читал вслух некоторые места из пророчеств и из Нового Завета.

В числе осужденных Муравьевых были члены домов, связанных между собою близким и дальним родством. С. И. и М. И. Муравьевы-Апостолы, получившие сложное фамильное имя от предка по матери, гетмана Данилы Апостола,— они были двоюродные братья А. З. Муравьева, шурина графа Е. Ф. Канкрина, и приходились троюродными братьями Никите Михайловичу и Александру Михайловичу Муравьевым, которых отец был наставником Александра I. Александр Николаевич Муравьев, бывший нижегородским гражданским губернатором незадолго до кончины своей, был старший сын генерала Н. Н. Муравьева, известного основателя и директора школы колонновожатых в Москве.

Михаилу Павловичу Бестужеву-Рюмину было только 23 года от роду. Он не мог добровольно расстаться с жизнью, которую только начал; он метался как птица в клетке и искал освободиться, когда пришли к нему с кандалами. Пред выходом из каземата он снял с груди своей образ спасителя, несущего крест, овальный, вышитый двоюродною сестрою, оправленный в бронзовый обруч, и благословил им сторожа Трофимова. Я видел этот образ, предложил меняться, но старый солдат не согласился ни на какие условия, сказав, что постарается отдать этот образ сестре Бестужева. На этом образе дали клятву двенадцать членов тайного общества союзных славян.

Петр Григорьевич Каховский, в последний день заточения, 12 июля, содержался в каземате под другим сводом Кронверкской куртины, не под надзором Соколова

и Шибаева, почему, к сожалению, я не имел подробных верных сведений о последних часах его жизни. Он был очень молод, службу свою начал он в л.-гв. Гренадерском полку и по домашним обстоятельствам вышел в отставку. Между тем как нас вывели на площадь пред гласисом для решения приговоров, то пятерых товарищей, осужденных на смертную казнь, повели в саванах и в кандалах в крепостную церковь, где они еще при жизни слушали свое погребальное отпевание. Когда мы уже возвратились с гласиса в крепость, то их шествие из церкви потянулось к Кронверкскому валу. На пути Сергей Иванович Муравьев-Апостол не переставал утешать и ободрять своего юного друга Михаила Бестужева-Рюмина и раз обернулся к духовному отцу П. Н. Мысловскому и сказал ему, что он очень сожалеет, что на его долю досталось сопровождать их на казнь как разбойников: на это замечание священнослужитель ответил ему утешительными словами Иисуса Христа на кресте к сораспятому с ним разбойнику. Когда дошли до места виселицы, то они еще раз обнялись между собой, стали в ряд на высокую скамейку, и когда петли были уже надеты, когда столкнули скамейку, то тела Пестеля и Каховского остались повисшими; но Рылеев, Муравьев и Бестужев испытали еще одно ужасное страдание. Палач, нарочно выписанный из Швеции или Финляндии, как утверждали, для совершения этой казни, вероятно, не знал своего дела. Петли у них не затянулись, они все трое свалились и упали на ребро опрокинутой скамейки и больно ушиблись. Муравьев со вздохом заметил, что «и этого у нас не сумели сделать»; этот язвительный упрек был вызван сильною болью от раны в голову 3 января, которая еще не зажила. Пока снова установляли скамейку, перетянули веревки, прошло несколько минут, и продлилась мука от вторичной борьбы с другою вторичною смертью. Весь день оставались на позорной выставке. С приближением ночи сняли трупы; одни говорили, что ночью в лодке перевезли тела в рогожах и зарыли во рву крепостном с негашеною известью близ самой виселицы. Так кончилось решение суда 13 июля <...>.

В распределении разрядов есть странности непонятные: разделение и присуждение наказаний выходит предрешенное. Сентенции 2-го разряда не разнствуют от сентенций 1-го разряда, а осуждение совершенно различно.

В одной сентенции сказано, что он изменил свой прежний образ мыслей, а между тем наказан наравне с теми, которые не изменили своему образу мыслей. В нескольких сентенциях сказано, что отстали от умысла на цареубийство, а между тем они наказаны за этот умысел. О М. А. Назимове сказано, что участвовал в умысле бунта принятием в тайное общество одного товарища, между тем как совершенно освобождены от наказания очень многие, принявшие новых членов. Есть даже осуждения за дерзкие слова в частном разговоре. Смягчения приговора суда предоставлены личной милости царя. На милость образца нет; но внимательный и беспристрастный читатель спросит: отчего 11 июля при смягчении наказаний по приговору Верховного уголовного суда в пяти первых разрядах из числа 71 человека государь исключил из этой милости только Николая Бестужева 1-го, Михаила Бестужева 3-го, Михаила Глебова и Андрея Розена и весь 8-й разряд, кроме Бодиско 1-го. Догадки мои сообщены уже выше. Но длинная оговорка в сентенции Николая Цебрикова в последнем разряде заставляет безошибочно заключить, что при этих именах особенно вспомнили тех людей, которых после, в продолжение всего царствования своего и еще при последней минуте своей жизни, государь не переставал припоминать и называть «mes amis du quatorze» *, своими приятелями 14 декабря.

Так окончились существование тайных обществ, заговор, восстание, суд и исполнение приговора. Нельзя было оставить без наказания нарушение существующего закона. Не только русские, но и иностранцы предвидели наказание жестокое, почему Англия и Франция чрез представителей своих, маршалов Веллингтона и Мортье, прибывших в Петербург для поздравления Николая I с восшествием на престол, просили о помиловании и о пощаде государственных преступников. Названные державы прошли чрез горнила восстаний и революций; они хорошо знали, чем вызываются мятежи и чем они устраняются. Особенно Англия сочувствовала общественному делу, быв убеждена в недостаточной опоре тогдашнего русского судопроизводства. Император Николай I ответил Веллингтону, что он удивит Европу своим милосердием.

* мои друзья по четырнадцатому *(фр.)*.

Журналы и газеты русские твердили о бесчеловечных умыслах, о безнравственной цели тайных обществ, о жестокосердии членов этих обществ, о зверской их наружности. Но тогда журналы и газеты выражали только мнение и волю правительства; издатели не смели иметь своего мнения, а мнения общественного не было никакого. Из русских один только Н. М. Карамзин, имевший доступ к государю, дерзнул замолвить слово, сказав: «Ваше величество! заблуждения и преступления этих молодых людей суть заблуждения и преступления нашего века!»

Здесь представляется важнейший вопрос: «Можно ли было избегнуть основания тайных обществ?» Всякая тайна в семействе ли, или в клубе, или в полку, или в обществе частном есть дело нехорошее и всегда опасное, тем более когда члены, поверенные тайны, бывают многочисленны и цель их касается не одного лица или особого предприятия торгового или промыслового, а целого строя народа и государства. Это не артели, не ассоциации для работ и различных устройств, где цель общества известна и для всех явна. Опыт достаточно показал, что к составлению серьезных тайных обществ прибегали доныне только в крайних случаях: такие общества почти никогда не имели определенной цели. Действия их были неудовлетворительны, потому что были тайны. В государстве, в коем обнаруживается несправедливость, своевластие, притеснение со стороны правителей, там без составления тайного общества люди честные и образованные, не зная лично друг друга, составляют сами собою общество против порока и беспорядка. Без сомнения, в странах, в коих водится хоть сколько-нибудь свободы тиснения, хоть сколько-нибудь гласности и в коих частное лицо может передать печатно и устно свои убеждения по делу общественному, там на что тайное общество? Оно было бы бессмыслием. Но в России, только что избавленной от «слова и дела», от «тайных канцелярий», не было ни одной основы государственной; все прежние и новые законы подчинены были неограниченной власти государя, озаренного европейскою славою, наименованного Благословенным и избавителем Европы, даровавшего конституцию Польше, Финляндии, свободу крестьянам прибалтийских губерний, мужа умного, доброго, искренно желавшего блага для своего отечества и вместе с тем лишенного всех

средств сделать что-нибудь для гражданственной жизни своего отечества. Александр I в последнее десятилетие своего царствования свалил все бремя государственного управления на плечи Аракчеева, на слугу ему верного, но не государственного мужа, а сам подчинился наущениям Меттерниха и под конец предался мистицизму и думал только о спасении собственной души своей.

Состав Следственной комиссии подробно изложен в 4-й главе. В этой комиссии не было судьи: все члены ее более или менее были обвинители. Они могли заподозрить кого угодно, но не имели права осудить без доказательств. 17 мая 1826 года эта комиссия выбрала 121 виноватого. Верховный уголовный суд не судил, не рядил, а только приговорил 10 июля по спискам и указаниям Следственной комиссии. Жертвы заранее были обречены комиссией. Н. И. Тургенев в своем сочинении «La Russie et les Russes, 3 tomes. Bruxelles, 1847» в первом томе, желая облегчить участь своих товарищей, перебирает подробно, построчно все Донесение Следственной комиссии. Лучшие юрисконсульты Европы определили, что следовало бы исключить большую половину из списка осужденных, а именно всех не участвовавших в двух восстаниях; а если число 121 было непременно необходимо, то можно было бы дополнить его другими именами из более важных членов, оставленных без наказания. Великий князь Константин Павлович при чтении приговора суда заметил: «Тут главнейших заговорщиков недостает; следовало бы первого осудить или повесить Михаила Орлова». Комиссия доискивалась до важнейших лиц из государственных мужей. Она доведывалась, не принадлежали ли к обществу Сперанский, Мордвинов, Ермолов, П. Д. Киселев, Меншиков и другие. Если она заподозревала их по образцу мыслей, то по тому же самому бесспорно надлежало бы признать ей за первого и за главного члена самого имп. Александра I. По этому случаю и по дознаниям по делу Польского общества задержан был в каземате Г. С. Батенков 20 лет, а А. О. Корнилович из читинского острога был фельдъегерем обратно вывезен в Петропавловскую крепость в Петербург. Кто внимательно вникнет в Донесение Следственной комиссии, тот легко найдет, что большая часть обреченных жертв была осуждена не за действия, а за разговоры и наговоры на них. Мало ли что говорится в кругу задушевных товарищей? Мало

ли кого посылаем в ад и уничтожаем словом? А между тем от слова до дела расстояние неизмеримо. Припомните вышесказанное мною о том, как содержались по этому делу арестанты в крепости, их казематы; припомните, что на заточенного, для вынуждения сознания, надевали наручники, кандалы, на некоторых и то и другое одновременно, уменьшали пищу, беспрестанно тревожили сон их, отнимали последний слабый свет, проникавший чрез амбразуру крепостной стены в окошечко с решеткою частого переплета железных пластинок, и согласитесь, что эти меры стоили испанского сапога британского короля Якова II и всех прочих орудий пытки. Пытка при Якове продолжалась несколько минут, часов, иногда в присутствии короля, а наша крепостная продолжалась несколько месяцев. Можете ли вы себе представить, что грезится человеку в таком положении и как легко ему проговориться и прописаться, не щадя ни себя, ни других! Комиссия с особенным пристрастием налегала на обвинение в намерении совершить цареубийство. Верховный уголовный суд во всех своих сентенциях ставил главным преступлением намерение цареубийства и выставил четырех человек из соединенных славян как кровопийц, как зверей кровожадных. Комиссия сама печатно объявила, что такие предложения были сделаны только А. З. Муравьевым, Ф. Ф. Вадковским, И. Д. Якушкиным и А. И. Якубовичем; но та же комиссия упоминает, что на такие предложения смотрели как на внушения личной мести, или удальства, или хвастовства и что такие предложения вовсе не были приняты присутствовавшими членами. Почему же эта самая комиссия после всех своих запросов, исследований и собственных своих выводов не исключила обвинения в том, что, как оказалось после, было предметом только предложения, но тогда же было отменено или отсрочено? *

На этот вопрос нетрудно ответить. Комиссии и Верховному суду также необходимо было налегать главнейшим образом на это уголовное преступление для повода к осуждению, как им необходимо было скрыть и умолчать о главных приготовленных мерах к освобождению крестьян из крепостной зависимости и к преобра-

* Смотри Донесение Следственной комиссии, напечатанное в военной типографии Главного штаба, стр. 11, 27, 38, 44, 48, 49, 50, 51, 55, 56, 58, 59, 66, 67.

зованию всех частей государственного управления, потому что это могло бы вызвать сочувствие в народе к осужденным государственным преступникам. Зато императорский манифест от 13 июля 1826 года утверждает, «что Следственной комиссии посредством усердия, и точности, и беспристрастия и с помощью самых убедительных мер удалось смягчить сердца самых закоренелых преступников, возбудить в них угрызения совести и понудить их к откровенным чистосердечным признаниям».

Большая часть осужденных и сосланных моих товарищей покоится в могиле и осталась только в памяти своих родных и близких знакомцев. Их знали только до изгнания; мало слышали о жизни их и трудах в Сибири; теперь знают очень немногих, переживших тридцатилетнее изгнание. Из ста двадцати одного товарища остались только 14, в этом числе только трое из декабристов. Скоро не останется никого; вот почему спешу окончить пересмотр и довершение моих глав. По милостивому манифесту от 26 августа 1856 года возвратились на родину сперва только 14 человек; после них еще 6. Против своего желания, по предписанию начальства сослан из Сибири в Москву Дмитрий Иринархович Завалишин в 1864 году. Решился оставаться в прежнем месте заточения в Петровском Заводе за Байкалом один только Иван Иванович Горбачевский. Далее, в 21-й главе, за 1856 год, названы сроки и имена всех 20 товарищей, возвращенных по манифесту и прощенных царствующим Александром II.

Что скажут правнуки моих товарищей, читая Донесение Следственной комиссии и решение Верховного уголовного суда? В защиту нравственных достоинств членов тайного общества достаточно будет заметить, что император Николай I пренебрег поверьем, что никогда не следует доверяться бывшему заговорщику, и признал полезным не отвергать услуг бывших членов тайного общества, не осужденных, или помилованных, или безусловно прощенных до приговора суда. Из них назначил он трех министрами, четырех — генерал-губернаторами в Петербург, в Ригу, в Вильно, в Киев. Из числа членов тайного общества имел он отличного корпусного командира и войскового атамана, трех передовых действователей в турецко-персидской войне, дежурного генерала, начальника собственной своей канцелярии III От-

деления. Воспитание в военно-учебных заведениях большинства юношей русского дворянства вверено было главному надзору бывшего члена тайного общества Я. И. Ростовцева.

Не называю начальников дивизий и губернаторов; не называю бывших членов тайного общества, оставивших службу и посвятивших свое достояние и свои досуги на пользу общую: их много! Приблизительно можно легко себе представить многочисленность их, если сообразить, что ими тесно набиты были Петропавловская крепость со всеми ее казармами, куртинами, казематами, равелинами, все гауптвахты петербургские, крепостцы Финляндии, Шлиссельбург, даже в Нарве и в Ревеле сидели арестанты. Мною названы только должностные лица на высших служебных местах, потому что они должны быть известны большинству народа и армии, а сверх того, в доказательство, что эти лица смолоду готовили себя на службу, не одну только воинскую, но и гражданскую, общественную. Если они не могли отвратить всех бедствий в царствование Николая I, то это оттого, что они при всех честных и возвышенных стремлениях своих и как бы велико ни было их усердие, но все-таки составляли каплю в море, сравнительно с общею массою начальников, арендаторов и ненадежных чиновников. Они принуждены были подчиниться общепринятому порядку, форменному, застегнутому, занумерованному, нисколько не соответствовавшему истинной славе государя и истинному благу государства. Они частенько должны были подчиняться воле, не ограниченной никаким законом.

В предыдущей статье я назвал Я. И. Ростовцева, который скончался 6 февраля 1860 года, совершив почти окончательно труд огромнейший по званию председателя редакционной комиссии по делу освобождения крестьян. Издатели «Колокола» бранят его предателем, изменником и беспощадно порицают его за циркулярное наставление его, данное всем военно-учебным заведениям в сороковых годах, в коем главный смысл, «что совесть должно иметь только в собственных и в семейных своих отношениях, а по вступлении в службу воинскую или гражданскую совесть заменяется волею и приказанием начальства». Издатели «Колокола» забыли источник подобного приказания. Ростовцев, как орудие, имел несчастье подписать такую бумагу; он не мог быть сочи-

нителем или поводом такого приказа. Приказ этот совершенно согласовался с убеждением единодержавного властителя, высказанным им самим несколько раз при личных своих допросах в декабре 1825 года. Государь объявлял свою волю, и вся Россия скрепляла и исполняла ее беспрекословно. Винить Ростовцева за такую бумагу будет все то же, что винить монаха Тецеля за торг отпускными свидетельствами за грехи или министров Людовика XIV за промахи и ошибки государя, уверившего самого себя, что в нем, в его лице, сосредоточено все государство. По этому обвинению Ростовцева прилагаю в подлиннике письмо Евгения Петровича Оболенского ко мне от 20 марта 1860 года; он знал его короче и лучше многих. Вот собственные слова его о Я<кове> И<вановиче>:

«А кончина Якова Ивановича как болезненно отозвалась у всех тех, которые умели его ценить! Теперь начинает пробуждаться к нему сочувствие; теперь начинают говорить, что в последний год своей жизни он высказал те душевные качества, которых никто в нем не подозревал. Много и много пострадал покойник от клеветы и недоброжелательства. Учение о совести, за которое на него так напал Герцен, Яков Иванович послал мне в копии то, что им было предписано для руководства по военно-учебным заведениям. Смысл следующий: личною совестью мы руководимся в наших отношениях личных и тайных — она осуждает наши злые помышления и дела, она ободряет нравственные побуждения и дела; но в жизни общественной, в тех наших деяниях, которые явны и видимы всеми, личную нашу совесть заменяет совесть общественная — верховная власть, которая карает за нарушение законов или порядка и награждает за гражданские или военные доблести. То же самое повторил и профессор Кавелин в курсе законоведения, напечатанном во всеобщее сведение. Тут есть юридическая тонкость, но не в той силе, как ее представил Герцен. Судья определяет по закону наказание за вину явную, совесть может его лично обличить в подобном проступке, и внутренний голос скажет: осуди себя самого, прежде нежели осудишь другого; но он тут должен заставить замолчать свою совесть и подписать осуждение по долгу судьи. Но довольно о почившем. Последнее его предсмертное слово была просьба государю — не оставлять крестьянского вопроса, порешить

его, не откладывать в долгий ящик. Одним словом, он сложил свою жизнь при решении этого вопроса, и освобождение крепостного населения нашей православной Руси неразрывно будет соединено с его именем. Память об его отношениях ко мне будет для меня отрадным воспоминанием до конца моей жизни».

Подлинник этого письма, написанного Е. П. Оболенским из Калуги от 20 марта 1860 года, хранится у меня.

Глава шестая

О ПРИЧИНАХ ОСНОВАНИЯ ТАЙНЫХ ОБЩЕСТВ ВООБЩЕ И ОБ АКТЕ ОБВИНИТЕЛЬНОМ В ОСОБЕННОСТИ

Главная причина.— Донесение Следственной комиссии.— Мнение Н. И. Тургенева, И.-Г. Шницлера и других.— Вывод из обвинений.— Письмо Е. П. Оболенского

Всех подсудимых спрашивали: «Что побудило вас вступить в тайное общество?» Главная общая причина была едина, но ответы были различны, чтобы уменьшить для себя степень наказания. Так, одни ответили: любовь к отечеству; другие — обещание императора на Варшавском сейме 15 марта 1818 года; третьи — мода и пример самых образованных и нравственных мужей в обществе; четвертые — злоупотребления начальников; пятые — грабительство и воровство бюрократии; еще другие — обскурантизм, всеподавляющая темнота сравнительно с государствами благоустроенными; еще другие — общая повсеместная безурядица сверху и снизу. Все это заключало в себе довольно побуждений, чтобы желать переворота и содействовать ему.

Французская революция 1789 года выгнала к нам тысячи выходцев, между ними людей весьма образованных из высших классов, но также много умных аббатов и всяких учителей. Первые из них имели влияние на высший круг нашего общества по образованию и по тонкости в общежитии; вторые — по религии и вкрадчивости в дела семейные; последние вперемежку с аббатами заняли места воспитателей и, сами убежав от революции, посеяли в русском дворянском юношестве первые семена революции. Это юношество возмужало, участвовало в войнах 1813, 1814 и 1815 годов, ознакомилось с учреждениями других государств и вступило в союзы или общества для преобразования своего отечества.

Члены общества собирались в своих кружках, все знали их по их умственным занятиям, по их жизни благонравной, по заслуженному уважению, которое явно им оказывалось и в полках и в обществе; так мудрено ли, что наблюдатели, жаждавшие познаний, искавшие занятий и значения в обществе, пристали к ним и сделались членами сперва литературных и ученых обществ, а потом тайных политических? Можно сказать утвердительно, что все образованные люди или имевшие притязание быть такими принадлежали к тайному обществу если не по спискам, то по цели и по собственному стремлению. Они были также подстрекаемы крайнею необходимостью: они видели ясно, что император, спаситель Европы, восстановитель Польши, освободитель крепостных людей прибалтийских губерний, поощритель просвещения, распространитель Евангелия, вдруг начал по наущениям Меттерниха подавлять всякое народное движение к вещественному и умственному улучшению. Стал умалять льготы, данные Польше; по козням Аракчеева, Фотия и Магницкого отрешил от должности князя А. Н. Голицына и лучших профессоров Педагогического института, и не только в своем отечестве, но и в других странах останавливал ход вперед и отказал в помощи грекам. При таких данных они видели, что частное, одиночное, тайное их действие на пользу народа обратится в ничто, и потому решились на действие совокупное и явное. На помощь государя пропала вся надежда, а зло, самоволие высших и самоуправство низших начальников обнаруживали страшную наглость, так что А. А. Бестужев мог правдиво ответить комиссии на вопрос, в чем же состояли эти злоупотребления: «У нас кто смел, тот грабит, а кто не смел, тот крадет!»

Избавлю себя и читателей от длинного перечня всех главных злоупотреблений и недостатков, вызвавших основание тайных обществ. Все это зло еще в свежей памяти и раскрывается еще яснее в новейшее время, после 19 февраля 1861 года, как в разысканиях управного земства, так и в новейшей печати. Здесь отмечу только, что в Донесении Следственной комиссии не сказано ни слова об истинной цели тайных обществ, о средствах, принятых к истреблению зла,— об освобождении крестьян, обо всех подробностях нововведений по всем частям государственного устройства, особенно по части народного образования. Н. И. Тургенев в своем сочине-

нии «Россия и русские» в трех томах, на французском языке, развернул все существовавшие недостатки по правде без преувеличений. Уверяю, что редактор Донесения Следственной комиссии знал о цели обществ гораздо лучше и подробнее многих, потому что был в дружбе и в связи со многими главнейшими членами тайного общества, и вот одна из главных причин, почему Н. И. Тургенев так беспощадно отделал докладчика, что даже увлекся до того, что в своем справедливом негодовании укорял его даже преступлениями предка. Докладчик или редактор имел деликатность просить государя, чтобы уволить его от присутствования при личных допросах. Из подсудимых никто не видел его в лицо во время допросов; подсудимые сначала даже не знали, что ему поручено было составить Донесение из всех письменных показаний и что он после призван был в Верховный суд для справок, в чем засвидетельствовали письменно Оболенский и Волконский *. Подсудимые никакого притязания не имели на то, чтобы он был их адвокатом или защитником; но они имели право требовать, чтобы главные показания, относящиеся к делу, были непременно выставлены с полным беспристрастием, без пропуска важнейших обстоятельств. Г-н Ковалевский в упомянутой своей книге пишет на стр. 169-й: «Отказаться от возлагаемого на него поручения он полагал невозможным, пока состоит на службе, считая строгое исполнение обязанностей первым долгом гражданина». Но строгое исполнение обязанностей предписывало не утаивать главных обстоятельств дела, а если правительство требовало этого непременно, то в таком случае взять назад свое Донесение или оставить службу. Далее г-н Ковалевский на стр. 178-й пишет: «В строгом юридическом значении обвинение это слишком важно: оно состоит в подлоге, сделанном с предположенной и заранее обдуманной целью». Подлога допускать невозможно; также не допускаю, чтобы вред подсудимым был сделан с обдуманною целью; но беспристрастный и внимательный читатель Донесения, от начала до конца, удостоверится, что Донесение составлено с беспримерным легкомыслием, с лихорадочною торопливостью и с угождением верховной

* «Граф Блудов и его время» Ег. Ковалевского. СПб., 1866, в типографии II Отделения е. и. в. канцелярии, с. 176 и 177.

власти. Куда же в это время девалось высокое убеждение Блудова, которое он не выставил напоказ, но хранил в душе своей и сообщил в частном письме к жене своей (может быть, по окончании своего Донесения): «Правда, правда! она лучше всего в мире. Служение ей есть служение богу, и я молю его, чтобы наши дети во всю жизнь были ее обожателями, исповедниками, а будет нужно — и страдальцами» *. Невольно прослезишься, когда читаешь, что человек с таким убеждением мог отклонить от правды хоть на минуту. Верховный уголовный суд не судил, но осудил, приговорил 121 человека, распределив их на двенадцать разрядов, руководствуясь Донесением Следственной комиссии, и кончил все многосложное дело тысячелистное в две недели. Не вхожу ни в какое личное обвинение, сделанное Н. И. Тургеневым: он хорошо знает и твердо помнит, что было между ним и Д. Н. Блудовым; но прочтите все, что напечатано в Донесении Следственной комиссии, тогда вы должны согласиться с Н. И. Тургеневым, что Донесение написано как эпиграмма, в шуточном тоне. Докладчик или редактор издевался, когда затрагивал «Русскую правду» Пестеля, когда выбирал отрывки из частных разговоров, сообщал бредни заточенных или выписку из катехизиса соединенных славян и т. д. Все эти нелепости и сплетни верно выставлены в сочинении Н. И. Тургенева, советую читателю прочесть эту книгу и убедиться в истине моих слов. Здесь обращаюсь только к главнейшему обвинению со стороны комиссии, по коему последовали главнейшие приговоры суда,—к обвинению в цареубийстве; надеюсь этим доказать правдивость моего собственного мнения о докладчике или сочинителе Донесения и обличить его в непростительной торопливости, в беспримерном легкомыслии и в неуместном угождении высшей власти.

В Донесении сказано:

На стр. 10: «Чтобы устав, проповедовавший насилие, употребление страшных средств кинжала, яда, был отменен, и вместо оного принять другой из устава «Tugendbund».

Стр. 11: «Князь Шаховский изъявил готовность на ужаснейшее преступление, но впоследствии он отстал от общества и жил в отдаленной деревне».

Там же: «Якушкин предложил себя в убийцы, все

---

* «Граф Блудов и его время», с. 116.

прочие члены остановили его: Якушкин повиновался и на время разорвал связь с обществом».

Стр. 20: «Все бывшие с ними члены отвергли предложение, как преступное».

Стр. 24: «Генерал Фонвизин утверждает, что все окончилось предположениями и признанием, несколько раз повторенным, что никакая цель не оправдывает средств».

Стр. 26: «Секретарь, титулярный советник Семенов прибавляет, что другие члены общества не обнаруживали злодейственных намерений против императорской фамилии».

Стр. 31: «С. Муравьев-Апостол противился их мнению, он не хотел цареубийства».

Там же: «Бестужев-Рюмин осуждал намерение сообщников своих, доказывая, что члены императорской фамилии по совершении революции не будут опасны».

Стр. 35: «Но смотра не было, потому даже не сделано предложения назначенным в убийцы и, может быть, не рожденным для злодейства офицерам и рядовым».

Стр. 37: «Как! — вскричал Никита Муравьев.— Они бог весть что затеяли: хотят всех истребить».

Стр. 38: «Никита Муравьев сказал: «Я объявлю этим господам, что императорская фамилия священна».

Стр. 39: «Кривцов и А. М. Муравьев говорят, что, находя предложение Вадковского нелепым, сочли его за шутку».

Стр. 41: «Знаешь ли, Поджио, что это ужасно! — сказал Пестель».

Стр. 43: «Никита Муравьев нашел сей план равно и варварским, и несбыточным».

Стр. 44: «Пестель должен был согласиться оставить все в прежнем виде до 1826 года».

Там же: «Если бы императорская фамилия не согласилась принять его конституцию, то предложить республиканское правление».

Стр. 47: «Положили начать возмущение не позднее августа 1826 года».

Стр. 48: «Горбачевский сказал: «Но это противно богу и религии».

Стр. 49: «Сам Швейковский убедительно, со слезами просил товарищей не жертвовать собою, отложить всякое действие; они согласились, однако дали слово начать непременно в 1826 году».

Стр. 50: «Тизенгаузен сказал: «Начинать чрез год! разве чрез 10 лет».

Там же: «Артамону Муравьеву худо верили, считая его самохвалом и яростным более на словах, нежели в самом деле».

Там же: «Они расстались, твердя о плане на 1826 год между собою и Соединенными славянами».

Стр. 51: «Пестель не одобрял их планов, он знал невозможность исполнения, предвидел, что и в 1826 году нельзя будет ни на что решиться».

Стр. 55: «Они старались удержать Якубовича от дела бесполезного, даже вредного».

Там же: «Рылеев сказал Трубецкому: «Якубовича можно бы спустить с цепи, да что будет проку?» Рылеев хотел просить его на коленях отложить хоть на месяц или на два, грозя, если он не согласится, убить его или донести правительству. Якубович сказал, что уступает и отлагает до мая 1826 года».

Стр. 56: «Фонвизин, Орлов и Никита Муравьев говорили, что должно препятствовать Якубовичу всеми возможными средствами, а в крайности уведомить правительство».

Стр. 58: «Когда сказали Батенкову, что можно и во дворец забраться, то он возразил с жаром: «Сохрани, боже! дворец, во всяком случае, должен быть неприкосновенным, священным залогом безопасности общей».

Стр. 60: «Что делать, если государь не согласится на их условия?»

Стр. 66: «Но потом отклонил предложение за невозможностью исполнить, которое признали и все другие».

Там же: «На очной ставке Каховский признал, что Александр Бестужев наедине уговаривал его не исполнять поручения, данного ему Рылеевым 13 декабря».

Стр. 67: «Якубович вызывал бросить жребий, кому из пяти присутствовавших быть убийцею, и, видя, что все молчат, он сказал: «Впрочем, я за это не возьмусь, у меня доброе сердце; я хотел мстить, но хладнокровно убийцей быть не могу».

Стр. 68: «Якубович предлагал разбить кабаки и дозволить грабеж, но предложение было единодушно отвергнуто всеми членами. Оболенский утверждает, что Рылеев с жаром восставал против мысли разбить даже один кабак, чтобы напоить солдат».

Там же: «Рылеев показывает: «Мы хотели только захватить фамилию и держать ее под стражею до Великого Собора (съезда представителей народа), который решил бы судьбу всех».

Стр. 74: «Булатов продолжал: «Дадим же друг другу слово, что завтра, если средства их не соразмерны замыслам, то мы не пристанем к ним». Якубович на это согласился. Так, все те, которых заговорщики назначили своими начальниками в решительный день, заранее готовились их бросить».

Приведенными выписками, слово в слово, из Донесения Следственной комиссии само собою рушится положительное и доказательное обвинение всех подсудимых в намерении цареубийства: но Донесению нужно было опереться на этом важном преступлении, чтобы отклонить внимание русских и иностранцев от действительной политической цели тайных обществ.

Следственная комиссия, как видно из моих вышеприведенных выписок, обвиняет даже за намерения; но законы воздерживаются от взыскания за намерения, потому что как бы они ни были преступны, но могут быть добровольно оставлены без исполнения, по какому бы то ни было побуждению. Если намерение, какое бы то ни было, отброшено и забыто до выполнения его, то закону нет дела до намерения. Так, Донесение комиссии заключает в себе множество страшных обвинений против Пестеля; но последняя манифестация, последнее публичное его объявление, о коем упоминается в Донесении, уничтожает все предыдущие обвинения. Комиссия доносит на стр. 51-й, что «Пестель не одобрил плана комитета (о возмущении и цареубийстве, о коих выше было упомянуто), но предвидел, что даже в 1826 году невозможно будет предпринять ничего решительного»; несмотря на то, он погиб на виселице! Осуждение Пестеля противно правосудию. Так точно по Донесению комиссии безвинно осудили на изгнание полковника фон дер Бриггена, не бывшего в Петербурге 14 декабря, а только за то, что слышал о самохвальстве Якубовича и сообщил о том Трубецкому; в том же Донесении сказано на стр. 56-й, «что положено было препятствовать Якубовичу всеми возможными средствами от исполнения своего намерения, а в крайности уведомить правительство». Несмотря на то что предложение Якубовича было принято за безрассудное хвастовство, докладчик или

редактор из этого создает проект, сообщенный таким-то лицам, и эта передача вести или молвы послужила поводом к осуждению и изгнанию таких людей, которые противились убийству и против которых в Донесении не было никакого другого обвинения. Следственная комиссия не хотела понять разницы между совершившимся восстанием и намерением совершить его, с одной стороны, а с другой — с намерением совершить цареубийство; она не только осудила мятежников за их действия, но вменила им в преступление и преступные слова и выражения, не имеющие ничего общего с восстанием, даже противоречащие восстанию. Следственная комиссия подвергла позорной казни и изгнанию не только сообщников восстания, но и тех, которые желали восстания или только рассуждали о восстании, не приняв в оном никакого действительного участия. Она нашла равно виновными возмутителей и лиц, рассуждавших только о возмущении. Но кроме этой несообразности мы видим из Донесения, что редактор очернил подсудимых, не имевших защитника или адвоката, а за неимением свидетельств или доказательств он прибегал к шуточкам, к выходкам, как, например, сообщая о пошлых суждениях и правилах патриотизма, о либеральных мнениях и проч.,— вот что заставило Н. И. Тургенева сказать с негодованием, весьма простительным: «Везде случалось видеть, как погибали люди великодушные за преданность свою общественному благу или своему убеждению; только России предоставлено было видеть, как погибали такие люди вследствие шуточек и эпиграмм со стороны тех, которые судили и обрекали их на смерть».

Следственная комиссия, дознав, что заговор этот возбудил в Европе толки и пересуды о России, видела в этом все затруднение своей задачи. Россия знала, что это происшествие привело Европу в сомнение относительно ее силы, что Европа перестанет верить могуществу этого колосса, подверженного также опасности со стороны Польши. Положили скорее уничтожить такое общее мнение в Европе, скрыть действительную цель, уверить иностранные кабинеты, что в европейских журналах и газетах все изложено в превратном виде, чтобы обмануть дипломатический мир. Это мнение подтверждается не только, во-первых, Донесением Следственной комиссии, которое есть не что иное как обвинительный акт по уголовному процессу, но, во-вторых, правитель-

ственным распоряжением, чтобы Донесение это сообщено было германскому союзу и другим кабинетам. Барон Анштет, посол и полномочный министр при сейме во Франкфурте, передал ноту президенту сейма 15 июля 1826 года с приложением Донесения. В ноте сказано:

«По принятым правилам его императорского величества обнародовать все обстоятельства относительно всех преступных предприятий и проектов тайных обществ, открытых в России, подписавшийся считает своим долгом сообщить германскому союзу еще дополнительные сведения в доказательство, что правительство не отстранит от себя той системы гласности, которая покажет судопроизводство во всем блеске независимости; поэтому позволяю себе представить германскому союзу окончательное Донесение».

Сейм принял документ с благодарностью и сообщил его центральной комиссии в Майнце, как будто беспокойства в России, вследствие подражания статутам Тугендбунда, могли иметь связь с демагогическими движениями в Германии.

Замечу здесь кстати, что г. Шницлер печатал свою «Тайную историю России под правлением Александра I и Николая I» в 1847 году, не знав тогда, что Н. И. Тургенев в том же году печатал свои три тома «Россия и русские», и очень сожалел, что не мог прочесть их до издания своей истории, следовательно, они писали независимо друг от друга, а черпали из общего источника — из Донесения Следственной комиссии.

Документ этот — Донесение Следственной комиссии — был просто обвинительный акт, составленный в пять месяцев с неимоверною поспешностью, если сообразить, что заподозренных было с лишком шестьсот, которых вместе со свидетелями надо было привезти в Петербург из-за тысячи верст, из всех мест обширной России. Правильный ход суда был обойден, весь процесс был веден при замкнутых дверях, без допускания адвокатов, без возражений. Чернышев заметил П. Н. Свистунову: «Вы здесь не для оправдания себя, а для обвинения»; оттого документ этот не имеет никакой законной силы доказательств, хотя и был написан девятью важными лицами *, заслуживающими уважения, но они

* Председатель — Татищев, члены — великий князь Михаил Павлович, князь Голицын, Голенищев-Кутузов, Чернышев, Бенкендорф, Левашов, Потапов, скрепил Блудов.

были назначены государем, пользовались его особенною доверенностью; но независимость их мнения ничем не доказана. Было ли, по крайней мере, соблюдено беспристрастие? Нет, судили и рядили по различному предвзятому масштабу, иначе что означает или как назвать в обвинительном акте умалчивание имен трех основателей Союза благоденствия, бывших позднее членами нового тайного общества, из которых двое оставили общество в 1821 году, а третий еще оставался деятельным членом? Л. А. Перовский, князь И. А. Долгоруков, И. Г. Бибиков. Все трое, особенно тот, кто занимал должность блюстителя управы, были до такой степени причастны делу, что о них Донесение упоминает в трех случаях *; однако все трое освобождены были от суда и, как сказано в Донесении, «заслужили забвение кратковременного заблуждения, извиняемого отменною их молодостью». Однако о других членах, также помилованных и прощенных государем, упоминается поименно в Донесении. В благоустроенных государствах милость оказывается после судоговорения.

Сочинитель, или редактор, Донесения обдуманно избегал резких слов: заговор, возмущение, восстание; он по возможности уменьшал значение события и показал искусство, как скрыть важнейшие обстоятельства, главную цель общества, коих прямое изложение раскрыло бы грехи правительства пред иностранцами и вместе с тем показало бы печальную сторону отечества всем истинно русским. Хотя темницы, казематы и гауптвахты в Петербурге переполнены были арестантами и комиссия уменьшила число подсудимых до 121, однако некоторые, из числа преданных суду, сами старались затруднить комиссию в надежде обезоружить ее множеством прикосновенных к делу, и для этого они вынуждены были прибегать к бесконечным показаниям на других сообщников. Комиссия обошла многих: она старалась преимущественно выставить все то, что могло послужить к осмеянию заговора и заговорщиков, как будто только и было толков и переписок, что о цареубийстве. Редактор с особенным самодовольствием останавливался на утопических мечтаниях нескольких членов, на мнениях, оторванных от общей связи показания, на противоречиях, оказавшихся при частных беседах в различное

* Донесение Следственной комиссии, смотри стр. 8-ю, 18-ю, в выноске и последние строчки 21-й стр.

время, при различных обстоятельствах,— на безначалии, господствовавшем в союзе Северного общества, на пылкости и решимости Южного общества, на запутанности предприятий и предложений, вопреки коим, однако, блюстители управ умели двигаться к цели с непоколебимым постоянством. Далее сочинитель Донесения не преминул указать на все выражения раскаяния со стороны нескольких подсудимых, не для того, чтобы возбудить участие, на которое имеет право всякое искреннее раскаяние, но чтобы ясно доказать, что они по собственному сознанию гнались за целью, более бессмысленною, чем преступною. Так, обдуманно помещены слова Рылеева: «Если кто заслужил казнь, вероятно нужную для блага России, то, конечно, я, несмотря на мое раскаяние и совершенную перемену образа мыслей» (стр. 62-я). Хотели уверить, что эта совершенная перемена заключает в себе осуждение всего предприятия, между тем как эта перемена относилась к употребленным средствам и орудиям, к принятым мерам. В невозможности умолчать о намерении цареубийства сочинитель Донесения останавливается почти на каждой странице на этих отвратительных лютостях, над этими зверскими и кровожадными выходками нескольких отдельных лиц, бывших членами союза, но придумавших убийство сумасбродно, очертя голову, по личному особенному своему побуждению. Он или выпускает из виду все предложенные преобразования, задуманные улучшения, или же выставляет все в таком искаженном виде, в такой несвязности, что невозможно заключить из всего этого о благом стремлении рассудительных людей, любивших добро и свое отечество.

Одним словом, Донесение старалось утаить все то, что надо было скрыть от иностранцев, а также то, о чем не должны были ведать русские. Однако из этого пристрастного Донесения Следственной комиссии иностранцы умели вывести заключение гораздо правильнее тех туземцев, которые находили, что комиссия в изложении события была слишком снисходительна, скромна и великодушна. Все это не помешало дойти до другого заключения: что такое дело мужей, подобных Муравьевым, Тургеневу, Пестелю и другим, с умом и сердцем, хотя и было предосудительно с точки государственного понимания, но нельзя заклеймить деятелей названием безумцев, действовавших будто бы без всякой важной на то

причины, не имевших никакой цели определенной. Что Рылеев, Оболенский, Бестужевы и другие, отвергнув от себя намерение или покушение на цареубийство, хотя и признали себя виновными пред богом и людьми в знании этого намерения и предали свои головы каре закона, но вместе с тем они дали Следственной комиссии такие объяснения, кои вполне имели право на внимание редактора и заслуживали вполне быть помещенными в Донесении. Они без малейшего страха, с удивительной откровенностью указали на язвы отечества, выяснили все злоупотребления, раздирающие государство, доказали отсутствие закона, недостаток гарантии существовавших прав, продажность судей, чиновников и должностных всех ведомств. Они раскрыли всеобъемлющий обман, искажение права и закона, притеснение меньших от больших и поползновение всех ко злу. Много таких указаний было сделано многими подсудимыми, но в Донесении комиссии нет ни слова о них; редактор не коснулся ни единого из тех показаний, которые могли бы возбудить участие и сочувствие всех благородно мыслящих людей. Донесение преднамеренно обошло все это. Для осуждения всех членов, не участвовавших в восстании в Петербурге 14 декабря 1825 года и в Василькове близ Устиновки 3 января 1826 года, нужно было прицепиться за какое-либо важное преступление, и придрались к цареубийству, о чем упоминается почти на каждой странице Донесения и очень часто странным и непонятным образом; так, на одной и той же странице вверху повествуется о соглашении на убийство, а внизу — о ниспровержении такого предложения со стороны всех присутствовавших членов. В показанном случае не было надобности упомянуть о том, но Донесение имело на то особенную причину как можно больше и чаще налегать на такое обвинение, которое не освобождало от суда.

Верховный уголовный суд располагал виновность по трем родам преступлений: 1) Цареубийство. 2) Основание тайных обществ для общей революции. 3) Возмущение. По этим степеням положено было распределить всех подсудимых на разряды с подразделениями. Обвиненный во всех трех случаях был помещен в первые разряды, обвиненный в двух случаях — в средние разряды, а виновные в одном случае — в последние разряды; всех разрядов было двенадцать. Редактором Доне-

сения Верховного уголовного суда был М. М. Сперанский; он донес, что, по убеждению суда, все виновники заслуживают смертной казни, все лишились даже надежды на милость царскую. Распределение по разрядам и приговорам состоялось по большинству голосов. Члены Синода признали виновность подсудимых, но не подписали приговоров, извиняясь духовным своим званием.

Кончаю описание процесса. Признаю себя вполне заслужившим наказания по приговору, приняв участие в восстании 14 декабря; лично за себя не имею никакого неудовольствия ни против редактора Донесения Следственной комиссии, ни против редактора Донесения Верховного уголовного суда. В Д. Н. Блудове признаю охотно ум и способности литератора и государственного мужа, необыкновенную деятельность и сметливость в исполнении должности министра трех различных ведомств; высоко ставлю славу его как председателя Государственного совета при подписи новых положений для крестьян, освобожденных от крепостной зависимости; ценю вполне постоянную дружбу, бывшую между ним и лучшими честнейшими людьми: Жуковским, Карамзиным, Дашковым, Вяземским, но как сочинитель Донесения Следственной комиссии, он заслужил укор, по крайней мере, в торопливости, в легкомыслии и во властеугодии. Правильность моего вывода объясняется всего лучше помещенными мною в этой главе выписками из Донесения Следственной комиссии, в коих редактор приводил обвинения из показаний подсудимых и тут же приводит *свидетельства, уничтожающие эти обвинения;* это последнее обстоятельство уничтожает всякое подозрение в умышленном подлоге. Напрасно г-н Ег. Ковалевский пишет *: «Обвинение Блудова есть обвинение друзей покойного», далее: «Обвинение Тургенева важно еще потому, что сделано в книге серьезной, прикрывается юридическим разбором и дало повод ко всем позднейшим толкованиям; оставленное без объяснений, оно перешло бы в историю и покрыло бы позором память одного из честнейших людей, а что он был таким, это покажет дальнейшее описание его жизни и гражданской деятельности». Нисколько в этом не сомневаюсь. Разве Фридрих Великий не бежал с первого поля сражения?

---

* «Граф Блудов и его время», с. 178.

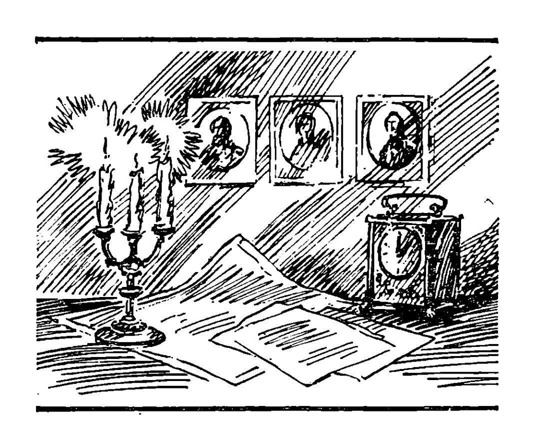
разве Наполеон I не был разбит под Ватерлоо? разве Св. Августин до своего обращения не был величайшим греховодником? А между тем никто не усомнится в храбрости Наполеона и святости Августина. Всякий человек может ошибаться в мнениях, принадлежать к различным партиям, иметь честолюбивые виды и старание выслужиться; но надо действовать и жить, как жили и действовали друзья Блудова,— в тисках событий и гражданских переворотов не отступать от своих правил, тогда он избегнул бы искушения от неуместного властеугодия. Повторяю слова защитника: «Пусть судит потомство!» <...>

Сообщаю еще другое письмо Е. П. Оболенского ко мне от 5 февраля 1861 года:

«Прилагаю тебе копию,— тобой давно ожидаемую,— решения Верховного уголовного суда над всеми нами. В этой копии ты не найдешь только характеристики виновности каждого, означенной в докладе. Копия с этого доклада заняла бы слишком много места. Грустное чувство возбудило во мне чтение доклада и самая характеристика виновности каждого. В ней поражает однообразность обвинений на 5/6 из 121 осужденных; главной чертой — ужасный умысел — вызов к исполнению— согласие на исполнение — и знание об умысле, как будто все эти лица запечатлены характерами Палена, Орлова и их сообщников, исторически известных, умышленно ли или по недостатку другого равносильного факта в основании обвинительного акта он выставлен на первый план. Нельзя отрицать факта, но я вполне отрицаю его юридическое значение как пункт обвинительный. Ни одно из лиц, на которых падает это обвинение, не соглашалось на него, как цель общества, а говорило об нем, как говорят не о предмете ненависти или страха, с личностью которого наше существование невозможно; а о том, что могло бы быть в неопределенной будущности, в которой также неопределенно рисовалась конституция. На этом основании можно подвести под обвинительный акт и каждую мысль, рождающуюся в нас, которая появилась и исчезла, но не менее того заявила свое присутствие. То же самое обвинение лежит и на мне в достопамятный вечер, предшественник 14 декабря. Обняв Каховского вместе с другими, я так мало помышлял об исполнении, что по совести скажу, что не помню, чтобы я когда-нибудь принес этот грех на свя-

тую исповедь. Он не тяготил мою совесть и исчез вместе с событием 14 декабря, не оставив после себя ни малейшего следа; между тем довольно было времени на самоиспытание».

Прилагаю письмо друга моего в подлиннике. Е. П. Оболенский скончался 26 февраля 1865 года в Калуге; о нем придется еще не раз упоминать в моих записках. Я передаю письменные мнения только трех моих товарищей, в опровержение сотни перетолкований о тайном обществе и членах его. Пересуды, мною прочитанные, отличаются бестолковостью. Читатель беспристрастный сам сделает правильный вывод из Донесения Следственной комиссии Блудова и из доклада Верховного уголовного суда Сперанского.



И.И. ГОРБАЧЕВСКИЙ

ЗАПИСКИ

ПРОИСШЕСТВИЯ ЛЕЩИНСКОГО ЛАГЕРЯ

1

Общество соединенных славян перед Лещинским лагерем.— Планы его реорганизации.— Славяне открывают Южное общество.— Свидание Борисова 2-го и Горбачевского с С. Муравьевым-Апостолом и Бестужевым-Рюминым 30 августа 1825 г.— Муравьев предлагает соединение Славянского общества с Южным. Мнения славян об этом предложении



В конце 1824 года тайное общество под названием Славянского союза или Соединенных славян состояло из малого числа членов, рассеянных по разным местам Южной России. Усилия славян укоренить свои мнения и распространить Общество оставались без желаемого успеха. Многие из них убеждались даже, что время ни мало не сближает их с целью; но сие убеждение, не ослабляя желаний, еще более других воспламеняло.

6 декабря 1824 года Борисов 2-й и Горбачевский после долгого совещания признали, что для единства в действиях к скорейшему достижению предназначенной цели необходимо ускорить ход Общества, дать новое образование оному — учредить порядок в делах и подвергнуть членов ответственности за их действия. Во исполнение сей мысли первый из них написал проект окончательного образования Общества.

Мы упомянем здесь вкратце о сем уставе, чтобы тем хоть несколько пояснить дела Общества и показать, в каком положении оно находилось до маневров под Лещиным. Сим проектом управление Общества поручалось президенту и секретарю, выбранным на один год и подлежащим ответственности пред Обществом. Первый назначал время и место обыкновенных и чрезвычайных

собраний, давал направление действиям Общества и старался привести в исполнение все намерения и планы, служащие к распространению оного. Последний способствовал взаимным сношениям между членами, равно отношениям их с президентом; кроме того ему вверялась общественная сумма, из коей по согласию президента выделялись деньги, назначаемые для всякого предприятия, признанного полезным Обществу.

В марте месяце 1825 года многие из славян собрались в местечке Черникове (в 25 верстах от Житомира) и, рассмотрев помянутое предложение, приняли его единогласно; каждый чувствовал необходимость лучшего и правильнейшего устройства. По общему желанию, Борисов принял должность президента на время с тем, чтобы, сделав полное собрание членов в лагере под Лещиным и приняв еще некоторые улучшения в предположенном образовании Общества, избрать там нового президента. Иванов, находившийся по должности в корпусной квартире и имевший средства вступить в постоянные сношения со всеми членами, был назначен временным секретарем.

Составление общественной суммы должно было начаться с 1 сентября; сумма сия должна была беспрерывно увеличиваться взносами членов,— кроме сего секретарю дозволялось употреблять наличный капитал в торговых оборотах для приращения оного. Но непредвиденный случай разрушил все сии планы прежде, нежели они были приведены в исполнение. С давнего времени члены Славянского союза замечали, что офицеры бывшего Семеновского полка имеют какие-то тайные предприятия против правительства, и думали, что они состоят в каком-либо тайном обществе. Борисов 2-й, узнав от Пестова и Высочина о близком знакомстве Сергея Муравьева с офицерами конных артиллерийских рот, препоручил Громницкому принять в Общество капитана Тютчева, служившего прежде в помянутом гвардейском полку, и поручить ему возобновить прежнее знакомство с Сергеем Муравьевым, стараясь узнать его мысли и намерения с тем, что ежели он заметит в нем что-либо клонящееся к цели Славянского общества, то немедленно уведомить о сем Борисова или которого-нибудь из членов. Не нужно говорить, что от Тютчева требовали скромности и осторожности; ему никто не препоручал принимать в члены С. Муравьева; просили

только с ним сблизиться и узнать все что можно о тайном обществе.

В 1825 году 3-й пехотный корпус (кроме 7-й дивизии) для смотра, назначенного покойным государем, был собран под местечком Лещиным, находящимся от Житомира в 15-ти верстах, влево от дороги из Житомира в Бердичев. Полки 8-й и 9-й пехотных дивизий ушли на сборное место еще в начале августа месяца; артиллерия же сих дивизий и 3-я гусарская дивизия с принадлежащею к ней конною артиллериею прибыли в лагерь к 1 сентября.

По проходе 8-й артиллерийской бригады через Житомир, Иванов уведомил Горбачевского, что Пензенского пехотного полка капитан Тютчев открыл какое-то тайное общество, к которому принадлежит Черниговского полка подполковник Сергей Муравьев-Апостол. На другой день Борисов 2-й увиделся с Тютчевым, который подтвердил сказанное Ивановым, присовокупляя, что сие тайное общество чрезвычайно сильно и что в скором времени оно начнет переворот в России; из слов его видно было, что члены сего Общества составили уже для России Конституцию и на следующем году намеревались приступить к решительным мерам.

Сие известие поразило всех славян. Борисов 2-й и Иванов хотели уведомить о сем отсутствующих членов и назначить время для предположенного в марте месяце совещания. Другие члены, соглашаясь на сию меру, вместе с тем требовали, чтобы немедленно были открыты отношения с Муравьевым, который, по словам Тютчева и Громницкого, ищет знакомства славян. И в самом деле С. Муравьев и Бестужев-Рюмин 29 августа приезжали в деревню Млинищи * с намерением познакомиться с Горбачевским и Борисовым 2-м и, не застав их дома, запиской просили их к себе. Опасаясь потерять случай, благоприятный их желаниям, славяне положили, не дожидая общего собрания всех членов, препоручить Борисову и Горбачевскому открыть сношения с Сергеем Муравьевым и Бестужевым, но отнюдь не приступать к решительным мерам, не объявлять им ни-

* 8-й артиллерийской бригады 1-я батарейная и 2-я легкая роты стояли на тесных квартирах. В деревне Млинищах, от Лещина 3 версты, от ... <пропуск в оригинале> 1 ½ версты. Там происходили совещания. Вообще как артиллерия, так и кавалерия 3-го корпуса стояли на тесных квартирах.

чего и ни на что не соглашаться без общего согласия всех членов Славянского общества.

30 августа Громницкий и Тютчев приехали к Борисову и Горбачевскому с предложением ехать в лагерь к Муравьеву; в этом случае они были некоторым образом посредниками между двумя Обществами. Свидание сие с помянутыми членами Южного общества было роковым ударом для Славянского союза. Муравьев принял Борисова и Горбачевского с особенным радушием, осыпал их ласками и лестными отзывами, которым едва могла противоустоять врожденная недоверчивость Борисова. Бестужев-Рюмин, бывший при сем свидании, говорил много и, в пылу разговора, излил всю свою душу. Нельзя довольно изобразить удивление славян, когда члены Южного общества начали говорить об их цели, намерениях и даже об именах всех их сочленов. Муравьеву и Бестужеву все было уже известно: самое образование Славянского общества, предположенное совещание для отклонения затруднений сношениям и действиям по Обществу. Славяне догадались, что Тютчев, не будучи уполномочен, открыл Муравьеву все тайны их Общества по личной к нему доверенности, а может быть даже и неосторожности. Муравьев, говоря о силе своего Общества и невозможности, в которой находились славяне осуществить свои желания без содействия русского и известного ему польского тайного общества, предложил славянам немедленно соединиться с Южным обществом. Борисов 2-й, желая отклонить подробные объяснения, отвечал на все поверхностно и неудовлетворительно; между прочим, говорил, что правила Славянского общества запрещают ему входить в положительные сношения с кем бы то ни было, без особенного на то согласия других членов; что без согласия своих товарищей он не может ни принять, ни отвергнуть лестных предложений Муравьева, что сие требует времени и размышления. Наконец, после долгих рассуждений, которые имели целью с одной стороны — получить решительный ответ на предложение, а с другой — избежать оного и оставить сие дело не конченным, условились назначить общее собрание членов Славянского общества, на котором Муравьев и Бестужев обещали лично возобновить свои предложения.

Славяне, узнав от своих доверенных о предложении Муравьева, разделились в мнениях: некоторые из них

чрезвычайно радовались сему случаю и предлагали немедля ни мало соединиться с Южным обществом, другие, напротив того, вознегодовали на Тютчева, и желая, чтобы Славянский союз удержал свои формы, требовали его смерти, как примерного наказания за нескромность и нарушение правил Славянского общества, и тем пресечь все дальнейшие сношения с Муравьевым. Мнение Борисова 2-го было совершенно иное: он предлагал продолжить переговоры, не соглашаясь на предложения С. Муравьева и стараясь склонить его к цели Славянского общества. В случае же его отказа взять с него честное слово, что существование Славянского общества останется тайною для других членов Южного общества, и уверить его, что все славяне готовы принять участие в перевороте, когда он начнется, и будут способствовать оному всеми своими силами. Хотя многие разделяли последнее сие мнение, но никто, кроме Иванова, не поддерживал оное; умы всех были обворожены близким и как бы несомненным преобразованием России, и, по-видимому, каждый предоставлял обстоятельствам решить вопрос соединения. Однако ж после многих сообщений, рассуждений и даже сильных споров положили: собраться на квартире подпоручика Пестова и Борисова 2-го всем членам, находящимся в лагере, пригласить туда Муравьева и Бестужева, вступить с ними в переговоры и потом положить, должно ли Славянское общество оставаться на прежнем основании, или, соединясь с Южным, принять иной вид и характер?

2

Первое собрание (3 или 4 сентября) у Пестова и Борисова 2-го.— Речь Бестужева о Южном обществе.— Славяне знакомятся с извлечением из «Русской правды».— Встреча Горбачевского и Борисова 2-го с Муравьевым.— Второе собрание славян у Андреевича 2-го (между 5 и 7 сентября). Речь Бестужева об устройстве и связях Южного общества.— Возражения Борисова 2-го против полного слияния Обществ.— Согласие славян на соединение.— Заявление Бестужева об избрании посредника, о приеме членов, об отношении к чиновникам и полякам

3 или 4 сентября большая часть членов Славянского общества собрались в назначенном месте и в ожидании приезда членов Южного общества рассуждали снова о предложении соединить два Общества; но мысль без-

условного соединения уже начинала преобладать над умами славян, которых желание действовать обращалось в непреодолимую страсть. Появление Бестужева прекратило сии прения.

— Важные дела,— сказал он после обыкновенных приветствий,— помешали Муравьеву сдержать данное им обещание, но он поручил мне кончить наши общие дела. Я должен объявить вам о намерениях и цели Южного общества и предложить присоединение к оному Славянского.

Потом начал говорить он о силе своего Общества, об управлении оного Верховною думою; о готовности Москвы и Петербурга начать переворот; об участии в сих намерениях 2-й армии, гвардейского корпуса и многих полков 3-го и 4-го корпусов. Из его слов видно было, что конституция, заключающая в себе формы республиканского правления для России и получившая одобрение многих знаменитых публицистов — английских, французских и германских, принята была единодушно членами Южного общества *. Бестужев обещал немедленно доставить им копию с конституции, объяснить цели, меры и управление оного Общества, и при окончательном соединении даже наименовать главных членов; но объявил, что правила Общества запрещают ему открыть местопребывание Верховной думы и членов, составляющих оную.

Сии неудовлетворительные ответы поколебали большую часть славян; сомнение вкралось в сердца многих, требовали доказательств, делали возражения,— одним словом, с обеих сторон ожидали взаимной доверенности, но никто первый не хотел быть откровенным. Бестужев отложил дальнейшие объяснения до другого времени, надеясь, что время не охладит порыва, но еще более усилит его — и в этом он ошибся. На другой день поутру он дал Пестову извлечение из «Русской правды» и просил его сообщить оное всем славянам. В тот же день было сделано несколько списков с помянутого извлечения, и ввечеру уже всем славянам была известна будущая форма русского правления **. Ввечеру того

* Бестужев, увидя на сем совещании Полтавского полка поручика Усовского, удивился, что в 9-й дивизии есть члены тайного общества: он обрадовался сему, но его радость, по замечанию других, была притворная. Причину увидим после.

** Некоторые славяне спрашивали у С. Муравьева: Неужели Верховная дума хочет принудить Россию взять для себя ту консти-

же дня Горбачевский и Борисов 2-й виделись с Муравьевым, который, подтверждая все сказанное Бестужевым, просил их снова собраться и кончить скорее дело соединением двух Обществ.

По прошествии двух или трех дней после первого сообщения все славяне, исключая офицеров Черниговского полка *, собрались на квартире подпоручика Андреевича, в деревне Млинищах. Сие собрание было многочисленное. Бестужев приехал вместе с Тютчевым и начал разговор требованием неограниченной доверенности к Верховной думе,— во имя любви к отечеству просил славян соединиться с Южным обществом без дальнейших с его стороны объяснений. Громкий ропот и изъявление негодования служили ему ответом.

— Нам нужны доказательства! Мы требуем объяснения! — выкрикнуло несколько голосов. Бестужев начал объяснять чертежом управление Южного общества, говорил о различных управах, существующих в разных местах России **, об образе их сношения с Верховною думою, о силе своего Общества, наименовал членов оного: кн. Волконского, кн. Трубецкого, ген. Раевского, ген. Орлова, ген. Киселева, Юшневского, Пестеля, Давыдова, Тизенгаузена, Повало-Швейковского, Александра и Артамона Муравьевых, Фролова, Пыхачева, Враницкого, Габбе <Граббе?>, Набокова и многих других штаб и обер-офицеров разных корпусов и дивизий и полков.

— Все они благородные люди,— сказал он в заключение,— забывая почести и богатство, поклялись освободить Россию от постыдного рабства и готовы умереть за благо своего отечества ***.

Видя, что его слова произвели сильное впечатление на умы славян, он присовокупил, что многочисленное польское общество, коего члены рассеяны не только

туцию, которую она написала и извлечения из коей находятся у них в руках. Муравьев отвечал, что Верховная дума только предложит, но что народ может ее принять или отвергнуть.

* Черниговского полка офицеры не могли быть на сем совещании по делам службы.

** Как-то: в Каменке, в Василькове, в Тульчине, в Москве, в Петербурге, в Киеве, в Вильне, в Варшаве и прочих.

*** Чтобы более убедить в силе своего Общества, Бестужев присовокупил, что полки 3-й гусарской дивизии, конные роты 5-я и 6-я, многие командиры пехотных полков 3-го и 4-го корпусов разделяют образ мыслей <Общества> и совершенно уже готовы принять участие в замышляемом перевороте.

в Царстве польском и присоединенных к России губерниях, но в Галиции и воеводстве Познанском, готовы разделить с русскими опасность переворота и содействовать оному всеми своими силами и способами; — что оно уже соединилось с Южным обществом, и что для сношения сих двух Обществ назначены с польской стороны князь Яблоновский, граф Мошинский и полковник Крыжановский, а с русской — Сергей Муравьев и он, Бестужев-Рюмин. Тут же он объявил, что открыты следы существования тайного общества между офицерами Литовского корпуса и что Повало-Швейковскому поручено войти в сношения с членами оного,— и в особенности действовать на сей корпус.

Откровенность Бестужева обворожила славян; немногие могли противиться всеобщему влечению; согласие соединиться с Обществом благонамеренных людей, поклявшихся умереть за благо своего отечества, выражалось в их взорах, их телодвижениях. Каждый требовал скорейшего окончания дела. Только Борисов 2-й и некоторые из присутствующих на сем совещании славян почитали невозможным безусловное соединение двух Обществ. По мнению Борисова 2-го, славяне, обязавшись клятвою посвятить всю свою жизнь освобождению славянских племен, искоренению существующей между некоторыми из них вражды и водворению свободы, равенства и братской любви, не в праве нарушить сих обязательств. Нарушение это влечет за собою всеобщее порицание и упреки совести.

— Тем более, подчинив себя безусловно Верховной думе Южного общества,— продолжал он,— будем ли мы в состоянии исполнить в точности принятые нами обязательства? Наша подчиненность не подвергнет ли нас произволу сей таинственной думы, которая, может быть, высокую цель Славянского союза найдет маловажною и, для настоящих выгод жертвуя будущими, запретит нам иметь сношения с другими иноплеменными народами? *

Бестужев-Рюмин всеми силами старался опровергнуть сие возражение; он доказывал, что преобразование России необходимо откроет всем славянским племенам путь к свободе и благоденствию; что соединенные Обще-

---

* При первом свидании с Борисовым и Горбачевским Бестужев обнаружил свои мысли относительно цели славян и сношений русских с поляками. Борисов не мог забыть сего.

ства удобнее могут произвести сие преобразование; что Россия, освобожденная от тиранства, будет открыто споспешествовать цели Славянского союза: освободить Польшу, Богемию, Моравию и другие славянские земли, учредить в них свободные правления и соединить всех федеральным союзом.

— Таким образом,— сказал он,— наше соединение не только не удалит вас от цели, но, напротив того, приблизит к оной.

Энтузиазм Бестужева-Рюмина походил на вдохновение; уверенность в успехе предприятия вдыхала в сердце каждого несомненную надежду счастливой будущности. Он восторжествовал над холодным скептицизмом Борисова 2-го, ожидавшего успеха от одних усилий ума и приписывавшего все постоянной воле людей. Мысль о силе Южного общества, надежда видеть при своей жизни освобождение отечества и других славянских народов увлекла совершенно славян; в общем пылу благородных страстей своих они согласились немедленно соединиться с Южным обществом, разделять с ним труды и опасности для блага своей родины, и от сей минуты цель, правила и меры, принятые сим Обществом, почитать своими собственными. Таким образом окончательно объединились два Общества: судьба славян была решена. С сего времени Славянский союз существовал только в мыслях и сердцах немногих, которые не могли забыть возвышенной и великой (хотя, может быть, по мнению некоторых, мечтательной) идеи федеративного Союза славянских народов *. Получив от славян согласие на соединение с Южным обществом, Бестужев-Рюмин предложил им избрать из среды своей посредника и составить особенную управу **.

---

* Все сказанное Бестужевым о силе Южного общества и содействии сего Общества к освобождению других народов, о силе оного и пр.,— после сего совещания было подтверждено многими членами Южного общества, а особливо с ужасным хладнокровием, отличным красноречием и умом — Сергеем Муравьевым, который не только подтвердил, но еще более объяснил все сказанное Бестужевым на совещании. Но некоторых из славян это не утешило: они скорбели об участи Славянского союза, и даже двое из них после сего соединения не хотели дальше быть на совещаниях; другие с сожалением согласились с большинством. Достойно замечания, что соединение двух Обществ воспоследовало в том же самом месяце (сентябрь), когда Майборода донес правительству о существовании Южного.

** Члены Славянского общества на случай соединения двух Обществ положили следующие условия: они имеют право выбрать по-

— Избранный посредник,— сказал он,— должен заведывать делами управы и относиться во всем ко мне или к С. Муравьеву; мы обязываемся, с своей стороны, доставлять ему предписания от Верховной думы и уведомлять его о всех делах Общества; славяне могут принимать новых членов не иначе как с дозволения посредника, который должен будет, хотя один раз в год, отдавать отчет Верховной думе о распространении и делах Славянской управы.

Бестужев-Рюмин продолжал: Южное общество уже так сильно, что не нуждается даже в приобретении новых членов. Посему гораздо лучше славянам заняться постепенным, осторожным и медленным приготовлением солдат. Они могут принимать также в Общество офицеров, если найдут таких, которые заслуживают сию честь. Относительно гражданских чиновников он был вовсе противного мнения: в его глазах эти люди были не только бесполезны, но даже вредны; преобразование России должно было быть следствием чисто военной революции. Поляки подверглись сему исключению. Бестужев-Рюмин требовал от славян, чтобы они умалчивали о существовании Южного общества даже перед теми, которые уже несколько лет были членами Славянского общества. Сие исключение Бестужев основывал на том, что в Польше существует особенное общество, и что каждый из поляков должен думать прежде о своем отечестве, а потом уже о России.

Изложив помянутые условия и не дожидая принятия оных, Бестужев требовал, чтобы все бумаги, касающиеся до Славянского союза, и списки членов оного были представлены ему как лицу, уполномоченному Верховною думою. Против сего не было сделано никакого возражения: но зато члены Славянского общества, не почитая себя обязанными следовать первому условию, на которое Бестужев не требовал изъявления их согласия, действовали по своим правилам, т. е. объявили всем гражданским чиновникам и полякам о соединении двух Обществ и принимали новых членов на прежнем основании.

средника из среды своей для сношения с Верховною думою, состоять в отдельной управе и принимать членов по своим правилам. Муравьев согласился на сии условия; но впоследствии славяне, соединившись с Южным обществом, в принятии новых членов не следовали уже формам Славянского общества.

Совещание кончилось предложением съехаться на другой день для избрания посредника и приготовления требуемых Бестужевым бумаг.

3

Третье собрание славян у Андреевича для избрания посредника.— Доклад Борисова 2-го о Славянском обществе.— Цель, правила и дух Славянского общества

На другой день, в 5-м или 6-м часу вечера, все славяне собрались снова на квартире (в Млинищах) подпоручика Андреевича 2-го: число их было значительно и увеличено вновь принятыми членами. Борисов 2-й представил собранию отчет, содержащий в себе цель и правила Славянского общества, проект нового образования Славянского союза, мнения и действия членов, и присовокупил к сему общий список всех славян, с означением настоящего их местопребывания и рода службы.

Желая познакомить читателей с духом Общества соединенных славян, мы прервем на некоторое время нить нашего рассказа и изложим в нескольких словах цель и правила оного.

Общество имело главною целию освобождение всех славянских племен от самовластия; уничтожение существующей между некоторыми из них национальной ненависти и соединение всех обитаемых ими земель федеративным союзом. Предполагалось с точностью определить границы каждого государства; ввести у всех народов форму демократического представительного правления; составить конгресс для управления делами Союза и для изменения, в случае надобности, общих коренных законов, предоставляя каждому государству заняться внутренним устройством и быть независимым в составлении частных своих узаконений.

Вникая в основания благоденствия частного человека, мы убеждаемся, что они бывают физические, нравственные и умственные. Посему гражданское общество, как целое, составленное из единиц, необходимо зиждется на тех же началах и для достижения возможного благосостояния требует промышленности, отвращающей бедность и нищету; нравственности — исправляющей дурные наклонности, смягчающей страсти и внушающей

человеколюбие; и, наконец,— просвещения, вернейшего сподвижника в борьбе противу зол, неразлучных с существованием, которое делает умнее и искуснее во всех предприятиях. Развертывать, распространять сии три основные начала общественного блага поставлялось в первую и неизменную обязанность славянина. Он должен был по возможности истреблять предрассудки и порочные наклонности, изглаживать различие сословий и искоренять нетерпимость верования; собственным примером побуждать к воздержанию и трудолюбию; стремиться к умственному и нравственному усовершенствованию и поощрять к сему делу других; всеми способами помогать бедным, но не быть расточительным; не делать людей богатыми, но научать их, каким образом посредством труда и бережливости, без вреда для себя и других пользоваться оными. Убеждение в сих правилах заставляло славян выводить следующие заключения: никакой переворот не может быть успешен без согласия и содействия целой нации, посему, прежде всего, должно приготовить народ к новому образу гражданского существования и потом уже дать ему оный; народ не иначе может быть свободным, как сделавшись нравственным, просвещенным и промышленным. Хотя военные революции быстрее достигают цели, но следствия оных опасны: они бывают не колыбелью, а гробом свободы, именем которой совершаются. Славяне, убежденные в том, что надежды их не могут так скоро исполниться, как они того желали, не хотели терять времени в пустых и невозможных усилиях; но вознамерились сделать все, что зависит от них и ведет, хотя медленно, к предпринятой цели. В исполнение сего намерения они положили определить некоторую часть общественной суммы на выкуп крепостных людей; стараться заводить или споспешествовать заведению небольших сельских и деревенских училищ; внушать крестьянам и солдатам необходимость познания правды и любовь к исполнению обязанностей гражданина, и таким образом возбудить в них желание....... и изменить унизительное состояние рабства и пр.

Не взирая, однако ж, на сии постепенные и кроткие меры, Славянский союз носил на себе отпечаток какой-то воинственности. Страшная клятва, обязывающая членов оного посвящать все мысли, все действия благу и свободе своих единоплеменников и жертвовать всей

жизнью для достижения сей цели, произносилась на оружии, от одних своих друзей, от одного оружия славяне ожидали исполнения своих желаний; мысль, что свобода покупается не слезами, не золотом, но кровью, была вкоренена в их сердцах, и слова знаменитого республиканца, сказавшего: «обнажившп меч против своего государя, должно отбросить ножны сколь возможно далее», долженствовали служить руководством их будущего поведения *. Сей слабый очерк достаточно показывает, что дух Славянского общества во многом отличался от духа Южного общества, и что даже в некоторых отношениях они были друг другу совершенно противоположны. Но к соединению двух обществ не столько содействовало сходство их характеров, сколько нетерпение и желание скорейшего достижения цели. Мы обязаны сказать, не упрекая никого, что большинство славян еще худо понимало правила и средства своего Союза, и порывом своим увлекло тех немногих, которые были вполне проникнуты оными. Сии последние видели невозможность бороться с представителями сильного русского общества, обещавшего немедленное освобождение России, и с прискорбием приняли на себя труд оного. Боязнь повредить благу отечества, показать себя малодушными или самолюбивыми заставила их утешаться надеждою, что после переворота мысль Славянского союза снова воспрянет и с новою силою заставит трудиться для освобождения всех славянских народов. Но время нам возвратиться к славянам, собравшимся для избрания посредника.

4

Избрание Спиридова в посредники.— Изменение духа Славянского союза после соединения его с Южным обществом.— Примеры: бунт 1-й гренадерской роты, поднятый юнкером Шеколлою: объявление поручиком Кузьминым солдатам о замышляемом перевороте

Рассмотрев бумаги и проверив список **, представленный Борисовым 2-м, члены Славянского союза поручили доставить оные Бестужеву и приступили к предположен-

* Сии постановления и правила Славянского союза были рассматриваемы единственно для того, чтобы их передать Южному обществу безошибочно, чтобы оно могло в них найти правила, получившие одобрение всех славянских членов, залог будущего их поведения и основные мысли сего общества.

** В оном списке находились и гражданские чиновники, и не служащие нигде дворяне.

ному избранию посредника. Пензенского пехотного полка майор Спиридов получил большинство голосов. Тотчас после избрания он предложил и взялся сам составить правила, которые могли бы служить руководством членам тайного общества в их будущих действиях. Предложение Спиридова было принято без малейшего возражения. После непродолжительных прений славяне предоставили право другим изложить мысли о сем предмете и предложить их к следующему собранию на общее утверждение.

С сего уже времени характер Славянского союза начинал приметно изменяться, действия и намерения членов принимали вид решительных и даже слишком смелых мер. Нельзя не заметить, что дух Васильковской управы находил отголоски в пылких страстях славян и увлекал их за пределы благоразумия. Одна искра могла произвести пожар. Приведем примеры.

Пред закрытием описываемого собрания один из членов объявил, что командир 1-й гвардейской роты Саратовского полка притесняет своих подчиненных, что несправедливости и жестокости его превышают всякую меру и что даже запрещает своим солдатам иметь сношение с солдатами бывшего Семеновского полка, которые по своему положению были ревностными агентами тайного общества, возбуждая в своих товарищах ненависть и презрение к правительству.

— Он должен быть наказан за свою жестокость,— закричали немедленно многие. Борисов 2-й и еще некоторые из славян хотели остановить сей порыв негодования; их усилия остались тщетными.— Взбунтовать роту,— вскрикнул в исступлении поручик Кузьмин. Многие его поддержали. Собрание поручило тотчас члену Общества Саратовского же полка юнкеру Шеколле привести предложение Кузьмина в исполнение. Отчаянный Шеколла с радостью принял сие поручение и на другой же день осуществил желание своих сочленов *.

Сие дело кончилось, однако ж, без дурных последствий, которых опасались некоторые из членов Союза.

* Саратовского полка юнкер Шеколла имел от роду 20 лет, росту высокого, лицо страшное, обросшее волосами; глаза большие, черные; физиогномия изображала всю пылкость его души. Был испытанной храбрости и решительности; родом серб, уважаемый сочленами и любимый солдатами.

Командир 1-й гренадерской роты, узнав, что его подчиненные не хотят более ему повиноваться, и страшась подвергнуть жизнь свою опасности, спрятался в балаган полкового командира, который побежал к восставшей роте, стараясь как можно скорее ее усмирить. Дерзость недовольных солдат час от часу увеличивалась. Полковник, боясь, чтобы сие происшествие не навлекло ему неприятность от высшего начальства и не лишило бы его полка, вступил с ними в переговоры, обещал забыть нарушение военной дисциплины, простить их всех и сменить немедленно ротного командира. Зная трусливый характер полковника, Шеколла искусно шепнул солдатам, чтобы они изъявили согласие на сие предложение и просили бы нового ротного командира. Их требование в тот же день было исполнено. Полковой командир сдержал вполне свое слово.

Вот другой пример. Васильковская управа, ослепляясь мнимою силою Южного общества и надеждою счастливого успеха своих предприятий, полагала, что в народе и в армии Общество не только не встретит сопротивления ко введению конституции, но найдет даже помощь, и потому намеревалось воспользоваться сбором 3-го корпуса и начать действия тотчас по приезде государя в лагерь. Обстоятельство сие было поводом к многим разговорам и различным предложениям. Многие члены Южного общества хотели даже, чтобы корпус поднял знамя бунта, не дожидая приезда государя, полагая, что усердие членов, ропот и негодование войск достаточны для счастливого начала и окончания переворота. Славяне знали все эти предположения, и хотя были убеждены в силе Южного общества и в скором преобразовании России, однако ж большая часть из них, сколько известно, не думали, чтобы во время лагеря можно было начать восстание, никто из них не сообщал еще о своих намерениях подчиненным, не знал их образа мыслей (впрочем негодование и озлобление было общее) и потому не слишком надеялся на их пособие, которое, по мнению славян, было необходимым условием успешного переворота.

Несмотря на все сии обстоятельства, Кузьмин, по пылкости и решительности своего характера, был готов на все, даже и на невозможное. Преобладаемый, так сказать, единственною мыслию о восстании, о котором только и говорил, он вообразил, что существование само-

властия в России приходит уже к концу. Не посоветовавшись ни с кем из своих сочленов, этот пылкий человек собрал роту и объявил преданным своим солдатам о замышляемом перевороте; в коротких словах изъяснил им причину, цель и средства достигнуть оного. Получив от подчиненных согласие и клятву умереть с ним для блага отечества, он с радостным лицом явился в собрание и торжественно объявил, что его рота готова и ожидает только приказания идти.

— Когда назначено восстание? — спросил он при всех у Горбачевского.

— Этого никто не знает,— отвечал последний,— начало его зависит не от нас, но от обстоятельств; ты напрасно спешишь, мы должны приготовлять медленно нижних чинов, может быть только в будущем году нам представится случай осуществить наши намерения, и, вероятно, не ранее.

— Жаль,— возразил Кузьмин.— Я думаю лучше скорее начать,— пустые толки ни к чему не ведут. Впрочем,— прибавил он,— мои солдаты умеют молчать; я сожалею только, что объявил о сем юнкеру Полтавского полка Богуславскому и послал его в Житомир с поручением уведомить наших друзей о близком восстании.

Сии слова были громовым ударом для многих; все знали, что помянутый юнкер был глуп, болтлив и развратен, и что он без разбору все пересказывает дяде, начальнику артиллерии 3-го корпуса. Никто не мог удержать справедливого своего негодования.

Кузьмин, заметив сие, сказал хладнокровно:

— Разве сего поправить нельзя? — взял шляпу и, выходя из комнаты, прибавил: — Завтра вы найдете его мертвым в постели.

Горбачевский и Громницкий, зная решительность и твердость Кузьмина, зная, что он ничего напрасно не говорит, схватили его и начали отклонять от сего опасного предприятия.

— Завтра он будет мертвым, повторяю вам! — закричал в бешенстве Кузьмин. Многие из славян окружили его и после долгих прений склонили наконец Кузьмина отказаться от безрассудного и даже преступного намерения лишить жизни глупца, которого легко можно уверить, что Кузьмин, говоря ему о восстании, хотел пошутить над его легковерием и простотою.

Славяне, однако, не совсем верили Кузьмину и, желая уничтожить в нем мысль о степени неосторожности его поступка, старались дать этому обстоятельству вид маловажности и даже обратили это в шутку, ибо, если бы Кузьмин заметил противоположное, несчастный юнкер в тот же вечер не существовал бы.

На другой день некоторые из славян объявили Богуславскому, что Кузьмин над ним пошутил, смеялись над его легковерием и этот бедный простак совершенно поверил всему — и молчал *.

Сии два случая, кажется, достаточно подтверждают сказанное выше об изменении духа Славянского союза по соединении оного с Южным обществом. Влияние Васильковской управы возбудило бурные страсти, до того времени дремавшие в сердцах славян. Люди того времени, почитавшие себя не вправе делать благодеяния другим без их ведома и согласия, вдруг приняли на себя обязанности покровительствовать притесняемых и карать притеснителей. Мнимая сила Южного общества и убеждение в его силе породило в славянах сию гордость и самонадеянность.

5

Спиридов у Муравьева; их спор о приеме в Общество офицеров Черниговского полка и о подготовке солдат и офицеров.— Встреча славян с членами Южного общества у С. Муравьева

По окончании выше описанного совещания Спиридов возвратился в лагерь, посетил Муравьева и между прочими разговорами сказал ему, что успехи Славянского общества невероятны.

— Каждый день,— говорил он,— Общество усиливается новыми членами; кроме прежних офицеров Черниговского полка приобретено еще несколько новых в том же полку, в других полках обеих дивизий и артиллерии.

К удивлению Спиридова Муравьев начал осуждать сию деятельность, находил ее неуместною и сказал, что он вовсе не желает, чтобы принимали в Общество его полка офицеров, которых он лично знает, и коих, по его мнению, можно возбудить к восстанию, объявив об этом накануне дела. В ответ на сие Спиридов сказал ему,

* Соловьев и Щепилло, следуя примеру Кузьмина, тоже начали приготовлять солдат, бывших еще в лагере.

что Кузьмин и Соловьев состоят в Обществе соединенных славян уже два года, и что им невозможно воспрепятствовать прямо действовать, ибо прежние правила не только дают им на сие право, но даже обязывают умножать Общество новыми приобретениями, налагая на них ответственность за принимаемых членов.

— Эти правила,— сказал Муравьев,— уничтожены соединением Общества; они могут быть пагубны нашему делу. План наших действий совсем иной, солдаты и офицеры должны быть приготовляемы, но не должны знать ничего; они будут орудиями и произведут переворот. Вы знаете — что за люди русские солдаты и офицеры?!

Заметя такое ложное понятие о русских солдатах и офицерах и видя, каким образом С. Муравьев, а, следовательно, и другие главные члены Южного общества полагают делать переворот, Спиридов не хотел входить в дальнейшие споры и с прискорбным молчанием удалился.

На другой день, после репетиции смотра, С. Муравьев пригласил к себе некоторых славян. Мы не знаем, с какими именно намерениями сие было сделано, но кажется, что он хотел показать славянам на самом деле силу Южного общества и совершенно разрушить сомнение, которое обозначалось в словах многих относительно сего предмета. Догадка сия подтверждается тем, что даже большая часть членов Южного общества не знала причины собрания *.

Киреев, Горбачевский, Андреевич, Веденяпин 1-й, Борисов 2-й, Громницкий и прочие тотчас по окончании репетиции пришли к Муравьеву и застали там: Артамона Муравьева, Тизенгаузена, Швейковского, Враницкого, Фролова, Пыхачева, Врангеля, Нащокина, Бестужева-Рюмина и прочих. С. Муравьев знакомил своих сочленов с славянами и старался дружескими разговорами сгладить разницу в летах и чинах, и внушить им взаимную доверенность. Как С. Муравьев, так и прочие члены Южного общества говорили только о злоупотреблениях правительства. Каждый из них уверял в готовности искоренить зло, доказывал необходимость переворота и убеждал в силе общества, составленного из благонамеренных людей, поклявшихся улучшить жребий

* Почти все офицеры конной артиллерии спрашивали у славян, зачем звал их к себе Муравьев. Они отвечали, что ничего не знают.

своего отечества. Артамон Муравьев произносил беспрестанно страшные клятвы — купить свободу своею кровью. Славяне видели в нем не только решительного республиканца, но и ужасного террориста. Аполлон Веденяпин 1-й, одаренный проницательным умом и никогда не доверявший словам, особенно в столь важных случаях, заметил некоторым из своих товарищей, что не должно полагаться на слова сих господ, что их поведение совершенно несогласно с тем, что они говорят: что, по его мнению, каждый член, какого бы он звания ни был, необходимо должен представить доказательства преданности к священному делу не на словах, но на самых действиях; что, сколько ему известно, полковые командиры, состоящие в Обществе, не только не действуют на солдат, но даже не стараются принимать в Общество достойных офицеров своих полков, и что без сего никогда нельзя ожидать успеха. Аполлон Веденяпин сии самые слова повторил С. Муравьеву и Бестужеву, прибавляя, что для успеха в предпринимаемом перевороте необходимо, чтобы все члены без изъятия отдавали отчеты в своих действиях. С. Муравьев отвечал ему, что вероятно Верховная дума, управляющая Южным обществом, приняла меры, и что не должно сомневаться в чувствах тех, которые уже своими делами доказали возвышенность и благородство своей души. Веденяпин возразил, что он не знает никаких дел и потому судить о них не может, но для побуждения к действию недостаточно одних чувств, к сему необходимо обдуманная и твердая решительность; что в борьбе против гигантской власти мало одной военной храбрости, потребно еще гражданское мужество; что надобно заранее приучить себя к сей мысли: я погибну, если начну действовать; пусть другие доканчивают. Для достижения цели, сказал он, наконец, нужна сила; без единства же, совокупности и подчиненности нет силы, которая сверх того тогда только может быть известна, когда есть отчетливость.

Никто не поддержал Веденяпина и разговор снова обратился на предметы общие и снова начались восклицания! Горбачевский спросил Муравьева, по какой причине Южное общество не воспользуется настоящим сбором корпуса и не начнет действовать.

— Я и мои товарищи,— продолжал он,— могут ручаться за себя и за своих подчиненных; вы сами сему

свидетели. По вашим словам, большая часть полковых командиров разделяют наши мысли и готовы на все, если...

В это время командир 5-й Конной роты Пыхачев схватил Горбачевского за руку и сказал с жаром:

— Нет, милостивые государи, я никому не позволю первому выстрелить за свободу моего отечества! Эта честь должна принадлежать 5-й Конной роте; я начну, да, я.

С. Муравьев бросился Пыхачеву на шею и оставил Горбачевского без ответа. Разговор снова переменился.

Последствия покажут, до какой степени можно было считать на сии мгновенные порывы и взаимные уверения некоторых лиц, имевших случай *делом* доказать прочность своих мнений и оправдать надежды общества.

6

План разделения Славянского общества на две управы.— Четвертое собрание у Андреевича 2-го.— Строгие правила, предложенные Спиридовым, отклоняются.— Разделение на две управы и избрание посредниками Спиридова и Горбачевского.— Права и обязанности посредников.— Спор Бестужева и Борисова 2-го о роли в перевороте войска и народа

Выходя от Муравьева, Бестужев-Рюмин остановил Борисова 2-го и Бечасного, спросил их, выбрали ли они посредника и, не дождавшись ответа, прибавил в рассеянности:

— Сделайте милость, не выбирайте Борисова 2-го.

— Мы выбрали Спиридова,— сказал хладнокровно сей последний,— вы вероятно уже об этом знаете.

— А я именно хотел сказать, чтобы его не выбирали,— подхватил Бестужев-Рюмин с замешательством и начал извиняться в своей ошибке.

Борисов 2-й улыбнулся вместо ответа.

— Нельзя ли как-нибудь переменить избрания? — продолжал Бестужев-Рюмин *.

— Я убежден в невозможности,— отвечал Борисов 2-й.— Избрание происходило в присутствии избранного, почти все голоса были в его пользу; устранить его — значит нанести оскорбление не только ему, но всем избирателям; впрочем, если вы имеете на сие достаточную

* Причина сей недоверчивости к Спиридову Бестужева никому не известна.

причину, объясните ее и при будущем совещании предложите новый выбор.

— Я не имею никакой причины,— прервал Бестужев с досадою,— но мне бы хотелось...

Бечаснов вывел его из сего затруднительного положения, предложив разделить Славянское общество на два округа таким образом, что артиллерия будет составлять одну управу, а пехота другую, из коих каждая будет иметь своего посредника.

Эта мысль чрезвычайно понравилась Бестужеву; он и Муравьев просили славян собраться на другой же день и осуществить оную. Аполлон Веденяпин предложил съехаться на его квартиру, которая находилась в уединенном месте на берегу реки, на что и согласились. За несколько часов до назначенного времени Бестужев просил славян переменить избранное ими место для совещаний и собраться опять у Андреевича. Сию перемену он основывал на каком-то особенном затруднении; после некоторых возражений он получил, наконец, согласие и взялся уведомить о последовавшей перемене офицеров Черниговского полка.

Славяне собрались у Андреевича гораздо позже назначенного времени. Принятые в общество члены — поручики Шультен, Тихонов (9-й артиллерийской бригады) и старший адъютант 9-й дивизии Шахирев приехали с Пестовым. Вслед за ними явился Бестужев-Рюмин и пригласил собрание, не дожидая отсутствующих членов, заняться немедленно делами *.

Спиридов тотчас представил составленные им правила. Они заключались в том, что каждый член подвергался ответственности за свое бездействие и должен был отдавать отчет в своих поступках кому следует, подвергаясь за нескромность, неосторожность и упущения по делам Общества удалению от совещаний и прочее. За значительную же вину наказывался немедленно смертию.

Во время чтения сего проекта сильное большинство оказалось против сих правил, во главе коего был Бестужев-Рюмин. Но Борисов 2-й, Горбачевский, Аполлон Веденяпин и Драгоманов думали, что сии правила необходимы и поддерживали Спиридова. Они доказывали, что заговорщики не могут быть свободны в своих дей-

* Отсутствующие члены были офицеры Черниговского полка и Черноглазов.

ствиях, что принимая на себя священные, необходимые, вместе с тем и ужасные обязанности, они более, нежели кто-либо, должны сами подчинять Обществу личную свою свободу и соблюдать с точностью правила и постановления, служащие к достижению цели, к сохранению союза и к безопасности членов оного; безнаказанное нарушение каких бы то ни было обязательств неминуемо разрушает всякое сообщество и совесть каждого не всегда может быть верным и надежным блюстителем принятых обязательств.

Бестужев-Рюмин с жаром отвергал сии доводы, говорил о неограниченной свободе, о благородстве цели, о высокости намерений.

— Для приобретения свободы,— вскричал он,— не нужно никаких сект, никаких правил, никакого принуждения,— нужен один энтузиазм. Энтузиазм,— продолжал он в исступлении,— пигмея делает гигантом, он разрушает все и он создает новое.

Ему делали возражения, он опять отвечал, наконец, стал собирать голоса, и предложение Спиридова было отвергнуто сильным большинством. Большинство сие вполне разделяло мнение Бестужева и не хотело слышать ни о каких правилах.

Тотчас же после сего Бестужев предложил новое разделение Славянского общества на две управы; опять сделаны были возражения, но большинство снова взяло верх, причем он прибавил, что члены 9-й артиллерийской бригады будут относиться к Пестову, который, находясь при корпусной квартире, имеет возможность вести с Южным обществом постоянные сношения, а члены 9-й дивизии непосредственно поступят в ведение Муравьева. Это предложение было одобрено, противники оного не могли даже замедлить его принятия и тотчас приступили к новому избранию. Спиридов был снова избран (хотя Бестужев тайно противился сему) 8-ю пехотною дивизиею; мнения артиллеристов пали на двух кандидатов: Борисова 2-го и Горбачевского. Первый уклонился сам, а последний был выбран посредником.

Посредники сии обязаны были сохранять порядок, последовательность и единство в действиях управы, наблюдать за поведением и поступками членов. Они одни имели право сноситься с Верховною думою через С. Муравьева или Бестужева-Рюмина и представлять думе разные проекты и мнения членов, которые через

них получали предписания думы относительно действий, восстания и проч. Равным образом для принятия кого-либо в члены Общества необходимо было согласие посредника, который, впрочем, сам имел право принимать не только в члены Общества, но даже из них назначать в заговорщики *.

Объяснив права и обязанности посредников, безусловное и слепое повиновение членов предписаниям Верховной думы, Бестужев-Рюмин читал речь. В сей речи он доказывал пользу соединения двух Обществ, сильно говорил о необходимости переворота в России и красноречиво убеждал в несомненном успехе оного. По окончании чтения он объявил собранию о полученных им от Борисова 2-го бумагах, которые он взялся доставить Верховной думе, восхищался намерением и целью Славянского общества, но постепенное стремление и отдаленность цели ему не нравились. Сделать народ участником переворота казалось ему весьма опасным.

— Наша революция,— сказал он,— будет подобна революции испанской (1820 г.); не будет стоить ни одной капли крови, ибо произведется одною армиею без участия народа. Москва и Петербург с нетерпением ожидают восстания войск. Наша конституция утвердит навсегда свободу и благоденствие народа. Будущего 1826 года в августе месяце император будет смотреть 3-й корпус, и в это время решится судьба деспотизма; тогда ненавистный тиран падет под нашими ударами; мы поднимем знамя свободы и пойдем на Москву, провозглашая конституцию.

— Но какие меры приняты Верховною думою для введения предположенной конституции,— спросил его Борисов 2-й,— кто и каким образом будет управлять Россией до совершенного образования нового конституционного правления? Вы еще ничего нам не сказали об этом.

— До тех пор пока конституция не примет надлежащей силы,— отвечал Бестужев,— Временное правление будет заниматься внешними и внутренними делами государства, и это может продолжаться десять лет.

— По вашим словам,— возразил Борисов 2-й,— для избежания кровопролития и удержания порядка народ будет вовсе устранен от участия в перевороте, что рево-

---

* Это различие объясняется впоследствии.

люция будет совершена военная; что одни военные люди произведут и утвердят ее. Кто же назначит членов Временного правления? Ужели одни военные люди примут в этом участие? По какому праву, с чьего согласия и одобрения будет оно управлять десять лет целою Россиею? Что составит его силу, и какие ограждения представит в том, что один из членов вашего правления, избранный воинством и поддерживаемый штыками, не похитит самовластия?

Вопросы Борисова 2-го произвели страшное действие на Бестужева-Рюмина; негодование изобразилось во всех чертах его лица.

— Как можете вы меня об этом спрашивать! — вскричал он с сверкающими глазами,— мы, которые убьем некоторым образом законного государя, потерпим ли власть похитителей?! Никогда! Никогда!

— Это правда,— сказал Борисов 2-й с притворным хладнокровием и с улыбкою сомнения,— но Юлий Цезарь был убит среди Рима, пораженного его величием и славою, а над убийцами, над пламенными патриотами восторжествовал малодушный Октавий, юноша 18-ти лет.

Борисов хотел продолжать, но был прерван другими вопросами, сделанными Бестужеву, о предметах вовсе незначительных. Бестужев-Рюмин сим воспользовался и не отвечал ничего Борисову 2-му; потом, поспешая домой, просил избранных посредников назначить день последнего собрания для утверждения клятвою соединения двух Обществ и готовности умереть за Россию.

7

Намеренное устранение Бестужевым офицеров Черниговского полка от участия в собрании.— Объяснение с Муравьевым по этому поводу.— Различие взглядов славян и Южного общества по вопросу о цареубийстве.

Собрание было закрыто. Все обратили внимание на поспешный отъезд Бестужева, вслед за ним уехали некоторые из членов Славянского общества, как вдруг вошел Черниговского полка поручик Щепилло, и видя, что собрание уже кончилось, с гневом сказал:

— Я и мои товарищи, по сделанному прежде условию, приехали к Веденяпину, не застав его дома, и не

зная ничего о перемене места, мы долго дожидали приезда других членов, наконец, решились ехать назад с намерением найти кого-нибудь из сочленов и узнать, где происходит совещание. Недалеко от лагеря мы встретили Мозгана, который сказал нам, что место собрания переменено, по какой причине — сего никто не знает, и что оно уже кончилось. Сия новость весьма огорчила моих товарищей,— они подозревают, что Бестужев-Рюмин и даже некоторые славяне хотят удалить нас от Общества, как будто опасных или беспокойных людей. Напрасно я старался уговорить их ехать сюда для объяснений, они меня не послушали и говорили только о нанесенном им оскорблении и своих подозрениях насчет Муравьева и Бестужева-Рюмина.

Слова Щепиллы произвели сильное впечатление на присутствующих; они видели обман со стороны Бестужева и многие приняли сторону черниговских офицеров. Борисов 2-й просил Щепиллу употребить все силы для прекращения возбужденного негодования и предупреждения ссоры, которая в самом начале может разрушить все предприятие. Для лучшего успеха он с ним поехал к Соловьеву, но, не застав его дома, он должен был отложить сии переговоры до другого дня.

К сожалению, мы должны сознаться, что во многих случаях не можем одобрить поведения Бестужева и Муравьева. Желание удалить от совещания черниговских офицеров и гражданских чиновников (причину сего мы увидим после) разрушило прежнюю связь и доверенность, которыми всегда хвалилось Славянское общество. Речь Бестужева, его пустые и ничего не значащие ответы на вопросы Борисова 2-го, его замешательство, неприбытие черниговских офицеров на совещание и его скорый выезд из собрания многим весьма не понравились и навели на него подозрения. Шультен, Тихонов и Черноглазов после сего отказались присутствовать на совещаниях и не хотели принимать участия в делах Общества.

На другой день Горбачевский поехал к Кузьмину и Сухинову — объяснил, почему он их не уведомил о перемене места, назначенного для собрания, и убедил их вместе с ним идти к Бестужеву и Муравьеву, желая объяснить все недоразумения, породившие столь неприятные чувства.

Придя к Муравьеву, Горбачевский спросил его, почему он удаляет от совещаний черниговских офицеров и по какому праву он это делает? Муравьев отвечал хладнокровно, что все, касающееся до Черниговского полка, принадлежит ему исключительно, и он не позволит никому другому вмешиваться в его распоряжения.

— Но каким образом,— возразил Горбачевский,— мы можем прекратить сношения с теми, которые уже около двух лет считаются нашими сочленами, мне кажется, для сего нужно наше и их согласие.

Ответ Муравьева был точно такой же, как и первый. Казалось, он не хотел дать никаких объяснений и заставить их из уважения к нему забыть оскорбление и кончить ссору. Но он обманулся: его настойчивость и хладнокровие привели Кузьмина в бешенство.

— Черниговский полк,— вскричал он вне себя от ярости,— не ваш и не вам принадлежит. Я завтра взбунтую не только полк, но и целую дивизию. Не думайте же, г-н подполковник, что я и мои товарищи пришли просить у вас позволения быть патриотами! — повернулся и вышел вон.

Бестужев-Рюмин подошел к Сухинову и старался оправдать себя и Муравьева, однако ж его оправдания не произвели никакого действия. Сухинов, не слушая их, сказал ему в сильном гневе:

— Если он когда-нибудь вздумает располагать мною и моими товарищами, удалять нас от тех, с которыми мы быть хотим в связи, и сближать с теми, которых мы не хотим знать, то клянусь всем для меня священным, что я тебя изрублю в мелкие куски; знай навсегда, что мы найдем дорогу в Москву и Петербург; нам не нужны такие путеводители, как ты и...— тут он взглянул на С. Муравьева.

Муравьев, видя, что сии объяснения могут иметь весьма вредные следствия, переменил тон и начал хвалить чувствования Кузьмина и Сухинова, превозносил их любовь к отечеству и сказал наконец:

— Я не имел никогда намерения что-либо скрывать от таких достойных людей; но хотел только иметь честь сноситься с вами прямо как с товарищами одного полка,— и тому подобное.

Засим последовало примирение. Разговоры Щепиллы и Борисова 2-го успокоили совершенно черниговских офицеров и других членов и все пришло в прежний порядок.

Здесь должно заметить, что до 4-го совещания ни Бестужев-Рюмин, ни С. Муравьев ничего не говорили о покушении на жизнь императора Александра, хотя при первом свидании с Борисовым 2-м и Горбачевским С. Муравьев старался проникнуть мысли славян на сей счет и узнать, думают ли они, что государь согласится дать конституцию, и что, давши оную, соблюдет ее с точностью? Борисов 2-й, при всей своей осторожности и недоверчивости своего характера, говорил всегда о перевороте чистосердечно и свободно; но как цель Славянского союза была чрезвычайно отдалена, то никто из членов сего Общества не делал себе вопроса, что будет с царствующим императором и его домом. Каждый считал бесполезным заниматься решением оного. Славянское общество желало радикальной перемены, намеревалось уничтожить политические и нравственные предрассудки, однако ж всем своим действиям хотело дать вид естественной справедливости, и потому, гнушаясь насильственных мер, какого бы рода они ни были, почитало всегда самым лучшим средством законность. Посему Борисов 2-й и некоторые из его товарищей осуждали убийство Павла I и все вообще дворцовые революции, но одобряли суд Карла I, Людовика XVI, изгнание Иакова II и заточение Фердинанда VII.

С. Муравьев, желая, вероятно, приготовить славян к мысли Южного общества, т. е. к истреблению всей царской фамилии, сказал однажды Борисову 2-му и Горбачевскому, что невозможно полагаться на слова государя, и в доказательство привел поступок испанского короля с конституционистами. Борисов 2-й, не зная помянутой меры Южного общества, выразил откровенно мысли своего Общества следующими словами:

— Народ должен делать условия с похитителями власти не иначе как с оружием в руках, купить свободу кровью и кровью утвердить ее, безрассудно требовать, чтобы человек, родившийся на престоле и вкусивший сладость властолюбия с самой колыбели, добровольно отказался от того, что он привык почитать своим правом; что хотя некоторые и приводят в пример Траяна, который хотел в Римской империи ввести демократическое правление, но Траян может быть исключением очень редким, как в физической, так и в нравственной природе человека, и не может служить правилом и руководством.

Вероятно, Муравьев и Бестужев слова Борисова приняли в пользу мер Южного общества и думали, что истребление царствующего дома не будет новостью для славян, однако ж во всех своих разговорах они никогда не упоминали о сей мере и на 4-м только совещании, как мы видели, Бестужев, увлеченный энтузиазмом, в первый раз в присутствии славян вскрикнул: «Тогда тиран падет под нашими ударами». Впрочем и сие восклицание можно было принять в переносном смысле, если бы на том же совещании он не сказал Борисову 2-му: «Мы, которые убьем законного государя». Это одно объясняет, почему многие из славян показывали в Следственной комиссии, что злоумышление на царствующий дом было известно всем славянам, и что об этом было говорено неоднократно; между тем Борисов 2-й, Горбачевский и еще некоторые всеми силами отрицали сии показания, и на их стороне была справедливость.

Без сомнения, те даже, которые говорили утвердительно о истреблении, никогда не думали о сем. Рассуждая о близком перевороте, зная, что форма правления должна быть республиканская, они, полагая, что император и его дом не могут остаться в России, и может быть после слов Бестужева-Рюмина «убьем законного государя», истребление всей царской фамилии показалось им самым надежным и скорым решением сего трудного вопроса.

Если бы план сего сочинения не заставлял нас заняться главнейшими происшествиями и избегать рассуждений, то мы могли бы подтвердить нашу мысль многими другими разговорами славян и тем доказать, что помянутое истребление никогда не было предметом общих рассуждений на совещаниях.

8

Пятое собрание славян 13 сентября у Андреевича 2-го.— Клятва.— Горбачевский, Спиридов, Пестов 15 сентября у С. Муравьева и Бестужева.— Разговор Горбачевского и Муравьева о приготовлении солдат.— Спор о действии на солдат посредством религии.— Назначение заговорщиков.— Борисов 2-й 16 сентября у Муравьева.— Выступление из лагеря

13 сентября в день, назначенный для последнего совещания, все члены Славянского общества поспешили собраться на квартиру Андреевича 2-го. Это собрание было многочисленное и представляло любопытное зрели-

ще для наблюдателя. Люди различных характеров, волнуемые различными страстями, кажется, помышляли только о том, как бы слиться в одно желание и составить одно целое; все их мысли были заняты предприятием освобождения отечества; все их надежды затмевались надеждою блистательных и несомненных успехов. Радость, самоотвержение блистали на их лицах; посреди всеобщего упоения проницательный взор наблюдателя мог бы заметить, что не все славяне чистосердечно радовались соединению их Общества с Южным, подобно как просвещенный путешественник, присутствующий при шумном и радостном торжестве диких, погребающих одного из своих собратий, читает в глазах отца и супруги скорбное чувство разлуки и видит незамечаемую никем слезу, посвященную памяти умершего.

Приезд Бестужева-Рюмина довершил упоение. Он говорил снова об успехах, о счастье пожертвовать собою для блага своих сограждан, и после сего каждый хотел произнести немедленно требуемую клятву. Все с жаром клялись при первом знаке явиться в назначенное место с оружием в руках, употребить все способы для увлечения своих подчиненных, действовать с преданностью и с самозабвением. Бестужев-Рюмин, сняв образ, висевший на его груди, поцеловал оный пламенно, призывая на помощь провидение; с величайшим чувством произнес клятву умереть за свободу и передал оный славянам, близ него стоявшим. Невозможно изобразить сей торжественной, трогательной и вместе странной сцены. Воспламененное воображение, поток бурных и неукротимых страстей производили беспрестанные восклицания. Чистосердечные, торжественные, страшные клятвы смешивались с криками: Да здравствует конституция! Да здравствует республика! Да здравствует народ! Да погибнет различие сословий! Да погибнет дворянство вместе с царским саном!..

Образ переходил из рук в руки: славяне с жаром целовали его, обнимали друг друга с горящими на глазах слезами, радовались как дети, одним словом, это собрание походило на сборище людей исступленных, которые почитали смерть верховным благом, искали и требовали оной *. Бестужев-Рюмин, пораженный и тронутый сими

* Когда Бестужева вели на казнь, он сей самый образ, над которым клялись славяне, подарил своему сторожу, который был при нем в каземате. Сторож продал оный образ Лунину, у которого оный и теперь хранится.

чувствами, сим бурным порывом энтузиазма, или желая, может быть, надеждою лучшей будущности еще более воспламенить страсти славян, сказал со слезами на глазах:

— Вы напрасно думаете, что славная смерть есть единственная цель вашей жизни; отечество всегда признательно: оно щедро награждает верных своих сынов; наградою вашего самоотвержения будет не смерть, а почести и достоинства; вы еще молоды и вас ожидает не мученический конец, но венец славы и счастья.

Сии слова, подобно магическому жезлу Эндоры, в одно мгновение переменили сцену: шумные восклицания умолкли, негодование заступило место успокоению.

— Говоря о наградах,— вскрикнули многие,— вы обижаете нас!

— Не для наград, не для приобретения почестей хотим освободить Россию,— говорили другие.

— Сражаться до последней капли крови: вот наша награда! — закричали с неистовством некоторые.

Бестужев-Рюмин смешался, видя, что неуместно выразился на счет наград. Но сие справедливое негодование прошло после нескольких слов, сказанных Бестужевым: они успокоили славян, которые снова предались излиянию своих чувств.

15 сентября С. Муравьев попросил к себе Спиридова, Горбачевского и Пестова, которые приехали к нему в назначенный час. Бестужев-Рюмин начал разговор похвалами Славянскому обществу, рассказывал и повторял несколько раз С. Муравьеву, с каким восторгом они произносили клятву соединения двух Обществ, превозносил их преданность к общему делу, и тому подобное. Но Спиридов, Горбачевский и Пестов все еще не знали, зачем их к себе звал С. Муравьев. Сначала они полагали, что он их приглашает к себе по каким-нибудь маловажным обстоятельствам, или для того, чтобы кончить какие-нибудь переговоры, но вышло противное. Мы увидим вскорости, чего хотели С. Муравьев и Бестужев-Рюмин от славян, на что они соглашались и в чем отказали С. Муравьеву.

Разговор сделался общим, рассуждали о сношениях с Верховною думою, о действии на нижних чинов и прочем. Спиридов, Пестов и Бестужев-Рюмин перешли к рассуждениям о принятии членов, а по несогласию мнений относительно сего предмета между ними про-

изошел довольно жаркий спор. Сергей Муравьев с Горбачевским, удалившись в другой конец комнаты, разговаривали о восстании, в особенности о приготовлении солдат.

Горбачевский утверждал, что от солдат ничего не надобно скрывать, но стараться с надлежащею осторожностью объяснить им все выгоды переворота и ввести их постепенно, так сказать, во все тайны Общества, разумеется не открывая им сего, заставить их о сем думать и дойти до того, чтобы они сражались не в минуту энтузиазма, но постоянно за свои мысли и за отыскиваемые ими права. Здесь Горбачевский рассказал С. Муравьеву предполагаемый славянами план действия на нижних чинов и говорил, что должно принять всем членам одинакой способ действий. Он был убежден, что откровенность и чистосердечие подействуют на русского солдата более, нежели все хитрости махиавелизма.

Муравьев думал иначе: ему казалось не только бесполезным, но даже опасным открывать солдатам что-либо клонящееся к цели Общества; что они отнюдь не в состоянии понять выгод переворота; что республиканское правление, равенство сословий и избрание чиновников будет для них загадкою сфинкса.

Горбачевский возражал, что сих политических тонкостей не нужно им толковать и рассказывать, но что на это есть другой язык, который они поймут, лишь бы только сообразжались с их понятиями.

— Кроме того,— прибавил он,— у всякого командира есть столько способов, что если солдаты во время восстания за ним не пойдут, то, конечно, командир сам виноват, и сие должно приписать ничему другому, как его нехотению, или — просто — нерадению.

С. Муравьев отвечал, что, по его мнению, лучший способ действовать на русских солдат религиею; что в них должно возбудить фанатизм и что чтение Библии может внушить им ненависть к правительству.

— Некоторые главы,— продолжал он,— содержат прямые запрещения от бога избирать царей и повиноваться им. Если русский солдат узнает сие повеление божие, то, не колеблясь нимало, согласится поднять оружие против своего государя.

— Я с вами не согласен,— отвечал Горбачевский,— вы знаете, что терпимость составляет отличительную черту русского народа; вам не нужно говорить, что ни

священники, ни монахи не могут иметь влияния на русских и что они пользуются весьма невыгодным для них мнением между нашими соотечественниками. Скажите, можно ли с русским говорить языком духовных особ, на которых он смотрит с весьма худой стороны? Я думаю, что между нашими солдатами можно более найти вольнодумцев, нежели фанатиков, и легко может случиться, что здравый смысл заставит некоторых из них сказать, что запрещение израильтянам избирать царя было не божие повеление, а обман и козни священников-левитов, желавших поддержать теократию.

— Вы делаете много чести нашим солдатам,— возразил С. Муравьев,— простой народ добр, он никогда не рассуждает, и потому он должен быть орудием для достижения цели.

Говоря сие, он вынул из ящика исписанный лист бумаги и, подавая его Горбачевскому, сказал:

— Поверьте мне, что религия всегда будет сильным двигателем человеческого сердца; она укажет путь к добродетели; поведет к великим подвигам русского, по вашим словам равнодушного к религии, и доставит ему мученический венец.

Горбачевский молча взял бумагу из рук Муравьева, пробежал ее глазами и увидел, что это — перевод той главы из Ветхого завета, где описывается избрание израильтянами царя Саула.

— Это все очень хорошо,— сказал он, отдавая назад Муравьеву помянутый лист,— но я уверен, что никто из славян не согласится таким образом действовать; что же касается меня, то я первый отвергаю сей способ и не прикоснусь до сего листа.

В это время подошел к ним Спиридов. С. Муравьев, отдавая ему сей лист, повторил сие мнение. Услышав оное, Спиридов начал поддерживать мнение Горбачевского, говоря, что сей способ совершенно не соображен с духом русского народа; что он не принесет никакой пользы, и что кто проникнут чувством религии, тот не станет употреблять столь священный предмет орудием для достижения какой-либо посторонней цели. Муравьев силился доказать Горбачевскому, что сие средство действовать на солдат есть самое надежное; Горбачевский же, напротив, утверждал, что оно, относительно русского солдата, есть совершенно бесполезно, и что ежели ему начнут доказывать Ветхим заветом, что не

надобно царя, то, с другой стороны, ему с малолетства твердят и будут доказывать Новым заветом, что идти против царя значит — идти против бога и религии, и — наконец — что никто не захочет входить в теологические споры с солдатами, которые совсем не в том положении, чтобы их понимать, и не те отношения между ними и офицерами.

Муравьев замолчал, положил бумагу в ящик и обратил разговор на другой предмет. Мы не будем здесь рассуждать, почему Муравьев полагал, что священным писанием можно привлечь к делу солдат и показать им, каким образом должны управляться народы; не будем также доказывать, ложно ли или справедливо было сие его мнение, но только скажем, что ни Горбачевский, ни Спиридов не только не приняли предложения С. Муравьева, но даже впоследствии оставили его без всякого внимания и не сообщали его своим товарищам, ибо наперед знали, что <они> будут противного мнения.

Во время разговора Горбачевского с Муравьевым Спиридов, Пестов и Бестужев-Рюмин спорили между собою. Бестужев вскричал:

— Членов много, но скажите, возьмется ли кто-нибудь из них нанести удар императору?

Пестов отвечал с удивлением:

— Я не понимаю вашего вопроса: мне кажется, что каждый, поклявшийся умереть за отечество, должен быть на все готов; он должен исполнить все, служащее ко благу отечества, лишь только оно будет признано необходимым.

При сих словах на лице Бестужева изобразилась радость: он, вместо всякого ответа, вынул из кармана список членов Славянского общества, подбежал к столу и, обращаясь к Пестову, Спиридову и Горбачевскому, сказал:

— Коль скоро так, то прошу на сем списке отметить имена славян, которые, по вашему мнению, готовы пожертвовать всем и одним ударом освободить Россию от тирана.

Очень хладнокровно и нимало не противореча, все три подошли к столу: Пестов назначил самого себя; Спиридов, кроме себя, еще Тютчева, Громницкого и Лисовского; Горбачевский — себя и двух братьев Борисовых, Бестужев-Рюмин сам назначил Бечасного и потом самого себя, Кузьмина, Соловьева и Сухинова.

Когда Горбачевский отмечал Борисова 2-го, Бестужев-Рюмин объявил неудовольствие и не хотел, чтобы он был назначен; Пестов и Горбачевский почли сие устранение оскорбительным и спросили причину оного.

— Он слишком холоден и неспособен к энтузиазму,— отвечал Бестужев,— и потому я почитаю его неспособным к этому решительному предприятию.

— Вы его не знаете,— отвечали они с негодованием, стараясь разрушить предубеждение Бестужева, который должен был наконец согласиться поместить Борисова 2-го в числе заговорщиков. Так он называл людей, которые назначались к отважному предприятию покуситься на жизнь государя.

Кончив сии назначения и не входя ни в какие предварительные рассуждения, Бестужев сказал:

— Заговорщики должны дать клятвенное обещание в неизменном исполнении возложенного на них поручения и до исполнения оного никому из членов Общества не открывать своего назначения, и даже никому не говорить о сей мере Южного общества.—Он первый поклялся исполнить сей обет и—как оказалось после—первый его нарушил, написавши к Пестелю и сказавши другим, что у него есть пятнадцать человек, готовых убить государя. Славяне поклялись, и не только никто из их сочленов не знал о сей мере Южного общества, не только никто не знал о существовании заговорщиков, но даже никто из них не слыхал, что 15 сентября вечером у Муравьева и Бестужева были Пестов, Спиридов и Горбачевский.

Таким образом кончилось замечательное и странное совещание. Описывая его подробно, со всею справедливостью и истиною, мы хотим показать, каким образом действовали С. Муравьев и Бестужев, чего они хотели и должно ли было им так поступать с людьми, которые не скрывали от них ничего и которые, один раз решившись на все, не подвергая обсуждению предложения Бестужева, хладнокровно и без всякого противоречия назначали себя в убийцы из одного убеждения, что сего требует цель общества и успех предприятия. Но между тем, Бестужев и Муравьев не заметили самого важного: от их внимания ускользнуло, что, действуя таким образом, они теряют доверенность, необходимую в столь важных случаях, и наводят на себя подозрения. Славяне ясно видели, что с ними обходятся неоткровенно и упот-

ребляют извороты, вовсе ненужные, чтобы получить от них согласие. Однако, несмотря на сие, имея всегда в виду только достижение цели, они согласились и молчали обо всем, единственно для того еще, чтобы не повредить успеху дела. Не менее того заговорщики с сей минуты еще более убедились в невыгодных мнениях на счет откровенности Муравьева и Бестужева, и — вообще — на счет дел их Общества.

Муравьев и Бестужев, прощаясь с Пестовым и Горбачевским, просили их сообщить о всем происходившем на сем совещании Борисову 2-му и желали, чтоб он непременно, до выхода из лагеря, с ними повидался. Борисов 2-й на другой день рано утром был у Муравьева и Бестужева (они вместе жили), которые сообщили ему, что он поступил в заговорщики, и взяли с него клятвенное обещание. В тот же день, т. е. 16 сентября, все полки и артиллерийские роты, бывшие в лагере, выступили на кантонир-квартиры.

9

Отрицательные черты Южного общества и Союза соединенных славян

Краткое описание сих происшествий Лещинского лагеря доказывает, сколь сильное влияние имело соединение двух Обществ на направление действий и будущую судьбу оных. Постараемся теперь означить, сколько возможно, отличительные черты каждого из этих Обществ. Сие сближение яснее покажет составные части и характер оных.

Члены Южного общества действовали, большею частию, в кругу высшего сословия людей; богатство, связи, чины и значительные должности считались как бы необходимым условием для вступления в Общество; они думали произвести переворот одною военною силою, без участия народа, не открывая даже предварительно тайны своих намерений ни офицерам, ни нижним чинам, из коих первых надеялись увлечь энтузиазмом и обещаниями, а последних — или теми же средствами, или — деньгами и угрозами *. Сверх того, так как члены Южного

* В справедливости сего мы могли бы привести множество примеров, но скажем главные, которые служат доказательством нашего мнения.

общества были, большею частью, люди зрелого возраста, занимавшие довольно значащие места и имевшие некоторый вес по гражданским отношениям, то для них было тягостно самое равенство их свободного соединения; привычка повелевать невольно брала верх и мешала повиноваться равному себе, и тем более препятствовала иметь доверенность в сношениях по Обществу с лицами, стоящими ниже их в гражданской иерархии.

Из происшествий Лещинского лагеря легко можно видеть, что С. Муравьев и Бестужев с трудом согласились, чтобы славяне действовали на солдат, и когда дали оное согласие, то не иначе как с ограничением, как-то: действовать медленно, косвенно. Мы смело утверждаем, чему все свидетели, бывшие в Лещине, что полковые командиры всегда говорили,— в том числе и С. Муравьев,— что они без всякого предварительного приготовления увлекут за собою солдат и офицеров. Сему служат <доказательством> самые резкие примеры.

Ни один полковой командир 9-й дивизии, 8-й гусарской и командир артиллерийской роты, никто из них никогда из своего полка не принял ни одного офицера в Общество (хотя в полках сих дивизий находилось много членов Общества из субалтерн-офицеров, но все они были приняты: или — славянами, или — Бестужевым-Рюминым). Муравьев не только не принимал в члены офицеров Черниговского полка, но даже не знал, что с ним служат офицеры, которые уже два года принадлежат к другому тайному обществу. Мнение, что можно увлечь с собою офицеров и солдат, было единственною причиною, которая заставляла С. Муравьева противиться, чтобы Черниговского полка офицеры не принимали никакого участия в совещаниях, бывших в Лещине, и сия же самая причина была удивлению Бестужева при первом совещании, когда он увидел там 9-й дивизии поручика Усовского. Черниговского полка офицеры прямо действовали на солдат, но о сем никогда не знал С. Муравьев; никогда сии офицеры не говорили ему о сем, ибо знали наперед, что он будет сему противиться. Вятского полка командир Пестель никогда не заботился об офицерах и угнетал самыми ужасными способами солдат, думая сим возбудить в них ненависть к правительству. Вышло совершенно противное. Солдаты были очень рады, когда его избавились и после его ареста они показали на него жалобы. Непонятно, как он не мог себе вообразить, что солдаты сие угнетение вовсе не отнесут к правительству, но к нему самому: они видели, что в других полках солдатам лучше, нежели им; следовательно, понимали и даже говорили, что сие угнетение не от правительства, а от полкового командира. Полковник Тизенгаузен всегда говорил, что для него довольно будет, если он, выстроивши полк, выкативши несколько бочек вина, выдавши несколько денег, вызвавши песенников вперед, крикнет: Ребята, за мной! — чтобы полк двинулся и действовал в смысле его.

Бригадный командир 3-й конной бригады подполковник Фролов и ротный командир 4-й конной роты капитан Пыхачев говорили то же самое, что и полковник Тизенгаузен, прибавляя еще к их словам, что он прикажет дать несколько кусков сала и кашицу и русские солдаты пойдут за ним. Бывший командир 27-й конно-артиллерийской роты подполковник Ентальцев однажды спросил у Горбачевского:

Славяне, напротив, в действиях своих руководствовались совершенно противоположными началами. Они требовали от своего сочлена, нимало не взирая на светские его отношения, старания стремиться к собственному усовершенствованию, презрения к предрассудкам и твердого и обдуманного желания полного во всем преобразования. Они были проникнуты обширностью своего плана и для приведения его в исполнение считали необходимым содействие всех сословий; в народе искали они помощи, без которой всякое изменение непрочно; собственным же своим положением убеждались, что частная воля, частное желание — ничтожны без сего всемощного двигателя в политическом мире.

Славяне, все без исключения люди молодые, пылкие, доверчивые и решительные, не могли ограничиваться одними желаниями: деятельность сделалась потребностью их души, жаждущей овладеть желаемым. Равенство и даже подчиненность в стремлении к общему делу не могли устрашить тех, которые еще не вкусили яда власти.

Однако, несмотря на разномыслие в средствах и образе действий, сии люди соединились и поклялись, жертвуя всем, достигнуть цели. Сближение сие, конечно, изменило несколько характер Васильковской управы, но не могло вполне пробудить ее от бездействия. Славяне же, укрепленные новыми силами, начали еще с большим рвением действовать на своих подчиненных. Плодом их действия было восстание Черниговского полка, которое составляет главный предмет нашего рассказа. Сила обстоятельств заставила, может быть, начать его ранее, нежели следовало, и надолго удалило Россию от того благоденствия, которое ей обещало сие благородное усилие людей истинно благомыслящих. Приступим к описанию сего незабвенного происшествия и, вместе с тем, изложим предварительно все содействовавшие оному обстоятельства. Пусть каждый оценит сие дело по совести, воспользуется ошибками первого опыта и почтит память погибших за святое дело.

— Зачем в 8-й артиллерийской бригаде объявили солдатам и фейерверкерам о замышляемом перевороте?

— Затем,— отвечал ему Горбачевский,— чтобы они знали, за что они будут сражаться, и поэтому быть совершенно убеждену в их содействии и усердии, и быть уверену всякую минуту в готовности их к восстанию.

— Этого никогда не должно делать: я бы свою роту, если б она за мной не пошла, погнал бы палкою,— возразил Ентальцев.

II. ВОССТАНИЕ ЧЕРНИГОВСКОГО ПОЛКА

1

Агитация славян среди солдат.— В конце октября Горбачевский и Борисов 2-й посылают с Андреевичем 2-м в Киев Бестужеву письмо о подготовке восстания.— Известие о смерти Александра I.— Присяга Константину и происшествия в Черниговском полку при ее совершении

Немедленно по возвращении из Лещинского лагеря на зимние квартиры славяне, горевшие нетерпением достигнуть желаемой цели, начали распространять свои мысли между нижними чинами. В 9-й дивизии офицеры Черниговского полка еще во время лагеря действовали на солдат; прибыв на квартиры, они усилили свои действия и неослабимо, с величайшею ревностию приготовляли своих подчиненных — будущих сподвижников великого дела. В полках 8-й дивизии члены Общества также не оставались праздными и всеми способами стремились к избранной цели; но можно положительно сказать, что никто из них не действовал смелее и решительнее артиллеристов 8-й бригады. Они употребляли все возможные усилия к приготовлению своих подчиненных, старались как бы слиться с ними, породнить их со своими мыслями и желаниями: они даже открыли им все свои намерения, и когда поверяли им свои надежды, в сем случае славяне Черниговского полка и 8-й бригады переступили, может быть, границы благоразумия, но, к их счастию и к чести русских, между нижними чинами не нашлось ни одного изменника. За доверенность своих офицеров они платили скромностью и верностью, слушали пылких славян со вниманием, любопытством, хотя и не без удивления; некоторые из них даже клялись следовать всюду за добрыми, как они говорили, офицерами, и если нужно — умереть вместе с ними. Какое-то темное желание изменить существующий порядок вещей волновало их ум и сердце; настоящее положение было им тягостно; они хотели перемены, но какой? — Они в том не могли себе сначала дать ясного отчета.

В конце октября месяца командирован был начальством Андреевич 2-й в Киевский арсенал для черчения

планов *. Горбачевский послал с ним письмо к Бестужеву, где описывал действия славян на нижних чинов, готовность их к восстанию и принятие новых членов. В сем письме успехи славян нисколько не были преувеличены: они желали чистосердечно переворота, потому действовали смело и были уверены в скором исполнении их желаний. Тут же было приложено мнение Петра Борисова относительно приготовления артиллерии и переделки снарядов: он предлагал управляющим Обществами найти способы внушить начальству чрез кого-нибудь из близких к оному мысль об отдании приказа по корпусу на счет осмотра и переделки всех вообще зарядов и полагал необходимым привести сию меру в действие, по крайней мере, в тех ротах артиллерии, где находятся члены Общества **.

Среди сих занятий и приготовлений получено было известие о внезапной смерти Александра I. Сие неожиданное происшествие призывало к немедленному восстанию; различные чувства волновали сердца, ожидания, надежды приводили умы в движение, но все было спокойно.

В начале декабря военные и гражданские чиновники получили повеление приступить к присяге новому императору — Константину. Славяне присягали с неудовольствием и, пользуясь сим случаем, старались внушить своим подчиненным недоверенность к правительству и представить сию присягу как обстоятельство, вынужденное насилием, от которого каждый может освободиться при первом благоприятном случае без малейшего упрека совести.

В Черниговском полку сами обстоятельства помогали офицерам действовать на солдат в сем смысле. Командир сего полка подполковник Гебель, не соображаясь нисколько с духом времени, ни с важностью присяги, по-

* После лагеря Андреевич был переведен из 2-й легкой роты в 1-ю батарейную 8-й же бригады.

** В артиллерийские роты для практических занятий порох и снаряды принимались всякий год в Киеве и расходовались во время лагеря. Между тем, по небрежению ротных командиров, заряды, находящиеся в ящиках, никогда не переменялись. Это делалось почти везде, и Борисов, будучи в сражении против горцев с бригадою, которая перешла на Кавказ из первой армии и пошла тотчас в действие, не успев переменить и осмотреть снарядов и будучи свидетелем неудачного действия гранат, брандскугелей и картечи, боялся, чтобы сего не случилось и при восстании.

ступил, как обыкновенно поступают наши должностные люди, по мнению коих все искусство в управлении состоит в том, чтобы сбыть с рук скорее дело. Пользуясь сбором полка для присяги, он вздумал привести в исполнение сентенцию главнокомандующего 1-й армиею над двумя рядовыми, приговоренными за грабительство к позорному наказанию кнутом и ссылке в каторжную работу. Таким образом, в один и тот же час по его распоряжению было исполнено два повеления, разительно противуположные одно другому. Солдаты знали, что они собраны для присяги, и не могли не удивиться, услышав чтение сентенции и вид приготовления к постыдному наказанию виновных их товарищей. При самом начале чтения в рядах слышан был глухой ропот, который вскоре превратился в явное изъявление негодования. Сей поступок полкового командира убеждал солдат в его злобе и недоброжелательстве: они думали, что он мог бы избавить их товарищей от жестокого наказания, зная, что при восшествии на престол нового государя самые ужасные злодеи получают смягчение наказания *. Офицеры, пораженные сим неблагоразумным распоряжением, жаловались вслух, при солдатах, на неуместную жестокость правительства, выражали явно свою ненависть к деспоту, к исполнителям его воли и, не желая быть свидетелями сего позорища, оставили свои места. Сие торжество человеколюбия пред военною дисциплиною сильно подействовало на солдат; казалось, они ожидали только слова, чтобы следовать примеру своих офицеров. Нечаянный случай выразил сей порыв. Сергей Муравьев, человек чувствительный по своему высокому и благородному характеру, чуждый всякой жестокости, был поражен воплем жертв, терзаемых бесчеловечно свирепым палачом. Напрасно он делал усилия казаться спокойным: не будучи в состоянии выдержать сильных потрясений души, производимых сим отвратительным зрелищем, он лишился чувств и пал замертво. Офицеры и солдаты, увидя сие, все без исключения, забыв военную дисциплину, забыв присутствие строгого Гебеля, бросились к Муравьеву на помощь. Строй пришел в совершенный беспорядок, солдаты собрались в кучу около лежавшего

---

* Сии несчастные солдаты, будучи пьяны, отлучились от полка и в 3 верстах от штаба отняли у мужика 2 руб. сер. Конечно, они виноваты, но в сем случае такая строгость хуже всякого послабления.

без чувств С. Муравьева и старались возвратить его к жизни. Ни командные слова, ни угрозы не могли привести их к послушанию и восстановить порядок.

Происшествие сие еще более привязало солдат Черниговского полка к их офицерам и особенно к Муравьеву; в его чувствительности они видели доказательство его человеколюбия и участия к бедственному жребию русского солдата, неограждённого никакими законами от самовластия последнего офицера; они чувствовали, что он для их собственного добра желает перемены их положения. Увлеченные гневом, они осыпали проклятиями полкового командира, правительство, и сей случай заронил в их сердце искру мщения. Присяга новому императору, произнесенная сейчас после сей ужасной экзекуции, не могла быть чистосердечна; умы и сердца были поражены жестокостью наказания и не могли вознестись к престолу вечного с обещанием умереть за...

2

23 декабря известия в Черниговском полку о событиях 14 декабря.— Отъезд С. Муравьева 24 декабря в Житомир.— Сборы Бестужева в Петербург.— 25 декабря присяга Николаю.— Прибытие жандармов для ареста Муравьева.— Выезд Бестужева в Житомир для предупреждения Муравьева.— Приезд в Васильков Андреевича 2-го

За два дня до рождества христова в Черниговском полку узнали о происшествии 14 декабря. На другой день поутру С. Муравьев объявил славянам, что он поедет в Житомир и скоро возвратится. Целью сей поездки, по его словам, было намерение испросить у корпусного командира отпуск Бестужеву-Рюмину в С.-Петербург. Нам неизвестно, зачем Бестужев должен был ехать в столицу: мы только можем сказать, что он, незадолго перед сим, писал Горбачевскому и Спиридову и приглашал их приехать к 15-му января 1826 года в Киев, вместе с Борисовым 2-м и Тютчевым. Накануне отъезда С. Муравьева Бестужев-Рюмин просил Кузьмина приготовиться в дорогу и сказать об этом Соловьеву, Сухинову и Щепилле:

— Вы все поедете,— говорил он,— со мною в Киев, а оттуда в С.-Петербург *. По сим данным невозможно

* Муравьев прежде сам хотел ехать в Петербург с сими офицерами, но, как видно, отложил сие намерение.

сделать никакого заключения и весьма трудно решить, зачем Бестужев приглашал их в Киев к назначенному сроку. Вечером того же дня, вскоре после отъезда С. Муравьева (24 декабря), ротные командиры Черниговского полка получили от полкового командира повеление собрать роты в полковой штаб для присяги новому императору Николаю I. Услыша о сем повелении, славяне сейчас согласились собрать свои роты в полной походной и боевой амуниции, намереваясь воспользоваться случаем и, не ожидая приезда Муравьева из Житомира, возмутить полк и идти прямо на Киев, где Муравьев, услыша о сем, мог соединиться с ними. Сию мысль подало им известие о неудачном происшествии 14 декабря в С.-Петербурге. Зная несчастные следствия оного, они хотели произвесть новое восстание на юге и тем спасти тайное общество от конечной гибели.

Рано поутру, 25 декабря, когда все роты Черниговского полка собрались в Васильков, члены Славянского общества поколебались в своем намерении; они не знали, на что решиться: начать ли действовать или ожидать возвращения С. Муравьева.

— Что мы будем делать,— говорили некоторые из них,— если, по приходе нашем в Киев, мы не найдем ни одного из членов, желающих разделить с нами опасность восстания, и если по каким-либо непредвиденным обстоятельствам Муравьев будет задержан в Житомире и не прибудет к нам? Наше восстание, начатое без ведома и согласия главных членов Общества, не повредит ли общему делу и не расстроит ли планов, составленных ими? Сие рассуждение остановило бурный порыв нетерпеливых славян и, после долгого совещания, они почли нужным, наконец, отложить свое предприятие и спокойно ожидать возвращения С. Муравьева *.

Того же дня в 10 часов утра был совершен обряд присяги **. Солдаты произносили обещание с отвраще-

* Офицеры говорили впоследствии о сем Муравьеву: он очень жалел, что они тотчас не исполнили.

** Рано поутру ротные командиры — Соловьев и Щепилло, пришли к полковому командиру с рапортом о прибытии их рот в штаб. Когда они явились, подполковник Гебель спросил у них, между разговорами, знают ли они причину требования в штаб? Соловьев отвечал, что он слышал, будто бы присягать новому государю. Гебель сие подтвердил, прибавляя, что он боится, чтобы при сем случае не было переворота в России,— и при сих словах заплакал. Соловьев отвечал с улыбкой, что всякий переворот всегда бывает к лучшему и что даже желать должно. Ох, боюсь,— сказал, закрыв руками лицо,

нием; некоторые из них стояли с мрачным и неподвижным взором, в глубоком молчании, и не только не повторяли слов священника, но даже не слушали оных, а офицеры показывали явно нетерпение и негодование, были совершенно невнимательны к сему обряду, и многие из них даже не поднимали руки, как это бывает при подобных случаях. Глухой ропот в рядах сопровождал почти каждое слово священника.

— Сколько будет этих присяг? — говорили иные.

— Бог знает,— отвечали другие,— это ни на что не похоже; сегодня присягай одному, завтра другому, а там, может быть, и третьему.

Неудовольствие, досада изображались во всех движениях и показывали сильное брожение умов, казалось, что все ожидали чего-то необыкновенного и желали быть свидетелями совершения оного. Гебель все сие видел, но старался скрыть свое неудовольствие от своих подчиненных и произносил клятвенное обещание с особенным благоговением и усердием, как бы желая тем пробудить в сердцах угасшую их преданность к царственному дому.

Тотчас по окончании присяги полк был распущен по квартирам. Члены Общества, по принятому ими намерению, остались в Василькове и, отпустив свои роты в деревни, приказали им по первому приказу явиться в полной боевой и походной амуниции туда, куда потребуют их ротные начальники *.

Гебель, как будто предчувствуя то, что с ним случится. Соловьев начал шутить, Гебель — плакать, а Щепилло, который был характера вспыльчивого и нетерпеливого, ненавидел Гебеля за его дурные поступки, дрожал от злости, сердился и едва мог удерживать свою досаду. Соловьев рассказывает, что из этого вышла пресмешная и оригинальная сцена.

* Читая сии намерения членов Славянского общества и их распоряжения, нельзя не убедиться, как важно для всякого Общества, которое хочет действовать военною силою, иметь в нем ротных командиров и субалтерн-офицеров, и как важно заранее объявить свое намерение солдатам. Спрашивается: кто бы осмелился приказывать ротам явиться в походной амуниции к присяге и, пришедши в штаб, скрыть оное от всех? Кто бы осмелился отдавать приказания ротам являться с боевыми патронами туда, куда потребует ротный командир? Можно ли отдавать такие приказания таким солдатам, которые не знают намерений ротного командира? Вопросы сии сами собою решаются. Но мы еще прибавим, что одни офицеры в состоянии сие сделать, и притом таким образом, что ни батальонный, ни полковой командир никогда о сем не могут знать. Этому пример — Черниговский полк.

Вечером, по случаю полкового праздника, приглашены были к полковнику Гебелю на бал все офицеры, городские жители и знакомые помещики с их семействами. Собрание было довольно многочисленное; хозяин всеми силами содействовал к увеселению гостей, а гости старались отблагодарить его радушие, веселились от чистого сердца и танцевали, как говорится в тех местах, до упаду. Музыка не умолкала ни на минуту; дамы и кавалеры кружились беспрестанно в вихре танцев; даже пожилые люди принимали участие в забавах, опасаясь казаться невеселыми. Одним словом — веселиться и веселиться искренно было общим желанием, законом собрания; время летело быстрее молнии. Вдруг растворилась дверь в залу и вошли два жандармских офицера: поручик Несмеянов и прапорщик Скоков. Мгновенно удовольствия были прерваны, все собрание обратило на них взоры, веселие превратилось в неизъяснимую мрачность; все глядели друг на друга безмолвно, жандармы навели на всех трепет. Один из них подошел к Гебелю, спросил его, он ли командир Черниговского полка, и, получа от него утвердительный ответ, сказал ему:

— Я к вам имею важные бумаги.

Гебель тотчас удалился с ним в кабинет.— Тут начались вопросы, предположения, беспокойства; одни члены Славянского общества сейчас поняли, что ударил час общей для них гибели.

Все открыто,— думали они про себя. Сегодня арестуют одного, завтра другого; надобно на что-нибудь решиться.

Через несколько минут Гебель, в сопровождении жандармских офицеров, возвратился в залу и, не сказав никому ни слова, вышел, сел в те же самые сани, в которых приехали Несмеянов и Скоков, и вместе с ними поскакал на квартиру С. Муравьева *.

В это время Бестужев-Рюмин находился в Василькове и жил с Башмаковым на квартире Муравьева. Было довольно поздно: они уже спали. Никто из членов, бывших у Гебеля, не мог их уведомить о нечаянном появлении жандармов; отдаленное расстояние

* Сии жандармские офицеры посланы были из главной квартиры 1-й армии: один приехал, чтобы арестовать С. Муравьева, другой — брата его Матвея.

и быстрое действие Гебеля не позволили предварить их, и они узнали о нем только тогда, когда, разбуженные стуком и требованием огня, увидели перед собою командира Черниговского полка, сопровождаемого жандармами, которые прямо вошли в кабинет Муравьева и, не сказав ни одного слова, взяли все бумаги, там находящиеся. Кончив свое дело, они помчались по житомирской дороге. Бестужев-Рюмин и Башмаков, пораженные сим явлением, оставались несколько минут в недоумении, из коего были выведены пришедшими славянами, которые, полагая, наверное, что жандармы привезли повеление арестовать Муравьева, оставили тотчас дом Гебеля и побежали в разные места города, чтобы собрать хоть несколько солдат и захватить Гебеля, вместе с жандармами; но, не найдя солдат, которые до одного разошлись по деревням, они поспешили к Бестужеву и просили его скакать в ту же минуту вслед за Гебелем, стараясь обогнать его и уведомить Муравьева об угрожающей ему и всему Обществу опасности, говоря, что, между тем, они займутся приготовлением к восстанию.

Бестужев-Рюмин не ожидал повторения, взял лошадей и полетел. Он так скоро ехал, что обогнал на дороге Гебеля, был четвертью часа на первой станции прежде его и поскакал далее.

Отправив Бестужева, офицеры Черниговского полка решились в Василькове ожидать возвращения С. Муравьева, и если он будет арестован на дороге, непременно поднять полк и идти на Киев, не заботясь, какой конец будет иметь сие действие. Однако ж, не взирая на сию твердую решительность пасть первыми жертвами свободы, их положение было весьма тягостно. Окруженные неизвестностью, мучимые желаниями, они терзались в догадках и предположениях, и почти не покидали квартиры Муравьева, ожидая его возвращения, 24 декабря, когда, по обыкновению, они там находились и беседовали о будущем, стараясь забыть настоящее, неожиданно явился 8-й бригады подпоручик Андреевич 2-й. Черниговцы обрадовались. Андреевич, войдя в комнату, спросил: Где Муравьев?

— Мы не знаем, где он и что с ним делается,— отвечали славяне. Тут рассказали они Андреевичу в коротких словах о всем случившемся 25 декабря, и по-

требовали, чтобы он немедленно ехал по следам Муравьева и старался отыскать его; чтобы он просил его остаться в 8-й дивизии в каком-нибудь гусарском полку и там поднять знамя бунта. Они поручили Андреевичу успокоить его на счет их, ибо коль скоро они узнают о восстании, то немедленно взбунтуют Черниговский полк и придут на сборное место. Сверх того они сказали Андреевичу, чтобы он известил всех известных ему членов, как Южного, так и Славянского Обществ о начале восстания, и, наконец, если Муравьев арестован, то, чтобы он старался побудить других членов к действию и к освобождению арестованного, и что сами они ожидают от него уведомления об успехе его предприятия. Андреевич не делал никаких возражений: предложение черниговских офицеров ему понравилось; он тотчас согласился исполнить его со всевозможною ревностию. Ему дали казенную подорожную на имя Александрийского гусарского полка поручика Сухинова, а Кузьмин снабдил его деньгами на прогоны. Андреевич, ни минуты не медля, поскакал по дороге к Житомиру *.

3

Движение в 8-й артиллерийской бригаде.— Совещание Андреевича, Бечаснова, Борисова и Горбачевского ночью 20 декабря в Барановке.— Пункты о подготовке и начале выступления.— Артиллеристы открываются фейерверкерам.— Брожение в городе и среди солдат.— Отъезд Андреевича 23 декабря

Теперь оставим на время Черниговский полк и бросим взгляд на движения, происходившие в то же самое время в других местах: это отступление необходимо для обозрения общего хода дела; мы часто будем пере-

* Торопливость, с какою отправили Андреевича, была так велика, что никто даже не вздумал спросить у него, зачем он приезжал в Васильков.— Черниговского полка поручик Сухинов был еще в начале ноября месяца 1825 года переведен в Александрийский гусарский полк и в том же месяце получил от полка повеление отправиться куда следует, но, несмотря на все угрозы начальства, которое побуждало его ехать в гусарский полк, Сухинов не выезжал из Черниговского полка, единственно дожидая восстания оного.

носить нашего читателя из одного места в другое, прерывать начатый рассказ и начинать новый.

После присяги Константину славяне 8-й дивизии, 8-й артиллерийской бригады не имели никакого известия — ни от Муравьева, ни от Бестужева. Несмотря на сие, члены неусыпно старались приготовлять солдат, хотя план восстания, назначенный на Лещинских совещаниях к концу 1826 года,— расстраивался смертью Александра I, но они думали, что распространение мыслей и желание переворота не может вредить общей цели. 20 декабря Борисов 2-й был у Горбачевского, и когда они рассуждали о своих действиях на солдат, один фейерверкер принес Горбачевскому письмо от Андреевича, в котором он иносказательно изъяснял, сколько Бестужев радуется успехам славян в их действиях и... о близком начале желаемого переворота. Еще не было прочтено письмо, как, к удивлению их, Андреевич сам вошел в комнату в дорожном платье. Радость их была неимоверная. Он подал им письмо от Бестужева. Из сего письма они увидели, что главные члены Южного общества почитают необходимым начать действие ранее положенного времени; Бестужев просил славян ускорить дело и употребить все усилия к приготовлению нижних чинов. «Нам представляется случай ранее, нежели мы думали, умереть со славою за свободу отечества,— писал он к Горбачевскому,— может быть в феврале или марте месяце,— голос родины соберет нас вокруг хоругви свободы». В сем же письме Бестужев просил Горбачевского, вместе с Борисовым 2-м, приехать к 15 января 1826 года в г. Киев. Известие сие чрезвычайно ободрило славян. Горбачевский тотчас уведомил Бечаснова о приезде Андреевича и просил его приехать к нему. Славяне провели всю ночь в совещаниях; разбирали возможность скорого восстания; приискивали средства к приведению сего дела в исполнение и, наконец, положили: ускорить свои действия, объявить фейерверкерам и рядовым о близости переворота, стараться укрепить их дух и усугубить деятельность. Они поручили Андреевичу изъяснить словесно Бестужеву то, что они считали необходимым для поднятия артиллерийских рот 8-й бригады. Борисов 2-й, с общего согласия, написал памятную записку и вручил ее Андреевичу. Сия записка заключалась в следующих семи пунктах, на которые Андреевич дол-

жен был требовать разрешения от Муравьева и Бестужева:

1. Артиллерия не может выступить в поход и действовать без прикрытия; посему необходимо снестись с Спиридовым, Арт. Муравьевым, и требовать, чтобы они прислали в 8-ю артиллерийскую бригаду: первый — пехоту, а второй — гусар.

2. В батарейной роте состоит налицо один только офицер (прочие в командировке), принадлежащий к Обществу, и рота находится в городе, где квартирует бригадный командир, который, в случае восстания, может получить содействие от внутренней стражи. Посему, для надлежащего действия в сей роте нужна значительная часть пехоты и кавалерии, без коей фейерверкеры и рядовые, вооруженные только тесаками, несмотря на их готовность и рвение к делу, не могут одни обещать успеха, тем более, что артиллерийские лошади стоят в 45 верстах от парка.

3. Во 2-й легкой роте не существует сих затруднений, к восстанию она совершенно готова и требует только прикрытия на походе.

4. Из четырех орудий, остающихся в каждой роте за неимением лошадей (роты состояли на мирном положении), славяне намерены сформировать новую батарею; лошадей надеются найти под квитанцию одного из своих сочленов, а прислугу думают взять из 4-й парочной роты, полагаясь вполне на служащих в ней солдат.

5. Немедленно по восстании славяне полагают необходимым объявить скорое освобождение крестьян.

6. Славяне хотят, посредством поляков, состоящих в их Обществе, действовать на шляхту и склонить ее к участию в общем деле объявлением всеобщего восстания (pospolite ruszenie).

Наконец, 7. Славяне требуют от Муравьева и Бестужева немедленного уведомления о сделанных ими распоряжениях, заблаговременного извещения о дне восстания с означением сборного пункта, где предполагается сосредоточить все силы, поднявшие оружие против правительства.

На другой день Горбачевский и трое его товарищей виделись с фейерверкерами двух рот 8-й бригады и, со-

гласно с принятым решением, сообщили им о полученных из Киева известиях и о мерах к дальнейшему действию. Это не удивило фейерверкеров: они, кажется, заранее были на все готовы, но нечаянный приезд Андреевича из Киева без дозволения начальства сильно подействовал на умы солдат и произвел глубокое впечатление, благоприятное намерениям славян. Через два дня Андреевич оставил 8-ю бригаду и возвратился в Киев, откуда 24 декабря отправился в Васильков к Муравьеву, которого, как мы видели выше, не найдя дома, поехал отыскивать после минутного свидания с офицерами Черниговского полка.

Приезд Андреевича еще более сблизил славян с их подчиненными. Доверенность возрастала с каждым днем, и некоторые фейерверкеры сделались настоящими членами тайного общества. Офицеры не пренебрегали их беседами и, напротив, старались всеми средствами облагородить чувства своих подчиненных, возвысить их в собственных их глазах и тем пробудить в их сердцах желание свободы. Все содействовало их намерениям: неожиданное отречение от престола Константина и присяга новому императору Николаю и его наследнику. Сии происшествия поселили в умах неизвестность и сомнение, весьма споспешествующее замышляемому перевороту. Члены Общества пользовались сими важными событиями для ускорения своего дела. Между всеми сословиями начали распространяться разные слухи о перемене существующего порядка. Один из фейерверкеров, преданных Борисову 2-му, сообщил, что городской голова, мещанин, уважаемый всем городом, разговаривая с ним о смерти Александра, явно обнаружил свои надежды на лучшую будущность и намекал о близком перевороте, которого желают многие. По словам сего же фейерверкера, многие унтер-офицеры и солдаты Саратовского полка, ночевавшие в городе, изъявляли готовность действовать и упоминали о каком-то штаб-офицере, который поддерживал эти чувства и давал им понять, что улучшение их положения находится в собственных их руках и что от них самих зависит терпеть притеснения или прекратить оные. Подобные слухи и разговоры нижних чинов сильно помогали действиям славян, коих дела приметно улучшились.

4

26 декбря в 8-й бригаде узнают о происшествии 14 декабря.— Поездка Борисова 2-го в Житомир 30 декабря.— Совещание в Житомире; решение начать восстание.— Борисов 1-й привозит в 8-ю бригаду известие о погоне за Муравьевым и о решении, принятом славянами в Житомире.— Артиллеристы 8-й бригады решают начать действия.— Борисов 1-й отправляется в Пензенский полк для призыва к началу мятежа.— Возвращение его и отъезд в Киев.— Весть о восстании Муравьева.— Надежды

14 декабря неожиданно приехал в Новоград-Волынск, из Харьковской губернии, Борисов 1-й. Узнав из письма своего брата о знакомстве его с Муравьевым и Бестужевым, он отправился в Киев с намерением повидаться с ними; но, не застав там ни Муравьева, ни Бестужева, он приехал к брату. Приезд Борисова 1-го обрадовал не только его брата, но и других славян: они с удовольствием узнали о намерении его вступить опять в военную службу и определиться в одну конную роту, стоявшую в Украине.

26 декабря, поутру, известие, полученное о происшествии 14 декабря, заставило славян собраться для совещания; они убедились в скором восстании, думая, что члены Южного общества пожелают завершить начатое в столице. На сем совещании положили: держать своих подчиненных в строгой дисциплине, стараться предупреждать беспорядки, обходиться с жителями как можно лучше, тотчас по восстании образовать в городе временное правление и выдать прокламации об освобождении крепостных людей; между тем, в ожидании положительного известия от Муравьева, приготовлять солдат и офицеров, на которых совершенно можно было положиться. Борисов 1-й вызвался ехать немедленно в Харьковскую губернию и приготовить к восстанию конные роты, в коих было несколько офицеров, принятых им в Славянское общество; проезжая же Житомир, он хотел объявить находящимся там славянам о мерах, принятых в 8-й бригаде. Вследствие сего плана, Борисов 1-й отправился 30 декабря из Новоград-Волынска в Житомир, но обстоятельства изменили все предположения. В Житомире при свидании с Ивановым и Киреевым он узнал о повелении арестовать С. Муравьева, о погоне за ним подполковника Гебеля, Бестужева, и проезде Андреевича через Жито-

мир, который тоже поскакал догонять С. Муравьева. Борисов 1-й сейчас предложил всем членам собраться и положить, что должно делать в сих затруднительных обстоятельствах? Члены тайного общества, находившиеся тогда в Житомире, без отлагательства съехались к Веденяпину 2-му. На сем совещании были: Иванов, Веденяпин 1-й, Веденяпин 2-й, Киреев, Андреев, Нащокин и некоторые другие. Борисов 1-й предложил им восстать немедленно, стараться освободить Муравьева, если он арестован, и действовать по обстоятельствам, сообразно с планом, принятым артиллеристами 8-й бригады, который состоял в том, чтобы идти на Киев или на Бобруйск, запереться в которой-нибудь из сих крепостей и ожидать присоединения 2-й армии и полков 3-го и 4-го пехотных корпусов, на содействие коих можно было надеяться, по уверениям членов Южного общества. Конной роты поручик Нащокин, принятый в Общество Бестужевым-Рюминым, противился сему предложению, почитая такого рода восстание безрассудным поступком, внушенным отчаянием.

— Мы должны погибнуть,— возразил Борисов 1-й,— погибнуть позорно; нашему выбору представляется или смерть, или заточение. Мне кажется лучше умереть с оружием в руках, нежели жить целую жизнь в железах.

Сие мнение одержало верх; все согласились с Борисовым 1-м.

— Я еду обратно в 8-ю бригаду, и там положим начало мятежу, но дайте мне письменное доказательство, что вы будете содействовать моему брату и тем, которые согласятся погибнуть вместе с нами.

Сего не приняли, а удовольствовались тем, что Иванов написал две записки: одну к Горбачевскому — о готовности житомирских членов действовать, а другую — к двум ротным командирам Троицкого полка, коих он приглашал участвовать в восстании. Киреев также написал письмо к Борисову 2-му, исполненное рвения к благому делу и совершенною надеждою на несомненные успехи.

Борисов 1-й поспешил отъездом и, к удивлению своего брата и Горбачевского, был уже снова в Новоград-Волынске. Узнав о происшедшем в Житомире, Борисов

2-й и его товарищи решились немедленно начать действие, не ожидая уведомления С. Муравьева, и стараться увлечь за собою все, что только показывало склонность к мятежу. Они просили Борисова 1-го ехать в Пензенский полк и, если можно, оттудова уведомить членов Саратовского полка, лично или письменно, смотря по обстоятельствам.

Между тем как искали лошадей для Борисова 1-го, брат его написал к Громницкому, Тютчеву и Лисовскому письмо в весьма сильных выражениях, напомнил им обещанные узы, их соединяющие; клятву, данную Южному обществу, общую опасность, законы чести, одним словом — все, что только могло пробудить в них самоотвержение и решить трудный выбор между смертью и позором. Письмо сие он вручил брату, который должен был доставить его лично, равно как и к Спиридову записку от Горбачевского.

В это самое время отставной поручик Креницкий, принимавший во всем деятельное участие, привел к Борисову 2-му четырех поляков, присоединенных им к Славянскому обществу и давших клятвенное обещание действовать и погибнуть вместе с артиллеристами за общее дело. Борисов 2-й написал письмо к юнкеру Головинскому, служившему в 4-й парочной роте, квартировавшей тогда в Овручском уезде (в Некорости): он просил помянутого члена приготовить к восстанию солдат и убедить своего брата, занимавшего должность поветового маршала, содействовать им по возможности и, наконец, стараться узнать мнение шляхты Овручского повета и, если можно, склонить их к участию в деле. Славяне думали во время восстания послать Киреева из Житомира в парочную роту для окончательного действия на солдат, которые могли быть полезны 8-й бригаде. С сим письмом к Головинскому двое поляков отправились в Овруч, взяв на себя обязанность действовать там на шляхту; третий поехал в Заслав с тем, чтобы узнать расположение тамошних полков, действовать на них и — при первом известии о начале восстания — поднять оружие. Четвертый из них остался в Новоград-Волынске, при Борисове 2-м, надеясь иметь некоторое влияние на шляхту, живущую в окрестностях сего города.

Славяне были в большом беспокойстве, видя невозможность вдруг отправить Борисова 1-го в Старый Константинов: они не могли найти наемных лошадей; почтовых же никому не давали, даже по подорожной, без особенного дозволения местного начальства. У евреев был праздник, и никто из них не хотел нарушить закон. По сим обстоятельствам Борисов 1-й выехал из Новоград-Волынска уже поздно вечером 1 января. На другой день неизвестный еврей доставил Борисову 2-му записку из местечка Полонного <?> от его брата, в коей было сказано, что Ахтырский полк собирается в штаб-квартиру м. Любар; что артиллерия второй армии и Литовский корпус, квартирующие в Полонном <?>, находятся уже в сборе и что везде замечается движение войск.

Надежда возбудилась в сердцах славян. В таком положении дел им невозможно было соблюдать правил, принятых на лещинских совещаниях. Точное исполнение оных было бы даже безрассудно; посему они немедленно уведомили фейерверкеров и рядовых о всех сих происшествиях, о своем намерении восстать, о надежде на пособие других и особенно от С. Муравьева, и о непременном прибытии к ним Пензенского полка и Ахтырских гусаров. Они препоручили им действовать на остальных своих товарищей и приготовляться к походу. Борисов 2-й говорил явно двум офицерам, что он ожидает переворота, и приглашал их принять в нем участие, представляя опасность противиться или оставаться равнодушным во время восстания. Сии офицеры дали слово действовать.

Борисов 1-й, возвращаясь из Старого Константинова, заехал в Барановку к Горбачевскому и Бечаснову и сказал им, что он виделся с Тютчевым, Громницким и Лисовским, которые готовы действовать, но отсоветовали ему ехать к Спиридову, говоря, что они сами сообщат майору свои намерения. Борисов прежде сего не был знаком с офицерами Пензенского полка. Он видел из их слов, что они как будто не доверяют Спиридову, которого он тоже никогда не видал. Надеясь, что они исполнят свое обещание, он уехал от них. Горбачевский и Бечаснов советовали Борисову 1-му ехать из Барановки прямо домой, не подвергаться опасности быть заранее арестованным в Новоград-Волынске или где-нибудь на дороге, и взялись уведомить о всем его бра-

та. Борисов 1-й охотно согласился, тем более, что считал свое присутствие в 8-й бригаде совершенно ненужным, между тем как надеялся в конных работах возбудить офицеров к участию в общем деле. Кроме того, он намеревался обо всем происходившем в 8-й дивизии уведомить киевских членов и, если можно, сделать там что-нибудь в пользу восстания, смотря по ходу обстоятельств.

Борисов отправился вечером 5-го числа проселочными дорогами в Житомир. Город был окружен военною цепью: он отпустил извозчика и пешком прошел заставу. Тут сообщил он Киреееву и Иванову, в каком положении находятся дела Общества. Ему нужно было продолжать путь, и хотя трудно было выехать из Житомира, но ему удалось обмануть бдительность местного начальства. Еще до его приезда в Житомир монахини католического ордена сестер милосердия предлагали некоторым членам Общества скрыть их от поисков правительства и вывести за границу. Андрей Борисов отказался от предложения и просил только доставить ему случай выехать из города. Желание его было немедленно исполнено, и он отправился в Киев. В сем странствовании на каждом шагу встречал новые опасности, которые, однако ж, миновал довольно счастливо.

6 января Борисов 2-й узнал о восстании С. Муравьева, а 7-го получил, чрез еврея из-под Житомира, от его брата записку следующего содержания: «Я сделал все, что мог; Громницкий, Лисовский и Тютчев готовы на все: ожидайте их. К вам будет скоро если не весь Пензенский полк, то, по крайней мере, батальон. Они послали при мне за патронами. Прощай. Еду в конные роты к знакомым».

Борисов 2-й и его товарищи были уверены в скором прибытии Пензенского полка и ахтырских гусаров и старались приготовить все нужное к походу. Между тем как они упивались надеждою и мечтали, судьба готовила им страшное разочарование; гроза носилась над их головами, покоящимися под сению доверенности и ожидания.

Оставим их в сем сладком заблуждении, возвратимся назад и посмотрим, что делалось в Старом Константинове и Любаре.

5

Приезд Борисова 1-го в Пензенский полк.— Совещание 3 января в Старом Контантинове.— Колебания и несогласия офицеров.— Выход Тютчева 7 января с ротою в Житомир для занятия караулов.— Движение в Саратовском полку.— Известие о поражении Муравьева.— Вредное влияние на ход восстания нерешительности Муравьева и Бестужева

Борисов 1-й приехал в 11-м часу ночи со 2 на 3 января в Старый Константинов, прямо к Громницкому и Лисовскому, которые жили вместе. Рассказав, в коротких словах, все ему известное и отдав им письмо от брата, он просил их немедленной помощи; будучи уверен, что движение гусарских полков производится в революционном смысле, по планам членов Южного общества, Борисов 1-й говорил пензенским офицерам утвердительно, что восстание уже начато в 3-й гусарской дивизии и, вероятно, в Черниговском полку, где служил С. Муравьев. В последнем он не ошибся. Громницкий и Лисовский изъявили согласие на все меры, принятые артиллеристами, попросили Борисова 1-го ехать к капитану Тютчеву, квартировавшему со своей ротой в 10 верстах от города, в деревне Кузьмине, говоря, что вперед согласны на все, что предложит их товарищ.

Борисов 1-й через два часа был уже у Тютчева, который тотчас согласился с предложением артиллеристов и просил его ехать с ним вместе в Константинов к помянутым офицерам для совещания, каким образом приступить к действию. Выезжая из дому, в присутствии Борисова 1-го, Тютчев отдал приказание фельдфебелю собрать роту рано поутру и раздать боевые патроны. Желая скрыть приезд свой в город, он не заехал к Громницкому и остановился с Борисовым в отдаленной корчме, куда послал пригласить Громницкого и Лисовского, которые, вместе с Тютчевым, уговорили Борисова 1-го ехать назад в 8-ю бригаду, известить членов о готовности офицеров Пензенского полка к восстанию и сказать, что они, в самом скором времени, с ротами прибудут в 8-ю бригаду. Борисов 1-й хотел дождаться начала действия, но сии офицеры представили ему опасность его положения, говоря, что он может навлечь на себя подозрение и тем самым повредить делу. Везде были разосланы повеления арестовать подозрительных людей. Опасение быть схваченным заставило Борисова 1-го согласиться на немедленный отъезд.

Отправив его, пензенские офицеры снова начали рассуждать о предложении артиллеристов 8-й бригады. Тютчев предложил взбунтовать полк и идти на Новоград-Волынск за артиллерией. Громницкий и Лисовский согласились с сим мнением, попросили его съездить к Спиридову, отдать ему записку Горбачевского и потом уже приступить к делу всем вместе. Тютчев охотно принял сие поручение и, пробыв в Константинове целый день, вечером поехал к Спиридову, квартировавшему в 20 верстах от города, в деревне. Он отдал ему записку Горбачевского, которая была следующего содержания:

«Податель сей записки расскажет вам подробно все случившееся с нашими знакомыми; от него вы узнаете, на что мы решились и чего ожидаем от вас».

— Где податель? — спросил Спиридов, прочитав записку,— и кто он?

— Он уже уехал обратно,— отвечал Тютчев.— То был брат известного вам Борисова 2-го.

Потом он рассказал все, что слышал от Борисова 1-го о намерении членов, находящихся в 8-й бригаде и Житомире.

— Итак, надобно начинать,— сказал Спиридов,— но готовы ли у вас роты?

— Я согласен действовать и приготовил 30 человек самых лучших солдат моей роты; я убежден, что они увлекут за собою всех и за это ручаюсь,— отвечал Тютчев,— что же касается до рот Громницкого и Лисовского, я ничего не знаю: поедем к ним.

Спиридов согласился, а между тем, пока приготовляли лошадей, он написал в Саратовский полк, к Шимкову, следующее:

«Уведомьте членов, что восстание начнется немедленно, приготовьте к сему солдат, но не начинайте действовать до вторичного моего уведомления: может быть, я сам прибуду к вам». А к Горбачевскому в 8-ю бригаду:

«Если не удастся мне привести к вам Пензенский полк, то я сам приеду; будучи вместе, мы скорее придумаем, что должны делать в таких обстоятельствах».

Обе сии записки он отдал своему верному человеку, которому приказал непременно доставить их по адресам, как можно скорее и надежнее. После Спиридов поехал с Тютчевым в Константинов к Громницкому и Ли-

совскому. Он предложил начать восстание, спрашивая предварительно, полагаются ли они на своих солдат, готовы ли роты?

— Нет,— отвечали единогласно Громницкий и Лисовский,— мы не успели приготовить ни одного солдата.

Спиридов дал заметить, что почитает это неисполнением принятых на себя обязанностей, на что Лисовский с жаром вскричал:

— С. Муравьев требовал, чтобы мы действовали на солдат медленно; Бестужев-Рюмин говорил мне лично, равно как и всем, что восстание начнется не ранее августа 1826 года; поэтому я действовал сообразно с принятыми на себя обязанностями; клянусь всем, что для меня свято, что к назначенному времени вся рота пойдет за мною в огонь и в воду.

Громницкий оправдывал свое поведение тем же условием медленно действовать и, кроме того, сказал:

— Нам предлагает начать бунт простой член Общества, Борисов 2-й, приглашение сие привез его брат, но мы не имеем никакого уведомления ни от С. Муравьева, ни от Бестужева, которым мы дали слово содействовать. Я не обязывался сломать себе шею для каждого: пускай приедет сам Муравьев, или пускай покажут мне приглашение к восстанию, написанное его рукою,— я тотчас взбунтую свою роту; до сего же времени ограничусь приготовлением солдат.

Тютчев не отказывался от сказанного им прежде Борисову 1-му и Спиридову: он опять подтвердил при всех, что готов ту же минуту начать действовать: что он ручается за свою роту и прибавил к сему:

— Если мы начнем восстание и ежели полковой командир будет нам препятствовать, я беру на себя убить его.

Наконец, после долгих рассуждений, Спиридов и Тютчев, видя, что невозможно никого уговорить, уехали.

Капитан Тютчев выступил с ротою 4 января в поход, следуя с батальоном Пензенского полка в Житомир для занятия караулов при корпусной квартире. Майор же Спиридов возвратился в Красилов, куда на другой день прибыл посланный им человек, который не мог исполнить в точности его поручения, ибо, оставив

Шимкову записку и взяв от него ответ, он на дороге к Новоград-Волынску был схвачен земскою полициею как шпион злоумышленного общества. Его обыскали, но так как по приказанию Спиридова записки были зашиты в складках шинели около воротника, то и не были найдены, несмотря на то, что полицейские служители отпарывали даже воротник. Из-под ареста ночью он бежал с помощью еврея, в корчме коего содержался под стражею. Еврей за полтину серебра отважился спасти арестованного, который возвратился к Спиридову и вручил ему записку от Шимкова, в коей заключалось следующее:

«Саратовский полк с нетерпением ожидает начала восстания: я ездил в Тамбовский полк и принял там пять ротных командиров, которые поклялись при первом случае соединиться с нашим полком и готовы содействовать нам со своими подчиненными».

При записке Шимкова была другая, от капитана того же полка Ефимова, который, между прочим, говорил:

«К сожалению моему,— писал он к Спиридову,— я был несчастлив, что не заслужил вашей доверенности и не был членом Общества: это моя вина. Но теперь будьте уверены и знайте, что при первом известии начинать я поведу свою роту, на которую полагаюсь совершенно, и надеюсь на помощь своих товарищей, осмеливаюсь ручаться не только за несколько рот, но и за весь полк».

Спиридов, однако, не мог воспользоваться предложением. Получив отказ двух ротных командиров Пензенского полка и узнав 7 января о совершенном разбитии С. Муравьева, он неминуемо должен был удержаться от дальнейшего действия.

Описывая сии разнообразные действия, мы не можем не заметить, сколь много вредил общему делу неопределенный и двусмысленный язык членов Южного общества. Слова, беспрестанно повторяемые С. Муравьевым, Бестужевым-Рюминым и прочими: медленно, постепенно, исподволь, заставили многих членов вовсе не действовать. Беспечность некоторых находила в них благовидный предлог к извинению; другие оправдывали ими свою нерешимость или, лучше сказать, трусость, и, краснея, смотрели в глаза тем, которые требовали точного соблюдения обязательств. Не менее се-

го вредно было явное желание Муравьева и Бестужева сосредоточить всю власть в своих руках: они хотели одни двигать членами, разбросанными в разных полках, и запрещали им иметь между собою сношения. Таким образом, не имея возможности уведомить о начале восстания, они доставили случай многим членам искренно или только наружно сомневаться в необходимости местных возмущений, направленных к одной цели.

Мы желали показать общее усилие славян восстать против правительства и тем самым дополнить картину описываемого нами события. Сие отвлекло нас от Черниговского полка. Мы полагаем, что такого рода отступление не только не лишнее в нашем повествовании, но даже необходимо: оно дает понять о расположении умов и о ходе дела.

6

С. Муравьев 25 декабря в Житомире у Рота, в Траянове и Любаре.— Бестужев привозит весть о погоне за Муравьевым.— С. Муравьев призывает Артамона Муравьева поднять Ахтырский полк.— Противодействие Артамона Муравьева.— Приезд С. Муравьева в Трилесы 29 декабря.— Проезд Гебеля и жандармов через Любар

Теперь возвратимся к С. Муравьеву, которого мы оставили в Житомире. Приехав в Житомир рано утром 25 декабря, он явился к корпусному командиру, который пригласил его к себе на обед. Во время стола генерал Рот рассказал ему подробно о происшествии 14 декабря, получив сие известие через экстрапочту. Из сего разговора С. Муравьев ясно видел, что Общество открыто правительством и что меры к арестованию членов уже приняты. После обеда, ни мало не медля, он проехал в Траянов, где квартировал Александрийский гусарский полк, коим командовал Александр Муравьев, брат Артамона Муравьева. Сергей Муравьев, пробыв в Траянове не более часу, успел переговорить с офицерами сего полка, принадлежавшими к Обществу, и, без сомнения, уведомил их о случившемся в столице происшествии, потом поехал с братом своим Матвеем в Любар к Артамону Муравьеву, командовавшему Ахтырским полком. Должно полагать, что С. Муравьев в это время не думал о возмущении, ибо по приезде к Артамону Муравьеву он не делал ни-

каких предложений, но старался узнать о готовности нижних чинов и, даже рассказывая о 14 декабря, он не одобрял сие дело. Потом разговор обратился на предметы вовсе посторонние, как вдруг вошел в комнату Бестужев-Рюмин.

— Тебя приказано арестовать,— сказал он, задыхаясь, С. Муравьеву,— все твои бумаги взяты Гебелем, который мчится с жандармами по твоим следам.

Эти слова были громовым ударом для обоих братьев и Артамона Муравьева.

— Все кончено! — вскричал Матвей Муравьев.— Мы погибли, нас ожидает страшная участь; не лучше ли нам умереть? Прикажите подать ужин и шампанское,— продолжал он, оборотясь к Артамону Муравьеву,— выпьем и застрелимся весело.

— Не будет ли это слишком рано? — сказал с некоторым огорчением С. Муравьев.

— Мы умрем в самую пору,— возразил Матвей,— подумай, брат, что мы четверо главные члены, и что своею смертью можем скрыть от поисков правительства менее известных.

— Это отчасти правда,— отвечал С. Муравьев,— но однако ж еще не мы одни главные члены Общества. Я решился на другое. Артамон Захарович может переменить вид дела.

И обратясь к Артамону Муравьеву, он предложил ему немедленно собрать Ахтырский полк, идти на Троянов, увлечь за собою Александрийский гусарский полк (так, как прежде и обещал Артамон Муравьев), явиться нечаянно в Житомир и арестовать всю корпусную квартиру. Не ожидая ответа от Артамона, С. Муравьев вслед за сим написал две записки: одну — к Горбачевскому, другую — к Спиридову и Тютчеву, в коих уведомлял их о начале восстания и приглашал к содействию, назначив Житомир сборным пунктом. Отдав сии записки Артамону Муравьеву, он просил его убедительно отправить их тотчас с нарочными. Артамон, взяв от него сии записки, после некоторого молчания начал говорить о невозможности восстания и, между прочими отговорками, сказал:

— Я недавно принял полк и потому еще не знаю хорошо ни офицеров, ни солдат, мой полк не приготовлен еще к такому важному предприятию: пуститься на оное — значит заранее приготовить неудачу.

Ротмистр Семичев, который пришел к Артамону Муравьеву за несколько минут <кажется так> до приезда Бестужева, при таком ответе своего командира о расположении полка не мог воздержаться от возражения.

— Я думаю совершенно противное, г. полковник,— сказал он,— в этом случае нужна решительность и сильная воля; если вы не хотите сами говорить с офицерами и солдатами, то соберите полк в штаб-квартиру и остальное нам предоставьте.

Замечание Семичева пробудило надежду в сердце Муравьева, его просьба приняла вид требования, представляя будущность, ожидающую членов Общества; от требования он перешел к упрекам, но Артамон Муравьев не хотел и слышать о возмущении.

— Я сейчас еду,— сказал он с жаром,— в С.-Петербург к государю, расскажу ему все подробно об Обществе, представлю, с какой целью оно было составлено, что намеревалось сделать и чего желало. Я уверен,— продолжал он,— что государь, узнав наши добрые и патриотические намерения, оставит нас всех при своих местах, и верно найдутся люди, окружающие его, которые примут нашу сторону.

При сих словах он сжег на свечке записки, писанные Сергеем Муравьевым к славянам.

С. Муравьев потерял терпение.

— Я жестоко обманулся в тебе,— сказал он с величайшею досадою,— поступки твои относительно нашего Общества заслуживают всевозможные упреки. Когда я хотел принять в Общество твоего брата, он, как прямодушный человек, объявил мне откровенно, что образ его мыслей противен всякого рода революциям и что он не хочет принадлежать ни к какому Обществу; ты же, напротив, принял предложение с необыкновенным жаром, осыпал нас обещаниями, клялся сделать то, чего мы даже и не требовали; а теперь в критическую минуту ты, когда дело идет о жизни и смерти всех нас, ты отказываешься и даже не хочешь уведомить наших членов об угрожающей мне и всем опасности. После сего я прекращаю с тобою знакомство, дружбу, и с сей минуты все мои сношения с тобою прерваны.

После минутного молчания С. Муравьев еще раз попытался уговорить Артамона Муравьева, написал новую записку в 8-ю бригаду и, отдавая ее Артамону, сказал с выражением горести:

— Доставь эту записку в 8-ю бригаду; это последняя моя к тебе просьба; одна услуга, которую я смею от тебя ожидать.

Артамон Муравьев взял записку и, казалось, тронутый просьбами своего родственника и сочлена, соглашался доставить оную славянам, но лишь только С. Муравьев уехал, он ее уничтожил, как и прежние. Славяне после сетовали на С. Муравьева и именно за то, что он из Любара не дал им никакого известия, и впоследствии только узнали причину непонятного его молчания.

С. Муравьев решился тотчас оставить Любар, не имея более надежды на ахтырских гусар. Он просил Артамона Муравьева дать ему своих лошадей, чтобы скорее доехать в свой полк, но и сия маловажная просьба осталась без удовлетворения. Командир Ахтырского полка извинялся и клялся, что у него нет ни одной лошади, годной к упряжи. Между тем Бестужев-Рюмин решился ехать к артиллеристам и лично уведомить славян о начале восстания.

— Я сам еду в 8-ю бригаду,— сказал он,— дайте мне, Артамон Захарович, верховую лошадь; 20 верст недалекий путь.

Просьба Бестужева имела одну участь с просьбой Муравьева. Артамон засыпал его словами, но не дал верховой лошади, оправдываясь тем, что такой поступок покажется подозрительным местному начальству. Он советовал Бестужеву выехать из Любара вместе с Муравьевым, отпречь за городом от его тройки пристяжную лошадь и, объехав кругом Любар, скакать куда ему угодно.

Огорченный столь неожиданным поведением командира Ахтырского полка, Сергей Муравьев вместе с братом Матвеем и Бестужевым-Рюминым спешили оставить Любар и должны были тащиться на измученных уже лошадях. Желая скорее приехать в свой полк, С. Муравьев дал еврею, своему извозчику, по три рубля серебром на милю. Разными проселочными дорогами, наконец, 29 декабря, под вечер, они достигли деревни Трилесы, отстоящей от Василькова в 45 верстах, и остановились на квартире поручика Кузьмина, квартировавшего в сей деревне с своею ротою. Бестужев-Рюмин тотчас опять уехал неизвестно куда.

Вскоре после отъезда С. Муравьева из Любара приехал к Артамону Муравьеву подполковник Гебель с жандармским поручиком Лангом, которого он взял с собою из Житомира вместо двух жандармских офицеров Несмеянова и Скокова, бывших у него в Василькове. Командир Ахтырского полка под разными предлогами задержал Гебеля несколько часов и через то дал возможность С. Муравьеву и его товарищам доехать до деревни Трилесы (одна услуга, оказанная им тайному обществу и С. Муравьеву). Не позволяя себе обвинять поведение кого-либо из членов в сии критические минуты, можно, однако, заметить, что если бы Артамон Муравьев имел более смелости и решительности в характере и принял немедленно предложение С. Муравьева поднять знамя бунта, то местечко Любар сделалось бы важным сборным пунктом восставших войск. Стоит только знать месторасположение полков 8-й дивизии с артиллериею и второй гусарской бригады и взглянуть на карту, чтобы убедиться, что Любар был почти в самой средине сих войск, когда, при восстании, они сошлись бы в самое короткое время, как радиусы к своему центру *.

7

Поездка Андреевича 2-го 27—31 декабря.— Радомысль; малодушие Повало-Швейковского.— Траянов.— Любар; малодушие Артамона Муравьева.— Неподготовленность к восстанию Ахтырского полка.— Прибытие Андреевича 2-го в Васильков 31 декабря.— Поспешный отъезд его в Киев с известием о восстании Муравьева

В то самое время как С. Муравьев старался уговорить к действию командира Ахтырского полка, Андреевич 2-й, посланный из Василькова, как мы уже выше сказали, черниговскими офицерами с подобным предложением к другим членам Общества, приехал в г. Радомысль к бывшему командиру Алексопольского полка полковнику Повало-Швейковскому. Хотя со времени Лещинского лагеря Швейковский лишился полка, но как он неоднократно утверждал, что это не помешает ему поднять прежний свой полк, то славяне положительно считали на его помощь. Андреевич узнал от юн-

* См. карту расположения войск 3-го пехотного корпуса. (*Прим. Горбачевского*).— *А. И. Баландин, переписывая это место, заметил: «ее нет». (Ред.)*

кера Энгельгардта, жившего у Швейковского, что полковника дома нет. Сгорая от нетерпения приступить скорее к объяснению, Андреевич был в ужасной досаде.

— Давно ли уехал полковник? — спросил он юнкера.

— Он уехал рано поутру,— отвечал Энгельгардт с замешательством.

— Не знаете ли вы, скоро он возвратится назад?

— Не знаю, но, вероятно, около полуночи, ибо он всегда возвращается в это время.

— Скажите, по крайней мере, далеко ли он уехал?

— Не очень далеко, за несколько верст, в гости к одному помещику.

Андреевич спросил бумаги и написал к Швейковскому записку, прося его поспешить домой.

«Я должен переговорить с вами,— писал он,— о важном деле, время мне дорого». Потом, отдавая записку Энгельгардту, сказал:

— Потрудитесь послать с сим письмом нарочного к полковнику, а между тем прикажите дать мне чаю; дорога чрезвычайно дурная, я жестоко прозяб; к тому же чай сократит время ожидания, которое мне кажется весьма долгим.

Юнкер взял письмо и, ни слова не говоря, вышел вон. Подали чай. Андреевич расположился покойно за чайным столиком, с твердою решимостью дождаться возвращения Швейковского, полагая, что он виделся с Муравьевым и Бестужевым, знает о приказе арестовать первого из них и может сказать ему, куда они оба поехали. Ему необходимо было свидание с бывшим командиром Алексопольского полка; он должен был известить его о начале восстания, уговорить его, чтобы он немедленно возбудил алексопольцев к мятежу и, приняв над ними команду, шел на Киев или Житомир для соединения с Черниговским полком или с 8-й дивизией. Между тем время летело, и от Швейковского не было ответа. Андреевич терял терпение. Беспрестанно возрастающее замешательство Энгельгардта подало Андреевичу мысль, что отсутствие Швейковского не что иное, как ложь, вымышленная единственно для того, чтобы избавиться от неприятного гостя. Сие подозрение скоро показалось ему несомненно истиною. В боковых комнатах был слышен шепот и тихий стук шагов; все двери, ведущие в комнаты из залы, в которой находился Андреевич, были заперты.

— Вероятно он дома,— думал Андреевич про себя,— догадываясь о цели моего приезда, без сомнения, он хочет уклониться от объяснений. Но это напрасно. Я должен говорить с ним.

В сих мыслях он подошел к одной из боковых дверей и попробовал отворить оную, но внутренний замок сопротивлялся его силе. С досадою он пошел прочь и начал снова ходить по зале, ожидая развязки. Наконец, его терпение истощилось совершенно. Не видя юнкера, Андреевич не мог более владеть собою: подошедши к запертой двери, он ударил ее из всей силы ногою; замок не мог устоять против удара, дверь отворилась с шумом, и, к удивлению, он увидел перед собою Швейковского, который в замешательстве отступил назад и не знал, с чего начать разговор с неотвязчивым гостем.

— Г. полковник,— сказал Андреевич, приняв важный вид,— я друг Бестужева-Рюмина; вероятно, вы догадываетесь, о чем дело идет, но наперед позвольте вас спросить, был ли он у вас, и если был, то куда он поехал?

— Бестужев у меня был, но куда он поехал — я не знаю.

— Наше общество открыто правительством,— сказал Андреевич,— и мы решились поднять знамя мятежа.— Потом, в коротких словах рассказав Швейковскому о всем случившемся в Василькове, просил принять участие в общей опасности и, взбунтовав свой полк, идти на Киев или Житомир.

— Оставьте скорее мой дом,— был ответ полковника.— Я ничего не могу для вас сделать.

— Я думаю совершенно противное,— возразил с притворным хладнокровием Андреевич,— товарищи мои надеются на вас, и их надежды основываются на ваших собственных словах; вы не раз говорили о преданности и любви к вам своих подчиненных, о готовности офицеров и солдат следовать за вами повсюду; итак, вам легко возбудить их к мятежу.

— Вы ошибаетесь,— отвечал Швейковский,— меня ненавидят и офицеры и солдаты.

Андреевич, пораженный сим ответом, не знал, что говорить, и, наконец, видя, что уговаривать полковника, значит понапрасну терять слова и время, после долгого молчания сказал:

— Вы видите, что я приехал к вам безо всего, в одной шинели; вы знаете, куда и зачем я еду; на каждом шагу я должен подвергаться опасности быть арестовану... Итак, дайте мне пару пистолетов или солдатское ружье: в моем положении необходимо иметь что-нибудь для обороны.

Швейковский ему и в этом решительно отказал, говоря:

— Не ожидайте от меня ничего.

Андреевич, раздраженный таким поведением, сказал с негодованием:

— Успокойтесь, г. полковник, я вижу, вы бледны как смерть; успокойтесь, я вас оставлю,— и с этими словами удалился.

Из Радомысля Андреевич спешил в Житомир: там он надеялся увидеться со славянами и решиться на какие-нибудь меры. Приезд Андреевича обрадовал житомирских членов. Они ему сказали, что Муравьев 25 декабря уехал в Траянов, и требовали от него, чтобы он тотчас ехал по следам и старался бы его догнать, между тем как они будут стараться дать знать во все полки о начале восстания.

В Траянове Андреевич узнал, что С. Муравьев поехал в Любар, почему, не останавливаясь ни на одну минуту, он пустился в дорогу. За несколько верст от Любара лошади его выбились из сил. К счастью, какой-то польский извозчик ехал той же дорогою и, видя затруднительное положение незнакомого ему офицера, предложил Андреевичу место в своей повозке и довез его очень скоро до Любара.

Приехавши туда, он тотчас пошел к командиру Ахтырского полка, думая, если он и не застанет у него С. Муравьева, то, по крайней мере, получит от него прикрытие для артиллерии, которая квартировала от Любара очень близко, и что Артамон Муравьев, вероятно, начнет восстание. Пришедши к нему, Андреевич узнал, что С. Муравьев и Бестужев уехали. Тогда он объявил Артамону Муравьеву, что должно начать восстание, что в 9-й дивизии непременно будут действовать, и что он, с своей стороны, обязан вывести свой полк. Артамон Муравьев отвечал, что он не может ничего сделать, приводя те же причины, которые он представлял лично С. Муравьеву. Андреевич, видя, что он отказывается, возразил с жаром:

— По крайней мере, дайте мне, полковник, один эскадрон гусар: я пойду с ним в артиллерийские роты и там начнем действие.

Муравьев решительно отказался дать ему какое-либо пособие, говоря:

— Поезжайте куда хотите.

Андреевич представлял ему, что он не может никуда ехать; что из 25 рублей серебром, данных ему черниговскими офицерами на наем лошадей, остался у него один рубль; что у него нет паспорта, ни вида, кроме одной подорожной, и то на имя Сухинова, что он везде затрудняется лошадьми, и что даже он не только не имеет способа догнать С. Муравьева, но даже выехать из Любара...

— У меня нет денег: я *десять тысяч* дал С. Муравьеву, когда он от меня уезжал, и мне нечем вам пособить.

— Дайте мне гусар, мне не надо ваших денег,— сказал с досадою Андреевич,— я приехал к вам не за деньгами, а за гусарами. Дайте мне гусар, мне нужны ваши солдаты и офицеры! — повторил он несколько раз в совершенном отчаянии.

— В последний раз говорю вам, что ваше требование не может быть исполнено: мой полк не готов,— возразил полковник и вышел в другую комнату. Через несколько минут он возвратился и, подавая Андреевичу 400 руб., сказал:

— Я знаю, что у ротмистра Малявина продается лошадь; купите ее за эти деньги и поезжайте верхом скорее, вслед за Муравьевым и Бестужевым. Прощайте, я ничего не могу для вас сделать.

Замешательство Андреевича увеличивалось более и более, он не знал, что делать: скакать верхом зимою до Василькова почти 200 верст ему казалось невозможным; но, видя, что Артамон Муравьев решительно отказывается поддержать славян восстанием, решился ехать, взял деньги и спешил к ротмистру Малявину. Пришедши туда, он застал у Малявина многих офицеров, из коих некоторые были члены Южного общества, принятые Бестужевым-Рюминым. После обыкновенных приветствий Андреевич обратился к хозяину:

— Я слышал от вашего полковника,— сказал он,— что вы продаете лошадь, которую цените в 400 руб.; я даю вам сию сумму без торга, не видавши лошади.

Громкий смех всех присутствующих был ответом на сие предложение. Андреевич удивился.

— Полковник давно знает, что я мою лошадь иначе не продаю как за 800 руб.,— отвечал Малявин,— вы напрасно ему поверили.

Андреевич, огорченный неудачею, объяснил офицерам, принадлежавшим к Обществу, цель своей поездки, рассказал им свое свидание с Швейковским, с Арт. Муравьевым и их отговорки. Гусары слушали Андреевича с величайшим чувством негодования; когда же он кончил, то ругательства и проклятия посыпались на малодушных, но гнев их кончился одними словами. Они не могли приступить тотчас к действию; полк их был разбросан по деревням.

— Солдаты наши не приготовлены,— говорили они,— и большая часть офицеров ничего не знает; полковой командир никогда не говорил нам о намерениях Общества и не имел никаких сношений с нами; поэтому мы сами оставались в таком бездействии и не думали приготовлять подчиненных.

Андреевич, видя, что все надежды его исчезли, убедился, что нет надобности ехать в артиллерийские роты без требуемого его товарищами прикрытия, решил ехать по следам С. Муравьева, стараться догнать его и, приехав с ним в какой-нибудь полк, начать восстание. Ротмистр Семичев и другие члены Южного общества были согласны с сим мнением Андреевича и советовали ему немедленно ехать в Васильков. Семичев просил сказать С. Муравьеву, если он начнет восстание и если Ахтырский полк будет послан для усмирения мятежа, то все офицеры за долг поставляют соединиться с ним и станут действовать за общее дело. Поручик Никифораки сам побежал искать лошадей и вскорости возвратился с нанятым им евреем, который взялся доставить Андреевича в Васильков за неимоверно высокую плату. Делать было нечего: Андреевич тотчас согласился и — снова пустился в дорогу.

Отъехав верст 40 от Любара, под самым селением Пятками <?>, извозчик его сбился с дороги. Ночь была очень темная; порывистый ветер, начавший дуть с вечера, поднял сильную метель. Андреевич не имел на себе никакой теплой одежды; одна офицерская шинель сверх мундира не могла защитить от пронзительного холодного ветра. Поле было ровное и не представ-

ляло никакой защиты. К счастию, лошади сами собою набрели на крестьянскую избу, где жили майданщики (делающие селитру). Эта нечаянность спасла ему жизнь. Обогревшись и дав отдохнуть измученным лошадям, Андреевич поскакал проселочными дорогами прямо в Васильков, но приехав в сей город 31 декабря, он не застал уже Черниговского полка, который выступил в поход.

Город был в величайшем страхе и никто не принимал приезжающих к себе на квартиру; местное начальство замечало за всеми подозрительными людьми. Угрожаемый каждую минуту попасть в руки правительства, Андреевич спрятался к одному еврею, который согласился его принять в дом за несколько рублей серебром. Потом просил он его достать ему лошадей, чтобы догнать Черниговский полк; еврей старался сыскать, но не мог, хотя Андреевич обещал ему тотчас заплатить вдесятеро. Видя невозможность оставаться в Василькове, он решился выйти из города пешком. В дальней деревне, в стороне от большой дороги, нанял у крестьянина пару лошадей и поехал в Киев. Он старался доехать туда как можно скорее, поспешая объявить всем киевским членам о действиях С. Муравьева.

8

Черниговские офицеры ночью 28 декабря получают в Василькове записку от С. Муравьева из Трилес и спешат к нему на выручку.— Арест и освобождение Муравьевых.— Бегство жандарма Ланга.— Нападение на Гебеля.— Поход в Васильков

Оставим Андреевича в Киеве и обратимся, наконец, к описанию восстания Черниговского полка, которое началось в деревне Трилесах вскоре по приезде туда С. Муравьева и Бестужева-Рюмина.

Черниговские офицеры, которых мы оставили в г. Василькове, с нетерпением там ожидали знака к восстанию. Хотя они не сомневались в готовности других членов тайного общества содействовать им в достижении общей цели и были уверены, что поездка Андреевича и Бестужева увенчается счастливым успехом, но неизвестность становилась для них час от часу тягостнее; они не могли действовать и не умели оставаться праздными. Для начала действия им необходимо было

узнать, где С. Муравьев и на что он решился? Наконец сие желание их исполнилось. Около 11 часов ночи, с 28 на 29 декабря 1825 года, Кузьмин получил через рядового вверенной ему роты записку следующего содержания:

«Анастасий Дмитриевич! Я приехал в Трилесы и остановился на вашей квартире. Приезжайте и скажите барону Соловьеву, Щепилле и Сухинову, чтобы они тоже приехали как можно скорее в Трилесы.

Ваш Сергей Муравьев».

Кузьмин немедленно сообщил своим товарищам желание Муравьева с ними увидеться.

— Едем,— вскричали они в один голос,— едем в сию же ночь.

Через несколько минут лошади были готовы. Но мысль, что, может быть, С. Муравьев уже арестован Гебелем по приезде его в Трилесы, остановила их стремление и заставила их подумать:

— Что мы будем делать, если Гебель арестовал Муравьева? — спросил один из них.

— Освободить его и начать действовать. Освободить его! — был единодушный ответ.

Решившись на столь смелое предприятие и не зная, какою дорогою поедет Гебель с арестованным Муравьевым из Трилес в Васильков, черниговские офицеры решились разделиться и ехать двумя дорогами, чтобы непременно его встретить. Соловьев и Щепилло поехали большою дорогою, а Кузьмин и Сухинов — проселочною.

Между тем как они спешили в Трилесы, их опасение исполнилось. В полночь того же числа прибыл туда Гебель с жандармским офицером Лангом и, узнав, что С. Муравьев и брат его Матвей остановились на квартире Кузьмина, он собрал часть квартировавшей там роты, окружил дом, вошел тихонько в комнату, в которой оба Муравьева спокойно спали, взял пистолеты, лежавшие на столе, и потом, разбудивши их, объявил им повеление об аресте *.

---

* Муравьев сделал ошибку, приехав в Трилесы, и, зная, что по следам его скачет Гебель, не взял никаких предосторожностей, даже не приказал фельдфебелю роты Кузьмина дать ему тотчас знать, когда Гебель приедет. Он лег спать спокойно, но Гебель, с своей

В 8 часов утра 29 декабря Кузьмин и Сухинов прискакали первые в Трилесы. Увидя дом свой, окруженный часовыми, Кузьмин сказал своему товарищу:

— Сбылось наше предположение: Муравьев арестован! К счастию, мы его здесь застали.

И с этими словами они оба вошли прямо в комнату. Гебель встретил Кузьмина выговором за отлучку из роты, а Сухинова — за неявку к новому своему назначению. Кузьмин и Сухинов, пораженные таковыми приветствиями, старались, однако ж, сохранить хладнокровие и не отвечать ни слова на дерзости Гебеля. Мысли их были заняты другим предметом: они с нетерпением ожидали Соловьева и Щепиллы, которые с таким же чувством летели к ним на помощь и скоро достигли Трилес. Сухинов выбежал к ним навстречу.

— Муравьев арестован! Гебель здесь,— сказал он с досадою.

Услышав сие, Щепилло тотчас соскочил с повозки и в сильном движении сказал:

— Убить его.

Сделав два шага вперед,— убить его непременно,— повторил несколько раз решительным голосом пылкий товарищ Соловьева.— Пойдем к ним скорее,— продолжал он, задыхаясь от гнева и идя скорыми шагами к квартире Кузьмина. Соловьев и Сухинов за ним следовали.

Командир Черниговского полка, увидя еще двух новоприезжих и, может быть, подозревая их в каком-нибудь замысле, начал также им делать выговоры и упреки за отлучку от своих мест и требовал, чтобы они немедленно отправились в свои роты. Барон Соловьев отвечал ему, что он первый решительно не будет повиноваться его приказанию. Щепилло повторил то же. Не взирая на положительность отказа и на решительный тон, которым он был произнесен, Гебель требовал повиновения еще с большею настойчивостью. Это произвело ужасный спор, во время которого Муравьев дал знак офицерам, чтобы они приступили к убийству, и к сему знаку прибавил он тихим, но внятным для них голосом:

стороны, арестовав Муравьевых, был также неосторожен, не отправивши тотчас их дальше, но стал дожидаться рассвета, и, удовольствовавшись тем, что они уже арестованы, расположился преспокойно отдыхать и готовился поутру пить чай. Бедный Гебель не знал, что роковая записка была послана в Васильков.

— Убить его.

Гебель, разгоряченный спором, хотя не заметил знака и не слыхал рокового приговора, но видя невозможность восторжествовать над упорством своих офицеров, а может быть опасаясь неприятных следствий, смягчил строгий голос командира и хотел восстановить дисциплину ласковыми словами. Однако его усилия были тщетны; все было кончено и намерение начать действовать твердо было принято.

Чрез несколько минут Кузьмин вышел в другую комнату, отделенную от первой большими проходными сенями, с тем, чтобы все приготовить к восстанию и объявить солдатам своей роты о предпринимаемом действии. Щепилло, Соловьев и Сухинов вышли вслед за ним с тою же целью. Успех был неимоверный: солдаты изъявили готовность во всем повиноваться своим офицерам. Ободренные столь счастливым началом, офицеры Черниговского полка немедленно хотели приступить к освобождению Муравьева. Щепилло и Соловьев вышли из кухни, где была временная караульня, в сени, чтобы свободнее там переговорить о мерах, необходимых к исполнению сего намерения. В то самое время жандармский поручик Ланг, хлопотавший об отъезде, вышел из противулежащей комнаты. Щепилло, увидя Ланга и думая, что он подслушал их разговор, схватил ружье, стоявшее в углу сеней, и хотел его смертью начать предполагаемое действие. Но Соловьев, махнув рукою, отвел смертельный удар.

— Оставим его в живых,— сказал он Щепилле,— лучше мы его арестуем; для нас достаточно этого.

Испуганный жандарм, видя опасность, выбежал без всякого шума из сеней и искал спасения в бегстве. Черниговские офицеры заметили его удаление и, опасаясь, чтобы он не известил кого-либо о начале возмущения и не остановил бы тем успеха, послали тотчас Сухинова схватить Ланга и привести его. Сухинов поймал жандармского поручика недалеко от дома, но из человеколюбия не решившись вести ненавистного жандарма к своим товарищам, он оставил его в доме священника и посадил в погреб, намереваясь его взять оттуда, когда умы успокоются и когда можно будет содержать его под арестом, не подвергая опасности его жизнь. Возвратившись, он объявил своим товарищам, что жандарма не нашел; в пылу негодования Щепилло

и Кузьмин настоятельно требовали от Сухинова, чтобы он привел беглеца. Сухинов послушался и поспешил в дом священника, но, к удивлению своему, не нашел там своего узника, который во время его отсутствия в самом деле бежал и почти первый донес в дивизионную квартиру о начале возмущения.

Между тем, подполковник Гебель, разговаривая с Муравьевым, ничего не знал, что происходило в сенях. Не видя долгое время поручика Ланга и скучая долгим приготовлением лошадей, он начал звать его громким голосом. Не имея никакого ответа, он с досадою выбежал из комнаты и бросился прямо в караульную, чтобы послать вестового отыскивать Ланга, но, встретив там Щепиллу и Кузьмина, который отдавал приказания своему фельдфебелю, он забыл свое намерение, пришел снова в бешенство и начал осыпать выговорами и укоризнами офицеров, которые на этот раз не были так снисходительны, как прежде. Щепилло отвечал Гебелю на его выговоры сильным ударом штыка в брюхо. Почувствовав тяжелую рану, командир Черниговского полка хотел выскочить вон из комнаты, но в дверях его встретил Соловьев и, ухватив обеими руками за волосы, повалил на землю. Кузьмин и Щепилло бросились на упавшего Гебеля и начали его колоть и бить. Соловьев, оставя Гебеля в руках своих товарищей, спешил освободить арестованных Муравьевых, которые, пользуясь отсутствием полкового командира и жандарма и заметя движение офицеров и шум, происходивший в сенях, выбили окошко и выскочили из комнаты. Часовой, не зная ничего, хотел было воспрепятствовать мнимому побегу, но прибежавший на его крик ефрейтор заставил его молчать пощечиною *. Соловьев вбежал в комнату и, не нашед в оной Муравьевых (Сергея и брата его Матвея), бросился к выбитому окошку, из коего, к крайнему удивлению, увидел С. Муравьева на дворе, наносившего тяжелые удары ружейным прикладом по голове Гебелю, который после побоев Щепилло и Кузьмина собрал последние силы и, поднявшись на ноги, вынес их, так сказать, на своих плечах из сеней и был остановлен в дверях С. Муравьевым.

---

* Этот самый часовой после был в походе с Муравьевым и был один из лучших солдат во время оного.

Вид окровавленного Гебеля, прислонившегося к стене и закрывающего голову руками, в надежде тем защитить себя от наносимых ему ударов, заставил Соловьева содрогнуться. Он немедленно выскочил в окно и, желая как можно скорее кончить сию отвратительную сцену, схватил ружье и сильным ударом штыка в живот повергнул Гебеля на землю. Обратясь потом к С. Муравьеву, начал его просить, чтобы он прекратил бесполезные жестокости над человеком, лишенным возможности не только им вредить, но даже защищать свою собственную жизнь. Сии просьбы имели свое действие. С. Муравьев оставил Гебеля, и только в это время почувствовал, что ознобил себе пальцы от прикосновения ружейного ствола. Едва С. Муравьев оставил полумертвого Гебеля, как сей несчастный пришел в себя, приподнялся на ноги и в беспамятстве пошел, шатаясь, сам не зная куда. К несчастью он попал на глаза к Кузьмину, который подбежал к нему, ударом по шее сшиб его с ног и, в исступлении, нанес ему еще восемь тяжелых ран; удары были так сильны, что за каждым разом Кузьмин должен был употреблять силу, чтобы выдернуть свою шпагу из костей Гебеля. Может быть Кузьмин прекратил бы страдания Гебеля, если бы не подбежал к нему Соловьев и не уговорил оставить изувеченного человека, представляя его совершенно им безвредным и едва дышущим. Кузьмин удалился, но жизнь не оставила Гебеля. Ослабленный истечением крови, с разбитою головою, покрытый ранами, он снова собрал силы, поднялся на ноги и, шатаясь, вышел за ворота, сделал там несколько шагов и упал без чувств посреди улицы. Один рядовой роты Кузьмина остановил ехавшего по улице крестьянина, положил Гебеля на сани и повез его в дом управителя.

С. Муравьев, узнав об этом, впал в некоторый род неистовства; требовал, чтобы офицеры отыскали Гебеля и непременно лишили его жизни, а сам побежал по переулку с намерением перехватить сани, на которых солдат вез своего полкового командира. Не догнав его, С. Муравьев поручил Сухинову непременно остановить Гебеля, вывезти его за деревню и бросить в снег. Видя ярость и бешенство С. Муравьева, Сухинов притворился согласным исполнить его приказание и побежал вслед за санями, но возвратившись, объявил Муравьеву, что солдат отдал уже Гебеля управителю и что сей

последний собрал к себе множество вооруженных крестьян*. Между тем С. Муравьев приказал Кузьмину собрать роту и идти в Ковалевку, а сам, взяв с собой Соловьева и Щепиллу, поехал вперед в сию деревню. Когда они подъехали к управительскому дому, Щепилло, находясь еще в сильном раздражении, предложил С. Муравьеву заехать к управителю и убить там Гебеля. С. Муравьев тотчас согласился и приказал кучеру прямо туда ехать, но Соловьев всеми силами воспротивился сему, как бесполезному, так и ничтожному покушению, просил Муравьева оставить его намерение и, не ожидая его согласия, он крикнул грозно на кучера:

— Пошел, прямо!

Кучер послушался Соловьева, ударил по лошадям и пронесся мимо дома. Муравьев и Щепилло противились. Соловьев их не слушал и тем отвратил их от сего бесполезного действия. Щепилло и Соловьев, оставив С. Муравьева в деревне Ковалевке, где квартировала 2-я гренадерская рота под командою поручика Петина, поехали к своим ротам через Васильков.

9

Меры майора Трухина в Василькове.— С. Муравьев в Ковалевке.— Поездки Башмакова, Фурмана, Какаурова и Бестужева.— Вступление Муравьева в Васильков.— Арест Трухина, захват знамен и полкового ящика.— Приход Шутова с частью 5-й роты.— Арест жандармов

Все, случившееся в Трилесах, было уже известно в городе. Ужас распространился между жителями, а местное начальство старалось взять меры, могущие остановить успех Муравьева. Трухин, старший майор после С. Муравьева, удвоил городской караул и отправил приказание во все роты непременно собраться в город. Узнав, что Соловьев и Щепилло приехали в Васильков и остановились у полкового квартирмейстера, поручика Войниловича, майор Трухин тотчас

* Покажется странным, что после стольких полученных ран Гебель мог еще остаться в живых. Но обратно сему способствовало его крепкое здоровое сложение, скорая помощь лекаря, а может быть, от исступления и ярости офицеров неверно наносимые удары. Однако же за всем тем, он был четыре месяца в постели, лишился нескольких пальцев на обеих руках, которые ему отбил С. Муравьев ружейным прикладом, и получил тринадцать тяжких ран острым оружием.

взял роту внутренней стражи, городничего и дежурного по караулам, поручика Быстрицкого, пошел на квартиру офицера и там арестовал Соловьева и его товарищей, в то время как они отдыхали, ожидая свежих лошадей. Потом приказал поручику Быстрицкому ехать в деревню, принять роту Соловьева и привести ее в Васильков. На главной гауптвахте, где содержались арестованные офицеры, было отдано строжайшее приказание от майора никого к ним не впускать, не говорить ни слова с мятежниками и если они вздумают подговорить караульных, то стрелять по ним без всякого сожаления. Однако, несмотря на сей строгий приказ, Щепилло и Соловьев не только принимали посещения других офицеров, говорили с солдатами, но даже рассказали им подробно о всем случившемся в Трилесах и просили их не оставлять своих товарищей в столь трудных обстоятельствах. Как караульные солдаты, так и офицеры, посещавшие арестантов, обещали непременно присоединиться к восставшим ротам.

В скором времени майор Трухин, вероятно из предосторожности, разлучил Соловьева и Щепиллу, приказав перевести сего последнего на квартиру и содержать там под таким же строгим присмотром, как и на гауптвахте. Бедный майор не замечал, что над его приказаниями явно смеялись не только офицеры, но и солдаты, хотя, по-видимому, приводили их в исполнение.

С. Муравьев в деревне Ковалевке позвал тотчас к себе фельдфебеля и унтер-офицеров 2-й гренадерской роты, чтобы узнать их мнение относительно замышляемого возмущения. Видя, что они готовы разделить с ним все опасности предприятия, он приказал фельдфебелю собрать роту. Гренадеры собрались против квартиры своего ротного командира, с которым Муравьев вышел к ним и после обыкновенных приветствий объявил о деле в коротких словах. Потом спросил их, чувствуют ли они довольно мужества, чтобы отважиться на столь смелый и великий подвиг. Гренадеры единодушно изъявили свое согласие и отвечали положительно. Распустив их по квартирам, С. Муравьев приказал им готовиться к походу.

Для успеха восстания, начатого без всякого предварительного плана, необходимо было скорое и единодушное содействие всех членов тайного общества. С. Муравьев был уверен в преданности к общему делу чле-

нов Славянской управы и потому спешил их уведомить о восстании Черниговского полка. С сим намерением он послал Башмакова известить о сем членов 8-й артиллерийской бригады и пригласить их к поднятию оружия. Кроме сего, Башмаков должен был заехать к капитану Черниговского полка Фурману и отправить его с таким же поручением к членам 8-й пехотной дивизии. .Вслед за Башмаковым Муравьев послал в 17-й егерский полк, к подпоручикам Вадковскому и Молчанову, унтер-офицера Какаурова с запискою, в которой просил одного из них приехать в Васильков для совещания *. От скорого исполнения подобных приказаний, может быть, зависел жребий С. Муравьева и его товарищей, но, к несчастью, сии приказания не были исполнены с надлежащею скоростью и точностью. Унтер-офицер Какауров выполнил возложенную на него обязанность как следовало умному и расторопному солдату; но поведение Башмакова и Фурмана заслуживает самое строгое порицание. Вместо того, чтобы спешить в назначенные им места, они теряли время за картами и вином. В 25 верстах от Василькова они были арестованы земским исправником, который взял их за карточным столом весьма не в трезвом виде.

Бестужев-Рюмин приехал в Ковалевку и тут узнал о происшествиях, случившихся во время его поездки. Положительно неизвестно, где он был, но, вероятно, сколько можно догадываться по обстоятельствам, он ездил в ближайшие полки и приглашал к действию командиров оных **. Почти вслед за ним пришел Кузьмин с частию своей роты. Опасаясь оставить С. Муравьева без прикрытия, он дожидался, пока соберется

* Вместо того, чтобы послать Какаурова в 1-й егерский полк с приказанием, дабы члены, там находящиеся, взбунтовали тотчас полк и шли бы к черниговцам на помощь, С. Муравьев приказал приехать в Васильков одному члену и тогда дал ему оное поручение. От сего произошла неудача и потеря времени, которое так дорого в сих случаях.

** Положительно известно, что Бестужев приезжал в Радомысль к Швейковскому и тот от него спрятался. С огорчением он уехал оттудова, но неизвестно, где он еще был. Станционный писарь г. Радомысля после разбития С. Муравьева доставил начальству записку, писанную на французском языке к Швейковскому, где он приглашал его к восстанию. Из сего видно намерение Бестужева и его неудача; вероятно, он был и у других полковых командиров. По возвращении своем, он очень скрывал от черниговских офицеров, куда он ездил, где был и зачем.

вся рота, разбросанная по деревням, и препоручил своему фельдфебелю Шутову привести остальную команду в город Васильков.

На другой день (30 декабря), рано поутру, С. Муравьев, с 1-й гренадерской ротою и большею частию 5-й мушкетерской, выступил из Ковалевки, намереваясь в один переход сделать 35 верст и прийти в Васильков. Майор Трухин, узнав о сем движении, приказал в городе бить тревогу, а 4-й мушкетерской роте, занимавшей караулы, приготовиться к бою. Сии приготовления навели на городских жителей ужас: думали, что чрез несколько минут Васильков будет театром кровавой битвы, но вышло совершенно противное.

В 3 часа пополудни авангард С. Муравьева, под командою Сухинова, спокойно вошел в город, достиг городской площади без всякого сопротивления и не обнаружил никаких неприязненных расположений против жителей. Миролюбивый вид мятежников ободрил майора Трухина. Надеясь обезоружить их одними словами, в сопровождении нескольких солдат и барабанщика, он подошел к авангарду и начал еще издалека приводить его в повиновение угрозами и обещаниями, но, когда он подошел поближе, его схватили Бестужев и Сухинов, которые, смеясь над его витийством, толкнули его в средину колонны. Мгновенно исчезло миролюбие солдат: они бросились с бешенством на ненавистного для них майора, сорвали с него эполеты, разорвали на нем в куски мундир, осыпали его ругательствами, насмешками и, наконец, побоями. В сие время С. Муравьев, подошедши с своею колонною на площадь, избавил Трухина от дальнейших неприятностей, приказав солдатам не трогать его и отвести на гауптвахту под арест. Почти в то же самое время 4-я мушкетерская рота, стоявшая в карауле, и 6-я, пришедшая к ней на смену, под предводительством арестованного Соловьева, при радостных восклицаниях присоединились к С. Муравьеву. Вскоре потом пришел на площадь Щепилло, командуя караулом, содержавшим его под арестом.

Столь счастливое начало оживило новою надеждою сердца черниговских офицеров. Они не сомневались в будущих успехах своего оружия и уже мечтали об окончании трудного подвига. Приезд 17-го егерского полка подпоручика Вадковского усилил еще более их

надежды. Он обещал С. Муравьеву, с помощью <своего> товарища Молчанова, взбунтовать если не весь егерский полк, то, по крайней мере, батальон, и в ту же минуту отправился с площади в Белую Церковь для приведения в действие своего намерения. Но, по приезде туда, на заставе был арестован, закован в кандалы и тотчас отправлен в главную квартиру 4-й армии.

Когда все роты собрались на площадь и Муравьев увидел, что город в его власти, он приказал Сухинову и Мозалевскому идти на квартиру Гебеля (которого уже привезли из г. Трилесов) за знаменами и полковым ящиком. При сем случае произошел беспорядок, о котором нельзя не упомянуть. При входе в дом, занимаемый Гебелем, Мозалевский заметил, что на левом фланге взвода, назначенного под знамена, недостает нескольких рядов; тут же услышал в комнатах шум и крик. Он тотчас же догадался, что солдаты, оставив ряды, ворвались во внутренность дома и предаются там бесчинству. Догадки свои он сообщил Сухинову, который, обнажив саблю, бросился в комнаты и увидел пред собою толпу разъяренных солдат, готовых принести Гебеля в жертву их мщению. Они оскорбляли несчастную жену своего командира, а некоторые даже предлагали убить ее, вместе с малолетними ее детьми. Просьбы и ласковые слова были в сем случае бесполезны. Одна твердость характера, смелость и решительность могли укротить буйство солдат. Сначала Сухинов угрожал наказать смертью тех, которые, забыв военную дисциплину, оставили ряды без приказания офицера, осмелились нарушить спокойствие бедной женщины, оскорбляют ее и даже замышляют гнусное убийство. Но, видя, что его слова не производят никакого действия, он решил подтвердить оные делом и наказать немедленно первого виновного. Раздраженные солдаты вздумали обороняться, отводя штыками сабельные удары, и показывали явно, что даже готовы покуситься на жизнь своего любимого офицера. Сухинов, не теряя духа, бросился на штыки, осыпал сабельными ударами угрожавших ему убийц и выгнал их из дому. Остальные солдаты, стоявшие в это самое время на дворе под командою Мозалевского, хотели было идти на помощь к своим товарищам, но Мозалевский встал впереди и с саблею в руках сказал им, что кто первый осмелится и пошевелится, тот ляжет на месте. Мужест-

вом и твердостью сих двух офицеров спасена жизнь Гебелю, его жене и детям и дом избавился от конечного разграбления.

По возвращении на площадь со знаменами Мозалевский получил от С. Муравьева приказание отыскать непременно скрывшегося полкового адъютанта Павлова, отобрать от него архив, полковую печать и посадить его самого под арест. Щепилле дано было такое же повеление, и, взявши солдат, они отправились вместе с Мозалевским отыскивать Павлова, который, как известно было, скрывался в городе. Поиски были бесполезны. Павлов был спрятан в постели между перинами у жены городничего, где он пробыл до самого выступления С. Муравьева из Василькова, и тогда только оставил свою роскошную темницу и поспешил уведомить киевское начальство о возмущении в Черниговском полку. Сии поиски, коих цель была известна всем в городе, послужили, однако же, к сплетению гнусной клеветы, которой недоброжелатели всякого нововведения старались очернить С. Муравьева и его сподвижников, и выдумали, что будто бы, по приказанию его, уголовные преступники были выпущены из тюрьмы, а уездное казначейство разграблено. Но, по произведенному самим правительством следствию, сии обвинения оказались ложными, к стыду самих клеветников *. С. Муравьев оставался на городской площади и пока не делал последних распоряжений. Заметя беспокойство городских властей и желая уничтожить их опасения, он призвал к себе почетных граждан, объявил им цель возмущения, которое нимало не угрожало личной и ве-

---

* Офицеры, посланные Муравьевым для отыскания адъютанта Павлова и утомленные долгими и безуспешными поисками, начали расспрашивать городских жителей о беглеце. Мозалевскому какой-то канцелярист сказал, что Павлов скрывается в уездном казначействе. Он прямо туда пошел с находящимися при нем рядовыми, которых, однако ж, оставил на дворе присутственного места, вошел в оное один и, узнав от служащих приказных, что никого другого из посторонних не находилось и не находится в том месте, он вышел обратно и спешил продолжать свои розыски в других местах города. При сем должно заметить, что на этом же дворе находилась городская тюрьма, в коей содержались разного рода уголовные преступники. Сии два обстоятельства подали повод выдумать, будто бы Муравьев послал солдат и офицеров в уездное казначейство с приказанием завладеть государственною казною и, кроме того, разбить тюрьму и освободить оттудова всех преступников. Кто первый выдумал столь унизительную ложь — неизвестно.

щественной их безопасности, просил их не предаваться напрасному страху и уверил, что порядок и тишина будут строжайше наблюдены. Потом просил он доставить под квитанцию нижним чинам съестные припасы и водку. Ласковое и благородное обращение Муравьева не осталось без действия. Успокоенные жители доставили все припасы, удовольствованные солдаты были помещены на тесных квартирах, город окружен военною цепью, а Богуславская и Киевская заставы были заняты сильным караулом. На первую был назначен Мозалевский, на вторую — Рыбаковский. В 8 часов вечера пришел в Васильков 5-й мушкетерской роты фельдфебель Шутов с рядовыми, оставленными поручиком Кузьминым. Не доходя 7 верст до Василькова, около корчмы, называемой Мытницы, встретил его командир 9-й дивизии генерал Тихановский и на его вопрос, куда он идет с командою? — Шутов отвечал:

— К своей роте в Васильков.

— Знаешь ли ты, что делается в полку? — спросил генерал.

— Знаю, и затем именно туда иду,— отвечал смело Шутов.

Генерал Тихановский, услышав сие, приказывал ему идти с командою в дивизионную квартиру или обратно на ротный двор. Шутов отвечал, что не может ему повиноваться и нарушить обещания, данного ротному командиру поручику Кузьмину и батальонному командиру С. И. Муравьеву; что ежели его команда оставит, то он один пойдет в Васильков. Генерал Тихановский, видя твердость Шутова, оставил его и, подошедши к солдатам, стал их уговаривать отстать от своего фельдфебеля и идти не в Васильков, а в Белую Церковь; грозил им жестоким наказанием за непослушание, а в противном случае обещал им большие награды. Но слова и убеждения его не действовали; солдаты остались так же верны, как и их фельдфебель, все до одного пришли под командою Шутова в Васильков и явились к своему ротному командиру. Шутов, донося при вечернем рапорте С. Муравьеву о встрече с генералом Тихановским, сказал ему:

— Я хотел было, ваше высокоблагородие, арестовать его, но не смел этого сделать, не имея на сие никакого приказания *. Полагая, что Тихановский может

* Такая верность и преданность солдат достойна всякого заме-

быть приедет в Васильков, С. Муравьев приказал Мозалевскому арестовать его на заставе и привести тотчас к нему. Сего, однако ж, не случилось, но вместо Тихановского в 9 часов вечера на Богуславскую заставу прискакал жандармский поручик Несмеянов. Часовые остановили повозку и вызвали офицера. Мозалевский потребовал от жандарма его бумаги и объявил ему, что он арестован. Жандарм не хотел ничего слушать и показывал вид, что он намерен защищаться, вынимая пистолеты. Мозалевский приказал караульным окружить повозку и скомандовал: «на руку». Нечего было делать: жандарм выдал свои бумаги и был отвезен на главную гауптвахту. В скором времени другой жандармский офицер Скоков, приехавший с повелением арестовать Матвея Муравьева, подвергся той же участи, как и первый, который должен был арестовать Сергея Муравьева.

10

Приготовления к походу.— Сбор мятежных рот на площади утром 31 декабря.— Молебен и чтение Катехизиса.— Выступление на Мотовиловку.— Приезд Ипполита Муравьева

Между тем офицеры Черниговского полка не теряли времени. Ночь с 30 на 31 декабря была проведена в приготовлениях к походу. Каждый занимался своим делом, забывая опасность; деятельность и усердие членов Общества были беспримерны; они старались одушевить солдат новым мужеством и поддержать бодрость их духа. Чтобы успешнее действовать на них, они всеми силами старались обеспечить их продовольствие. Сами солдаты в приготовлении к походу показывали не менее ревности: ружья, патроны и вся амуниция были осмотрены с величайшим тщанием и все недостатки были исправлены. Посреди общей деятельности один С. Муравьев не принимал участия в приготовлениях: он оставался уединенным, писал целую ночь, но куда? и к кому? — никто даже из близких ему не мог узнать.

чания. Шутов знал, что он произведен в офицеры, что приказ об оном находится в дивизионной квартире, также знал, какая его ожидает награда и какое наказание.— Он прогнан сквозь строй и сослан в Сибирь на каторгу.

В вечернем приказе С. Муравьева было сказано, что все роты, находящиеся налицо, должны собраться на площадь на другой день (31 декабря) в 9 часов утра. В назначенное время пять рот, а именно: 1-го батальона 3-я мушкетерская, 2-го батальона — 2-я гренадерская, 4-я, 5-я и 6-я мушкетерские роты пришли на сборное место в полной походной амуниции. Музыканты без всякого приказания явились сами, и 60 человек, оставя инструменты, взяли оружие из полкового цейхгауза и стали в ряды своих товарищей. 1-й гренадерской и 1-й мушкетерской рот не было на площади, потому что по приезде в Васильков С. Муравьев тотчас послал приказание в сии роты собраться им в деревню Мотовиловку и там ожидать его прихода. 3-я мушкетерская рота, за которой был отправлен поручик Быстрицкий майором Трухиным, не успела еще прийти. При собравшихся ротах находились следующие офицеры, командиры рот: 3-й мушкетерской — поручик Щепилло; 2-й гренадерской — поручик Петин; 4-й мушкетерской — поручик Маевский; 5-й — поручик Кузьмин; 6-й — поручик Сухинов, вместо откомандированного Фурмана. Командир 2-й мушкетерской роты, штабс-капитан барон Соловьев, тут же находился, хотя рота его еще в то время не пришла. В сих ротах офицеры: Апостол-Кегич, Рыбаковский, князь Мещерский, Мозалевский, Белелюбский, Кондырев, Сизиневский, Войнилович. Сверх того находились тут и Полтавского полка поручик Бестужев-Рюмин, отставной полковник Матвей Муравьев-Апостол и приехавший на время сбора полка на площадь свиты е. в. подпоручик Ипполит Муравьев-Апостол. Ротные командиры и офицеры проверили людей, осмотрели амуницию и с нетерпением ожидали С. Муравьева, который долго не выходил из своего кабинета, проведши там около часу времени с Мозалевским. Никто не знал, зачем Мозалевский был у Муравьева и какое получил поручение.

Вышедши в залу, он приказал позвать полкового священника и, объяснив ему цель восстания и свои намерения, просил его содействовать в сем благом деле молитвою и крестом.

— Русское духовенство,— сказал ему, наконец, С. Муравьев,— всегда было на стороне народа, оно всегда, во времена бедствий нашего отечества, являлось смелым и бескорыстным защитником прав народных.

Священник, человек молодой и довольно просвещенный, постигнул возвышенные и благородные чувства С. Муравьева.

— Я согласен на ваше предложение,— сказал он ему,— и готов умереть с вами для общей пользы; но... я имею жену, детей,— прибавил он после некоторого молчания,— если ваше предприятие не удастся, что будет с ними? Бедность, нищета и даже позор ожидают мою жену и моих сирот.

Супружеская и родительская любовь мгновенно поколебали в нем первый порыв любви к отечеству, он готов был отказаться от прежних слов своих, но Муравьев снова успел возбудить в душе его благородное самоотвержение. Желая успокоить справедливое опасение священника на счет его семейства, он дал ему 200 руб.

— Вручите сии деньги вашему семейству,— сказал С. Муравьев,— они будут необходимы для него во время вашего отсутствия, между тем будьте уверены, что ни Россия, ни я никогда не забудем ваших услуг.

Священник, не возражая более, пошел вместе с Муравьевым на площадь.

Собравшиеся роты были построены в густую колонну. Подошед к ней, С. Муравьев приветствовал солдат дружелюбно и потом, в коротких словах, изложил им цель восстания и представил, сколь благородно и возвышенно пожертвовать жизнью за свободу. Восторг был всеобщий; офицеры и солдаты изъявили готовность следовать всюду, куда поведет их любимый и уважаемый начальник. Тогда С. Муравьев обратился к священнику, просил его прочитать Политический катехизис, который состоял из чистых республиканских правил, приноровленных к понятиям каждого. Священник читал громким и внятным голосом правила и обязанности свободных граждан.

— Наше дело,— сказал Муравьев по окончании чтения, обратясь снова к солдатам,— наше дело так велико и благородно, что не должно быть запятнано никаким принуждением, и потому кто из вас, и офицеры, и рядовые, чувствует себя неспособным к такому предприятию, тот пускай немедленно оставит ряды, он может без страха остаться в городе, если только совесть его позволит ему быть спокойным и не будет его упрекать за то, что он оставил своих товарищей на столь

трудном и славном поприще, и в то время как отечество требует помощи каждого из сынов своих.

Громкие восклицания заглушили последние слова С. Муравьева. Никто не оставил рядов и каждый ожидал с нетерпением минуты лететь за славою или смертью.

Между тем священник приступил к совершению молебна. Сей религиозный обряд произвел сильное впечатление. Души, возвышенные опасностью предприятия, были готовы принять священные и таинственные чувства религии, которые проникли даже в самые нечувствительные сердца. Действие сей драматической сцены было усугублено неожиданным приездом свитского офицера, который с восторгом бросился в объятия С. Муравьева. Это был младший брат его — Ипполит. Надежда получить от него благоприятные известия о готовности других членов заблистала на всех лицах. Каждый думал видеть в его приезде неоспоримое доказательство всеобщего восстания и все заранее радовались счастливому окончанию предпринятого подвига.

Среди сих надежд колонна, получив благословение священника, с криком: ура! — двинулась по дороге в деревню Мотовиловку. Городские жители, теснившиеся вокруг, провожали воинов, желая им успеха.

— Да поможет вам бог! — раздавалось повсюду.

Солдаты были бодры; мужество блистало в их взорах; веселые песни выражали спокойствие их душ. Для удержания порядка и отвращения внезапного нападения войско шло в боевом порядке. Авангардом командовал Войнилович; арьергардом — Сухинов. Деятельность и бдительность сего последнего оправдали вполне доверенность Муравьева и его товарищей. Несмотря на благородное чувство, одушевлявшее большую часть солдат, в столь значительном числе оных неминуемо находились такие, которые думали, что при подобных случаях можно позволить себе без упрека совести разного рода шалости и бесчинства и безнаказанно нарушать дисциплину. Сухинов благоразумною осторожностью и строгим соблюдением военных правил укрощал их буйство и поддерживал порядок. Некоторые из них притворялись пьяными с намерением отстать от полка и предаться беспорядкам. Подобные хитрости не ушли от бдительности Сухинова: он уничтожал все их замыслы. При самом начале один рядовой, сорвавший пла-

ток с женщины, провожавшей его как доброго постояльца, был немедленно строго наказан, при всех его товарищах. Войнилович, по распоряжению С. Муравьева, приближаясь к каждой корчме, посылал туда унтер-офицера и двух рядовых с строгим приказанием ставить у дверей корчмы часовых и никого не впускать в оную. Таким образом прекращались все беспорядки, почти неизбежные при движении полка.

Во время дороги к Мотовиловке Ипполит Муравьев рассказал офицерам Черниговского полка, что он выехал из Петербурга 13 декабря, с поручением от членов Северного общества уведомить членов Южного о намерении начать возмущение в столице и пригласить их к содействию. Тут же он сказал, что московские члены разделяют мнение петербургских и обещают помогать успехам восстания, где бы оно ни началось. И, наконец, он прибавил, что дорогою узнал о печальном событии 14 декабря.

— Мой приезд к вам в торжественную минуту молебна,— говорил он,— заставил меня забыть все прошедшее. Может быть ваше предприятие удастся, но если я обманулся в своих надеждах, то не переживу второй неудачи и клянусь честию пасть мертвым на роковом месте.

Сии слова тронули всех.

— Клянусь, что меня живого не возьмут! — вскричал с жаром поручик Кузьмин.— Я давно сказал: «Свобода или смерть!»

Ипполит Муравьев бросился к нему на шею: они обнялись, поменялись пистолетами и оба исполнили клятву.

11

Поездка Мозалевского в Киев.— Мозалевский у неизвестного генерала и у подполковника Крупенникова.— Распространение катехизиса.— Тревога в городе.— Арест Мозалевского.— Князь Щербатов

Прервем рассказ о Черниговском полку, который уже выступил из Василькова, и займемся отправлением и поездкой Мозалевского в Киев. Сие отступление отчасти объяснит нам намерения, действия и надежды С. Муравьева.

31 декабря, в день выступления полка из Василькова, в 8 часов утра Мозалевский был с рапортом у С. Муравьева, который после некоторых вопросов о приготовлении полка к походу сказал ему, что намерен откомандировать его с важными поручениями, и потому просил его приготовиться скорее к дороге и запастись партикулярным платьем.

— О времени вашего отправления,— прибавил он,— вы узнаете, когда все к тому нужное будет готово.

В 10 часов Мозалевский узнал от Щепиллы, что Муравьев желает с ним видеться. Он сейчас пошел к нему и нашел там Бестужева-Рюмина и Матвея Муравьева, которые, впрочем, кажется, ничего не знали о намерении С. Муравьева. Едва Мозалевский успел войти в комнату, как С. Муравьев взял его за руку, повел в свой кабинет и запер за собою дверь. Потом сказал ему, что он должен ехать в Киев с письмами к тамошним членам тайного общества.

— Вы должны,— говорил он,— спешить в сей город; постарайтесь как можно скорее кончить порученное вам дело и немедленно возвратиться ко мне. Будьте осторожны, старайтесь всеми средствами скрыть ваш приезд, как от киевских жителей, так и от тамошнего местного начальства.

По поручению Муравьева Мозалевский должен был вручить письмо трем членам тайного общества и распустить в народе несколько списков Политического катехизиса. Содержание сих писем неизвестно, но из наставлений, данных Муравьевым Мозалевскому, можно догадываться, чего он желал и чего надеялся. Вручая ему письмо на имя одного генерала (которого фамилия неизвестна), Муравьев просил Мозалевского пересказать ему о всем случившемся в Черниговском полку, узнать от него, что думают другие члены о происшествии 14 декабря и о восстании Черниговского полка, и расспросить его о мерах, какие они со своей стороны думают принять; объявить ему о надеждах С. Муравьева на Киев, где находится так много членов русского и польского Обществ, и, наконец, просить на все письменного или словесного ответа. Отдавая другое письмо к подполковнику Крупенникову, Муравьев сказал:

— Объявить ему, что представляется удобный случай присоединиться ему с своим полком к нашему, ска-

жите, что я надеюсь на его патриотизм и усердие к общему делу и ожидаю от него положительного ответа. Сверх того, не забудьте узнать от сих членов о мерах, принятых правительством против нас, и какие именно полки назначены воспрепятствовать нашим успехам и кто ими будет командовать. Но более всего требуйте от них ответов,— повторил он Мозалевскому несколько раз.

Наконец отдал ему третье письмо, адресованное на имя одного поляка. Тут же вручил он Мозалевскому большой пакет, заключающий в себе несколько списков Политического катехизиса, приказав выбрать из своего полка надежных и расторопных двух рядовых и одного унтер-офицера, одеть их в простое платье или, по крайней мере, срезать с шинелей погоны, взять их с собою в Киев и по приезде туда поручить им пустить в народ сии катехизисы, снабдив для сего необходимыми наставлениями.

На вопрос Мозалевского: когда он должен ехать и где, по исполнении поручения, догнать полк? — Муравьев отвечал:

— Чтобы отвлечь всякое подозрение о вашей поездке, вы должны быть во время молебна на площади и выйти из города вместе с полком, пройти с ним до первой корчмы, Малой Мытницы, и оттуда вы можете уже ехать проселочными дорогами, миновав Васильков. Когда же кончите все ваши дела в Киеве, то приезжайте в Брусилов и дожидайтесь меня там у командира Кременчугского полка полковника Набокова; ежели вы не застанете меня там, то, узнавши где, немедленно приезжайте ко мне *.

По окончании разговора С. Муравьев вместе с Мозалевским пошел на площадь, где были собраны восставшие роты Черниговского полка. Нам уже известно, что там происходило. Мозалевский с большим затруднением мог нанять лошадей. Узнав о времени своего отправления незадолго до выступления полка и не имея возможности отлучиться в продолжение молебна и чтения катехизиса, он двинулся вместе с полком и тогда только забежал на свою квартиру, когда полк

* Не выходя еще из Василькова, С. Муравьев хотел идти через Фастов в Брусилов; взявши там Кременчугский полк, следовать в Радомысль, соединиться там с Александропольским полком и оттуда идти на Житомир.

проходил мимо ее. Он приказал своим людям отыскать непременно две тройки лошадей, дать за наем все, что хозяева потребуют, и стараться как можно скорее догнать его. Лошади были отысканы и наняты. Они догнали полк за полверсты от Малой Мытницы. Муравьев, узнав о сем, тотчас приказал Мозалевскому взять с собою назначенных солдат и отправиться куда следует. Мозалевский воротился, проехал глухими переулками Васильков, поворотил вправо, на деревню Бугаевку, лежащую в стороне от большой дороги, и проселками доехал до деревни, находящейся близ Киева. Тут он должен был взять свежих лошадей, встретил новые затруднения, однако ж, после некоторой остановки, нашел извозчика и выехал на большую Васильковскую дорогу под самым Киевом. Здесь, отдав унтер-офицеру Николаеву и одному из рядовых по ровному числу списков Политического катехизиса, приказал им по приезде в город оставить лошадей в каком-нибудь скрытом месте, разойтись в разные стороны по Подолу и Печерску, и там раздавать сии списки встречающимся людям, подбрасывать их в дома или оставлять в местах более посещаемых; когда же все списки таким образом будут сбыты с рук, то немедленно сойтись и ожидать его близ заставы на Подоле.

В полночь с 31 декабря на 1 января Мозалевский приехал в Киев, миновав заставу на Печерске позади госпиталей. В городе все было тихо; кажется, никто не знал еще о восстании Черниговского полка и никто не думал, что спокойствие города скоро будет нарушено. Зная квартиру того генерала, к которому имел письмо, Мозалевский прямо поехал к нему (он жил на Печерске). Оставив в недальнем расстоянии своих лошадей и при них бывшего с ним солдата, он вошел в дом и просил доложить о себе, не упоминая, однако, ни своего звания, ни своей фамилии. По прошествии нескольких минут его просили войти. После обыкновенных приветствий Мозалевский вручил генералу письмо, объявив, что он офицер восставшего Черниговского полка, присланный с поручением от С. Муравьева. Замешательство генерала было чрезвычайно. Прочитав письмо, он сказал Мозалевскому дрожащим голосом:

— Я не буду отвечать: скоро сам с ним увижусь.

Потом начал просить Мозалевского оставить скорее его дом и спешить выехать из Киева. Когда же Моза-

левский спросил его: что сказать Муравьеву на словесные его поручения? — генерал отвечал ему еще с большим замешательством:

— Я ничего не знаю.

Мозалевский, несмотря на это, повторил несколько раз вопросы, которые поручил ему сделать С. Муравьев, и на которые, вместо всякого ответа, генерал повторил:

— Ничего не знаю, прошу оставить меня.

Мозалевский, видя его страх и опасение, и не получая от него никакого ответа, решился, наконец, удалиться. От него он не мог уже уехать, а пошел пешком, потому что должен был отыскать квартиру подполковника Крупенникова, которую нашел, шедши с Печерска на Подол. Мозалевский вошел к нему и, отдавая письмо, начал рассказывать о восстании Черниговского полка.

— Знаю, знаю,— сказал Крупенников с радостью,— и желаю вам успеха от всего сердца.

Потом, прочитав письмо и узнав от Мозалевского некоторые подробности, спросил:

— Куда намерен идти С. Муравьев и надеется ли на помощь других членов?

Мозалевский отвечал, что Муравьев идет на Брусилов, хотя сего не знает он наверное, что все зависит от обстоятельств, но что С. Муравьев положительно более всего надеется на Киев.

— Я уверен,— возразил Крупенников,— что братья Александр и Артамон Муравьевы первые пристанут к нему со своими гусарскими полками. За четверть часа до вашего прихода здешнее начальство,— продолжал он,— получило известие о вашем восстании, и приказано бить тревогу: все войска, находящиеся здесь, будут собраны и пойдут в Васильков для усмирения вспыхнувшего мятежа; посему, если вы имеете еще какое-либо поручение, то исполняйте его как можно скорее и спешите выехать из Киева; я думаю, впрочем, вы не успеете уведомить Сергея Муравьева; правительство везде берет против него сильные меры. Чтобы не задерживать вас,— продолжал Крупенников,— я не стану отвечать письменно, но скажите С. Муравьеву, что из Киева идут против него три батальона. Я иду с ними и буду иметь случай соединиться с вами, исполнить данное обещание и разделить общую опасность.

При выходе Мозалевского от него, Крупенников прибавил:

— Я не могу уведомить С. Муравьева, что думают другие члены, находящиеся в Киеве, насчет восстания, на что они решились и что намерены делать, но, вероятно, Воронежскому и Витебскому полкам также дано повеление идти против Муравьева, и, конечно, члены, находящиеся в сих полках, воспользуются случаем исполнить принятую ими обязанность и соединиться с Черниговским полком для общего дела.

Едва Мозалевский вышел от Крупенникова, как уже во всех частях города били тревогу. Это было второй час ночи. Смятение беспрестанно увеличивалось, испуганные жители выбегали из домов, толпились на улицах или бежали, сами не зная куда и зачем. Солдаты в полной походной амуниции пробегали улицы, не зная также, что означает всеобщая тревога. Темнота, вопли жителей, крики солдат, барабанный бой и звук оружия увеличивали ужас сей ночи. Мозалевский, видя предстоящую для него опасность, спешил оставить Киев, не видавши третьего члена тайного общества, решился как можно поскорее уведомить обо всем С. Муравьева, для сего старался отыскать приехавших с ним унтер-офицера Николаева и рядовых, которые, исполнивши в точности данное им поручение, ожидали своего офицера в назначенном месте *. Не имея возможности достигнуть Радомысльской заставы большими улицами, в которых толпился народ и войско, Мозалевский, чтобы избежать задержки, хотел выехать в ближайшую от Подола заставу и предместием Кореневкою пробраться на большую дорогу в Брусилов. Но, не доезжая до заставы, он услышал позади себя лошадиный топот и смешанные голоса. Вскоре громкие крики: «Стой, стой!» убедили его, что за ним гонятся. Надежда миновать опасность не оставила его и в сию критическую минуту. Он приказал ямщику не жалеть лошадей, обещая большие деньги, но все усилия усердного извозчика были тщетны: толпы народа стремились им навстречу и беспрестанно останавливали повозку. Тогда Мозалевский, видя невозможность спастись от рук правительства, разорвал письмо, которого не успел вру-

* Они несколько списков подбросили в публичные места, много раздали в трактирах; прочие по рукам на улицах, большею частью во время тревоги.

чить по адресу и начал глотать куски бумаги. Между тем извозчик с усилием пробирался сквозь толпу народа, и едва Мозалевский успел проглотить изорванное письмо, как обе повозки были окружены взводом жандармов, при которых находились начальник штаба 4-го корпуса генерал Красовский, старший адъютант Малецкий и киевский полицмейстер полковник Дуров. Мозалевский был отвезен в дежурство 4-го корпуса, откуда, не снимая с него допроса, отправили его на главную гауптвахту. По прошествии нескольких минут его повели к командиру 4-го корпуса князю Щербатову, где, к удивлению, он увидел Черниговского полка майора Трухина, полкового адъютанта Павлова и двух жандармских офицеров — Несмеянова и Скокова. Князь Щербатов позвал Мозалевского в кабинет и, оставшись с ним наедине, с душевным прискорбием сказал ему:

— Вы начали действовать слишком рано. Я знаю лично С. И. Муравьева, уважаю его и жалею от искреннего сердца, что такой человек должен погибнуть вместе с теми, которые участвовали в его бесполезном предприятии. Очень жалко вас: вы молодой человек и должны также погибнуть.

Слезы катились у доброго генерала. Потом князь Щербатов вместе с Мозалевским вышел в ту комнату, где находились помянутые лица и с ними начальник штаба. Тут начал он спрашивать Мозалевского, к кому он приезжал в Киев и с какими именно поручениями. Мозалевский отвечал:

— Я убежал из восставшего полка с намерением явиться к вашему сиятельству.

— Это несправедливо,— возразил майор Трухин, обращаясь к князю.— Он приехал сюда с поручением от С. Муравьева, но к кому и зачем — я не знаю. Он участвовал в бунте и, вместе с Сухиновым, хотел убить меня, когда я содержался на гауптвахте *. Адъютант

* Мозалевский арестованного последнего жандарма сам отводил к С. Муравьеву, который приказал ему отвести его на главную гауптвахту. Идя туда, он встретился на улице с Сухиновым, который с ним тоже пошел на гауптвахту за каким-то делом. Там содержался под арестом майор Трухин. При входе в комнату Трухин при всех солдатах упал на колени пред ними и начал просить помилования, говоря, что он ни в чем не виноват. Мозалевский и Сухинов удивились, видя в сем положении майора, начали уверять, что они не за тем пришли на гауптвахту, чтобы что-нибудь с ним сделать, но за своим делом, и просили его встать, говоря, что неприлично для майора это положение,— и с сими словами они его подняли на ноги. Трухин

Павлов, с своей стороны, уверял князя, что Мозалевский искал его в Василькове с намерением лишить его жизни. Жандармские офицеры говорили, что они были арестованы Мозалевским, стоявшим тогда с мятежниками в карауле, на выезде. Князь Щербатов приказал обыскать Мозалевского; майор Трухин взял на себя исполнить сию обязанность, но ничего не нашел. Не взирая на то, что Мозалевский отрицал все сделанные на него показания, он был отправлен в главную квартиру 1-й армии в 3 часа утра с жандармским офицером Скоковым.

Таким образом кончилась неудачная поездка Мозалевского, которая, конечно, была бы успешнее, если бы С. Муравьев послал его тотчас по восстании полка. Мозалевский со своей стороны сделал все, что мог; доказательство, что он приехал в Киев получасом раньше майора Трухина и жандармских офицеров, которые, будучи освобождены из-под ареста Муравьевым в корчме Мытнице, тотчас возвратились в Васильков, взяли с собою адъютанта Павлова и поскакали прямо в Киев, на почтовых лошадях. Они первые известили местное начальство обо всем, что могли узнать или слышать.

не переставал просить помилования. Сухинов, видя его подлость, начал ему говорить о развратном его поведении, укорял в низости перед начальством, в тиранстве с солдатами, и потом советовал ему оставить военную службу, чтобы перестал он носить мундир, который марал своим поведением. Трухин во всем согласился с Сухиновым, признавал во всем себя виновным и клялся ему, что он оставит службу, в которой недостоин служить; но вдруг упал на колени и начал жалобным тоном просить, повторяя:

— Батюшка, Иван Иванович (имя Сухинова), сделайте милость!

Сухинов и Мозалевский бросились к нему с поспешностью и начали ему опять повторять, чтобы он ничего не боялся, чтобы он был покоен, и что скоро выпустят его на волю.Трухин не вставал, продолжая просить. Сухинов долго не мог понять, чего он просил, и, наконец, как-то нечаянно спросил: чего он хочет?

— Батюшка, Иван Иванович, сделайте милость, пришлите мне бутылку рому,— ответил Трухин.

При сих словах хохот раздался, как гром, во всей гауптвахте. Сухинов закричал:

— Унтер-офицер, пошли ко мне на квартиру за бутылкою рому для майора, и ежели он вперед захочет хоть целую бочку водки привезти к себе на гауптвахту, то позволить ему это, для утешения его.

Караульные солдаты, арестованные жандармы громко смеялись, а Мозалевский и Сухинов тотчас оставили этого майора. Кузьмин из жалости послал ему на гауптвахту 100 руб. на водку и на ром. После этого майор донес в Киев на Сухинова и Мозалевского, что они приезжали на гауптвахту убить его.

12

Поход С. Муравьева.— Вступление в Мотовиловку.— Отказ от участия в восстании 1-й гренадерской роты.— Дневка.— Крестьяне.— Присоединение Быстрицкого.— Решимость унтер-офицеров и фельдфебелей.— Бегство офицеров.— Выступление на Пологи.— Разведка Сухинова

Возвратимся опять к Черниговскому полку, который мы оставили на пути в Мотовилов, и посмотрим, что происходило в сей деревне по прибытии туда восставших черниговцев.

31 декабря 1825 г. в 2 часа пополудни роты Черниговского полка, под командою С. Муравьева, вступили в Мотовиловку, где уже были собраны 1-я гренадерская рота и часть 1-й мушкетерской и ожидали его прибытия. Как скоро Муравьев увидел солдат помянутых рот, подошел к ним * и начал говорить о цели восстания и дальнейших своих намерениях.

— Я надеюсь,— сказал он,— что вы не оставите своих товарищей и готовы или умереть или победить с ними; однако ж, если вы чувствуете себя неспособными разделить наши труды, я не принуждаю вас следовать за полком: это зависит от вашей воли.

Солдаты молчали, и ни один из них не изъявил готовности повиноваться своему подполковнику.

— Я отгадываю ваши мысли,— воскликнул С. Муравьев после некоторого молчания.— Вы не можете быть нашими товарищами. Итак, возвратитесь на свои квартиры.

Гренадеры немедленно пошли обратно в деревню Снетинку; взвод же мушкетеров 1-й роты, квартировавший в Мотовиловке, хотя разошелся по квартирам, однако ж после соединился с полком.

С. Муравьев, не распустив еще полка, отдал приказ, что 1 января будет дневка, поручил ротным командирам иметь попечение о продовольствии нижних чинов, так и о снабжении их теплою одеждою и стараться бо-

* Носились слухи, что будто бы 1-й гренадерской роты капитан Козлов скрылся от С. Муравьева, переодетый в солдатское платье. Это совершенная ложь. Когда С. Муравьев подходил к своей роте, то капитан Козлов был тут же и даже рапортовал С. Муравьеву о благополучии своей команды. И когда С. Муравьев увидел, что гренадеры молчат и не хотят за ним идти, то он, обратясь к капитану Козлову, приказал их вести по квартирам.

лее всего поддерживать бодрость духа солдат. Роты по его приказанию были размещены по тесным квартирам; на всех входах и выходах из деревни и в деревню были поставлены посты, всем отдано было приказание быть в готовности во всякое время к защите и были назначены дежурные по полку и ротам. На дневке С. Муравьев осматривал все караулы, был во всех ротах, разговаривал с солдатами, ободрял их и более всего заботился о их нуждах.

Объезжая караулы, Муравьев был окружен народом, возвращающимся из церкви. Добрые крестьяне радостно приветствовали его с новым годом, желали ему счастья, повторяли беспрестанно:

— Да поможет тебе бог, добрый наш полковник, избавитель наш.

С. Муравьев тронут был до слез, благодарил крестьян, говорил им, что он радостно умрет за малейшее для них облегчение, что солдаты и офицеры готовы за них жертвовать собою и не требуют от них никакой награды, кроме их любви, которую постараются заслужить. Казалось, крестьяне, при всей их необразованности, понимали, какие выгоды могут иметь от успехов Муравьева; они радушно принимали его солдат, заботились о них и снабжали их всем в избытке, видя в них не постояльцев, а защитников. Чувства сих грубых людей, искаженных рабством, утешали С. Муравьева. Впоследствии он несколько раз говорил, что на новый год он имел счастливейшие минуты в жизни, которые одна смерть может изгнать из его памяти.

В тот же день прибыл в Мотовиловку со 2-ю мушкетерскою ротою подпоручик Быстрицкий. Получив приказание от майора Трухина принять означенную роту, он немедленно отправился в деревню Германовку, где, собрав оную, выступил с нею в Васильков. В Василькове узнал он, что С. Муравьев с полком уже вышел в поход, и тотчас решился догнать его, но перед тем хотел убедиться в расположении солдат. Для сего спросил их: хотят ли они следовать за товарищами и намерены ли действовать с ними заодно? Они все объявили готовность, однако Быстрицкий сим еще не удовольствовался. Взяв в сторону фельдфебеля, всем полком любимого и уважаемого унтер-офицера Аврамова, спросил его, как он думает: можно ли решиться на сие дело?

— Не только можно, но должно,— отвечал храбрый и честный Аврамов,— нам будет стыдно отставать от своих товарищей. Как я, так и вся рота, знаем цель Сергея Ивановича Муравьева; я ручаюсь за солдат.

Уверясь таким образом в единодушии всей роты, Быстрицкий тотчас выступил из Василькова и на другой день в 12-м часу прибыл в Мотовиловку, переночевавши в деревне Салтановке. Быстрицкий построил роту на небольшой площадке сей деревни, поблагодарил солдат за их усердие, за сохранение порядка и тишины во время похода и в заключение сказал:

— Я уже не ваш командир: вы здесь найдете любимого вашего капитана,— и, простившись с ними, пошел к Муравьеву.

Отдадим должную похвалу обдуманному и решительному действию подпоручика Быстрицкого, который до самого конца не изменил своему характеру. Когда после разбития он и товарищи его были привезены в Могилев к начальнику штаба, и когда генерал Толь сказал ему:

— Вы могли бы удержать роту и тем заслужить награду,— он отвечал ему:

— Ваше превосходительство, я, может быть, сделал глупость, но подлости никогда...

Между тем Соловьев, узнав о прибытии своей роты, спешил к своим мушкетерам. Солдаты бросились навстречу к своему командиру, обнимали, целовали его; искренняя радость изливалась из сердец непринужденно. Тут унтер-офицер Кучков при всей роте спросил Соловьева, куда Муравьев хочет идти и в каком месте соединятся они с другими полками. Услышав от Соловьева, что Муравьев идет на Житомир и соединится на пути к сему городу с другими полками, Кучков возразил с радостью, которая выражала некоторое нетерпение:

— Что нам медлить, зачем еще дневка, лучше бы без отдыха идти до Житомира.

Солдаты одобряли слова Кучкова. Проницательность и опытность старого служивого внушили ему сие здоровое размышление. Слова его смутили Соловьева, он чувствовал всю справедливость сего замечания, но, желая успокоить солдат, хладнокровно сказал:

— Подполковник лучше нас знает, что делать: надобно подождать, а тем временем проведать, какие полки идут против нас.

Отдав некоторые приказания фельдфебелю, Соловьев велел разместить роту по квартирам.

Наблюдая действия 2-й мушкетерской роты и других восставших рот Черниговского полка, с невольным удивлением спрашиваешь себя: откуда Шутов, Николаев, Аврамов и другие взяли сию твердость и решимость? Каким образом во всех нижних чинах явилось столь постоянное усердие и столь высокое самоотвержение? Преданность к ротным командирам и любовь к С. Муравьеву одни не могли сего произвести. К сим побуждениям присоединялись другие двигатели. Кузьмин, Щепилло, Соловьев и другие офицеры часто беседовали между собой о делах Общества в присутствии своих фельдфебелей, и таким образом знакомили их со своим образом мыслей, который заставлял сих простодушных, но благородных людей обдумывать свое поведение и готовиться оправдать доверенность своих начальников. Фельдфебели, со своей стороны, были откровенны с солдатами, и сии последние, невольным образом, сколько могли, привыкли разделять их желания и цель. Присоединим к сему действию благородное поведение офицеров, кроткое обращение с подчиненными, бескорыстную заботливость о их нуждах, тогда это вместе нам покажет, каким образом они умели найти верное и неизменное содействие людей, решившихся с ними погибнуть.

Вечером 1 января был отдан приказ о выступлении в поход, и на другой день в 8 часов утра роты были уже на сборном месте. Уныние и какая-то боязнь изображались на всех лицах. Щепилло, Кузьмин, Соловьев и Быстрицкий, заметя в солдатах внезапную перемену и полагая, что на их нравственное состояние имело влияние бегство многих офицеров, которые ночью уехали в Васильков, тотчас пошли уведомить о сем С. Муравьева и просили его взять против сего меры *. При сем известии С. Муравьев не мог скрыть своего замешательства, но, успокоив верных ему офицеров, пошел с ними к собравшимся ротам.

— Не страшитесь ничего,— сказал он солдатам,— может ли вас опечалить бегство подлых людей, которые не в силах сдержать своего обещания и которые чувствуют себя не только неспособными, но даже недо-

* Бежавшие офицеры в первый раз были: Рыбаковский, Белелюбский, Кондырев, кн. Мещерский, Войнилович и Кегич-Апостол.

стойными разделить с нами труды и участвовать в наших благородных предприятиях. Если кто-нибудь из вас столь малодушен, что из бегства ничтожных людей делает невыгодные заключения о нашем деле и желает покинуть своих товарищей, пусть тот сейчас оставит роты и, покрытый негодованием, идет куда хочет; его никто не будет удерживать, ни уговаривать.

Важность, внушающая уважение, смелость, громкий и твердый голос С. Муравьева возвратили ему прежнюю доверенность его подчиненных. Его слова видимо ободрили солдат, слушавших его со вниманием, прежнее спокойствие опять заблистало на всех лицах, и никто не думал воспользоваться позволением удалиться.

В 9 часов полк выступил из Мотовиловки и двинулся по дороге, которая чрез деревню Марьяновку ведет к деревне Пологам, лежащей в 12 верстах от Белой Церкви. Сим движением Муравьев надеялся соединиться с 17-м егерским полком, квартировавшим тогда в сем местечке. В 4 часа пополудни (2 января) С. Муравьев занял деревню Пологи. Не получая никакого известия о 17-м егерском полку, на который он имел большую надежду, С. Муравьев препоручил Сухинову разведать, где находится сей полк и чего можно ожидать от находящихся в сем полку членов. При наступлении вечера Сухинов взял несколько надежных солдат и, составив из них конный отряд, отправился к Белой Церкви. За полторы версты от сего местечка он встретил казаков графини Браницкой, посланных для развертывания и охранения ее имения от так называемых бунтовщиков. Сухинов воспользовался встречею. Подъехав на довольно близкое расстояние к казачьему отряду, он обнажил саблю и бросился на них, с громким криком: — Вперед! Испуганные нечаянным и смелым нападением казаки рассеялись. Один из них, пойманный самим Сухиновым, хотел было сопротивляться, но Сухинов ударом сабли сшиб его с лошади и начал расспрашивать. Хотя, по-видимому, казак чистосердечно говорил, что 17-й егерский полк уже другой день как вышел из Белой Церкви неизвестно куда, но Сухинов, желая удостовериться в истине его показания, сам подъехал к местечку и старался узнать от некоторых жителей все, касающееся до выхода сего полка. Ответы жителей, с которыми говорил Сухинов, подтвердили высказанное казаком. В самом деле, полковой коман-

дир, арестовав Вадковского, в ту же ночь выступил с полком из Белой Церкви в противоположную сторону от Василькова, не сказав никому, куда идет.

Разведывание Сухинова о 17-м егерском полку послужило поводом к сплетению гнусной лжи, будто бы С. Муравьев, возмутив Черниговский полк, пошел к Белой Церкви с намерением завладеть несметными сокровищами, хранящимися у богатой и скупой графини Браницкой. Конечно, никто из благоразумных людей не верил и не поверит сей клевете, но, может быть, нашлись люди, которые почитали возможным столь бесчестное действие. Привязанность их к старому порядку вещей, выгоды, получаемые от злоупотреблений, внушают им ненависть ко всякой перемене и заставляют думать, что каждое нововведение есть уже начало анархии, что желающий улучшения есть более нежели анархист, и потому способен быть убийцею, грабителем, одним словом,— противуобщественным человеком.

13

Поворот на Поволочь и Житомир.— Бегство второй группы офицеров.— Силы Муравьева.— Встреча с отрядом Гейсмара и поражение.— Потери

Известие о выходе 17-го егерского полка заставило С. Муравьева переменить план действия. На другой день, т. е. 3 января, он оставил Пологи и вознамерился идти через Ковалевку и Трилесы на Поволочь, а оттуда в Житомир, для соединения со славянами. В Паволоче квартировала 5-я конная рота. С. Муравьев думал, что командир сей роты и офицеры, принадлежа к Обществу, тотчас соединятся с Черниговским полком. Нет сомнения, что с артиллерией дело Муравьева приняло бы иной вид, тем более, что пехотные солдаты смотрят на орудия с некоторым благоговением и ожидают от них почти сверхъестественной помощи; к тому же присоединение конной роты придало бы новые силы солдатам и обновило бы их надежду на другие полки.

В деревне Пологах ночью со 2 на 3 января несколько гусар подъехали к самым часовым. Часовые хотели стрелять, и потому гусары, не отваживаясь на дальнейшие покушения, скрывались немедленно. Замечательно, что в это время гусарский офицер высокого роста и до-

вольно плотный, подъехав на близкое расстояние к одному из постов, начал разговаривать с солдатами, хвалил их решительность, одобрил восстание, удивлялся пожертвованиям и обещал помощь. На другой день офицеры Черниговского полка, услышав о сем обстоятельстве от солдат, занимавших сей пост, полагали, что приезжавший офицер был командир Ахтырского полка, и радовались нечаянной помощи от человека, на которого перестали считать. Но, вероятно, это было не что иное, как хитрость: гусарам нужно было только узнать расположение и дух черниговских солдат, ибо прежде рассвета они все скрылись и до самого разбития С. Муравьева ни один солдат не видал ни одного гусара.

3 января, когда полк собрался для выступления из Полог, Муравьев увидел, что и в сию ночь много офицеров оставили свои места и скрылись неизвестно куда, между тем как ни один солдат в продолжение всего сего несчастного восстания даже и не думал покинуть своих товарищей *. Сергей Муравьев, как и все оставшиеся с ним офицеры, скрыли свое неудовольствие и, по возможности, старались поддерживать бодрость солдат, обещая скорую помощь и несомненный успех в предприятии.

В 4 часа утра Черниговский полк выступил из Полог и в исходе 11-го часа вступил в деревню Ковалевку, где Муравьев дал солдатам роздых, остановясь на площади, против управительского дома. Он потребовал под квитанцию хлеба и водки для нижних чинов. Управитель доставил солдатам всего в изобилии; во время привала пригласил С. Муравьева и офицеров к себе на обед и угощал их радушно. Тотчас после обеда С. Муравьев, вместе с офицерами, пересматривал бумаги, взятые у него Гебелем в Василькове и опять отнятые в Трилесах. Как бы предчувствуя ожидавшее его поражение, он сжег все письма, полученные от членов тайных обществ, и некоторые из бумаг, относящиеся к сим делам. Те же, которые он, неизвестно почему, оставил, были впоследствии захвачены правительством.

В полдень Муравьев вышел из Ковалевки к Трилесам. Прежде, нежели расскажем встречу его с отрядами Гейсмара, необходимо показать (сколько нам извест-

---

* Бежавшие во второй раз из деревни Пологи были: Петин, Маевский и Сизиневский; большая часть из них были увлечены Муравьевым во время восстания.

но), в каких силах он сошелся с неприятелем. Полагая, круглым счетом, в роте по 140 человек с унтер-офицерами, в 6-ти ротах было 840 человек. К сему должно прибавить взвод мушкетеров 1-й роты, которые в числе 70 человек соединились в Мотовиловке с полком, и 60 музыкантов, ставших в роты своих товарищей по собственному желанию. Следовательно, вся сила С. Муравьева состояла из 970 человек нижних чинов и пяти офицеров: а именно: барона Соловьева, Щепиллы, Кузьмина, Сухинова и Быстрицкого. Кроме сих офицеров, находились при нем Бестужев-Рюмин, Матвей и Ипполит Муравьевы-Апостолы.

С. Муравьев со своим отрядом, оставив вправо и влево дороги, идущие из Ковалевки в Трилесы, чрез деревни, для сокращения пути избрал дорогу, проложенную прямо через степь *. Полк, сомкнутый в полувзводную команду, медленно двигался вперед; не выходя из околицы ** и прошедши от Ковалевки не более 6 верст, между солдатами распространился слух, будто бы пушечное ядро убило в обозе крестьянина с лошадью. Никто не слыхал выстрела, нигде не было видно не только орудий, но даже ни одного неприятельского солдата, между тем в колонне произошло волнение и солдаты начали толковать, спорить, теряясь в догадках. Офицеры старались их успокоить, уверяя, что сии новости не что иное, как выдумка какого-нибудь труса или лгуна. Однако ж С. Муравьев построил взводы, сомкнул полк в густую колонну справа, вызвал стрелков по местам взводов и продолжал идти.

Едва колонна вышла и сделала не более четверти версты, как пушечный выстрел поразил слух изумленных солдат, которые увидели в довольно значительном расстоянии орудия, прикрытые гусарами. За сим выстрелом вскоре последовало несколько других, но ни один из оных не причинил ни малейшего вреда колонне — может быть, стреляли холостыми зарядами. Полк шел вперед. Муравьев приказал осмотреть ружья и приготовиться к бою; приказание сие ободрило солдат, но

* Дорога, лежащая вправо, из Ковалевки в Трилесы идет через деревни Пилиничинцы, Фаменовку и Королевку; они соединяются между собою и составляют как бы одно селение до самых Трилес, влево дорога лежит через деревню Устиновку.

** В Киевской губернии, загороженные около деревни на большое пространство пастбищные места, назывались «околицами».

сей порыв оживленного мужества был остановлен действительными пушечными выстрелами.

Первый картечный выстрел ранил и убил несколько человек. С. Муравьев хотел вызвать стрелков; новый выстрел ранил его в голову; поручик Щепилло и несколько рядовых пали на землю мертвыми. С. Муравьев стоял как бы оглушенный; кровь текла по его лицу; он собрал все силы и хотел сделать нужные распоряжения, но солдаты, видя его окровавленным, поколебались: первый взвод бросил ружья и рассыпался по полю; второй следовал его примеру; прочие, остановясь сами собою, кажется, готовились дорого продать свою жизнь. Несколько метких картечных выстрелов переменили сие намерение. Действие их было убийственно: множество солдат умерли в рядах своих товарищей. Кузьмин, Ипполит Муравьев были ранены, Быстрицкий получил сильную контузию, от которой едва мог держаться на ногах. Мужество солдат колебалось: Сухинов, Кузьмин и Соловьев употребляли все усилия к возбуждению в них прежних надежд и бодрости. Последний, желая подать собою пример и одушевить их своей храбростью, показывал явное презрение к жизни, становился под самые картечные выстрелы и звал их вперед, но все было тщетно. Вид убитых и раненых, отсутствие С. Муравьева нанесли решительный удар мужеству восставших черниговцев: они, бросив ружья, побежали в разные стороны. Один эскадрон гусар преследовал рассыпавшихся по полю беглецов, другой окружил офицеров, оставшихся на месте, занимаемом прежде колонною, между ранеными и убитыми. В это самое время Соловьев, увидя недалеко от себя С. Муравьева, идущего тихими шагами к обозу, подбежал к нему, чтобы подать ему помощь. С. Муравьев был в некотором роде помешательства: он не узнавал Соловьева и на все вопросы отвечал:

— Где мой брат, где брат?

Взяв его за руку, Соловьев хотел его вести к офицерам, оставшимся еще на прежнем месте. Но едва он сделал это движение, как Бестужев-Рюмин подошел к ним и, бросясь на шею к С. Муравьеву, начал осыпать его поцелуями и утешениями. Вместе с Бестужевым приблизился к ним один рядовой первой мушкетерской роты. Отчаяние изображалось на его лице,

вид Муравьева привел его в исступление, ругательные слова полились из дрожащих от ярости уст его.

— Обманщик! — вскричал он, наконец,— и с сим словом хотел заколоть С. Муравьева штыком. Изумленный таковым покушением, Соловьев закрыл собою Муравьева.

— Оставь нас, спасайся! — закричал он мушкетеру,— или ты дорого заплатишь за свою дерзость.

Сделав несколько шагов назад, солдат прицелился в Соловьева, грозя застрелить его, если он не откроет С. Муравьева. Соловьев схватил на земле лежавшее ружье и сделал наступательное движение, которое заставило опомниться бешеного солдата: он удалился, не сказав ни слова *. Когда надежды успеха исчезли, Ипполит Муравьев, раненный, истекая кровью, отошел несколько шагов от рокового места и, почти в то же самое время, когда гусар наскочил на него, он прострелил себе череп и упал мертвый к ногам лошади гусара. По приказанию генерала Гейсмара гусары окружили офицеров и раненых солдат и отобрали от них оружие **.

Таким образом кончилось пагубное для многих восстание Черниговского полка. Около 60 человек и 12 крестьян, находившихся в обозе, были убиты или тяжело ранены. Поручик Щепилло умер в рядах; С. Муравьев был ранен в голову; Ипполит Муравьев в левую руку; Кузьмин — в плечо навылет; все трое картечами. Быстрицкий получил сильную контузию в правую ногу; шинель Бестужева была прострелена в нескольких местах. Это служит доказательством, под каким убийственным

---

* При допросе сей солдат показал, будто бы С. Муравьев бежал, что он его удержал, грозя ему за сие смертью. Эта презрительная ложь недостойна никакого опровержения. Состояние Муравьева само за себя говорит. Говорили, что сего солдата произвели в унтер-офицеры в Полтавский полк.

** В «Annuaire historique» за 1826 г. напечатано показание самого С. Муравьева, который объясняет сие дело таким образом: «Je fis nanger mes compagnis en bataille; je leur commandat de se porter sur les canons etc». <«Я привел мои роты в состояние боевой готовности; я им приказал наступать на пушки, и т. д.»> Неизвестно, почему так написал С. Муравьев. Двояким образом можно объяснить сие: или — он нехорошо помнил все подробности, происходившие вокруг него; или — желание облегчить наказание солдат, которых он увлек за собою, заставило его объяснить сие дело, оправдывая более солдат и обвиняя себя.— Быстрицкий, Сухинов и Соловьев говорят, что ничего подобного не происходило и они не слыхали сих распоряжений от С. Муравьева.

огнем стоял Черниговский полк и сколь мало думали офицеры о своей жизни. Носились слухи, будто бы гусары сделали атаки на безоружных черниговцев и рубили их без пощады. Долг истины заставляет сказать, что сие вовсе не справедливо. Они, догнавши некоторых, окружили, других, разбежавшихся, собирали в одно место. Один только вахмистр начал ругать черниговских офицеров. Соловьев, обратясь к гусарскому поручику, сказал:

— Господин офицер, прикажите этому глупцу молчать.

Офицер полновесною пощечиною заставил вахмистра быть учтивее.

14

Черниговцы под стражей в Трилесах.— Самоубийство Кузьмина.— Отправка пленных в Белую Церковь.— Начало следствия над солдатами.— Отправка офицеров в Могилев.— Планы киевских членов Общества об освобождении Муравьева.— Аресты

В 5 часов вечера 3 января пленные офицеры и солдаты были привезены, под сильным конвоем, в дер. Трилесы. С. Муравьев, брат его Матвей, Соловьев, Кузьмин, Быстрицкий, Бестужев-Рюмин и солдаты, разжалованные из офицеров,— Грохольский и Ракуза — были все вместе помещены в корчме, в одной большой комнате, а за перегородкою находились караульные. Внутри и около корчмы были расставлены часовые. Нижние чины были размещены по разным крестьянским избам под строгим караулом. Вскоре после приезда в Трилесы умер Кузьмин истинно геройской смертью. При самом начале дела он был ранен картечною пулей в правое плечо навылет, но рана сия не помешала ему ободрять солдат словами и личным своим примером. Будучи прежде всех окружен гусарами, он сдался без сопротивления. Тут же в душе его возродилась мысль кончить добровольно бесполезные страдания, избегнуть позора и наказания. Когда с места сражения отправили их в Трилесы, Кузьмин сел в одни сани с Соловьевым. В продолжение дороги он был спокоен, весел, даже шутил и смеялся. Недалеко от Трилес Соловьев почувствовал холод, встал из саней и прошел около версты пешком; садившись опять в сани, он нечаянно облокотился на плечо Кузьмина. При сем

движении болезненное выражение изобразилось на лице его товарища. Соловьев, заметя сие и не подозревая вовсе, что он ранен, спросил его:

— Что с тобою? Вероятно, я крепко придавил тебе плечо: извини меня.

Кузьмин ему отвечал:

— Я ранен, но сделай милость, не сказывай о сем никому.

— По крайней мере,— возразил Соловьев,— приехав в Трилесы, позволь мне перевязать твою рану.

— Это лишние хлопоты, рана моя легкая,— сказал, улыбаясь, Кузьмин,— я вылечусь без перевязки и пластыря.

Веселость Кузьмина действительно заставила Соловьева думать, что рана не опасна: он замолчал, ожидая приезда на место. В корчме раненого С. Муравьева положили в углу комнаты, в которой было ужасно холодно. Он лежал там около часу, но, почувствовав сильную знобь, встал и пошел отогреться к камину. Кузьмин с самого приезда все ходил тихими, но твердыми шагами по комнате, но, вероятно, ослабевши от истечения крови и чувствуя маленькую лихорадку, присел на лавку, подозвал к себе Соловьева, которого просил придвинуть его поближе к стене. В ту самую минуту как Соловьев, взяв его под руки, потихоньку приподнимал, чтобы хорошенько посадить, С. Муравьев — от теплоты ли огня, горевшего в камине, или от другой какой-либо причины упал без чувств. Нечаянность его падения встревожила всех: все, исключая Кузьмина, бросились к нему на помощь,— как вдруг пистолетный выстрел привлек общее внимание в другую сторону комнаты. Часовые выбежали вон, крича:

— Стреляют, стреляют! — и дом почти остался без караула.

Удивление и горесть поразили сердца пленников. На скамье лежал окровавленный Кузьмин без черепа; большой, еще дымящийся пистолет был крепко сжат левою омертвевшею его рукою. Когда же с Кузьмина сняли шинель и мундир, то увидели, что правое плечо раздроблено картечною пулею, которая вышла ниже лопатки,— все нижнее платье было в крови. Тут товарищи его увидели явно, что он, получивши рану во время сражения, несмотря на жестокую боль, скрывал ее, с намерением лишить себя жизни пистолетом, спрятанным в рукаве его

шинели, и выжидал удобную минуту прибегнуть к роковой его помощи. Таким образом кончил жизнь один из злополучных и отважнейших сподвижников С. Муравьева. Сила воли, твердость души были отличительными чертами его характера. Будучи столь же пылок и решителен, как Ипполит Муравьев, Кузьмин присовокупил к сему постоянство в стремлении к цели: ни время, ни препятствия не могли отвратить его от предпринятого им однажды намерения. «Свобода или смерть»,— часто говаривал он с душевным движением, и смертию своею доказал, что чувствовал и говорил одно. Ипполит Муравьев и Кузьмин покоятся в одной могиле с Щепиллою, близ деревни Трилесы *.

На другой день, 4 января 1826 года, в 9 часов утра, всех пленных офицеров и рядовых отправили в город Белую Церковь. Дорогою, в 15-ти верстах от Трилес, по распоряжению эскадронного командира приготовлен был для всех арестантов обед. Тут гусары, находившиеся в конвое, старались разведать тайно от пленных офицеров, что было причиною восстания С. Муравьева, и когда узнали его цель и намерения, тотчас начали лучше обращаться с арестантами и жалели, что не знали сего прежде, говоря, что их уверили, будто бы Черниговский полк взбунтовался для того, чтобы грабить безнаказанно. Из их рассказов стало известно, что при выступлении гусар против Черниговского полка все эскадронные командиры были переменены и все русские офицеры замещены немцами. Нечаянный сей поход чрезвычайно был изнурительный для гусар, и они уверяли простодушно, что при малейшем сопротивлении Муравьева, при первом ружейном залпе обратились бы назад и не стали бы действовать против него.

В 4 часа пополудни пленные пришли в Белую Церковь и были сданы 18-му егерскому полку, который к тому времени пришел в сие местечко из гор. Богуславля. С. Муравьев и Бестужев-Рюмин были арестованы порознь, а Матвей Муравьев и другие офицеры остались вместе. Нижние чины содержались в крестьянских избах и были тут закованы в кандалы, сделанные из 100 пудов железа, пожертвованного графинею Браницкою, которая на сей раз забыла свою скупость. 5 января на-

---

* Ипполит Муравьев, Кузьмин и Щепилло брошены 4 января 1826 года в одну могилу, вырытую в поле, близ Трилес.

чалось следствие, порученное генерал-майору Курносову; в продолжение коего, в ночь с 11 на 12 число, С. Муравьев и прочие офицеры в кандалах были направлены в г. Могилев.

Между тем, члены Общества, находившиеся в Киеве, по приезде к ним Андреевича и Борисова 1-го намеревались там произвести восстание, надеясь на содействие пехотной дивизии. Среди сих начинаний они узнали о разбитии С. Муравьева, тотчас решились освободить его и Бестужева, и нашли еврея, который за 2000 руб. брался доставить арестованных из Белой Церкви в Киев. Не найдя сей суммы, офицеры начали закладывать вещи. Но прежде нежели они успели собрать нужные деньги, неожиданно Андреевич и Борисов 1-й были арестованы и тем самым осталось без исполнения покушение возвратить свободу С. Муравьеву, которого, впрочем, по словам Соловьева, легко было увезти чрез заднее окошко того дома, где он содержался: оно примыкало к жидовской корчме и близко оного не было поставлено часового.

15

Общий взгляд на восстание.— Ошибка С. Муравьева.— Его нерешительность.— Его нравственное состояние.— Влияние Матвея Муравьева.— Офицеры и С. Муравьев.— Планы С. Муравьева и малодушие ряда видных членов Общества.— Решительные меры правительства.— Возможность успеха.

Мы описали восстание Черниговского полка, видели плачевный конец этого подвига на юге, который, при других обстоятельствах, мог иметь благодетельное влияние на судьбу России. Взглянем теперь на совокупность происшествий и рассмотрим внимательно, но беспристрастно действия С. Муравьева.

Медленность и какая-то неопределенность в движениях поражают при первом взгляде. Спрашивается, что заставляло его после столь смелого начала ограничиться движениями около Василькова, делать небольшие переходы и дневать в Мотовиловке, между тем как солдаты, так и офицеры только того и желали, чтобы действовать наступательно. Сии жалобы не могли скрыться от начальника. Если бы С. Муравьев, не дожидая помощи, сам искал оную; если бы движения Черниговского полка были быстры, внезапны, то, кроме существенной выгоды,

сии движения укрепляли бы дух подчиненных и поддерживали их надеждою успеха. С. Муравьеву должно было собрать полк как можно скорее, избрать какой-либо один или два пункта и действовать с быстротою молнии. Киев, Брусилов, Белая Церковь, Паволочь, потом Житомир,— вот места, куда он должен был броситься и увлечь за собою находившиеся там полки, в коих или командиры или офицеры, будучи членами тайного общества, верно бы соединились с ним, тем более, что один усиленный переход достаточен был для занятия которого-нибудь из сих мест *. В Киеве он мог бы надеяться на присоединение Курского пехотного полка и даже других полков, стоявших в окрестностях города. Кроме того артиллерийские офицеры, находившиеся при арсенале, вероятно, сдержали бы слово, данное ими Андреевичу, и занятие такого города, как Киев, имело бы большое влияние на умы. В паволочи командир конной роты артиллерийской и офицеры, принадлежа к Обществу, конечно, не упустили бы случая оправдать при появлении С. Муравьева делом все, что говорилось ими при других членах. Брусилов и Белая Церковь представляли ему более или менее подобных выгод. Если же он не имел намерения воспользоваться сими выгодами и надеялся более на 8-ю, нежели на 9-ю дивизию, то и в таком случае ему должно было устремиться к ее квартирам и занять Житомир быстрым, неожиданным движением.

Во время самого похода из Василькова до деревни Полог и далее С. Муравьев на каждом шагу делал ошибки и непростительные упущения; кроме того, он не принимал никаких предосторожностей. Когда он находился в Пологах и его уведомили, что ночью гусары подъехали к самым постам, он оставил сие донесение без внимания. Совет Сухинова сделать сильную рекогносцировку также был отвергнут. Вместо того, чтобы по предложению Сухинова идти из Ковалевки в Трилесы которою-нибудь из дорог, лежащих чрез деревни, он пошел степью, не защищенною ничем и весьма удобною как для кавалерийской атаки, так и для действия артиллерии. Идя же в Трилесы чрез деревни: Пилиничинцы, Филипповку и Королевку, которые, соединяясь между собою, составляют как бы одно селение, при нападении на него отряда Гейсмара он мог бы защищаться против гусар

* От Василькова до Киева — 35 верст, прочие места более или менее на такое же расстояние отстают от Василькова.

стрелками, тем более, что тогда артиллерия не вредила бы ему картечью, и может быть Гейсмар не решился бы сжечь селения. Даже при выстрелах в него, сделанных конной артиллерией, он мог бы переменить направление и послать одну или две роты в деревню Королевку, которые, обойдя гусарский полк, могли бы ударить его во фланг или грозить ему сим движением *. Конечно, гусары не стали бы оспаривать поле сражения, ибо, по-видимому, они были посланы только для наблюдения за движением Черниговского полка, в ожидании войск, шедших против оного. Кроме сего, гусары неохотно действовали и, может быть, некоторые из них присоединились бы, если б сии последние одержали верх в сем деле. С. Муравьев должен был употребить всю деятельность и расторопность, чтобы непременно в первом деле иметь хоть малый успех над неприятелем: это придало бы более нравственной силы его подчиненным и, может быть, слухи о его успехе привлекли бы к нему людей нерешительных, но готовых действовать.

При этом случае нельзя не упомянуть и о нравственном состоянии самого С. Муравьева. Кажется, он вовсе не приготовлялся к восстанию и не думал об оном, оно было произведено обстоятельствами. Решительное действие четырех офицеров, когда он был арестован, поставило его в необходимость принять команду. Насильственное начало, ужасная и жестокая сцена с Гебелем сильно поразили его душу. Во все время похода он был задумчив и мрачен, действовал без обдуманного плана и как будто предавая себя и своих подчиненных на произвол судьбы. Веселость появлялась на его лице только в кругу офицеров, которые всегда были одушевлены надеждами: тут он опять находил в себе твердость и решительность, и когда выходил с ними к фронту, всегда являлся со свойственною ему привлекательностью и важностью, одушевлял солдат сильным, кратким красноречием, которое овладевало всеми умами. Но сие действие было непродолжительно: его брат Матвей много вредил ему. Не имея ни твердости в характере, ни желания жертвовать всем для достижения цели, этот человек, со своею детскою боязнью, своими опасениями, смущал С. Муравьева и отнимал у него твердость духа. После каждого разговора с братом С. Муравьев впадал в глу-

* Он мог держаться в деревнях и ночью продолжать путь, как солдаты сами желали того.

бокую задумчивость и даже терялся совершенно. Офицеры, заметя сие, старались не оставлять Матвея наедине с братом и даже хотели просить С. Муравьева, чтобы он удалил его от полка. Он дорогою упрекал С. Муравьева в неумеренной жестокости с Гебелем до того, что С. Муравьев хотел в Василькове идти просить у него прощения, но офицеры его не допустили. По его же совету С. Муравьев выпустил из-под ареста майора Трухина и жандармских офицеров. При первых выстрелах он спрятался в обозе. Вообще поведение его было таково, что офицеры раскаивались, что, из уважения к С. Муравьеву, не настояли на том, чтобы удалить его от отряда. Тягостно иногда говорить прямую истину, но уважение к памяти погибших людей и уважение к самому себе требует исполнения сих обязанностей.

Мы сказали, в чем можно упрекнуть С. Муравьева; скажем теперь и то, что может служить к его оправданию.

Может быть, он держался близ Василькова с каким-либо намерением: вероятно, надежда, что посланные против него полки соединятся с ним, была причиною медленности его движений (это подтверждается наставлениями, данными Мозалевскому при отправлении его в Киев, а именно — узнать, какие полки будут посланы против него, кто ими будет командовать и пр.). Высокие чувства и благородная душа С. Муравьева не позволяли ему сомневаться в обещании других членов; он надеялся, что те, которые ручались честию за свои полки и роты, не оставят его в трудные минуты восстания. Он верил всем, не воображая, что в этом случае люди, известные своею храбростью и честностью, сыграют роль трусов и обманщиков. Обещания их набросили на его шею веревочную петлю, за уверенность в их мужестве и правдивости он заплатил жизнью.

Приготовительные действия членов Южного общества не имели никакой определенной цели. Раздор членов, обманчивые надежды на помощь людей, с коими они не имели никаких сношений, преувеличение сил своих, слабость характеров, боязнь междоусобия, желание достигнуть своей цели без трудов и опасностей,— заранее уничтожили всякую уверенность в успехе. В таких обстоятельствах борьба горсти людей с исполинскими силами правительства была верх безрассудства; чтобы выйти победителем, нужно было чудо. Без сомнения, никто не

станет обвинять С. Муравьева в легковерии. Можно ли было полагать, что средством к разбитию Черниговского полка будет употреблена конная артиллерийская рота, в которой не только командир, но все без исключения офицеры принадлежали к Южному тайному обществу *. Если медленность Муравьева и робость некоторых членов Общества вредили успехам переворота, то, с другой стороны, и решительные меры, принятые местным начальством для усмирения мятежа, делали оные невозможными. Командиры 3-го и 4-го корпусов действовали с необычайной скоростью. Положительно известно, что все повеления в полки о выступлении в поход были посланы от них; не известно, имели ли они прежде какие-либо предписания от высшего начальства, или сами собою действовали. Не станем теряться в догадках; сближая время восстания Черниговского полка и движения войск против него со времени разбития С. Муравьева, можно предполагать, что корпусные командиры лично от себя распоряжались.

Как скоро слух о восстании Черниговского полка дошел до командиров 3-го и 4-го корпусов, то все квартировавшие недалеко от Василькова пехотные и кавалерийские полки поднялись с быстротою молнии и шли для укрощения возникшего мятежа. Жандармский офицер Ланг, бежавший из Трилес, дал первый знать в дивизионную квартиру 9-й дивизии (в Белую Церковь) о случившемся там происшествии 29 декабря 1825 г. Курьеры ту же минуту были отправлены к высшему начальству. По получении известия генерал Рот тотчас поехал в Бердичев и Паволочь за гусарскими полками и артиллерией. Должно думать, что местные начальства не имели настоящего понятия о силе Общества. Боязнь и подозрительность увеличивали в их глазах опасность. Из распоряжений генерала Рота можно видеть, что Мариупольский полк и 5-я конная рота были посланы только для наблюдения за движениями Черниговского полка, а не для усмирения оного, ибо, разделив помянутый полк на три отряда, он приказал им занять те дороги, по которым мог следовать С. Муравьев, единственно с тем, чтобы сии конные отряды действовали по обстоятельствам

* Генерал Рот, узнав о восстании Черниговского полка, поехал в расположение квартир гусарской бригады и конной артиллерии. Пыхачев мог бы его там арестовать, но он потерял в сем случае, как говорят, голову.

в ожидании других войск. Сии отряды были расположены следующим образом: первый — под командою самого генерала Рота — находился между Белою Церковью и Паволочью; второй — в деревне Пологах, под командою генерала Гейсмара, который отыскал С. Муравьева и потом разбил его; третий неизвестно где стоял, по всей вероятности, он занимал такой пункт, из которого мог, в случае нужды, подать скорую помощь как первому, так и второму отряду. Кроме того, генерал Рот приказал двинуться в Паволочи гусарским полкам, а именно: Принца Оранского, Александрийскому и Ахтырскому.

Еще с большею скоростью действовало военное начальство города Киева. Узнав от майора Трухина и жандармских офицеров о восстании Черниговского полка, там все пришло в движение. В ту же ночь высланы были против С. Муравьева стоявшие в карауле: 8-й дивизии — Курский пехотный полк и 7-й дивизии — батальон Муромского полка. Кроме того, в 1 1/2 не более часа было отправлено множество курьеров в полки с повелениями выступить немедленно в г. Васильков *, а к разным начальствам — с уведомлением о происшествии **. Вследствие сих повелений, полки 10-й дивизии: Витебский, Полоцкий, 19-й и 20-й егерские полки; вся 11-я дивизия, полки 12-й дивизии: Воронежский, Рыльский, Старооскольский,— выступили из своих квартир еще до разбития С. Муравьева и двинулись против Черниговского полка. 4-я драгунская дивизия следовала к Василькову, а некоторые полки оной дивизии, 3 января, уже дошли до города Козельска. Кроме сего, 2-й армии драгунская дивизия была на подходе и находилась уже близ Василькова. 25-я пехотная дивизия Литовского корпуса была собрана в городе Дубнах и ожидала только вторичного повеления выступить в поход. Утверждают, будто границы Галиции занял 30-ти тысячный корпус австрийцев. Генерал Рот, подозревая, что офицеры 3-го корпуса должны быть в связях с С. Муравьевым, не послал про-

* Мозолевский был в ту же ночь отправлен с курьером в г. Могилев, и уже на первой станции ни одной тройки не нашли лошадей. Курьеры, разосланные из Киева с известиями о восстании Черниговского полка, забрали всех лошадей.

** Между прочими курьерами князем Щербатовым были посланы два курьера в Полтавскую губернию: один — прямо в имение С. Муравьева, село Хомутец, неизвестно зачем; другой — к полтавскому генерал-губернатору с сообщением наложить запрещение на имение С. Муравьева.

тив него ни одного пехотного полка вверенного ему корпуса и отрядил только 3-ю гренадерскую дивизию и Конную артиллерию *. Вероятно, он предоставил действовать пехотою против С. Муравьева командиру 4-го корпуса князю Щербатову, который двинул почти все полки своего корпуса **. Но и здесь генерал Рот и князь Щербатов могли жестоко обмануться; полки Курский, Витебский, Воронежский, Старооскольский, где были члены Общества подполковники Крупенников, Хотяинцев, Капнист и, вероятно, много других штаб- и обер-офицеров, могли соединиться с Черниговским полком и подать помощь С. Муравьеву. Можно было также надеяться на часть 4-й драгунской дивизии. Кроме сего, к С. Муравьеву могли присоединиться множество членов тайного общества, рассеянных в разных полках, которые при малейшем успехе, лично или со своей частию войск пристали бы к нему и тем увеличили его силу. Если бы С. Муравьев был подкреплен артиллерией и несколькими пехотными или конными полками и имел некоторый успех; если бы полки и жители западных губерний приняли участие в сем деле, то правительство встретило бы большие затруднения в усмирении мятежа. Неизвестно, чем бы все это кончилось: может быть, ничтожное восстание С. Муравьева с Черниговским полком было бы новою эпохою жизни русского народа.

16

Бегство Сухинова.— Сухинов в Пилиничинцах, Гребенках, у Зинькевича в Каменке.— Арест Сухинова в Кишиневе.— Отправка его в главную квартиру

Оставим догадки и предположения и возвратимся к печальной существенности — к нашему повествованию. Мы оставили поручика Сухинова на месте сражения: скажем теперь, каким образом он избег на некоторое время преследования правительства и по какому случаю подвергся потом одной участи со своими товарищами.

* С. Муравьев не принял в соображение сего обстоятельства и для того ему должно было не дожидать помощи, но самому стремиться на те полки, где находятся члены.

** 3-го корпуса 7-й дивизии батальон Муромского полка, стоявший в Киеве, один из целого корпуса был послан против С. Муравьева и то князем Щербатовым.

Сухинов, видя невозможность остановить и собрать рассеянных солдат, решился сам искать спасения в бегстве и пустился вслед за ними к деревне Пилиничинцам, отделенной от поля сражения глубоким оврагом. Преследуемый гусарами, он добежал до сего оврага и прямо бросился в оный. Снег был глубок и вязок; Сухинов никак не мог выйти и уже думал, что тут кончилось его предприятие при самом начале. Но солдаты Черниговского полка, увидя любимого ими офицера, с опасностью жизни бросились к нему на помощь и, вытащив его из снега, перенесли на другую сторону оврага. Тщетно гусары, стоя на краю пропасти, приказывали им схватить офицера и привести назад — солдаты не повиновались сему приказанию; переправив Сухинова, они воротились и сдались гусарам. Часть преследовавших гусар окружила сдавшихся солдат и повела их к сборному месту; другая поскакала кругом, с намерением перехватить Сухинова, который между тем перебежал поле, отделяющее овраг от деревни, и достиг безопасно одной крестьянской избы.

Увидя хозяина, он просил убежища. Добрый крестьянин спрятал его в погребе. Положение Сухинова было ужасно: вообразите человека в глубоком, холодном погребе, терзаемого горестными мыслями о несчастии своих товарищей и лишенного всех надежд и ожиданий. Крики гусар, обыскивающих ближние домы, беспрестанно напоминали ему об угрожающей опасности и ожидающей его участи. В таком положении Сухинов пробыл до наступления ночи. Жизнь казалась ему тяжким бременем, от коего он желал освободиться как можно скорее. При свидании с товарищами, рассказывая им свои приключения, он чистосердечно признавался, что в эти тягостные минуты он дорого бы заплатил за вечный, беспробудный сон.

— Сидя в холодном погребе,— говорил он,— слыша лошадиный топот и крики гусар, я решился умереть. Со мною был заряженный пистолет: два раза я клал оный себе в рот, и два раза кремень осекался. Бросив, наконец, убийственное оружие, я подумал, что мне должно жить и ожидать другой участи.

Вскоре после сего пришел к нему крестьянин и простым малороссийским наречием сказал:

— Идыте, пане, до хаты; не чутко никого; москали побігли далі.

Пришед в избу, Сухинов подкрепил истощенные свои силы ужином, надел крестьянскую одежду хозяина и собрался в дорогу. Прощаясь с добрым крестьянином, который, провожая, благословил нечаянного своего гостя, он отдал ему последние шесть рублей серебром. Простодушный малороссиянин долго не хотел принять сих денег, но усиленные просьбы Сухинова победили, наконец, его бескорыстие.

Уже было около 10 часов ночи, как Сухинов пошел прямо в Гребенки, где жил знакомый ему поляк, как постучал в окно и просил приюта. Поляк, узнав Сухинова по голосу, вышел к нему навстречу, повел в комнату и, расспрося о всем случившемся, благословлял небо за спасение его приятеля. Как он, так и его жена осыпали Сухинова ласками, стараясь помочь ему во всем, чем только могли. Они приняли все предосторожности для отвращения всякого подозрения; старались даже, чтобы дворовые люди не знали о приходе Сухинова. Хозяйка сама согрела воды и приготовила чай, между тем как хозяин пошел тихонько в конюшню, запряг лошадь в сани и, одев Сухинова в свое платье, снабдил его 10 рублями на дорогу и отправил в путь с истинным желанием счастия. Благородный поступок поляка и его жены выше всяких похвал: он сам за себя говорит; за достоверность оного ручается каждое благородное сердце . Прискорбно, что имя и фамилия сего великодушного человека останутся неизвестными, но он щедро награжден своею совестью.

Оставив деревню Гребенки, наш странник выехал на Богуславскую дорогу и в первый ров бросил свое военное платье. Чрез несколько дней он добрался до селения Каменки, принадлежащего полковнику Василию Львовичу Давыдову. У Давыдова был штаб-лекарь Зинькевич, прежде служивший в Черниговском полку и потому знакомый Сухинову. Зинькевич, увидя его, тотчас догадался, что он участвовал в возмущении и ищет убежище. Сухинов с откровенностью рассказал Зинькевичу все случившееся:

— Я надеюсь,— сказал он, кончив свой рассказ,— что вы будете великодушны и дадите мне способ скрыться от поисков правительства.

Зинькевич отвечал почти положительно, но был прерван приходом Давыдова, который, поговорив с Зинькевичем, вывел его тотчас в другую комнату. Через несколько минут Зинькевич возвратился один и объявил

Сухинову, что правительство ищет его повсюду и что он должен, не теряя времени, уехать туда, где думает обмануть деятельность полиции...

— Я вам советую,— говорил он,— прошу вас, требую, чтобы вы не оставались ни секунды не только здесь, но даже в имении Давыдова; поезжайте скорее и куда хотите: я не хочу отвечать за вас,— бог с вами!

Пораженный как громовым ударом, Сухинов не мог произнести ни одного слова; он никак не думал найти такого приема в деревне, принадлежавшей одному из главных членов Южного общества; никогда не полагал, чтобы прежний товарищ Зинькевич таким образом его принял. Штаб-лекарь, заметя смущение Сухинова, смешался и начал извиняться.

— Я не волен ни в одном из своих поступков,— сказал он между прочими извинениями.— Я служу у помещика и потому нахожусь в зависимости, не могу ничего сделать для вас без его согласия, но рад вам пособить всем, чем могу и что принадлежит собственно мне. Я еще повторяю вам, что вы не найдете у меня убежища; скрывайтесь, если можете, в другом месте и поезжайте поскорее.

Может быть, опасение навлечь на себя подозрение правительства заставило Зинькевича принять таким образом несчастного своего товарища; но Сухинов всегда думал и впоследствии говорил своим товарищам, что Зинькевич может быть и не сделал бы сего без особенного внушения со стороны Давыдова.

Огорченный Сухинов запряг свою лошадь и, простившись с Зинькевичем, собрался в дорогу. Когда он уже сел в сани, Зинькевич подошел к нему, дал ему несколько рублей серебром и, прощаясь, просил Сухинова убедительно не открывать правительству своего пребывания в Каменке, если, по несчастию, он не успеет уехать за границу. Сухинов, поблагодарив своего товарища за денежное вспоможение, сказал:

— Относительно моей скромности, я вас уверяю, что никогда не вспомню ни о Каменке, ни о ее владельце.

Таким образом он выехал из деревни днем, пробыв в ней не более часа. Между тем правительство разослало повсюду объявление о бежавшем Сухинове, с описанием его примет и с строгим повелением доставить его в руки начальства, везде производились розыски. Приехав в Александрию Херсонской губернии, Сухинов отыскал

своего родного брата, служившего там в гражданской службе, и был принят им с братским участием; но, как человек недостаточный, он ничем не мог ему помочь и, живя в наемном доме, не решался долго скрывать его у себя. Посему Сухинов, пробыв в Александрии несколько дней, написал себе паспорт отставного офицера и поехал в Кишинев с намерением пробраться оттуда в турецкие владения. Путь его к Кишиневу был весьма труден и опасен, очень часто он думал, что его узнают; часто он читал объявления правительства о бежавшем мятежнике Сухинове. Иногда ему случалось ночевать вместе с отыскивавшими его чиновниками; и несколько раз спрашивали его, не случалось ли ему встретить где-нибудь человека с такими-то приметами, прозываемого Сухинов? — Наконец, после долгого и трудного странствования, он приехал в Кишинев в феврале 1826 года и остановился у одного мещанина. Расспросив в городе у разных людей дорогу и место переправы через Прут и узнавши, что очень легко сие исполнить, он решился, наконец, оставить Кишинев и вместе с ним — отечество.

— Горестно было расставание с родиною,— говорил он после с сильным чувством своим товарищам,— я прощался с Россиею, как с родною матерью, плакал и беспрестанно бросал взоры свои назад, чтобы взглянуть еще раз на русскую землю. Когда я подошел к границе, мне было очень легко переправиться через Прут и быть вне опасности, но увидя перед собою реку, я остановился... Товарищи, обремененные цепями и брошенные в темницы, представились моему воображению... Какой-то внутренний голос говорил мне: ты будешь свободен, когда их жизнь пройдет среди бедствий и позора. Я чувствовал, что румянец покрыл мои щеки; лицо мое горело, я стыдился намерения спасти себя, я упрекал себя за то, что хочу быть свободным... И возвратился назад в Кишинев!.. Пробыв несколько дней в городе у прежнего своего хозяина, я снова намерился бежать. Опять на берегу Прута та же тяжесть расставанья с родиною, опять тот же упрек совести, и я опять возвратился снова в Кишинев.

Когда он возвратился второй раз в Кишинев, он был уже без денег; тут он продал лошадь, подаренную ему в Гребенках поляком, решился остаться в России и не укрываться от поисков правительства. Без всякой предосторожности написал к своему отцу, где подробно из-

образил свое положение, место своего пребывания и отослал сие письмо на почту. Между тем, хозяин дома начал подозревать своего постояльца. 15 февраля Сухинов сидел один в дальней комнате, преданный самым мрачным мыслям, как вдруг увидел перед собою полицеймейстера, который, посмотрев на него пристально, вышел вон, не сказав ни слова. Нельзя было не догадаться, что его узнали, но Сухинов спокойно ожидал своей участи. Вскоре после сего приехал генерал Желтухин с помянутым полицеймейстером. На вопрос: кто он таков? — Сухинов отвечал смело:

— Офицер Черниговского полка; после разбития С. Муравьева я бежал, скрывался до сих пор в Кишиневе и других местах, я с радостью отдаюсь в руки правительства; мне тягостно мое положение.

По приказанию Желтухина его тотчас повели на гауптвахту, где заковали ему руки и ноги. На другой день он был отправлен в Одессу. Дорога из Кишинева в Одессу была весьма тягостна для Сухинова: цепи, обременявшие его руки и ноги, были столь тесны, что железо впилось в тело. Холодная и сырая погода, трудный путь, боль, производимая цепями,— расстроили его здоровье; раны, полученные им в Отечественную войну, открылись, и он чувствовал лихорадку. (Сухинов служил в Отечественную войну в Лубенском гусарском полку, получил в разных сражениях против французов семь ран; левая рука была сильно разрублена и в другой раз прострелена пулею).

В Одессе он был представлен немедленно графу Воронцову, который принял его очень ласково и оказал величайшее соболезнование. Цепи с Сухинова была сняты, по приказанию графа. Ему была отведена особенная комната в доме генерал-губернатора, дано новое белье, предложен обед и ужин. На другой день поутру на Сухинова набили те же самые железа и под присмотром частного пристава отправили в Главную квартиру, в город Могилев. Обхождение полицейского чиновника было грубо и даже жестоко. Сухинов переносил оное с терпением. Приехав в Житомир, частный пристав остановился в трактире обедать. Сухинов, пользуясь сим, просил позволения отдохнуть несколько времени, представляя ему, что открывшиеся раны и расстройство здоровья лишают его возможности продолжать по-прежнему дорогу. Грубости были ответом на его просьбу. Сухинов, выведен-

ный из терпения и раздраженный жестокостями частного пристава, схватил нож, лежавший на столе и, бросившись на него, вскричал в бешенстве:

— Я тебя, каналью, положу с одного удара, мне один раз отвечать, но твоя смерть послужит примером другим мошенникам, подобным тебе.

Испуганный полицейский чиновник упал на колени и, дрожа весь от страха, просил прощения во всех оскорблениях, нанесенных им Сухинову; обещал впредь быть вежливым и делать все, что от него будет зависеть. Частный пристав сдержал свое слово, от Житомира до Могилева заботился о Сухинове как о своем родном. Позволял ему отдыхать, сам перевязывал ему раны, был учтив и вежлив. Угрозы сделали его совсем другим человеком. Поступок Сухинова, во всяком случае достойный порицания, который мог даже усугубить его положение, был ему на этот раз полезен. Страх заставил испорченное и грубое сердце вспомнить о том, что требует от нас несчастный, изнемогающий под бременем судьбы. В конце февраля Сухинов прибыл в Главную квартиру 1-й армии, где уже по величайшему повелению производилось следствие.

17

Действия славян в Полтавском полку.— Попытка Трусова и Троцкого поднять восстание в Бобруйске.— Отступничество Тизенгаузена

Для полноты рассказа упомянем о действии славян, служивших в Полтавском пехотном полку: оно в тесной связи с восстанием С. Муравьева.

Мы уже видели, что оно случилось неожиданно для большей части членов тайных обществ; что некоторые узнали о сем происшествии вместе с разбитием, а иные, хотя узнали прежде, но не хотели или не могли содействовать оному. Другие же, напротив, полагая, что Черниговский полк восстал по предварительному намерению, и будучи уверены, что сие восстание есть и исполнение заранее обдуманного плана,— только что услышав о происшествии 29 и 30 декабря, решились сами действовать. Таким образом члены Славянского общества, служившие в Полтавском полку, почитая священною обязанностью исполнить слово, данное во время присоединения к Южному обществу, и думая, что возмущение Черниговского полка есть знак ко всеобщему восстанию,

хотели немедленно следовать влечению сих чувств, но встретили препятствие в своем полковом командире Тизенгаузене, члене Южного общества. Расскажем подробно сие происшествие; оно резко обозначивает характер лиц, участвовавших в сем деле, и представляет полезные наблюдения изучающему человеческое сердце.

В 1824 году был принят в Славянское общество юнкер Драгоманов, молодой человек, получивший хорошее воспитание. Природные его дарования были развиты занятиями, деятельною жизнию и желанием образовать себя еще более. Вступив в Общество, он был ревностнейшим членом оного, участвовал во всех совещаниях в лагере под Лещином и знал условия, на коих соединились два Общества. Хотя он был недоверчив и не полагал, что можно так скоро освободить Россию, однако ж верил силе Южного общества и надеялся на успех замышляемого переворота. Будучи убежден, что для возмущения полка необходимо принять в Общество ротных командиров, способных действовать на солдат, и зная, что в Полтавском полку, кроме полкового командира Тизенгаузена, поручика Усовского и Бестужева-Рюмина, нет ни одного члена,— он решился тотчас после Лещинского лагеря увеличить число оных. Вследствие сего намерения он принял в Общество двух ротных командиров: поручика Троцкого и подпоручика Трусова, пылких и решительных молодых людей, сообщил им все известное о делах и намерениях тайного общества, взял обещание действовать по общему плану и поднять знамя свободы при первом знаке к восстанию.

За три месяца до восстания Черниговского полка Тизенгаузен со своим полком занял крепость Бобруйск для содержания в оной караула. Драгоманов, Усовский, Троцкий и Трусов, будучи отделены от своей дивизии, не знали, что происходит в оной. От Бестужева-Рюмина, который никогда не жил в полку, они не имели никакого известия; он их не уведомил даже, что намерены предпринять члены тайного общества после смерти государя: по сему они следовали правилам, положенным в Лещине, действовать медленно на солдат и офицеров, но быть в готовности на все. С. Муравьев не заботился о них и, вероятно, забыл, что они существуют. Он видел одного Тизенгаузена и всю надежду полагал на него. Тизенгаузен же, со своей стороны, не имея в душе намерения способствовать к восстанию и показывая себя свободо-

любивым из каких-то личных по службе неудовольствий, никогда не заботился об офицерах и солдатах и с первыми не имел никакого сношения по делам Общества. Обхождение Тизенгаузена с офицерами было в полном смысле предосудительно. При каждом случае он обнаруживал деспотический и мстительный характер, лучшие офицеры вышли из его полка, другие намеревались оставить оный. Обращение его с солдатами было еще хуже: на него жаловались как на грабителя и притеснителя подчиненных *.

В начале января 1826 года в Бобруйске Полтавский полк вступил в свою очередь в караул. За несколько часов до развода разнесся слух о восстании Черниговского полка. Трусов и Троцкий, думая воспользоваться случайным сбором полка, не медля ни мало положили взбунтовать полк и завладеть крепостью Бобруйском. Пылая рвением подражать черниговцам и полагаясь на содействие Тизенгаузена, как ревностного члена Южного общества, сии офицеры при вступлении полка в развод обнажили шпаги и, выбежав вперед, закричали:

— Товарищи, солдаты, за нами! Черниговцы восстали: стыдно нам от них отстать! Они сражаются за вашу свободу, за свободу России; они надеются на нашу помощь. Пособим им,— вперед, ура!

Все офицеры были поражены поступком Троцкого и Трусова. Нечаянность сего поступка навела на всех какую-то неподвижность и оцепенение. Солдаты поколебались, в рядах раздался гул, и если б хотя один из них выбежал вперед, без сомнения, он увлек бы многих. Может быть, нужно было одного человека, одной минуты, и Бобруйск был бы в руках Общества, но какая-то невидимая сила держала солдат и офицеров, как прикованных к одному месту. Троцкий и Трусов, пробегая ряды, продолжали убеждать солдат, но Тизенгаузен, стоявший с начала сего действия в отдалении, тотчас догадался, о чем идет дело. Подбежав к Троцкому и Трусову, он приказал их схватить и связать, как негодных бунтовщиков. Ему повиновались немедленно: их схватили и тут же перед полком связали. Троцкого и Трусова сей

---

* Сие мнение было общим в 3-м корпусе, а особливо в 9-й дивизии. Положительно можно сказать, что Тизенгаузена офицеры и солдаты ненавидели. Насчет его характера, деспотического и мстительного, можно было бы множество примеров привести. Кто служил в 3-м корпусе, то все знают их.

час отвели на гауптвахту, где Тизенгаузен приказал им набить кандалы на руки и ноги. Потом написал рапорт о сем происшествии к главнокомандующему 1-й армией и при сем рапорте отправил Троцкого и Трусова через час в г. Могилев. Те, которые читали сей рапорт, говорят, что полковник Тизенгаузен не позабыл ничего, могущего очернить сих офицеров; он был, так сказать, наполнен словами: пьяницы, разбойники, бунтовщики, развратники, грабители и прочее. По приезде в Могилев Троцкий и Трусов в тот же день были отправлены в Петербург, из коего, по прошествии суток, были снова отосланы в Главную квартиру с повелением кончить дело в 24 часа. По прошествии сего времени была прочтена военносудною комиссиею сентенция, коей были приговорены к смерти; но конфирмациею главнокомандующего сие наказание смягчено и переменено в вечно-крепостную работу.

Они подверглись своему наказанию на месте преступления: через два дня их отправили в крепость Бобруйск. Когда Троцкого и Трусова представили коменданту сей крепости генералу Безаку, который их лично знал, он им сказал:

— Вы меня простите, я нисколько не могу смягчить вашей участи: вы по такому делу сосланы сюда, что я ничего не в состоянии для вас сделать.

Им тут же выбрили головы, надели каторжное платье и отослали тотчас на работу.

III

СУДЬБА УЧАСТНИКОВ

Военный суд в Могилеве.— Исполнение сентенции над офицерами.— Приговор над солдатами.— Участь Грохольского и Ракузы

Описав восстание Черниговского полка и горестный конец сего предприятия, мы почитаем необходимым сказать, какой жребий постиг всех участвовавших в оном.

Все офицеры Черниговского полка были привезены в Могилев и там преданы военному суду при Главной квартире, исключая капитана Фурмана и С. Муравьева, которые судились в Петербурге. Мы не будем говорить, каким образом производилось дело, о чем подсудимых спрашивали и что они показывали. Мы только скажем, что в Могилеве было две комиссии военного суда, из ко-

их одна разбирала дело о 40 человек, служивших в разных пехотных и кавалерийских полках и артиллерийских ротах, и взятых по подозрениям и показаниям; а во второй судились 13 человек офицеров Черниговского полка и еще 17-го егерского полка подпоручик Дмитрий Молчанов. Каждый из офицеров Черниговского полка содержался в особой комнате. Соловьев, Сухинов, Быстрицкий и Мозалевский были закованы во все время суда в железа. Монастырь, принадлежавший прежде иезуитам, служил темницею сим офицерам. Суд был кончен в конце мая месяца — и 13 июля в Могилеве были прочтены сентенции офицерам, бежавшим из полка во время восстания, а именно — Рыбаковскому, Кондыреву, князю Мещерскому, Апостол-Кегичу и Белелюбскому, кои были приговорены к шестимесячному заключению в крепости и, по истечении сего срока, к зачислению в полки теми же чинами. Петин, Войнилович, Сизиневский и Маевский были лишены чинов и дворянского достоинства и сосланы рядовыми в дальние сибирские гарнизоны. Соловьеву, Сухинову, Мозалевскому и Быстрицкому в Могилеве не читали конфирмированных сентенций: они 18 июня были отправлены в город Острог, где квартировал новосформированный Черниговский полк. 22 или 23 июля, на другой день их приезда в помянутый город, новый Черниговский полк был собран на городской площади под командою излечившегося от ран полковника Гебеля *. Для исполнения сентенции назначен был начальник штаба 3-го корпуса князь Горчаков. Первые были выведены перед полком — Соловьев и Быстрицкий, которым ** на квартире сняли железа. Соловьеву прочли сентенцию, в коей, между прочим, сказано было: переломить шпагу перед полком; с имения взыскать деньги за растраченные казенные вещи во время бунта: подвесть на месте преступления, в городе Василькове, под виселицу, и прочее; Быстрицкого же, разжаловав и переломив шпагу перед полком, послать навечно в каторжную работу. По исполнении сего их тут же на площади заковали в железа; Быстрицкого прямо отвели

* Гебель в сие время назначен уже был комендантом в город Киев, но за неприбытием нового полкового командира продолжал командовать Черниговским полком.

** Соловьев был в одной рубашке и халате. Генерал прислал ему сюртук и рейтузы, чтобы одеться для церемонии. Соловьев не принял сего и пошел к слушанию сентенции в том, в чем был прежде, и в этом же самом платье дошел с партией до Москвы.

в городскую тюрьму для отсылки в Сибирь, а Соловьева посадили в приготовленную кибитку и отправили в Житомир. Потом привели пред полком Сухинова и Мозалевского. Им была прочтена сентенция та же самая, что и Соловьеву. Когда Сухинов услышал слова «сослать в вечнокаторжную работу в Сибирь», то громко сказал:

— И в Сибири есть солнце...

Но князь Горчаков не дал ему докончить, закричав с бешенством, чтобы он молчал и грозя, что будет за это непременно во второй раз отдан под суд. Говорят даже, что начальник штаба хотел привести в исполнение сию угрозу, но генерал Рот не согласился.

Соловьев, Сухинов и Мозалевский, привезенные из города Острога, содержались в Житомире целый месяц и потом отправлены были в город Васильков. 23 августа, на другой день их приезда в сей город, они были выведены на городскую площадь, на которой собран был Тамбовский пехотный полк, занимавший в сие время прежние квартиры старого Черниговского полка, и батальон, составленный из солдат, выбранных из всех рот каждого полка 9-й дивизии. На площади стояла огромная виселица; народ теснился кругом площади как бы в ожидании какого-нибудь необыкновенного зрелища. Помещики, не только киевские, но из Полтавской и Черниговской губерний, приехали в Васильков со своими семействами единственно для того, чтобы увидеть, каким образом повесят бунтовщиков. Кровли домов и заборы — все было унизано зрителями.

По вторичном прочтении читанной уже сентенции палач каждого из них обводил кругом виселицы и оставил всех трех некоторое время под оною. Тут же к виселице прибили доску с именами Щепиллы, Кузьмина и Ипполита Муравьева. По окончании сей церемонии Соловьев и его товарищи были сданы офицеру инвалидной команды, который их отвез в городскую тюрьму.

Из всех нижних чинов, участвовавших в восстании Черниговского полка и бывших в походе с С. Муравьевым, военным судом приговорено было к наказанию 120 человек, из коих несколько были осуждены к прогнанию сквозь строй чрез 12 тысяч и к сосланию в Сибирь в каторжную работу; прочие через 8, 6, 5, 2 и 1000 человек; некоторые к 500 и 200 ударов палками пред полком и с сосланием в Грузию на службу. Те из солдат, которые не были наказаны, отправились в Грузию

все вместе; наказанные же отправлены туда по 12 человек в партии, под конвоем. Сии приговоры приведены были в исполнение в Белой Церкви генерал-майором Вреде. Тамбовский и Саратовский полки назначены были к экзекуции. Человеколюбие генерал-майора Вреде заслуживает особенной похвалы. Он просил солдат щадить своих товарищей, говоря, что их поступок есть следствие заблуждения, а не злого умысла. Его просьбы не остались тщетными: все нижние чины были наказываемы весьма легко. Но в числе сих несчастных находились разжалованные прежде из офицеров Грохольский и Ракуза и были приговорены к наказанию шпиц-рутеном через шесть тысяч человек. Незадолго до экзекуции между солдатами пронесся слух, что Грохольский и Ракуза лишены офицерского звания за восстание Черниговского полка и, не взирая на сие, приговорены судом к телесному наказанию. Мщение и негодование возродилось в сердцах солдат; они радовались случаю отомстить своими руками за притеснения и несправедливости, испытанные более или менее каждым из них от дворян. Не разбирая, на кого падет их мщение, они ожидали минуты с нетерпением; ни просьбы генерала Вреде, ни его угрозы, ни просьбы офицеров — ничто не могло остановить ярости бешеных солдат; удары сыпались градом; они не били сих несчастных, но рвали кусками мясо с каким-то наслаждением; Грохольского и Ракузу вынесли из линии почти мертвыми.

Отец Грохольского, богатый помещик Смоленской губернии, дал своему сыну весьма хорошее воспитание и определил его в Полтавский полк, где в скором времени он дослужился до капитанского чина, но, не взирая на то, что кротость и благородство души составляли отличительные черты его характера и внушали любовь и уважение каждого, Грохольский, оскорбленный батальонным командиром, имел несчастие ударить его в щеку. За сей поступок он был лишен всего и записан в рядовые в Черниговский полк. Мы не знаем, где и когда он познакомился с одной благородною девицею, но любил ее и был любим взаимно. Родители сей девицы согласились на их брак, Грохольский был уже обручен и ожидал только перемены своей участи, чтобы назвать ее своею, но восстание С. Муравьева разрушило счастие двух любовников. Услыша об аресте Грохольского, его невеста приехала в Белую Церковь и просила тамошнее

начальство о дозволении видеться с Грохольским; ей было дозволено и она, воспользовавшись этим, каждый день по нескольку часов проводила в тюрьме с злополучным женихом своим. Ее родители и сам Грохольский просили ее оставить Белую Церковь и возвратиться домой, но все просьбы были напрасны. В роковой день экзекуции невеста Грохольского прибежала на лобное место; вид ее жениха, терзаемого бесчеловечными палачами, его невольные стоны смутили ее рассудок: в беспамятстве бросилась она на солдат, хотевши исторгнуть из их рук несчастного страдальца; ее остановили от сего бесполезного предприятия и отнесли домой. Сильная нервическая горячка была следствием сего последнего свидания. Во все продолжение краткой своей болезни она слышала стон своего друга, видела кровь его и старалась остановить свирепых его мучителей: искусство врачей было бесполезно,— и в тот же самый вечер смерть прекратила ее страдания.

Ракуза был из польских дворян, служил в Пензенском полку поручиком, и за такую же вину, как Грохольский, был разжалован в солдаты в Черниговский полк. Во время суда он помешался в уме, но сие помешательство не спасло его от жестокого телесного наказания. Бывший командир 17-й артиллерийской бригады полковник Башмаков, известный в армии своею храбростью и разжалованный в 1820 году в солдаты с зачислением в Черниговский полк за растрату артельных сумм, по участию его в делах тайного общества был приговорен к наказанию шпицрутеном чрез 12 тысяч человек и к сосланию в Сибирь в каторжную работу. Неизвестно, был ли он наказан или нет, но только известно, что впоследствии он был сослан на поселение Тобольской губернии в город Тару.

2

Соловьев, Сухинов, Мозалевский и Быстрицкий в тюрьме после приговора.— Их путь в Сибирь.— Встреча в московской тюрьме с Шутовым, Николаевым и Никитиным.— Встреча в Сибири со ссылаемыми товарищами.— Встреча в Чите с женами декабристов

Участь, постигшая С. Муравьева как начальника восстания и Бестужева-Рюмина как ревностнейшего члена Общества, всем известна. Петербург видел позорную и между тем высокую смерть сих мучеников свободы.

Итак — возвратимся к Соловьеву, Сухинову, Мозалевскому и Быстрицкому, которых мы — трех первых — оставили в городе Василькове, а последнего — в г. Остроге, и для которых, с сего времени, началась новая эпоха жизни и бедствий.

В тот же день, когда они стояли под виселицею, они были отправлены чрез внутреннюю стражу в Киев. В сем городе они нашли больного горячкою Быстрицкого; его болезнь помешала немедленному их отправлению в Сибирь, и они пробыли в Киеве с 23 августа по 5 сентября в ожидании выздоровления их товарища. Во все это время с них не снимали железа. Однажды полковник Дуров, киевский полицеймейстер, приехал в тюрьму, в которой содержались бывшие черниговские офицеры, и объявил им, что некоторые жители Киева, зная их бедность и нужду, прислали через него некоторую сумму денег и просят их принять оные не как подаяние, но как пособие из человеколюбия и участия соотечественников. Соловьев и его товарищи благодарили добрых киевлян, но не приняли предложенных им денег, хотя нуждались как в деньгах, так и в платье. При переводе в гусарский полк Сухинов заказал киевскому портному полную офицерскую обмундировку, но не успел взять сшитого платья до несчастного восстания Черниговского полка. По прибытии своем в Киев он вознамерился продать оное и употребить вырученные деньги на содержание свое и своих товарищей во время дороги в Сибирь, почему и просил полицеймейстера взять сие платье у портного и продать оное хоть за 1000 рублей. Охотно на сие согласился Дуров, но на другой день начал отговариваться от взятого на себя обязательства. Предлоги сего отказа были самые ничтожные: между прочим он говорил, что невозможно продать платье до их отправления, и советовал Сухинову, для избежания бесполезных хлопот, отдать свои вещи на церковь. Услышав таковой совет, Сухинов не мог удержаться от смеха.

— Ваше предложение кажется мне странным,— сказал он полицеймейстеру,— ужели вы не знаете, что я и трое моих товарищей должны идти 7000 верст без платья и денег?

Дуров не противоречил, но с сего времени до самого отправления Сухинов не видал в глаза ни полицеймейстера, ни платья, ни денег.

Легко представить себе положение черниговских офицеров без всякого пособия, без родных, без знакомых,— оставленных и забытых всеми. Они отправились в Москву полуодетые, имея при себе 2 рубля серебром. Наготу Соловьева прикрывала рубашка и старый халат. При отправлении своем из Киева они виделись в канцелярии с 12 человеками своего полка солдат и с 14-летним разжалованным юнкером, назначенным в Грузию. Их свидание было трогательно; нечаянная встреча заставила их на минуту забыть свое несчастие. Слезы катились из глаз добрых солдат, видя бедственное положение своих офицеров; они хотели утешать их, но их утешения обращались в простые, но сильные выражения горести. Соловьев и его товарищи отдали своим сослуживцам последние два рубля серебром и не иначе могли их заставить принять оные, как обманом, уверяя, что они имеют деньги и ожидают еще скорой помощи от родных; сами же пошли на кормовых, которых полагается по 12 коп. в сутки.

5 сентября 1826 года с партиею арестантов они отправились в Москву через города Козелец, Нежин, Глухов, Орел и Калугу. Не станем описывать трудностей сей дороги: никакое перо не может изобразить оных и, может быть, самое пламенное и самое мрачное воображение не в состоянии представить себе страданий, испытанных нашими изгнанниками. Без одежды, без денег, оставленные на произвол судьбы, преданные самовластию каждого командира инвалидной команды, они испытывали все физические и нравственные мучения. Днем они подвергались всем переменам осенней погоды и не имели средств защитить себя от холода и дождя; ночью — смрадная и тесная тюрьма вместо отдыха была для них новым истязанием. Сообщество воров, разбойников, бродяг и распутных женщин внушало отвращение к жизни и презрение к человечеству. В городе Кромах Орловской губернии тюрьма, в коей они провели ночь, была настоящею пыткою и сделалась почти губительною для них. В двух маленьких комнатах набито было полно арестантов, между коими находилось несколько больных женщин, которые из религиозного фанатизма отрезали себе груди и были оставлены без всякого пособия; тела их были почти полусгнившие; смрад был такой, что к ним близко никто не подступал. Кроме сего, теснота, жар

и дурной запах делали сию тюрьму нестерпимою. Соловьев провел всю ночь у маленького тюремного окошка; его товарищи спали под нарами, на сыром и нечистом полу, но и в сем успокоении они должны были чередоваться по причине чрезмерной тесноты: когда один лежал, другие двое стояли. На другой день после сего ночлега Соловьев и Мозалевский заболели; смрадные и тесные тюрьмы совершенно расстроили их здоровье; с железами на руках и на ногах они не могли даже переменить рубашку (у них были на руках так называемые наручники, т. е. железная палка, не имеющая посредине ни одного кольца). С ними сделалась сильная горячка, так что они ничего не помнят о случившемся с ними во время их дороги от Калуги до Москвы. Когда в Москву входила партия, они до того были слабы, что лежавши на подводах своих арестантских вещей, были привязаны веревками к повозке. Сухинов и Быстрицкий кое-как еще держались на ногах, но по пришествии в Москву также заболели горячкою и были, все четверо, помещены в госпиталь, в московском замке находящийся.

По прошествии некоторого времени, здоровье их начало поправляться. С ними вместе в тюремном замке содержались под арестом прапорщик конно-пионерского эскадрона Молчанов и гвардейского конно-егерского полка капитан Алексеев,— за стихи, написанные ими на смерть С. Муравьева, Рылеева, Пестеля, Бестужева-Рюмина и Каховского. Соловьев и его товарищи познакомились с сими офицерами и проводили с ними время, как обыкновенно проводят время в тюрьмах. Одна твердость характера спасала их; хладнокровие, терпение, презрение ко всем гонениям рока, беспечность и беззаботливость о будущем были единственными средствами спасения их от уныния,— самой ужасной из нравственных болезней в сем положении.

Однажды однообразная их жизнь была прервана приходом в московский замок бывших Черниговского полка фельдфебеля Шутова, унтер-офицера Николаева и рядового Никитина,— прежних их сослуживцев. Это нечаянное свидание было величайшей радостью для всех: дело, за которое они погибли, уничтожило между ними различие чинов и сословий; общее несчастие сделало их искренними друзьями. Ни один упрек не сорвался с языка благородных солдат; напротив, утешения и заботы

о прежних их офицерах казалось заставили их забывать свои собственные бедствия и были источником чистых удовольствий. Вскоре их разлучили: Шутов и его товарищи были отправлены в Сибирь.

Соловьев виделся в замке с родным своим братом, который, узнав о его прибытии в Москву, тотчас к нему приехал и потом часто у него бывал, он помогал несчастному брату всем, чем только мог. Положение Соловьева и его товарищей поправилось, но это продолжалось недолго, ибо деньги, полученные ими, частью были розданы несчастным, находившимся в совершенной нищете; 200 рублей из-под подушки у больного Соловьева украли; прочие они издержали на пищу и на покупку самых необходимых вещей. Московское начальство имело намерение отправлять Соловьева и его товарищей по мере их выздоровления, но нисходя к убедительным их просьбам, все откладывало их отправление. К несчастию, Быстрицкий снова заболел горячкою. Его товарищи снова прибегнули к новым просьбам, но на сей раз их просьбы были бесполезны, и 1 января 1827 года Соловьев, Сухинов и Мозалевский, закованные в кандалы, отправились из Москвы, оставив в оной бедного Быстрицкого. Вьюги, метели и жестокие морозы встречали и провожали их на пути. Те же бедствия начались снова и не раз заставляли их вспомнить тюремное заключение в московском замке. Однако, по мере того как они удалялись от границ Европейской России, их положение, видимо, улучшалось, несмотря на то, что они нуждались во всем по-прежнему. Известно, что до границы Азиатской России нет этапов; тюрьмы, наполненные всегда арестованными, тесны, нечисты и смрадны; в Сибири же, напротив, построены довольно просторные этапы, в которых можно провести ночь утомленному трудною дорогою арестанту с некоторым удобством. Разумеется, это улучшение есть относительное к тому состоянию, в котором они находились, но такая дальняя и медленная дорога, сообщество развратных и порочных людей, нужда, холод, лишение всякого пособия, неизвестность о родных и друзьях, мысль никогда не видеть родины и мрачная, страшная будущность — все это может поколебать человека с самою твердою душою, и все это было предоставлено испытать нашим изгнанникам.

Сенатор князь Куракин, бывший в Западной Сибири ревизором, при проезде чрез Тобольск, виделся там с Соловьевым и его товарищами. Он спросил, не может ли им быть чем-нибудь полезным. Но когда Соловьев, Мозалевский и Сухинов представили страшную картину их жизни и просили, чтобы он приказал — или отправить их поскорее к месту назначения, или — снять с рук и ног обременяющие их железа, то князь, тронутый их бедственным положением, соболезновал и, в заключение всех утешений и сострадании, объявил, что в сем отношении не может им ни в чем помочь и не имеет права удовлетворить их просьбам.

Но судьба бывает столь же непостижима в своих гонениях, как и в своих дарах, и человек, преследуемый ею, нередко, когда менее всего ожидает, встречает минуты утешения. Наши путешественники-страдальцы не один раз забывали свои несчастия, не раз слезы радости текли из впадших их глаз. Две станции за Тобольском догнала их Елизавета Петровна Нарышкина, которая ехала к своему мужу, сосланному в каторжную работу за участие в делах тайного общества; но на почтовом дворе она узнала, что Черниговского полка офицеры следуют в Нерчинск в партии арестантов и остановилась нарочно для ночлега. Не медля ни мало, она пришла в острог и провела с ними более двух часов. Не нужно говорить, что ощущала сия добродетельная женщина при сем свидании: ее муж страдал подобно тем, которых она видела перед своими глазами; она рассказала им об участи их товарищей, сосланных в Сибирь и содержащихся в Чите, также и других знакомых нашим странникам; она простилась с ними и просила их принять на дорогу 300 руб. денег, обещая увидеться с ними в помянутом селении и доставить им все нужное.

Недалеко от Томска они видели Сутгофа, Щепина-Ростовского и Панова; в одном селении Иркутской губернии их догнали двое Бестужевых, Горбачевский и Барятинский, которых тогда везли в Читу. Они хотели видеться с ними, но офицер позволил разменяться только несколькими словами через окошко. Сии свидания были кратки, но в их положении приносили чистое удовольствие и в скучной и долгой тюрьме доставляли им минуты, несказанно приятные и утешительные.

После свидания с Нарышкиной им оставалось еще пройти 4000 верст. Истративши деньги, которыми она их наделила, они подверглись снова всем бедствиям нищеты; они всегда нуждались в одежде и здоровой пище; но в сем трудном положении как будто было назначено, среди долгих страданий, чувствовать всю цену добродетельных сердец и получать внезапно утешения в своих бедствиях. Неисповедимое провидение посылало им по временам ангелов-хранителей, как бы для поддержания в сем суровом испытании.

12 февраля 1828 года Соловьев и его товарищи пришли в Читу. Княгиня Трубецкая, княгиня Волконская, Ентальцова и Александра Григорьевна Муравьева не замедлили увидеться с ними (в сие время Нарышкина была сильно больна и не могла с ними видеться). Невозможно себе представить участие, которое принимали сии добродетельные женщины в наших страдальцах; каждая из них как бы хотела превзойти других в великодушии, между тем как они все с искренним сердцем и беспримерною попечительностью заботились о несчастных жертвах. Своею внимательностью они старались удалить от них мысль, что они забыты и оставлены своими родными; их утешения и заботливость о состоянии несчастных были целительным бальзамом для растерзанных сердец Соловьева, Сухинова и Мозалевского, и видя живое участие, принимаемое сими женщинами в их положении, они в сие время забыли прошедшие свои бедствия и не думали о будущих. Партия, с которой они шли, имела дневку в Чите. Дамы старались сколько возможно более облегчить их участь, проводили с ними целые часы; сильный мороз не мог воспрепятствовать им оставаться вне или внутри тюремной ограды. Княгиня Волконская и княгиня Трубецкая посещали их чаще и оставались с ними долее других. Заметя в Сухинове озлобление против правительства и желание отомстить ему каким-то ни было образом, они употребляли все средства, могущие успокоить его и отвратить от всяких намерений, говорили ему о терпении и надеждах и пр. Потом просили Соловьева и Мозалевского беречь своего товарища и иметь о нем попечение. Наконец, снабдив их деньгами и платьем, они расстались с ними, оставив в признательных сердцах Соловьева, Мозалевского и Сухинова вечную благодарность и утешительные воспоминания.

3

Сухинов в Нерчинском заводе.— Его непримиримость.— План восстания и освобождения членов тайного общества.— Заговор.— Нравы и качества ссыльных.— Опасения Соловьева и Мозалевского

14 февраля партия вышла из Читы и 16 марта 1828 года наши странники прибыли в большой Нерчинский завод, лежащий между Нерчинскими рудниками, в 270 верстах за Нерчинском и в 20 верстах от Китайской границы. По прошествии двух дней их отправили в Горную контору, находящуюся от большого завода в 15 верстах и от границы в 9 верстах и по прибытии в оную они были на другой день посланы в глубокие рудники на работу.

Так кончилось их долгое путешествие до Китайской границы, продолжавшееся 1 год 6 месяцев и 11 дней. Сие время казалось им вечностью; однообразие, порождающее нестерпимую скуку, было уже адским мучением; но, присоединив к сему бедность и крайнюю нищету, железа, обременяющие руки и ноги, сообщество людей, оподленных преступлениями и развратом,— и вы будете иметь понятие о бедствиях, испытанных нашими изгнанниками.

Но сим не кончились их страдания. Им было суждено еще раз испытать все ужасы их беззащитного положения и оплакать смерть своего товарища, который по своему сердцу и по своим качествам заслуживал лучшей участи. Нельзя не упомянуть о сем происшествии. Характер лиц, участвовавших в оном, и трагическая их смерть не только любопытны, но даже наставительны.

Сухинов, человек пылкого и решительного характера, раздраженный неудачей восстания и своими несчастиями, поклялся всеми средствами вредить правительству.

— Наше правительство,— говорил он часто,— не наказывает нас, но мстит нам; цель всех его гонений не есть наше исправление, не пример другим, но личное мщение робкой души.

Сия мысль укрепляла и увеличивала его озлобление: вредить правительству чем бы то ни было сделалось для него потребностью; освободить себя и всех было его любимою мыслью. Он жил только для того, чтобы до по-

следней минуты своей жизни быть вредным правительству. Любовь к отечеству, составлявшая всегда отличительную черту его характера, не погасла, но, по словам самого Сухинова, она как бы превратилась в ненависть к торжествующему <правительству>. Сухинов и его товарищи жили в Горной конторе в доме, принадлежавшем одному солдату Семеновского полка, сосланному по известному делу полковника Шварца. Зная, что Соловьев и Мозалевский не согласятся участвовать в каком-нибудь предприятии, Сухинов таил от них свои намерения, но не скрывал своей злобы против правительства.

Решившись на что-либо однажды для исполнения предпринятого им дела, он не видел уже никаких препятствий, его деятельности не было границ; он шел прямо к цели, не думая ни о чем более, кроме того, чтобы скорее достигнуть оной. Его характер, твердый и настойчивый, не терпел отлагательства; предаться на произвол судьбы и ожидать спокойно от нее одной — было для него величайшим несчастием. В бедствии и в неволе он считал не только правом, но долгом искать собственными силами свободы и счастия; к тому же его душа искала всегда сильных потрясений; посреди опасности только он находился в своей сфере.

Намерение Сухинова было освободить всех членов тайного общества, содержавшихся в Читинском остроге, и бежать с ними за границу. Он замыслил составить заговор и посредством доверенных людей взбунтовать всех ссыльных, находившихся в семи нерчинских заводах и в 20 рудниках, вооружить их по возможности, идти с ними на Читу и привести в исполнение свое намерение. Освободив же государственных преступников,— или тотчас бежать за границу,— или действовать по их согласию для достижения какой-либо цели.

Чтобы исполнить сие предприятие, Сухинов вверился двум ссыльным, которые ему казались способными ко всему, и сделал их главными своими агентами. Голиков, разжалованный и наказанный кнутом фельдфебель какого-то карабинерского полка, и Бочаров, сын одного богатого астраханского (кажется) купца, подвергнувшийся тому же наказанию,— были люди им избранные. Они действовали на других по наставлениям Сухинова и открыли свои замыслы Михаилу Васильеву, также бывше-

му фельдфебелем в одном гвардейском полку, и еще двум другим ссыльным, которых имена нам неизвестны.

Голиков, Бочаров и трое их товарищей были, каждый в своем роде, весьма замечательные люди и отличались от презренной толпы обыкновенных воров и разбойников. Ни страх наказания, ни видимая опасность не могли удержать их ни в каких замыслах; будучи доведены до крайней нищеты и унижения, не имея никакой надежды к избавлению, испытывая беспрерывно несправедливости, они были ожесточены против всяких начальств. Ненависть, злоба и мщение наполняли их сердца; разврат погасил в их сердцах чувствование своего достоинства; однако ж, при всем своем унижении, они отличались от всех других ссыльных каким-то особенным над ними влиянием — и видимо брали везде над своими товарищами поверхность. Голиков поражал всех диким и независимым своим нравом: какая-то душевная сила возвышала его над всеми другими и приводила в трепет самых закоснелых, отчаянных воров и разбойников. Тонкий и хитрый ум Бочарова и некоторая степень образованности покоряла ему развращенную и необузданную толпу его товарищей. Михайло Васильев и двое других сообщников более или менее походили на Голикова и Бочарова.

Составив между собою род некоторого совета, во главе коего был Сухинов, Голиков и его сообщники приступили к действию. Они сообщили свои замыслы еще некоторым из ссыльных и начали распространять оные с удивительною скоростью между менее значительными по своим качествам негодяями. Удрученные бедствиями, без цели в жизни, без надежды лучшего жребия, развращенные и ожесточенные долговременными страданиями, ссыльные принимали с радостью предложения Бочарова и Голикова. Они не думали ни о каких важных предприятиях; не думали об улучшении своей участи; для них довольно было и того, чтобы освободиться на некоторое время от работ и от тягостной подчиненности, грабить и провести несколько веселых дней в пьянстве и различного рода буйствах: вот их цель.

Сначала Соловьев и Мозалевский ни в чем не подозревали Сухинова и не обращали никакого внимания на его сношения с ссыльными. Они часто разговаривали с

ним о своем положении, и когда Сухинов начинал говорить о возможности освобождения, они старались доказать ему нелепость такого предприятия. Несогласие их мнения происходило особенно оттого, что Соловьев и Мозалевский смотрели на ссыльных без всякого пристрастия; напротив чего Сухинов видел в них качества, каких они никогда не имели. В его глазах сии люди были способны ко всяким предприятиям, были храбры, отчаянны, тверды и настойчивы в своих намерениях и потому не чужды благородных чувствований; — разврат же их происходил только от унижения и бедности. Это заблуждение погубило Сухинова и внушило ему недоверчивость к советам его товарищей, которые употребляли все средства, могущие отвратить его от обманчивых надежд и разрушить ложное мнение о качестве ссыльных.

Нельзя сказать, чтобы между ссыльными не было людей, не заслуживающих имени человека. Если бы начальство обратило внимание на сих несчастных и если бы оно обеспечило их нужды, занялось исправлением пороков, удалило молодых, еще неопытных, от старых закоснелых мошенников и дало им надежду на изменение их состояния, то нет никакого сомнения, что многие из них возвратились бы снова на путь добра и честности и, узнав гнусность и тягость порока, имели бы более возможности оценить добродетель. Но состояние ссыльных в каторжной работе, обращение с ними препятствует всякой спасительной перемене их нравов. Кажется, что те, которые избрали сей род наказания, имели целью сподлить и развратить преступников, а не исправить их. Дальний поход в партии, составленной из людей разного возраста и пола, содержание их в одной тюрьме, в одних казармах, нужды, жестокие и несправедливые наказания,— одним словом, все служит к тому, чтобы низвести их на самую последнюю степень нравственного существования.

Если бы предмет сего сочинения позволил нам подробно изложить все причины развращения ссыльных, показать все пагубные следствия наказания подобной ссылки, то каждое сердце, не чуждое человеколюбия, облилось бы кровью при чтении сего описания. Но как наш труд имеет вовсе иную цель, то мы скажем только, что сосланные в Сибирь преступники нисколько не походят ни на испанских или германских разбойников. Между

русскими разбойниками нет никакого сообщества; их выгоды одинаковы, но они не понимают сего и никогда не действуют согласно; на каждом шагу обман, измена и предательство; часто составляют заговоры и сами доносят на тех, которым предлагали разделить свои замыслы. Штоф водки есть такая цена, за которую почти каждый ссыльный продаст под кнут себя и своих товарищей, не колеблясь ни минуты. Воровство у своих товарищей, картежная игра, пьянство и разврат,— суть главные и единственные их занятия. Если ссыльные предпринимают частые побеги, то целью их побегов бывает только одна надежда уклониться на некоторое время от работ и на воле предаться пьянству, грабительству и убийствам. Сколько есть примеров (и это все знают, которые жили в заводах), что за штоф водки, за рубль, два или пять, ссыльные берут на себя преступления, а за сии деньги, которые бывают тотчас пропиты на водку или проиграны в карты, выдерживают по 100, 150 и более ударов кнутом. Кто между ними подвергается часто сему наказанию, тот почитается героем. Вот с какими людьми Сухинов думал освободить всех государственных преступников и, может быть, что-нибудь сделать более. Не удивительно, что его товарищи не приняли в этом никакого участия.

По прошествии некоторого времени частые посещения Голикова и Бочарова, тайные их переговоры с Сухиновым начали беспокоить Соловьева и Мозалевского. Справедливое подозрение побудило их к решительному поступку. Они вознамерились узнать от самого Сухинова о его предприятиях и употребить все силы к уничтожению вредных замыслов и к спасению своего ослепленного товарища. При первом удобном случае они спросили Сухинова, в чем состоят его сношения с Голиковым и что значат частые посещения сего ссыльного и его товарища Бочарова. Ответ Сухинова был холоден и двусмыслен:

— Я имею свои цели,— вы напрасно беспокоитесь; будьте уверены, что мои поступки не причинят зла ни вам, ни мне.

Эти слова не успокоили Соловьева и Мозалевского; напротив того — увеличили их подозрение. Они старались удержать своего товарища от сношений с ссыльными и употребили все, что могли для отвращения от пред-

принятия, в коем начали его подозревать. Но ни дружба, ни любовь к нему Соловьева и Мозалевского, ничто не могло поколебать Сухинова в замышленном плане. На все их увещания, советы и просьбы был один ответ:

— Ничего не бойтесь; будьте спокойны.

Видя упорство своего товарища, Соловьев и Мозалевский запретили Голикову и другим ссыльным ходить в свой дом без надобности. Сухинов сердился, негодовал; а Голиков и другие его товарищи продолжали видеться с Сухиновым по-прежнему.

Несчастие соединило черниговских офицеров еще теснейшими узами дружбы, нежели совместная служба. Различие между твоим и моим сделалось им неизвестно; вещи и деньги — все было общее, но каждый из них сообщал своим товарищам, куда он истратил деньги и кому отдал какую вещь. Поэтому Соловьев и Мозалевский, видя недостаток в некоторых вещах и зная, что Сухинов издерживает много денег, не говоря им для чего, еще более утвердились в своих подозрениях относительно его сношений и замыслов с Голиковым и Бочаровым и старались узнать о сем, чтобы принять против оных какие-нибудь меры. Упрекать Сухинова в расточительности не позволяла им деликатность, а угрожавшая бедность и, может быть, ужасное наказание рождало в них сильное беспокойство. Положение было тягостное: они предвидели гибель Сухинова и не имели средства спасти его. 17 мая они купили дом с огородом и другими хозяйственными заведениями, а 24 числа перешли с нанимаемой ими квартиры и думали вполне заняться хозяйством.

4

Заговор Сухинова (продолжение).— Предательство и гибель Козакова.— Открытие заговора.— Следствие.— Попытки Сухинова отравиться.— Приговор.— Самоубийство Сухинова.— Казнь

Между тем как Соловьев и Мозалевский тщетно искали средства отвратить своего товарища от сношений с Голиковым и Бочаровым, шайка заговорщиков час от часу увеличивалась. Тут же находился один негодяй, по прозванию Козаков; большая часть дурных его качеств,

кажется, не была известна его соумышленникам, ибо они слепо вверили ему свои предприятия и наименовали ему Сухинова в тот же самый день, как он, со своими товарищами, перешел в купленный ими дом. В этот же самый день (24 мая) Голиков и Бочаров, со многими из своих соумышленников, пьянствовали в кабаке и когда, прогуляв назначенные для сего деньги, начали расходиться по домам, то пьяный Козаков, проходя мимо управляющего рудниками маркштейгера г. Черниговцова и увидя его близь окна, вздумал сделать донос на своих товарищей. Не колеблясь ни мало, он тотчас подошел к нему и объявил, что ссыльные составили заговор для освобождения своего и что главные участники оного суть «секретные» (так называли всех государственных преступников). Управляющий, видя Козакова пьяным, отослал его в казарму, сказав, что он потребует его к себе через несколько времени. Сообщники Голикова, жившие в доме управляющего, тотчас узнали о доносе Козакова и уведомили о сем его и Бочарова. Сведав об угрожающей им опасности, сии отчаянные разбойники бросились в казарму и предложили Козакову распить штоф вина вместе с другими товарищами на свободе, в маленьком леску, недалеко от завода. Развратный Козаков, несмотря на то, что едва держался на ногах, принял с радостью предложение новой попойки и, шатаясь, пошел вслед за Голиковым. Достигнув назначенного места, Бочаров и его товарищи бросились на пьяного Козакова, не дав ему прийти в себя от нечаянного нападения, убили его. Тело сего жалкого негодяя было разрублено ими на части и закопано в разных местах.

Но роковой час ударил для сих злодеев. Кажется, что какая-то невидимая сила старалась разрушить их замыслы и ускорить трагическую развязку. Между тем как они думали избегнуть преследования, спасти себя и своих соумышленников убийством изменника, другой из сообщников явился к Черниговцову с доносом и подтвердил сказанное Козаковым. Сей вторичный донос обратил внимание управляющего заводом и породил в нем справедливое подозрение. Не медля ни мало, он приказал схватить заговорщиков и заковать их в кандалы. Голиков был в числе схваченных, Бочарову удалось бежать.

Подозреваемые в заговоре тотчас были приведены к допросу. Известно, каким образом в Сибири произво-

дятся допросы: плети, палки и розги почитаются в сем случае лучшими путеводителями к истине. Телесные истязания заставили Голикова признаться, и по его показанию ввечеру 24 мая Сухинов и его товарищи были взяты под стражу.

Голиков не сказал ни слова об участи Козакова, почему и думали, что сей негодяй бежал вместе с Бочаровым. По прошествии нескольких недель голодная собака, вырыв из земли руку убитого человека, принесла в завод. Этот случай заставил сделать розыски, и открыто было разрубленное на части тело Козакова. Однако ж его смерть оставалась загадкою до тех пор, пока пойманный Бочаров не сознался в своем преступлении.

Вскоре после сего началось формальное следствие: ссыльные несколько раз показывали на Сухинова и несколько раз отрицали свои показания. Но удары плетьми снова заставляли их именовать Сухинова главным заговорщиком. Сухинов отрицал все решительно и не признавался ни в чем.

Меж тем как Горная экспедиция разбирала сие дело, управляющий г. Черниговцов рапортовал об открытом заговоре в С.-Петербург. В сентябре месяце Горная экспедиция и комендант горных заводов генерал Лепарский получили повеление из Петербурга отдать всех замешанных по делу Голикова и Бочарова под военный суд. В конце сего же месяца Сухинов и все участвовавшие в сем деле были перевезены из Горной конторы в большой Нерчинский завод и преданы военному суду. Всех подсудимых было 22 человека.

Мозалевский и Соловьев оставались в Горной конторе, но во время производства дела их требовали пред военный суд для снятия допросов. Они отвечали на все вопросы отрицательно, но не могли отклонить от себя подозрений судей, которые знали, что Соловьев и Мозалевский жили вместе с Сухиновым и были соединены с ним узами дружбы, укрепленной еще более несчастиями. Невозможно себе представить положение Соловьева и Мозалевского: кроме явной гибели их товарища, к которому они питали искреннюю любовь, ужасное наказание носилось над их несчастными головами. Невинные, подозреваемые, они ожидали каждую минуту несправедливого решения судей-невежд, развращенных

и бесчувственных. Не было никакого средства доказать свою невинность. Они молчали и покорились судьбе,— уже решаясь погибнуть с Сухиновым,— как одно показание при допросе Голикова и Бочарова переменило вид их дела и спасло их от явной погибели. Голиков и Бочаров показали пред военным судом, что однажды они спрашивали у Сухинова, знают ли о его намерениях Соловьев и Мозалевский? Можно ли о сем говорить с ними? И пойдут ли они?

— Мои товарищи,— отвечал Сухинов,— не знают ничего и не должны вовсе знать: вы должны таить от них все, что я вам говорю.

Когда же Голиков и Бочаров, удивленные сим ответом, старались узнать, по какой причине он скрывает свои замыслы от своих товарищей, с которыми живет дружно и разделяет все, что имеет, то Сухинов сказал им:

— Если Соловьев и Мозалевский узнают о нашем предприятии, то они помешают нам. Когда все будет готово к исполнению нашего намерения, то мы откроем им оное, и если они не захотят следовать за нами, то мы заставим их идти за собою; если же они станут противиться и захотят нам препятствовать, то наше мщение упадет на них и они сделаются первыми жертвами нашего праведного гнева.

Сухинов, закованный в железа, содержался особенно от других под строгим караулом. Упорствуя в прежних своих показаниях, он отвергал все улики ссыльных, оправдывал Соловьева и Мозалевского и совершенно отрицал существование заговора. Не взирая на это, он знал, что, по свидетельству других, он подвергается позорному наказанию и дабы предупредить оное, он вознамерился лишить себя жизни, которая давно уже сделалась для него тяжким бременем. Неизвестно, каким образом он достал мышьяку и при первом удобном случае принял часть оного. Вероятно, прием был очень слаб относительно физического его сложения, ибо яд произвел только рвоту. Сухинов скрыл это от часовых и на другой день, усилив прием, проглотил вторично; и тут яд не имел надлежащего действия. Сильная рвота, которою Сухинов страдал от сего приема, обратила внимание часовых, они спрашивали у него причину болезни и предлагали ему разные средства прекратить оную. Сухинов

старался отклонить от себя все подозрения и успел в этом. Наконец, через несколько времени, выпил третий прием и через несколько минут ужасные конвульсии обнаружили действие яда. Сначала он скрывал боль; но вскоре природа восторжествовала над твердостью его души и он упал без памяти на землю в сильных конвульсиях и невольным стоном обнаружил свои страдания. Испуганные часовые дали тотчас о сем знать; прибежал лекарь, которого искусство, сверх всякого чаяния, спасло жизнь несчастному страдальцу,— и следствием покушения на свою жизнь была одна долговременная, тяжкая болезнь. Сухинов был сильно огорчен, когда узнал от лекаря, что действие яда уничтожено. Смерть составляла для него единственное благо; он жаждал ее пламенно, как вечного спокойствия, в коем он надеялся найти конец всем своим страданиям, но всякий раз, как он думал достигнуть сей счастливой для себя пристани, враждебные силы снова бросали его в бурный океан жизни.

Комендант Нерчинских рудников, находившийся в Чите при государственных преступниках, торопил военно-судную комиссию кончить дело Сухинова как можно поскорее. Он предписал сей комиссии решить оное непременно в последних числах ноября, объявляя при сем, что в исходе сего месяца он сам приедет в большой завод для конфирмования и приведения в исполнение приговора. Повеление, полученное из С.-Петербурга в самом начале ноября месяца, побудило коменданта сделать сие предписание. Ему было повелено конфирмировать военно-судное дело,— главных участников в открытом заговоре — расстрелять, а их соумышленников наказать кнутом и плетьми, по собственному усмотрению.

В последних числах ноября военно-судная комиссия кончила дело. Сухинов, не по собственному признанию, а по свидетельству других, и главные его сообщники были приговорены к позорному и тяжкому наказанию 400 ударами кнутом. Сей приговор не был им объявлен, вероятно, потому, что для подтверждения оного нужно было прибытие генерала Лепарского. В конце ноября месяца приехал комендант в большой завод.

Тот же день неизвестно кто уведомил Сухинова, что он приговорен к 400 ударам кнута и что генерал Лепарский приехал в завод. Повеление правительства нака-

зать главных виновников смертною казнию было для всех глубокою тайною, и даже никто не полагал возможности такого наказания, вышедшего из употребления с давнего времени и почти никогда не существовавшего для ссыльных.

Сухинов, будучи уверен, что комендант утвердит приговор военно-судной комиссии, решился во что бы то ни стало избавиться от позора: самоубийство было единственным средством. За несколько дней до приезда Лепарского Сухинова перевели из особенной тюрьмы, где он один содержался. Намерение лишить себя жизни гнездилось в его душе; он тщательно осматривал все углы и стены тюремные и, увидя большой гвоздь, вбитый в стену недалеко от печки, над нарами, решил привести свою мысль в исполнение. В роковую ночь, по пробитии зари, когда в тюрьме погасили огни и когда беззаботные преступники, не думая, что ожидает их завтра, предались сну,— Сухинов отвязал ремень, на котором поддерживал свои железа, прикрепил оный к помянутому гвоздю, набросил на свою шею петлю и, спустив ноги с нар,— повесился. Чрез несколько минут один из арестантов, проснувшись, пошел зачем-то к дверям и задел за ноги Сухинова; ему показалось это странным; он хотел узнать, что это такое, стал искать около себя ощупью и дотронулся до тела Сухинова. Испуганный арестант начал кричать:

— Спасайте, кто-то из наших повесился.

Сей неожиданный крик поднял всех на ноги, принесли тотчас огонь, и первый предмет, который представился — это было бездушное тело Сухинова. Ремень был снят с его шеи; привели лекаря, который тотчас заметил в теле признаки жизни. Можно думать, что для возвращения оной не нужно было употребить больших усилий искусства, ибо гвоздь был вбит довольно низко, и Сухинов, желая затянуть как можно крепче петлю, спустивши ноги с нар, еще коленами касался оных. Нет сомнения, что лекарь сообразил все сии обстоятельства, но, вероятно, не зная приговора правительства и не решаясь из сострадания предать бедного Сухинова позорному наказанию кнутом, он не старался возвратить к жизни несчастного страдальца, но приказал тело его положить на телегу и отвезти в лазарет шагом, как можно тише, как будто бы для того, чтобы не произвести в нем ни малей-

шего сотрясения, могущего возбудить кругообращение остановившейся крови. Тотчас по привозе в лазарет тело было спущено в погреб и положено на лед. Если сии причины, а не невежество и равнодушие побудили лекаря оставить без внимания все средства, которые могли возвратить жизнь Сухинову, то поступок его достоин уважения и самое бесчеловечие было великодушие.

Таким образом несчастный Сухинов кончил свою бедственную жизнь. Заговор не делает пятна его чести, желание получить утраченную свободу и возвратить ее своим товарищам ослепили пылкий ум его и заставили унизиться предосудительною связью с презрительными людьми. Ошибка сия омыта его страданиями и его кровью.

На другой день после смерти Сухинова начались приготовления к наказанию Голикова, Бочарова и его сообщников. Рыли глубокую яму, ставили столбы, шили саваны, делали новые и поправляли старые кнуты и плети. Соловьев и Мозалевский были привезены из Горной конторы, закованные в железа, и содержались в полиции. 2 или 3 декабря, на третий день после приезда Лепарского и смерти Сухинова, приступили к исполнению приговора. Генерал присутствовал сам и распоряжался экзекуциею. Он приказал производить вдруг все роды наказаний, вероятно для сокращения времени.

Все преступники были приведены на лобное место и охладевшее тело Сухинова между ними видимо было, которое тотчас бросили в приготовленную яму. На приговоренных к смерти надели белые саваны и первый Голиков был привязан к столбу у самого края вырытой ямы. Он был весьма спокоен и просил убедительно оставить его глаза незавязанными, но его просьбы не были уважены. Незадолго до выстрелов он начал что-то говорить:

— Я не виноват,— были последние слова, как ружейный залп вырвал у него жизнь с быстротою молнии. Бездушное тело спустилось вниз по столбу, сейчас было отвязано и брошено в яму.

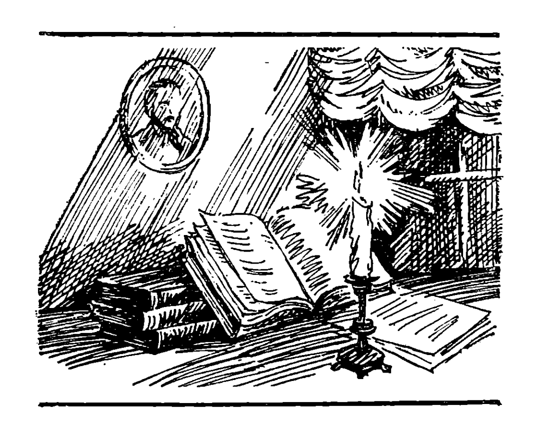
Потом расстреливали Бочарова. Должно думать, что сия необыкновенная сцена подействовала на самых исполнителей приговора, ибо солдаты потеряли меткость.

Бочаров был только ранен; унтер-офицер подошел к нему, вонзил штык в грудь и сим кончил мучения бедного страдальца. Михайло Васильев выдержал залп и остался невредим. Солдаты укоротили дистанцию и начали поодиночке стрелять. Генерал Лепарский сердился, кричал, бранил офицера и батальонного командира, за то, что подчиненные их не умеют стрелять, и приказал скорее, как-нибудь, сию трагическую сцену кончить. Солдаты ранили Васильева несколькими пулями, но не убили; наконец, подскочили к нему и прикололи его штыками. С двумя последними сообщниками Голикова и Бочарова почти то же самое случилось, что и с Михаилом Васильевым.

В одно и то же время, когда одних расстреливали, три палача наказывали кнутом и плетьми других приговоренных к сим наказаниям. Невозможно представить себе всех ужасов сей кровавой сцены. Вопли трех жертв, терзаемых палачами, командные слова, неправильная пальба, стон умирающих и раненых — все это делало какое-то адское представление, которое никто не в силах передать и которое приводило в содрогание самого бесчувственного человека. Всякий может вообразить себе, какое действие произвело сие наказание на зрителей, но никто не станет утверждать, что оно улучшило их нравственность и <что> перестали производиться злодейства в заводах.

Из судившихся военным судом пятеро было расстреляно (шестой, Сухинов, избегнул сей участи самоубийством). Из остальных многие получили от 400 до 150 ударов кнутом; прочие были наказаны жестоко плетьми. По окончании сей кровавой сцены Соловьеву и Мозалевскому в полиции прочитали приговор, конфирмованный комендантом Нерчинских рудников. Решение их участи заключалось в следующем: Соловьев и Мозалевский, найденные военно-судною комиссиею непричастными к делу Голикова, Бочарова и других, освобождались от суда, но горному начальству предписывается (сия мера, вероятно, взята Лепарским) удалить их из Горной конторы и сослать в отдаленные рудники порознь. Через два дня они были отправлены из завода: Соловьев — в рудник Култуму, а Мозалевский — в Акатуй, лежавшие один от другого на расстоянии 200 верст.

В сей новой ссылке они провели два месяца в скуке и бедности. По прошествии сего времени горное начальство получило повеление от коменданта Лепарского прислать государственных преступников Соловьева и Мозалевского в Читинский острог. В начале февраля 1830 года они были отправлены в Читу и скоро прибыли к месту назначения, где нашли прежнего товарища своего Быстрицкого, которого комендант оставил в Чите, когда он следовал с партиею чрез сие селение в Нерчинские рудники. В 1830 году Соловьев, Мозалевский и Быстрицкий вместе с другими государственными преступниками были переведены из Читинского острога в государственную тюрьму, вновь построенную при Петровском Заводе, находящемся в Верхнеудинском округе на реке Баляге.



Н. И. ЛОРЕР

ЗАПИСКИ МОЕГО ВРЕМЕНИ

ВОСПОМИНАНИЕ О ПРОШЛОМ

Il faut écrire aves sa con —
science, en présense de Dieu,
dans l'interêt de l'humanite *

Глава I

Я покидаю благословенную Малороссию.— Воспитание в доме П. В. Капниста.— Приезд в Москву.— Московские веселости и удовольствия.— Отъезд в Петербург к брату.— Поступление в гвардию.— Цесаревич Константин Павлович.— Дворянский полк.— Весть о сдаче Москвы французам.— Производство в офицеры



года 23 генваря, ровно 50 лет тому назад, я оставил благословенную Малороссию, простился с родною кровлею, под которой счастливо и беспечно провел первые годы моего детства. Мне было 18 лет, когда судьба бросила меня, неопытного юношу, в бурное житейское море... Я отправился на службу, напутствованный благословением близких моему сердцу, с небольшими денежными средствами, но полный юношеских надежд.

Я ехал в Москву! Надобно знать, что я был принят как сын в доме П<етра> В<асильевича> Капниста (брата нашего поэта В<асилия> В<асильевича> <Капниста>), который давно уже философом жил в своем поместье в Малороссии после долгих путешествий по Европе. В Англии он женился на англичанке, и, возвратясь с нею вскоре после этого брака, он поселился в своей деревне Т<урбайцах>, где и прожил безвыездно 30 лет, расточая благодеяния на всех его окружающих и не щадя своего большого состояния. После 15-летнего бесплодного брака бог наградил его сыном, который, быв моим однолетком, сделался товарищем по воспитанию и другом на всю жизнь.

* Надо писать вместе со своей совестью, пред лицом бога, в интересах человечества *(фр.)*.

Связанный тесною дружбой с моим покойным отцом в продолжение 40 лет и желая помочь матери моей, обремененной большим семейством, он, вскоре после смерти батюшки, предложил отдать ему на воспитание одного из сыновей ее, и жребий пал на меня. Так я сделался товарищем и другом его первого сына. Вскоре нам с юным К<апнистом> выписали гувернера из общества Братьев Моравии (гернгутера), человека высоконравственного, доброго и кроткого, к тому же славного математика, преподававшего нам науки на немецком языке. Он впоследствии сделался другом дома и, дожив до маститой старости, провел с нами все время до той минуты, как судьба и служба нас с ним разлучили. Мне приятно почтить теперь память этого человека, который много передал нам хорошего и которого советы, правила и пример собственной нравственной, религиозной жизни сделали и нас, может быть, людьми хорошими.

Домашнее воспитание и первые семейные впечатления были, однако, таковы, что <я> всю жизнь свою придаю <им> большое значение. Если я чего-нибудь стою, этим я обязан прежде всего моему воспитанию и тем примерам правды, простоты и чести, которыми я был окружен с моего появления в мир до моего вступления в свет. Я обязан моим благодетелям более чем существованием.

Приехав в Москву, я остановился у своего дяди по матери, князя Д. Е. Цицианова. Он был известен в то время своею роскошью и в особенности обедами, за которыми угощал тогдашних знаменитостей большого света, и кончил впоследствии тем, что проел свои 6 тысяч душ.

Я застал Москву в веселостях и удовольствиях. Тогда наша старушка не предвидела, что через несколько месяцев будет обращена в пепел... Да и кому могла прийти в голову мысль, что неприятельская армия будет гостить в ее стенах?.. А. Л. Нарышкин (обер-камергер) только что приехал в первопрестольную с многочисленною свитою молодых людей. Помню красавицу трагическую актрису mademoiselle George, которая играла и в доме моего дяди. Обеды, балы, вечера не прекращались, но мне все это казалось странным, я был застенчив, даже чересчур, может быть, скромен, а петербургская молодежь, камер-юнкера смотрели на меня как на провинциала и еще более удаляли меня от своего общества.

Тут-то я увидал в первый раз много отличных офицеров, которые так резко отличались в царствование императора Александра: молодого светлейшего князя Лопухина, светлейшего Меншикова (ныне адмирал) и других. Последний был тогда лет 20, капитаном артиллерии и флигель-адъютантом...

Наконец начали разъезжаться, и я отправлен был в Петербург, чтоб поступить на службу. В то время старший брат мой А. И. Л<орер> проживал в Петербурге, и под его-то крылышко торопился я. Не оттого, что он приходится мне братом, а по всей справедливости я должен сказать, что он в то время пользовался репутацией ловкого, умного, образованного человека и отличного штаб-офицера, служившего с большим отличием кампанию 1805 года, где был взят в плен со многими другими офицерами лейб-уланского полка под Аустерлицем, когда, как известно, полк этот был почти уничтожен, даже с полковым командиром своим Меллер-Закомельским.

Из г. Брюна, где пленные содержались, они были возвращены только по заключении мира. Потом брат участвовал в битве под Прейсиш-Эйлау и, наконец, сделал шведскую кампанию 1809 года. По болезни он должен был выйти в отставку, женился и проживал в Петербурге. После его смерти уже товарищ его по службе Булгарин, бывший у брата в эскадроне корнетом, написал его некролог, который можно найти в первом издании его сочинений 1824 года.

Явившись в дом брата на Садовой, я у него поселился и тут только, попав снова в тихий родственный круг, отдохнул после шумной Москвы. Тогда-то начались хлопоты о поступлении моем на службу. Так как первые шаги неопытного юноши всегда играют главную роль в будущей его жизни, то об этом надобно было подумать. Хотя гвардия была тогда уже в походе, но брат мой, служа прежде в ней под начальством в<еликого> к<нязя> Константина Павловича и пользуясь его благоволением, основал на старинном знакомстве мысль определить меня в один из полков гвардии. К тому же брат мой имел много знакомых и приятелей между адъютантами его высочества: он был короток с Кудашевым, убитым впоследствии под Лейпцигом, он знал Сталя, Потапова, Лагоду, Куруту, Шперберга и на их ходатайство надеялся... Я же с детства моего много наслышался о цесаре-

виче как о человеке страшно строгом и суровом, и потому мысль поступить под его начальство меня пугала. Но делать было нечего, я повиновался и скрепя сердце вошел в роковой момент в карету за своим братом.

С страшным замиранием сердца подъезжал я к Мраморному дворцу. По большой лестнице, показавшейся мне грязною, не быв встречены ни швейцаром, ни даже лакеем, взошли мы в огромную залу. Тут мы нашли уже многих адъютантов великого князя, знакомых брата, которые все обступили нас, и помню, что Кудашев между прочим сказал мне:

— Я знаю, что ты знаком со многими иностранными языками, но ежели его высочество спросит тебя, чему ты учился, то скажи — русскому.

Вскоре все засуетились, водворилась тишина и великий князь вошел. Он прямо подошел к брату, хриплым, но отрывистым голосом поздоровался с ним, сказал, что давно с ним не видался, взглянул на меня, наморщил свои огромные брови и спросил:

— Это брат твой?

Тогда брат мой представил меня его высочеству и изложил свое желание и просьбу. Великий князь, окинув меня своим быстрым взором, тотчас же решил: «В конную гвардию! Димитрий Димитриевич Курута, посадить его на барабан и обстричь эти белокурые кудри» — и пошел. Скоро вернувшись, однако, в<еликий> к<нязь> промолвил: «Я раздумал: полк в походе, на него наденут кирас, каску, переходы большие, он пропадет, наживет себе чахотку... потому что, кажется, вскормлен на молоке... Я определю его <в> Дворянский полк к полковнику Энгельгардту и даю слово,— сказал он, взяв брата за руку,— через 5 или 6 месяцев, когда он втянется немного, произведу его в офицеры гвардии».

Брат мой благодарил его высочество и поцеловал его в плечо. Великий князь тогда спросил меня: «Чему ты учился?» — и я, помня наставления Кудашева, скромно сказал: «Русскому...»—«Довольно»,—сказал в<еликий> к<нязь>, поклонился и удалился в свои апартаменты. И вот как решилась моя будущая судьба.

Никогда мне не забыть этого моего первого свидания со странным человеком, который, быв наследником русского престола, отказался впоследствии от него, чтоб жениться на польке дворянке, и был невольно причиной бедствий России, заблудших моих товарищей и меня са-

мого. Цесаревич был среднего роста, немного сутуловат, но строен, лицо имел очень некрасивое, брови густые, рыжие и нос чрезвычайно малый (курносый), носил постоянно конногвардейский мундир как шеф полка этого. Главными его качествами и недостатками были вспыльчивость, непомерная строгость, а часто и грубость в обращении с подчиненными, но сердце он имел доброе, как воспитанник Лагарпа. Многие науки знал он отлично, но, к сожалению, все это пропало даром, а служба и фронт поглотили все его хорошие качества и доброе направление, так что он ни о чем не мог говорить, как о службе. Впоследствии он сделался деспотом, каких мало, но рыцарем по тогдашним понятиям остался навсегда. Имея честь служить под его начальством в Варшаве в продолжение 6 лет, я узнал его коротко и буду со временем говорить о нем очень часто, а теперь стану продолжать мои воспоминания.

На другой день моего представления великому князю меня отвезли на Петербургскую сторону в дом полковника Энгельгардта, который содержал 8 молодых людей, так называемых пансионеров, и я с самого начала моего военного поприща был, к счастию, окружен его семейством, а корпуса и не знал.

Дворянский полк (что ныне Константиновское училище) был тогда составлен из двух баталионов, первым командовал полковник Голтеер, вторым — Энгельгардт. Дворянский полк в то время состоял из разного сброда людей уже взрослых. Помню, тут были и шляхта, и бедные дворяне разных губерний, даже в одно время находились в нем отец с сыном и служили в одном баталионе. Образования молодые люди никакого не получили, многие не умели даже читать; но зато маршировка, ружистика, военные эволюции процветали, и кадеты на смотрах равнялись в выправке с гвардиею, а цесаревич забавлялся нами, часто приезжал к нам, выводил на площадь, нередко в ненастную погоду, и учил нас, учил, учил, приправляя все это самою неприличною бранью. Так текли несколько месяцев моей службы... По воскресеньям нас отпускали по домам, и я с нетерпением ожидал всегда этой минуты, так как меня крепко возмущала наша однообразная, скучная, грустная жизнь. Помню, что в один из воскресных дней я посетил старика Гаврила Романовича Державина, с домом которого семейство наше было давно знакомо. Гостей никого не было,

как вдруг в комнату вбегает какой-то напудренный старичок со звездою и, задыхаясь от волнения, говорит:

— Гаврило Романович, соберитесь с духом... Москва отдана... и третий день пылает в огне...

Державин, как услыхал это роковое известие, закрыл обеими руками лицо свое... и в комнате сделалась тишина... мы не смели прерывать безмолвной горести старца... Наконец он отнял свои руки от лица, омоченного слезами, и просил меня сходить к Дашеньке (супруге его) и велеть приготовить ему одеться.

— Я еду во дворец к императрице Марье Федоровне,— промолвил он.

Вскоре и я поспешил домой к брату, предполагая, что он не знает еще этого прискорбного для всякого русского известия, но застал уже весь наш дом в большом горе и смущении. Страшная весть быстро облетела Петербург, и он казался мне тогда в каком-то тумане... Кого ни встретишь, все с потупившими глазами, с поникшими головами. Страшная пустота какая-то сделалась в городе.

А между тем моя жизнь текла по-прежнему однообразно. Но вот в одно утро наш почтенный полковник собрал нас всех в зал и объявил, что накануне получено приказание его высочества по недостатку офицеров в полках гвардии назначить из нас достойнеших к производству. «Я,— прибавил он,— представлю к производству вас всех, исключая г-на Лорера, для которого не могу этого сделать, потому что он еще не унтер-офицер,— всего только пять месяцев в корпусе...» Обратившись ко мне, он в мое утешение прибавил: «Но так как вы и определены в корпус по особенной милости великого князя, то советую вам похлопотать у ваших покровителей в сем важном случае, авось вам и это удастся». Я побежал к брату, рассказал, в чем дело; сели в карету и поскакали к полковнику Лагоде, управляющему канцелярнею великого князя, и сообщили ему наше затруднительное обстоятельство.

Выслушав нас, Лагода улыбнулся и сказал: «Передайте Александру Николаевичу (так звали Энгельгардта), чтобы непременно в списке представленных к производству поместил и вас, и уверьте его, что за успешные последствия я отвечаю».

Обнадеженный словами этого почтенного человека, я поскакал в корпус и сообщил милостивое решение

Энгельгардту, который вскоре поместил таким образом и меня в список счастливцев.

Однажды, рано утром, выпускных изо всех корпусов собрали в залы 1-го кадетского корпуса и построили в шеренгу. Вскоре приехал великий князь; ему подали мел, и он, проходя по шеренге, стал нас таврить разными гиероглифами, которых мы, конечно, тогда не понимали. Кому поставит крест, кому круг, кому четвероугольник и укажет особое место, где стать. Я с трепетом ждал своей очереди, как вдруг в<еликий> к<нязь>, дойдя до меня, остановился и, спросив мою фамилию, вскричал: «Рано! еще не унтер-офицер». Но благодетельный Лагода что-то шепнул ему на ухо, и тогда его высочество, шутя уже, спросил меня:

— Знаешь ли службу?

— Знаю, в<аше> в<ысочество>.

— Можешь ли командовать баталионом?

— Могу, в<аше> в<ысочество>,— смело отвечал я.

Тогда и на моей груди появился какой-то мелом начерченный крестик, и я присоединился к другим, таким же знаком отмеченным счастливцам. Наконец таинственное распределение кончилось, и в<еликий> к<нязь> громко произнес:

— Дети мои, подойдите ко мне поближе!

И, когда мы, теснясь, окружили его, он продолжал:

— Государю императору угодно было назначить из трех кадетских корпусов лучших по своему поведению и знанию службы кадет на места товарищей офицеров, павших за отечество; я избрал вас и надеюсь, что вы оправдаете мой выбор, мои ожидания. Завтра же я вас представлю государю во дворец, в 6 часов утра. Прощайте, дети.

Тут он уехал, а мы возвратились по корпусам.

Целый день и ночь, конечно, провели мы в приготовлениях — стриглись, мылись, чистились, прихорашивались.

На другой день, при восемнадцатиградусном морозе, в одних мундирчиках, в 6 часов утра, бежали мы через Неву во дворец, а ветер холодный продувал нас насквозь... Но при таких обстоятельствах и в таких летах кровь греет как-то особенно, и я не ощущал особенного холода. Во дворце почти все еще спало, когда мы вошли в залы и при тусклых нескольких свечах стали у камина ожидать дальнейших с нами распоряжений. День только

начинал прокрадываться в огромные окна... Петропавловский шпиц стал обозначаться на небе, как в<еликий> к<нязь> уже приехал и стал расставлять нас по корпусам. Вскоре вышел и государь, которго здесь я в первый раз имел счастье видеть <и>разглядеть. Он был в мундире Семеновского полка, столь им любимом, и показался мне грустным, печальным. Да и было отчего, ибо в то время Наполеон гостил уже в Москве, будущность была неизвестна, а государь уже сказал себе: <to be or not to be> — быть или не быть?

Государь осмотрел нас и тихо своим приятным голосом поздравил нас офицерами, прибавив:

— Вы заместите ваших павших братий, служите же мне так же ревностно, с тем же неукоризненным отличием, как и они служили.

После этого нас распустили по домам для предстоящей нам обмундировки.

В своей семье, конечно, очень радовались моему скорому производству, осыпали меня поздравлениями, за обедом в этот день пили шампанское за здоровье новоиспеченного прапорщика.

Тогда же, в доме у брата, я познакомился со внучкой светлейшего князя Кутузова, Яхонтовой. Она была очень мила и дружна с моей невесткой, а мне, я помню, было ужасно совестно представиться ей с коротко выстриженной головой. Благосклонный читатель простит мне мою болтовню, но мне она дорога по воспоминаниям, да к тому же и нужна будет впоследствии, при дальнейшем развитии моих приключений. Скажу вкратце, что всех нас, новопроизведенных, на первых порах распределили по полкам резервной дивизии, составленной из рекрут, и мы ревностно принялись передавать им наши фронтовые и служебные знания: прапорщики командовали ротами, поручики — баталионами.

Вскоре пошли мы в поход, на укомплектование гвардии, узнав, что французы оставили Москву, а Россия и Петербург оживились и ликовали. Я видел, как светлейший Кутузов, отъезжая в армию прямо от государя (который жил тогда на Каменном острову), с дочерью своею Опочининой подъехал к Казанскому собору и служил там молебен. При выходе его из собора бесчисленная толпа народа его окружала, и неистово гремело «ура!». Маститый старец, с непокрытою головой, громко сказал народу: «Даю вам слово, я выгоню неприятеля из

России, будьте покойны». Народ долго провожал его дорожную коляску, уверенный в нем; и не прошло года, как князь выполнил свое предсказание!..

Вскоре государь уехал в армию, а мы, как я уже сказал, тянулись на соединение с гвардиею, под командою г. Башуцкого, с.-петербургского коменданта, который лишь по недостатку тогда генералов был назначен нашим командиром, но скоро сдал команду полковнику Траскину.

Глава II

Заграничный поход.— Возвращение в Варшаву.— Необычайная речь государя.— Выход в отставку и поступление в Московский полк.— Новое поколение офицеров.— Невыносимость военной службы.— Ученье и мученье солдат.— Великие князья.— Восстание Семеновского полка.— Гвардия выступает в поход.— Примирение гвардии с государем.— Удивительная встреча с приятелем моим И. Щербатовым.— Рассказ снисходительного фельдъегеря.— Распространение либерализма и вольнодумства.— Федор Петрович Уваров

Не стану описывать достопамятной войны и случаев со мною в это время, потому что описал уже это время в моих «*Воспоминаниях русского офицера*» в «Русской беседе», а скажу только, что после Бауценского дела при Рейхенбахе мы вошли в состав гвардейского корпуса.

После трехмесячного квартирования в Париже мы выступили обратно в Россию. Гвардейская первая дивизия отправилась морем в Кронштадт; вторая и кавалерия — сухим путем в Берлин, где прусский король собирался достойно угостить своих верных союзников, и мы уже рассчитывали на всевозможные веселости, как вдруг нашему баталиону Литовского полка, впоследствии переименованному из Московского, в котором я имел честь служить, приказано было, не доходя 20 миль до Берлина, идти прямо в Варшаву. С нами потянулся один баталион Финляндского полка, один эскадрон лейб-уланского и батарея конной артиллерии.

Таким образом нам не удалось принять участие в развлечениях наших товарищей, и мы, простившись с ними, тянулись в Варшаву, в неизвестности, что нас там ожидает.

Парадом вступили мы в Варшаву. Великий князь Константин Павлович встретил нас с огромной свитой польских генералов. Тут я видел старика генерала Дом-

бровского, князя Сулковского, генерала Красинского, который во всех кампаниях Наполеона командовал отрядом его телохранителей (officiers d'ordonnance). Участь Польши еще не была решена окончательно; об ней трактовали на Венском конгрессе, а великий князь уже старался окружить себя польскими войсками и набирал полки из разного сброда, и к нему стекались толпы из Испании и даже из Америки. На сформирование полков в<еликий> к<нязь> был мастер и в короткое время в самом деле, с помощью русских офицеров, распределенных по польским полкам, сумел составить отличную польскую армию. Одному из моих товарищей досталось быть инструктором в дивизии Хлопицкого, всегдашнего сопутника Наполеона в Египте.

Итак, время наше текло однообразно, в караулах, ученьях, разводах, в коих великий князь был в своем элементе. Польские генералы держали себя очень скромно, но с достоинством против в<еликого> к<нязя>, как брата своего будущего короля и благодетеля, каким считали императора Александра. Они все носили польские мундиры, а адъютанты Наполеона все сделаны были флигель-адъютантами. Адъютант князя Понятовского сделан адъютантом великого князя. Все смотрело весело, бодро, все надеялось; в<еликий> к<нязь>ласкал поляков... Тогда он еще сдерживал свою страсть к тому мелкому военному педантизму, который впоследствии так вооружил всех против него, стоил нам много крови и был пагубен столько же для России, как и для самой Польши, в 1831 году.

Наконец возвестили скорый приезд государя в Варшаву. Все пришло в движение, все засуетились, на всех лицах показалась радость и надежда; наш баталион готовился дать развод и занят был беспрестанными репетициями.

В одно пасмурное утро пушечные выстрелы дали знать о въезде государя. Войска стояли фронтом по улицам от Краковского предместья до Саксонской площади. Государь был верхом, ехал задумчиво в польском мундире с лентой Белого орла. Высшие польские сановники встретили государя у заставы и поднесли ему ключи от г. Варшавы на малинового бархата подушке. Пройдя мимо него церемониальным маршем, войска разошлись по домам, а государь, у которого бог весть что было на душе, грустный отправился во дворец.

В 1818 году уже возвещено было Польское королевство, и в Варшаве открыт сейм необычайною речью государя. Я не мог не протесниться в залу, где заседали сенаторы, польские представители и русский генералитет. На особенных креслах восседал дипломатический корпус всех европейских держав: помню Нессельроде, Каподистрия, Алопеуса. Напротив сидели русские сановники — С. П. Ланской, Н. Н. Новосильцев. Галерея кругом тронной залы была занята дамами и представляла подобие прелестного, богатого цветочного венка. Старуха Чарторижская, с своей внучкой, сидела впереди всех. Все ждали торжественной минуты. Но вот, из нарочно проделанных дверей, показался государь, без царской мантии, в польском мундире... Он тихо входит по бархату на ступени трона, кланяется представителям, народу и твердым, хотя еще непривычным голосом говорит: «Représentants du Rayaume de Pologne!» *. У меня захватило дух и слезы навернулись на глазах. Обращение это было, конечно, ново для всех нас, подданных государя самодержавного, отократа...

В речи своей государь сказал, что назначает генерала Заиончека вице-королем и наместником, и тогда Чарторижский, исправлявший эту должность до сего, встал с своих кресел и уступил их приблизившемуся в сопровождении двух флигель-адъютантов безногому Заиончеку. Помню, что старуха Чарторижская тотчас же удалилась в галереи, не дождавшись конца. Кто знает, не это ли обстоятельство было главною причиною революции 1831 года, когда, как известно, Адам Чарторижский принимал живое участие. Может быть, восстановление прежнего личного величия было существенным его побуждением войти в революцию?

Ночью открылась палата представителей, и прения продолжались до утра. Многие из моих знакомых и товарищей принимали участие в этих прениях, и я помню в особенности отличавшегося своим красноречием Бонавенту Немоевского. Все прения и речи печатались ежедневно; трактиры наполнены были любопытными, мешавшимися с депутатами всех уездов, и всякий хотел поместить и свое словцо в пользу сограждан.

Прослужа 6 лет в Варшаве, я решился оставить тягостную службу и перейти в один из полков, в России расположенных. В войсках под начальством в<еликого>

* Представители Королевства Польского! *(фр.)*

к<нязя> перемещения не допускались по желанию, а потому надобно было сначала выйти в отставку, что я и сделал.

Прибыв в Петербург, я сошелся опять с прежними однополчанами, с которыми делал кампанию 1814 года. Они встретили меня братски и упросили вступить в тот самый полк, в котором я начал свое военное поприще, то есть в Московский. Конечно, такое лестное приглашение очень льстило моему самолюбию, и я согласился, подал просьбу и был принят снова на службу в Петербурге.

С 1821 года служба моя была самая приятная, после всех непомерных строгостей Варшавы. Тогда гвардейский корпус был во всем своем блеске. Полки, наполненные молодежью, по возвращении из Парижа увидели в рядах своих новое поколение офицеров, которое начинало уже углубляться в свое назначение, стало понимать, что не для того только носят они мундир, чтоб обучать солдат маршировке да выправке. Все стали стремиться к чему-то высшему, достойному, благородному. Молодежь много читала, стали в полках заводить библиотеки, появились книги — сочинения Франклина, Филанджиери, политическая экономия Сея. Жадное до образования юношество толпилось в залах на публичных курсах, в особенности у Г. Р. Державина, где происходили чтения любителей русской словесности и где читали Крылов, Гнедич, Лобанов. С трудом доставались билеты, а в охотниках просвещения недостатка не было. Я тогда знал многих образованных людей между офицерами гвардейских полков, в особенности же много их было в Семеновском, Измайловском и нашем Московском. Сим последним в то время командовал Потемкин, Преображенским — барон Розен, Семеновским — Храповицкий, егерским — Бистром. Полки, очевидцы доблестных подвигов своих начальников, стяжавшие себе бессмертную славу на полях Бородина, Кульма и многих других, где дралась гвардия, любили и уважали своих командиров.

Служба мирного времени шла своим порядком, без излишнего педантизма, но, к сожалению, этот порядок вещей скоро стал изменяться.

Оба великие князя, Николай и Михаил, получили бригады и тут же стали прилагать к делу вошедший в моду педантизм. В городе они ловили офицеров; за

малейшее отступление от формы одежды, за надетую не по форме шляпу сажали на гаупвахты; по ночам посещали караульни и если находили офицеров спящими, строго с них взыскивали... Приятности военного звания были отравлены, служба всем нам стала делаться невыносимою! По целым дням по всему Петербургу шагали полки, то на ученье, то с ученья, барабанный бой раздавался с раннего утра до поздней ночи. Манежи были переполнены, и начальники часто спорили между собой, кому из них первому владеть ими, так что принуждены были составить правильную очередь.

Оба в<еликие> к<нязя> друг перед другом соперничали в ученье и мученье солдат. Великий князь Николай даже по вечерам требовал к себе во дворец команды человек по 40 старых ефрейторов; там зажигались свечи, люстры, лампы, и его высочество изволил заниматься ружейными приемами и маршировкой по гладко натертому паркету. Не раз случалось, что великая княгиня Александра Федоровна, тогда еще в цвете лет, в угоду своему супругу, становилась на правый фланг с боку какого-нибудь 13-вершкового усача-гренадера и маршировала, вытягивая носки.

Старые полковые командиры получили новые назначения, с ними корпус офицеров потерял своих защитников, потому что они одни изредка успевали сдерживать ретивость великих князей, представляя им, как вредно для духа корпуса подобное обращение с служащим людом. Молодые полковые командиры, действуя в духе великих князей, напротив, лезли из кожи, чтобы им угодить, и, таким образом, мало-помалу довели до того, что большое число офицеров стало переходить в армию. Наконец, дух нетерпимости, непокорности, неповиновения явно стал появляться в Семеновском полку. Я тогда знал этот полк очень хорошо, имея много знакомых и друзей, и, как очевидец происшествий, расскажу, как это было.

Я говорил уже, что Семеновский полк был любимым полком государя, что он постоянно носил мундир полка, знал большую часть солдат по имени и вообще баловал полк. И я знал одного солдата, который вязал государю султаны белые и черные и обыкновенно получал за каждый по 100 рублей ассигнациями. Да позволено мне будет припомнить тут тогдашних моих приятелей. Первым баталионом командовал Вадковский; я знал С. Муравьева-Апостола, князя Щербатова — двух братьев и много

других. Тогда полком командовал генерал Шварц, человек без всякого образования, тип Скалозуба в «Горе от ума». До той же поры он командовал армейским полком и отличался своею строгостью, формалистикой, ни о чем больше не умел говорить, как о ремешках, пригонке амуниции, выправке и проч. Так говорили о нем все, знавшие его, а по пословице «глас народа — глас божий» оно так и быть должно, впрочем, за верность сего показания не ручаюсь. Я тогда же слышал, что в месте, где он стоял с армейским полком, указывали на могилу, где погребаемы были засеченные им солдаты и рекруты, так что будто бы и могила сохранила за собой название *Шварцовой*. И этот-то человек, по настоянию великого князя Николая Павловича и рекомендации педанта генерала, был назначен командовать первым полком в империи!

С первого же шага, при представлении ему офицеров, они увидели, с каким человеком им приходится делить свои обязанности. В прежнее время генерал-адъютанта Потемкина были заведены кровати у нижних чинов; почти каждый из них имел по самовару — признак довольства у солдатика; все это очень не нравилось новому полковому командиру. Нары снова были введены в полку; обращение сделалось невыносимо, генерал часто издевался над старыми служивыми, рвал им усы и бакенбарды, плевал в лицо. Часто у себя на квартире обучал поодиночке солдат, велев предварительно разуться, чтоб лучше оценить вытягивание носка... Эти и подобные обращения выводили людей из терпения, так что однажды, когда полку следовало идти в караул и разбирать ружья, гренадерская рота не тронулась. Офицеры употребили всевозможные просьбы и увещания, но тщетно! Тогда приехал в полк корпусный командир, князь Васильчиков (при императоре Николае председатель Государственного совета). Знаменитый воин, с прекрасной душой, он ошибся на этот раз и, вместо того чтобы говорить с солдатами по-человечески и мерами кротости возвратить их к повиновению, он начал их ругать, назвал изменниками, бунтовщиками!.. Тогда весь полк ему ответил, что все готовы умереть за царя, готовы идти в огонь и воду по единому мановению его, но не желают иметь начальником г. Шварца, который после неуспешных разговоров своих с полком давно выскочил в окно и укрылся в доме генерал-губернатора Милорадовича. Генерал Василь-

чиков, по старой привычке видеть в солдатах машины, а не людей, в которых есть душа, чувства, приказал первой роте отправиться в Петропавловскую крепость, думая тем прекратить мятеж. Но не так случилось! Другие роты, увидев, что их разлучают с ротой его величества, крикнули: «Ребята! где голова, там и ноги!» И весь полк вышел на Семеновскую площадь в фуражках, но без ружей и там стоял толпами.

Императрица Мария Федоровна в карете подъехала к толпам и сама увещевала их покориться и исполнить волю начальства. Солдаты сняли фуражки и крикнули «ура!» В<еликие> князья также подъезжали, но им солдаты кричали: «отъезжай, вы еще молоды!» — и никого не послушали. Офицеры полка с горестью видели дальнейшую будущность непокорных и все предались своему жребию... Краса гвардии погибла! Решились пожертвовать всем полком.

В начале возмущения Орлов, командовавший тогда конной гвардией, двинулся было с своим полком на Семеновскую площадь, готовый всегда исполнить роль палача во всех случаях, но его вернули. Полк в полном составе, со всеми офицерами двинулся к крепости, где 1-му баталиону присуждено было оставаться, а остальные два посажены были на суда и отправлены также с офицерами в Финляндские крепости.

Государь находился тогда на конгрессе в Троппау, а вся Европа волновалась: в Неаполе вспыхнула революция (карбонаризм). Испания требовала конституции, в Германии были беспорядки: молодой Занд убил Коцебу, мстя за честь университета и Германии. Меттерних создавал свою систему и беспрестанно напевал государю Александру, что надобно принимать решительные меры и что без них tous les trônes seront ébranlés. *

Впрочем, я не пишу политической истории, а ограничусь тем только, что делалось перед моими глазами. Васильчиков послал своего адъютанта Чаадаева с донесением к государю о чрезвычайном происшествии, но Чаадаев сибаритом сделал это путешествие, а Меттерних, через своего посланника, успел узнать о Семеновской истории двумя часами ранее государя.

Когда Чаадаев явился к государю и подал донесение, то тот грозно сказал ему, что уже все знает, очень сердился и выразил Чаадаеву весь гнев свой за либераль-

* все троны будут поколеблены *(фр.)*.

ные, пагубные идеи, которые будто бы проникли даже в самое сердце его доселе верной гвардии.

Но в этом государь ошибался, и ежели даже Меттерних для своих видов и успел убедить государя в этом мнении, то да позволено мне будет сказать здесь, что офицеры Семеновского полка, быв слишком благородными, конечно, не употребляли никаких средств, чтобы взбунтовать полк без пользы и погубить его напрасно. Легко может быть, что начальство, чтоб загладить свои безрассудные дела, взваливало всю вину на корпус офицеров и втихомолку старалось распространить этот слух. Но в Петербурге ему не верили, молодежь других полков громко обвиняла Васильчикова и командиров, не умевших взяться за дело.

Васильчиков собрал совет, пригласил в оный графа Кочубея и забыл пригласить героя 1812 года П. П. Коновницына, бывшего военного министра и тогда начальника всех военно-учебных заведений. Они знали очень хорошо, что сей ветеран не разделит их мнений и, конечно, возьмет сторону своего старого полка, в котором служил в молодости и считался, когда еще был адъютантом Суворова.

Генерал Васильчиков, узнав, что офицеры гвардии обвиняют начальника и в особенности его во всем этом деле, ездил по полкам и говорил: «Дошло до моего сведения, что господа офицеры позволяют себе судить о бунте Семеновского полка, обвиняют высшее начальство, а тем вредят тем более преступникам. Предупреждаю вас и советую прекратить эти толки до решения государя императора, а ежели узнаю того, кто позволит себе упорствовать, то не поцеремонюсь и отправлю его подальше». Те же речи были повторены и в других полках.

Наконец, фельдъегерь привез государево печальное решение. Его величество приказал гренадерскую роту судить военным судом в крепости, презусом назначить генерал-адъютанта Левашова, прочие баталионы велел раскассировать по армейским полкам и гарнизонам и офицеров также. Знамена и музыканты остаются в кадре полка, и новый Семеновский полк формируется из гренадерских рот прочих армейских полков. Генерал Удом назначается полковым командиром нового полка.

И вот похороны старого Семеновского полка, просуществовавшего 150 лет! Государь, встревоженный исто-

риею Семеновского полка, вознамерился вывести гвардию и поразвлечь ее немного, и вот в 1821 году, в день светлого христова воскресенья, во дворце, у заутрени, куда собралась вся гвардия, Васильчикова вызвали из церкви, и курьер из Лайбаха вручил ему приказание выступить со всей гвардией в поход!

В одну минуту распространился слух этот по дворцу, все в недоумении повторяли: поход, поход. Все засуетились, и на другой же день все стали быстро готовиться: кто устраивал свои дела, кто занимал деньги, кто закупал лошадей и проч. Через неделю после молебствия корпус выступал к западным границам, а мы еще не знали настоящей мысли государя двинуть неожиданно всю свою гвардию. Неужели движение наше делается против итальянских карбонариев и тайных обществ? Однако мы все были рады подышать чистым воздухом и на время забыть о мрачных сырых манежах и бодро подвигались вперед. После уже многим из нас стало вероятно, что в нашем походе скрывалась задняя мысль, как я уже сказал, проветрить гвардейский душок и не дать повториться семеновской истории.

Генерал Ермолов был выписан нарочно из Тифлиса, чтоб командовать нашим корпусом.

Так мы шли на Вильно, но, не доходя до нее, в имении графа Хрептовича, в Бешенковичах, корпус остановился.

Вскоре прибыл государь из-за границы и остановился в доме г. Хрептовича. Дом стоял на горе, окруженный садом, оранжереями и всеми возможными затеями богатого помещика. Огромная равнина стлалась на необозримое пространство, и по деревням расположился гвардейский корпус. Генерал Сакен (впоследствии фельдмаршал, победитель под Бриеном) заменил генерала Ермолова и принял начальство над армиею, в состав которой и мы пошли. В один день назначен был парад, и несметные полки покрыли стройными рядами поля Бешенкович. Государь стал объезжать фронт и подъехал к новосформированному Семеновскому полку. Всем заметно было, что ему тяжело и грустно не видеть в рядах его тех солдат, которых он почти знал всех лично. Погода была сырая, взводы как-то уныло прошли мимо государя, и я не помню никогда такого неоживленного смотра.

Генерал Сакен и Васильчиков, видя, что государь недоволен гвардиею, возымели счастливую идею помирить

его с нею, а для того предложили устроить великолепный праздник на полях Бешенкович, и всякий офицер должен был пожертвовать по полуимпериалу. Государь принял приглашение, и вскоре, в версте от дома, занимаемого императором, был сооружен из соломы и ельнику великолепный зал, могущий вмещать в себе до 1500 человек приглашенных. Убранством его занимались свитские офицеры. Курьеры поскакали в Ригу за винами, за капельмейстером в Петербург; зал убирался оружием, цветами, и вскоре настал вожделенный день.

Вся гвардия встретила государя, который прибыл на праздник верхом и под руку с Сакеном вошел в приготовленный зал. Он был весел и дарил всех тою прекрасною улыбкою, которой я не видал у него во время парада. Когда государь садился на лошадь, тогда граф Сакен сказал: «Господа, за мною, кивера и шляпы долой!» — и сам снял шляпу. Пошли к государю с повинною головою навстречу.

Государь, подъехав ближе к нам, слез с лошади, пошел навстречу нам и милостиво приветствовал нас. Государь со многими милостиво разговаривал и о прошедшем — ни слова... За обедом в смежном зале, накрытом на 1500 кувертов, при звуках нескольких сот музыкантов, управляемых Дерфельдом, при громе пушечных выстрелов и баталионного огня пехоты государь первый тост изволил пить за благоденствие России, второй — за здоровье храброй российской гвардии. Потрясающее «ура!» гремело в зале и окрестностях; все были довольны и веселы, и так примирился государь со своими воинами.

Не знаю для чего, а гвардия осталась еще на несколько времени при Бешенковичах, и я скучал в одной из деревушек с моею ротою, на большой дороге, ведущей в Петербург.

Однажды в обычной моей прогулке я достиг почтовой станции, как вдруг вижу — несется коляска, останавливается у почтового двора, и я узнаю моего хорошего приятеля <И. Щербатова>, командовавшего государевой ротой в Семеновском раскассированном старом полку, в сопровождении фельдъегеря.

— Что это значит? куда тебя везут? или куда ты едешь? — спросил я его с удивлением.

— А вот, как видишь, меня взяли из Москвы, привезли в Петербург, посадили под строгий караул, не да-

вали ни ножей, ни вилок, ни бритв, почему я и оброс бородой, а теперь везут в Витебск, на следствие, которого председателем Орлов, и я думаю, что вся эта кутерьма упала на меня оттого, что я когда-то имел счастие командовать ротою его величества в Семеновском полку.

— Квартира моя недалеко, время обеда, пойдем ко мне.

— С удовольствием, ежели дядя позволит,— сказал он мне, называя дядей своего тучного аргуса.

Тот согласился, и у меня на квартире вскоре собрались и остальные знакомые <И. Щербатова>. Мы весело обедали и пожелали ему здоровья и счастливого окончания дела. После обеда явилась мысль уговорить наших путешественников переночевать у меня, а вечером распарить русские косточки в топившейся у меня на дворе бане. «Дядя» согласился и на это, и все было устроено.

Избрав свободную минутку, я обратился к фельдъегерю с вопросом:

— Скажите, пожалуйста, что побудило вас быть снисходительным к вашему арестанту и нашим просьбам, вопреки общего всей вашей братии правила быть неумолимым мучителем жертвы, попавшейся однажды в ваши лапы?

— Несчастие,— отвечал он мне,— делает человека добрее, а я сам бывал в подобных положениях, как мой арестант. Я сам сидел в Петропавловском каземате.

— За что?

— В 1812 году я был тем же фельдъегерем, что и теперь, и состоял при квартире светлейшего Кутузова. Однажды меня отправили к государю с пакетом и неприятельскими знаменами. На одной из станций в Белоруссии я, не застав в почтовом доме ни души, прилег отдохнуть в ожидании появления кого-нибудь. После кратковременного отдыха, когда я открыл глаза, то заметил с ужасом, что ни сумки с пакетом, ни ящика со знаменами не было при мне. Хотя я был в шубе, но у меня мороз по коже подирал при воспоминании о последствиях потери, мною сделанной! Ночь была месячная, кругом тишина мертвая, единственная тройка, понуря головы, стояла в конюшне, а людей все еще никого не было. В отчаянии, почти в забытьи, я сделал несколько шагов к речке, вижу прорубь... Не долго раздумывая, мне пришла мысль утопиться... перекрестился — и бух в воду. Ежели б не сложение мое, как видите, довольно объеми-

стое, то и поминай как звали, но, на беду, я погрузился в прорубь только до живота и застрял. Делаю усилие... не могу да и только утонуть! Окоченелый вылез я из проруби да и думаю себе, видно, не суждено мне умирать, пусть будет что будет! На счастие скоро пришли два ямщика из соседней деревни, куда они ходили погреться, так как почтовый дом был без печей и окон. Заложили мне тройку, и я продолжал свой путь, с уверенностью, что погибну там безвозвратно! Курьеры из армии привозили все донесения прямо к Аракчееву, и я в 8 часов вечера был введен к нему в кабинет, вошел с решимостью предать судьбу свою в его руки. А вы, вероятно, знаете, каков был тогда могущественный Аракчеев! «С чем приехал?» — спросил он меня. «Привез пакет на имя его величества и знамена французские!» — «Где же они?» Я упал в ноги и рассказал ему несчастный со мной случай. Аракчеев, к удивлению моему, только погрозил мне пальцем и закричал: «Сани!» Мигом они были заложены, поданы, и Аракчеев повез меня во дворец. Там сам государь заставил меня повторить происшествие, спросил, от кого был пакет? «От светлейшего Кутузова»,— отвечал я. Государь задумался и велел мне выйти. Вскоре и Аракчеев вышел от государя и сказал мне: «Тебя государь велел посадить в каземат на два месяца». Я внутренно благословлял такое счастливое окончание моего проступка, но в каземате высидел не два месяца, а четыре, потому, вероятно, что при тогдашних важных политических происшествиях меня забыли... Испытал и я эту муку и вот почему готов облегчить участь всякого несчастного, ежели это только может от меня зависеть!

На другое утро, отдохнувши, обмывшись, гости мои уехали. Думал ли я тогда, что свидание мое с <И. Д. Щербатовым> было последним в этом мире! Воображал ли я, что и со мной произойдут дела и случаи, каких силы человеческие едва ли могут вынести. А вынес, остался жив и пишу эти строки! Тогда в Витебске собраны были уже пять семеновских офицеров: Вадковский, Щербатов, не помню других. Их содержали под арестом, за строгим караулом, но не знаю, судили ли их. Только с воцарением Николая, т. е. после пяти лет, их освободили, и <И. Д. Щербатов> командовал полком на Кавказе.

Из всего этого видно, что император Александр не

кинул своей идеи, что будто бы именно в кругу семеновских офицеров таился зародыш либерализма, вольнодумства и идей, противных правительству. Но государь ошибался, ибо зло уже было общее, и сам он как бы его приготовил своею речью на Польском сейме, обещав дать конституцию. Людей, сочувствующих этой мысли, нашлось в России, конечно, много, но государь хотя и знал об этом, но пренебрегал опасностью, считая толки бреднями малочисленных юношей.

После виленских маневров мы возвратились в Петербург. Дела Италии устроились: водворился страшный абсолютизм. Страшные преследования и гонения обрушились на головы бедного народа. Тюрьмы были переполнены. И вот тот Священный союз, которым надеялись облегчить участь человечества! Как непрочны дела человеческие! Союз обратился в пользу одних самовластных монархов.

А. П. Ермолов с досадою возвратился в Тифлис, сожалея, что дела Италии кончились и ему не удалось во всем блеске показать своих военных способностей в командовании армией.

После Васильчикова командовать корпусом гвардии назначен был Федор Петрович Уваров. Это был один из отличнейших людей, приближенных к государю. Всегда учтив, добр, враг мелочной службы, он снисходительно допускал к себе всякого офицера, имевшего до него какое-либо дело. Своему государю Уваров всегда говорил «ты» и до конца своей жизни не имел другой квартиры, как в Зимнем дворце. Великих князей часто останавливал он от неумеренной взыскательности, за что все, кроме их, его любили. Со смертию его гвардейский корпус потерял единственного своего защитника и благодетеля.

Глава III

Смерть брата и переход мой из гвардии в армию.— Дух гвардейского корпуса.— Анекдот о Карамзине.— Весть о восстании в Греции.— Высылка Пушкина в Кишинев.— Вступление в тайное общество.— Павел Иванович Пестель.— Приезд в Киев.— Посещение героя Н. Н. Раевского

До сей поры я был, сколько возможно, счастлив, уважаем начальством, любим товарищами, кажется, чего бы и желать? Но счастье не прочно! В <18>24 году я

имел несчастие потерять старшего брата моего, который заступал мне место отца, был моим благодетелем и содержал меня своими средствами, чтоб не озабочивать старушку 70-летнюю, мать нашу. С кончиной брата прекратилась мне материальная поддержка, и я стеснялся содержать себя в гвардии и тогда же задумал перейти в армию.

Для здоровья я хотел служить в одном из полков, на юге России расположенных, и, кроме того, искал себе полка, коего бы командир прежде всего был бы человек. К людям, подобным Скалозубу, носившим у нас название бурбонов, я не имел никогда симпатии. Разведывания мои увенчались успехом, и я был переведен майором во 2-ю армию, в 18-ю дивизию, корпуса г. Рудзевича, в полк Вятский, которым командовал Пестель.

Я не знал еще тогда о существовании в России тайного общества, и вот судьба как бы сама привела меня к той исходной точке, которая должна была привести меня к тяжкому испытанию, страданиям, лишениям и перевороту всей моей остальной жизни.

Я говорил выше о составе гвардейского корпуса, о духе, там преобладавшем, и о моих связях — дружеских, можно сказать,— со многими из сослуживцев. Часто мы собирались в Измайловском полку на квартире Капниста, где говорили, рассуждали о современных вопросах, читали стихи молодого Пушкина, едва выпущенного из лицея, «Полярную звезду» Бестужева, которая была видна на всех столах кабинетов столицы. Тогда же вышел IX том «Истории государства Российского», и его жадно читали, так что, по замечанию одного из товарищей, в Петербурге оттого только такая пустота на улицах, что все углублены в царствование Иоанна Грозного!

Рассказывали тогда, что в это же время в одном окне Аничковского дворца рисовались две особы, глядя на кипящий Невский проспект. Одна из них почему-то обратила взоры свои на проходящего человека и спросила стоявшего возле генерала:

— Это Карамзин? Негодяй, без которого народ не догадывался бы, что между царями есть тираны.

Более всего воспламенило молодежь известие о восстании Греции. Все были уверены, что государь подаст руку помощи единоверцам и что двинут наши армии

в Молдавию. Но политика Меттерниха, преобладая в европейских кабинетах, молчала, а общество между тем не переставало высказывать своего сочувствия к несчастным угнетенным.

Многие офицеры гвардии стали проситься в полки армии, думая тем приблизиться к имеющемуся в виду походу на помощь грекам. Но правительство, не сочувствуя идеям всякого, хотя бы то было и законного восстания, не дозволяло этой военной эмиграции из гвардии, и я помню одного поручика нашей артиллерии Райко, который, не спрашивая даже разрешения, по собственному убеждению отправился в Афины и долго старался быть полезным своим соотечественникам. В Греции он был назначен генерал-фельдцейхмейстером, сделался другом Байрона и помогал много успеху восстания. По окончании дел Греции Каподистрия дал ему рекомендательные письма к Нессельроде и, кажется, писал даже к государю, рекомендуя этого человека как отличного дипломата и офицера, и просил наградить его чином полковника русской службы. Однако Бенкендорф по приказанию государя отправил бедного Райко на Кавказ тем же чином. К счастию, он недолго там служил, ему позволено было выйти в отставку. Он женился и поселился в Одессе, где я с ним и познакомился. Часто, для шутки, приходя ко мне и не застав дома, он оставлял свою визитную карточку, на коей красовалось: «Райко, генерал-фельдцейхмейстер заморского края».

Тогда же, в одно утро, мы узнали, что Пушкина услали в Кишинев, что за немножко вольные стишки и мысли ему грозила ссылка в Сибирь или заключение в монастырь и что только ходатайством Энгельгардта и Карамзина изгнание переменили на Бессарабию, которое так живо описал наш Бартеньев.

Во время моего колебания в выборе полка товарищи много упрашивали меня оставить эту мысль, но я оставался непреклонен. Меня так и тянуло на юг, в места, где провел свое детство, юность. Я говорил уже о дружеских моих отношениях со многими сослуживцами, но до этой решимости моей перейти во вторую армию я ничего не знал о существовании тайного общества в России, хотя мои знакомые, люди большею частью либеральные, не стесняясь, очень часто говорили о значении 2-й армии, об М. Орлове и проч.

В одно утро я посетил Е. П. Оболенского, который был дивизионным адъютантом. Все, кто знал его, не мог не любить и не уважать этого прекрасного, милого молодого человека. Он был душою нашего кружка, хотя служба его не позволяла ему часто отлучаться в Петербург. Так как Е. П. О<боленский>, по месту, им занимаемому, мог мне сообщить те данные насчет полковых командиров армии, которые меня интересовали, то я в этот раз и просил его после краткого постороннего разговора посоветовать мне и указать полк, в который бы мне было выгодно перейти. Помню, что он, не долго подумав, сказал мне:

— Зная твой характер, нрав, мысли, любезный друг, я могу тебе смело посоветовать двух отличных полковых командиров и достойных людей — это Пестеля и Бурцева, выбирай любого.

— Но я обоих их не знаю,— отвечал я,— про Бурцева еще слышал, что он очень дружен с М. М. Нар<ышкиным>, а этого достаточно уже в моих глазах на полную мою симпатию, потому что недостойный человек не может быть другом Нар<ышкина>. Пестель, говорят, человек с большими дарованиями и совершенно образованный человек.

Отвечая Е. П. О<боленскому> таким образом, мог ли я вообразить тогда, что жребий мой был уже брошен и меч Дамоклеев висит уже над моей головой? От каких безделиц иногда может исказиться вся судьба человека! Ну что бы было войти кому-нибудь постороннему и помешать нашему дальнейшему разговору? Провидению, видно, было угодно еще с колыбели моей назначить мне то, что впоследствии со мной случилось.

40 лет прошло с того времени, и я смело скажу, что ни одной минуты и ни одного разу я не сожалел, что случилось так, а не иначе. Оболенский же решил, что мне следует перейти в Вятский полк к Пестелю, заверил меня, что я буду доволен начальником, а он во мне найдет человека, которого ему нужно. Тут же была написана и просьба моя о переводе моем в Вятский пехотный полк майором.

Не забуду я никогда, как Е. П. О<боленский> по исполнении всей этой процедуры стал ходить по комнате в задумчивости, и я спросил, о чем это он думает. Остановившись и пристально взглянув на меня, он отвечал:

— Знаешь ли, любезный друг, что многие из наших общих знакомых давно желают иметь тебя товарищем в одном важном и великом деле и упрекают себя в том, что ты до сих пор не наш. Скажу же тебе я, что в России давно уже существует тайное общество, стремящееся ко благу ее... Покуда тебе довольно знать... Желаешь ли вступить в число нас?

Хотя я был поражен внезапностью известия, но чувствовал тогда же, что не могу отказать человеку, которого уважал и любил без меры. Однако я не сейчас отвечал, а спросил:

— Из кого же состоит ваше общество и какая его цель?

— Покуда я не могу и не вправе ничего сообщить, но скажу только, что цель нашего общества есть распространение просвещения, искоренение зла, пожертвование личными выгодами для счастья человечества, замещение нами мест самых невидных, опять-таки для проведения идеи правды, истины, бескорыстия, нелицеприятия.

— Почему же, любезный друг, ежели это такое благодетельное и филантропическое общество, почему,— спрашиваю я,— оно тайное? Благой цели нечего скрываться, и прекрасное не должно быть скрываемо — его же так мало на этом свете!

Обол<енский> мне отвечал на это, что покуда только оно тайное, чтоб набежать насмешек и пересудов большинства, которое, не поняв всей высоты намерений, может, однако, мешать ему на первой поре в дальнейшем развитии.

— Итак, друг мой, ты колеблешься подать нам братскую руку твою,— заключил Обол<енский>.

Смутно понимая важность шага, который я готов был сделать, я и на это не сейчас отвечал; но тут, как нарочно, вдруг солнечный луч весело осветил довольно мрачную квартиру,— а он ведь посылается от бога,— я встал и только осведомился о трех лицах, дорогих, близких моему сердцу, с нами ли они?

— С нами,— отвечал Оболенский.

— Я — ваш,— проговорил я, и мы братски, горячо обнялись. Вошли писаря и помешали нашему дальнейшему разговору.

Я ушел домой, полный разных дум. Вечером же того дня многие из товарищей узнали о моем посвящении, поздравляли меня, обнимали, целовали. Мне было тогда 28 лет от роду. Жребий был брошен!..

Не прошло и трех дней, как я получил записку от Е. П. Обол<енского>, в которой он меня уведомлял, что П. И. Пестель в Петербурге, и советовал мне к нему представиться, вызываясь сам это сделать на другой день. Я согласился и утром отправился в кавалергардские казармы, где Пестель остановился у своего брата, тогда ротмистра этого полка. Ныне <он> сенатором в Москве. Оболенский, тут же находившийся, прямо назвав меня, прибавил: из наших.

И вот где я в первый раз увидел человека умного, оригинального, игравшего тогда и впоследствии большую роль в нашем тайном обществе и бывшего одним из главных деятелей его. Пестель был небольшого роста, брюнет, с черными, беглыми, но приятными глазами. Он и тогда и теперь, при воспоминании о нем, очень много напоминает мне Наполеона I. На нем был длинный, широкий, армейский сюртук с красным воротником, штаб-офицерскими почерневшими эполетами, лежавшими на плечах более назад, нежели наперед. Сначала он принял меня холодно, но при известии, что я член общества, Пестель улыбнулся и подал мне руку и тут же, как бы кстати, сказал Оболенскому:

— У вас, в Петербурге, ничего не делается, сидят сложа руки, chez nous au midi les affaires vont mieux*. А об вас я уже давно слышал, и много хорошего, а вы теперь только приняты... Это непростительно Северному обществу. Я думаю,— продолжал он,— скоро можно будет начать дело.

Быв новичком, еще о многом догадываясь только и не зная вполне, что это за дело, я помню, что слова его меня тогда и удивили и навели какую-то робость. Мы расстались с тем, чтоб свидеться уже в полку как сослуживцам.

Вскоре вышел мой перевод, товарищи однополчане проводили меня, таким образом кончилось мое служение в гвардии с 1812 года по 1823.

Путь мой лежал на Киев. Был май месяц; весна сменяла зиму, и, чем более удалялся я от Петербурга, тем

---

* у нас на юге дела идут лучше *(фр.)*.

легче, теплее, отраднее становилось мне на сердце. Рощицы, темные леса, нивы с роскошною жатвою встречались с каждым шагом, а запах свежескошенного сена и полевых цветов, которыми Малороссия изобилует, очаровывали меня и наполняли мою душу каким-то необъяснимым наслаждением.

В Киеве я остановился в Зеленом трактире и посетил двух приятелей: Капниста и Муханова, адъютантов Н. Н. Раевского, командовавшего корпусом и имевшего в Киеве свою корпусную квартиру. Капнист прежде служил в Измайловском полку и был одним из отличнейших офицеров, могущих всегда принести честь полку, и вышел только из гвардии по мстительности и преследованиям бригадного начальника — в<еликого> к<нязя> Николая Павловича.

Всем известно, что его высочество, увлекаясь часто фрунтовой службой, дозволял себе более того, что может снести всякий порядочный человек, а потому именно эти-то порядочные люди только и останавливали его. Так однажды, желая поправить какую-то ошибку, направился он и к К<апнисту>, но сей остановил его словами: «Ваше высочество, не троньте меня, я щекотлив». Николай Павлович не мог этого простить К<апнисту>, и он должен был перейти в армию, где его, однако ж, отличил знаменитый защитник Смоленска Раевский, взяв к себе в адъютанты. После смерти Александра Павловича Н. Н. Раевский, не знаю почему, впал в немилость, вышел в отставку и дожил свой век в кругу своего семейства, в деревне.

Тогда мне хотелось посетить героя, коего высокие качества и добродетель так славно изобразил Д. В. Давыдов, и я явился к нему. Помню, что я застал генерала в биллиардной, с кием в руках. Открылось, что фамилия моя ему известна, что он очень хорошо знает матушку и всякий раз, что ездит в Крым, где у него поместья, заезжает к ней. «Снимай шарф, клади кивер и пойдем обедать»,— сказал он мне.

Дня через три я скакал в полк, где вскоре должна была разыграться и наша катастрофа.

Глава IV

Приезд в Линцы.— Пестель знакомит меня с членами тайного общества.— Деление общества на три управы.— Мои политические убеждения.— Аракчеев и Греч.— П. И. Пестель — один из замечательнейших людей своего времени.— «Русская правда».— Беседы с Пестелем с глазу на глаз.— Честолюбие Пестеля.— Совет графа Палена Пестелю.— Планы Пестеля.— Граф Витт хочет вступить в общество.— Я выполняю поручение Пестеля.— Разговор с Юшневским.— Я отклоняю принятие полка.— Способности Пестеля.— 2-я армия в мое время.— Таинственное сообщение Пестеля.— Расчеты Пестеля на 1-й баталион.— Предатель Майборода.

Квартира Вятского полка была в Линцах, местечке, принадлежавшем к<нязю> Сангушке, о котором я со временем скажу несколько слов.

Приехав в Линцы, покуда мне еще не отвели казенной квартиры, я остановился у еврея и тотчас же послал узнать, дома ли полковник Пестель. Меня велели просить обедать. У Пестеля я застал много людей, мне вовсе не знакомых, как то: В. Л. Давыдова — полковника в отставке, Лихарева — Генерального штаба и Полтавского пехотного полка поручика Бестужева-Рюмина и несколько офицеров Вятского полка. Пестель после форменного представления назвал меня членом общества, и все со мною стали гораздо откровеннее.

С первого же раза В. Л. Давыдов очаровал меня своею любезностью и веселостью. Узнав его после короче, я убедился, что он был представителем тогдашнего comme il faut, богат, образован, начитан, весь век свой провел в высшем обществе, был адъютантом князя Багратиона. Лихарев также мне понравился, но Бестужев произвел на меня какое-то странное впечатление и показался мне каким-то восторженным фанатиком, ибо много говорил, без связи, без плана. Я оставался с ним холоден, и так мы провели первый вечер у Пестеля.

Тут-то я узнал, что общество разделялось тогда на три управы: Северную — под управлением Никиты Муравьева. Южную — под управлением Пестеля и Васильковскую — под управлением Сергея Муравьева-Апостола. Южное было довольно многочисленно и существовало уже 10 лет. Я не стану описывать его начала, его цели и проч., потому что кто об этом не писал; но лучше всех и вернее изобразил нам картину всего этого кн. П. Долгоруков. Он отдал в своем описании полную справедливость этим жертвам за свободу своего отечества,

этим людям, которые в цветущих летах своих (какими были почти все члены общества) не убоялись пренебречь всем, что обыкновенно льстит нам в молодости — карьерой, службой, богатством,— чтоб улучшить судьбы отечества своего.

Про себя скажу откровенно, что я не был ни якобинцем, ни республиканцем,— это не в моем характере. Но с самой юности я ненавидел все строгие насильственные меры! Я всегда говорил, что Россия должна остаться монархией, но принять конституцию.

Члены общества знали жизнь, понимали недостатки старого времени, но нельзя отнять у них и того, что <они> были знакомы с хорошими сторонами ее, поэтому желали прогресса под другим именем. Я мечтал часто о монархической конституции и был предан императору Александру как человеку, хотя многие из членов, так как и я, негодовали на него за то, что он в последнее время, усталый от дел государственных, передал все управление Аракчееву, этому деспоту необузданному.

История еще не разъяснила нам причин, которые понудили Александра — исключительно европейца 19-го столетия, человека образованного, с изящными манерами, доброго, великодушного,— отдаться, или лучше сказать, так сильно привязаться к капралу павловского времени, человеку грубому, необразованному. Говорят, что лицо есть зеркало души, и это зеркало было у Аракчеева отвратительно.

Я помню время, когда Н. И. Греч перевел с латинского «Временщика» времен Рима. Мы с жадностию читали эти стихи и узнавали нашего русского временщика. Дошли они и до Аракчеева, и он себя узнал, потому что тотчас же послал за Гречем.

Вообразите себе, как перепугался этот писатель, когда его схватили и мчали на Литейную, где жил страшный человек. Но Греч дорогой утешал еще себя тем, что, может быть, Алексей Андреевич, очарованный его слогом, поручит ему написать что-нибудь о Грузине или о военных поселениях. Но представьте себе его положение, когда, представ пред очи Аракчеева, он услыхал гнусливый вопрос:

— Ты надворный советник Греч?

— Я, ваше сиятельство.

— Знаешь ли ты наши русские законы?

— Знаю, в<аше> с<иятельство>.

— У нас один закон для таких вольнодумцев, как ты: кнут, батюшка, кнут!.. Слышишь, чтобы завтра в Петербурге не было этой брошюры! Ступай и собирай везде как знаешь, а не то я тебя сошлю туда, куда Макар телят не гонит!

Передаю этот анекдот за то, за что купил.

Освоившись, обжившись в полку, я, проведя с Пестелем почти неразлучно два года до минуты, где нас судьба так жестоко разлучила,— и навсегда,— я узнал его коротко и могу сказать про него, что он был один из замечательнейших людей своего времени. Он жил открыто. Я и штабные полка всегда у него обедали. Квартиру он занимал очень простую — на площади, против экзерцицгауза,— и во всю длину его немногих комнат тянулись полки с книгами, более политическими, экономическими и вообще ученого содержания и всевозможные конституции. Зато я не знаю, чего этот человек не прочел на своем веку на многих иностранных языках. 12 лет писал <он> свою *«Русскую правду»*. К тому же Пестель имел громадную память. Эта *«Русская правда»* часто хранилась у меня, когда Пестель должен был отлучаться из дома на продолжительное время,— так берег он до поры до времени свое детище! Я несколько раз прочитывал эту конституцию для России и помню, что вступление было написано увлекательно, мастерски, да и вообще чего, кажется, не сообразил этот человек, приноравливаясь к русским нравам?

Не раз беседуя с Пестелем с глазу на глаз в длинные зимние вечера, я часто спрашивал его:

— Как это вы, П<авел> И<ванович>, гениальный человек, а не шутя полагаете возможным водворить в России республику?

— А Соединенные Штаты чем же лучше нас? — отвечал он мне.

— Но там другие элементы,— возражал я,— помилуйте, Соединенные Штаты долго были колониею Англии, платили ей дань и только, когда почувствовали свою мощь и у них явился Вашингтон, решились отделиться. Положим, и у нас найдутся Вашингтоны, Франклины, но общество наше еще к этому перевороту не готово, и признаюсь вам, что я, по крайней мере, не вижу хорошего исхода. Не беспокойтесь, вступив в общество, я не изменю вашим целям, но чувствую, что мы играем в опасную игру. Я не вижу никакого приготовления...

Этого мало; что ежедневно принимают там и сям одного, другого члена.

— Ваша правда,— сказал мне Пестель,— но в Василькове дела идут лучше. С. Муравьева-Апостола полк любит и — я уверен — вслед за ним пойдет.

— Ну, позвольте же вам сказать теперь, что ваша система командования полком уж никак не приведет к тем же результатам: солдаты вас не знают, может быть, и не любят, офицеры боятся... Будьте же сами популярнее!

Так коротали мы наше время.

Пестель был действительно человек с большими способностями, но мы полагали его и тогда слишком самонадеянным, и для республики, о которой он мечтал, недоставало в нем достаточно добродетелей. Правда, он был защитником свободы, а вместе с тем увлекался через меру честолюбием.

Раз Пестель мне рассказал, что, бывши адъютантом у графа Витгенштейна, стояли они с корпусом в Митаве, где Пестель познакомился с 80-летним Паленом, участвовавшим, как известно, в убийстве Павла I. Полюбив Пестеля, старик бывал с ним откровенен и, заметя у него еще тогда зародыш революционных идей, однажды ему сказал: «Ecoutez, jeune homme! Si vous voulez faire quelque chose par une société secrète,— c'est une bêtise. Car si vous êtes douze, le douzième sera invariablement un traître! Jai de l'expérience et je connais le monde et les hommes!» *.

Какая истина! Зловещее пророчество сбылось!

Павла Ивановича приятно было слушать, он мастерски говорил и всегда умел убеждать, но часто проглядывало в его словах непомерное честолюбие и тщеславие. И сам он однажды сознался, что многие уже ему это замечали, на что он им обыкновенно отвечал:

— На наше дело надобно иметь поболее честолюбия, оно одно может и вас подвигнуть к скорейшему начатию. А за себя даю вам слово, когда русский народ будет счастлив, приняв «Русскую правду», я удалюсь в киевский какой-нибудь монастырь и буду доживать свой век монахом.

— Да,— ответил я ему, улыбнувшись,— чтоб вас и оттуда вынесли на руках с торжеством!

---

* Слушайте, молодой человек! Если вы хотите что-нибудь сделать путем тайного общества, то это глупость. Потому что если вас двенадцать, то двенадцатый неизменно будет предателем! У меня есть опыт, и я знаю свет и людей *(фр.)*.

— Впрочем,—прервал он меня,—*кому быть повешенным, тот не утонет,* а со мной последнего не случилось, ибо в детстве моем, когда отец мой отправлял меня с старшим братом в Дрезден для нашего воспитания, то нанял для нас место на одном купеческом судне в Кронштадте. Все было уже готово к отъезду, мы уже простились с отцом, как вдруг он вздумал не отпускать нас на этом судне и велел забрать наши вещи и приказал пересесть на другое... Мы тогда, исполнив его волю, только удивлялись причудам старика, но каково же было наше удивление, когда, прибыв благополучно в Дрезден, мы узнали, что оставленное нами судно не дошло до своего назначения и с пассажирами и грузом потонуло без следа. Сердце старика моего верно чуяло беду, готовившуюся разразиться над головами его чад. И вот я остался жив, как видите.

В одно раннее утро Пестель прислал за мною, чтоб сообщить мне важную новость, которую он сам один не берется разрешить. Важное известие это состояло в том, что граф Витт прислал Пестелю объявить, что он знает об тайном обществе, предлагает свои услуги и просит принять и его самого в члены общества, намекая о своей пользе, так как под его командою состоит 40 000 войска. Затем г. Витт предупреждает Пестеля быть осторожным и остерегает его против человека ему близкого и уже предателя.

Легко себе представить, в каком мы положении были в ту минуту. Кто б мог быть этот Иуда? Долго думали, совещались, и Пестель решил отправить меня в Тульчин, где была главная квартира, с письмом к А. П. Юшневскому, главному члену общества, и просить его совета.

Исполняя это поручение П<авла> И<вановича>, я поехал в штаб-квартиру будто бы по своим делам и остановился у адъютанта главнокомандующего к<н> Барятинского, которому, как и другим членам, Пестель просил меня ни слова не говорить о моем поручении. Юшневский был тогда генерал-интендантом 2-й армии и пользовался отличной репутацией человека с большими сведениями, серьезного, бескорыстного, практического. Он был, можно сказать, в приятельских отношениях с гр. Витгенштейном и любим начальником штаба Киселевым (ныне посланником в Париже). При моем появлении с письмом Пестеля Юшневский запер дверь на ключ за мной и углубился в чтение. Я старался заранее про-

честь ответ на его лице... но оно ничего не выражало, и Юшневский только пожал плечами и, обратясь ко мне, сказал:

— Можно ли довериться Витту? Кто не знает этого известного шарлатана? Мне известно, что в настоящую минуту Витт не знает, как отдать отчет в нескольких миллионах рублей, им истраченных, и думает подделаться правительству, продав нас связанными по рукам и ногам, как куропаток... Я не буду писать П<авлу> И<вановичу>, потрудитесь передать ему словесно то, что вы от меня слышали о графе Витте, и посоветуйте с ним не сближаться.

Я тотчас же поспешил обратно в Линцы и передал Пестелю наш разговор с Юшневским. Пестель задумался, но видно было, что идея сближения с гр. Виттом его сильно занимала, ибо он мне тогда же сказал: «Ну, а ежели мы ошибаемся? Как много мы потеряем». Этим и кончилось тогда это загадочное происшествие.

Впоследствии я очень коротко сошелся с Юшневским и всегда его уважал. Он был, по моему мнению, добродетельнейший республиканец, никогда не изменявший своих мнений, убеждений, призвания. Он много способствовал своими советами Пестелю к составлению «Русской правды».

Я забыл сказать, что, приехав в полк, Пестель хотел было дать мне баталион, отняв его у младшего меня майора, уже пожилого человека, но я отклонил от себя эту обязанность более для того, чтобы не лишить моего бедного предместника сопряженных с званием баталионного командира 1000 р. столовых, и решился ждать более безобидной для других ваканций.

Так протекли два года моей службы в армии и членом Южного общества. Меня часто удивляли память Пестеля и способность его заниматься постоянно важными делами, которых он был главой, и полком, которым он командовал отлично и чрезвычайно легко, как бы спустя рукава, так что однажды корпусный командир Рудзевич про него сказал: «Удивляюсь, как Пестель занимается шагистикой, тогда как этой умной голове только и быть министром, посланником!»

Во время греческого восстания, когда Ипсилантий, быв на службе нашим генералом и приближенным лицом к государю Александру Павловичу, не зная, подготовлены ли его земляки, бросился необдуманно, под

влечением своих благородных чувств, в открытую борьбу и пал, вовлекши многих своих товарищей в погибель,— государь наш, державшийся святого союза и строгого non intervention *, спросил у Витгенштейна, коего армия была расположена на границах волновавшейся Молдавии и Валахии как единоверцев Греции и подданных той же Турции, нет ли в армии человека, способного разъяснить и представить верно положение христианского населения Молдавии и Валахии, граф Витгенштейн указал на Пестеля, который и был отправлен для этой цели. Он исполнил добросовестно свое поручение и писал прямо в собственные руки государю на французском языке. Говорили, что когда государь прочитал это ясное изложение дела и передал Нессельроде, то сей последний будто бы просил государя назвать ему дипломата, который так красно, умно, верно сумел описать настоящее положение Греции и христиан на Востоке, и будто бы государь, улыбнувшись, сказал: «Не более и не менее как армейский полковник. Да, вот какие у меня служат в армии полковники!»

В Тульчине при штабе 2-й армии в мое время служило много замечательных людей, в особенности офицеров Генерального штаба, и можно по справедливости сказать, что армия доведена была до такой степени совершенства, что превосходила своей организацией, устройством все остальные корпуса русские. Эту должную справедливость сам государь на высочайшем смотру <18>23 года ей отдал.

Главнокомандующий, которого армия обожала, по преклонным летам своим предоставил все управление делами армии своим достойным помощникам и, само собой разумеется, большею частью своему начальнику штаба Киселеву. Я с уважением произношу это имя, оставившее, вероятно, не у одного меня подобные теплые чувства. П. Д. Киселев был тогда лет 37 и во все время исправления должности, столь важной, был добр, доступен, любезен, снисходителен и притом очень красив собой. В ту пору он только что женился на красавице польке, Софии Потоцкой. Несмотря на свои многотрудные занятия, он постоянно находил довольно свободных минут, чтоб обогащать память свою новыми знаниями, а потому окружал себя людьми учеными и любил с ними проводить время. Проводя свою идею образования,

* невмешательства *(фр.)*.

честности, бескорыстия, он мало-помалу заместил закоренелых, отсталых полковых командиров своими адъютантами, из коих назову двух — Абрамова и Бурцева. Сей последний, быв замешан впоследствии по делу тайного общества, счастливо выпутался, несмотря на то что Чернышев всячески старался его погубить. Бурцева сослали на Кавказ только, где он служил с таким отличием, что при Паскевиче вскоре был произведен в генерал-майоры, и Чернышеву как военному министру не раз приходилось в полной форме приносить господу богу благодарение о ниспосланной победе за человека, которого он ненавидел. Бурцев всегда сам лично и прямо набело писал свои реляции государю Николаю Павловичу, и Паскевич, ценя его и чувствуя, что он необходим в войсках Кавказского корпуса, питал к нему особенную любовь. К сожалению, Бурцев не дожил до апогея своей славы. Не зная страха, часто в запальчивости, он впереди всех бросался в самые опасные места, и однажды роковая пуля сразила его смертельно. Умирая, он написал письма к государю, жене и дочери.

Однажды, придя к Пестелю вечером, по обыкновению, я застал его лежащим. При моем входе он приподнялся и после краткого молчания, с челом сумрачным и озабоченным, сказал мне как-то таинственно:

— Николай Иванович, все, что я вам скажу, пусть останется тайной между нами. Я не сплю уже несколько ночей, все обдумывая важный шаг, на который решаюсь... Получая чаще и чаще неблагоприятные сведения от управ, убеждаясь, что члены нашего общества охладевают все более и более к notre bonne cause *, что никто ничего не делает в преуспеяние её, что государь извещен даже о существовании общества и ждет благовидного предлога, чтоб нас всех схватить,— я решился дождаться <18>26 года (мы были в ноябре 1825 г.), отправиться в Таганрог и принесть государю свою повинную голову с тем намерением, чтоб он внял настоятельной необходимости разрушить общество, предупредив его развитие дарованием России тех уложений и прав, каких мы добиваемся. Недавно я ездил в Бердичев, в Житомир, чтоб переговорить с польскими членами, но и у них не нашел ничего радостного. Они и слышать не хотят нам помочь и желают избрать себе своего короля в случае нашего восстания. Сам же государь Александр с 1817 года, ви-

* к нашему делу *(фр.)*.

димо, изменил свое либеральное направление, поддавшись совершенно Меттерниху, который напевает ему, что добротою, снисходительностию можно только потрясти троны и разрушить их... Прусский король, много обещавший и ничего не исполнивший, небось, когда ему приходилось плохо, сам был главою в <18>13 и <18> 14 году своего Tugendbund'а, а теперь и он охладел. Что скажете вы на мое намерение?

— Признаюсь вам, Павел Иванович, что вы подымаетесь на рискованное дело. Хорошо, ежели государь снисходительно примет ваше извещение и убедится вашими доводами, ну а ежели нет? Ведь дело идет о спокойствии и счастии целой страны. А как интересы государств, связанных принципом Макиавелли, перетянут на свою сторону императора Александра, что тогда будет? По-моему, вам одним не следует решаться на такой важный шаг и нужно непременно сообщить ваш план хоть некоторым членам общества, как, напр<имер>, Юшневскому, Муравьеву, хоть для того только, чтоб никто не мог вас заподозрить, что вы ищете спасения личного, делаясь доносчиком дела общего, в котором отчаиваетесь...

Пестель пожал мне руку и замолчал.

Вскоре после этого вечера еще одно обстоятельство приблизило роковую минуту раскрытия нашей тайны. Раз утром Пестель мне сказал:

— Сегодня я отдал приказ об принятии вами 1-го баталиона на законном основании... Ваш предместник просится в отпуск и, кажется, не вернется в полк. Квартира баталиона в Данкове, в 15 верстах от Линца, а потому вы можете немедля вступить в должность... Впрочем, вечером еще мы увидимся и поговорим кой о чем.

Действительно, вечером он продолжал:

— У вас будет славный баталион, в особенности 2-я гренадерская рота — настоящая гвардия, и с этими людьми можно будет много сделать pour notre cause. Остальные роты легко пойдут за головой, а я надеюсь, что вы с вашим уменьем привязывать к себе сердца людей легко достигнете нашей цели, ежели б она когда-нибудь понадобилась... Чтоб облегчить вам несколько ваши обязанности служебные, я переведу к вам в баталион капитана Майбороду, а для большей связи в наших действиях приму его и в члены общества.

Последней фразы уже я совсем не ожидал, и она на меня сделала неприятное впечатление. Я всегда питал

какую-то антипатию к этому человеку и был с ним всегда настороже, а потому и тогда же ответил Пестелю:

— Не торопитесь, Павел Иванович, дайте мне его покороче узнать. До сих пор мне кажется, что он ничтожный, низенький человек, да и прежде слышал я про него много нехорошего... Вы этого не знаете разве, что Московский полк, в котором он прежде служил, заставил его выйти из полка за штуку, которую он сыграл с одним из товарищей. Тот дал ему 1000 рублей на покупку лошадей. Майборода, возвратившись из отпуска, уверил, что лошадь была куплена, но пала, и денег не возвратил, хотя все это было выдумано. К тому же и по службе он мне не товарищ, потому что очень строг с людьми, а я ему как баталионный командир этого не позволю без моего ведома.

Пестелю не понравились мои возражения, однако я возражал все сильнее и сильнее и настаивал, чтоб, по крайней мере, не открывать Майбороде всех наших тайн, и даже сказал: «А как вы думаете, Павел Иванович, не он ли тот предатель, от которого граф Витт вас предостерегал?» Но Пестель отбросил совершенно эту мысль и, по своему упрямству, кончил тем, что поверил Майбороде все наше положение, а тот так умел вкрасться в его доверенность, что Пестель отдался ему совершенно.

Немного прошло времени, а изменник, записывая у себя дома все, что услышит по вечерам у Павла Ивановича, для большей вероятности пред нами в искренности своих сочувствий к нашему общему делу принял даже одного члена — Старосельского,— тот же предатель, только вполовину!

Глава V

Кончина Александра I.— Совещание тайного общества.— Ожидание развязки.— Присяга Константину.— Общество открыто.— Последнее поручение Пестеля.— Арест Пестеля.— Обыск в доме Пестеля.— Мой первый допрос.— Мой арест.— Петербург

Вечером приехали два офицера Генерального штаба из Тульчина — Крюков и Черкасов — с известием, что туда приехал Чернышев... Накануне у нас жиды рассказывали, что государь будто бы скончался в Таганроге. Никто этому не верил, но чувствовал всякий, что должно что-нибудь происходить необыкновенное, ибо не

проходило дня, чтоб 3 или 4 фельдъегеря не проскакали в Варшаву и обратно. Пестель чрез одного офицера успел, однако, чуть ли не от шестого курьера, узнать о действительно последовавшей кончине государя... К тому же нечаянный приезд Чернышева, грустное, озабоченное лицо Киселева и вся тайна, которою мы были окружены, озабочивали нас немало...

После долгого вечернего совещания, что предпринять, на что решиться в случае открытия общества, положил: «Русскую правду» припрятать подальше, закопав в землю, а для сего уложили ее в крепкий ящик, запечатали, забили гвоздями и отдали на руки Крюкову и Черкасову, чтоб при первом удобном случае исполнить над ней эти похороны на Тульчинском кладбище.

Всю ночь мы жгли письма и бумаги Пестеля. Возвратившись к себе, я занялся и у себя тем же и для верности сжег все, что у меня было писаного. Хранители «Русской правды» уехали, а мы стали ждать развязки... В самый перелом нашей судьбы, в ту самую минуту, когда общество было готово подвергнуться участи своей, никто не мог отстранить опасности. Донос уже был сделан капитаном Майбородой.

Пришло повеление 2-й армии присягнуть на верность службы царевичу Константину Павловичу, что и было исполнено по полкам. Как теперь вижу Пестеля, мрачного, сериозного, со сложенными перстами поднятой руки... Мог ли я предполагать тогда, что в последний раз вижу его перед фронтом и что вскоре и совсем мы с ним расстанемся? В этот день все после присяги обедали у Пестеля, и обед прошел грустно, молчаливо, да и было отчего. На нас тяготела страшная неизвестность...

Вечером, по обыкновению, мы остались одни и сидели в кабинете. В зале не было огня... Вдруг, вовсе неожиданно, на пороге темной комнаты обрисовалась фигура военного штаб-офицера, который подал Пестелю небольшую записочку, карандашом написанную:

«La société est découverte: si un seul membre sera pris — je commence l'affaire *

С. Муравьев-Апостол».

Стало быть, дело наше начинало разыгрываться! Легко себе представить, как мы провели эту ночь.

* Общество открыто. Если будет арестован хоть один человек, я начинаю дело *(фр.)*.

На другой день мы узнали, что общество открыто чрез донос Майбороды... Предчувствия мои сбылись.

Говорили, что первый донос, который он доставил государю Александру, был им кинут в камин недочитанным, со словами: «Мерзавец, выслужиться хочет!» Но когда граф Витт явился вскоре после этого к государю, то он строго встретил его этими словами: «Что делается у вас? около вас? Везде заговоры, тайные общества, а вы и Киселев ничего об этом не знаете. Ежели это все правда, то оба будете мне крепко отвечать!» Витт тогда же отвечал, что он знает об *тайном обществе* и с тем именно и явился к государю, чтоб представить список заговорщиков Южного общества, в главе коих стояло имя Пестеля. Тогда государь будто бы послал Чернышева поразведать подробнее о деле этом, а сам между тем скончался от крымской лихорадки, простудившись на Южном берегу. Говорили, что доктор Вилье не так его лечил, не поняв сначала болезни, которая, приняв воспалительное свойство, свела государя в могилу 19 ноября 1825 года.

Между тем Чернышев, исполняя важное поручение, приехав в Тульчин, явился к главнокомандующему и с свойственным ему нахальством объявил, что едет по полкам армии арестовывать по списку членов тайного общества. Маститый старец сказал ему, что он этого дозволить не может, не имея на то именного повеления, и опасается, чтобы самые войска, парализированные таким повальным арестом своих ближайших начальников, которых любят и уважают, не вышли бы из повинования и самого Чернышева не арестовали. «Возьмите с собой, по крайней мере, начальника штаба моего... его они знают». На этом они и решили, но потом передумали и приказали собрать полковых командиров в Тульчин.

Такое приказание пришло и к нам в полк. Наш бригадный командир, не подозревая никаких обществ, сам нам сообщил волю главнокомандующего и уговаривался ехать вместе с Пестелем, на что сей и согласился.

Чуя приближающуюся грозу, но не быв уверены совершенно в нашей гибели, мы долго доискивались в этот вечер какой-нибудь задней мысли, дурно скрытого намека в приказе по корпусу; но ничего не нашли особенного, разве то, что имя Пестеля было повторено в нем 3 раза. В недоумении мы не знали, что предпринять, и Пестель решился отдаться своему жребию.

Я хотел было идти к себе, но Пестель еще меня остановил и послал просить к себе бригадного командира. Когда добрый старик, бывший с ним в хороших отношениях, пришел, то Пестель сказал ему: «Я не еду, я болен... Скажите Киселеву, что я очень нездоров и не могу явиться». С тем мы и расстались далеко за полночь.

Не успел я возвратиться к себе и лечь в постель, как человек Пестеля снова прибегает ко мне с просьбою пожаловать к нему и с известием, что полковник сейчас едут в Тульчин. Не постигая таких быстрых перемен, я наскоро оделся и побежал к полковнику... Он был уже одет по-дорожному, и коляска его стояла у крыльца...

— Я еду, что будет, то будет,— встретил он меня словами...— Я еще хотел вас видеть, Н<иколай> И<ванович>, чтоб сказать вам, что, может быть, мне придется дать вам поручение маленькой записочкой, хотя бы карандашом написанной: исполните без отлагательства то, что вы там прочтете,— хоть из любви к нам...

С этими словами мы обнялись, я проводил его до коляски и, встревоженный, возвратился в комнату... Свечи еще горели... кругом была мертвая тишина. Только гул колес отъехавшего экипажа дрожал в воздухе.

С свинцовою тяжестью на душе я сел на то место, где сидел Пестель, и, предчувствуя беду, невольно подумал и о самом себе... Что будет со мною завтра? Но судьбы своей не минешь, и я направился, усталый морально и физически, домой.

Это было 14 декабря, в самый тот день, когда было возмущение в С.-Петербурге.

Утром рано мой слуга доложил мне, что ночью привезли камердинера Пестеля закованным и содержат под строгим присмотром. Подстрекаемый мыслию, что могу его как-нибудь увидеть, я живо оделся и направился к временной тюрьме несчастного... Мундир мой дал мне свободный пропуск к арестанту, закованному в тяжелые железа, которого увидев, я не мог не спросить, что сделали с Павлом Ивановичем.

— Посадили под крепкий караул в монастыре, ваше высокоблагородие. Но вот в чем беда: ехавши с барином в Тульчин, я издали увидел с горы, у заставы, взвод с обнаженными саблями и когда сказал об этом полковнику, то он остановил коляску, скоро написал записочку какую-то и, спустив меня, велел вам ее непременно доставить, а сам поехал в город. Я, исполняя приказание

барина, пустился бежать напрямки, но, не отбежав и версты, был настигнут тройкой, на которой скакал какой-то чиновник, который, остановив меня, велел садиться с собою и отвез в Тульчин. Там барина я не видал, а генерал Чернышев отобрал у меня записку, к вам посланную, и допрашивал меня, чем барин мой занимался дома, много ли писал, кто к нам ходил чаще всех, кто бывал у нас. Как мне все это знать, в<аше> с<иятельство>,— отвечал я,— мое дело было ходить за барином, чистить ему сапоги, да и все тут... Кто у нас бывал? Да мало ли у нас бывало господ, всех не упомнишь.

После этого разговора моего с верным и сметливым слугою я более его не видал... Не знаю, что с ним сделалось.

В этот день я отправился обедать к жене моего бригадного командира и должен был вынести еще ужаснейшую пытку. Генерал еще не возвращался, а слухи об арестовании Пестеля, его камердинера и проч. уже ходили по местечку. Немудрено, что бедная женщина беспокоилась о своем муже. Едва я вошел, как она кинулась в слезах и отчаянии ко мне с вопросом:

— Ради бога, скажите, что сделали с моим мужем?.. Вы должны знать... Павла Ивановича, говорят, посадили как государственного преступника.

— Я сам ничего верного еще не знаю,— отвечал я,— но кажется, что мы дожили до такого времени, что многих будут брать из нас... Что же касается до вашего мужа, то даю вам слово, что он вне всяких случайностей... Не отчаивайтесь и верьте, что завтра же он будет с вами обедать...

Я старался утешать бедную женщину, как мог. Наступила пора обедать, мы пошли к столу, но ни у кого аппетита не оказалось. Время провели в воспоминаниях о Павле Ивановиче, который был дружен с этим домом. И генеральша, и сестра ее проплакали все обеденное время. После стола, чтоб рассеять немного дам, я просил сестру генеральши, большую музыкантшу, сыграть мне на фортепианах «Польский» Огинского. Она исполнила мою просьбу, но расплакалась еще больше и ушла в свою комнату.

Возвращаясь к себе, я зашел к нашему общему знакомому, доктору Плесселю, служившему частным медиком в имении Сангушки. Зная уже об арестовании Пав-

ла Ивановича, все семейство доктора сильно о нем горевало, да к тому же и сам доктор побаивался, так как был предуведомлен, что и за ним велено присматривать. Со временем я узнал, что его действительно взяли, открыв, что он член Польского общества, и повезли в Киев, не доезжая которого доктор себя отравил.

На другой день было воскресенье, и я пошел в костел, где обыкновенно играла наша музыка. Но там полковой адъютант в большом замешательстве объявил мне, что сейчас видел, как к дому Павла Ивановича подъехала коляска с Чернышевым и Киселевым... Я — домой, оделся в полную форму как командующий полком, взял ординарца и вестового и побежал с рапортом к начальству. Я застал обоих генералов в мундирах, при саблях, расхаживающих по зале. Мне показалось, что они приехали на веселый пир какой-нибудь, так праздничны были их физиономии.

По исполнении всех служебных формальностей Киселев приказал мне собрать немедленно всех офицеров, находящихся при штабе, и представить Чернышеву. Через час все было исполнено, и мы разошлись по домам. Ожидая ежеминутно какого-либо приказания, я не мог отлучиться из своей квартиры, но вечером узнал, что генералы не теряли своего времени: перешарили все комоды, шкатулки, ящики в доме Пестеля, поднимали полы, побывали и в бане, перерыли даже огород с помощью прислуги, которая, конечно, недоумевала, что за клад отыскивают эти господа. Но клад этот была «Русская правда». Она была в надежных руках, и не удалось Чернышеву положить к престолу своего нового государя обвинительный акт наш! В своем месте я скажу, как и когда она была открыта впоследствии.

Три дня жили генерал-адъютанты в доме Пестеля и, не раздеваясь, усердно работали... В последнюю ночь я узнал, что привезли Майбороду и заперли у себя, потому что сей последний опасался за свою жизнь. Как ни старался наш полковой адъютант проникнуть к нему, но не успел. Остальная дворня Пестеля рассказывала, что генералы очень грубо с Майбородой обращаются, даже кричат на него, и что он обедает отдельно от них. Сохрани меня бог от такого унижения, думал я тогда. Уж лучше выпить чашу до дна, как бы она горька ни была, с моими благородными товарищами, чем быть на его месте.

Ночью меня тихонько кто-то будит. Открываю глаза и вижу офицера в сером мундире, с серебряными петлицами, в капитанских эполетах, со свечою в руках...

— Г. маиор, вас зовут генералы...

— Сейчас, позвольте мне одеться, а для этого прошу вас разбудить и послать ко мне моего слугу.

Мы пошли. Ночь была светлая, тихая, местечко спало, и только генералы да и мы вдвоем бдели...

У Пестеля на квартире, в зале, на камине, стояла лампа, тускло освещавшая большую комнату. Ко мне вышел Киселев и сурово сказал мне:

— Г. маиор! По всем данным, которые у нас в руках, вы — член тайного общества. Не запирайтесь...

Тут вышел и Чернышев со словами:

— Нам известно, что вы были доверенным лицом Пестеля, другом его... Я знаю, что вы отличный штаб-офицер, что свидетельствовал и Павел Дмитриевич, так сознайтесь же, что принадлежите к обществу и приняты еще на Севере. Вы так молоды, что могли увлечься, и чем скорее и раньше сознаете свое заблуждение, тем более облегчите свою судьбу...

Я молчал, догадываясь, что все они знают чрез Майбороду. Видя мое упорство, Киселев спросил Чернышева:

— Прикажете арестовать?..

— Нет покуда, а вы, г. маиор, не выносите сора из избы.

Тем и кончилось наше полуночное свидание, и я мечтал, что счастливо отделался от страшного допроса.

На другой день был инспекторский смотр 1-му баталиону. Чернышев допрашивал людей, желая выведать что-либо о Пестеле. Но добрые солдатики ничего не показали, что бы могло повредить их доброму полковнику. Наконец генералы уехали в Тульчин, разослав множество гонцов по всем трактам. Казалось, буря миновала, для меня по крайней мере.

Не прошло и двух дней, как меня потребовали в Тульчин. Я выехал вечером в своей коляске. Ночь была морозная, но тихая и без снегу. Это было 22 декабря. Местечко Линцы окружено дубовым лесом, в котором не однажды с книгою в руках находил я в уединении сладкое спокойствие. Прощайте, милые места, я вас более не увижу. Прощай, белая хатка с стариком 80-летним хозяином-черноморцем, с которым я часто разделял скром-

ный ужин. Первый луч восходящего солнца осветил как бы нарочно для меня в последний раз и лес, и хижину с синей струйкой дыма...

В грустном расположении доехал я до предпоследней станции, где узнал от фельдъегеря об вступлении на престол Николая Павловича, но о происшествиях 14 декабря мне не было ничего известно.

В Тульчине, остановившись в жидовской корчме (потому что других помещений в Тульчине и не имелось), я узнал, что многие полковые командиры, долженствовавшие помочь Муравьеву-Апостолу, арестованы, что сам С. Муравьев, Повало-Швейковский, Тизенгаузен сидят уже под караулом. Утром я отправился в дом главнокомандующего, где жил и начальник штаба Киселев и остановился Чернышев. Покуда обо мне докладывали, я от усталости и волнений присел на диван и задремал...

Просыпаюсь — и генерал Киселев стоит предо мной. Отрапортовавши по форме, я получил приказание явиться к Чернышеву. При этом свидании нашем я застал генерала за письменным столом с пачкою бумаг, которые он внимательно прочитывал. Он тотчас же обратился ко мне со словами:

— Г. майор, все более и более убеждаюсь я, что вы — член тайного общества... Чем долее будете запираться, тем хуже, и я принужден буду дать вам очную ставку с капитаном Майбородой.

Этот последний аргумент меня сильно смутил, и я тотчас же просил генерала Чернышева позволить мне обдуматься несколько минут и пошел к благородному нашему начальнику штаба, решившись прямо открыть ему все, до меня касающееся, чтоб только не видеться с мерзавцем Майбородой, которого хотят поставить на одну доску с честным человеком.

Когда Киселев меня внимательно выслушал, то пожал плечами и сказал, что теперь он не может ничего для меня сделать, что Чернышев один всем распоряжается.

— Если б государь был жив, я поехал бы сам в Таганрог, отдал бы сам ему мою шпагу, подверг бы себя справедливому гневу его, но, может быть, многих из вас спас... Пестель поступил со мною неблагодарно: я ему доставил все, что можно только получить в звании и чине, а сам за труды мои в доведении армии до того блестящего положения, в котором она находится,— что

я получил?.. Генерал-адъютантские эполеты? Да и они теперь лезут с плеч моих долой...

Я заметил, что Киселев был в очень тревожном положении, а к беспокойству о беспорядках в частях его собственного управления прибавилось еще известие о возмущении 14 декабря в С.-Петербурге. Я решился и Чернышеву повторить все то же самое, что говорил Киселеву. И от него немного успокоительного для себя услыхал я. Он подал мне вопросные пункты и велел откровенно отвечать на них в смежной комнате.

И вот я предоставлен своему жребию и сам налагаю на себя руку... Со мной в комнате находился какой-то чиновник, видимо за мной следивший, но с которым мы ни слова не сказали. Кончивши свою работу, я просил его передать исписанный лист генералу Чернышеву, который вскоре выслал ко мне Киселева со словами:

— Вы ни в чем не сознаетесь. Везде вы написали «не знаю», «мне неизвестно». Это ли чистосердечие?

— Ваше превосходительство, я сознался, что я член тайного общества, следовательно, обвинил самого себя. Меня могут и за это расстрелять по военному артикулу в 24 часа. Но более я вам ничего не скажу, и напрасно будут все ваши вопросы...— И слезы невольно потекли по моим щекам...

Киселев пожал плечами и ушел. Было около 11 часов ночи. Усталый, изнеможденный, я просил через чиновника, моего аргуса, позволения отправиться домой, и мне это позволили. По дороге я заметил у многих домов расставленных часовых, вероятно, у временных квартир моих несчастных товарищей...

У меня дома чиновник потребовал ключа от шкатулки моей, осмотрел ее, взял мою шпагу и унес ее вместе с моей свободой.

Утром вбежал ко мне молодой фельдъегерь с тем же чиновником, который меня арестовал вчера, и приказал готовиться к отъезду в Петербург.

— Надеюсь, в моей коляске? — спросил я.

— Нет, на перекладных.

— Помилуйте, вы меня не довезете живого по этой колоти.

— Мне приказано следовать за генералом Чернышевым с вами вместе, а в тяжелом экипаже мы этого не сделаем.

Я настаивал на своем желании и, видя несговорчивость моих стражей, написал письмо к Киселеву, в котором изложил всю невозможность, по слабости здоровья, сделать это путешествие на перекладной.

Вскоре мне принесли дозволение ехать в своей коляске с тем, чтобы я не отставал от Чернышева. Сборы мои были недолги. Я простился с моим добрым слугою, вручив ему письмо к брату, в котором просил отпустить его на волю, а все свои пожитки подарил ему.

На первых порах мы мчались за коляской Чернышева, но я тогда же узнал, что нам запрещено подъезжать к станциям в одно время с ним. Частенько случалось нам в виду экипажа генерала останавливаться в поле, покуда ему вздумается отобедать, а раз нас застигла даже страшная вьюга-метель, а не понятная осторожность не была изменена.

В Махновке мы нашли зимний путь, и я оставил свою коляску трактирщику. В Житомире я первый раз спокойно отобедал на станции, ибо Чернышев заезжал к генералу Роту. Вскоре мы опять мчались за Чернышевым, который также оставил свой колесный экипаж Роту и взял у него кибитку. На одной станции кибитка его сломалась, мы невольно его догнали, и мой спутник получил приказание прислать со станции для генерала две перекладных, что вскоре и было исполнено. На станции я лег отдохнуть за перегородкой, а когда Чернышев приехал, то тотчас же спросил фельдъегеря: «Где маиор?» — «Здесь, за перегородкой, отдыхают». И я слышал, как он, удостоверившись в моем существовании, запер дверь на крюк. Напрасные предосторожности! Неужели он предполагал, что я могу или захочу бежать?

В продолжение дороги я узнал от моего провожатого о происшествиях 14 декабря, о смерти Милорадовича и захвате многих лиц на площади. Мне сказывали, что Чернышев во всю дорогу был в беспокойстве, расспрашивал всякого проезжающего о происшествиях и много заботился знать, кто доверенное лицо государя, кто к нему ближе... И он торопился заместить любимца Левашова! Пустое тщеславие жалкого интригана!

На пятые сутки мы приближались к Петербургу, а в новый год, 1 января 1826 года, на одной станции, Чернышев меня потребовал к себе... Я поздравил его с новым годом, на что он сухо мне поклонился. В комна-

те оставались еще неприбранные серебряные вещи туалета его, множество гребней, помада, духи наполняли комнату своим ароматом. Генерал был в мундире и парике, тщательно завитом. У печки стоял его секретарь с Анною на шее.

— Я желаю еще раз,— сказал мне Чернышев,— попытаться <облегчить> вашу судьбу и представлю вас государю как человека искренно раскаявшегося, ежели вы мне скажете, где «Русская правда».

— Генерал, вы сами очень хорошо знаете, что ежели б я даже и знал, где хранится «Русская правда», то не мог бы вам этого сообщить: честь всякого порядочного человека ему это запрещает, а я уже показал в своих ответных пунктах, что ничего об этом не знаю. Впрочем, своего рока не избежишь, и напрасно вы стараетесь меня обнадеживать прощением или облегчением.

— Ну, ваша философия не поведет вам к добру,— кончил Чернышев.

В час пополуночи мы подъехали к Петербургской заставе, и после шептаний Чернышева с караульным офицером, как мне помнится, лейб-егерского полка, мы въехали в столицу. Город еще не спал, и встречались экипажи, в домах светились еще огни. Не думал я никогда въезжать в Петербург в таком грустном настроении духа, в особенности же мне стало невыносимо тяжело, когда мы проезжали мимо дома моего дяди Д. Е. Цицианова, где я так весело проводил свое время и по четвергам объедался его гомерическими обедами.

Как мне кажется, Чернышев жил в Подъяческой, и я, приехав, был введен по узкой темной лестнице в комнату, где мне вскоре подали поужинать и позволили, наконец, уснуть на диване под присмотром откуда-то явившегося офицера. Наутро мне не позволяли подойти к окошку, уж не знаю почему. Фельдъегерь предложил мне побриться, и когда я сказал ему, что не имею своих бритв, то он рекомендовал мне цирюльника, который и исполнил надо мной эту операцию. Я тогда же понял, что не держать мне более самому бритвы в своих руках.

Фельдъегерь рассказывал мне, что Чернышев, возвратившись из дворца, был очень печален и с заплаканными глазами, вероятно, растроганный царским трауром.

Целые сутки я провел очень скучно и спал много.

Глава VI

Допрос в Зимнем дворце.— Николай I — Совет Сперанского.— Рассказ станционного смотрителя.— Петропавловская крепость

На другой день, когда еще было темно на улицах, мне приказали следовать за фельдъегерем. Провожатый мой был в мундире, белых перчатках, арестант — в сюртуке и фуражке! У подъезда дома стояла городская карета Чернышева, и, когда мы подошли к дверце, я из вежливости просил фельдъегеря войти прежде меня; но он пропустил меня вперед, и я вспомнил о маршале Нее. Когда его везли на место казни, то он также, указав на тележку провожавшему его патеру, сказал: «Садитесь. Зато я раньше вас буду там»,— и поднял глаза к небу.

Дорогой я спросил его:

— Везете вы меня в крепость?

— Нет, во дворец, где государь император хочет вас видеть.

— Помилуйте, да теперь еще все спят.

Тут же он мне объявил, что завтра отправляется в Москву за новым арестантом, я его просил быть с ним вежливым и добрым, как он был со мной. «Вы молоды,— прибавил я,— и бог вас не оставит, а ежели нам не суждено уж более видеться, то прошу вас взять в моих вещах серебряный стакан на память обо мне».

Меня привезли на главную гауптвахту в Зимнем дворце. На столе догорала свеча, на диване спал арестованный офицер, не из наших... Он очень вздыхал и стонал.

Сколько раз, служа в гвардии, стаивал я здесь в карауле с моею ротою. Те же зелененькие стены, то же кресло и так же дремлет на них караульный офицер, в шарфе и с застегнутыми чешуями. Вскоре караульный офицер, выходивший при моем появлении, вернулся с 8 рядовыми в серых мундирах, с саблями наголо, и вся эта команда меня обступила... Я глядел с удивлением на эти маневры, когда караульный офицер Преображенского полка обратился ко мне с словами: «Позвольте вас обыскать», и я ему отдал табакерку, маленький медалион моей любимой сестры и, кажется, 25 руб. мелочи, т. е. все, что при мне было. В это время вбежал фельдъегерь, небольшого роста, рыжий, и, запыхавшись, возгласил: «Пожалуйте арестанта к государю императору». Я хотел

следовать за ним, но, видя, что меня собираются конвоировать эти 8 серых стражей, остановился и сказал караульному офицеру, что «покуда я еще маиор русской службы и ношу мундир, который носит с честию вся армия, а не преступник, осужденный законом, и с конвоем я не сделаю шагу добровольно». Капитан извинялся тем, что здесь такой порядок.

— Вольно же вам из дворца сделать съезжую,— сказал я в негодовании.— Кто дежурный генерал-адъютант?

— Левашов.

— Потрудитесь послать кого-нибудь, хоть г. фельдъегеря, просить генерала дозволить мне предстать пред государя без конвоя.

Вскоре посланный вернулся с дозволением, и я пошел с ним в Эрмитаж, освещенный, как на бал. За столом сидел Левашов. При моем входе он встал, и мы раскланялись. Генерал мне сделал замечание, почему я не хотел покориться общим порядкам караульного дома. Я повторил мои резоны и прибавил, что и отсюда не иначе выйду как один, покуда не буду осужден законом... Левашов улыбнулся и закрутил свой ус. Я знал его, когда он командовал лейб-гусарским полком: это был всегда один из блестящих офицеров и считался одним из лучших ездоков гвардии. Генерал меня узнал и прибавил в конце нашего разговора: «Я знал вас за отличного офицера, и вы могли бы быть полезным отечеству, а теперь только жалею, что нахожу вас в этом неприятном положении. Чернышев вами недоволен и жаловался государю на ваше нечистосердечное признание. Потрудитесь обождать прихода его величества здесь, за ширмами»,— и с этим словом он действительно указал мне одни ширмы, поставленные в углу. Я нашел там кресло, присел и мысленно стал готовиться, чтобы суметь отвечать государю прилично, но с чувством собственного достоинства. Оправдываться я не хотел, да и не для чего... Недолго продолжались мои приготовления, послышался шум, и Левашов, заглянув ко мне за ширмы, просил меня пожаловать. С другого конца длинной залы шел государь в измайловском сюртуке, застегнутом на все крючки и пуговицы. Лицо его было бледно, волосы взъерошены... Никогда не удавалось мне его видеть таким безобразным.

Я твердыми шагами пошел было ему навстречу, но он издали еще, движением руки меня остановил и сам тихо подходил ко мне, меряя меня глазами. Я почтительно поклонился.

— Знаете ли вы наши законы? — начал он.

— Знаю, в<аше> в<еличество>.

— Знаете ли, какая участь вас ожидает? Смерть! — И он провел рукою по своей шее, как будто моя голова должна была отделиться от туловища тут же. На этот красноречивый жест мне нечего было отвечать, и я молчал.

— Чернышев вас долго убеждал сознаться во всем, что вы знаете и должны знать, а вы все финтили. У вас нет чести, милостивый государь.

Тут я невольно вздрогнул, у меня захватило дыхание, и я невольно проговорил:

— *Я в первый раз слышу это слово, государь...*

Государь сейчас опомнился и уж гораздо мягче продолжал:

— Сами виноваты, сами... Ваш бывший полковой командир погиб, ему нет спасения... А вы должны мне все сказать, слышите ли... а не то погибнете, как и он...

— Ваше величество,— начал я,— я ничего более не могу прибавить к моим показаниям в ответных своих пунктах. Я никогда не был заговорщиком, якобинцем. Всегда был противник республики, любил покойного государя императора и только желал для блага моего отечества коренных правдивых законов. Может быть, и заблуждался, но мыслил и действовал по своему убеждению...

Государь слушал меня внимательно и вдруг, подойдя ко мне, быстро взял меня за плечи, повернул к свету лампы и смело посмотрел мне в глаза. Тогда движение это и действие меня удивило, но после я догадался, что государь, по суеверию своему, искал у меня глаз черных, предполагая их принадлежностию истых карбонариев и либералов, но у меня он нашел глаза серые и вовсе не страшные. Вот причина, по которой позже Николай сослал Лермонтова — он не мог видеть его взгляда... Государь сказал что-то на ухо Левашову и ушел.

Тем и кончилась моя аудиенция.

Как я жестоко в нем обманулся, однако ж! Будучи так молод,— а молодости свойственна гуманность, человечность,— я думал, что он совсем иначе будет со мною

говорить, языком человечества, а не бригадного командира.

К чему ему было кричать, стращать людей, которые уже в его руках? Будто бы мы не знали, что одним самовластным росчерком пера своего он может всех нас предать смерти. Впрочем, впоследствии я узнал от многих моих товарищей, что со мной государь еще милостиво изволил объясняться, с многими же из них он просто ругался...

После 14 декабря, говорят, он хотел в 24 часа расстрелять всех, взятых на площади, но Сперанский помешал этому несправедливому намерению, поспешив во дворец и сказав ему: «Помилуйте, государь, вы каждого из этих несчастных делаете героями, мучениками... Они сумеют умереть... Это дело общее — вся Россия, вся Европа смотрит на ваши действия... Надобно дать всему формы законности, которые к тому же непременно откроют много важного, ибо, я полагаю, не одни военные замешаны в этой истории. В ней таится и другая искра».

Не знаю, хороша ли, полезна ли была мысль Сперанского для многих из нас, но Николая она спасла от лишнего черного пятна в его царствовании.

Когда государь вышел, Левашов торопился печатать и надписывать какой-то конверт и между прочим обратился ко мне.

— Государь вами очень недоволен, вы упрямы и нечистосердечны по-прежнему... Вы, господа, поторопились, поспешили и предупредили ход вещей пятидесятью годами...— После этой либеральной выходки со стороны генерал-адъютанта он мне сказал:— А знаете ли, что у нас есть средства принудить вас говорить, господа?

Я невольно улыбнулся и отвечал:

— Вы, вероятно, генерал, хотите напомнить о пытке? Но я и, конечно, все мои товарищи помним, что в XIX веке она не существует в образованных государствах, и не думаю, чтобы Николай I начал свое царствование тем, что отменили еще Елизавета и Екатерина II.

Тут он позвонил, и в комнату влетел новый фельдъегерь.

Я так много говорю о фельдъегерях, потому что со многими из них имел дело да и потому, что в наше время они играли вообще большую роль и для них была порядочная жатва. Тут же кстати расскажу казус и еще про одного.

Когда меня везли в Петербург, на одной из станций мы с моим провожатым застали трех ужинающих фельдъегерей. Само собой разумеется, что мой тотчас же отправился к товарищам. За смотрительским столом сидел задумавшись станционный смотритель, старик в очках... Я завел с ним разговор, спросив:

— О чем задумались, почтеннейший?

— Ох, ох, ох! Настали крутые времена... вон четверо их сидят вместе и весело попивают, а по дорогам валяются загнанные лошади... Взгляните — у нас три императора. Кого же из них признавать?

И он мне действительно показал три подорожные с тремя титулами: Александра, Константина, Николая.

— Да, старик, время трудное, но не рассуждай и прописывай всех трех, да ежели еще предъявит какой-нибудь фельдъегерь и четвертого, то и того прописывай, а не то тебя прибьют.

— Правда, правда, ваше благородие,— сказал он, уже смеясь, и прибавил как бы с тем, чтоб показать свою сметку: — А вы, вероятно, из числа арестованных, ваше благородие? Многих уже провезли... важных и хороших людей.

— Готово! — закричал староста, все вскочили, засуетились и поскакали на четыре разные стороны, как коршуны за своей добычей.

Когда Левашов позвонил и влетел новый фельдъегерь, как я уже сказал, генерал отдал ему пакет с черною печатью, показав на меня, примолвил: «В крепость». Свершилось!

Мы сошли вниз; тройка была готова: было 8 часов утра, когда мы спустились на Неву. Никогда мне не случалось встречать такого туманного, пасмурного, серого, печального дня. Глухое эхо раздалось под крепостными воротами, и сани наши остановились у комендантского дома.

В зале у коменданта я нашел несколько штаб- и обер-офицеров, которые при моем появлении что-то перешептывались, искоса на меня поглядывая. Что за лица? Никогда, нигде я их не видывал во всю мою службу. Я присел на стул и горько задумался — у меня промелькнуло часто повторяемое моим бывшим наставником изречение Лютера: «Gott ist meine feste Burg»*.

---

* Господь — моя крепость (*нем.*).

Мимо меня шныряли плац-адъютанты с оранжевыми воротниками (им уже успели переменить формы), с озабоченными лицами... И есть отчего: бедняжки должны принимать такое количество и таких дорогий гостей. «Пожалуйте»,— сказал один из них, и я направился через несколько комнат к коменданту. Это был безногий Сукин, впоследствии граф. Когда я вошел, он с важным видом мне сказал:

— Вы маиор Л<орер>?

— Я.

— Я получил высочайшее повеление содержать вас в крепости. И, показав рукой на маленького, толстенького человека, которого я не заметил прежде, потому что такие господа обыкновенно к случаю как будто из земли вырастают, прибавил:

— Плац-маиор Подушкин вас проводит на вашу квартиру.

Глава VII

Мой каземат.— Вопросные пункты.— Допрос в Следственной комиссии.— Народам нужна конституция.— Противузаконность нашего процесса.— Допрос о «Русской правде» и показания Пестеля.— Розыски «Русской правды».— Священник Мысловский

Плац-маиор Подушкин, с провалившимся носом, вежливо пригласил меня следовать за ним. Мы спустились с другого крыльца и сели в сани в одну лошадь. Недалеко мы ехали, а я заметил много маленьких окошечек, замазанных,— вероятно, таких же квартир, как та, которая и меня ожидает.

У одной куртины мы остановились, и я вступил в грязный, темный коридор, едва освещенный ночником, который коптил и чадил невыносимо. Два сторожа подхватили меня под руки, чтобы помочь мне в этом лабиринте, унтер-офицер следовал сзади. Подушкин открывал шествие и у каждых дверей с часовым спрашивал: «Занят?» Везде нам отвечали: «Занят». Но вот еще несколько шагов, и я слышу: «Пусто».

Двери скрипят на ржавых петлях. Темно. Является огарок свечи, мы все входим. Г. Подушкин приглашает меня раздеться, и его помощники спешат меня разоблачить, а г. плац-маиор меня щупает, и пальцы его ходят по всему моему телу. Г. Подушкин извиняется тем, что

это положение и порядок казематов. На меня надевают пестрый вонючий халат и дают туфли. Во время раздеванья я заметил, что у унтер-офицера навернулись слезы, когда он стаскивал с меня мундир с золотыми эполетами. Я улыбнулся: добрая душа!

Когда вся эта операция кончилась, я почувствовал, что я голоден, и просил чего-нибудь поесть. Мягкосердечный Подушкин отвечал, что еще рано, впрочем, он пришлет чего-нибудь и, действительно, прислал кувшин кислого квасу и ломоть аржаного хлеба, которыми я утолил свой голод на первый раз.

Наконец и сторож, засветив глиняную плошку с салом, ушел. Я слышал, как засунули огромный железный болт, я помню звук ключа в висячем замке... и водворилась гробовая тишина.

Наконец я в каземате... Я бросился на постель... Человек всегда остается человеком... Чувства взяли свое, и я (факт, в котором не стыдно мне признаться) заплакал.

Облегчив слезами свое горе, я стал осматривать свое помещение. Квартира моя, как выразился г. Сукин, была квадратная: три шага длины и столько же ширины. По одной стене стояла зеленая госпитальная кровать с тюфяком, набитым соломою, и пестрядевой подушкой, до того грязной и замаранной, что я долго еще употреблял свой единственный батистовый платок, мне второпях оставленный, подкладывая его под щеку, которая прикасалась к подушке. Окошечко, довольно высоко приделанное, было забелено мелом. Вот и все. Мысли мои невольно обратились в мир, для меня не существующий больше. Я вспомнил свою престарелую 70-летнюю матушку... что будет с нею, когда она узнает о судьбе своего любимого сына? От изнеможения физического и нравственного я уснул. Итак, все для меня кончилось на 32-м году моей жизни, 4 генваря 1826 года.

Какое грустное пробуждение! А впрочем, чего же я мог ожидать лучшего? В полдень темница моя едва освещалась солнцем, которое для других смертных светило уже половину своего обычного пути. Silvio Pellico, вероятно, было не лучше моего в Шпильберге. О, Меттерних! Какой ответ дашь ты пред престолом предвечного за все жертвы твоего утонченного деспотизма и тирании, за жертвы, которые страдали и умирали с голоду в казематах по твоим повелениям? Франц I...

был добрый государь, но ты сумел и его сделать себе подобным. Народная ненависть в 1848 году заставила тебя бежать, как преступника. Но наказания божеские еще ждут тебя в загробном мире.

К обеду, должно быть, сторож принес мне в оловянной чашке щей и на тарелке гречневой каши с вонючим маслом, так что я ни к чему не прикоснулся и утолил свой голод хлебом. От скуки я спросил сторожа, какова погода, но он мне не отвечал, потому что, как я после узнал, им строго было запрещено разговаривать с заключенными. В это же время вошел ко мне плац-адъютант и вручил пакет с черною печатью с надписью: *«От Тайного комитета господину маиору Л<оре-ру>»* и прибавил:

— Через час чтобы было готово, писать начерно не позволяется, вот чернила и перо.

Я остался один и стал просматривать вопросные пункты, мне врученные... Вопросов было до 30 и много совершенно лишних. Я наперед знал, что моими ответами господа судьи не останутся довольны, а потому про себя писал то, что уже сказал Чернышеву и государю, а про остальное отделывался неведением. Скоро пришел плац-адъютант, запечатал мои показания и скоро исчез.

Долго тянулся для меня этот день, а на другие сутки я проснулся с ужаснейшею головною болью. Скоро у меня сделался озноб, и я <по>чувствовал себя очень дурно. Явился сам г. Подушкин и предложил мне казематного доктора, которого вскоре и прислал. Этот господин, по наружности принадлежавший к расе евреев, щупал мой пульс, смотрел язык и делал, кажется, все то, что предписывает ему наука. Я обратился к нему на немецком диалекте с просьбою дать мне чаю, а он мне отвечал, что здесь не говорят на иностранных языках и чаю не полагается. Я благодарил его за беспокойство и сказал ему: «В таком случае прощайте, г. доктор. Вы мне не нужны». Скоро мне и без медицинских пособий стало и в самом деле лучше.

Прошла неделя моего заключения, как в одну ночь я был разбужен какой-то беготней и шумом по нашему коридору. Прислушиваюсь: шаги приближаются к моему номеру, болт отодвигается, шумит замок, и г. Подушкин в сопровождении унтер-офицера и 2 сторожей предстает пред меня с моей форменной одеждой и приказывает одеваться и следовать за собой.

Для меня в моем заключении самым убийственным всегда была тайна, которою нас окружили постоянно. И на сей раз я хотел спросить: куда меня ведут, зачем? но не спросил, потому что знал, что не скажут. Уж такое заведение.

Вскоре мы пошли,—<я> с завязанными платком глазами,— в комендантский дом, и меня ввели в ярко освещенную комнату. За длинным столом мне представились 20 фигур генералитета в лентах, звездах, строгих, мрачных, подобно рыцарям XV века на тайном судилище, подобном Венецианск<ому> «совет<у> десяти», инквизиционном<у> заседани<ю>. Недоставало только Il ponte dei Sospiri *, а то бы и концы в воду.

Я обвел собрание взглядом и поклонился. Вот в каком порядке они сидели: председателем был Татищев, по правую сторону в<еликий>к<нязь> Михаил Павлович, потом Кутузов, Левашов, Потапов, Бенкендорф. По левую сторону председателя — А. Н. Голицын в андреевской ленте, потом пустое место, на котором иногда сидел, как я заметил впоследствии на допросах, Дибич, потом — не помню, и Адлерберг, тогда флигель-адъютант. На конце стола, чтоб ближе быть к подсудимым, Чернышев, докладчик и le grand faiseur ** всего дела.

Вскоре он начал мне делать обычные вопросы: кто был основатель нашего общества, с которого года оно образовалось и существует и проч. Это продолжалось с четверть часа. Чернышев позвонил, явился вечный Подушкин, и меня повели обратно. У крыльца комендантского дома не видно было ни одного экипажа господ судей, а впоследствии я узнал, что их прятали обыкновенно на внутреннем дворе, чтоб кучера не могли видеть, кого водят к допросу.

Во время моего краткого перехода свежий ветерок дул мне в лицо, и <я> с жадностью глотал его. Но неумолимый каземат мой скоро принял меня, и я долго не мог заснуть. К довершению всего огромные водяные крысы, рыжие, большие, были так смелы, что ходили по мне, и я всю остальную ночь провел в защите от этих гадких животных.

Так проходили недели, я начинал забывать дни и числа. Что делается на белом свете? Живы ли родные, друзья? Еще одно тюремное заведение меня чрезвычай-

* Мост вздохов (*ит.*).
** главный заводчик (*фр.*).

но возмущало. Это то, что часовой у дверей беспрестанно приподнимал какую-то тряпицу, которой завешено было окошечко в дверях, и заглядывал ко мне в камеру. Пошевелюсь ли я, кашляну ли, молюсь ли богу, голова часового беспрестанно показывается в отверстии.

В молодости своей я читал похождения барона фон Тренка, заключенного в Магдебургские казематы, в которых он просидел 10 лет в тяжелых цепях, по приговору Фридриха Великого. И вот вам действия философа, переписывавшегося с Вольтером, острившего и умствовавшего с ним и бывшего тираном и деспотом, как и все эти венценосцы... дайте им только власть!

Вот почему тогда и теперь я утверждал и утверждаю, что народам нужна конституция, ограничение прав правительственного лица. Немец Шницлер не понял тогда нас, не понял России... Он не выставил в своем сочинении настоящей цели нашего общества и смотрел на нас только как на людей безнравственных и честолюбивых заговорщиков.

Когда ночью, бывало, все угомонится, я заговаривал с часовым, и часто удавалось разогнать скуку свою и даже понюхать табаку, которым добрые нюхальщики иногда меня потчевали. Строжайший приказ не дозволять политическим преступникам никакого сообщения ни с одним живым существом был отдан не только для того, чтобы присмотр за ними был безопаснее, но служил также средством, чтобы ослабить наши умственные способности и вместе с тем ослабить нашу твердость. Несмотря на это, спокойствие духа никогда нас не покидало. Попробовал я даже сквозь маленькое окошечко заговорить с соседом, но часовые нам этого не дозволяли.

Тот, кто не испытал несчастия быть заключенным в каземат без книг, табаку, без света и звуков живого разговора, тот не поймет всей тягости его. А неизвестность будущности?

В последние недели поста заметно было, что комитет стал чаще собираться, и товарищей моих по коридору стали частенько водить туда... И меня водили 3 раза.

Следственная комиссия была пристрастна с начала до конца. Обвинение наше было противузаконно. Процесс и самые вопросы были грубы, с угрозами, обманчивы, лживы. Я убежден в том, что если бы у нас были адвокаты, то половина членов была бы оправдана и не была бы сослана на каторжную работу.

Многие из наших, проходя, гремели цепями на ногах... почему ж и мне не нести такого же наказания? Впрочем, в последний раз моей явки перед лица судей чуть-чуть на меня их не надели и вот по какому случаю. Заседание было в комплекте, ни одного пустого стула. Чернышев, по обыкновению, начал:

— Вы, г. маиор, заперлись и не хотели нам сказать, где скрыта «Русская правда». Теперь в последний раз мы вас спрашиваем: где она? Знайте, что ежели и теперь будете упорствовать, то накличете на свою голову тяжкое наказание.

— Генерал,— отвечал я,— долг чести и клятва, данная мною товарищу, не позволяла мне прежде открыть вам место, где скрыта «Русская правда», и теперь те же причины заставляют меня быть твердым, невзирая ни на какие ужасные наказания, которые вы мне сулите. Пусть автор «Русской правды» разрешит меня от клятвы, хоть письменно, и тогда я вам скажу.

Едва я произнес эти слова, как со всех сторон я услыхал крики: «В колодки его! в железа!»... но Чернышев схватил на столе какой-то лист бумаги, подал мне и сказал: «Читайте». Я тотчас же узнал почерк руки Пестеля и прочел: *Русская правда была отдана в присутствии маиора Л<орера> поручику Крюкову и штабс-капитану Генерального штаба Черкасову, уложенная в ящик, чтоб быть зарытой на тульчинском кладбище.* После этих строк я взял перо и подписал внизу: «Действительно так». У меня как гора свалилась с плеч, и мои судьи умолкли.

Выходка Чернышева меня удивила окончательно, когда он поднялся с своего места и сказал: «Господа, я и вначале и теперь видел, что маиору Л<ореру> нельзя было объявить чужой тайны, покуда ему на то не было позволения. Понимаю вполне это чувство». За эту справедливость я поклонился генералу Чернышеву и вышел в сопровождении Подушкина, который был так любезен, что посидел со мной на моей кровати в каземате. Двери не были заперты, и мне показалось, что он ждет чего-то, а потому я прямо ему сказал:

— Вы, верно, сидите у меня не для беседы, не дожидаетесь ли вы железа и для меня?

— Бог с вами, совсем нет,— отвечал он.

— Почему ж нет? Ведь в комитете кричали же об этом, да притом такие же, как и я, преступники, мои то-

варищи, ведь сидят в колодках, почему ж и мне не носить их?

— Полноте, это только было для того, чтоб вас устрашить.

— Напрасно, железа меня не пугают, немного более неприятности слышать беспрестанно этот звук, вот и все.

Подушкин, не знаю за что, брал видимое участие во мне и попотчевал табаком. Скоро <он> скрылся.

До пасхи комитет не мог открыть, где хранится «Русская правда», и ее нашли только тогда, когда Пестель, понимая вполне свое положение — он знал очень хорошо, что его ожидает смерть,— чувствуя, что одно это запирательство его не спасет, да и опасаясь, чтоб труд его 12-летний не погиб совершенно напрасно без следа, решился указать и место, где она хранилась, и человека, который ее туда зарыл. Не помню фамилию члена. Сего человека отправили с фельдъегерем в Тульчин, и «Русская правда» появилась на свет божий, а Пестель этим признанием подписал свой смертный приговор, не изменив своим правым убеждениям до самой смерти. Комитет, видимо, торопился окончить свои работы и собирался по два раза в сутки... Много из напрасно заключенных освободили из-под ареста... Говорили, что государь намеревался отправиться в Москву на коронацию и сказал, что он не примет короны, доколе не покончит с нами.

Каждые десять дней приезжали нас осматривать генерал-адъютанты, и, несмотря на наше дурное содержание, мы все терпели и жалоб им не приносили. Один из генерал-адъютантов, Балашов, сделал нам большую пользу. На другой же день его приезда заметна была большая перемена в обращении с нами и в самом содержании. Говорят, что он доложил государю всю истину, сказав, что находит нас всех цинготными, уставшими, опустившимися, заросшими и желающими наискорейшего окончания суда, какого бы ни было. Во избежание всего этого Балашов предложил нам ежедневно по рюмке водки, зеленого луку вволю и выбрить нас. С каким удовольствием на другой день выпил я свою порцию водки и заел зеленым луком с белою головкой. От слабости я почти опьянел и едва добрел до своей кровати.

Никогда этот простой и скромный завтрак не казался мне столь вкусен, как в этот первый раз после долго-

го лишения обычной привычки. И страсбургский пастет не может в обыкновенное время быть так вкусен.

Постом, в один день, совершенно неожиданно вошел ко мне священник Павел Николаевич Мысловский, высокого роста, дородный, с лицом добрым и приветливым. «Не думайте,— сказал он мне,— что я агент правительства... Мне нет дела до ваших политических убеждений... Я считаю вас всех моими духовными детьми... Со многими из ваших товарищей я познакомился, сумел снискать их любовь и приобщил их святых тайн. Пришел и с вами познакомиться»,— и с этим словом протянул мне руку... С первого шага он очень мне понравился, и я с душевным удовольствием отвечал ему рукопожатием. Это был протоиерей Казанского собора Мысловский. Он сделался впоследствии утешителем, ангелом-хранителем наших матерей, сестер и детей, сообщая им известия о нас. Никогда не говорил он со мною о политических делах, но постоянно утешал надеждою на лучшую будущность и ободрял слабеющий дух мой. Я храню до сих пор глубокое уважение к этому почтенному служителю алтаря.

Наступил, наконец, и светлый праздник. Признаюсь, что я потерял счет дням и неделям, может быть, и не вспомнил бы этого великого дня, ежели б в ночь заутрени ко мне не вошел сторож и не предупредил меня, предлагая заткнуть уши, ибо надо мной сейчас будут палить из пушек, как всегда во время великой заутрени. И действительно, вскоре раздался над головой потрясающий гром, и пламя осветило мою мрачную келью... Я упал на колени и горячо молился. Из гроба я пел мысленно «Воскресение». Окошечко мое разлетелось вдребезги, и только холод, меня охвативший, привел меня к действительности...

Глава VIII

Выход на воздух.— Унтер-офицер Соколов.— В. М. Голицын и его дядя.— Прощение М. Ф. Орлова.— Забавный эпизод из действий Следственной комиссии.— Приговор.— Казнь

Так дожили мы до мая месяца. В одно утро унтер-офицер С<околов> пришел объявить мне, что нас разрешено водить в баню, и предложил тотчас же туда отправиться. Я согласился и, проходя по коридору, пытался

снова узнать, кто мои соседи заключенные, но мне этого не позволили.

Наконец мы на воздухе! Боже мой, какой день! Какое небо! Я думал, что снег еще покрывает землю, а по дороге вижу травку, вижу свободных там и сям людей, женщин, детей... У меня закружилась голова, и я не мог шагу сделать. Принесли воды, и когда я опамятовался, то просил вести меня обратно в каземат и взять вместо меня кого-либо из моих товарищей.

Я должен непременно посвятить несколько строк моему доброму сторожу, унтер-офицеру С<околову>. Под грубой серой шинелью этого человека билось сердце золотое, крылась душа добрая, симпатичная. Я говорил уже, что в первый шаг моего вступления в каземат, когда С<околов> снимал с меня мундир, то прослезился, и я тогда же полюбил этого человека. Впоследствии мы с ним сошлись, и при частых свиданиях наших,— потому что он, имея 6 казематов на своих руках, имел к нам свободный доступ,— этот человек много служил к моему утешению. Через него я узнал, кто сидит со мной в соседстве в каземате. Он дежурил по неделе, переменяясь с другим у<нтер>-о<фицером>, и, вступая в отправление своей должности, был строго обыскиваем и осматриваем. Несмотря на это, ему удавалось тешить нас, заключенных, а в особенности меня, разными безделицами, которые для нас были запрещены. Так однажды, когда у меня постоянно сохло во рту, я вспомнил, что в это время привозят в Петербург лимоны и апельсины. Мне их так захотелось, хоть один... Я едва заикнулся об этом С<околову>, как он, вынув из-за щеки своей двугривенный, предложил мне его, прося позволения самому же сбегать за апельсинами. Я долго отговаривал его, боясь подвергнуть ответственности, однако он вышел. Вообразите мое удивление, когда через час он принес мне целую корзину апельсинов и на одном из них, верхнем, красовался двугривенный. Я требовал объяснения этой загадки, и вот что мне рассказал С<околов>: «Придя в лавочку, ваше высокоблагородие, к знакомому купцу, я потребовал у него апельсин, но он, узнав, что это для несчастных узников, наложил мне их целую корзину и не взял ничего, прибавив, чтоб и впредь, когда понадобится, я к нему заходил. Теперь ночь, и я пронес свободно корзинку, кушайте на здоровье, в<аше> в<ысокоблагородие>»,— примолвил он. Поцеловав его за ми-

лую внимательность, я просил тут же С<околова> разнести моим товарищам наш запрещенный плод по 6 ему подведомственным казематам. Через него они все прислали мне свою благодарность и поклоны. Вот еще одна черта его привязанности ко мне. В одно утро, лишь только он вступил в должность, как поторопился объявить мне, что жена его родила ему сына, и просил меня быть заочным крестным отцом и дать мое имя новорожденному. Я согласился и велел расцеловать и мать, и сына, не в состоянии быв одарить их ничем больше.

Прежде чем расстаться с казематом, я сообщу еще несколько случаев и впечатлений, тогда мною испытанных, и о многом слышанном впоследствии.

Я привел себе на память свидание А. Н. Голицына с племянником своим Валерианом Михайловичем Голицыным. Князь В. М. Голицын служил в Преображенском полку, вышел в отставку, был сделан камер-юнкером и сделался членом Северного общества. Известно, что многие из русского и великосветского общества, быв родными многих подсудимых и находя для себя печальною и грустною обязанность быть палачами родичей, отказывались от назначения в Верховный уголовный суд; так, Канкрин отказался потому, что брат его жены был в нашем обществе, но А. Н. Голицын, кажется, не имел этой доблести и, имея замешанного в наше дело племянника, заседал преспокойно в суде. Когда в первый раз молодой Голицын был приведен к допросу, то увидел между судьями своего родного дядю, спокойного и даже показывающего вид, что его вовсе не знает. Этого мало. После разных вопросов А. Н. Голицын, барабаня пальцами своими по столу, с иезуитскою улыбкою вдруг спросил своего племянника: «Князь, спрашиваю вас, если бы ваше злоумышленное общество восторжествовало, что бы вы сделали с нами (и показал на заседающих за столом), например, со мною?» с ударением на это слово. Валериан Голицын не ожидал такого странного и щекотливого вопроса, однако сейчас же нашелся и отвечал, не признавая его, впрочем, за дядю: «Ваше сиятельство, если бы вы не захотели нового установленного нами порядка, то мы вам бы позволили удалиться за границу и вы могли бы сделаться русским эмигрантом». Тогда Голицын встал с своих кресел и, пренизко поклонившись, ответил: «Благодарю вас и за эту милость».

Однако не все родные отказались так от своей крови, нашлись некоторые и с родственными чувствами. Так, Алексей Федорович Орлов употребил всю свою силу, все свое влияние на государя, чтоб спасти своего брата <Михаила Федоровича> Орлова, который был одно время членом Северного общества, принял 40 членов и сделал из них ревностнейших прозелитов. По ходу дела в Следственной комиссии Орлова нельзя было выпутать, и Алексей Федорович ожидал спасения брата единственно от монаршей милости, и для этого он выбрал минуту, когда государь шел приобщаться святых тайн. Сначала государь ему отказал, сказав: «Алексей Федорович, ты знаешь, как я тебя люблю, но просишь у меня невозможного... Подумай, ежели я прощу твоего брата, то должен буду простить много других, и этому не будет конца». Но Орлов настаивал, просил, умолял и за прощение брата обещал посвятить всю жизнь свою государю, и государь простил. Ночью приехал за М. Орловым возок, и так как он недалеко от меня сидел в каземате, то я видел, как Подушкин сильно суетился, как одели генерала в шубу, как его с низкими поклонами усаживали и отвезли, говорили, сначала на конногвардейскую гауптвахту, а в ту же ночь на жительство в дальнюю деревню его, без выезда. Черта благородная со стороны Алексея Федоровича, которой он показал, что имел довольно братской любви... Конечно, в Англии участь Михаила Орлова была бы решена так же, как и прочих, по законам, но где самодержавная власть имеет и наказывать и миловать, по капризам царя,— отчего же и не помиловать? Шницлер в своей книге «De la Russie» приводит великолепный ответ Бестужева государю, когда тот, выпытывая у него признание, сказал ему наконец, что может простить. Вот этот отрывок:

«Je pourrais vous pardonner, et si j'avais l'assurance de posséder en vous désormais un fidèle serviteur, je be ferais» — Eh! Sire,— repondit Nicolas Bestoujeff,— voilà presicement ce dont nous nous plaignons, que l'Empereur puisse tout, et qu'il n'y ait point de loi pour lui. Au nom de Dieu, laissez à la justice son libre cours et que le sort de vos sujets ne depende plus à l'avenir de vos caprices ou de vos impressions du moment» *.

* «Я мог бы вас помиловать, и, если я буду иметь уверенность, что вы станете отныне верным слугою,— я это сделаю».— «Государь,— ответил Николай Бестужев,— мы вот как раз и жалуемся на

И это ответ человека, над которым висит карательный меч правосудия! Он достоин ответа древнего римлянина. Вообще Николай Бестужев был гениальным человеком, и, боже мой, чего он не знал, к чему не был способен! Он был хорошим моряком, писателем, художником, и в Сибири я с ним хорошо сошелся. Он не дождался прощения и там на поселении скончался, простудившись, переправляя одно бедное семейство через Байкал.

Да, император Николай мог бы смело сказать при рассмотрении наших кондуитных списков: «Ни на одном нет черного пятнышка, все люди чести... и таких людей отняло у меня заблуждение их!..» К несчастию, он этого не оценил и даже не понял нас вовсе, считая нас до конца своей жизни какими-то душегубцами и извергами.

Вот еще один забавный эпизод из действий Следственной комиссии: когда меня последний раз привели в комиссию и Чернышев, делая свои обычные вопросы, не получал на них ожидаемых ответов, то сердился, а председатель, тучный после роскошного стола, едва шевеля губами, сказал мне:

— Ну что, маиор, сознайтесь, что вы все это почерпнули из вредных книг... а я, вот видите, во всю свою жизнь ничего больше не читал, как святцы, зато ношу три звезды...

Бенкендорф вел себя благороднее всех; бывало, при подобной глупости, потупит глаза и молчит, а когда Чернышев начнет стращать, кричать, то даже часто его останавливал, говоря: «Да дайте ему образумиться, подумать». Одного моего товарища эти господа вывели из терпения так, что он даже рассмешил все заседание, сказав им: «Господа, что вы кричите, если бы вы все были поручиками теперь, то непременно были бы членами тайного общества».

Однажды добрый наш священник Петр Николаевич принес мне поклон от моей доброй невестки, но мне показалось, что он был что-то особенно грустен, часто подымал глаза к небу и как бы молился... После я узнал, что благородный пастырь этот узнал уже о решении судьбы пятерых из нас... о решении, которое заставило содрогнуться всю Россию.

то, что император все может и что для него нет закона. Ради бога, предоставьте правосудию идти своим ходом, и пусть судьба ваших подданных перестанет в будущем зависеть от ваших капризов или минутных настроений» *(фр.)*.

Медленно тянулись последующие дни. Нет ничего труднее, как ждать, не зная, чем кончится судьба твоя. Так дожили мы до июня месяца. Комиссия собиралась реже и реже, и мы все ждали, что нас отдадут под суд и там мы будем себя защищать. Говорили, что нас будут судить в Сенате при открытых дверях. Но как мы горько ошибались, как напрасно убаюкивали себя надеждою! Один мой добрый страж у<нтер>-о<фицер> обыкновенно мне говаривал: «Вам всем, господа, не миновать Сибири. От них не ждите себе милости, не таковы они люди. Вот вчера одного водили туда и привели в железах и посадили в 7 № на хлеб, на воду, а он, сердешный, только улыбается. Глядя на него, сердце кровью обливается...» <Это был> Степан Михайлович Семенов, секретарь общества.

Помню хорошо то утро, когда все наши надежды рушились, когда судьба каждого из нас решилась... В 10 часов утра я услыхал какой-то необыкновенный звук и топот, как бы по мостовой, в крепости. Сосед мой по каземату, встревоженный тем же шумом, вероятно, успел ранее моего взмоститься на окошечко и оттереть мел, потому что по-французски сказал мне:

— Слышите ли вы этот необыкновенный звук, voisin *? Я видел чрезвычайный съезд в крепость: и взвод жандармов, кавалергардов, пропасть карет, двигающихся шагом, как на погребальном шествии, и все это стремится к комендантскому дому. Что вы думаете об этом, сосед?

— Да думаю, что сегодня решится наша судьба, и многим из нас не видать завтрашнего заката солнца, сосед...

Вдруг по коридору сделалась страшная беготня... Подушкин едва дышал. И мои двери скоро отворились: мне принесли форменное платье и велели одеваться. Нас повели в комендантский дом. По дороге я шел между народом и многими дамами и в толпе увидел одного из моих знакомых, который мне грустно улыбался, кивая головою и как будто говоря: все кончено для вас.

Следственная комиссия продолжалась 7 месяцев, и скоро плачевная драма начнется. Наконец, меня вве-

---

* сосед *(фр.)*.

ли в большую комнату,— и вообразите мое удивление, когда я нашел там много своих старых знакомцев. Первым мне попавшимся навстречу был мой друг М. М. Нарышкин, мой бывший однополчанин. Я ему так обрадовался, что бросился на шею. Тут я увидел и Фон-Визина, и Абрамова, полковника одной со мною бригады, и много других, человек 20. Никто из нас не знал, зачем мы здесь собраны, и никто не подозревал, что в смежных комнатах собраны такие же кучки, категории, как их назвали впоследствии. Тогда же я обратил внимание на двух молодых людей в морских мундирах, им было, я думаю, лет по 20 от роду, и я спросил их фамилии: мне сказали, что это два брата мичманы Беляевы. Во время страшного наводнения в С.-Петербурге, 9 ноября 1824 года, они с величайшим самоотвержением спасли многие семейства от конечной гибели, и император Александр собственноручно надел на них Владимирские кресты. Их же никто не спас.

Скоро нас куда-то повели в сопровождении часовых. Проходя по залам, я увидел наших крепостных священника, доктора и других чиновников. Многие из них плакали. Мы все им поклонились предсмертным прощанием.

Верховный уголовный суд собирался утром рано: все поместились в зале коменданта в Петропавловской крепости. Подсудимые не знали, что <из> нас уже заранее осуждены без суда <пятеро> к смерти, мы же все остальные <к> политической смерти, в каторжную работу, по разным категориям — того на столько лет, другого на столько. Судьи сидят на своих местах: нас вели по разрядам, против них мы стояли уже обвиненными, казались изнеможенными и больными. Но если тело страдает, то дух, оживляющий человека, может быть исполнен силы и энергии, по крайней мере, это доказывает наш решительный и спокойный вид. Да, у нас решительный и спокойный вид, как у людей, хорошо знающих, что пощады нам не будет, и приготовляющих<ся> дорого продать <свою> жизнь. Подтверждение обвинения продолжалось только до 6 часов вечера.

Наконец мы достигли запертых дверей, охраняемых каким-то чиновником. Он же растворил их при нашем приближении, и глазам нашим представилось необыкновенное зрелище. Огромный стол, накрытый красным сукном, стоял покоем. В середине его сидели четыре митро-

полита, а по фасам Государственный совет и генералитет; кругом всего этого на лавках, стульях, амфитеатром — сенаторы, в красных мундирах. На пюпитре лежала какая-то огромная книга, при книге стоял чиновник, при чиновнике сам министр юстиции к<н>. Лобанов-Ростовский в андреевской ленте. Все были en grand gala, и нас поставили в шеренгу, лицом к ним.

Без всякого предупреждения чиновник, стоявший за пюпитром, стал читать: «генерал-маиор Фон-Визин, по собственному признанию в том-то и в том-то, лишается *всех прав состояния: чинов, орденов и ссылается на каторжную работу на 12 лет и потом на вечное поселение»*, и так далее до конца; последним был к<н>. Одоевский. Я стоял в середине и, пока не дошла до меня очередь, рассматривал лица Верховного уголовного суда. Я заметил почтенную седую голову Н. С. Мордвинова. Он был грустен, и белый платок лежал у него на коленях...

Когда чтение окончилось, Лобанов сказал: «Направо!» — и мы вышли чрез другие комнаты в сопровождении тех же часовых и полицейских служителей. Но нас повели не по прежним казематам, а по самому берегу Невы, в Алексеевский равелин. Что это за равелин, расскажу впоследствии. Тут нас всех 18 человек заперли по разным комнатам и дали нам печально провести этот день. Спрашивается, где же законы, где суд? По одной Следственной комиссии нас приговорили к смерти. В тот же день вся царская фамилия выехала в Царское Село.

Рано утром, едва солнышко встало, меня разбудили и повели с моими сотоварищами по заключению на маленький мостик, соединяющий Алексеевский равелин с Петропавловскою крепостью. Здесь мы сошлись с товарищами другого разряда, которые ссылались на 15 лет, как-то: Никита Муравьев, брат его Александр, Кюхельбекеры и нас 18 человек. От раннего времени и от бессонницы мы все были очень бледны и грустно тянулись к воротам крепости. Но тут сцена переменилась, лица ожили, языки развязались, потому что вовсе неожиданно, на гласисе мы встретили остальных товарищей несчастия. Начались рукопожатия, обнимания, и восторг был общий. Я и не подозревал, что нас так много, и даже, правду сказать, многих и не знал вовсе в лицо.

Этот процесс был столько <же> замечателен по величайшему разнообразию общественных элементов, составлявших его, как и по числу арестованных, принадлежавших ко всем классам общества, начиная от сословий самых нищих до самых высоких.

Тут встретил я даже мундир комиссариатского чиновника, г-на Иванова, и увидел Лунина, привезенного из Варшавы, в странном одеянии; на нем был Гродненского гусарского полка сюртук, а ноги обуты были в казематные туфли! Наша толпа составляла смесь черных фраков, круглых шляп, грузинских папах, кирасирских белых колетов, султанов и даже киверов. Несмотря на всю эту пестроту, <мы> рады были увидеться с некоторыми и сожалели, конечно, о тех, которых полагали избегнувшими наказания и которых нашли-таки в нашей среде.

Солдаты нас окружали. Наконец, прискакал Чернышев, в ленте, разодетый, как будто на парад какой-нибудь, осмотрел нас в лорнет и, видя, что никто его не замечает даже, отъехал прочь. Колонна наша зашевелилась и двинулась в ворота крепости. Гвардейские войска полукругом опоясывали большую площадь, и между ними и нами рисовались на небе виселицы, и 5 веревок качались на роковой перекладине.

По площади разложены были костры, и люди поддерживали огонь. Чернышев летал с озабоченным видом по рядам; другие генерал-адъютанты разъезжали также, но скромно. Меня удивляет только, что и благородный Бенкендорф, знавший многих из нас и любивший, не сумел отклонить от себя этой грустной обязанности. На деревянных подмостках расхаживали палачи в красных рубахах. Пять мучеников, с вечера еще отделенные от целого мира, всю ночь провели с нашим священником и готовились предстать чистыми пред судилище вечного. С Пестелем беседовал пастор Ренгольд. Их тут не было...

Нас поставили в небольшое каре. Фурлейты принесли надпиленные шпаги... Приказали снимать эполеты, ордена, мундиры и стали бросать в костры... У меня были золотые эполеты, и <я> хотел было сохранить их для моего доброго у<нтер>-о<фицера> Соколова, но Чернышев заметил это и приказал мне кинуть их в огонь. Подле меня стоял Александр Муравьев, он был полковником

Генерального штаба в отставке. Перед церемониею ломания шпаг к нему подъехал генерал-губернатор с.-петербургский Кутузов и спросил:

— Вы Александр Муравьев?

— Я.

— Отступите назад.

— Генерал, я не один здесь Александр Муравьев, тут есть и другой.

— Вы отставной полковник Генерального штаба?

— Я.

— Ну, так отойдите назад!

И тогда Александр Муравьев стал за мной...

Когда, по-видимому, все было готово, приблизился какой-то чиновник и стал читать что-то вроде вторичного приговора, но его вообще мало слушали.

По команде нас поставили на колени и стали ломать над нашими головами шпаги. Трубецкому, Одоевскому, к<н>. Барятинскому, Муравьеву и другим гвардейцам ломали шпаги перед гвардейскими полками. Моряков же, которых было много, отправили в закрытых катерах в Кронштадт и там, на военном корабле, исполнили над ними сентенцию, а мундиры побросали в море.

После этой грустной церемонии нас развели по казематам и занялись вешанием пятерых наших товарищей. Все нижеследующее передаю со слов священника нашего, который, проводив несчастных в вечность и оставаясь при них до последней минуты их земной жизни, вечером, в 5 часов, пришел ко мне и передал все подробности. Пестель, Муравьев-Апостол, Рылеев, Бестужев-Рюмин и Каховский, в белых саванах, с черными завязками, опоясанные кожаными поясами, на коих большими буквами написано было: *государственный преступник,* простились друг с другом и с покойным духом взошли на подмостки... Когда Муравьев стал на скамейку, то еще подозвал священника и сказал ему: «Благословите меня в последний раз, я расстаюсь с здешним миром без злобы, даже на того, который приговорил меня к этой позорной смерти... Прощаю ему, лишь бы он сделал счастливою Россию». Народу было немного, ибо полиция обманула его, распространив слух, что казнь совершится в другое время и в другом месте. Говорили, что с того момента, как нас выводили из казематов, каждые $^{1}/_{4}$ часа скакали с донесениями в Царское Село фельдъегеря и что Бенкендорф промедлил нарочно казнью в ожи-

дании помилования, для чего постоянно обращался в ту сторону, откуда ждал вестника... Но увы — курьеры мчались в Царское Село, и обратного никого не было: в 6 часов утра их не стало...

Как я уже сказал, вечером ко мне вошел в каземат наш священник П<етр> Николаевич, бледный, расстроенный, ноги его дрожали, и он упал на стул, при виде меня залился слезами, и само собой разумеется, что я с ним плакал... Петр Николаевич рассказывал, что когда под несчастными отняли скамейки, он упал ниц, прокричав им: *«Прощаю и разрешаю»*. И более ничего не мог видеть, потому что очнулся тогда уже, когда его уводили. Говорят, что когда сорвался Пестель, Муравьев-Апостол, Рылеев, то Чернышев, подскакав, приказал подать другие веревки и вешать вторично... Говорят также, что Бенкендорф, чтоб не видеть этого зрелища, лежал ничком на шее своей лошади...

На другой день гром пушек возвестил какое-то чрезвычайное торжество; на Сенатской площади было молебствие; духовенство кропило святою водой, а вечером кавалергардский полк дал праздник шефу своему, императрице Александре Федоровне, на Елагином острову. Они забыли, что многие из их товарищей накануне этого дня приговорены были к смерти, а многие томятся еще в казематах! Они забыли это! Срам и стыд навеки офицерам кавалергардского полка!

Скоро после этого печального происшествия весь двор отправился в Москву на коронацию, а государь уехал прежде. Рассказывали, что во время судной комиссии в<еликий> к<нязь> Михаил Павлович, замечая, что по допросам все идет так, что не миновать многим из нас смертной казни, уехал в Москву под видом родов великой княгини, чтоб не прикладывать своей руки к постыдному приговору. Ежели это правда, то делает честь чувствам великого князя.

В большом театре милая, любезнейшая женщина и знаменитая певица M. Sontag с большим выражением и чувством пропела романс, который, намекая на нашу ссылку, произвел фурор в публике и дошел даже до Сибири. Вот слова этого романса:

Ты прости, наш соловей,
Голосистый соловей,
Тебя больше не слыхать,
Нас тебе уж не пленять.

Не от лютые зимы,
Соловей, несешься ты,
Не веселый край сманил,
Но злой рок тебя сгубил.

Твоя воля отнята,
Крепко клетка заперта,
Ах, прости, наш соловей,
Голосистый соловей.

Песню нам прощальну спой,
Пусть волшебный голос твой
Перелетом ветерка
Нас пленит издалека.

Говорят, что многим женщинам и знакомым ссылаемых сделалось дурно, и весь театр рыдал. Из кресел также вышли два человека со слезами на глазах, на свободе они горячо обнялись и скрылись. Это были два брата <Римские-Корсаковы> из наших, но счастливо избегнувшие общей участи.

Глава IX

Отправка I разряда в Сибирь.— Алексеевский равелин.— Могила княжны Таракановой.— Французские стихи князя А. Барятинского в Алексеевском равелине.— Последнее свидание Сергея Муравьева-Апостола с сестрой.— Тюремное свидание с рядовыми моей роты.— Прощание с невесткой

В то время, когда театр с восторгом аплодировал знаменитой певице, говорю я, восемь фельдъегерских троек и восемь жандармов выезжали из крепости и понеслись по тракту в Сибирь... В этих перекладных сидел первый разряд на 20 лет ссылки в каторгу:

князь Сергей Волконский, князь Сергей Трубецкой, князь Оболенский, А. Муравьев, Борисов 1-й, Борисов 2-й, А. И. Якубович, В. Л. Давыдов (закованный).

Я уже сказал, что нас рассадили по другим темницам. Теперь приступлю к описанию Алексеевского равелина, доставшегося мне на долю. Я просил оставить меня на прежнем месте в надежде видеться с добрым у<нтер>-о<фицером> Соколовым, но мне отказали. Многие знают Петропавловскую крепость, но, конечно, немногие слыхали и едва ли кто-нибудь может составить

себе верное понятие об Алексеевском равелине. Это такое местечко, что вы, попав туда, легко может быть, на всю вашу жизнь, ровно ничего больше не увидите, как кусок неба и оконечность Петропавловского шпиля или даже одного ангела на нем. На левой оконечности крепости, над рвом, есть <подъемный> мостик, пройдя который, вы входите в узкий коридор и упираетесь в треугольное каменное строение без окон. Это-то и есть 12 казематов Алексеевского равелина. В середине треугольника кроется крошечный садик, в несколько шагов, с двумя тощими березками, кустом черной смородины и несколькими аршинами жалкой травки. В казематах окна, или, лучше сказать, амбразуры, большие, в толстых гранитных стенах, с толстыми железными решетками, но окна не прорезаны к саду, а упираются чрез 10 или 12 шагов в гранитную стену, где устроено помещение как самого коменданта равелина, так и 12 его помощников, солдат-инвалидов, и где у них даже своя баня. Комнаты большие, светлые, потолки беленые, стены желтые. В одном из казематов помещается старик комендант, с тою разницею, что дверь его всегда открыта и он может выходить, когда захочет. У каждого заключенного находится большая кровать с тюфяком, две большие подушки и шерстяное одеяло, стол и стул вроде кресла. Обед и ужин лучше, нежели в большой крепости, ложки серебряные, но ножей и вилок также не дают. Два раза в неделю позволяют арестанту выходить в садик, с инвалидом, однако же, и так, чтоб не видаться и не встречаться ни с кем. Мне предложили подышать чистым воздухом, и я поспешил воспользоваться этим позволением. Инвалид, меня сопровождавший, запер за собой дверь и без церемонии развалился посередине садика, а я стал кружить, как зверь в клетке. Углы и стены моей ограды покрыты были плесенью и паутиной и черными массами подымались возле меня, а между двух березок стояла полуизломанная лавочка. Сколько тут слез пролито, подумал я, сколько передумано, перечувствовано. Где теперь томившиеся здесь? где кости их?

В углу, за головой лежавшего моего стража, я заметил небольшую земляную насыпь с деревянным крестиком, как на кладбищах, и тотчас же обратился к моему тюремщику за разъяснением загадки. Вот что услышал: «Говорят, что тут похоронена какая-то царевна, а бог его

знает... Старики наши рассказывали, что давно как-то из-за моря привезли молодую княжну и содержали ее здесь, но когда в Петербурге сделалось наводнение, вот как недавно было (я догадался, что это, должно быть, было в 1777 году), равелин был затоплен до самого верхнего карниза (он даже показал рукою очень высоко). Арестантов-то повывели, а ее, бедняжку, знать, забыли, и она потонула здесь, как в чану каком-нибудь... Тут ее похоронили». «Да кто же поставил этот крестик?» — спросил я. «Да все мы же. Как один сгниет, упадет, мы и поставим новенький и помолимся за упокой усопшей». Соображая этот рассказ, я полагаю, что это, должно быть, могила княжны Таракановой, дочери Елизаветы Петровны и графа Разумовского.

В первый же день моего заключения в равелине я познакомился с странным стражем его, комендантом Лилией-Анкер, из немцев, 78-летним стариком. Он ходил в зеленом длиннополом сюртуке, с красным воротником и такими же обшлагами. Ежедневно навещал он нас, и постоянно плавным шагом, согнувшись, с заложенными за спину руками, с открытым ртом, где торчали еще два желтые огромные зуба, шел он прямо на вас с единственным вопросом: «Как ваше здоровье?» — и, не дожидаясь никакого ответа, выходил. Желая познакомиться с ним покороче, я однажды сказал ему, что нездоров, но и тут я не услыхал от него ни одного звука, он повертелся подолее и все-таки ушел. Инвалид, его провожатый, сказал мне, что он не будет отвечать и что все его помощники обязаны клятвой молчания с преступниками и в городе, куда один из 12 инвалидов ходит за припасами. Что заставило несчастного немца взять на себя подобную печальную должность? Говорили, что в молодости он сделал какое-то преступление и был помилован с условием оставаться навсегда в Алексеевском равелине стражем других несчастных.

Г. Подушкин, по своей любезности, отвел мне каземат в крепости с видом на Неву и Петербург, где томился и откуда вышел выслушать свою сентенцию, а после и на казнь, мой незабвенный П. И. Пестель. Когда я вступил в это святилище, то застал еще постель его в беспорядке. Жадно искал я по всем углам, по всем стенам какого-нибудь знака, письма, нацарапанного карандашом или пером, но напрасно: ничего не осталось после Пестеля.

Вскоре я сжился с своею жизнию и был доволен своим помещением. Каземат мой был обширен, в амбразуру свою я вижу Дворцовую набережную и вечером, взмостившись ногами на свое огромное окно с решеткой, могу дышать свежим ветерком с реки. Мерные шаги часового раздавались под моею амбразурой. Соседи мои были, вероятно, люди семейные, ибо часто удавалось мне видеть, как шныряли под нашими окнами лодки, наполненные людьми разного пола и возраста, останавливались перед нашими окнами, пловцы глядели в амбразуры и, так как разговаривать нельзя было, так пели и таким образом передавали своим то, что хотели им сказать. Безжалостные часовые приказывали лодке удалиться; гребцы делали вид, что стали на мель, усиливались сняться, а между тем родные успевали насмотреться друг на друга и пересказать друг другу кое-что.

Князь Барятинский, сидевший со мною в соседстве, также в каземате лицом на Неву, сочинил на французском языке стихи.

СТАНСЫ В ТЕМНИЦЕ

Соч. кн. Барятинского

Темнеет... Куранты запели...
Все стихло в вечернем покое.
Дневные часы отлетели.
Спустилось молчанье ночное.
И время, которое длило
Блаженства земного мгновенья,
Крылом неподвижным накрыло
Печаль моего заточенья.

Я выпил с безумною жаждой
Любви волшебство роковое.
Мой кубок, кипевший однажды,
Теперь — опустевший — закрою.
Увы! Серебристая пена
Навек опьяняющей страсти
В нем скрыла грядущего плена
Мое роковое несчастье.

Судьба жестока и бесстрастна!
Отец умирает с укором...
Любимого сына напрасно
Он ищет потушенным взором...
О, тень дорогая! Не надо
Звать горе последнею силой:
Лишь тут, у могильной ограды,
Оно нас покинет уныло...

За бренной земной суетою,
За дальней чертой мирозданья
Что значит веселье земное,
Что значит земное страданье?
Холодное небо надменно
Глядит на людское смятенье:
Смеется оно неизменно
Тщете наших слез и волненья.

Вот смерти, всегда торопливой,
Я слышу шагов приближенье...
Но медлят косы переливы
Над нитью земного томленья...
Я чарой какого заклятья,
Отвергнутый небом постылым,
Живой наслаждаюсь с проклятьем
Застывшим блаженством могилы?

В тюремную башню, под сводом,
Вселилась безжалостность рока.
Одна лишь волна мимоходом
Тревожит покой одинокой.
В темнице — ни пенья, ни смеха,
Ни света полдневного даже.
И будит унылое эхо
Лишь голос безжалостной стражи.

Прижавшись к решетке холодной,
Я слышу, смятения полный,
Как мчатся легко и свободно
Вперед невозвратные волны.
Вот так и судьба моя дивно
Уносится в вечность покоя.
Но жизни моей непрерывно
Стремление грозовое!

Смотрю из темницы я душной,
Прижавшись к решетке железной,
Как волны реки равнодушной
Уносятся в хладную бездну.
Вот так и с друзьями моими!
Их друг, по превратности рока,
Как этой волной, так и ими
Оставлен, навек одинокой.

О, волны! К чему укоризны?
Зачем я пою о страданье?
К ногам угнетенной Отчизны
Мое отнесите дыханье.
Но ветер попутный, о, волны,
Моим напоите рыданьем
И бросьте, презрения полны,
Друзьям моим крик и стенанье.

Пусть гнев поражающей силой
Пронзит благородство угрозы...
Снесите ж и матери милой
Печальных очей моих слезы.
Но тише! К чему бушеванье?
У матери слезы во взоре...
Надежды обманным сияньем
Согрейте смертельное горе...

Но если потоком безбрежным
К другому придете пределу —
К любимым, чьи ласки так нежны,
Чье счастье делил я несмело,
То, светом той радости полны,
Где счастье не знает препоны,
Сокройте в глубинах, о, волны,
Мои одинокие стоны.

Их челн средь веселья и смеха
Баюкайте, волны, с отрадой —
Рыданий и слез моих эхо
Пускай не смутит их услады.
В беспечных подруг ликованье
Отраву вливать я не в силах,
Душите же крики страданья
Во имя веселия милых.

Но если любимая нежно
Приблизится к брегу несмело
И струям подарит безбрежным
И грусть, и прелестное тело —
Окутайте, волны, со страстью
Ту грудь и тот стан несравненный,
Там руки в объятия счастья
Сплетал мой порыв неизменный.

Но есть и утехи другие,—
Приблизит дыхание к струям,—
Целуйте уста дорогие
Нежнейшим моим поцелуем...
Баюкая, тихо лаская,
Ее осторожно несите
И, вдаль от нее убегая,
Ей вздох мой последний дарите.

Сколько раз сиживал я на моем окне и любовался иллюминацией, зажженною в честь возвращения царской фамилии из Москвы. Шум от экипажей, говор толпы и крики «ура!» доносились до меня, но мне во сто раз приятнее, когда воцарится тишина вокруг меня, луна выплывет на небосклоне и заиграет серебряными лучами по гладкой Неве, потом тихо заглянет в мой каземат, нарисует решетку на моем полу и осветит мой мрачный каземат — тогда мне делается так хорошо, так радостно на душе, надежда на лучшую будущность меня оживляет.

После сентенции родным позволено было нас навещать раз в неделю, однако всегда при офицере. И в эти дни обширный крепостной двор был обыкновенно уставлен экипажами, а в залах комендантского дома трудно было пробраться в толпе родственников. Редко попадались лица веселые, большею частью вы встречали слезы и грустные лица, чувствовавшие, что и последняя отрада эта будет скоро у них отнята.

Конечно, невестка моя была у меня каждую неделю и готовилась сказать и мне вечное «прости». Заступая мне место матери, эта достойная женщина ожидала моего отправления и приготовляла мне все необходимое в дальнюю дорогу, одела и обшила меня кругом. Ссылаемых, которые не имели родных и состояния, одевала и снабжала всем необходимым казна.

Мне рассказали очевидцы последнее свидание Муравьева-Апостола с своей сестрой накануне смерти его.

Она явилась вся в черном и лишь только завидела брата, то бросилась к нему на шею с таким криком или страшным визгом, что все присутствовавшие были тронуты до глубины души... С нею сделался нервический припадок, и она упала без чувств на руки брата, который сам привел ее в чувство. С большою твердостью и присутствием духа он объявил ей: «Лишь солнце взойдет, его уже не будет в живых». И бедная женщина рыдала, обнимая его колени. Комендант, чтоб прекратить эту раздирающую сцену, разрознил эти два любящие сердца роковым словом: «Пора». Ее понесли в экипаж полумертвую, его увели в каземат. Муравьева-Апостол разом, в одно время лишилась трех братьев: Сергея, Матвея и Ипполита. Отец же их Иван Матвеевич, 78-летний старик, оставил Петербург и уехал за границу.

Однажды прекрасным вечером сижу я, по обыкновению своему, неодетый, на окне и любуюсь лодочками, шнырявшими по Неве по всем направлениям, как ко мне входит мой добрый Соколов с предложением пройтись погулять. Предложение было необыкновенно и не в урочный час, а мне не хотелось одеваться, да и было что-то грустно, но Соколов что-то очень настаивал, и я, чтоб не огорчить его, наконец, согласился, надел шинель, и мы вышли. Мы направили шаги наши к воротам крепости, самым ближним к реке и где приставали обыкновенно лодки и небольшие барки. У ворот стояло человек 12 гвардейских солдат в шинелях и фуражках. «Что это за люди и для чего они здесь?» — спросил я моего провожатого, который, улыбаясь, просил меня подойти ближе, что я машинально и сделал. Но вообразите себе мое удивление, когда я узнал в этой толпе рядовых моей роты Московского полка, которою я командовал, когда служил в гвардии. Они также меня узнали, потому что встретили дружным:

— Здравия желаем, ваше высокоблагородие. Рота послала нас проститься с вами... Она просит, чтоб вы крепились, а сама молит бога, чтоб дал вам силы перенести ваше несчастие и благополучно бы доехали до Сибири. У нас горит перед образом святого Николая лампада, а мы ставим еще свечи и каждодневно молимся за вас.

Эта простая, сердечная речь крепко меня взволновала, и я со слезами на глазах благодарил их и просил передать роте мой поклон. «Не могу, ребята, расцеловать вас всех, но с радостью обниму одного из вас, и пусть он передаст этот мой братский поцелуй всем остальным,— и я трижды облобызал усача ефрейтора.— Прощайте, друзья, служите счастливо!» Я отошел, они стали усаживаться в лодку, которую, по-видимому, нарочно наняли для себя, и отчалили, махая фуражками... Как я благодарил моего доброго Соколова за отрадные немногие минуты, которыми он меня так деликатно подарил. Как я славно, сладко спал эту ночь...

На другой день пришел ко мне наш священник Петр Николаевич, чтоб сообщить мне, что ночью будет отправка, но не знает каких. Он сказал мне также, что жена Якушкина в большом горе и просила его зайти к ее мужу, утешить его и узнать наверное, объявлено ли ему отправление и может ли она с ним проститься. Но Петр Николаевич видел Якушкина в лихорадке, а потому думает, что ссылка его отсрочена. При нашем разговоре с священником я заметил, что у него Анна на шее, и, не видав прежде сего ордена, я догадался, что он получил ее за исполнение своих обязанностей при нас в крепости, и поздравил его с монаршею милостью, но он глубоко вздохнул и просил не поздравлять.

Тут я простился с этим почтенным человеком, мы обнялись, он меня благословил и, растроганный, вышел от меня. Я видел, как он отчаливал от берега, направляясь на Дворцовую набережную, стоя и держа шляпу в руке, молился за нас. Это было мое последнее свидание с ним в этом мире. В этот же день я имел свидание с невесткою моею, которая также слышала, что кого-то из нас отправят нынешнею ночью. Я должен был ожидать своей очереди, так как многих уже отправили, кого в Шлиссельбург, кого в финляндские крепости, и нас осталось только несколько разрядов. Грустно, печально простился я с достойною женщиною, принимавшей во мне такое родственное участие. Горе мое было тем сильнее, что от нее я узнал, что лишился матери своей несколько времени тому назад. К счастию, она умерла спокойно, не зная о моем несчастии, которое от нее скрыли.

Глава X

Отправка в Сибирь.— Мы уже не в Европе! — Тобольск.— Болезнь Бобрищева-Пушкина.— Ямщик-маиор Миллер.— Иркутск.— Посещение сенаторов.— Байкал.— Куда нас везут? — Буряты.— Чита

Ночью, в первом часу, меня разбудили с шумом Подушкин, у<нтер>-о<фицер> Соколов и два служителя. Я вскочил...

— Что, отправка?

— Не медлите, г. маиор.

— В такую важную минуту вы думаете меня еще обмануть? Одеваться мне или нет? — сказал я.

— Одевайтесь, да потеплее,— сказал Подушкин,— на дворе очень холодно.

«Слава богу»,— подумал я и, конечно, не заставил себя долго ждать. Живо уложили мои небогатые пожитки, и я, в теплых сапогах, расцеловал г. плац-маиора, горячо обнял моего доброго Соколова и успел всунуть ему сторублевую ассигнацию из денег, оставленных мне утром моею невесткою, и почти веселый вышел в сопровождении моих стражей.

Ночь была действительно холодная, но звезды ярко горели на темном небосклоне. На башне собора пробило час, и куранты заиграли свой вечный God save the king.* Мы вошли в комендантский дом, который был освещен, как бы ожидая каких-нибудь гостей. В зале я застал одного фельдъегеря, с любопытством на меня поглядывавшего. Подушкин скрылся и вскоре явился с другим ссылаемым, прежним моим товарищем полковником Аврамовым. Он, бедняга, был совершенно убит и сильно горевал. После первых взаимных приветствий после долгой разлуки я спросил его, как он думает, куда нас отправят? «Разумеется, не в Крым»,— отвечал он мне с некоторою досадой. Этот ответ, несмотря на торжественность минуты, меня сильно рассмешил.

Через несколько минут привели Бобрищева-Пушкина, офицера Генерального штаба 2-й армии. Этот также был болен, бледен и едва передвигал ноги. Даже фельдъегерь, увидев эту новую жертву, пожал плечами и, вероятно, подумал: «Не довезть мне этого до места назначения!» Скоро к нам присоединился поручик

---

* Боже, храни короля (*англ.*).

армии Шимков. Показался, наконец, адъютант военного министра в шарфе, а за ним и весь причт крепости, разные плац-маиоры и плац-адъютанты. Сукин, пожалованный с Чернышевым в графы за похвальное содействие в нашем деле, не замедлил появиться в зале. Мы встали, он остановился на середине комнаты и торжественно провозгласил: «Я получил высочайшее повеление отправить вас к месту назначения закованными». Повернулся и ушел. Признаюсь, этого последнего слова, произнесенного с таким ударением, я не ожидал... Принесли цепи, и нас стали заковывать.

Наконец, мы встали, и цепи загремели на моих ногах в первый раз... Ужасный звук. Не умея ходить с этим украшением, мы должны были пользоваться услугой прислужников при сходе с лестницы. У крыльца стояло пять троек и пять жандармов, а мы стали размещаться... Соколов усердно хлопотал возле меня, укутал, поцеловал мне руку и заплакал. Я был также взволнован, но успел еще ему сказать: «Ты, любезный друг, и принял меня в каземат и провожаешь в Сибирь. Благодарю тебя за твою дружбу и прошу сходить к моей невестке с моим последним поклоном...» На гауптвахте крепости караул вышел к ружью. «Трогай!» — крикнул фельдъегерь, и полозья заскрипели... На башне било 2 часа и опять God save the king. Но на этот раз мне показалось, <что часы> очень фальшиво <пели> эту патриотическую песенку. Проехали Неву и городом ехали шагом... Во многих домах, по-старому, горели еще свечи, перед подъездами стояли экипажи, и кучера, завернувшись в попоны, спали на своих козлах... От военного министра был другой фельдъегерь, чтоб узнать, проехали ли мы. Во многих из этих домов и я когда-то весело проводил время, танцевал... а теперь?

Шествие наше медленно подвигалось к заставе, а фельдъегерь, нас сопровождавший, шел по деревянному тротуару с какой-то женщиной, горько плакавшей и об чем-то с ним говорившей. Но вдруг фельдъегерь сказал: «Прощай!» — прыгнул в мои сани, крикнул: «Пошел!» И мы пустились во все лопатки. Это было 28 февраля 1827 года, после двухлетнего заключения и всевозможных переворотов жизни нашей... Мне на душе стало как-то легко и весело, а легкий ветерок освежал мое лицо, дышавшее так долго смрадным возду-

хом каземата. Мало-помалу я стал знакомиться с моим сопутником и, по обыкновению, начал с вопроса, как его зовут, и назвал себя, потом осведомился, не жена ли его провожала? «Нет, сестра, нас двое на свете, мы сироты и сердечно любим друг друга. Она такая добрая, плакала и просила меня беречь вас, несчастных».— «Вижу,— сказал я,— что вы из доброго семейства. Бог наградит вас за добрые чувства ваши...»

Не знаю, отчего это во всю дорогу эту меня не покидала мысль, что нас везут в Шлиссельбург, где мне придется высидеть мои 12 назначенных лет. По всему видно, что новый император не слишком-то придерживается законов,— ну, как ему вздумается сыграть с нами такую штуку? Полковника Батенькова суд приговорил на 15 лет в каторгу с нами вместе; но его оставили в крепости, в которой он просидел 22 года. В своем месте я буду об нем говорить.

Я не выдержал и спросил с некоторым страхом моего собеседника: «Скажите, ради бога, вы везете нас в Шлиссельбург?» — «Нет»,— сказал он, и я перекрестился... я уже испытал, что значит высидеть без солнца, без воздуха. Бывали примеры, что многие не выносили этого строгого заключения и сходили с ума. Я уверен, что и со мной было бы то же.

Не помню, на какой станции, на половине дороги, с левой стороны, зачернелись стены крепости Шлиссельбурга. С большой дороги идет поворот, и ямщики, зная, какого рода пассажиров везут, невольно сдержали лошадей, думая получить приказание везти нас туда, но фельдъегерь крикнул с моих саней передовой тройке: «Прямо в город на станцию», и мы промчались мимо страшных стен. На станции все мы сошлись с нашим приветливым сопутником, заказали ужин и, гремя цепями, однако ж, весело провели время. Перед рассветом мы пустились дальше в далекий путь. Тогда же мы узнали о строгой инструкции, полученной фельдъегерем насчет нас. Вот главные ее пункты: две ночи ехать, на третью ночевать; не позволять нам иметь ни с кем ни малейшего сообщения; кормить нас на деньги, отпущенные правительством, на каждого по 75 рублей ассигнациями; не давать нам отнюдь никакого вина, ни даже виноградного, в каждом губернском городе являться к губернатору и в случае болезни кого-либо из нас оставлять больного на попечение губернатора.

Во всю дорогу с нами ничего особенного не случилось, как помнится, но я никогда не забуду впечатления, произведенного на меня Сибирью, которую я узрел впервые после ночлега, проведенного в Перми, которая стоит у подошвы Урала. Когда мы утром тихо тянулись по подъему верст 20 до станции, стоящей одиноко, уныло на самом гребне хребта, и когда нам с вершины открылось необозримое море лесов, синих, лиловых, с дорогой, лентой извивающейся по ним, то ямщик кнутом указал вперед и сказал: «Вот и Сибирь!»

Итак, мы уже не в Европе! Отделены от всего образованного мира!

Мы проехали Тюмень и подъезжали к Тобольску. В переезд этот мороз был так силен, что мы должны были перед этим городом не в зачет переночевать, а в 12 часов дня подъехали прямо к губернаторскому дому и вошли в залу, гремя нашими цепями по паркету. Из дверей выглядывал женский пол и дивился на нас, как на зверей, потому что нам не велели снимать шуб наших. Скоро вышел принять нас губернатор Бантыш-Каменский, автор истории Малороссии, и сказал печальным, грустным голосом, как будто сожалея, что так мало может облегчить нашу судьбу: «Господа! Я имею право остановить вас на сутки. Вам приготовлена квартира в доме полицеймейстера, вы отдохнете. Вам приготовлен обед, баня. Я прикажу снять с вас железа. Да, не знаете ли, господа, когда привезут князя Барятинского, который приходится братом моей жены?» Мы отозвались неведением и поспешили воспользоваться радушным приемом, нам обещанным, а потому последовали за полицеймейстером и расположились расправить наши кости.

После сытного, вкусного обеда, когда мы подошли к хозяйке благодарить ее, она нам сказала, что все угощение от губернатора и что он прислал своего повара, провизию и прислугу. Фельдъегерь с нами не обедал и был зван к губернатору. Такая деликатность со стороны губернатора и радушное гостеприимство, нам, несчастным, оказанное, вызвали с нашей стороны искреннюю благодарность, которую мы и просили полицеймейстера засвидетельствовать от нашего имени.

На другой день мы отправились дальше, а все еще не знали, где будет конец нашего путешествия. Одно было вероятно, что мы едем из Тобольска в Иркутск.

Скоро миновали мы Красноярск, при р. Енисее, чистенький городок, имеющий свое название от красных песчаных и глиняных гор, которыми окружен. Чем глубже вдавались мы в Сибирь, тем более нас поражала чистота и опрятность сибиряков. В любой избе вы найдете две половины жилья, полы, покрытые холстом, самовары, как золотые, украшают углы, скамьи и даже стулья в некоторых избах выкрашены красной краской. Везде жители встречали нас приветливо и, не знаю почему, называли нас своими сенаторами. Обыкновенно в больших селах и городах все, нам попадающиеся, снимали шапки, а фельдъегерь наш, Подгорный, всегда трусил таких манифестаций и боялся, чтоб нас у него не вырвали. На станциях он запирал за нами ворота и ставил жандармов на часы, а я постоянно подшучивал над ним, говоря ему: «Смотрите, нас непременно отобьют от вас». И он только тогда успокаивался, когда мы оставляли города и станции.

Товарищ наш Бобрищев-Пушкин, выехав из каземата не совсем здоровый, дорогой сильно расклеился, и Подгорный хотел его оставить где-то в городе, в России еще; но, не исполнив этого, довез кое-как до Сибири. Пушкин до того ослабел, что часто на станциях, когда он долго не выходил из саней, мы и сами уже думали, не умер ли он. Однажды, где-то вечером, мы пили чай, а Пушкин лежал в избе слабый, больной, не принимая ни в чем никакого участия, и Подгорный объявил нам, что в первом городе его оставит в госпитале; но тогда Аврамов, стукнув своим допитым стаканом об стол, сказал: «Нет, Пушкин. Уж ежели тебе суждено умереть, то мы же тебе закроем глаза и собственными руками выроем тебе могилу». Слава богу, до этого не дошло. Морозы были сильные; я отдал Пушкину свою волчью шубу, и мы все так за ним ухаживали, что, подъезжая к Иркутску, ему стало гораздо лучше.

Сам Аврамов, с которым мы ехали в одних санях, был все время в чрезвычайно грустном настроении и упал духом. Он считал себя невинным и никак не мог покориться своей участи. Я делал все, что мог, чтоб развлечь его, и однажды рассказывал ему, в Сибири уже, анекдот на немецком языке про Фридриха Великого. Аврамов от души смеялся, и я радовался, что успел его развеселить. Но вообразите себе наше удив-

ление, когда и ямщик наш принялся с нами хохотать! У меня блеснула мысль: не шпион ли это, чтоб следить за нашим настроением,— раскаиваемся ли мы в прошлом и как отзываемся о новом правительстве? Ведь иной, чтоб подслужиться, и на козлы взмостится, и я обратился к нашему возничему с вопросом:

— Ямщик, ты, верно, понимаешь по-немецки, когда мой рассказ показался тебе забавным?

— Как же не понимать, когда я природный немец.

— Да кто же ты такой?

— Я? Я Астраханского кирасирского полка маиор Миллер,— поворотившись вдруг ко мне, отвечал он.— Тому назад 30 лет император Павел сослал меня сюда...

В это время мы подъехали к станции, и так как история г. Миллера показалась нам интересною, то мы и пригласили нашего ямщика-маиора напиться с нами чаю. Он не отказался. Он был большого роста, лицо немецкое, худощавое и в морщинах. Одет он был, как и все ямщики, в нагольный тулуп. Когда мы немножко пообогрелись, я возобновил рассказ вопросом: «Скажите, за что вы были сосланы?» (В нашей матушке-России часто бывают такие обстоятельства,— начнешь с «ты», а кончишь на «вы»,— и как-то совестно бывает.)

— Я был сослан за неумышленное убийство своего полкового командира,— отвечал Миллер.

— Помилуйте, да после этого ведь протекло два царствования, как же вас не воротили, не простили?

— Видно, забыли,— отвечал он самым простодушным голосом,— да и зачем? Я вступил в крестьянский быт, плачу подушный оклад, женат, имею шестерых детей... Родные мои в Курляндии перемерли, а те, которые и есть, может быть, вероятно, полагают меня умершим...

На прощание г. Миллер просил нас, ежели мы будем счастливее его и будем возвращаться в Россию, посетить его домишко. Странное, несбыточное приглашение!

Наконец, после трехнедельного странствования мы приближались к столице Восточной Сибири, к Иркутску. Яблоновый хребет грозно встал пред нами, а вечером, переехав Ангару, мы неслись уже прямо к дому генерал-губернатора по улицам Иркутска. Подгорный вбежал в дом и скоро вернулся с полицейским чинов-

ником, сказав нам, что губернатора нет дома,— <он> где-то на вечере,— и что нас приказано везти в большой острог (а я подумал: стало быть, есть еще и маленький острог!).

Мы двинулись дальше в сопровождении полицейского чиновника. Меня занимала только мысль, как бы скорее добраться до тепла, хоть бы и в большом остроге. Холод был невыносимый. Подгорный кряхтел, бедные жандармы грелись, колотя рука об руку. Наконец, забелелось белое здание с огромными воротами, которые как бы радушно раскрыли пред нами свои обе половины, и мы остановились у дворянской половины острога. Тепло, кругом нары — и иркутский большой острог нам показался приветливее петербургских казематов. Мы едва стали располагаться, как пришел к нам какой-то старичок в зеленом полинявшем сюртучишке, плешивый, но подбиравший свои редкие волоса с затылка и укрепивший их гребнем напереди, и рекомендовался нам, желая выразить, что он за особенную честь себе считает стеречь таких высоких гостей, «государственных преступников», и кончил просьбою пожаловать ему денег для ранней закупки провизии для нашего завтрашнего обеда. Скоро сняли с нас цепи и дали отдохнуть нашим изломанным ногам.

На другой день посетили нас два сенатора, бывшие в то время в Иркутске, кажется, для ревизии. Одного из них я знал в Варшаве — это был Безродный, тогда кригскомиссар у Константина Павловича. Про него-то А. П. Ермолов, когда был в главной квартире в Могилеве, сказал: «Я нашел здесь все немцев и одного русского, да и тот Безродный».

Оба ревизующие сенатора начали свое дело в Сибири как будто бы хорошо, разослали объявление, что присланы оказать помощь угнетенным, обиженным, приглашали всякого подавать просьбы, жалобы... Бедный народ думал вздохнуть — ничуть не бывало... Сенаторы забрали с собой кипы просьб и увезли их в Петербург в полной уверенности, что сделали свое дело, а, между прочим, плуты-чиновники остались на своих местах, продолжая грабить и обижать народ; да в довершение всего пересекли всех, подававших какие бы то ни было жалобы или просьбы. Когда мы удостоились посещения этих двух важных лиц, то, признаюсь, они показались нам оба очень странными, удерживаясь в разгово-

ре обращаться к нам прямо и не зная, как говорить нам,— «вы» или «ты»,— и употребляя вопросы в 3-м лице!

Освобожденные от этого посещения, мы, каждый по-своему, предались своим занятиям, а Подгорный стал чиститься и приготовляться к представлению своему губернатору. Он был молод, красив собою и добрый малый, и надобно прибавить, во многом изменился к лучшему, с тех пор как стал знаться с нами. Мы его немного облагородили, и он стал реже драться с ямщиками и содержателями почт, но удержался привычке нигде не платить прогонов, и это только служило бедным почтосодержателям гарантией, что на перегонах фельдъегерь пожалеет их тройки и не загонит ни одной лошади.

Вскоре Подгорный вернулся от г. губернатора и объявил нам, что отправляется по предписанию его обратно в Петербург с жандармами, а что нас поручат довезти до место полицейскому чиновнику. Неужели нам век свой идти вперед? «Не знаете ли вы, наконец, где это последнее таинственное место?» — спросили мы все вдруг. «Ничего не знаю, господа... слышал, что вы пробудете здесь несколько дней, а там поедете за море». Мы догадались, что это значит за Байкал.

При последних сборах Подгорного нам стало его жаль. Мы к нему привыкли, мы его любили, а он нас тешил, по возможности, и облегчал нашу судьбу. На прощанье мы его одарили кто чем мог, а я подарил ему дюжину батистовых платков, уложенных в моем чемодане заботливою невесткою моею в Петербурге еще. К чему каторжнику иметь батистовые платки? Они были сложены весьма тщательно и казались такими, какие употребляют только красавицы и дамы высшего круга. Я подал их Подгорному, прося передать их его сестре на память об нас и за добрые чувства ее к нашему положению при выезде нашем из Петербурга. Жандармов мы наградили деньгами и всех их проводили до саней. На прощанье мне Подгорный признался, что рад вернуться восвояси и свидеться с сестрой, но что прежде всего должен исполнить еще одно поручение, а именно: от тобольского губернатора получить инструкцию, ехать в какую-то деревушку, взять там какого-то крестьянина и закованным доставить его в дворец, к кн. Волконскому. Я утешал его, сколько

мог, сказав ему, что <это> его грустная обязанность, но что ежели он останется таким добрым человеком, каким был с нами, то бог его не оставит. «Вспомните, что мне моря этого, что лежит впереди вас, не объехать»,— сказал он грустно и уехал. Он сдержал свое пророчество и через два года был у нас в гостях за Байкалом в Читинском остроге.

К нам вместо Подгорного приставили полицейского чиновника, человека немолодого уже, от которого несло страшно сивухой.

В воскресенье нам предложили посетить церковь, что мы с радостью и исполнили, не молившись в храме божием около двух лет. В церкви, при остроге, мы стояли в особенном отделе, за решеткой, отделенные от прочих прихожан. Сам преосвященный служил и весьма часто на нас поглядывал, а после обедни с дьяконом каждому из нас прислал по просфоре и велел спросить у нас, когда прибудет М. М. Нарышкин, от сестры которого, кн. Голицыной, из Москвы он получил об этом на днях предуведомление. Мы просили дьякона передать преосвященству наше душевное спасибо и уважение и сказали, что партия, в которой привезут Нарышкина, не замедлит прибыть за нами.

На другой день мы в четырех кибитках в сопровождении провожатого отправились в дальний путь, за Байкал. Пушкин наш совсем оправился, и мы почти веселые продолжали нашу дорогу.

Река Ангара вытекает из озера Байкал, которое жители зовут морем, и имеет то отличительное свойство, что только в самые сильные морозы замерзает, начиная снизу, а не сверху. Говорят, что это обстоятельство не исследовано учеными, и хотя из Берлина приезжали профессора, но ни на чем не остановились. Всю ночь мы ехали по берегу Байкала, иногда спускаясь к самой окраине озера, иногда поднимались на высокий берег. Ветер и холод были весьма чувствительны и только перед рассветом мы добрались до станции на самом берегу Байкала. Мы должны были дожидаться белого дня, потому что ночью чрезвычайно опасно переправляться чрез лед на Байкале, который дает огромные полыньи и трещины. С восходом солнца мы любовались чудной картиной. Байкал окружен горами, покрытыми вековым лесом, и казался нам тогда огромным зеркалом в обширной великолепной раме. Воздух

был чист и спокоен, а солнце весело играло по нем... Скоро наши тройки были готовы, и мы с удивлением узнали, что поедем по льду на следующую станцию, за 60 верст. «Подвяжите только ваши шапки, господа,— сказал нам ямщик,— останавливаться нельзя». Мы уселись, перекрестились и поскакали по шлифованному льду,— только ледяные осколки нас осыпали. После бешеной двухчасовой езды мы выскочили на другую сторону и очутились на станции, близ которой стоит какой-то монастырь.

Вот мы и за Байкалом, а все не знаем, где мы окончательно остановимся. Провожатый наш пьян без просыпу, обыкновенно завернувшись в войлок, спит сном непробудным, а на станциях готовит солянки и ухи из стерлядей, которые, кстати сказать, чрезвычайно тут дешевы; словом, мы скорей везли нашего вожатого, чем он нас, и даже приглядывали за ним, чтоб он пьяный не свалился как-нибудь с саней.

За Байкалом совершенно другая природа. Мрачные, вековые, девственные леса покрывают землю на необъятные пространства. Кажется, нога человеческая не ступала по этим трущобам. Огромные реки катят свои воды, не оживленные ни одной баркой, лодкой, и тишина редко прерывается. Все окружающее как-то дико-грандиозно. Я не стану, впрочем, описывать Сибири,— кто об ней не писал? — и рассказываю только то, что относится до нас, четырех путников.

Мы воспользовались на одной станции сознанием пьяного чиновника и опять приступили с вопросом, куда же нас везут? Ведь этак можно заехать в Китай.

— Я-то знаю,— вдруг ответил наш страж,— в подорожной сказано: в Нерчинск, а словесно и в инструкции приказано явиться в читинский острог, к коменданту... ну, а дальше уж не знаю, что будет. Впрочем, господа, печь затоплена, пора готовить уху да выпить, а там заляжем опять в сани и покатим дальше.

— Бывали вы в этой Чите, по крайней мере?

— Нет еще, я только доезжал до Байкала.

Видя, что из этого бездушного человека ничего не вытянешь, мы решились не беспокоить его более, а предоставить ему кулинарное искусство, которым он поддерживал наше существование.

Наконец, после разных метаморфоз, то на санях, то на колесах, поднимаясь, спускаясь, мы очутились в пре-

краснейшей, обширной равнине, земле бурят. Часто стали попадаться нам верховые с луком, колчаном, со стрелами у бедра; женщины в кожаных шароварах, верхом на быках, многочисленные стада и юрты этого кочевого народа. Станции стоят одиноко, и лошадей нам запрягали почти диких. Вскочит, бывало, бурят на передок повозки, отпрыгнут те, которые удерживали запряженных кой-как коней с словом «гайда!», и пустимся мы без дороги во всю прыть вперед с мыслию, что не сносить нам нашей головы. К довершению необыкновенной картины надобно вообразить себе возничего нашего, бурята, для свободы движений спустившего с плеч шубу, по пояс нагого, а все-таки с колчаном и стрелами за спиной.

По ту сторону Байкала климат заметно мягче, теплее, и лучи солнца уже греют; зато пустота страшная, и оседлой жизни ни признака, и русского поселянина не встретите нигде. Зато как приятно мы были удивлены, когда однажды вдруг увидели, верстах в двух в стороне, беленький домик с красной крышей, с большими окнами и длинным забором. Кто мог из цивилизованных людей обречь себя на такое добровольное изгнание и уединение? Мы справились, и нам объяснили, что это были англичане-миссионеры. Они переводят на бурятский язык евангелие, завели школу для детей и мало-помалу приводят в христианство это жалкое племя. Невдалеке от домика два молодых человека, в европейском костюме, выбежали нам на дорогу и приветливо сняли свои фуражки и нам кланялись.

Не доезжая еще этой загадочной покуда для нас Читы, до нас стали доходить вести о других наших товарищах. Стали нам рассказывать, что многие из них живут уже в остроге, который временно состоит из нескольких изб или срубов, в которых проделаны окна с решетками, а по углам, с наружной стороны, стоят инвалидные часовые. Говорили, что наши ходят уже на работы... И все это ожидает и нас на краю нашего длинного, утомительного путешествия! За один переезд до Читы мы ночевали на станции, чтоб торжественнее утром узреть место нашего вечного заточения. Грустно провели мы вечер, дурно провалялись ночь и утром <про>мчались <через> последнюю станцию.

Еще издали увидали мы деревянную с колокольней церковь, переправились вброд чрез р. Стрелку, въеха-

ли в улицу и подкатили прямо к низенькому комендантскому домику. Наш пьяный провожатый, надев свою шпажонку, пошел докладывать о прибытии нового свежего транспорта, а мы остались в повозках. Судьбе угодно было устроить так, что товарищи наши в это же время, в железах, окруженные цепью часовых, шли с работы со всевозможными орудиями... и не могли, узнавши нас, выйти из рядов, а удовольствовались только киваниями головы и другими знаками приветствия... Тут же выбежал из комендантского дома какой-то инвалидный офицер и велел нам следовать за собою в острог. Ворота настежь — и мы в черте нашего заключения! Первый, которого я там встретил, был Никита Муравьев. Легко себе вообразить, как радостно мы были встречены, расцелованы, обнимаемы... и описывать этого я не берусь.

Глава XI

Читинский острог.— Генерал Лепарский.— Наша артель.— Наша жизнь в остроге.— Наши дамы.— Александра Григорьевна Муравьева.— Екатерина Ивановна Трубецкая.— Мария Николаевна Волконская.— Елизавета Петровна Нарышкина.— Александра Ивановна Давыдова.— Наталья Дмитриевна Фон-Визин.— Госпожа Анненкова.— Анна Васильевна баронесса Розен.— M-lle Dantu.— Госпожа Ентальцева.— Наши занятия и развлечения

Читинский острог построен был, как я уже сказал, временно и состоял из двух половин, в которых мы все и помещались. Помню, что было очень тесно и мы лежали один возле другого. Обед нам готовили вне острога, и повар был нанят из ссыльных же. Обед приносился к нам на носилках, очень грязных, на которых, вероятно, навоз выносили когда-то, и состоял обыкновенно из щей, каши и куска говядины. Посуду свою, или, лучше сказать, деревянные чашки, мы должны были мыть сами, а также ставить наши самовары. На каждой половине, то есть внутри, стояло по часовому, что бы<ло> излишним уже, но предусмотрительность или напрасная осторожность немало еще стесняла нас и к тому же вносила в наше жилище весьма неприятный запах... Помещенные как сельди в бочонке, мы радовались, однако же, мысли, что все будем вместе, и с нетерпением ожидали остальных товарищей, которые, конечно, не замедлят к нам присоединиться.

Да позволено мне будет теперь сказать несколько слов о нашем почтенном коменданте, которому с особенным сердечным удовольствием посвящу несколько слов признательности. Генерал Лепарский — 70-летний старик, уроженец польский. Сорок лет прослужил он в русской кавалерии и в последнее время пред назначением своим в коменданты командовал конно-северским полком, коего шефом считался в<ел>. к<н>. Николай Павлович. Этому-то обстоятельству Лепарский обязан, что был коротко известен с хорошей стороны своему ближайшему начальнику. Государь возымел благую мысль назначить Лепарского комендантом Нерчинских рудников, где он, впрочем, бывал только наездом, а не постоянно <и> находился при нас, в Чите. Генерал был человек образованный, знал иностранные языки, и между прочим и латинский, и воспитание получил в иезуитском училище. Он был кроток, добр и благороден в высшей степени, но крепко боялся доносчиков и шпионов, которых называл шпигонами. Перед назначением в Нерчинск его потребовали в Москву, и все товарищи его по службе, считая его либералом, полагали, что и он скомпрометирован, избегали с ним сношений явных и думали, что больше с ним не увидятся. Но они ошиблись, старик был принят хорошо и поехал в Петербург получить новое назначение и инструкцию насчет нас. В Петербурге составился тогда особенный комитет из председателя Дибича и членов: Чернышева, Бенкендорфа и других для обсуждения нашего содержания, сохранения нашего здоровья и мер к ограждению нашей безопасности, т. е. составления штата наших тюремщиков. Лепарский приглашен был присутствовать при этих совещаниях. Так как в этом ареопаге все меры клонились более к строгости, лишениям, то Лепарский осмелился однажды выразиться: «Для сохранения здоровья этих людей нужен медик, нужна аптека, нужен священник». Тогда Дибич ему грубо сказал: «Вы приглашены сюда в комитет слушать, а не рассуждать»,— Лепарский тотчас же встал с своего места и вышел. Когда, без него уже, все было решено, ему вручили инструкцию и велели явиться к государю. Государь прочел ее, сделал несколько замечаний, исправлений и, вручая ее ему обратно, прибавил: «Смотри, Лепарский, будь осторожен, за малейший беспорядок ты мне строго ответишь, и я не по-

смотрю на твою 40-летнюю службу. Я назначил тебе хорошее содержание (и действительно, Лепарский получал 22 тысячи руб. ассигнациями в год; плац-маиор — 6000, плац-адъютанты — по 3000), которое тебя обеспечит в будущем. Инструкции, кто бы у тебя ее ни потребовал, никому не показывай. Прощай с богом!» Когда Лепарский вышел от государя, как нарочно ему попался Дибич и тотчас же осведомился, читал ли государь инструкцию и что в ней переменил, и хотел ее взять у Лепарского и посмотреть, но генерал, помня слова государя и желая посердить Дибича, не дал ее ему, несмотря на то, что тот требовал ее именем своим, начальника штаба.

Странное стечение обстоятельств,— Лепарский сам это рассказывал: будучи поручиком еще <17>91 году, он провожал в Сибирь польских конфедератов, взятых в плен, а теперь ему случилось быть стражем, так сказать, русских конфедератов. Лепарский принял назначение тюремщика нашего, но выговорил себе ограничение наблюдать только за политическими преступниками и в особенности брался отвечать только за нас. Ему дано слово, и нас содержали одних. С самого начала понимая всю несообразность собрать нас всех 125 человек в Нерчинске и смешать с толпой в 2000 человек каторжников (варнаков), он решился приехать в Читу, за 700 верст ближе Нерчинска, и здесь собирал нас по мере присылки из Петербурга и доносил государю и Бенкендорфу как шефу жандармов причину, побудившую его к такому действию до постройки нам особливой государственной тюрьмы. В самом деле, независимо от того, что совокупное содержание наше с отъявленными злодеями отягчило бы наше положение, Лепарский весьма справедливо опасался и беспорядков между людьми, которым жизнь — копейка и которые готовы на всякую выходку: нас легко могли обкрадывать, обижать и даже сделать un coup de main * и освободить.

Итак, временно мы поселились в Чите. Казна отпускала нам по 4 коп. в день, из коих вычиталось по две копейки на госпиталь. Мы тотчас же занялись устройством своей собственной артели из денег, у многих из нас водившихся. И я внес свои 500 руб., данные мне

---

* внезапное нападение *(фр.)*.

невесткою моею при моем отправлении из Петербурга. Мы избрали из среды нашей казначея, просили коменданта освободить его от работ и поручили ему нашу кассу.

В начале нашего заключения нам не дозволяли иметь ни перьев, ни бумаги, ни чернил и строго запрещалось писать к самым близким родным. На работу мы выходили, кроме воскресных и праздничных дней, ежедневно около 9 часов утра, и она продолжалась по 2 часа утром и <по> 2 часа вечером. Придут, бывало, за нами человек 10 инвалидных солдат с унтер-офицером, с тачками, лопатами и всевозможными инструментами, и мы, в железах, потянемся на указанное место... Правду сказать, работы наши не были очень обременительны, и мы, запасшись книгами, проводили большую часть времени в чтении и даже разговорах, иногда очень интересных и назидательных, так как между нами были люди очень образованные, начитанные. И это продолжается обыкновенно до удара колокола с дома Лепарского и до магического слова у<нтер>-о<фицера> «шабаш!» А между тем это единообразие крепко надоедало, и мы с нетерпением ждали субботнего дня. К тому же, вопреки коренного закона, существовавшего в Сибири, об освобождении всякого ссыльного дворянина от желез мы одни, не совершив никакого нового преступления, были изъяты из этого правила и только освободились от них после двух лет...

Мало-помалу общество наше увеличивалось новыми транспортами из мрачного Шлиссельбурга, а Лепарский навещал нас, по крайней мере, раз в неделю. Всегда ласковый, учтивый, он ходил, бывало, по нашей тюрьме в сопровождении дежурного офицера и был так деликатен, что ежели говорил с нами, то высылал его вон. Эти же дежурные офицеры ежедневно осматривали замки наших цепей, и мы до того привыкли к этому унизительному акту, что, бывало, играешь в шахматы, а при появлении подобного аргуса, не прерывая своего занятия, только протянешь ему свою ногу...

Некоторые жены моих товарищей стали также прибывать в добровольную ссылку. С благоговением и глубоким уважением вспоминаю я имена их. Достойные женщины исполнили долг супружеской верности с героическим самоотвержением. Большею частью молодые,

красивые, светские, они отказались добровольно от обаяний света, от отцов, матерей и пришли за тысячи верст влачить дни свои в снегах Сибири на груди своих злополучных мужей. Вначале, в Петербурге, многим из них делали большие затруднения к осуществлению их благих намерений, но наконец правительство, видя их непреклонную волю, дозволило им добровольную ссылку эту, но с какими тяжкими условиями!.. Сначала их оскорбили предложением выходить замуж от живых мужей, потом не позволили им взять с собою детей, рожденных до ссылки мужей в Сибирь; воспретили возврат детей в Россию, могущих родиться у них в Сибири; не дозволяли им взять с собою своей прислуги и, наконец, обязали их ответственностью за поступки мужей в будущем.

Александра Григорьевна Муравьева, урожденная графиня Чернышева и внучка фельдмаршала Захара Григорьевича (только не из Чернышевых, недавно пожалованных в графы за нашу казнь), при прочтении ей условий пред отправлением ее за мужем в Сибирь дозволила чиновнику дочитать только до параграфа, гласившего о детях, вырвала перо, подписала условие с словами: *«Довольно! Я еду!»* Великая черта! Сильна была твоя любовь, достойная женщина, к твоему мужу.

Положение *Екатерины Ивановны Трубецкой* было самое щекотливое. Она — из дома Лаваль и приходилась племянницей графине *Белосельской* и сама мне рассказывала, что когда А. И. Чернышев искал руки кузины ее, *Белосельской,* то становился пред Екатериной Ивановной на колени, целовал ее руки и просил ее ходатайства и согласия на брак. Екатерина Ивановна во многом ему помогла, а в благодарность Чернышев во время дела нашего не узнавал свою благодетельницу и даже отворачивался от нее, как, например, сделал на светлый праздник в домашней церкви Белосельской, когда он обошел ее при христосовании. Кузина Трубецкой умерла вскоре от родов, и только ранняя смерть ее избавила ее от сообщества такого гадкого человека, каким оказался Чернышев.

Екатерина Ивановна Трубецкая первая последовала за своим мужем и зимою, в кибитке, выехала из Петербурга. Она была 15 лет замужем и тогда не имела еще детей.

Княгиня *Марья Николаевна Волконская,* урожденная Раевская, дочь знаменитого, храбрейшего героя <18>12 года, защитника Смоленска, рассталась с своим единственным ребёнком, оставив его на попечение бабки, старухи Волконской, матери Сергея Григорьевича Волконского, и также вскоре последовала за мужем.

Елизавета Петровна Нарышкина, дочь Петра Петровича Коновницына, была фрейлиной при императрице Марии Федоровне и только год замужем. Узнав об участи ее мужа, она тотчас же как милости просила письмом у императрицы, своей благодетельницы, позволения следовать за своим мужем, получила его и снесла крест свой до конца.

Александра Ивановна Давыдова, супруга Василия Львовича Давыдова, женщина отличавшаяся своим умом и ангельским сердцем. Она проживала прежде в своей деревне Каменке, где и А. С. Пушкин проводил дни свои, когда был в изгнании, и умел уважать и питать нежнейшую привязанность ко всему этому семейству. Многие из своих повестей Пушкин, под именем Белкина, написал в Каменке. Василий Львович во время своего арестования был полковником в отставке. Жена его после сентенции оставила приют, где счастливо провела свою юность, оставила своих родителей и родных и даже детей своих и последовала за мужем.

Давыдов скончался на поселении в Красноярске.

Наталья Дмитриевна Фон-Визин, урожденная Апухтина, одна из прелестнейших женщин своего времени. В ее голубых глазах отсвечивалось столько духовной жизни, что человек с нечистою совестью не мог смотреть ей прямо в эти глаза... В нежных летах еще она, зимой, босиком, покинула родительский дом, чтоб посвятить себя служению богу, и хотела постричься в монахини, но предвечному угодно было указать ей иной путь спасения вечного. Она вышла замуж за генерала Фон-Визина и с ним уехала в Сибирь — делить труды и ссылку его, оставив в России двух сыновей. Во время <18>12/<18>13 <годов> у А. П. Ермолова было два адъютана: Фон-Визин и Граббе. Последний теперь генерал-адъютант и пользуется отличной репутацией, а первого, когда возвратили из Сибири, после 20-летней ссылки, Ермолов тотчас же навестил в Москве. Подобного внимания достаточно, чтоб охарактеризовать личность Фон-Визина.

Госпожа Анненкова, француженка из Парижа... Вот ее история. Молодой, красивый Анненков, служа в кавалергардах, встретился с ней и познакомился в Москве. Влюбившись в нее по уши, как говорится, Анненков хотел на ней жениться, но мать его из московской щепетильности и дворянской гордости воспротивилась этому браку, и молодые люди скрытно любили друг друга. Во время заключения молодого Анненкова его возлюбленная не могла с ним видеться, не имев на то законных прав, и страдала невыносимо, влача свою жизнь в нищете почти. Наконец, она узнает, что Анненкова увезли. Что делать? К кому обратиться? Государь уезжал тогда в Новгород. Недолго думая, любящая француженка на дороге останавливает государя и просит его позволения следовать за г. Анненковым. «Vous êtes sa femme?» — спросил государь. «Sire! Ye suis mère!» * — произнесла бедная женщина в замешательстве. Государь немного подумал и приказал ей явиться к нему в Новгороде, что бедная женщина и исполнила.

Временный дворец был окружен любопытною толпой, и, когда она хотела войти, уже на крыльце жандармы не пускали ее, но вышедший кстати Лобанов-Ростовский, узнав, в чем дело, вывел ее из затруднения и, предложив руку свою, ввел к государю в кабинет.

Там монарх, встретя ее ласково, вручил ей бумагу со словами: «Madame! Voila l'ordre au commendant de vous laisser rejoindre Annenkoff et une some de 3000 roubles de ma part pour les frais de voyage» **. Милость государя дала возможность несчастной иностранке достичь своей благородной цели.

По приезде в Сибирь она была обвенчана с Анненковым, и комендант был ее посаженым отцом по воле государя.

Анна Васильевна баронесса Розен, урожденная Малиновская, оставила также своего малолетнего сына на попечение своей сестры и последовала за мужем в Сибирь. Не имея больших средств, каким лишениям ни подвергалась эта бедная женщина! Путешествие свое в 6000 верст она совершила без прислуги, на перекладных и достигла своей цели. В Сибири она родила

---

* «Вы его жена?» <...> «Государь! Я беременна!» *(фр.).*

** «Сударыня! Вот приказ коменданту с разрешением приехать к Анненкову и сумма в 3 тысячи рублей с моей стороны на оплату поездки *(фр.).*

4 мальчиков, сама их выкормила и, поставив на ноги, сама же дала им воспитание и образование, умственное и душевное. Сделавшись отличными артиллерийскими офицерами, сыновья ее доказали, что попечения достойной матери их не пропали даром.

Наконец, приехала к нам хорошенькая, молоденькая невеста, и вот как это случилось. Генерал Ивашев имел сына в кавалергардском полку. Молодой человек вскоре перешел во вторую армию адъютантом к графу Витгенштейну. Получив блестящее светское образование, пользуясь огромным состоянием своего отца, наделенный от природы прекрасной наружностью и талантом к музыке, уроки которой он брал у знаменитого Фильда, молодой Ивашев мог бы надеяться на счастливую будущность, но молодость увлекла его, и он сделался членом Южного общества, был взят и сослан на 15 лет в каторжную работу. Имение отца его находилось в Нижнегородской губернии на берегу прекрасной Волги, окруженное обширными садами и всеми затеями барства. Семейство Ивашевых проводило однажды лето в деревне, и юный Ивашев воспользовался отпуском, чтоб в кругу родных насладиться деревенскою жизнию. В доме их жила старая гувернантка сестер Ивашева M. Dantu с прехорошенькой 18-летней племянницей своей. Немудрено, что молодые люди сошлись, полюбили друг друга, и Ивашев ухаживал не на шутку за подругой своих сестер. M-lle Dantu обладала великолепной каштановой косой, и вот однажды Ивашев, подкравшись во время туалета молодой барышни, отрезал клок волос на память. Но отец его, замечая сближение юных сердец, позвал к себе сына и строго выговаривал ему, представляя, как неблаговидно, нечестно играть репутацией женщины, когда не имеешь намерения и возможности жениться на ней. Он раскрыл пред Ивашевым грустную будущность девушки, которая может пасть, надеясь на брак с ним, тогда как брака этого старик никак не позволит, приготовив сыну другую, более приличную и выгодную партию. Но подобные слова мало действуют на влюбленных, ослепленных страстью. Искра была брошена, и пожар уже охватывает обоих... Чтоб разом прекратить все это, старик приказал сыну возвратиться к месту служения, в Тульчин. Наступил <18>25 год; молодой Ивашев был взят, отвезен в Петропавловскую крепость. Легко

себе представить отчаяние целого семейства и в особенности затаенную из приличия скорбь m-lle Dantu. Нежное здоровье ее не выдержало этого потрясения, и она слегла в постель. Доктора отчаивались в ее жизни, не понимая вполне душевной болезни девушки, против которой нет лекарства ни в какой аптеке. Старуха D<antu>, наконец, вынудила признание у своей племянницы. Признаваясь в своей привязанности к молодому Ивашеву, m-lle Dantu просила позволения разделить с ним его ссылку.

Столь трогательная привязанность девушки смягчила, наконец, и старика Ивашева, который рад был в этих обстоятельствах, что находится на свете существо, могущее утешить в ссылке его любимого сына. Он поехал в Петербург и, пав к ногам государя, просил дозволения на брак сосланного сына. Послали спросить согласия молодого Ивашева. Я помню живо тот день, когда комендант потребовал к себе Ивашева для объяснений. Мы все принимали живое участие в судьбе нашего товарища. Когда-то брак этот совершится? Ведь нас разделяет 6000 верст со всем образованным миром! Но и в остроге время имеет свой полет.

Полгода прошло после этого. В один ясный день мы были все на работе, как к толпе нашей прискакали два нарочно посланные крестьянина с уведомлением к М. Н. Волконской, что на последнюю станцию прибыла <m-lle Dantu> в карете. Лепарский дозволил Ивашеву дожидаться ее прибытия у Волконской, а мы занялись приведением в порядок наружности нашего молодого товарища-жениха: кое-как повычистили его черный сюртучок, напомадили его голову, расцеловали и отправили. Мы видели, как к дому приехала карета, как из нее вышла стройная женщина и побежала и повисла на шее своего в<оз>любленного, без цепей, которые Лепарский велел снять для торжественного случая. Без чувств внесли ее в дом, но радость и восторг смертельны не бывают. Скоро она пришла в себя и была обвенчана в церкви. Лепарский, в ленте, был по высочайшей воле их посаженым отцом, и двое друзей ссыльного — шаферами. У Волконской был ужин, где все наши дамы радушно приняли в свой круг новую чету счастливых молодых.

Госпожу Ентальцеву, не имевшую средств денежных, чтоб следовать за мужем, пригласила с собой Елизаве-

та Петровна Нарышкина, и они приехали в Сибирь вместе. Полковник Ентальцев был командиром легкоконной батареи во 2-й армии и Пестелем был принят в члены Южного общества. Он умер на поселении в Ялуторовске. Однажды с ним случился презабавный анекдот, который, кстати, я здесь и помещу. Когда-то у какого-то сибирского губернатора были три старые пушчонки, из которых стреляли в торжественные дни при постах. Негодные лафеты их достались каким-то способом старой бабе, которая и вывезла их на базар для продажи. Ентальцев, имея надобность в железе для оковки своей повозки и зная как старый артиллерист всю цену, какую можно из старого железа извлечь, купил эти лафеты и привез к себе домой. Так как доносы в царствование императора Николая распространились по всей России и каждый отовсюду мог писать в 3-е отделение все, что ему вздумается, то и на Ентальцева донесли, что он завелся 3 пушками и намерен стрелять ядрами в проезд наследника по Сибири. 3-е отделение поверило этой клевете: нарядили секретное следствие, ночью окружили жилище бедного сосланного, полицеймейстер с солдатами вошли в дом, перепугали жену Ентальцева и допытывались, где ядра и пушки, предназначенные для такого важного дела? Наконец убедились, что с старых лафетов стрелять нельзя и что вся эта история есть чистая выдумка, и Дубельт успокоился.

Описывая наших дам, я кончу тем, сказав, что в продолжение всей нашей ссылки они постоянно были нашими ангелами-хранителями и первое время, когда нам не дозволялось писать самим, разделив нас между собой, занялись нашей корреспонденцией, уведомляя ежемесячно дорогих нашему сердцу в России. Мало-помалу они купили себе дома, пообзавелись хозяйством, и составилась близ острога маленькая единодушная колония. Расточительностию своею на утешение своих мужей они обогатили весь Читинский округ, и мы, вероятно, во все время нашей ссылки оставили там вместе со штабом Лепарского более полутора миллиона рублей. Артели наши, состоя из общей, добровольной складчины, имели всегда в запасе до 12 тысяч рублей. Независимо от этого мы положили откладывать известную сумму на предмет первоначальной помощи, в 1000 рублей, каждому, окончившему из нас

термин своей каторги и ссылаемому на поселение. В Чите построились лавки, из Иркутска наехали купцы, и окружные жители, до нас бедные, обогатились, привозя разного рода припасы из-за 200 верст, убежденные, что все будет раскуплено. Зимою наши благодетельницы прислали нам в острог целые кастрюли шоколаду.

Между нами были отличные музыканты, как-то: Ивашев, Юшневский, Вадковский, оба брата Крюковы. Они в совершенстве владели разными инструментами. Явились скоро рояли, скрипки, виолончели; составились оркестры, а один из товарищей, Свистунов, зная отлично вокальную музыку, составил из нас превосходный хор и дирижировал им. Свистунов был поручиком <в> конногвардейском полку,— был ремонтер,— и оттуда был взят.

Бывало, народ обступит частокол нашей тюрьмы и слушает со вниманием гимны и церковное пение наше. Строгие правила инструкции мало-помалу забывались, да и невозможно было за всем уследить. Например, у нас отобрали серебряные ложки и хранили их у коменданта, а из Петербурга нам прислали столовые приборы из слоновой кости, гораздо ценнее самого серебра. Одна ложка и теперь еще хранится у меня для памяти.

Глава XII

Каторжная академия.— Доктор Вольф.— Отъезд Корниловича.— Мастерство Николая Бестужева.— Каторжные работы.— Тонкая вежливость Лепарского.— Повеление снять оковы.— Постройка новой тюрьмы

Устроив мало-помалу свое материальное довольствие, мы не забыли и умственного. Стоило появиться в печати какой-нибудь замечательной книге, и феи наши уже имели ее у себя для нас. Газеты, журналы выписывались многими, а Никита Муравьев даже перевез в Сибирь всю богатую библиотеку своего отца для общего употребления. Между нами устроилась академия, и условием ее было: все, написанное нашими, читать в собрании для обсуждения.

Так, при открытии нашей каторжной академии Николай Бестужев, брат Марлинского, прочитал нам ис-

торию русского флота, брат его Михаил прочел две повести, Торсон — плавание свое вокруг света и систему наших финансов, опровергая запретительную систему Канкрина и доказывая ее гибельное влияние на Россию. Розен в одно из заседаний прочел нам перевод Stunden der Andacht (часы молитвы), Александр Одоевский, главный наш поэт, прочел стихи, посвященные Никите Муравьеву как президенту Северного общества. Он читал отлично и растрогал нас до слез. Дамы наши послали ему венок. Корнилович прочел нам разыскание о русской старине. Бобрищев-Пушкин тешил нас своими прекрасными баснями, из которых одна хранится у меня и теперь.

В числе нас находился бывший надворный советник Вольф, медик главнокомандующего Витгенштейна. Казалось бы, для чего Пестелю принимать доктора в члены общества? Но судьба готовила нам нашего общего спасителя. Сосланный с нами на 15 лет в Сибирь, почтенный ученый доктор Вольф, друг Шлегеля, пользовал наших дам, детей и всех нас самих. С самого начала прибытия он занялся устройством аптеки, которую и организовал в одном пустом отделении острога. Выписали лекарства из Москвы, Петербурга, Лондона и Парижа. Игельстром, бывший капитан саперов, добровольно принял на себя должность помощника. Вольф получил позволение выходить с часовым из острога, и бедный провожатый этот не успевал, бывало, следить за своим пленником в железах, которые для добрых дел его и не стесняли.

Однажды старик Лепарский смертельно занемог. Что делать? Вольфа пригласить не приходится, а на молодого врача при инвалидной команде, боявшегося и приступить к такому важному больному, плохая надежда. Лепарскому делалось хуже и хуже, и наши дамы упрашивали его довериться Вольфу. Делать нечего. 70-летнему старику жить хотелось — послал за Вольфом. Осмотрев больного, доктор нашел, что Лепарский опасно болен, и на вопрос генерала, может ли он взяться за его лечение, Вольф отвечал утвердительно, но предупредил, что он лишен права лечить официально, что рецепты его не примутся ни в одной аптеке, а что главное, в случае смерти коменданта иркутская управа обвинит его, чего доброго, в отравлении генерала, а предложил велеть госпитальному доктору, по указа-

ниям своим, прописывать лекарства под его диктовку. На этом порешили; Вольф пользовал Лепарского и вскоре вылечил. В знак благодарности комендант особенно рекомендовал доктора графу Бенкендорфу, и вскоре пришло из Петербурга повеление с собственноручною надписью государя: *«Талант и знание не отнимаются. Предписать иркутской управе, что все рецепты доктора Вольфа принимались, и дозволить ему лечить».*

Вовсе неожиданно лишились мы одного из наших товарищей, и вот как это случилось. Зимою дамы наши что-то засуетились и однажды, прибежав к частоколу, обыкновенному месту свидания, объявили, что прибыл в Читу фельдъегерь и сидит взаперти <у «старика»>, так называли они нашего доброго коменданта. Что б это значило? Каждая из них тревожилась за своего мужа. Давай разузнавать чрез своих горничных, имевших связи с домом коменданта. Узнали наконец, что фельдъегерь приехал за кем-то. Дамы поторопились известить нас о беде, грозившей одному из нас, и просили, в случае ежели б этому должно было осуществиться, дать им знать, чтобы они могли выслать несчастному теплую одежду и прочее необходимое на путешествие. Просили также передать несчастному, что в письмах своих всегда будут заботиться о нем в Петербурге, называя его кузиной. Эту уловку они обыкновенно употребляли во всей своей переписке в целой России, говоря о нас.

Вечером того же дня мы все еще не знали ничего верного, как вдруг в тюрьму нашу вошел дежурный офицер и, отыскав глазами Корниловича, игравшего в шахматы, подошел к нему и пригласил его одеться и следовать за собой к коменданту. Тут мы догадались, что не видать нам боле нашего Корниловича. Я бросился к частоколу объявить нашим благодетельницам о злосчастной судьбе его; товарищи уложили его вещи в чемодан и послали за ним; дамы сделали все, что могли, и ночью Корниловича увезли в самом деле в Петербург. Что за причины? Мы все терялись, а Николай Бестужев полагал, что будто бы это было за то, что Корнилович, по изданию своей «Русской старины», слишком хорошо знаком был со всею подноготной, роясь в архивах, тогда ему открытых.

Через несколько времени графиня Чернышева, сестра Муравьевой, писала из Петербурга, что «кузину» привезли и «доктор» держит ее взаперти, не дозволил ей иметь книги и письменные принадлежности.

Итак, наш бедный Корнилович попал опять в каземат Петропавловской крепости!

Все письма наших дам шли чрез комендантскую цензуру, потом их читали в Тобольске, и, наконец, распечатывали в 3-м отделении два особых чиновника, к этому приставленные. К нам письма доставлялись таким же порядком. Газеты, книги, журналы — все тщательно осматривалось, и 3-е отделение, в это время под управлением Леонтия Васильевича Дубельта, совершенно заслужило название русской инквизиции.

Взамен славного товарища Корниловича, которого мы лишились так неожиданно, мы скоро обрадованы были переводом к нам из Нерчинска первого разряда наших товарищей. Там все это время они проработали в рудниках и ежедневно спускались в шахты для добывания презренного металла. Главный начальник Нерчинска Бурнашев и с ними и с другими каторжниками обращался глупо, грубо и жестоко, а сам по себе был вор и мошенник. Волконский и проч. рассказывали, что он зачастую засекал бедных ссыльных, морил их голодом и не давал им необходимой одежды. Трубецкая и Волконская, проживши все это ужасное время с своими мужьями, были свидетельницами этого варварского управления и своими руками на свои деньги нашили более 500 рубах и роздали несчастным. Не знаю, каким способом Лепарский вытребовал из Нерчинска наших товарищей и поместил с нами, а дамы наши радушно приютили на время их жен.

Все наше дружное общество старалось своими руками услаждать существование наших утешительниц в замену их благодеяний. Между нами появились мастеровые всякого рода: слесаря, столяры, башмачники, которых изделия по правде соперничали с петербургскими. Главою и двигателем всего этого был, бесспорно, Николай Бестужев. У него были золотые руки, и все, к чему он их ни прикладывал, ему удавалось. Он был отличный писатель, астроном, поверял и чинил наши часы, устроил в нашем дворе *солнечные*, по которым и Лепарский поверял свои карманные. Вскоре товарищи возделали свой собственный огород на отведенном

поле — и тут без Бестужева не обошлось: он придумал и устроил *поливательную машину.* В свободное время он снял все наши портреты и даже самого Лепарского, который ему и подарил.

В Сибири, как известно, морозы бывают ранние: в октябре земля до того замерзает, что земляные работы поневоле прекращаются, и Лепарский, следуя буквально инструкции, придумал нам другую. Он устроил в особенном теплом сарае 20 ручных жерновов, и нас посылали молоть муку, по $1\frac{1}{2}$ пуда утром и $1\frac{1}{2}$ вечером. Так как многие из нас и этой простой работы не понимали, то Лепарский приставил к нам двух сильных мужиков из каторжников, которые почти одни справлялись с этим делом и с нас получали плату. Это были два поселенца, клейменые и кончившие свой термин наказания. На наши деньги они выкупились из каторжной работы, заплатив доктору, который дал им свидетельство в неспособности к работе. Сделавшись поселянами, они приходили нас благодарить и часто просили, нельзя ли уничтожить как-нибудь позорные клейма, но Вольф нашел это невозможным.

Дамы наши чрезвычайно полюбили старика нашего Лепарского и уважали его глубоко, хотя часто тревожили его и мучили просьбами неисполнимыми. Уж ежели, бывало, пригласят они коменданта к себе, то, наверное, для того, чтоб просить что-нибудь для мужа, а Лепарский между тем ни разу не позволил себе преступить законов тонкой вежливости и постоянно являлся к ним в мундире, так что однажды Муравьева заметила ему это, а он простодушно отвечал: «Сударыня, разве я мог бы явиться к вам в сюртуке в вашу гостиную в Петербурге?»

Лепарский всех наших дам уважал, как благовоспитанный человек, но, кроме того, постоянно старался не обижать щекотливого положения их и часто в шутку говаривал, что <лучше> желает иметь дело с 300 государственными преступниками, чем 10 их женами. «Для них у меня нет закона, и я часто поступаю против инструкции», — прибавлял он.

Однажды нас собрали всех в нашу столовую, то есть в один из больших номеров, и Лепарский пришел в мундире и при оружии, значит, не по-домашнему. «Господа, — обратился он к нам, — я с радостью поспешил сюда, чтоб объявить вам, что получил высочайшее

повеление снять с вас оковы»,— и, обратившись к плац-майору, приказал собрать железа и доставить в казенный цейхгауз. Инвалиды принялись исполнять приказание, а каждый из нас оставил себе на память кольцо; из <этих колец> со временем искусник Бестужев понаделал крестиков в память грустного времени.

И в этой милости царской, ежели ее можно так назвать, была видна какая-то нерешительность и свойственность правительства. После мы узнали, что приказ снять с нас железа был дан полгода тому назад, но с ограничением: велено было снять с тех только, кого Лепарский найдет достойным этого облегчения. Конечно, благородный Лепарский тотчас же отвечал в Петербург, что считает нас всех достойными этого облегчения и не видит побудительной причины при явной одинаковой вине нашей с одних снимать, а с других не снимать. Но покуда эта переписка длилась, мы проходили лишних месяцев 6 в цепях. Впрочем, мы привыкли уже к нашим оковам.

Наконец-то приехали из Петербурга с планами и сметами инженеры для устройства, сообща с Лепарским, государственной тюрьмы для нас. Странное стечение обстоятельств! Планы и сметы утверждены в Петербурге в один и тот же день, как подписан мир с Турциею в Адрианополе! Итак, по всему видно, нам решительно приходится кончать век наш в заточении и переходить из одной тюрьмы в другую, а многим из нас еще нужно доживать свои длинные годы ссылки в Сибири — кому 20 лет, кому 18, кому 15, а мне 4, ибо я прожил в Чите четыре года, да нам сбавлено по году при рождении в<ел>. к<нязя> Михаила Николаевича. Так, молодому Захару Чернышеву по этому случаю удалось сократить свою каторжную работу на срок менее года, и он сослан был на поселение в Якутск. Тут, видимо, действовало провидение, потому что З. Чернышев и сослан-то был только по проискам родственника своего Александра Ивановича, рассчитывавшего на его 20 000 душ наследства. Но председатель Государственного совета Николай Семенович Мордвинов отстоял законных, прямых, ближайших родственников и присудил состояние старшей сестре Захара Чернышева, бывшей замужем за Кругликовым. Тогда же она получила указ именоваться впредь графинею Чернышевой-Кругликовой. Известная своим влиянием в то время на петербургское общество старуха Ната-

лия Кирилловна Загряжская, из дому Разумовских, не приняла генерала Чернышева к себе и закрыла для него навсегда свои двери, да и весь Петербург радовался справедливому решению. Они же были так редки, да и их мог произносить только такой человек, каким был Мордвинов.

Скоро комендант наш с инженерами поехал в Петровский завод для выбора места для нашей тюрьмы. Петровский завод ближе к Иркутску 700 верстами и дальше от Нерчинска и варвара Бурнашева. И за то благодарение богу! Скоро место было избрано, постройки начались, и я в своем месте опишу нашу тюрьму. У меня хранится план этого заведения, снятый Бестужевым, а фотография общего вида, снятая впоследствии, конечно, украшает стену моего кабинета. Говорили, что целый лес был вырублен в продолжение полутора года для построения нашей тюрьмы и 1000 работников приложили к нему свои искусные руки. Все это делалось втайне от нас, но дамы наши успели уже все узнать, а А. Гр. Муравьева, пригласив к себе главного инженера-строителя, даже вручила ему сумму, кажется до 10 000 руб., для одновременного построения и для нее удобного помещения возле тюрьмы, с библиотекой, биллиардной и детской, потому что бог дал ей в это время дочь.

Глава XIII

Переход на Петровский завод.— Случай с Волконскими.— Мнение бурят о причине нашей ссылки.— Новый острог.— Смерть А. Г. Муравьевой

Так или иначе дождались мы наконец до вожделенного дня, когда получен был наш маршрут на следование в Петровский завод. Переходы были рассчитаны с дневками, но нам запрещено было останавливаться в деревнях. Правительство боялось, верно, что мы заразим жителей либерализмом... 20 августа был днем нашего переселения, но когда мы пустились в путь, нам стало жаль нашей Читы, где мы уже попривыкли и обжились. Наши поселенки должны были побросать свои жилища, свое хозяйство, а Е. П. Нарышкина продала свой домик за 2 головы сахару. Они поехали в Петровский завод прежде нас, чтоб приготовить для своих мужей все необ-

ходимое. Нарышкина уехала в четвероместной карете в 10 лошадей, Муравьева и прочие за ней последовали, и только бедная Волконская, быв на сносе, волею и неволею должна была на некоторое время оставаться в Чите без мужа и без доктора, которых комендант не мог ей оставить. На руках у попадьи, у которой нанимала квартиру, эта мужественная женщина осталась одна и имела столько характера, что до последней минуты утешала еще своего мужа.

День нашего выступления был пасмурен и дождлив. Жители провожали нас до плота, устроенного на реке Стрелке, бывшей в то время в разливе. Наша колонна разделена была на две партии: первую сопровождал Лепарский в тарантасе с Вольфом, вторую, в которой и я находился, вел племянник его, плац-маиор Лепарский. Шествие наше было радостное, почти торжественное; дорогой восхищались мы свободой, природой, рвали полевые цветы, могущие украшать любую петербургскую оранжерею. На ночлегах нам заранее выставлялось несколько бурятских юрт. Кухня с почтенным хозяином нашим Розеном всегда была впереди. Погода сделалась прекрасною, и Лепарский всегда умел располагать нашу стоянку на привлекательнейших местах, на берегу реки и ручья. Целые полки бурят сопровождали Лепарского как дивизионного начальника, а потому шум, суета нас не оставляли ни на минуту.

На одном переходе мы встретили отличную коляску, запряженную шестериком, с бурятом в лисьей шапке на козлах и с двумя таковыми же бурятами на запятках. В коляске сидел мальчик в шелковой зеленой шубе, в шапочке, отороченной бобровым мехом и украшенной наверху голубыми шариками из стекляруса, вроде короны. На боку его болталась сабля с серебряным темляком, а на шее — золотая медаль на анненской ленте. Нам сказали, что это сын хана, его прямой наследник и начальник бурят, которых считается до 60 000 человек. Он сопровождал нас верхом на небольшой сереньκой лошадке. На одной дневке он дал нам презанимательное представление, приказав выпустить на равнине оленя и пустившись со своими за ним вдогонку. Искусно пущенные стрелы свалили прекрасное животное, и оно попало к нам на кухню.

Разные упражнения довершили праздник, а юноша подъехал к нашей толпе, как бы выжидая награды,

и мы отблагодарили его несколькими фунтами табаку, которыми он очень, кажется, остался доволен.

На дневках дикие буряты постоянно были с нами и напряженно следили за игрою в шахматы. Раз один из наших игроков уступил ему свое место, и бурят стал играть с Трубецким,— к удивлению нашему, отлично. Известно, что игра эта перенесена в Европу из Китая и Монголии и ведется так же, как и у нас, с тою разницею, что королева ходит, как наш конь, и вместо нашей туры у них слон. Буряту, сильно нападавшему на Трубецкого, который начал рокировать, очень не понравилась эта манера игры, и он, в знак неудовольствия, качал головою, однако выиграл партию. На другой день я искал этого славного игрока, чтоб снова с ним сразиться, и с огорчением узнал, что он лежит больной, получив за какой-то неважный проступок от своего хана пятьдесят плетей.

Не помню где-то дорогою нас встретил фельдъегерь из Петербурга. Для нас, отверженных, всякое малейшее происшествие, случай — эпоха. Пошли догадки: зачем? за кем? Облегчение ли нашей участи привез он, а может быть, кого-нибудь из нас схватят и увезут так, что и следа по нем не останется? На этот раз этот посланный был вестником мира, ибо, хотя и взял из среды нашей Волконского по высочайшему повелению, но с тем, чтоб отвезти его обратно в Читу к жене в родах. Причиной такой внимательности царской было вот что, как мы узнали впоследствии: мать Волконского, первая статс-дама при дворе, жила в самом дворце — на ее дочери женат к<н>. Петр Михайлович Волконский — и пользовалась постоянно особенным вниманием всей царской фамилии. Узнав однажды, что при переселении нашем из Читы в Петровский завод невестка <ее>, а супруга ее сына, беременная оставлена одна на произвол случайностей и разлучена с мужем, старуха так возмущена была этой неуместной строгостью, что не вышла к столу царскому. Государь заметил, само собой разумеется, ее отсутствие, спросил о причине неудовольствия княгини и, узнав, в ту же минуту отправил нарочного в Сибирь с приказанием оставить Волконского при больной жене. Фельдъегерь сделал это путешествие в 16 суток, и бедная княгиня успокоилась.

Так подвигались мы к месту нашего вечного заключения. Хотя на дворе был август месяц, но богатая сибир-

ская флора щедро рассыпала свои дары, и мы, как бы прогуливаясь в роскошном саду, собирали дорогой превосходные букеты, а ученый Вольф ботанизировал. На ночлегах тешились мы окружающими бурятами и кормили их нашей европейской кухней, от которой они были в восторге, а в особенности с жадностью ели всякий жир.

Однажды кто-то спросил одного из этих дикарей, знает ли он, за что мы сосланы, и он отвечал: «Знай... султан — так»,— и провел ладонью по шее... «Совсем не так,— отвечал ему вопрошатель,— мы хотели, чтоб всякий бурят был равный с ханом и генерал-губернатором перед законом!» Бурят ничего не понял, конечно, и бессмысленно улыбнулся только...

На последней станции к Петровскому заводу нас встретили, смешались с нами и проходили в нашей толпе богато одетые крестьяне.

— Бывали ли вы в Петровском заводе, ребята?

— Как не бывать, мы там плотничали...

— Хорошо ли нам там будет?..

— Ох, господа, худо: строение без окон...

— Как без окон?..

— Казематы, что мы строили, без окон... мы и сами удивлялись, когда строили. Что, мол, это за порядки? Но нам сказали, что так план прислан из Питера.

Рассказ этот сильно нас опечалил, и мы в раздумье сделали последние версты нашего длинного пути.

С небольшого возвышения нам открылся, наконец, Петровский завод с казармами и огромное, длинное строение с красной крышей и многими белыми трубами. Здание походило на конюшню для жеребцов и было нашею Prison d'Etât *. У ворот здания мы сошлись с первою партиею под начальством Лепарского.

Ворота тяжело скрипели на петлях, когда один из наших товарищей, держа лист иностранной газеты, громко объявил нам, что во Франции — революция, что Карл X бежал в Англию, а мы, как бы сговорившись, толпой двинулись в нашу темницу с песнею la marseillaise.

Каждый искал себе удобного номера и хорошего соседа по вкусу и наклонностям. Я вошел в № 12 и решился там основаться. Луч света едва прокрадывался из

---

* Государственной тюрьмой *(фр.)*.

окна в коридор против моей кельи. Жилище мое — совершенный чулан, ни кровати, ни стула, ни стола. Недолго думая, я собрал свой скарб, сложил в углу и по-солдатски лег спать с мыслию, что утро вечера мудренее и оно, может быть, научит меня, как лучше устроиться здесь еще на 5 лет. Какая перспектива!..

А. Г. Муравьева нашла свой домик готовым и ночевала уже в нем; Трубецкая, Нарышкина, Волконская, Давыдова и проч. также понастроили себе хорошеньких домиков, и опять образовалась европейская колония. Между сосланными не нашей категории нашлись мастеровые разного рода и за хорошую плату скоро снабдили нас всем необходимым. Помню, из них много было дворовых людей аракчеевских, <сосланных> за убийство его любовницы.

Эти люди рассказывали нам такие ужасы про своего прежнего господина, что сердце, бывало, содрогается.

На другой день мы осмотрелись,— и вот описание нашего острога: он был построен четырехугольником по 1/4 версты в каждом фасе и внутри был разделен на четыре отдела высоким частоколом с воротами, так что мы могли внутри сообщаться. Одно из сих отделений предназначалось для женатых, <но жены>, однако ж, как я сказал, не жили в остроге, имея свои дома, но приходили на целые дни, чтоб проводить их с мужьями, и зачастую приглашали кого-либо из нас к своим обедам.

Прислугу не впускали в ограду нашей тюрьмы, и дамы наши с помощью нас сами приносили все нужное для трапезы, а мы им помогали. Кельи их были убраны коврами, картинами и роялями, на которых часто раздавались звуки Россини или романсы Бланжини и потрясали длинные, мрачные коридоры наши. Говорят, что когда в Петербурге в высшем обществе узнали, что мы живем в темных тюрьмах, то общее мнение громко обвиняло правительство за бесчеловечное с нами обращение, и будто бы государь, уведомленный об этом Бенкендорфом, тотчас же разрешил прорубить для нас окна, что вскоре в самом деле и было сделано. Но как? Окна, по повелению из Петербурга и по тамошним планам, были сделаны узкие и под самым почти потолком, а решетки все же много отнимали света, особенно у людей, занимающихся рисованием. Помню, что Бестужев срисовал во многих экземплярах наше печальное жилище, и ри-

сунки его рассеялись по всей России и даже попали к императрице, которая просила чрез 3-е отделение доставить ей виды жилищ наших дам и вклеила их в свой альбом.

Однообразно текло время нашего заключения, и приближался срок для некоторых, окончивших его. Я был в числе тех, которые из первых оставили Петровский завод. В самый день конца каторги нашего разряда курьер привез повеление к тайному советнику Лавинскому отправить нас в Иркутск и оттуда на поселенье по распоряжению губернатора Цейдлера. Нам дали две недели сроку на отдых и сборы. Признаюсь, что радость наша была велика и совершенно неожиданна, так как мы ожидали нашего поселения только через год и не знали, что наш срок сокращен по случаю рождения в<ел>. к<н>. Михаила Николаевича. Я был в тот день с визитом у товарища своего Лунина и там узнал об ожидающей меня перемене.

За несколько времени перед сим маленькое общество наше было поражено смертью общей нашей благодетельницы А. Г. Муравьевой. Она была первой жертвой, выхваченной неумолимым роком из среды нас... Нежная женщина эта, с восприимчивым характером, во все продолжение и исполнение своего супружеского долга постоянно тревожилась за мужа, за брата его и за детей своих, оставленных в России, и даже за всех нас. Не вынесло слабое тело, и, несмотря на попечение Вольфа, после 20 дней страдания сильная волею Муравьева скончалась.

Чувствуя приближение смерти своей, она просила священника, и когда тот немного громко стал говорить с ней, она просила его говорить тише, чтоб не разбудить малютки, которую она не в силах была уже приласкать...

В последние минуты она просила Трубецкую написать свое желание быть похороненной подле отца в фамильном склепе и твердою рукою подписала свое завещание...

Через несколько минут, держа руки мужа и брата его в своих хладеющих руках, она закрыла глаза со словами: «Боже, как там хорошо!» — и оставила нас навеки...

Кончина добродетельной женщины этой сильно нас всех поразила, и в эту печальную ночь никто из нас не

сомкнул глаз, мы бродили из угла в угол, как отуманенные...

Бестужев, золотой человек, занялся устройством гроба, обил его белой тафтой и по желанию мужа, в надежде, что позволят перевезти прах его жены в Россию, даже отправился с позволения коменданта на завод и там своими руками отлил свинцовый гроб.

Между тем плац-адъютант разбудил каторжных простого звания и пригласил заняться оттаиванием земли (в Сибири в ноябре это уже необходимо) и устройством могилы, обещая им хорошую плату. Рабочие единогласно вскричали: «Не возьмем ничего, это была мать наша, она нас кормила, одевала... а теперь мы осиротели. Идем без платы!» Комендант позволил нам ходить по очереди на панихиды, и когда я пришел на последнее отпевание, то помню, что муж ее и брат стояли в головах и первый до того убит был горем, что поседел в эти дни страшно. А<лександра> Г<ригорьевна>лежала в гробу с тою же ангельскою улыбкою, которою встречала нас ежедневно. Дамы наши в черном (впрочем, они других платьев и не носили) окружали гроб покойной своей достойной подруги. На руках наших понесли мы останки на Петровское кладбище, за две версты от острога. Когда печальная процессия поравнялась с домом Лепарского, он вышел и искренно отдал земной поклон усопшей, общей благодетельнице. У могилы деревянный гроб поставили в свинцовый, опустили в замерзшую землю... Предсмертного желания ее не исполнили... Из Петербурга отказано — и прах добродетельной женщины покоится и доднесь в снегах Сибири.

Скоро Бестужев же сделал сначала модель, а потом поставил памятник из камня, который и доныне стоит на Петровском заводе. Под сим же памятником похоронены и двое детей ее. Никита Муравьев скончался на поселении, в деревушке Иркутской губернии и таким образом проведя всю жизнь свою с женою, разрознен с нею только по смерти... Да и то телесно. Души их, вероятно, витают в селениях горних. При нем в последнее время оставалась одна дочь, которую мать называла Нонушкой (Nono). Бедную сиротку взяли к себе родные в Петербург, и правительство определило <ее> в Екатерининский институт под именем Никитиной. Она теперь замужем за Бибиковым и проживает в Петербурге...

Глава XIV

Отправление на поселение.— Распределение мест.— Мертвый Култук.— Расставание с Нарышкиными.— Новые хозяева.— Мой личарда Карл.— Мрачные мысли.— Разговор о варнаках.— Внезапная радость — письмо Е. П. Нарышкиной.— Отъезд в Иркутск

Когда наступил день нашего отправления на поселение, мы пошли проститься с Лепарским, который был чрезвычайно растроган и, прощаясь с нами, отчаивался когда-либо с нами увидеться и много извинялся, что не мог более облегчить нашей судьбы. Добрый старик! В нескольких санях отъезжали мы от стен нашего заточения, провожаемые остающимися товарищами. Невыразимая тоска сосала мою душу.

На первом ночлеге, перед отправлением нашим в далекий путь, утром я вышел из дому, который мы занимали, и увидел толпу крестьян в праздничной одежде. Я подошел к толпе, и мужички поздравили меня с каким-то праздником и с счастливым окончанием моей каторги, а также осведомились: «Скоро ли проедут Трубичиха и Нарынзиха?» — коверкая имена Трубецкой и Нарышкиной. В этой-то толпе здоровых лиц с окладистыми бородами меня поразило длинное худое лицо человека в нанковом сюртучке. Я подошел к нему с вопросом, кто он такой, и, к удивлению своему, получил ответ на чистом французском языке:

— Je suis français, monsieur!

— Votre nom?

— Champagne de Normandie, monsieur. L'empereur Paul m'a envoyé ici, il y a 40 ans. Soyez bon, monsieur, donnez moi quelques sous! *

С помощью товарищей своих я собрал небольшую сумму и вручил ее несчастному иностранцу. Но помощь моя не пошла впрок, потому что крестьяне мне тогда же объявили, что он ее пропьет, а при нашем отправлении я в самом деле увидел уже того господина с заложенными в пальто руками, бежавшего куда-то и на вопрос мой: «Comment ça va, m-r Champagne?» отвечавшего мне: «Tout doucement, monsieur, je m'en au кабачок!» — Adieu, m-r Champagne de Normandie! **

---

* —Я француз, сударь.— Ваше имя? — Шампань де Норманди, сударь.— Император Павел сослал меня сюда 40 лет тому назад. Будьте добры, сударь, дайте мне несколько су! *(фр.)*

** «Как дела, г-н Шампань?»... «Ничего себе, сударь, я иду в кабачок!» — Прощайте, г-н Шампань де Норманди! *(фр.)*

Несчастный человек, оставлен на произвол судьбы!

Скоро мы проскакали расстояние, отделяющее нас от Иркутска, переехали окованный льдом Байкал, миновали заставу и очутились уже не в остроге, а в теплой квартире, для нас приготовленной. Городничий объявил нам, что скоро нас посетит генерал-губернатор Лавинский, а мы в ожидании его привели немного в порядок нашу наружность и стали походить немного на джентльменов. Г. Лавинский, которого я тут первый раз увидел, был мужчина видный, большого роста, с открытой физиономией, внушающей доверие.

— Господа,— сказал он нам после первого с нами знакомства,— я должен был бросить жребий между вами, чтоб назначить, кому где жить. Ежели б правительство предоставило мне это распоряжение, я, конечно, поместил бы вас по городам и местечкам, но повелением из Петербурга мне указывают места. Там совсем не знают Сибири и довольствуются тем, что раскидывают карту, отыщут точку, при которой написано «заштатный город», и думают, что это в самом деле город, а он вовсе и не существует. Пустошь и снега. Кроме этого, мне запрещено селить вас вместе, даже двоих, и братья должны быть разрознены. Где же набрать в Сибири так много удобных мест для поселения? Кто из вас, господа, Лорер?

Я выступил вперед.

— Вам досталось по жребию нехорошее местечко — Мертвый Култук, за Байкалом. Там живут одни тунгусы и самоеды, и ежели вы найдете там рубленую избу, то можете считать себя счастливым. Впрочем, в утешение ваше, скажу, ежели вы любитель природы, что местоположение там очаровательное и самое романтическое.

— Ваше превосходительство,— отвечал я, устрашенный ожидавшей меня участью,— красоты природы могут занимать и утешать свободного путешественника — туриста, но мне приходится кончать там свой век безвыездно.

Лавинский уверил меня, что уже писал в Петербург и просил разрешения поместить меня в другом месте, а покуда советовал мне не хмуриться, не отчаиваться и ехать. Так как иначе нельзя было сделать, то мы и покорились нашей участи и только просили генерал-губернатора остаться подолее в городе и осмотреть его достопримечательности, на что он и согласился.

Нигде не случалось мне слышать такого чистого звона колоколов, как в Иркутске, и я думаю, что это оттого, что воздух при 39 градусах мороза был очень чист и твердь небесная яркого голубого цвета. Мы побывали в церквах и позапаслись необходимыми вещами.

Скоро настало время расставанья с товарищами ссылки. В особенности жалко было двух братьев Беляевых, которые росли, служили вместе и, никогда не расставаясь друг с другом, были связаны теснейшей дружбой. Где, бывало, встретитесь вы с Александром, там наверное увидите и Петра. Эти братья-друзья должны были расстаться: одного ссылали за 1000 верст в одну сторону, другого — за 600 в другую... Я провожал их до заставы, где братья, обнявшись, может быть, в последний раз в сем мире, повалились каждый отдельно в сани и были увезены неумолимыми казаками...

На другой день я был у гражданского губернатора Цейдлера с просьбою не отправлять меня в Мертвый Култук до приезда Нарышкина с супругой, которых ожидали. Мне позволили это, и я остался один-одинешенек. От скуки я бродил по городу без цели, ходил смотреть Ангару, которая очень быстра, но так чиста, что на дне можно было видеть каждый камушек. Однажды наткнулся я на старика в нагольном тулупе, предлагавшего мне купить нюхательного табаку. Я зазвал его к себе на квартиру и, делая приобретение, спросил его:

— Не отставной ли ты солдат?

— Нет, батюшка, я не солдат, я граф Каховский, игрывал часто с матушкой Екатериной в ломбер и по милости светлейшего Потемкина сюда сослан давненько. И вот шатаюсь с табачком для своего прокормления...

Впоследствии я узнал, что все рассказанное мне стариком была правда, но что он изредка заговаривается, и вот причина, по которой его не возвратили в Россию ни по одному всемилостивейшему манифесту, которых было довольно с тех пор!

Наконец, приехали Нарышкины и усладили несколько мое одиночество, хотя ненадолго, ибо им лежал другой путь, нежели мне. Им назначен для поселения Селенгинск, в 1000 верстах от меня. Лавинский сделал им визит, ибо был знаком с П<етром> Петровичем Коновницыным в 1812 году, когда сам Лавинский исправлял должность виленского губернатора.

Наступил и мой день отправления. По совету губернатора я сделал необходимые закупки и обзавелся чаем, сахаром, мукой, свечьми, горшками, топором, веревками, так что обзаведение мое стало мне более 200 рублей ассигнациями. Друзья мои Нарышкины снабдили меня даже предметами роскоши, и я помню, что мне подарили пару серебряных подсвечников и даже коробочку курительных свечей, не забыли снабдить меня и книгами...

Бродивши по городу, я опять сделал счастливую встречу. В одной из лавок ко мне подошел человек, по выговору должен быть немец, и, узнав, что я собираюсь в дорогу, предложил наняться ко мне в услужение. Я узнал, что он был рижский уроженец, кистер по ремеслу и, быв давно сослан на поселение за какое-то пустяшное дело, остался навсегда в Сибири. Обрадовавшись этой находке, я просил у Лавинского позволения взять его к себе, на что губернатор мне отвечал, что хотя нам всем запрещено иметь при себе прислугу, но что он для меня делает исключение и позволяет держать немца при себе в виде дворника и велит выдать ему билет. Мы условились с немцем, и я пошел проститься с моими друзьями Нарышкиными, может быть навечно. Елизавета Петровна благословила меня образком, который надела мне на шею... В слезах расцеловал я их, уселся в сани с молодым казаком, который должен был доставить меня до Мертвого Култука, взгромоздил моего немца с моими вещами на другие сани и поскакал в дикий, пустынный край.

Мой провожатый казак был добрый малый и очень разговорчивый. На первых же порах он высказал мне, что очень радуется, что ему удалось делать этот путь зимою, потому что летом дорога делается невыносимою, или, лучше сказать, невозможною; что будто бы часто случается, что медведи ложатся поперек дороги. Говорил он мне, что даже однажды подобные незваные-непрошеные гости заставили кяхтинскую почту вернуться в Иркутск, и проч. басни.

— Бывал ли ты в Култуке? — спросил я.

— Нет, я не бывал, а товарищи бывали и рассказывали, что там одна только рубленая избенка — зверолова-промышленника; не знаю, есть ли теперь, а прежде была...

Скоро проехали мы бедную деревушку, где переменили лошадей, и мой казак сказал мне, что и она кому-то назначена на жительство из наших. «Ведь есть же счастливцы, которым достаются подобные места»,— подумал я, представляя себе страшный свой Култук. Места, по которым мы проезжали, представляли почти всюду сплошной, вековой лес, с узенькой тропинкой, едва приметной... На одном совершенно неожиданном повороте я увидел беленький домик, обнесенный обвалившимся частоколом, с выбитыми рамами и стеклами, явно европейской конструкции, и узнал, что тут поселен был когда-то какой-то ссыльный, но что в одну ночь его схватили и увезли, а с тех пор домик разваливается без присмотра...

Все тем же лесом стали мы подыматься в гору; мороз был страшный, и я побаивался за моего нового слугу немца. На рассвете на одном из перевалов я увидел впереди высокий хребет гор и узнал, что горы эти называются Хамар-Дабан и составляют границу нашу с Китаем. Мы стали спускаться, лес редел. Вправо блестел замерзший Байкал, и в ногах наших далеко внизу открылся Мертвый Култук, т. е. с десяток шалашей, служащих жилищем тунгусам, самоедам и поселенцам. С шумом подъехали мы к единственной избе Мертвого Култука, и хозяин ее вышел нам навстречу на крылечко. Добрый старик, заложив руки за пояс, смотрел с удивлением на новопришельцев. Поздоровавшись с ним, я просил у него позволения нанять у него помещение.

— Изволь, барин, могу уступить тебе половину. В другой я сам мещусь с своею старухою.

— Что возьмешь в месяц?

— 5 рублев.

Я так прозяб, что рад был такой добросовестной цене. Сговорились, и я вошел в теплую избушку, благодаря судьбу, что не проведу ни одной ночи под открытым небом или, что еще хуже, в грязной юрте. Комнатка, мне отведенная, была очень чистенькая, хотя чрезвычайно мала. Столик покрыт чистым полотенцем, кругом красные лавки, в углу образа; окна маленькие, и вместо стекла слюда и пузырь, как и во всем почти здешнем крае, потому что хрупкое стекло не выдерживает 40 градусов морозу. Когда мой скарб был внесен, то комнатка так загромоздилась, что в ней повернуться трудно было.

Я начал раскладываться, устраиваться; на столике появились серебряные подсвечники со свечами, чернильница, бумаги, книги. Походный самовар скоро закипел, нарубили сахару, и мы с хозяином моим, казаком и немцем отогрели несколько наши кости. Я завернулся в свою шинель и предался мечтам... Итак, придется мне доживать весь мой век в этом медвежьем уголке, одному, отделенному 7 тыс. верст от родины, друзей, знакомых. Я отчаивался, а мой личарда Карл возился с моими пожитками и приводил их в порядок. «Ведь и он отделен от своей семьи, родины, а вот не унывает»,— подумал я и тотчас же спросил его:

— Скажи мне, пожалуйста, любезный Карл, отчего ты работаешь, а я лежу, тогда как мы равны,— и ты и я оба сосланы?

— Ja, Herr, ich weiss nicht.

— А я тебе скажу немецкую пословицу: «Ich habe das Geld, und du hast den Beutel» * — вот отчего, я думаю.

Карл смеялся моей пословице и, вероятно, соглашался с ней, думая: «Да, будь у меня деньги, а у тебя кошелек, то мы переменились бы ролями, и г. бывший майор чистил бы мне сапоги и наставлял самовар, а я бы лежал...» Усталость скоро взяла свое, и мы все очень крепко уснули.

Наутро мрачные мысли стали снова мною овладевать, несмотря на то, что я, сравнивая себя с Робинзоном Крузо, находил себя счастливее его, потому что, по крайней мере, имел при себе немца, живое существо, с которым мог делить время, тогда как обитатель пустынного острова должен был довольствоваться одной козой. Утром я выполз из моего уголка и с крыльца хотел дать себе отчет о той точке земли, куда меня забросила судьба моя.

Култук окружен горами и скалами. Колоссальный Хамар-Дабан угрюмо высится над высотами, у подножия которых, на берегу Байкала, приютился скромный уголок наш. Ни в каком календаре, ни на одной карте Азии, ни в Annales de voyages ** вы не ищите Мертвого Култука: это брошенный, забытый кусок земли. Одни тунгусы, бог знает как, его обрели и за то, бог знает как, в нем прозябают без хлеба...

---

* Да, сударь, не знаю. <...> «У меня деньги, а у тебя кошелек» (*нем.*).

** Записки путешествий (*фр.*).

Не знаю отчего, но, может быть, от угара, у меня сильно разболелась голова, и я весь был в жару. Возвратившись на свою скамью, я вскоре обрадован был приходом моего словоохотливого хозяина, который присел ко мне, видимо желая со мной побеседовать.

— Что скажешь, старик,— начал я.

— Да что, барин,— старуха моя сильно по тебе сокрушается, жалеет тебя, говорит, такой, мол, ласковый, добрый барин; за какие вины могли его сослать сюда? Мы живем здесь 44 года, император Павел был строгий царь, многих сослал в Сибирь, а в Култук ни одного не сослал. Старуха моя верить не хочет, чтобы ты был какой-нибудь важный преступник. Ну, да не в этом дело, старуха моя заботится о тебе, как ты проведешь здесь лето один-то? Ведь мы уходим в леса по соболей и завсегда оставляем избу свою пустою, разве для варнаков (так в Сибири называют каторжников) оставим муки, хлебушка, а они весною, как хищные звери, идут толпами с Яблонового хребта, жгут деревни, грабят и убивают людей. Правительство высылает против них бурят и платит за каждую голову по 10 рублей ассигнациями, да всех не изведешь. Ну, как же ты останешься здесь один с своим немцем? Ведь они тебя убьют, когда узнают, что ты богат!

— Зачем же вы оставляете этим разбойникам хлеб в ваших домах?

— А для того, чтоб их умилостивить, и за то они не жгут наших домов, барин.

— Ну, в таком случае, любезный хозяин, и я пойду с тобой соболей ловить и тебе помогать; все же лучше, чем быть зарезанным, как баран.

— Мы думали об этом со старухой, только там тебе будет больно нехорошо, еще хуже, чем здесь. Там в болотах такая мошка, муха, овод. Мы люди привычные, а и то надеваем личину: без нее заедят. Так проходит лето и осень, а к зиме мы опять домой... Изба цела, и старуха опять ее вычистит, вымоет, выскоблит. Эти разбойники завсегда ее запакостят. За зиму, покуда я съезжу в Иркутск с мехами, заплачу подать царю, запасусь на зиму припасами, а избенка-то и готова. Так вот из году в год вот уж 40 лет живем мы здесь.

Этот простой рассказ показал мне во всей страшной наготе мою будущую жизнь. Ну как, в самом деле, я буду защищаться, когда у меня никакого оружия при себе

нет за исключением перочинного ножа? Да и возможно ли защищаться одному против толпы? Буряты, правда, ведут с шайками варнаков правильную войну, делают на них облавы и стрелами убивают многих, но у меня и этого нет. Я крепко занят был моею будущностью.

На другое утро казак мой должен был возвратиться в Иркутск, я дал ему письмо к Нарышкину и подарил 10 рублей в знак благодарности за труды его при мне. С отъездом его я остался еще более сиротою. Скоро я потерял аппетит: ни одна книга меня не занимала, и шепот и урчание кипящего самовара одно развлекало меня.

Так длилось трое суток. Однажды сидел я вечером пред своим маленьким столиком грустный, задумчивый, по обыкновению. На дворе было морозно, но тихо, и только изредка лаяли собаки моего хозяина, чуя зверя. На моих часах было 9, как вдруг слух мой был поражен звуком заливающегося колокольчика и криком ямщика, погонявшего лошадей. Хозяин мой вошел ко мне в комнату и сказал, что с горы катит кто-то. «Уж не заседатель ли едет удостовериться, тут ли я, чтоб донести начальству?» — подумал я. Но вот сани остановились у нашей избы; я слышу стук сабли, двери отворяются, и вбегает ко мне мой провожатый, молодой казак, недавно меня оставивший.

— Николай Иванович, собирайтесь, вот вам письмо, едем в Иркутск.

Что? Как? Я обезумел от радости, от неожиданности. Дрожащей рукой распечатал я записку, карандашом написанную; она была от Елизаветы Петровны Нарышкиной... Я сохранил ее, вот она:

«Cher N... venez au plus vite possible, nous allons vivre tranquillement a Kourghane (dans le gouvernement de Tobolsk), 4 mille verstes plus près de notre Patrie!» *.

Хотя была ночь, но я приказал сию минуту же укладываться и на радостях все мои припасы, посуду, утварь подарил своим хозяевам и сказал старухе, что, видно, бог услыхал ее молитвы и изводит меня из этого плена.

— Вот тебе остальные две восковые свечи,— прибавил я,— пусть они догорят у тебя пред образом во славу нашего спасителя.

---

* Дорогой Н... Приезжайте как можно скорее, мы будем спокойно жить в Кургане (в Тобольской губернии), на 4 тысячи верст ближе к нашему Отечеству!

Я заплатил хозяину за месяц вперед 5 рублей, обнял старуху и, простившись с этими добрыми людьми, в ту же ночь оставил Мертвый Култук. Дай бог, чтобы я был последним, сосланным в него!

Во всю дорогу я недоумевал, кто был моим избавителем и ходатаем? Кто устроил так, <чтоб> соединить меня с лучшими моими друзьями, Нарышкиными? Я этого не знал тогда, но во всю дорогу молил бога о здравии моего незнакомого благодетеля.

Глава XV

Встреча с Нарышкиными.— Моя племянница А. О. Россет.— Вечер у Лавинского.— Отъезд в Курган.— Мученик Краснокутский.— Тобольск.— Наш товарищ — губернатор А. Н. Муравьев.— Отъезд в Курган.— Наш кружок.— Бригген.— История Воронецкого.— Поляк Савицкий.— Жизнь в Кургане.— Приезд наследника.— Встреча с В. А. Жуковским

В 9 часов утра я обнимал уже своих друзей в теплой, комфортабельной комнате их и тут же узнал, кому обязан я своим счастием. Мать Е<лизаветы> П<етровны>, Анна Ивановна, писала из Петербурга, что племянница моя А. О. Россет, бывшая тогда любимой фрейлиной императрицы Александры Федоровны, решилась во время своего дежурства воспользоваться хорошим расположением духа императора и облегчить мою судьбу поселением меня вместе с Нарышкиным, с которым, как я говорил, мы были в родстве. Придворные куртизаны крепко боялись говорить о нас даже, но племянница моя, обладая прелестною наружностью, умом, бойкостью, пренебрегла придворным этикетом и добилась своего. Государь тут же спросил у Бенкендорфа, где я поселен, но граф, не зная места, замялся, и тогда государь сказал: «Все равно. Где поселен Нарышкин?» — «В Тобольской губернии, ваше величество».— «Так пошлите эстафету к Лавинскому с приказанием поселить дядю фрейлины Россет в том самом месте, где поселен Нарышкин». Этими короткими словами решилась моя судьба, я избавился Култука и смерти от разбойников-варнаков.

Я скоро отправился и повеселел. В одно утро Лавинский приехал к Нарышкиной звать ее на вечер и пригласил и меня. В назначенный час он прислал даже за нами карету. Помню, что было очень холодно, так, что я, взявшись за ручку каретной дверцы, так обжег себе пальцы,

что кожа осталась на замке. Генерал-губернаторский дом был ярко освещен, в залах толпились чиновники, и мы торжественно вступили в гостиную, где и представилась нам дочь хозяина дома, которая одна, без матери, проживавшей в Париже, разделяла скуку отца в Сибири и вела все хозяйство. Скоро началась музыка, пение, и Е. П. Нарышкина восхитила своим голосом все собрание, а мне живо напомнила счастливые года моей петербургской жизни. За ужином губернатор пил ее здоровье и пожелал нам всем счастливого пути. Обратясь ко мне, он прибавил: «Думали ли вы третьего дня сидеть в кругу ваших друзей и пить шампанское? Конечно, нет».

Через несколько дней мы оставили Иркутск и пустились в г. Курган Тобольской губернии <на> 4000 верст ближе к России. В Красноярске мы посетили нашего товарища по ссылке Краснокутского, который лежал там больной, без ног. Он был обер-прокурором сената и сослан на поселение в Сибирь. Он приходился племянником гр. В. П. Кочубея, который, несмотря на близкое родство свое с ним, не замолвил, однако ж, словечка за человека, которого все любили и уважали. Мы нашли нашего товарища уже несколько лет лежащего без ног на кровати. Ноги его походили на палки, и по ним можно было ходить. Грустно было смотреть на несчастного мученика. Мать его подавала просьбу государю, моля его простить полуживого человека, но милосердный царь отказал, сказав, что по Сибири только Краснокутский может ездить, куда хочет. Страдалец предпочел, конечно, остаться в Красноярске, где вскоре и скончался.

К стыду родного дяди этого несчастного, к стыду гордого Кочубея, скажу, что нашелся между посторонними людьми человек с лучшим сердцем, с светлою душой. В Красноярске служил городничим бедный молодой человек. Оценив Краснокутского и подружившись с ним, он вышел в отставку и посвятил все минуты своей жизни на заботы и попечения о своем друге. Этот добрый человек часто заменял ему даже прислугу, которая, по беспечности, оставляла иногда своего больного барина, и на его руках Краснокутский и умер. Очень жаль, что фамилия <его> неизвестна. Душевное спасибо и сердечная признательность тебе, благородный человек, от всех нас за мученика товарища.

В Тобольске мы нашли уже одного из наших товарищей, основателя тайного общества А. Н. Муравьева, но не в ссылке и не на поселении, а на очень видном месте губернатора. Конечно, подобная куриозная штука может случиться только в самодержавном государстве. Уголовный суд приговорил Муравьева в каторжную работу, не помню, на сколько лет; царь своею неограниченною волею отправил его на жительство в Якутск и не снял с него ни чина полковника, ни орденов.

Вскоре Муравьева назначили полицеймейстером в Иркутск и, наконец, губернатором в Тобольск. Но тут он не поладил с генерал-губернатором Вельяминовым и был переведен в Архангельск. Мы радовались в душе, что достойный Муравьев счастливым случаем избавился каторги, хотя в нравственном смысле ему было бы более чести, ежели б он искупил свое заблужение,— ежели это было заблужение,— одинаковым с товарищами наказанием. Он не должен был принимать никакой милости, никакого облегчения! Вот что говорит Шнитцлер про него в своей книге: «Le colonel Alexandre Mouravieff en considèration de la sincérité de son rèpentir, devait être simplement deporté on ne dit pas pour combien d'années en Sibérie sans être degradé ni privé de la noblesse»*.

После Архангельска Муравьев назначен был председателем губернского правления в Симферополь, и когда государь Николай Павлович был там, то, при представлении чиновников, спросил у губернатора про Муравьева, как он служит. Такая унизительная оценка одна уже достаточна была, чтоб променять свою судьбу на каторгу! На другой день мы явились к генерал-губернатору Вельяминову, который принял нас очень любезно, объявив нам, что мы поселены будем в городе Кургане, что место это — Италия Сибири, что там зреет виноград и цветут вишни и проч. Вельяминов был добрый старик, занимался много литературой, читал много, был в переписке с Гумбольдтом, но дурно управлял огромным краем, ему вверенным. Впоследствии, как я сказал, он не ужился с Муравьевым, их обоих перевели в Россию—Вельяминова в Военный совет, а Муравьева в Архангельск.

Наконец мы отправились в наше постоянное жилище, Курган.

---

* Полковник Александр Муравьев в уважение к его откровенности и раскаянию должен был просто быть сослан в Сибирь без указания, на сколько лет, не лишаясь чинов и дворянства.

Курган — хорошенький, небольшой уездный городок, с каменною церковью и 3 тыс. жителей, на левом, несколько возвышенном берегу р. Тобола. Кругом плоская равнина, напоминающая мне мою родину Украину, но не Италию, как простодушно сказал нам Вельяминов. Курган известен был тем, что в нем жил сосланный Павлом Коцебу. Говорят, что сей последний любил прохаживаться по берегу р. Тобола, не знаю, имел ли он тогда при себе «Уединение» Циммермана. Я нашел еще целым его дом и отыскал старика, его современника, посылавшего Коцебу свежее масло, до которого, как говорят, он был большой охотник.

Добрый Розен, также наш товарищ, присланный сюда годом раньше, встретил нас, как родных, в своем собственном доме, который ему обошелся в 4 1/2 тыс. рублей. Нарышкины покамест поместились в спокойной и удобной квартире, которую намерены вместе с садом и пустопорожним местом приобрести покупкою, а я нанял невдалеке от них две горенки. Хозяйка моя — сварливая, толстая купчиха, вдова подмастерья часового мастера. В Сибири, как и в Германии, все заботы домашнего хозяйства лежат на женском поле, и моя хозяйка постоянно управлялась у себя и у меня одна.

Скоро стали прибывать к нам и другие наши товарищи, и образовался свой кружок. Чиновный же люд Кургана нас чуждался, и мы знались с одним нашим непосредственным начальником — городничим, который оказался, к счастию, прекрасным человеком, облегчавшим, по возможности, наше исключительное положение. Чрез него шла вся наша переписка с образованным миром, но не миновала, однако, рук 3-го отделения и сибирского генерал-губернатора. Несмотря на это, мы стали, однако, дышать свободнее, могли уже ходить и ездить куда нам вздумается, не более, однако, 25 верст от Кургана, и должны были постоянно ночевать у себя дома. Но и этого было для нас довольно после 12-летнего тягостного затворничества.

В это время я был в переписке с хорошим приятелем моим А. Ф. Бриггеном, поселенным в Пелыме, и постоянно уговаривал его проситься к нам в Курган, что наконец Бриггену после двухлетнего жительства в Пелыме и удалось. Мы чрезвычайно рады были его приезду, приобретя в нем нового любезного, умного товарища и собеседника. Бригген служил прежде в Измайловском полку

полковником и, женившись на Миклашевской, сестре известного кавказского героя, убитого там, вышел в отставку и жил в деревне своего свекра в Черниговской губернии. В уединении Бригген занимался переводом с латинского жизни Юлия Кесаря, который и посвятил другу своему В. А. Жуковскому.

Странно непонятна месть императора Николая всем тем, которых он знал лично и коротко. Не приговором суда, а личным его указанием все лица, ему хорошо известные и, как нарочно, менее других виновные, как-то: Бригген, Норов, Назимов, Нарышкин — были строже наказаны, чем другие.

Арестование Бриггена в 1825 году особенно замечательно. Проживая в своей деревне, как я сказал, Бригген собирался в конце <18>25 года за границу, получил уже паспорт и послал к банкиру кредитов в 15 тысяч рублей. Карета была приготовлена к дороге, вещи уложены. Отслужили молебен, и Бригген выехал из родного дома. В 20 верстах от дома у него ломается экипаж, и Бригген возвращается домой. Через сутки опять все было исправлено, и Бригген с женою и детьми снова прощается с остающимися родными. Вдруг влетает на двор исправник с фельдъегерем, хватают Бриггена и везут в Петропавловскую крепость! Несколько дней раньше бы собраться ему или не ломайся его экипаж — и Бригген избежал бы своего заточения.

Во время коронации 1856 года Бриггена простили по высочайшему манифесту, а жена и сын, уже офицер, и прочие родные ждали его в том же самом доме, той же деревне, откуда он 30 лет тому назад был так неожиданно исторгнут. Все ждали его с лихорадочным нетерпением и думали встретить больного, дряхлого старика, как вдруг вошел бодрый, веселый человек с румянцем во всю щеку с словами: «Господа, позвольте узнать, кто из вас моя жена: я — Бригген». Старушка и сын его бросились к нему на шею, а Бригген, обнимая свою бывшую подругу, бывшую спутницу жизни, в шутку предлагал ей перевенчаться снова. Любя людей и общество, которых так долго был лишен в ссылке, и, кроме того, желая раньше узнать, что делается на белом свете, и быть ближе к источнику всех новостей, Бригген поселился у родной сестры своей в Петергофе. Я получил от него несколько писем, в которых он благословляет свою настоящую жизнь, и в письмах этих виден весь ум его, вся

незлолюбивая душа его... К сожалению, к душевному прискорбию, он не долго наслаждался своим мирным приютом и скончался от холеры.

Скоро после нашего водворения в Кургане были присланы туда же несколько поляков, большая часть из дворян и помещиков. Мы с ними познакомились и сошлись. В числе их был князь Воронецкий, 70-летний старик, бедняк, достойный жалости. Е. П. Нарышкина, чтоб хоть несколько облегчить жизнь этого бедняка, пригласила старика раз навсегда разделять с ними свою трапезу, а Воронецкий вызвался в знак благодарности ходить ежедневно на базар для закупок к их общему столу. Он сам рассказывал нам, что, служа в последнюю польскую кампанию, в одном сражении он был ранен и в суматохе оставлен на поле битвы. На него наскакал какой-то офицер и стал его рубить. Воронецкий, обессиленный своими ранами, умолял своего мучителя взять его в плен, но молодой герой не внимал голосу раненого. Тогда Воронецкий пистолетным выстрелом убил своего жестокого врага. Через несколько времени Воронецкого, еще живого, взяли в плен и принесли к г. Роту. Когда сей последний узнал, что Воронецкий убил русского офицера, который оказался племянником генерала, то пришел в такую ярость, что приказал повесить пленника, лежавшего в беспамятстве в крови у крыльца генерала под единственным деревом — грушею. Бедного Воронецкого привели кое-как в чувство, приподняли, поддерживали, уже сняли платок с шеи, наложили роковую петлю, как прискакал какой-то ординарец и подал Роту какую-то бумагу. Казнь была отменена, и генерал приказал позвать фельдшера и перевязать раны пленного. Непонятной казалась тогда всем приближенным генерала такая быстрая перемена в жестоком генерале. После дело разъяснилось. В бумаге, которую Рот получил, говорилось, что до государя доходят слухи, что будто бы главные военачальники жестоко обходятся с пленными, расстреливают их, вешают и проч., и впредь подобные самоуправства строго воспрещаются. Приказано всех пленных отсылать в депо, откуда их отправлять в дальнейший путь. Так судьба спасла от смерти старика Воронецкого. Еще несколько минут — и его бы не стало.

Между поляками, товарищами изгнания, был еще один замечательный человек — помещик Савицкий, бывший адвокат. Постоянно грустный, задумчивый, хо-

дил он ежедневно в один и тот же час по одному и тому же направлению за город по большой дороге, которая вела в Россию, в милую Польшу его, где он оставил жену и девятерых детей... Однажды, не зная его затаенной мысли, я посоветовал ему избрать противоположный путь, как более живописный и удобный, и старик мне признался, зачем именно избрал первую дорогу, прибавив: «Всякий раз, что я гуляю по этой дороге, меня утешает мысль, что я двумя верстами ближе к своим... Мне кажется, что они бегут ко мне навстречу, и мы сейчас обнимем друг друга...».

Савицкий судим был в Гродне судом, коего председатель был губернатор Михаил Муравьев. Савицкий рассказывал, что часто Муравьев забывался до того, что бил подсудимых помещиков чубуком и употреблял разные истязания. Преступление Савицкого состояло в следующем. В одну бурную ночь к нему постучал неизвестный человек и просил ночлега. Когда Савицкий узнал, что незнакомец — эмиссар польских мятежников, то, не желая впутываться в дела, просил незнакомца оставить свой дом и указал ему даже дорогу; но, конечно, не донес на своего соотечественника. Этого было довольно для Муравьева. Он узнал о невинных сношениях Савицкого, арестовал его, судил, уж бог знает как, сослал на жительство в Сибирь...

Был еще один поляк, служивший в войсках Наполеона в Испании и бывший при осаде Сарагоссы под начальством знаменитого Хлопицкого.

Наступил <18>37 год, пятый, что мы живем мирно на поселении. Семейство Нарышкиных было истинными благодетелями целого края. Оба они, и муж и жена, помогали бедным, лечили и давали больным лекарства на свои деньги, и зачастую, несмотря ни на какую погоду, Нарышкин брал с собою священника и ездил по деревням подавать последнее христианское утешение умирающим. Двор их по воскресеньям был обыкновенно полон народа, которому раздавали пищу, одежду и деньги. Многие из поселенцев до них не ведали Евангелия, и Михаил Михайлович часто читал им слово божие и толковал то, что могло казаться им непонятным. Часто облагодетельствованные Нарышкиными в простоте своей говорили: «За что такие славные люди сосланы в Сибирь? Ведь они святые, и таких мы еще не видали...»

Пребывание наше в Кургане имело на край отчасти

й моральную пользу, ибо сибирские чиновники, хваставшие до нас своим лихоимством и умением побольше содрать с просителя, стали снисходительнее, осторожнее и пред нами, по крайней мере, уже об этом не говорили. Вскоре, как всем поселенцам, и нам отвели верстах в трех от города по 15 десятин в вечное потомственное владение, исправник вызвал нас на места, прочел указ и отрезал землю. Розен, большой агроном, очень радовался своему приобретению и, зная, что я не намерен заниматься земледелием, просил продать ему и мой участок, но я уступил ему его за 2 фунта чаю. Нарышкин выхлопотал себе пастбищное место, луга для лошадей, или, лучше сказать, для конного завода, который он намерен был развести, выписав для улучшения породы лошадей жеребцов и кобыл из России.

Не забуду никогда вечера сочельника, накануне рождества Христова. Все ссыльные и поляки были приглашены к Нарышкиным. Был ужин персон на 20. После ужина Нарышкина села к роялю, и восхитительные звуки национальных польских песен и гимнов полились по зале. Поляки были тронуты до слез, а бедный Савицкий более всех, так как один из последних оставил свое счастие в деревне с женой и детьми... Нарышкина перешла к веселым мотивам, заиграла мазурки, краковяки, и мало-помалу горесть этих патриотов дала место разгулу, и мы весело провели этот вечер и поздно разошлись по квартирам.

Для Сибири наступала важная эпоха: пронесся слух, что наследник русского престола предпринимает путешествие по России и намерен посетить Тобольскую губернию, край, где так много страждущего народа. Какие сладкие надежды возлагал каждый сосланный на этого царственного отрока! Многие чаяли облегчения в своих нуждах, в своих страданиях, лишениях. Многие надеялись получить прощение и увидать свою родину. Курганское начальство получило официальное известие, маршрут и предписание к встрече его высочества. Приказано было звонить во все колокола, ночью велено зажигать плошки, смоляные бочки. Городничие верхом должны были с рапортом встречать наследника у застав городов. Начальство курганское суетилось, а на всех лицах видна была забота и радость. Да и было отчего! Такого высокого путешественника со дня покорения Сибири еще в ней не видали.

Начальники наши, не понимая хорошо своей обязанности да и опасаясь за старые грешки, были в каком-то страхе. Исправник и заседатель разъезжали по уезду, боясь жалоб и прошений со стороны крестьян.

Накануне праздника троицына дня, в 11 часов вечера, возвестили народу о прибытии наследника. Толпы хлынули на большую дорогу. Люд поважнее, купцы, чиновники с женами теснились у ворот дома, отведенного для его высочества. Товарищ мой Фохт приготовил 500 плошек и осветил улицу, по которой должен был ехать именитый гость. Ночь была тихая и прекрасная. Наконец показались жандармы. Я и многие из моих товарищей, по их советам, при приближении экипажа наследника, считая присутствие наше в такую минуту у его дома неприличным, удалились к Нарышкиным, жившим насупротив дома, в котором остановился его высочество, а потому и не видали момента приезда и только по крикам единодушного «ура» узнали, что путешествие царского сына совершилось благополучно.

После нам говорили, что, войдя в комнаты, наследник справлялся у городничего, есть ли в городе сосланные по <18>25 году, и, получив утвердительный ответ, удивился, что ни одного из них не видел, на что городничий ему отвечал, что при встрече его высочества им велено было удалиться, чтоб не произвести на него дурного впечатления. Тогда наследник сказал: «Как можно?»

Василий Андреевич Жуковский обещал своему державному воспитаннику, когда он ляжет почивать, пойти наведать своих старых знакомых, но его высочество пожелал, чтоб он немедленно исполнил это, и Жуковский тотчас же прибежал к Нарышкиным. С каким неизъяснимым удовольствием встретили мы этого благородного, добрейшего человека! Он жал нам руки, мы обнимались. «Где Бригген?» — спросил Василий Андреевич и хотел бежать к нему, но мы не пустили и послали за Бриггеном. Когда он входил, Жуковский со словами: «Друг мой Бригген!» кинулся к нему на шею.

Целая ночь пролетела незаметно для нас. Жуковский смотрел на нас, как отец смотрит на своих детей. Он радовался, видя, что мы остались теми же людьми, какими были, что не упали духом и сохранили человеческое достоинство. Между прочим, он удивлялся Сибири, не предполагая ее никогда в таком цветущем состоянии и довольстве. Он сказал нам, что наследник еще в То-

больске справлялся у князя Горчакова, где он может видеть сосланных за 14 декабря, и, получив от генерал-губернатора сведение, что в Кургане нас поселено 7 человек, приказал подать себе список поименный. Еще один луч надежды озарил наши сердца.

Наступило утро, стали благовестить к обедне, Жуковский ушел будить наследника. Только что он ушел, как прибегает к нам опять объявить, что его высочество желает, чтобы и мы были в церкви. Мы не заставили себе повторить этого приказания и, исправив немного наши туалеты, отправились. Е<лизавета> Петровна для такого праздника сняла свое обычное черное платье и облеклась в светлое.

Тут, в храме божием, имели мы счастие в первый раз видеть нашего любезного наследника. Он стоял на ковре один, скромно и усердно молился. Ему едва минуло 18 лет, и он был прекрасен... Жуковский собрал нас в кучу и поставил поближе к наследнику. Вот надежда России, вот наша надежда! Мы искренно желали ему счастия, благополучия и благословения божия.

По окончании обедни наследник пристально посмотрел на нас, поклонился и вышел из церкви. Экипажи были готовы, он сел в коляску с генерал-адъютантом Кавелиным, перекрестился и уехал в дальний путь — в Россию.

Наследник далее Тобольска не ездил и не посетил другой половины Сибири и Иркутска. Александр I доезжал только до Екатеринбурга и хотел даже продолжать свой путь до Иркутска, но немцу Дибичу не захотелось, и он представил большие затруднения государю, которых не было, впрочем, и поездка не состоялась.

Два совершенно различных человека сопутствовали наследнику в качестве руководителей и наставников: Жуковский и Кавелин. Сравнению их посвящаю несколько строк. Бригген, о котором я уже несколько раз говорил, служил с Кавелиным в Измайловском полку, они были товарищами, друзьями, оба капитанами и ротными командирами, и Бригген принял даже роту от Кавелина, когда сей последний был назначен адъютантом к в<ел>. к<н>. Николаю Павловичу. При этом случае Кавелин сознался Бриггену, что в ротном ящике недостает 6 тыс. рублей, им промотанных, но Бригген внес свои собственные и дал товарищу квитанцию в принятии роты. К тому же надобно прибавить, что сам Кавелин принял

Бриггена в члены тайного общества. После таких дружеских, близких отношений так ли должны были встретиться старинные друзья, из которых один возвысился, а другой пал? Кавелин даже не спросил о Бриггене и когда узнал его в церкви, то только кивнул ему головой, на что, конечно, Бригген отвечал тем же. Какая разница с Жуковским! И этот достойнейший человек делит свои заботы о сердце наследника русского престола с бездушнейшим человеком! Не знаю, за какие заслуги Кавелин был сделан с.-петербургским губернатором. К счастью, он вскоре сошел с ума и умер.

В разговоре нашем с Жуковским Нарышкин сказал ему, что ни он сам, ни товарищи его не просят, да и не смеют просить для себя никакой милости, но ходатайствуют, ежели им это позволено, за изгнанника чужой земли 72-летнего князя Воронецкого, которого одно желание — умереть на родине, на Волыни. «Ежели возможно, Василий Андреевич, представьте это дело наследнику и сделайте еще одно добро, к которому вы всегда готовы», — прибавил Нарышкин. Жуковский пожелал видеть Воронецкого, я за ним сбегал, и Жуковский, выслушав всю историю бедного старика, обещал доложить наследнику. Воронецкий целовал колени доброго человека. Жуковский сдержал свое обещание: вскоре Воронецкому возвратили свободу, и он вернулся в Волынскую губернию.

Глава XVI

Назначение солдатом на Кавказ.— Курган приуныл.— Расставание.— Александр Одоевский.—Наш товарищ Семенов и Гумбольдт.—Встреча Одоевского с отцом.—Рассказ Норова о казанском исправнике.— Любопытный рассказ Платова

Проводив именитого гостя своего, Курган зажил попрежнему, и мы предались своим обычным занятиям. Я сторговал себе хорошенький небольшой домик, задумывал и о женитьбе, чтоб не кончить своего века одиноким бобылем, даже назначил день и созвал приятелей, чтоб отпраздновать новоселье, как однажды, после обеда, городничий наш Бурценкевич, навещавший меня обыкновенно довольно часто, но всегда пешком, подъезжает ко мне на дрожках, в мундире и с довольно озабоченным лицом:

— Скажу вам новость довольно неприятную, Николай Иванович, — начал он и замялся. — Вы назначены солдатом на Кавказ...

— Шутите?

— Ей-богу, нет!

— А прочие?

— Все, кроме Бриггена.

— Были вы у Нарышкиных?

— Был... Елизавета Петровна слегла в постель от этой новости.

Я крепко призадумался и сам, так казалась мне странна эта мысль. <18>12, <18>13, <18>14 год делал я офицером и молодым человеком, а теперь, после 12-летней жизни в Сибири, с расклеившимся здоровьем, я снова должен, навьючив на себя ранец, взять ружье и в 48 лет служить на Кавказе. Непостижимо играет нами судьба наша! Голова моя горела. Я ходил в раздумье по комнате и, волнуемый неожиданностью, спросил тогда же городничего:

— Если это новое наказание, то должны мне объявить мое преступление. Ежели же милость, то я могу от нее отказаться, что и намерен сделать.

Городничий мне сказал, что он ничего не знает, но что получил депешу, по которой нас требуют в Тобольск для отправки оттуда на Кавказ солдатом. Мы с городничим поехали к Нарышкиным и там застали уже Розена и все вместе разбирали и обдумывали будущую нашу судьбу. Нарышкин был спокойнее всех и даже радовался случаю, который давал ему возможность вывезти жену свою из Сибири и мог доставить ей свидание с ее матерью и братьями. Нечего делать, надобно было и нам перешагнуть и этот рубикон. Стали собираться в дорогу.

Городок Курган, узнав о нашем перемещении, заметно поприуныл, и крестьяне из соседних деревень приходили прощаться с нами, а городничий даже объявил, что, выпроводив нас, подаст в отставку и уедет в Россию. Бедные поляки ходили грустные по городу, предчувствуя, что без нас они осиротеют. Я возвратил свой дом тому же лицу, у коего его купил, с небольшою уступкою. Розен также продал свое жилище и деньги пожертвовал неимущим товарищам, поселенным в дальних краях Сибири. Дом Нарышкиных купили для уездного суда.

20 августа у Нарышкиных был напутственный молебен. Е<лизавета> Петровна, больная, сидела в креслах, прощалась с крестьянами, мещанами и дарила всякого, чем могла, на память о себе.

На другой день и отправились. Товарищами этого невольного путешествия были: Назимов, Лихарев, Фохт и Розен, после за нами, однако, последовавший. Крепко было жаль расставаться с Бригеном, но сам он не желал возвращаться в Россию на этих условиях и говорил, что желает лучше остаться посельщиком и гражданином, чем солдатом армии Николая Павловича! При выезде из Кургана на большой дороге растет прекрасный березовый лесок, там нас остановило почти все городское население <из>чиновников, купцов, угостило обедом и тостами с пожеланием счастливого пути, здоровья и проч. На первой станции мы еще раз тронуты были изъявлениями общего сочувствия. Все товарищи изгнания нашего, поляки, выехали заранее, чтобы проводить нас, и угостили нас ужином в первый и последний раз, ибо, конечно, мы с ними не увидимся в этом мире.

На трех тройках пустились мы в дальнейший путь. Курган в 200 верстах от Тобольска, но по дороге мы должны были проезжать г. Ялуторовск, в котором поселены наши товарищи Читы и Петровского завода: Тизенгаузен, <Иван> Иванович Пущин — лицеист и друг А. С. Пушкина, князь Оболенский, Матвей Муравьев-Апостол — родной брат Сергея казненного, Якушкин и Ентальцев с женою. Само собою разумеется, что они встретили нас, как родных, и простились, казалось, навсегда. Но в жизни нашей так много странного, невероятного, что и в этот раз опасения наши были напрасны. Чрез несколько лет я снова увидался с этими добрыми людьми, в Москве уже.

Рано утром приехали мы в Тобольск и остановились в гостинице, хозяин которой был еврей, сосланный за контрабанду. Боже мой, кого нет в Сибири! Генерал-губернатором был тогда к<н>. Горчаков, брат того, которому выпал несчастный жребий сдать Севастополь. Генерал принял нас холодно и приказал ожидать в Тобольске еще двух товарищей, также назначенных солдатами на Кавказ: к<н>. Александра Одоевского и Черкасова.

Мне приятно поместить здесь несколько строк в воспоминание этих прекрасных людей. Одоевский воспитывался с Грибоедовым и был его другом. Оба были поэты и сошлись одинаковыми вкусами, наклонностями и дарованием. Одоевский служил в конногвардейском полку и на 23-м году жизни был сослан со мною в Сибирь

в одной категории. Не ребячество, а любовь к отечеству и стремление на развалинах деспотизма, самого самодурного, самого пагубного для общества, построить благо России! Но время еще не настало, Русь наша была еще слишком далека от сознания необходимости реформы в верху и в основании. Молодое увлечение увлекло Одоевского, подобно многим другим молодым людям, а сколько прекрасных людей бесчеловечная Следственная комиссия наша погубила? А все оттого, что составляющие ее наперерыв друг перед другом хотели выслужиться пред новым царем или получить денежные награды. Говорят, что дело наше обошлось такими наградами правительству в несколько миллионов. Право, игра не стоила свеч!

В Варшаве также судимы были члены тайного общества. Однако по конституции они не подошли ни к смертной казни, ни к каторжной работе. Правда, что один из судей, генерал-адъютант Красинский, осмелился было выразить желание казнить смертью, но за то он чуть жизнию не поплатился во время польской революции в 1830 году, ибо народ хотел его самого повесить, и генерал спасен был заступничеством диктатора генерала Хлопицкого, подоспевшего, к счастию, на эту народную месть и вырвавшего жертву от разъяренной толпы.

Одоевский был поселен в Ишиме Тобольской губернии. Там он сошелся с одним поселенцем, поляком Янушкевичем, очень образованным человеком, много путешествовавшим, сдружился с ним, полюбил, и они были неразлучны. Этот ярый патриот во время польского восстания вернулся из Италии, но был уличен в противуправительственных мыслях и действиях и сослан в Ишим. Одоевский как поэт написал ему эти прекрасные стихи — «А. М. Янушкевичу, разделившему со мной ветку кипарисную с могилы Лауры».

В странах, где сочны лозы виноградные,
Где воздух, солнце, тень лесов
Дарят живые чувства и отрадные
И в девах дышит жизнь цветов,
Ты был... пронес <ты> пышный посох странника
Туда, где бьет Воклюзский ключ...
Где ж встретил я тебя, изгнанника?
В степях, в краю снегов и туч.
И что ж осталось в память солнца южного?
Одну лишь ветку ты хранил
С могилы Лоры... полный чувства дружного,
И ту со мною разделил...

Так будем же печалями заветными
Делиться здесь, в отчизне вьюг,
И крыльями, для мира незаметными,
Перелетать на чудный юг,
Туда, где дол цветет весною яркою
Под шепот Авиньонских струй,
И мысль твоя с Лаурой и Петраркою
Слилась, как нежный поцелуй.

С приездом Одоевского и Черкасова мы составили комплект новых солдатов и отправились вшестером в новый неизвестный нам край, из 40 градусов мороза — в 40 градусов жары. Но прежде чем приступить к новой эпохе моей жизни, я попрошу извинения у моих читателей в некоторых пропусках интересных событий и описаний личностей. Ведь писать свои воспоминания в последовательности на 70-м году от роду не совсем легко,— нисколько не ослабит сущности истины небольшое же отступление от рассказа.

В Тобольске проживал на поселении товарищ по делу нашему, Семенов. Он не был лишен ни чина надворного советника, ни Владимирского креста и до своего легкого наказания служил при Министерстве духовных дел, при А. Н. Голицыне, и был секретарем Северного общества. Однако его взяли. Казалось бы, положение его безвыходно и трудно будет ему оправдаться в строгой Следственной комиссии; однако Семенов — с твердым характером и, знавши хорошо наши законы и понимая вполне своих судей, не верил их предательским обещаниям помилования и на все вопросы и очные ставки отговаривался неведением и стоял на своем: знать не знаю, ведать не ведаю. Ему надели железные наручники, посадили на хлеб на воду — он все выдержал и сослан был только на жительство, в отдаленные города.

В Сибири он ходил в земскую канцелярию, получая по 10 рублей жалованья в месяц, едва достаточных для пропитания. Случилось, что знаменитый Гумбольдт путешествовал с научной целью по Уральским горам. Ему понадобился человек-старожил, владеющий французским или немецким языком, и он осведомился о таковом. Сибирское начальство, встречавшее Гумбольдта с подобострастием, глядевшее ему в глаза, кланявшееся ему только по предписаниям из Петербурга и уж, конечно, не из личной симпатии и уважения к знаменитому ученому, думало этим от него благополучно отделаться. Но Гумбольдту не этого хотелось. Узнав, что в городе про-

живает чиновник, знающий прекрасно языки французский и немецкий, хотя и сосланный по 14 декабрю, Гумбольдт просил начальство отпустить его с ним. Не смея отказать немецкому ученому в такой просьбе, начальство дозволило Семенову сопутствовать Гумбольдту, и они в карете отправились в ученую экспедицию по Уралу, к явной радости высших властей, крепко женируемых таким ученым лицом. Во время долгого собеседничества с Гумбольдтом Семенов сумел снискать снисхождение и дружбу его, рассказал ему все наше павшее дело и так расположил своего спутника в свою пользу, что Гумбольдт обещал Семенову по возвращении своем в Петербург хлопотать о его прощении и лично просить за него государя. Не знаю, исполнил ли Гумбольдт свое обещание, однако впоследствии Семенов перемещен был для лучшего надзора за ним в Тобольск, а начальство получило выговор за свое снисхождение. Гумбольдт уехал в Берлин, а Семенов в Тобольск, то есть из огня да в полымя. Во время нашего проезда в Тобольск Семенов занимал уже видное место, ибо был советником в губернском правлении, и часто высшее начальство прибегало к нему за полезными советами по гражданскому управлению. К сожалению, этот милый, полезный человек скончался от простуды в том же году, вскоре после нашего с ним свидания.

Мы ехали очень шибко, вскоре миновали Тюмень, переправились чрез Волгу и, приехав в Казань, остановились в гостинице, которая показалась ли только нам или в самом деле была столь хороша, что могла соперничать с такими домами и в самом Петербурге. В Казани многим из нас готовилось много сердечной радости. Так, к Нарышкину родная сестра его, княгиня Голицына, нарочно прискакала из Москвы. Радости, восторгов, умиления этих добрых родных не было конца, и я напрасно бы старался описывать это свидание. Чувствительные души поймут его.

70-летний князь Одоевский также приехал двумя днями ранее нас, чтоб обнять на пути своего сына, и остановился у генерал-губернатора Стрекалова, своего давнишнего знакомого. В день нашего въезда в Казань, узнав, что его любимое детище, Александр Одоевский, уже в городе, старик хотел бежать к сыну, но его не допустили, а послали за юношей. Сгорая весьма понятным нетерпением, дряхлый князь не вытерпел и при входе

своего сына все-таки побежал к нему навстречу на лестницу; но тут силы ему изменили, и он, обнимая сына, упал, увлекая и его с собою. Старика подняли, привели в чувство, и оба счастливца плакали и смеялись от избытка чувств. После первых восторгов князь-отец: «Да ты, брат Саша, как будто не с каторги, у тебя розы на щеках». И действительно Александр Одоевский в 35 лет был красивейшим мужчиною, каких я когда-нибудь знал.

Стрекалов оставил обоих у себя обедать, а вечером мы все вместе провели очень весело время. На другой день мы обедали у княгини Голицыной, где я, к большому моему удовольствию, встретился с Норовым, который был старшим адъютантом в той дивизии 2-й армии, в которой я служил. Судьба как будто нарочно для нашего свидания привела его в Казань ко времени моего приезда, и он послан был туда для водворения и устройства крестьян государственных имуществ. В разговорах он сообщил мне факт, характеризующий сибирских чиновников, который я и заношу в свою летопись.

Исправник Казанского уезда строил в городе дом для себя. Недостало у него денег, тысяч 12 рублей. Где взять такую сумму? Исправник пустился на выдумки. Известно, что и теперь еще татары — люди добрые, смирные, но простодушные и большие охотники до новостей. Исправник, чтоб воспользоваться их легковерием, недолго думая, отправился в первую татарскую деревню своего уезда и подъехал к обыкновенно занимаемому дому богатого татарина, был встречен почти всеми жителями... Грустный, задумчивый, печальный, вылез он из своего тарантаса.

— О чем грустишь, батька,— вопрошали подчиненные,— аль подать прибавить? что ж — дадим.

— Ох, нет, ребятушки,— отвечает им плут,— сто раз хуже.

— Скажи, царю все дадим,— возражают добрые татары,— коровушку последнюю продадим, а дадим, не печалься только и скажи, что нужно царю.

— Так знайте же,— продолжает исправник,— лед возить.

— Куда? в Казань? тяжело, но повезем, что ж делать, когда царю так нужно.

— Нет, ребята, не в Казань, а в Питер.

Татары остолбенели.

— Ой пропали мы, батька, совсем пропали. Да в Питере разве нет льду?

— Есть, как не быть, да что ж с царем будешь делать, хочет казанского!

— Ой, батька, совсем пропали! скажи — и другим волостям также возить?

— Да, и им было велено, да они собрали денег и послали царю в Питер, он и отменил.

— Ну и мы пошлем. А сколько?

— Много, ребятушки, 12 тысяч.

— Дадим, дадим,— кричали татары,— соберем и пошлем царю в Питер, а лед возить далеко! Нельзя!

И собрали бедные татары 12 тысяч, и окончил свой дом исправник на славу.

Однако вскоре он отрешен был от должности, отдан под суд, а татарам от этого не легче.

28 августа мы оставили Казань. Е. П. Нарышкина уехала с к<н>. Голицыной в Москву — для свидания с матерью, братьями, родными и друзьями. Старый Одоевский провожал сына до третьей станции, где дороги делятся: одна идет на Кавказ, другая — в Москву. При перемене лошадей, готовясь чрез несколько минут проститься с своим Сашей, бедный отец грустно сидел на крылечке почтового дома и почти машинально спросил проходившего ямщика: «Дружище, а далеко будет отсюда поворот на Кавказ?» — «Поворот не с этой станции,— отвечал ямщик,— а с будущей...» Старик князь даже подпрыгнул от неожиданной радости,— еще 22 версты глядеть, обнимать своего сына! — и подарил удивленному ямщику 25 рублей. Однако рано или поздно расставанье должно было осуществиться. Чувствовал ли старик, обнимая своего сына, что в последний раз лобызает его? Недолго старик пережил свое детище. Их обоих скоро не стало, и только умилительные стихи на смерть А. И. Одоевского Лермонтова говорят нам теперь об утрате нашего незабвенного товарища...

Мы подвигались к Ставрополю и дорогою узнали, что государь проехал в Тифлис. По этому случаю на предпоследней станции к Новочеркасску нам не дали лошадей, а предложили волов. Мы согласились, улеглись в наши тарантасы, проспали всю дорогу и с восхождением солнца триумфально въехали в казацкую станицу. В Новочеркасске мы отдохнули, ходили смотреть моги-

лу героя <18>12 года М. И. Платова близ алтаря церкви, им же воздвигнутой, но еще не оконченной.

Заговорив о Платове, я привел себе на память рассказ его, слышанный мною еще в Варшаве в 1815 году по возвращении наших войск из-за границы от него самого. Он так любопытен, что помещаю его. В одном доме, после сытного обеда, Матвей Иванович, по обыкновению немного подвыпивший, сел на диван со многими сотоварищами-генералами, а мы, молодежь, окружали эту любопытную группу. Кто-то спросил Платова, чем он был при императоре Павле Петровиче? Матвей Иванович, почесав у себя в голове, с расстановкою, своим малороссийским наречием сказал:

«Я, господа, при императоре Павле Петровиче по доносу одного из сослуживцев своих сидел в Петропавловской крепости вместе с Алексей Петровичем Ермоловым. Я был тогда в чине генерал-майора и заправлял досего донцами. Крепко грустил я в крепости, не зная, чем кончится моя участь. «Не грусти, казак,— атаманом будешь»,— сказал мне А. П. Ермолов. В одну ночь меня потребовали во дворец и ввели в кабинет государя, пред которым я упал на колени. Государь велел мне встать и сказал: «Генерал Платов, вот тебе табакерка с моим портретом». Не понимая причины такой милости, я, однако ж, облобызал его царскую руку. Государь продолжал: «Поезжай на Дон, собери полки и выступай в поход. Пред выступлением получишь маршрут, карту и узнаешь, куда идти, и тогда же пришлешь мне рапорт с надежным офицером об исполнении моего повеления. Ступай...» С Павлом шутить нельзя было, не такой был человек, но я чувствовал, что не к добру взвалил он на меня это поручение... Я знал, что Павел верил доносу на меня, и был убежден, что дело идет о том, чтоб меня погубить. Так или иначе, а действовать было надобно. Поехал я на Дон, живо собрал 20 тысяч казачков, отслужил молебен и готовился потянуться в неизвестный путь, как получил, по обещанию государя, карту, маршрут и приказ: открыть путь в Индию... Легкое дело!.. Я хранил все это в тайне, по приказу царя. Вот прошли мы Саратовскую губернию, Астраханскую и втянулись в необозримые киргизские степи. Пока были мы в своих границах, донцы мои были веселы и песни их раздавались беспрестанно. Полковники и офицеры старались узнать, куда я их веду, но я крепко хранил тайну. Жары

нас одолевали, провиант истощался, воды часто не было, и только отвратительные гадюки (змеи) ползали вокруг нас. Уже шесть недель, что мы в походе, а нет надежды к нашему возвращению, и, кажется, придется всем нам сложить свои головы. Сначала, правда, думал я, что государь хочет нас наказать небольшой прогулкой, а там помилует и возвратит. Но нет... И часто оглядывался я на родную сторону, не пошлет ли она нам вестника возвращения... В одно утро старшины и сотники объявили мне, что полки два дня уже без воды, в войске ропот, что казачки отказываются идти далее. Полководцы просили меня сказать, куда я их веду... Плохо! «Погодите до завтра, детушки,— сказал я,— утром вынесу свой походный образ, отслужим молебен и тогда скажу войску, куда мы идем». Грустно разошлись мои товарищи, печально полез я в свой шатер, и, на бурке лежа, так рассуждал: или свои меня убьют, или Павел повесит за неисполнение приказания. Тут смерть, и там смерть. Ежели завтра не будет нам приказа вернуться, то передамся я со всем войском туркам и буду служить новому царю... Так пролежал я целую ночь и не смыкал глаз. Стало светать. Вдруг полы шатра моего зашевелились и лезет ко мне на четвереньках человек не человек, черт не черт, зверь не зверь и мычит каким-то хриплым голосом: «Воды... воды...» Я вскочил на ноги и подал несчастному, лежавшему на земле, несколько глотков, и тогда только он проговорил: «Павел скончался... Императором — Александр, и возвращайтесь на Дон!..» Я так напугался, что в первые минуты не знал, радоваться ли мне или печалиться, а все-таки думал, не шпион ли это какой-нибудь, и потому только по прочтении приказа действительно возрадовался. При воцарении Александра первый указ, им подписанный, был о нашем возвращении на Дон. Послано было 6 гонцов с приказанием непременно настичь нас и вернуть, и только один, едва живой, исполнил поручение. Остальные не довезли. Утром мы весело присягнули новому царю и поплелись в наши станицы, потеряв, однако, много людей и лошадей».

Так кончил свой рассказ Матвей Иванович.

Без всяких приключений добрались мы до Ставрополя, перерезав Россию с севера на юг. Дорогой нам много рассказывали о строгости и нелюдимости г.-л. Вельяминова, командующего войсками на кавказской линии, бывшем начальнике штаба при А. П. Ермолове.

Глава XVII

Ставрополь.— Представление г.-л. Вельяминову.— Что случилось с князем Дадьяном.— Друг декабристам доктор Мейер.— Екатеринодар.— Мой полковой командир Кошутин.— Я отправляюсь к моей роте.— Ротный командир Маслович.— Станица Ивановка.— Разжалованный Костенко.— Примерка шинели.— Приготовление к экспедиции.— Выступление.— Биваки близ Тамани.— Лев Сергеевич Пушкин.— Рассказы Льва Пушкина об Александре Сергеевиче Пушкине.— Записка Пущина к Пушкину перед восстанием 14 декабря.— Примирение А. С. Пушкина с государем.— Болезнь и смерть Льва Пушкина

При нашем первом представлении генералу меня удивила приемная комната его. Не то зала, не то столовая, а больше похожа на манеж. В дальнем углу стояла одиноко дюжина кресел и больше ничего, зато по стенам развешено было до ста ламп, которые, говорят, зажигались каждый вечер и на освещение употреблялось лучшее прованское масло. При нашем входе мы заметили человека на противоположном конце залы, и адъютант, нас принявший, сказал нам, что это сам генерал Вельяминов. Он был в черном шелковом архалуке, белый воротник его рубахи лежал на плечах отогнутый, а Георгиевский крест 3-й степени висел на своем месте. Сложа руки назад, он медленно подходил к нам и, приблизившись, с поклоном указал нам рукой кресла, чтоб мы сели. Мы думали, что он начнет нам обычной фразой, подобно Сулиме: «Я получил высочайшее повеление» и прочее, но он обратился к нам просто по-французски:

— Кто из вас, господа, Нарышкин?

И когда тот назвал себя, генерал продолжал:

— Супруга ваша — дочь графа Петра Петровича Коновницына? Я имел честь служить с ее отцом в <18>12 году и был при нем в конвое долгое время. Вероятно, супруга ваша скоро приедет сюда,— прошу вас заранее меня об этом уведомить, чтоб я мог послать ей конвой навстречу и успел бы приготовить ей квартиру.

Михаил Михайлович Нарышкин благодарил генерала за такую деликатную вежливость. Вельяминов продолжал:

— Ежели у нас начнутся экспедиции на правом фланге, я пошлю вас туда, ежели на левом, я переведу вас в действующие отряды, а потом наше дело будет постараться освободить вас как можно скорее от вашего незавидного положения.

После этого генерал поклонился нам и вышел.

На другой день утром пришел к нам молодой человек красивой наружности и отрекомендовался адъютантом военного министра штабс-ротмистром лейб-гусарского полка Вревским (в деле под Черной в чине генерала свиты его величества он был убит подле корпусного командира Реада и почти в один момент с ним). Молодой Вревский был отправлен на Кавказ в экспедицию и остался при генерале Вельяминове и в ожидании дел полюбил наше сообщество и все время свое проводил с нами.

Государь, как я сказал уже, был в Тифлисе, на возвратном пути в Россию, и Вельяминов поехал к нему навстречу. По обыкновению Вревский пришел к нам одним утром, и угрюмым показался он нам. На первых же порах причина разъяснилась.

— Слышали ли вы, господа, что случилось с бедным князем Дадьяном в Тифлисе? Вы знаете, что он командует полком и женат на дочери главнокомандующего Розена. Дорогою государь получил донесение на князя Дадьяна, которым его обвиняют в употреблении солдат на свои работы, в недодавании жалованья рекрутам и прочих непозволительных поступках. Можете себе представить, в каком расположении духа приехал государь в Тифлис!

Ни Розен, ни начальник штаба не подозревали, что их ожидает. Развод назначен был от полка, которым командовал Дадьян, и князь перед строем ожидал прибытия государя. На площади собралось бесчисленное число народа, грузин, армян и мирных черкес. На балконе одного дома на площади сидела супруга главнокомандующего и княгиня Дадьян, разряженные, веселые... День был прекрасный. Наконец государь вышел. Барабаны загрохотали, музыка гремела, но царь махнул рукою, и водворилась тишина. Государь скомандовал «к ноге» и велел составить ружья в козлы. Огромная свита не понимает этого необыкновенного маневра. Государь собирает к себе ротных командиров в кружок и долго с ними разговаривал о чем-то, потом созывает солдат и делает с ними то же самое; потом командует: «Становись!» Полк выстроился, Дадьян с опущенной саблей в руке все еще не понимал причины этих действий, но тут государь громко приказал коменданту снять с князя Дадьяна флигель-адъютантские аксельбанты

и полковничьи эполеты как с недостойного носить эти отличия. Комендант стал отстегивать и то и другое, но государю показалось это слишком долго и церемонно, и он закричал: «Сорвать!» Граф Орлов, всегда готовый в таких случаях сыграть роль палача, подбежал и начал действительно рвать, так что клочья полетели.

Но что происходило в это время на балконе с бедными женщинами? Они лежали обе в обмороке. Тут же подъехала фельдъегерская тройка, посадили его, бедного, оборванного, в нее, обесчещенного князя Дадьяна и повезли в крепость Бобруйск... И без суда! Площадь опустела, народ от страха разбежался, а черкесы говорили, что ежели бы султан Николай не был уже повелителем, то его надобно было бы избрать султаном. Эта площадная проделка совершенно в их духе.

Что сталось с бедным стариком Розеном? Говорят, что он почернел и до того изменился, что был неузнаваем. К довершению странности в тот же вечер назначен был бал в доме главнокомандующего, и пригласительные билеты были разосланы по всему городу. Молодая княгиня Дадьян больная лежала в постели, а г-же Розен приказано было присутствовать на торжестве, и она явилась с распухшими, красными от слез глазами, и государь был так любезен, что открыл с нею бал польским. Хотел бы я, чтоб какой-нибудь опытный физиономист посмотрел им обоим в этот вечер в глаза. Что бы он в них прочел? Так Тифлис увидал в первый раз своего благотворительного царя, и, конечно, грузинская столица надолго сохранит память об этом визите.

Мы сидели у окна, когда увидели, что народонаселение Ставрополя бежит к почтовой станции. Я увидел и Вревского, идущего туда же, и пошел за ним. У станции стояла фельдъегерская тройка. Вскоре взошли в дом комендант и полицеймейстер; последний, вернувшись, стал разгонять народ, но напрасно — толпы не уменьшались. Вскоре на крыльце показался Вревский с князем Дадьяном,— и народ по старой привычке, как перед зятем главнокомандующего и когда-то владетельной особой, снял шапки. Последний был очень красен и малого роста. Говорят, что он просил коменданта отдохнуть в Ставрополе, но ему отказали по случаю того, что ждут к вечеру государя. Итак, несчастного повлекли далее. Главнокомандующий Розен после 50-летней службы назначен сенатором в Москву, и его заменил ханжа и педант Головин.

Старик Розен в Москве посетил своего сослуживца Ермолова и спрашивал у него совета, не ехать ли ему в Петербург? На что Алексей Петрович пресериозно отвечал ему: «Погоди немного, скоро пришлют сюда Головина, и тогда мы все трое поедем в Питер». Головин в самом деле недолго властвовал на Кавказе и был замещен Нейдгартом, про которого Ермолов, понимавший всех этих капралов-генералов, также сказал: «Нейдгарт видно, что немец: предусмотрителен. Нанял себе дом в Москве заранее и дал задаток, знает, что скоро воротится».

В Ставрополе познакомился я с очень ученым, умным и либеральным доктором Николаем Васильевичем Мейером, находившимся при штабе Вельяминова... Он был очень дружен с Лермонтовым, и тот целиком описал его в своем «Герое нашего времени», под именем Вернера, и так верно, что кто только знал Мейера, тот сейчас и узнавал. Мейер был в полном смысле слова умнейший и начитанный человек и, что более еще, хотя медик, истинный христианин. Он знал многих из нашего кружка и помогал некоторым и деньгами и полезными советами. Он был друг декабристам.

Вечером нас потребовали в штаб для объявления, кто из нас в какой полк назначен. Государь повелел разместить нас непременно по разным местам. Одоевскому, как бывшему кавалеристу, досталось в Тифлисе в Нижегородский драгунский полк, мне — в Тенгинский полк, квартирующий в Черномории. В эту же ночь должны мы были отправиться по полкам. Нам дали прогоны каждому на руки. В первый еще раз, с выезда из Сибири, мы отправились без провожатых и только оттого, что уже рядовые, принадлежим государю и вошли в состав армии. Была туманная, черная ночь, когда несколько троек разъехались в разные стороны. Что ожидает нас в будущем? Черкесская ли пуля сразит, злая ли кавказская лихорадка уложит в мать сырую землю? В кромешной темноте я едва доехал до станции и решился выждать дня, поместившись на своей бурке, которою, как и другими принадлежностями военной кавказской жизни, запасся еще в Ставрополе.

Чрез сутки, проехав 200 верст, я въехал в Екатеринодар и остановился на квартире у казака.

Все Черноморие окружено непроходимыми болотами и разливом р. Кубани. Мириады комаров и мошек кишат

в камышах и всему живущему надоедают страшно. Черноморие заселено казаками, потомками Запорожской Сечи, и нимало не подвинулось в образовании. Жители большею частию занимаются скотоводством и имеют большие табуны, а живут отдельными хуторами. На танцевальных вечерах жены казаков танцуют журавля, и мало из них грамотных.

Полк, в который я был назначен, только что вернулся из экспедиции, штаб полка был в городе, и я отправился явиться к полковому командиру, полковнику Кошутину, славящемуся своею храбростью на Кавказе, что много <значит> среди множества храбрых.

Кошутина и многих офицеров полка я застал на дороге о чем-то рассуждающих и отличил Кошутина по ордену Владимира на шее и Георгиевскому кресту в петлице. Всему обществу денщик подавал беспрестанно портер в стаканах, что меня сначала чрезвычайно поразило, но потом я узнал, что это обыкновение кавказской боевой жизни соблюдается и в мирное время и что портер обыкновенно предпочитают всяким другим винам. Кошутин принял меня, как обыкновенно принимал подобных мне. Видно было, что ему не в первый раз приходилось иметь дело с сосланными, которых в каждом полку Кавказа было довольно в прошлое царствование.

На другой день я отправился в село Ивановку, где расположена была рота, в которую я назначен. Я сшил себе солдатскую шинель и фуражку и преобразился из мирного гражданина в ярого воина,— конечно по наружности только,— и отправился явиться к ротному командиру Ивану Иванову Масловичу. Я застал его в небольшой светелке, в ваточном засаленном халате и черкесской папахе, за столиком, тасующего карты. Пред ним стоял денщик и кормил тут же, в комнате, огромный гурт гусей. Пернатые эти подняли такой гам и шум при моем входе, что заглушили мою первую рекомендательную фразу. Однако мы познакомились, и Маслович мне с первого раза понравился. Он был тип старого кавказца, и лицо его выражало доброту и чистосердечие. Разговор наш длился, завязывался, и Маслович тут же мне рассказал, что был дружен с Марлинским (Александром Бестужевым), и с воинским красноречием описал мне смерть его в горах в одной из экспедиций. Просидев у своего ротного командира несколько часов, я остался им вполне довольным и вышел от него примиренный не-

сколько с средой, в которой мне пришлось влачить дни мои.

Я нанял себе отдельную хатку, чтобы не стоять вместе с хозяевами, а Маслович прислал мне, для услужения, рядового, которого звали Антоновым. Этот Антонов сделался моим камердинером, поваром и заменял все должности неприхотливого хозяйства моего. Сначала мы бедствовали, ибо я был без денег, не уведомив вовремя своих родных в Россию о переводе моем из Сибири на Кавказ, но находчивость Антонова спасла нас обоих от голодной смерти.

Станица Ивановка, как и все станицы на Кавказе, окружена плетнем и небольшим рвом. У главных ворот станицы стоит огромная чугунная пушка грозою для смельчаков черкесов, отваживающихся сделать набег на станицу. Весною и осенью по улицам такая невылазная грязь, что сообщение прерывается, а в иных улицах ездят даже на лодках. Маслович приезжал ко мне верхом и всякий раз с опасностью лишиться жизни или, по крайней мере, потерять лошадь в грязи. И вот в каком месте пришлось мне жить! Само собою разумеется, я рад был придраться бог знает к какому знакомству, чтоб как-нибудь коротать длинное скучное свободное время.

Вскоре я сошелся с одним разжалованным Костенкой, уже 15 лет влачащим свои дни в звании рядового. После я узнал, что Вельяминов при всяком представлении Костенки в офицеры вычеркивал его из списка за страсть к картам, которой бедный потерянный человек был предан. Костенко был малый неглупый, тихий, беззащитный, и я с самого начала из жалости приласкал его, а он, ободренный, может быть впервые в своей жизни, вниманием и участием постороннего человека, привязался ко мне всею душою и стал часто меня посещать, чему я также был рад.

Нельзя было смотреть без смеху на Костенку, когда он своими длинными, сухими, журавлиными ногами шагал чрез плетни и заборы, пробираясь ко мне на беседу. Я узнал от него всю жизнь его и вкратце передаю ее здесь: молодым человеком находился он при генерал-губернаторе Комбурлее в Житомире чиновником по особым поручениям. Комбурлей попал под суд за какое-то упущение, стали открываться какие-то противозаконные действия, он был сменен, и весь его штат отдан под суд. Некоторые из чиновников, в том числе и Костенко, отда-

ны были в солдаты. Костенко между прочим сериозно уверял меня, что предки его были какие-то графы де-Косси. Жаль, что Лермонтов не был знаком с Костенкой, а то не лишним бы было Лермонтову, описавшему так верно несколько кавказских типов, и его туда же включить.

Однажды я лежал еще в постели, как явился ко мне Костенко с обычными дневными новостями, которые он черпал в полковом штабе от своих товарищей по игре в карты (страсть, сильно развитая на всем Кавказе),— и является с лицом веселым, торжествующим:

— Знаете ли, Н<иколай> И<ванович>, что Вельяминов умер в Ставрополе от водяной в груди и доктор Мейер не мог ничего сделать с своим искусством?

— Чего же вы радуетесь? — сказал я.

— Да как же не радоваться? Наконец граф де-Косси будет произведен в офицеры!

— Если это так,— продолжал я,— и вы надеетесь с уничтожением причины вашего непроизводства в офицеры надеть эполеты, то дайте лишь слово не играть в карты.

— Не могу, почтеннейший, не могу... На Кавказе нельзя не играть в банчишку или штосик. Не проживешь без них.

В это время вошел ко мне ротный командир мой Маслович и подтвердил известие о смерти Вельяминова, а также о назначении на место его Раевского. Последняя новость меня очень обрадовала, потому что я был знаком с Николай Николаевичем Раевским и со временем буду говорить много о нем и брате его Александре, друге Пушкина. Подали трубки, и мы уселись рассуждать о том о сем.

Маслович обладал здравым умом и хотя не получил образования, но на многие предметы смотрел ясно, светло. Жизнь исправила несколько поверхностное образование I кадетского корпуса, а 22 года службы на Кавказе наделили его опытностью в горной кавказской войне, и он успел заслужить репутацию храбреца. Впрочем, как я после узнал, на Кавказе не дозволяется быть трусом, и постоянное пребывание среди опасностей и привычка уравнивают со временем мало-помалу все оттенки храбрости. Пусть не удивляются читатели тому, что в рассказах моих о кавказской моей жизни часто встретит он как меня, так и многих других сосланных и раз-

жалованных в обществе начальников своих различных степеней военной иерархии не как подчиненных, а на ноге товарищеской, дружеской, вежливой и учтивой. Ермолов внушил эти правила кавказскому корпусу, и приличное обращение с разжалованными соблюдалось и соблюдается там и поныне.

Вскоре явился ко мне фельдфебель с ротным портным и стали примерять на мне шинель, мундир и также снабдили меня тяжелым ранцем и ружьем. Портной, или закройщик, без церемонии дергал меня то вправо, то влево и старался, чтоб мундир, принесенный из цейхгауза и снятый, вероятно, с какого-нибудь убитого, лежал бы на мне по возможности гладко. Во время этой скучной операции я невольно припомнил себе время моего служения в гвардии. Думал ли я тогда, стоя пред своею красивою ротою, что на самого меня будут когда-нибудь примеривать на Кавказе солдатский мундир? Чтобы покончить поскорее с этим скучным делом, я дал и фельдфебелю и закройщику по рублю серебром и отпустил их. Фельдфебель был красавец собою и любимец Масловича. Я отдавал ему обыкновенно мое солдатское жалованье, и за это он, благоволя ко мне, в каждом деле назначал ко мне в прикрытие лучших стрелков, и в том числе моего Антонова, который считался и в этом искусстве одним из лучших в роте.

В своем месте я расскажу о смерти этого фельдфебеля накануне производства его в офицеры.

Однажды получил я записочку от Масловича с приглашением пожаловать к нему немедленно. Прихожу и застаю Ивана Ивановича в обыкновенном своем костюме с двумя ротными командирами, из которых у одного рука подвязана была черным платком, свидетельствуя о ране в последнюю экспедицию.

Меня представили им, и мы познакомились. Кажется, люди хорошие. На столике пред нами стоял штоф водки с плавающим в нем красным стручковатым перцем, и на тарелках стояла обыкновенная кавказская закуска: сушеная рыба, колбасы и хлеб... Все плотно завтракали,— колбасы и сушеная рыба уничтожались и снова появлялись на тарелочках, штоф уменьшался мало-помалу и снова возрождался, как новый феникс.

Мы стали веселы, нецеремонны и откровенны. Мои новые знакомцы нашли, не знаю почему, что у меня дух военный, и вообще, кажется, я им понравился. При рас-

ставании, желая упрочить за собой такое хорошее мнение обо мне моих новых товарищей, я пригласил их всех на другой день к себе и добавил только к числу приглашенных Костенку. Не желая переменять кавказского обычая, я распорядился моим завтраком точно таким же образом, как мой ротный командир, и также поставил на стол штофик водки с турецким перцем, сушеных карасей и целое блюдо раков, которых достал где-то мой Антонов. Как немного нужно человеку, не избалованному прихотями! Все остались чрезвычайно довольны моим угощением, а я распотешил всю компанию вдосталь, когда выставил на стол оставшуюся у меня еще из Екатеринодара бутылку вина и бутылку портеру. Антонов мой суетился, как любой метрдотель, и пот градом катил с его лица. Маслович в шутку заметил ему, что он ловко прислуживает, и хотел знать, где он так понаторел в этом искусстве,— тогда мой Антонов мигом преобразился в рядового и вытянулся в струнку перед своим ротным командиром, намереваясь, вероятно, отвечать, но Маслович тотчас же превратил его в обыкновенного официанта, сказав: «Однако ступай, ступай и делай свое дело».

Скоро пришел приказ из полкового штаба ротам быть готовым к походу в новую экспедицию под начальством самого Раевского. Известие это меня очень обрадовало, во-первых, потому, что извлекало из этой скучной, грязной стоянки в Черномории, а во-вторых, потому, что сближало меня с товарищами несчастия, в других полках находящимися, с которыми я надеялся встретиться. Мы стали готовиться. Я сговорился стать вместе с Костенкой в одной палатке, единственно с намерением быть ему полезным по возможности и удерживать его от карточной игры. Сборное место войскам назначено в Тамани. Эскадра адмирала Лазарева должна прийти к тому же времени в Керченский пролив. Говорили, что план экспедиции был составлен покойным Вельяминовым, но тогда подробностей его мы еще не знали.

Прекрасным весенним днем рота наша выступила по назначению. Костенко и я уложили свой скарб на повозку, которою заправлял Антонов, а сами отправились, как путешественники с посохами в руках. Маслович преважно ехал верхом перед ротой и песельниками. Дорогой мы соединились с другими ротами полка и подвигались к Тамани. Не доходя до нее, нас обогнал началь-

ник отряда Раевский, сопровождаемый сотнею черноморских казаков.

Мы прошли фанагорийскую крепость (упраздненную ныне), постройку Суворова. Где не был этот человек, где не оставил он следов своих, имени своего? Крепость заброшена, в запустении. Очертание валов и подобие рвов свидетельствуют только о том, что здесь существовало когда-то укрепление. Там сохранились, однако, в наше время госпитали I класса.

В 10 часов утра весь отряд собрался и остановился близ Тамани, в виду Керчи и Еникале, на бивуаках. Офицерство, кто успел завестись крышею, в шалашках. Флота нашего не видно было еще в море. Из Керчи на пароходе прибыло много гвардейских офицеров, прикомандировываемых ежегодно к войскам Кавказского корпуса для экспедиций. Это были вообще славные молодые люди, и скоро мы сошлись, познакомились и сдружились. Они вообще любили декабристов и питали какое-то особое уважение ко всем разжалованным. В этом отношении и Костеньке, моему сожителю по палатке, это было полезно, и я радовался за него больше, чем за себя.

Биваки наши оживились, музыка гремела, песельники гаркнули во всех концах, а я часто удалялся от этого шума, чтоб посмотреть таманские окрестности, и однажды взошел на небольшое возвышение, близ лагеря находящееся. Мне открылась прекрасная картина, достойная кисти живописца: под ногами моими, в тени, виднелось маленькое местечко Тамань, вправо — наш лагерь с глухим шумом и синим дымком, поднимавшимся в разных местах. Далее — сине-черное Азовское море лежало огромной массой и окаймлялось берегом Крымского полуострова. Вся в солнечных лучах белелась Керчь, а на горе Митридата ясно рисовался музей, как какой-нибудь Афинский храм. Там — Европа, здесь — Азия, хотя географы немилосердно в своих учебниках граничат их где-то на границах Персии, на Араксе и проч. Оба моря — и Черное и Азовское — не колыхнутся. На рейде и у пристани вырос целый лес мачт, зафрахтованных судов на перевозку нашего провианта, скота, пушек и артиллерийских лошадей. Казацкие шаланды и лодки шныряют то и дело в Керчь и обратно. Переезд верст в 20 с небольшим,— и все, кто может, в особенности же гвардейская молодежь, пользуется свободой и ездят в Керчь покутить и погулять.

К обеду я возвратился в лагерь и мимоходом заглянул в палатку Масловича. Ковер, кругом — офицерство в живописных группах, карты и штос, вечный штос. Костенко мой — тут же и успел мне шепнуть, что проиграл уже сто рублей. Я ни слова не сказал ему тогда и, пожелав Масловичу обыграть гвардейских офицеров, приехавших с деньгами, пошел к себе в палатку и прилег читать. Вскоре пришел Костенко, и я начал его упрекать в его слабости и бесхарактерности. Я стращал его гневом Раевского, который, ненавидя сам карт, возьмет его на замечание и, подобно Вельяминову, станет откладывать его производство. Тронутый, как казалось, моим участием, Костенко долго меня слушал, наконец, сказал:

— Что прикажете делать? скверная натура такая у меня: так и тянет поставить карточку... Рискну еще разок на последние 50 рублей, а там баста...

В эту минуту вбежал в мою палатку армейский капитан, назвал себя Львом Сергеевичем Пушкиным и бросился ко мне на шею. Мы до сего никогда не были знакомы, и подобная нецеремонная рекомендация самого себя, даже и на Кавказе, могла бы показаться странною от всякого другого, но имя Пушкина мирило и сглаживало все. Магическое имя это увлекло и меня, и я с восторгом обнимал брата нашего народного поэта и радовался вновь приобретенному знакомству. Лев Сергеевич Пушкин был в то время адъютантом при Раевском и, кроме того, пользовался его дружбой.

Лев Пушкин — один из приятнейших собеседников, каких я когда-либо знал, с отличным сердцем и высокого благородства. В душе — поэт, а в жизни — циник страшный. Много написал он хороших стихотворений, но из скромности ничего не печатает, не дерзая стоять на лестнице поэтов ниже своего брата. Лев Сергеевич похож лицом на своего брата: тот же африканский тип, те же толстые губы, большой нос, умные глаза, но он — блондин, хотя волоса его так же вьются, как черные кудри Александра Сергеевича. Лев Сергеевич ниже своего брата ростом, широкоплеч. Вечно весел и над всем смеется и обыкновенно бывает очень находчив и остер в своих ответах. Лев Пушкин пьет одно вино,— хорошее или дурное, все равно,— пьет много, и никогда вино на него не действует. Он не знает вкуса чая, кофея, супа, потому что там есть вода... Рассказывают, что однажды ему сделалось дурно в какой-то гостиной, и дамы, тут

бывшие, засуетившись возле него, стали кричать: «Воды, воды!» — и будто бы Пушкин от одного этого ненавистного слова пришел в чувство и вскочил как ни в чем не бывало. Ест он обыкновенно соленое и острое — сельди, сыр и проч. Память имеет необыкновенную и читает стихи вообще, и своего брата в особенности, превосходно, хотя не доставляет этого наслаждения своим жадным слушателям до тех пор, покуда не поставят перед ним лимбургского сыра и нескольких бутылок вина. Весь лагерь был в восторге от Льва Сергеевича Пушкина, и можно было быть уверену, что где Пушкин, там и кружок, <и> весело. Всю экспедицию он сделал с одной кожаной подушкой, старой поношенной шинелью, парой платья на плечах и шашкой, которую никогда не снимал. Пушкин обыкновенно заглядывает по палаткам, и, где едят или пьют, он там везде садился, ел и пил. В карты Пушкин играл, но всегда проигрывал, табаку не нюхал и не курил. Вечно без денег, а ежели и заведутся кой-какие, то ненадолго: или прокутит, или раздаст. Никогда во всю экспедицию у него не было слуги или денщика. Одним словом, Пушкин имел много странностей, но все они как-то шли к нему, может быть потому, что были натуральны, и он был самый беспечный, милый человек, которого я знал когда-либо.

Чтобы не отвлекаться впоследствии от своих воспоминаний кавказской боевой жизни, к которой я намерен приступить, я расскажу здесь кстати еще несколько случаев из знакомства моего с Львом Сергеевичем Пушкиным. После одной экспедиции я поехал в Прочный Окоп, к товарищу моему М. М. Нарышкину, и недалеко от дома, им занимаемого, поместился у казака. В один вечер, возвратясь от моих друзей часов в 11, я лег в постель и стал читать по обыкновению. Вдруг слышу стук колес подъехавшей телеги и голос, называющий мою фамилию. Я узнал, что это был Лев Пушкин, и не успел я вскочить с постели, как он лежал уже на мне и целовал меня.

— Куда тебя бог несет? — спросил я.

— За Кубань, в экспедицию с Зассом, старшим дежурным офицером в отряде.

Я чрезвычайно рад был видеть милого Льва Сергеевича. Всегда, а особенно в скучной станице, это невыразимое счастие и находка. В такие минуты забываешь всю горечь в жизни. После первых расспросов и рассказов, сидевши у меня на кровати, Пушкин громко прика-

зал позвать своего камердинера, и, в самом деле, вошел человек в бархатном чекмене, обшитом галунами, опоясанный черкесским ножом с серебряными пуговицами и кинжалом, богато оправленным в серебро у пояса. Зная прежнюю диогеновскую жизнь Пушкина, я невольно улыбнулся, но он преспокойно отдавал свои приказания: «Здесь поставь мне железную кровать, вынь батистовое белье и шелковое одеяло да подай мою красную шкатулку». Мы оба громко рассмеялись.

— Скажи, пожалуйста, откуда взял ты эту роскошную барскую обстановку, Лев? Верно, выиграл у кого-либо из гвардейских офицеров?

— Совсем нет,— отвечал мне самым простодушным образом Пушкин,— ко мне приехал в Ставрополь мой дальний родственник, флигель-адъютант N, прост, как многие из них, богат так же. Его отправили курьером в Тифлис, и он оставил мне своего человека и вещи на сохранение, а так как меня самого отправили в экспедицию совершенно неожиданно, то я и взял все это с собой, чтоб сохранить.

— Помилуй, любезный, да ведь это все — чужое,— возразил я.

— А что ж за беда? — отвечал, смеючись, Пушкин.

Когда мы улеглись, и я увидел Льва Сергеевича в батистовой рубахе, покрытого шелковым одеялом, на двух сафьяновых красных подушках, я не мог удержаться от гомерического смеха, и мы оба хохотали, как дети.

На другой день мы приятно обедали у Нарышкиных,— для нас обыкновенно было достаточно вина, но для Пушкина мало, и он не мог, выходя от них, не заметить мне: «Chez les Narichkine on mange très bien, mais on boit très mal» *.

Я сообщил об этом Нарышкину, и тот поторопился поправить свою ошибку. За столом подали шампанское, и Пушкин был весел, доволен, любезен.

Однажды мы пошли с ним бродить по Прочноокопской станице, расположенной на возвышенном берегу р. Кубани. Не помню как, Лев Сергеевич вспомнил о недавней кончине брата своего А<лександра> Сергеевича и рассказал мне одно обстоятельство из жизни поэта, не всем известное, которое я заношу в свои воспоминания.

* У Нарышкиных едят очень хорошо, но пьют очень плохо *(фр.)*.

А<лександр> Сергеевич был очень дружен с Иван Ивановичем Пущиным, с которым вместе в один год вышли из Царскосельского лицея. Почтенный директор их и наставник Энгельгардт питал к ним самые отеческие чувства, и я в ссылке своей в Сибири читал у Пущина некоторые <его письма?>, в которых, несмотря на давность времени, всегда проглядывала теплота чувств старинного друга. Александр Сергеевич был уже удален из Петербурга и жил в деревне родовой своей— Михайловском. Однажды он получает от Пущина из Москвы письмо, в котором сей последний извещает Пушкина, что едет в Петербург и очень бы желал увидеться там с Александром Сергеевичем. Недолго думая, пылкий поэт мигом собрался и поскакал в столицу. Недалеко от Михайловского, при самом почти выезде, попался ему на дороге поп, и Пушкин, будучи суеверен, сказал при сем: «Не будет добра» — и вернулся в свой мирный уединенный уголок. Это было в 1825 году, и провидению угодно было осенить своим покровом нашего поэта. Он был спасен!

В 1826 году в одно прекрасное утро прискакал в Михайловское фельдъегерь с приказанием доставить Пушкина в Москву. Зная за собой несколько либеральных выходок, Пушкин убежден был, что увезут его прямо в Сибирь. В длиннополом сюртуке своем собрался он наскоро и быстро перелетел пространство, разделяющее Михайловское от Москвы.

Небритый, в пуху, измятый, был он представлен к дежурному генералу Потапову и с ним вместе поехал тотчас же во дворец и введен в кабинет государя. К удивлению Александра Сергеевича, царь встретил поэта словами:

— Брат мой, покойный император, сослал вас на жительство в деревню, я же освобождаю вас от этого наказания с условием ничего не писать против правительства.

— Ваше величество,— отвечал Пушкин,— я давно ничего не пишу противного правительству, а после «Кинжала» и вообще ничего не писал.

— Вы были дружны со многими из тех, которые в Сибири,— продолжал государь.

— Правда, государь, я многих из них любил и уважал и продолжаю питать к ним те же чувства.

— Можно ли любить такого негодяя, как Кюхельбекер? — продолжал государь.

— Мы, знавшие его, считали всегда за сумасшедшего, и теперь нас может удивлять одно только, что и его с другими, сознательно действовавшими и умными людьми, сослали в Сибирь.

— Я позволяю вам жить, где хотите. Пиши и пиши, я буду твоим цензором,— кончил государь и, взяв его за руку, вывел в смежную комнату, наполненную царедворцами: «Господа, вот вам новый Пушкин, о старом забудем».

Вскоре Лев Сергеевич ушел в экспедицию за Кубань. Я был произведен в офицерский чин, вышел в отставку и поселился в своей родной деревушке. С Пушкиным мы опять сошлись, когда он вышел также в отставку, женился и служил по таможенной части. Он приезжал даже однажды навестить меня, одинокого, на моем пепелище, и это было наше последнее свидание. Он занемог водяною в груди, ездил в Париж и получил облегчение, но, возвратившись, снова предался своей гибельной привычке и скоро угас, в памяти и с тою веселостью, которая преобладала в нем всю жизнь его. С улыбкою повторял он: «Не пить мне более кахетинского!» На руках товарища моего по Сибири А. Е. Вегелина скончался Л. Пушкин на 41-м году от роду. Хотя мне дали знать об опасной болезни Льва Сергеевича, но я не поспел принести ему дружественного прощания, хотя, по словам окружающих его постель, мне рассказывавших о его последних минутах, он часто и много вспоминал обо мне. Мир праху твоему, любезный Лев Сергеевич!

2-я ЧАСТЬ

Глава XVIII

Мы снимаемся с биваков.— Николай Раевский.— Допрос Н. Раевского о тайном обществе.— «Честь дороже присяги».— Н. Раевский и декабристы.— Арест Раевского.— 120-пушечный корабль. Друг моей золотой юности Петр Мессер.— Неожиданная встреча.— Я — в капитанской каюте.— Веселый вечер.— Путешествие к восточным берегам Кавказа.— Бой у Шапсуги.— Занятие берега

Наконец, все части, составляющие отряд, назначенный в экспедицию, собрались и приготовились. В 6 часов вечера генерал Раевский с начальником штаба Оль-

шевским объехал по войскам, а в 10, темною и душною ночью, отряд поднялся с биваков. Тут только мы узнали цель экспедиции. Войска должны были сесть на суда нашего Черноморского флота, идти в виду восточных берегов Черного моря, занять прибрежье в известных пунктах и строить крепости по берегу. Со мною из товарищей сибирской ссылки был только один Черкасов, служивший прежде в Генеральном штабе, и надежда меня обманула, не позволив увидаться и сойтись со многими другими товарищами.

Целую ночь двигались мы к морю, и прекрасною зарею открылось оно нам. На нем стройно красовался наш флот: 25 военных судов и 3 парохода. При нашем приближении на одном из кораблей дали какой-то сигнал и мигом со всех кораблей спустили шлюпки, катера, направившие бег свой к берегу, подобно цыплятам из-под крыльев матки-курицы.

Отряд наш выстроился огромным каре, и начался молебен. Я и весь отряд любовались на своего нового начальника, Н. Н. Раевского. Высокий, стройный, в шарфе и с шашкою через плечо, стоял он серьезно перед рядами войска, которое готовился вести к победе. Во цвете лет, с черными волосами, лежавшими на красном его воротнике, и в синих очках, Раевский на всех произвел хорошее впечатление, и в фигуре его была какая-то гордость и отвага.

До сего назначения он жил у себя в имении на южном берегу Крыма и занимался ботаникой и цветоводством в особенности, до которого он страстный охотник. В 1825 году оба брата, Александр и Николай Николаевичи, были арестованы по нашему делу, так как многие из их родных, как-то: Михаил Орлов, Василий Давыдов, Лихарев и два брата Поджио — были взяты прежде, но Следственная комиссия никак не могла уличить их в том, что они действительно были в нем. Тогда государь потребовал обоих братьев к себе и сказал Александру Раевскому:

— Я знаю, что вы не принадлежите к тайному обществу, но, имея родных и знакомых там, вы все знали и не уведомили правительство. Где же ваша присяга?

Тогда Александр Раевский, один из умнейших людей нашего века, смело отвечал государю:

— Государь! Честь дороже присяги: нарушив первую, человек не может существовать, тогда как без второй он может обойтись.

Тогда своих братьев, хотя <и> отпустили, но взяли на замечание и считали либералами и опасными людьми.

Н. Н. Раевский, будучи известен Вельяминову по отличиям своим в турецкую и персидскую кампании 1826, 1827, 1828 годов, был, по его мнению, достойнейшим ему преемником и по его рекомендации получил начальствование над войсками на Кавказской линии. До этого Раевский командовал Нижегородским драгунским полком и стоял в Тифлисе.

Я говорил уже выше, как Захар Чернышев из Якутска был взят с поселения и отправлен на Кавказ рядовым. Он попал в полк к Раевскому и, само собою разумеется, благословлял свою судьбу, попав в руки такому благородному человеку. Однажды Раевский пригласил к себе обедать рядового Чернышева и многих других, сосланных на Кавказ, и флигель-адъютанта N. Я не называю его полным именем, потому что мне и теперь стыдно за его поступок. Этот мелкий куртизан, выскочка счел своею обязанностью донести государю об вольном и дружеском обращении Раевского с разжалованными людьми, и государь сделал строгое замечание Паскевичу, написав: «Не советую вам пробовать мое терпение. Раевского арестовать на гауптвахте на 2 месяца». Паскевич, в свою очередь, вышел из себя и кипятился много, но, зная Раевского за полезного офицера, удовольствовался наказать его домашним арестом.

После молебствия отряд приблизился к берегу, где ждала нас перевозочная флотилия с кораблей. На всяком судне был свой особенный флюгер или значок, и каждая рота без замешательства отыскивала свой катер. Жара была страшная, а я в толстой шинели, с ружьем, уместился в одной лодке с своим взводом. Морской офицер на руле скомандовал: «На воду! Навались, ребята!» — и мы быстро отчалили и понеслись к кораблям, стоявшим в версте от берега. Лодочки наши казались ореховыми скорлупками пред 120-пушечным кораблем, к которому мы подъехали и стали высаживаться.

Здесь я должен вернуться в своих воспоминаниях на 40 лет назад. Странные, непредвиденные случаи бывают в нашей жизни. В начале моих записок я говорил о своем детстве <и> юности в доме П. В. Капниста. В 1810 году, после Тильзитского мира, государь Алек-

сандр Павлович политическими обстоятельствами был вынужден приступить к континентальной системе, чтоб, закрыв с целой Европой все порты, подорвать совершенно всю торговлю Англии. Декрет об этом Наполеона был издан в Берлине, и к союзу этому вся Европа должна была волею и неволею приступить. Англия, в самом деле пострадавшая от запретительной системы этой, объявила Франции войну на жизнь и смерть; тем не менее и все державы много от этого терпели. У нас все вздорожало, и я помню, что мы детьми еще пили обыкновенный чай с медом, потому что сахар был очень дорог; и суда наши хотя и ходили по морям, но украдкой и ощупью, и то под американским флагом. Гордый Альбион, однако, держался и выдержал кризис; а причина его временной невзгоды — Наполеон, этот колосс, рухнул, погиб! Англия в 1810 г. объявила всем континентальным державам войну, и в этих обстоятельствах у нас в России стали также готовиться к войне и для этого многих моряков из англичан, служивших на нашем флоте, удалили внутрь России. Так, адмирал Грейг удален был в Москву, контр-адмирал Мессер, не помню в какую губернию, кажется, в Рязанскую. С большим семейством из Севастополя дотащился он до Кременчуга и оттуда писал государю на английском языке письмо, которым испрашивал разрешения остаться в южном климате, необходимом для него самого и детей. Государь милостиво принял эту просьбу, дозволил ему остаться в Кременчуге и утешал его тем, что скоро все англичане, в русской службе находящиеся, снова возвратятся к местам своим в Черное и Балтийское море (я читал оба эти письма).

Родители мои жили тогда в 70 верстах от Кременчуга. П. В. Капнист, как благодетель всех страждущих, несчастных, притом женатый на англичанке, не мог оставаться равнодушным к судьбе соотечественника <жены> и, желая также доставить удовольствие жене своей, предложил семейству Мессера приехать к нему в деревню и провести все время изгнания своего, до окончания войны. Мессер с благодарностью принял радушное приглашение, и в одно утро все семейство приехало к нам. Можно себе вообразить, как нам, детям, весело было принять в свой круг 4 славных мальчиков и одну девочку. Старший сын Мессера, Петр, был одних лет со мной, лет 16, так же как и сын Капниста,

и мы скоро составили тесный триумвират. Старик Мессер был отличный человек и славный моряк, чему служит доказательством дружба его с Нельсоном. Я помню письма сего последнего, писанные левою рукою, которые показывал нам Мессер. Все семейство Мессеров очень сошлось с семейством Капнистов, и мужья и жены сдружились, а об нас и говорить нечего. Дочь Мессера была молоденькая, хорошенькая девочка и очень мило танцевала, а так как и я отличался в этом хореографическом искусстве, то всегда был ее предпочитаемым кавалером. От танцев скоро дошло и до сердца. Я угождал этой девице по возможности, лепил и клеил ей картоны и ящички, рисовал в ее альбомы, часто подносил ей букеты роз. Все это было так невинно, платонически, инстинктивно, что я и теперь, на 70-м году моей жизни, вспоминаю с удовольствием это время и, как Гете, готов повторить: «Gieb mir meine Jugend zurück!» *

Как я сказал уже, я особенно сошелся и подружился со старшим Мессером, Петром. Наследовав, как кажется, страсть к морю от своего отца, юный Петр Мессер обещал уже тогда из себя хорошего моряка и страстно любил воду, купанье и в этом занятии проводил все свои дни, удаляясь от наших детских игр. Страсть к морской службе выражалась у молодого Мессера тем, что он по правилам и размерам кораблестроения из картона делал модели разных судов, вооружал их, оснащал, причем струны и шелк заменяли ему канаты и веревки. Скоро он купил себе лодку, и ранним утром нам часто удавалось заставать его одного разъезжавшим по водам, которые окружали наше деревенское жилище. Однажды мы гуляли с ним по берегу быстрой речки и наслаждались стройным порядком его импровизированного флота, который быстро несся по течению и появлением своим, равно и нас самих на берегу, пугал стаи диких уток, которые с криком срывались из камышей и удалялись от незваных гостей. Я заметил Мессеру, что это ни на что не похоже, что он удаляется нашего общества и единственно занимается своими безмолвными кораблями. «Любезный друг,— отвечал он мне,— это моя одна страсть и цель моей жизни. Я хочу во что бы то ни стало быть моряком и быть капитаном и командиром 120-пушечного корабля; это

* Верни мне молодость назад (*нем.*).

единственная карьера, которая мне кажется заманчивою, и ты не поверишь, как весело управлять такой машиной». Я с жаром защищал прелести кавалерийской службы, которой хотел себя посвятить, и споры наши длились и повторялись. Мечты и бредни юности! скоро прошли вы, и, казалось, мы о них забыли.

Настал <18>11 год. Моряки возвращены были к своим местам, и старик Мессер отправился в Севастополь. Грустно было наше расставание с товарищами, а в особенности с их сестрой. Я подарил ей на прощание картонный ящик, обклеенный цветною бумагою, с ее вензелем, много плакал, не спал всю ночь и даже навещал флигель дома, где они жили, собирая каждый лоскуток бумажки, исписанный ее рукой. Но и это прошло! Впечатления юности живы, но непродолжительны.

<18>12 год сменил своего предшественника и нас, юношей, бросил в жизнь. Я делал поход <18>13 года с гвардиею, дошел до Парижа, возвратился, служил в Варшаве, опять в гвардии в Петербурге, перешел в армию маиором, сослан был в Сибирь на каторгу, был на поселении и, наконец, очутился солдатом на Кавказе,— а об юном товарище детства, Петре Мессере, ни слуху ни духу. Немудрено в такой промежуток времени забыть товарищей юности, разметанных волею судеб по всему свету.

Итак, лодочка, нагруженная взводом, в коем я состоял рядовым, причалила к 120-пушечному кораблю. По веревочным лестницам взбирался я с солдатиками наверх и потом лез, согнувшись, в какую-то дыру у руля, где каждый занимал отведенное ему местечко. Я очутился между двух огромных чугунных пушек, которые грозно выглядывали в море. Я устал страшно и, как мне помнится, едва ли испытывал подобное изнеможение, разве только при ретираде нашего отряда из-под Дрездена в <18>13 году. Духота страшная, запах смолы, крики и шум над головою довершали мои мучения.

Я снял ранец, положил его под голову, снял шинель и растянулся на голом полу, благословляя провидение, что наградило меня и этим местечком, потому что все остальное было буквально загромождено солдатиками. Настоящее ужасное положение мое заставило меня даже мысленно завидовать ссылке моей в Курган: ни

ветерка, солдатики стонут, рубаху мою хоть выжми, и обильный пот покрывает мое лицо.

Мимо меня пробирается, проталкивается и шагает даже через солдат, лежащих кучками, морской унтер-офицер (боцман) со свистком на медной цепочке, и я совершенно бессознательно, чтоб что-нибудь у него спросить, проговорил:

— Любезный, кто командир корабля?

— Капитан первого ранга Мессер.

— Его зовут Петр Фомич?

— Точно так!

— А сколько пушек у вас на корабле?

— 120,— отвечал он мне и стал пробираться дальше.

«Это он,— подумал я,— его цель совершилась, он достиг того, чего желал в юности, а я...» — я живо накинул на себя шинель и выполз на палубу. У дверей капитанской каюты часовой меня не пускает, я приказываю о себе доложить. «Скажите капитану, что один разжалованный хочет его видеть». Меня впустили, и я тотчас же узнал Петра Фомича Мессера, друга моей золотой юности. Он меня не узнал и смотрел на меня равнодушно. А я, подошедши к нему, сказал:

— Петр Фомич! Цель ваша, желание, мечты юности достигнуты вами. Вы моряк, вы славный капитан и командир 120-пушечного корабля.

— Лорер! — воскликнул он и бросился ко мне в объятия и долго держал меня у своего благородного сердца.— Боже мой, 40 лет мы не видались, любезный друг мой, и где же я тебя встречаю? — воскликнул он, снова всплеснув руками.— Где вещи твои? Ко мне в каюту!

— Любезный Петр Фомич, у меня нет вещей, разве ранец и ружье?..

Долго не могли мы успокоиться от волнения, и Мессер плакал от радости.

Легко себе представить, какая сделалась перемена в моем житье-бытье, коль скоро я перешел в каюту капитана корабля. Пол устлан мягким английским ковром, кругом — покойные диваны, покрытые бархатом, окна открыты и дают свободное движение воздуху. Я взял морскую ванну и скоро к обеду совершенно освежился. В кают-компании собрались и другие офицеры корабля, и Мессер представил меня обществу как старинного друга детства. Все пожимали мою руку и, любя своего капитана, старались наперерыв обла-

скать меня. На верхней палубе курили сигары, и долго продолжалась наша дружеская беседа.

Этот вечер останется неизгладимым в моей памяти. На душе было весело, и, как нарочно, на адмиральском корабле звуки веселой музыки, разносясь по волнам, как бы вторили моим светлым ощущениям. К чести Черноморского флота могу заметить, что все мои новые знакомцы отличались разносторонним образованием и светлым, прямодушным взглядом на свет и его деяния. Куда девалась эта славная молодежь, воспитанники славного адмирала М. П. Лазарева? Где Нахимовы, Корниловы, Истомины и многие другие? Они кровью своею заплатили долг отечеству и пали в развалинах Севастополя в последней безумной войне. Я всех их знал лично, когда они были командирами кораблей и участвовали в нашей экспедиции, которую описываю.

В тот же день за ужином я заметил на Мессере множество знаков отличия, свидетельствовавших о его славной службе. У него на шее висели Анна и Владимир, за 18 кампаний в петлице белелся Георгий и медалей несть числа...

Скоро эскадра снялась с якоря и стройно потянулась в путь, к восточным берегам негостеприимного Кавказа.

Скоро миновали мы Анапу — последнее укрепленное место наше.

Новость путешествия, чудная лунная ночь заставили меня позабыть время обычного успокоения, и я провел его на палубе, любуясь подвижной панорамой берегов, где изредка блестели огоньки неприязненного нам населения.

Едва солнечное светило вышло из лона вод и одело весь берег розовым отливом, как мы были уже у цели своих желаний и приближались к тому месту, где должны были сделать десант и которое называется Шапсуго. Передовые наши пароходы шныряли почти у самого берега и высматривали местность, а корабли, держась на большой глубине, выстроились опять в одну линию, вдоль берега, на котором, как муравьи, суетились наши неприятели. Раевский и Лазарев следили за всеми движениями в подзорные трубы и, равно как мы все, вероятно, чувствовали, что даром этого местечка Шапсуги не отдадут.

С адмиральского корабля грянул первый выстрел,

и ядро с визгом ударилось в берег. Со всех кораблей мигом спустились перевозочные лодки, и войска стали садиться в них. Я обнял моего доброго Мессера, распрощался с офицерами и с ружьем в руках прыгнул в лодку с 15 или 20 солдатами своего взвода. Лодки понеслись к берегу, как на какой-нибудь гонке, а оставшиеся за ними корабли стреляли целыми бортами через наши головы. Впереди, на берегу, леса валились от этой ужасной канонады, и скоро дым застлал всю окрестность. Раевский, с трубкою в зубах, в рубахе и с шашкою через плечо, стоял на носу лодки с Л. С. Пушкиным и плыл недалеко от нас. Он первый выскочил на берег, и по всей линии загремел огонь наших стрелков. Горцы, в числе 6 тысяч, залегли за камнями, деревьями и выжидали нас, а подпустив на близкое расстояние, стали с упорством отстреливаться. На левом фланге нашем сборище их было гуще, и потому начальник штаба Ольшевский, быстро собрав 2 баталиона Тенгинского полка и послав в обход, во фланг навагинцев, ударил в штыки. Неприятель поколебался, а полковник Полтинин с правого фланга смял остальные толпы, и по всей линии горцы обратились в бегство.

Занятие берега продолжалось недолго, и скоро мы стали властителями нового куска земли. Раевский, проходя по линии со всем своим штабом, поздравлял войска, а за поясом его торчал преогромный букет цветов кавказской флоры, который он набрал во время дела. Особенные команды и саперы стали рубить засеки; выгружали полевые пушки и прочие тяжести, и скоро даже забелелись несколько палаток — предвестники бивака. Раевскому разбили огромный шатер, музыка загремела, и возгласы лихих песельников стали раздаваться по ротам. А вдали глухо кипела еще перестрелка... С корабля своего приехал Лазарев, и многие офицеры, в том числе и я, теснились у палатки главнокомандующего. Появилось шампанское, и все радостно пили скорое и счастливое занятие нового места на восточном берегу Черного моря. При десанте мы потеряли не много людей, а 160 тел и между ними два князя горских приволочены были и сложены у палатки Раевского.

Я с Костенкой устроили свою палатку на небольшом возвышении у нашей роты, которая почти в ногах наших лежала в засеках. Дежурные часто обходили всю цепь стрелков, даже и ночью.

Глава XIX

Форт.— Генерал Головин.— Гибель Бефани.— Разговор горского князя с Раевским.— Моя болезнь.— Перестрелка.— «Рана для пансиона».— Я отправляюсь в Тамань на излечение

Настали июльские жары, а форт, нами устраиваемый, рос не по дням, а по часам! Наряженные очередные команды строили, рыли, тесали, рубили, а в палатках завязалась сильная игра. Костенко мой, несмотря на частые перебранки со мной, предался совершенно игре и занимал у меня частенько деньги. Наконец, я стал ему отказывать, и он бродил с грустным лицом по целым дням по лагерю.

В одно утро прибыл в лагерь из Тифлиса главнокомандующий, генерал Головин. Кавказские боевые войска были странно поражены увидеть перед собою генерала при 45 градусах тепла в сюртуке, застегнутом на все пуговицы и крючки, в огромном галстуке... Пот градом обливал его лицо, которое он тщетно старался утирать носовым платком. Рассказывали, что при свиданье с Раевским, когда Головин, сняв фуражку, поздравлял его с счастливым занятием и покорением нового места под скипетр Российской державы и спросил, какой награды он желает, Раевский простодушно только просил позволения снять сюртук и галстук.

Не помню, которого числа я зван был обедать у подполковника Б. с заманчивым обещанием накормить меня жареной индейкой, которая, конечно, была редкость в нашей лагерной жизни. Отправившись по приглашению к 12 часам, я застал хозяина, хлопотавшего об обеде, и еще одного гостя, поразившего меня своим прекрасным правильным лицом. Ему было не более 23 лет, умные глаза его светились, как два угля, и черные волосы красиво вились на его прекрасной голове. Меня познакомили с ним. Он назывался Бефани, был лейтенантом нашего флота и служил на пароходе «Язон», стоявшем недалеко от берега. Едва уселись мы за стол, как входит матрос его команды и передает ему приказание капитана немедленно пожаловать на пароход, так как пары уже разведены и судно идет с Раевским осматривать берега. Я никогда не забуду выражения голоса Бефани, когда он, выслушав приказание, сказал: «Боже мой, как мне это море надоело! Не хочу более служить на нем и, возвратясь в Николаев, подам

в отставку. Вот служба — не дадут и пообедать». Однако делать было нечего покуда, и Бефани нас оставил, чтобы на гичке, которую за ним прислал капитан, переехать на свой пароход.

Проводив гостя, мы без него кончили наш обед и когда вышли из палатки, то были изумлены быстрою переменой и в воздухе и на море. Оно как будто бы почернело и по временам, покрываясь пеною, как бы кипело. В атмосфере было душно, несмотря на завывания ветра. Транспортные суда сильно качались на своих якорях, а дымящийся «Язон» уже был далеко. Ветер ежеминутно крепчал, и волны с ужасною силою неслись и катились на берег. Солнце скрылось за черными тучами.

Возвратившись к себе в палатку, я должен был заняться, подобно другим, удержанием ее на месте, потому что ветер рвал ее немилосердно и скоро превратился в шторм. Хорошо, что флот наш удалился от берега!

К вечеру возвратился и пароход «Язон» с генералом Раевским. Буря так увеличилась, что капитан парохода не отважился спустить шлюпки и доставить командующего войсками на берег, но по его настояниям и приказанию это было сделано и, как увидим впоследствии, спасло генерала.

Шторм разыгрался в ужасных размерах; наступила мрачная ночь, и казалось, что облака соединились с морем, открыв свои хляби, а проливной дождь топил буквально наши бивуаки. За темнотою и ревом волн не видно и не слышно было, что делается с судами и на судах, а весь лагерь наш бродил по берегу в каком-то смутном страхе. Наконец толпы стали редеть, и каждый в душе своей ждал с нетерпением утра,— что оно нам скажет? Чуть стала брезжить заря, как толпам любопытных представилась мрачная картина. На месте, где стоял пароход «Язон», торчали две мачты... *пароход потонул!..*

Раевский со свитою уже был там... На мачте висел головой вниз тот самый лейтенант Бефани, которого я видел накануне за обедом у подполковника Б. Ниже его, на цепной лестнице, которая, кажется, называется вантами, держался еще человек в партикулярном плаще. Полы его сюртука развевались по ветру. Видно было, что лейтенант был бос и, спасая себя на вершине

мачты, вероятно, падал оттуда, но зацепился за что-нибудь и повис головою вниз, и она ударялась о мачту... Он был еще жив, потому что часто хватался за голову... Страшная судьба! А помочь этим единственным двум несчастным, оставшимся из целой команды «Язона», не было никакой возможности. Волны ежеминутно готовы были поглотить и унести с собою всякого смельчака, приближавшегося близко к берегу.

Далее по берегу выброшено было славное судно «Ланжерон», а за речкой, отделявшей нас (при своем впадении в море) от неприятельского берега,— еще два фрегата наши, бывшие под командою Памфилова, лежали выброшенные на берег и довершали картину разрушения. Видно было, что все оставшиеся на них живыми кучкою стояли у речки, без всякого оружия, но, к счастию, горцы, привлеченные легкою добычею, начали расхищение разбитых фрегатов и покуда не трогали беззащитных. Пушки, зеркала, посуда разносились горцами проворно. А мы и тут не могли помочь горю, потому что речонка Шапсуго, от дождей переполнившись в своих берегах, с яростью катила свои волны в море и представляла нам непреоборимую преграду. Раевский приказал достать откуда-то уцелевшую шаланду, вызвал охотников и сам хотел с ними ехать на спасение погибавших, но был остановлен Ольшевским. Едва шаланда отвалила от берега, как ее, крутя и ломая, понесло в море. С большим трудом спасли людей и должны были отказаться от этого способа, чтобы перебраться на противоположный берег. Полковник Полтинин предложил Раевскому с отрядом подняться вверх по р. Шапсуго в горы и в более удобном месте перейти ее и таким образом выручить наших беззащитных моряков. На этом решили; Полтинин немедленно выступил с отрядом, достиг в горах удобного для переправы места, спустился на берег моря и, взяв с собою несчастных, претерпевших кораблекрушение, вернулся с ними.

Мы хотя и стреляли по кучкам горцев, грабивших наши зарывшиеся фрегаты, но мало делали им вреда, потому что ядра наши едва достигали этого места.

К вечеру этого дня казалось, что несчастный Бефани скончался, хотя висел все в том же положении. Человек в партикулярном платье все еще держался на прежнем месте, хотя волны поминутно окачивали его.

На третьи сутки почти весь отряд снова собрался на берег, и так как шторм уменьшался, а несчастный все еще держался, то Раевский вызвал охотников спасти его, обещая в награду Георгиевский крест и 300 руб. серебром.

Небольшого роста невзрачный черноморский казак вызвался на славное дело и, обвязав себя длинною веревкою, которой конец взяли 100 человек, перекрестился и ринулся в клокотавшие и ревущие волны... Он исчез, а мы с замиранием сердца смотрели на эту страшную картину. Но вот бесстрашный пловец уже у цели своей... Мы видим, как он хватает несчастного в охапку и с ним снова погружается в волны... На берегу стали живо тащить веревку в гору, и Раевский сам помогал. Вот черная масса подвигается к берегу, и скоро два крепко обнявшихся трупа вытащены были на берег. Спасенный оказался англичанином, машинистом парохода «Язон». Обоих стали приводить в чувство. Доктора, фельдшера засуетились и делали все, предписываемое наукой. Машинисту пустили кровь, она не пошла... Казаку влили в рот теплого рому, и он вскоре очнулся и со временем получил обещанную награду. Машинист стал приходить в себя, но сидел весь почернелый, все еще в каком-то забытьи. Когда ему стали пускать кровь из другой руки, он едва слышным голосом просил посмотреть у него в кармане, цел ли его бумажник, в котором было 6000 рублей и векселя, в противном случае умолял оставить его умирать. Находясь в это время близ него и понимая английский язык, я исполнил его просьбу и, к удовольствию, вытащил его бумажник и нашел все его богатство целым, но, конечно, размокшим. Тогда англичанин стал улыбаться. «Here it is — very good, very good *»,— промычал он и протянул свою руку. Кровь пошла, и доктора объявили, что будет жив, а вечером он прохаживался уже.

Я сходил в отряд казаков, чтобы видеть и поговорить с смельчаком-спасителем и допытаться, что подвигало его к такому самоотвержению: любовь ли к человечеству, или обещанная награда. Я застал казачка у артельного котла за ужином, и уже помину не было о добром деле, им сделанном. В природе русской часто можно видеть примеры необыкновенного самоотверже-

* Здесь — очень хорошо, очень хорошо *(англ.)*.

ния, без всякой задней мысли, и так, кажется, было и с моим казаком. Впрочем, он показал мне свои плечи в ранах. Все 10 пальцев окоченевшего англичанина ясно на них значились и еще напоминали доброму человеку его похвальный поступок, о котором он уже и не вспоминал.

Так кончилась эта страшная катастрофа... Бедный Бефани с разбитою головой на пятые сутки был снят с мачты и похоронен с военными почестями. Сделали следствие, привели в известность потерю в людях и материальной части и донесли государю: на <донесении> он собственноручно надписал: «Предать воле божией». Справедливо и мудро.

Укрепление, нами возводимое, приходило к концу и получило европейское название *«Форт Тенгинский»*. Место это лежит в глубокой котловине, а по горам растет вековой лес чинаров, орешника, диких каштанов, и хотя все очень грандиозно, но климат нездоровый. Сколько раз я любовался этой картиной и в подзорную трубку ясно видел в ущельях одиночные сакли и аулы горцев. Кажется, так бы и полетел в эти горы, в эти рощи, но за цепь нашу и носу показать нельзя было. Меткая пуля врага всегда готова встретить оплошного. Когда-то эти божьи места, путем просвещения, цивилизации, сделаются достоянием образованного человечества? Огонь и меч не принесут пользы, да и кто дал нам право таким образом вносить образование к людям, которые довольствуются своею свободою и собственностью?

Раз мы были у палатки Раевского, когда к нему привели горского князя, приехавшего просить о выдаче тел убитых горцев. Я никогда не забуду разговора их.

— Зачем вы не покоряетесь нашему великому государю,— спросил Раевский князя,— а заставляете нас проливать кровь напрасно? Знаю, что у вас в горах скрывается англичанин *Белл,* мутит вас и обнадеживает помощью Англии, но верьте мне, что он вас обманывает, помощи вы ни от кого не получите, а лучше выдайте мне его с руками и ногами и получите за это много серебра от нашего государя, который очень богат.

Тогда горский князь с достоинством отвечал чрез толмача:

— Удивляюсь я словам генерала. Ежели это правда, что царь ваш так богат, то для чего же он так завидует нашей бедности и не позволяет нам спокойно сеять наше просо в наших бедных горах? Ваш царь должен быть очень корыстолюбивый царь. Что же касается англичанина Белла, то мы не можем его выдать. Потому что он наш друг и гость и много делает нам добра. И у нас, как и у вас, есть негодяи, которых можно купить, но мы, князья, дворяне, всегда останемся честны, и нет у вас столько золота и серебра, чтоб совратить нас с пути чести.

Я заметил, что Раевскому сделалось как-то неловко, и он поторопился кончить этот щекотливый разговор, приказав выдать князю просимые им тела соотечественников, лежавших в куче, как дрова. На нарочно присланной за ними арбе отправились покойники восвояси, чтобы быть похороненными на земле, не оскверненной ногою гяура. Горцы отобрали только тела убитых пулями: смерть от штыка они считают бесчестною.

На руках некоторых трупов я заметил красные шерстяные шнурки, и мне разъяснили, что это обыкновение соблюдается всегда при отправлении на войну. Жены и возлюбленные дают мужьям и любовникам этот амулет с пожеланием победить или умереть. Это — *«со щитом иль на щите»,* как в древней Греции или как в рыцарской Европе 14-го столетия дамы украшали шарфами защитников феодальных замков своих.

Я скоро не мог выносить непривычного климата и занемог сериозно. Однажды лежу себе в своей палатке и прислушиваюсь к отдаленной перестрелке где-то в горах. Вдруг в лагере грянула пушка, и капитан Маслович второпях вошел ко мне:

— Любезный Н<иколай> И<ванович>, я иду с ротой на рубку леса. Горцы сильно защищают его, хотя там наших уже несколько рот.

— Я иду с вами,— сказал я.

— К чему? Вы не так-то здоровы и слабы еще да к тому же уж представлены к производству в у<нтер>-о<фицеры>. А лучше сделайте вот что: у меня не готов еще обед; понадсмотрите за этим и когда он поспеет, то отправьте его ко мне в лес. Прощайте! — и он исчез с своей ротой.

Исполняя просьбу своего капитана, я так и распорядился; но когда обед был готов, то пошел с палкою

в руке вместе с денщиком отыскивать Масловича. В салфетке и в корзинке неслись за мной водка, портер, биток и солонина с горохом. По направлению выстрелов шли мы оба, спустились с какого-то возвышения по едва протоптанной тропинке, шли небольшою долиною и наткнулись на наших застрельщиков, залегших в кустах, по берегу речонки. С противоположного берега сыпались черкесские пули. В срубленном лесу я заметил солдата нашей роты, тащившего колоду, и от него узнал, что капитан и офицерство — на небольшом возвышении. Шагая по пням и сучьям, добрались мы с денщиком до этого места и в самом деле застали всех наших играющих в карты. Едва они меня заметили, то стали мне кричать, чтоб я нагнулся в кустах. И в самом деле нужно было это сделать, потому что неотвязчивые неприятельские пули так и жужжали кругом нас, обивая с шумом лист на дереве. Но и я и завтрак благополучно достигли своего назначения.

Перестрелка все усиливалась, и капитан пошел в цепь посмотреть, что там делается. Я ему сопутствовал. Едва мы спустились с возвышения, на котором завтракали, и стали приближаться к нашей цепи, которая лежала, как я уже сказал, как мы увидели офицера, прохаживающегося мерным шагом в самом открытом месте. Мне показалось странным такая противокавказская логика, а Маслович объяснил мне, что этот чудак нарочно выставляется и лезет на вражескую пулю, чтоб быть непременно раненым и выслужить пенсион. «Я и сам всякий раз, что бываю в деле,— прибавил наивно Маслович,— всегда желаю, чтоб меня ранили для пенсиона. К несчастию, это не случается. Пришед в лагерь, выпадают из-под платья иногда пули, да оглядишь — на сюртуке несколько новых дыр. То и дело зашиваешь их. Вот я так и маюсь здесь на Кавказе 20 лет, а что проку в побрякушках, которые я получил за все это время? Чин капитана да Станислава на шею — из них ведь шубы не сошьешь. А будь я ранен, получил бы пенсион, вышел бы в отставку и зажил бы паном».

В это время фельдфебель доложил Масловичу, что рота готова с лесом. Приказано было собрать стрелков, и движение началось. Смотрим — несут-таки офицера, желавшего быть раненым для пенсиона, а он улыбается и рад-радешенек, что пуля прошла ему выше колена в ногу, а Маслович ему завидует и ругается на свое

несчастье. Даже солдаты считали его заколдованным или заговоренным против черкесских пуль.

Между тем здоровье мое все хуже и хуже. Старший отрядный медик Хайдушко, родом богемец, навестив меня, советовал уехать из отряда и предложил даже свое ходатайство у отрядного начальника, тем более что завтра отходит пароход в Керчь, где я могу удобно лечиться в госпитале. Я согласился. Скоро Раевский прислал мне сказать, что я могу отправиться в Тамань на излечение. Я поторопился собраться, простился с капитаном Масловичем и Костенкой, который за взятие Шапсуго представлен в офицеры и по этому случаю дал мне слово не играть в карты.

Глава XX

Правительственные шпионы.— Преследования либералов.— Госпиталь в крепости Фанагории.— Переезд в землянку.— Аптекарь здешних мест — Иван Иванович Ромберг.— Приезд Льва Пушкина.— Поездка к Херхеулидзевым.— 200 устриц в награду за подвиг.— История князя Херхеулидзева.— Возвращение.— Почтенная Анна Ивановна Нейдгарт.— Конец летней экспедиции.— Приезд Н. Раевского.— Производство в унтер-офицеры.— Опасная поездка

Я говорил уже однажды о странной оценке нашей службы, то есть всех сосланных по делу <18>25 года. Ближайшим нашим начальникам не позволялось таксировать наших заслуг и предоставлялось только прописать «на всемилостивейшее воззрение». Каждый из нас мог снять звезду с неба, и это бы не дало ему права получить награду, ежели бы случилось, что царское зрение в недобрую минуту не упало бы на эту строчку. Наученный опытом, Раевский нас боялся, да и мы его избегали, чтоб невольно не ввести его в неприятное положение, так как доносчиков расплодилось многое множество. Часто приезжали к нам на Кавказ флигель-адъютанты, а зачем? Бог знает! Помню, что они своим присутствием наводили на целые отряды какое-<то> непонятное, неприятное чувство. Конечно, и между ними случались исключения, но вообще остается сожалеть, что господа эти поступками некоторых из своих товарищей унизили и уронили это почетное звание и обязанность. Вельяминов не был педантом в мелочах и всегда оставался строг по службе, однако при первом сви-

дании с нами он нам сказал: «Помните, господа, что на Кавказе есть много людей в черных и красных воротниках, которые следят за вами и за нами». Была организована система политического доноса. Не было общественного места, не было гостиной, куда бы не вкрались шпионы, даже семейный очаг не был от них избавлен. Повсюду правительство видело либералов или якобинцев. Брали на замечание тех, которые с удовольствием читали какой-нибудь журнал, в особенности иностранный. И не было границ мелочным притеснениям против тех, кто имел бороду и носил длинные волосы или пальто; обе эти вещи признавались наружными знаками либерала. Грустно! При Ермолове этого не было. Язва разлилась и в благородном военном звании; и в нем поселилась такая гнусная обязанность и направление.

На пароходе «Колхида» отправился я в Керчь с моим товарищем Черкасовым, и тут же с нами находился раненый поручик, накануне давший себя подстрелить ради пенсии. Командиром парохода был капитан Швендер. Погода была хорошая, мы шли всю ночь и рано утром бросили якорь перед Таманью, в древности называвшейся Тмутараканью. Выйдя на берег, нам пришлось тащиться пешком с нашими пожитками в гору и с версту в крепость Фанагорию, где и госпиталь — цель нашего странствования. Так как у нас были билеты для приема в лазарет, то мы с Черкасовым и явились к смотрителю госпиталя, в чине подполковника. По рекомендации доктора Хайдушки вероятно, нас троих поместили в отдельную палату, большую, чистую и довольно пристойную, но мы долго не могли привыкнуть к запаху различных лекарств, которым заражены и пропитаны зеленые кровати, столы, тюфяки и все лазаретные вещи. Здесь мне пришлось видеть, как я думаю и во всех местах этого рода, страдание человечества во всех его проявлениях и фазах, но и здесь же, и, конечно, более, нежели где-нибудь, я принужден был наблюдать бесчеловечные поступки и обращение с несчастными страдальцами лазаретного начальства и комиссаров. Что только можно украсть и оттянуть от больного, то все кралось и оттягивалось. К чести юного поколения докторов могу сказать, что они одни были людьми бескорыстными и почти все знали свое дело медиков и операторов, быв выпущенными из Виленского

университета. Со многими из них я познакомился и сошелся. Впоследствии их взяли на восточный берег, и там они погибли жертвою климата.

Видя ежедневно все ужасы смерти и, что хуже еще, страданий и лишений бедных солдат, и убийственное равнодушие начальства, я не в силах был более оставаться в стенах госпитальных. Однажды бродил я по крепостце, осмотрел ее незначительные укрепления и спустился к морскому берегу. На обрыве стояла чистенькая землянка с трубою и тремя окнами, почти на земле проделанными. Я полюбопытствовал и вошел. Меня встретила хозяйка этого скромного жилища, и я узнал, что она была казачка и живет с своей 12-летнею дочерью. У нее нашлась особая горенка, и мы скоро сошлись в цене. Стол, 3 стула, кровать составляли мою мебель, пол был вымазан желтою глиной и усыпан пахучими травами. Я очень обрадовался своей находке и, предпочтя это чистое помещение лазаретной вони, в тот же день перебрался в свое новое жилище.

Землянка моя вырыта в крутом обрыве и, как бы сказать, лепится у самого моря, так что я постоянно слышу плеск волн, ударяющихся в песчаный берег. Против моих окошечек виднеется за 30-верстным проливом городок Еникале, и при попутном ветре достаточно двух часов, чтобы перенестись на тот берег, что беспрестанно и делают казаки на своих парусных лодках и душегубках.

Не успел я оглядеться хорошенько, как посетил меня Иван Иванович Ромберг, аптекарь здешних мест. Я чрезвычайно был рад его посещению, а так как Ромберг с первого раза мне очень понравился, к тому же был немец, а я с детства любил эту нацию, то мы с ним скоро сошлись. Иван Иванович был женат на немке же и не имел детей. Думая еще и прежде о средствах пропитания и не желая заводиться хозяйством, я в разговоре сказал Ромбергу:

— Вероятно, супруга ваша должна быть отличной хозяйкой?

— Конечно,— отвечал он мне,— в особенности же она отлично печет пирожки и мастерица жарить, и я пришел пригласить вас.

— С удовольствием,— отвечал я, и мы пошли.

Квартира его была недалеко от моей землянки, и при нашем приходе мы нашли уже стол накрытым

ослепительной белизны скатертью. На столике красовался графинчик водки, вероятно фабрикованный в аптеке. С нашим появлением показалась сама хозяйка с мискою дымящегося супу. Мы познакомились и принялись уничтожать обед, оказавшийся чистым, вкусным, а пирожки были просто объеденье. За столом же мы и порешили, что за 25 рублей в месяц я поступаю к этому доброму семейству на пансион.

Так тянулись дни в ожидании лучшего. Ведь будет же какой-нибудь конец моей драмы? «Es kann nicht immer so bleiben *»,— сказал какой-то философ-флегматик.

В одно утро посетил меня Лев Пушкин. Доискиваясь моей квартиры, какой-то праздношатающийся в крепости указал ему единственную трубу моей землянки, торчащей из-за обрыва. «Помилуй, братец! это кузница»,— сказал со своим обычным смехом Лев Сергеевич и мигом прибежал ко мне. После первых объятий я спросил его:

— Откуда и куда?

— Из форта послан Раевским по службе в Керчь, а главная цель моей откомандировки — поесть устриц.

— Это впереди, а чем тебя теперь потчевать? Хочешь чаю?

— Не пью.

— Кофею?

— Не пью.

— Хочешь водки?

— Пью, вино пью, давай,— и он начал пить.

— Знаешь ли, что я нарочно приехал за тобою,— продолжал Пушкин, опоражнивая стакан за стаканом,— и везу тебя в Керчь к к<н>. Херхеулидзеву, который желает тебя видеть и познакомить с княгиней. Они объявили мне, чтоб без тебя я не смел к ним являться.

— Рад очень обнять друга моего князя, но можно ли мне отлучиться? Я считаюсь больным в госпитале и боюсь скомпрометировать и князя и лазаретное начальство.

— Полно, любезный друг. Волка бояться — и в лес не ходить, собирайся, ветер попутный, и к обеду мы там.

---

* Не всегда же так будет (*нем.*).

Я предупредил старшего доктора о своей отлучке на неделю в Керчь, облачился в солдатскую шинель и на лодочке с Пушкиным переехал на казенный тендер, бывший в распоряжении его.

Странно, военный тендер этот назывался «Часовой», командир — лейтенант Десятый, на нем 10 человек матросов и один из них также прозывается *Десятый*. В крошечной каюте капитана Пушкин и Десятый стали пить вино, и потом оба заснули, а я вышел на палубу. Тендер, как курьер, летел на всех парусах. Скоро мы миновали много иностранных судов, которые каждым летом, в числе нескольких сот, посещают наши азовские порты и нагружаются хлебом и прочими продуктами. Тендер, как ловкий кавалер, миновал все препятствия и шибко и грациозно вошел в бухту и бросил якорь у пристани.

Мы с Пушкиным пошли прямо к дому градоначальника Херхеулидзева. При входе в переднюю я просил Льва Сергеевича предупредить князя, а главное — узнать, нет ли у него посторонних гостей, но через несколько секунд прибежал князь, и мы обнялись с восторгом, не видавшись с нашей гвардейской службы. Тут прибежала княгиня и, не дав мне времени прилично ей представиться, взяла меня за руки и, со свойственною ей любезностью, сказала: «Знаю вас давно. Муж мой все мне передал, и я надеюсь, что вы останетесь снова нашим другом». Пушкин стоял и улыбался. Скоро подали обед, и он был вознагражден за свой подвиг тем, что ему подали огромный поднос устриц, кажется до 200, так что и он не утерпел, чтобы не сказать: «Господи, за что так щедро меня награждаешь?» Шампанским за наше свидание завершался обед.

Князь Захар Семенович Херхеулидзев из грузин, родился в России. Мать его, не знаю, по какому-то делу, приехала в Малороссию; П. В. Капнист принял ее в свой дом в то время, когда и я там воспитывался. Захар Семеновичу было 11 лет, когда мы с ним познакомились и два года провели вместе. Чрез несколько лет судьба опять нас свела, уже молодыми людьми. Князь служил в Преображенском полку штабс-капитаном и казначеем полка, я — в Московском.

Несмотря на то что он был отличным офицером, любим и уважаем товарищами, в<ел>. к<н>. Михаил Павлович не давал ему командовать ротою, придираясь

к тому, что у Херхеулидзева не было звучного, сильного голоса. Князь обиделся и хотел подать в отставку, но Воронцов, назначенный в то время военным генерал-губернатором Новороссийского края, знав благородные качества души Херхеулидзева, взял его к себе в адъютанты и в оправдание выбора своего часто говаривал: «По голосу можно и должно выбирать людей только в певческую капеллу». И князь Воронцов был прав. Почти такое же происшествие случилось с Дибичем, служившим в Семеновском полку. В приезд прусского короля в Петербург Дибич назначен был в внутренний караул, но монаршим повелением за неприличную фигуру лишен был этой чести, с приказанием впредь никогда не назначать подобных в торжественных случаях. Дибич обиделся и вышел из полка в Генеральный штаб подполковником. И эта гнусная фигура своими познаниями и достоинствами сделалась российским фельдмаршалом, покорила России многие земли и обогатила ее военную историю новыми блестящими победами!

Херхеулидзев служил адъютантом Воронцова до чина полковника и делал с ним Турецкую кампанию 1828 года. В награду Воронцов назначил его градоначальником г. Керчи, переименовав в статские советники, и тут-то мы с ним свиделись после 20-летней разлуки. Г. Керчь — его создание. Его трудами он сделал ее маленькой Одессой, и Воронцов в шутку называл Керчь ее недоноском. Впоследствии, когда князь Воронцов назначен был наместником Кавказа, а Федоров заменил его в Новороссийском крае, Херхеулидзев не ужился с новым генерал-губернатором и был переведен губернатором в Смоленск. Более способный к делам коммерческим и имевший постоянные сношения с негоциантами, людьми просвещенными по преимуществу, Херхеулидзев не мог оставаться равнодушным ко всем нашим губернским злоупотреблениям, поссорился с предводителем дворянства князем Друцким и, оставив службу, поселился в Петербурге, чтоб заняться воспитанием детей своих. Ныне царствующий государь, зная его бескорыстие и неподкупную честность, после сдачи Севастополя поручил Херхеулидзеву осмотреть и привести в порядок госпитальную часть в армии, где, как известно, произошли страшные беспорядки.

Князь строго принялся за новую обязанность; ежедневно навещал больных, следил неусыпно за поряд-

ком, осматривал пищу, белье и, конечно, к сожалению всех несчастных страдальцев, заразился, получил тифозную горячку и скончался в Севастополе, где на кладбище и похоронен. Мир праху твоему, благороднейший человек и близкий друг мой! Ты кончил жизнь свою на поприще службы и до последней минуты приносил пользу человечеству и согражданам твоим.

Скоро я расстался с семейством Херхеулидзева и возвратился в свою землянку в Керчи. Пушкин проглотил несколько сот устриц и уехал на восточный берег.

Наступила зима, и в длинные вечера ее я много читал и писал. Сварливая хозяйка моя то и дело ругалась с моим человеком, но этих развлечений мне было недостаточно. К счастию моему, в соседстве жила почтенная старушка вдова Нейдгарт. Муж ее был полковником артиллерии и приходился родным братом генерал-адъютанту Нейдгарту (бывшему впоследствии главнокомандующим войсками Кавказа, но ненадолго); он, бывши под судом за какие-то упущения, умер неоправданным и тем лишил свою бедную жену небольшого пенсиона и средств существования. Старушка сама пожелала со мной познакомиться, а мне это было с руки. Я не замедлил отправиться к ней с визитом и нашел предобрую и пречопорную старушку, занимавшую две чистенькие горенки со множеством образов, пред которыми теплилась неугасимая лампада.

Она полюбила меня, как сына, и впоследствии постоянно опасалась за мою жизнь, вечно ожидая набега горцев. Мы с нею скоро сошлись, и она мне призналась, что по вечерам бывает спокойна тогда только, когда в окнах моих увидит огонь. Для нее это значило, что я дома, и она принималась за обычную ее молитву, в которой не забывала испрашивать и скорого производства моего в офицеры. В крепости все любили и уважали почтенную Анну Ивановну, и по праздникам все госпитальные чиновники ходили к ней с поздравлением.

Летняя экспедиция кончилась, гвардейцы стали разъезжаться, и Раевский приехал в Тамань. За взятие Шапсуго *меня произвели в унтер-офицеры,* и я счел долгом своим лично поблагодарить командующего войсками и отправился к нему с этою целью. Сам Раевский был произведен за экспедицию в генерал-лейтенан-

ты, и мы оба, кажется, были довольны, хотя при обоюдном нашем поздравлении Раевский прибавил мне: «C'est le premier pas qui coûte *». Я хотел было напомнить генералу, что этот первый шаг делается мною во второй раз в мою жизнь, но, заметив многочисленный штаб, его окружающий, удержался вовремя, припомнив, кстати, слова Вельяминова.

Возвращаясь от Раевского, я зашел к коменданту Тамани майору Дорошенке, потомку славного запорожца. Не знаю, каков был его предок, но мой знакомый был миролюбивейшим, прекрасным, добрейшим человеком, и все его любили, в особенности же гвардейские офицеры, которых комендант частенько выводил из беды, ссужая своими деньгами. Жена его была также хорошая женщина и любила всех декабристов, а меня отличала, присылая часто отличных белых бубликов своего печенья.

Ездить в Керчь зимою весьма опасно, и бывает период времени, что даже отважные казаки на своих лодках не решаются на эти поездки. Наступила масленица, и я получил приглашение от Херхеулидзевой приехать в Керчь с первою возможностию. Но пролив покрыт был льдом, и случая не представилось. Однажды получаю записку от коменданта с извещением, что есть оказия переправить меня в Керчь. Прихожу к нему и застаю капитан-лейтенанта Памфилова, отправляющегося с депешами к Раевскому. Он во что бы то ни стало должен быть сегодня вечером в Керчи и предложил мне разделить с ним это опасное путешествие. Я согласился, но так как от берега лед еще не тронулся, то <мы> должны были достигнуть косы или выдавшегося мыса, верст на 6 впереди, на почтовой тройке и там только сесть в почтовую лодку, которая уже перевезет нас на твердую землю Крыма.

Благословясь, мы пустились в путь и скоро достигли оконечности косы и казачьего поста, там стоящего. Памфилов с телескопом полез на крышу, чтоб лучше осмотреть пролив и море, и, хотя открыл опытным взглядом своим только чернеющуюся дорожку меж льдов, однако решил, что надобно плыть. Мы отчалили от берега и стали лавировать меж огромными льдинами. За версту, однако ж, мы врезались в лед так, что

---

* Первый шаг всегда много стоит *(фр.)*.

могли легко погибнуть, но, подстрекаемые отважным Памфиловым, все выскочили из лодки на льдину, перетащили ее дружными усилиями в открывшиеся воды и снова поплыли.

Опасность быть запертыми льдом и унесенными течением в Черное море грозила нам снова, но мы на веслах выждали прохода льда и, наконец, после долгих усилий пристали на Павловской батарее, а оттуда версты 4 должны были пешком, по вязкой глине еще тащиться в Керчь. Однако ж в 10 часов, к ужину, я был у моих друзей, очень обрадовавшихся моему нечаянному приезду, и прогостил у них несколько недель.

Глава XXI

Разговоры о новой экспедиции.— Генерал Завадовский.— Встреча с Нарышкиным, Одоевским, Назимовым, Лихаревым и Игельстромом.— Приготовление к экспедиции.— Десант.— Лагерь после победы.— Товарищеский обед в Иванов день.— Атака горцев.— Данзас.— Конец экспедиции.— Последнее свидание с Одоевским в здешнем мире.— Тамань и персиковое дерево.— Весть о смерти Одоевского

Весною заговорили о новой большой экспедиции на восточном берегу. Говорили, что Раевский намерен занять еще одно место на берегу, воздвигнуть там форт, потом идти в горы и покорить непокорных натухайцев.

В ожидании новых трудов я мирно жил в Тамани, а с наступлением весны предался своим любимым прогулкам в окрестностях. Я, как новый Колумб, открыл невдалеке от Тамани два больших кургана, насыпанных, по преданию, Суворовым при покорении этих стран у турок. В версте от Фанагории обрел я фонтан, выкопанный турками же; вода холодная, прозрачная, вкусная, и ею снабжается лазарет, посылающий свои бочки ежедневно за живительной влагой. Я часто отдыхал в этом месте, в тени трех старых дерев, и мечту мою ничто не нарушало в степи, меня окружающей.

Войска стали мало-помалу собираться к предстоящей экспедиции, и в мирном уголке моем стали пошевеливаться. Смотритель госпиталя стал выдавать чаще чистое белье, повара лучше готовили пищу, медики аккуратнее обегали палаты свои, и все ждали приезда начальника и желали показать товар лицом. Мой Иван Иванович Ромберг все долее и долее оставался в своей

аптеке и даже стал опаздывать к обеду, что очень огорчало его жену, заботившуюся только о своем хозяйстве.

Мне хотелось узнать, скоро ли прибудет наш полк, и я однажды отправился в Тамань к коменданту, как месту, где сосредоточиваются все новости. У пристани я нашел много военного народа, казацких офицеров и самого Дорошенку, а подойдя ближе, увидал генерала Завадовского, начальника Черноморской линии. Так как я был с ним знаком, то подошел к нему с вопросом, куда он отправляется в такую бурную погоду. «Еду в Керчь, к Раевскому,— отвечал он мне громко и, наклонившись к уху моему, прибавил: — *Ему везе!*» О, подумал я, и в этом скромном уголке земного шара есть куртизаны, и Завадовский с опасностию жизни пускается в Керчь, чтоб почтительнейше засвидетельствовать свое глубочайшее почтение Раевскому потому только, что *«ему везе»*.

Завадовский не был дурным человеком, но не получил никакого образования и был далек каких-нибудь новых систем войны. Он водил ее обыкновенно на старый лад, методически, чтоб отбить стада горцев и разделить добычу между своими казачками. Как истый малоросс, он был хитер и тонок и обыкновенно прикидывался простаком, приговаривая: «Мы люди бедны, мы люди темны».

Рассказывают про него, что когда государь Николай Павлович был в Ставрополе и весь генералитет ждал его выхода, Завадовский толкался между этими сановниками и всем рассказывал, что пропала его головушка, ежели царю вздумается прокатиться по Черноморию, что дорог, мостов и гатей в ней не чинили и не поддерживали со дня переселения туда казаков и прочее. Вскоре государь вышел и, обратившись к Завадовскому, сказал ему: «Ты не сердись на меня, ежели в этот раз я не могу быть у тебя на линии». Тогда Завадовский закрыл глаза и сумел выжать несколько слезинок, тронутый таким отказом обожаемого монарха, а едва оставил залу, не стесняясь, громко радовался этой немилости и крестился и отмаливался, что отделался от опасности ревизора. Это совершенно в нравах малороссов.

Наконец и для меня настал радостный денек. В одно утро, сидя в моей крошечной землянке, я услыхал знакомые голоса моих любезных товарищей и чрез несколько секунд обнимал уже Нарышкина, Одоевского,

Назимова, Лихарева и Игельстрома. Все они посланы были на правый фланг для экспедиции и только что пришли с отрядом. Разговорам, расспросам не было конца, мы шутили, смеялись, радовались, как дети. Бог привел товарищей Читы и Петровского завода разделить со мною труды кавказской войны.

Отдохнув немного, мы всем обществом пошли в Тамань отыскивать удобные квартиры; вскоре обрели, что нам было нужно, купили посуду, и все пошло своим порядком. В одно утро выстрел с купеческого корабля на рейде возвестил о приближении к Тамани важного лица, и мы пошли к берегу. От Керчи шел пароход и вез Раевского «La fortune de Césare», со своим штабом, с женою и большим причтом шляпок, стал на якоре и на лодочках перебрался на берег, где и занял отведенный ему дом. Жена Раевского, урожденная Бороздина, приехала из Керчи проводить мужа и, само собой разумеется, разделяла с ним дань уважения и почестей, оказываемых любимому начальнику.

Всю ночь эту провел я без сна, делая свои приготовления, снаряжаясь в экспедицию. На другой день мы выступили на сборный пункт, где собирались в прошлый год, но мне было не так грустно, потому что многие товарищи на этот раз были со мною. Так же как прошлый год, с флота прислали за нами большое количество лодок, и я попал с моим взводом на корабль «Силистрия», к большому сожалению моему, что не снова к другу моему Мессеру на корабль «Память Евстафия». Я очутился в тесноте и хотя между более или менее знакомыми моряками, но все не то, что на палубе у Мессера.

Войска продолжали рассаживаться, а я вышел на палубу. Адмирал Лазарев ходил с подзорной трубой взад и вперед, по обыкновенной привычке старых моряков... Увидав меня, он подошел ко мне и весьма ласково осведомился, зачем я не у Мессера на корабле, и прибавил, что здесь квартира Раевского с целым штабом и что мне будет «и тесно и непокойно». «Я прикажу перевести вас к Мессеру»,— кончил он и призвал мичмана передать ему приказание. Гичка была спущена, я мигом собрал свои пожитки, и мы поплыли к «Памяти Евстафия», где, заметив, что от адмиральского корабля спустили гичку, ожидали важного посланного до тех пор, пока не узнали меня и свою ошибку. Так же радушно, как и прошлый год, был я принят целым экипажем, и на другой день

мы весело плыли на всех парусах в виду берегов Кавказа. На этот раз Раевский вносил русское оружие в землю убыхов, племя самое воинственное, и по всему заметно, что нам не дешево достанется это святое место, как сами горцы его называют.

Рано утром с адмиральского корабля выстрел возвестил нам, что пора готовиться к десанту. Войска на лодках стали высаживаться на берег под прикрытием своих кораблей, которые над нашими головами посылали со всех своих бортов кучи ядер, так что только грохотало эхо и лес на прибрежье с треском валился, как скошенная трава. Раевский также одним из первых выпрыгнул на твердую землю, и я был недалеко от него, хотя с ружьем и незаряженным, по обыкновению, которое я имел, уверенный, что никогда не попаду в черкеса.

Едва мы сделали несколько шагов вслед за стрелками, как из леса показалась масса конных убыхов, тысяч до трех, и с страшным гиком кинулась на нас с поднятыми шашками.

Мне кажется, что я никогда не забуду страшного впечатления, произведенного на нас этой неожиданной атакой. Два предводителя горцев, верхами на белых конях, отважно неслись впереди толпы; минута была критическая, но генерал Кошутин, командовавший нашей колонной, не дремал. Перекрестившись, в штыки повел он батальон навстречу отчаянного неприятеля, а 3 конные легкие орудия, прикрывавшие нашу колонну и находившиеся неподалеку ее с Раевским, картечью умерили пыл отваги. Я видел, как свита Раевского засуетилась, заколебалась, но сам он прехладнокровно курил трубку и пускал спокойно дымок. Навагинцы поддержали смертоносный огонь наших пушек штыками и батальонным огнем, и неприятель был отбит и преследуем моряками. Уходящему, или лучше сказать, бегущему неприятелю, не удалось совершить спокойно своего отступления. Навагинцы зашли им в тыл и приняли в штыки. Резня началась славная, и горцев рубили и кололи напропалую.

У нас все было кончено. Раевский сел верхом и поздравил колонны с победой. Но на правом нашем фланге трещала еще страшная пальба и беспокоила меня за Нарышкина, который там находился. Я пошел по направлению выстрелов и дорогой встречал многих раненых. Кого несли, кого вели, кто брел, опираясь на ружье. Я вступил уже на линию огня, и черкесские пули стали

свистать частенько около меня... Попавшийся мне знакомый офицер указал мне, где отыскать Нарышкина, которого я и нашел, наконец, с Загорецким у дерева. Последний заряжал ружье Нарышкину, а у М<ихаила> М<ихайловича>, сделавшего более 70 выстрелов, усы и все лицо было черно от пороху и дыму...

Между тем и на правом фланге наши преследовали горцев, и отдаляющаяся перестрелка показала нам, что делу конец. «Слава богу, что мы все живы и невредимы, пойдем в лагерь»,— сказал Нарышкин, и мы поплелись восвояси. По дороге встретили верного повара Нарышкина, который, искренно выразив своему барину всю свою радость при виде его невредимым, объявил нам, что самовар готов у самого моря. Вскоре мы дошли до места отдохновения и разлеглись на коврах и подушках, отвели душу душистым русским напитком. Возвращающиеся отряды вступали в лагерь, и возле нас образовался кружок недавних действователей. Рассказам эпизодов боя не было конца. Мы, как и всегда, остались победителями, однако не дешево стоила нам эта победа. У нас было много раненых, между прочим, между моряками был ранен в живот лейтенант Фридрихс. Пушкин вскоре оживил нашу беседу своими веселыми замечаниями и шутками, а недалеко от нас лежали бедные мученики — наши раненые, и доктора суетились возле них.

Человек делается эгоистом на войне, и плоть человеческая заглушает в нем человечные мягкие чувства. Многие жертвы, уснувшие сном непробудным, лежали покрытые шинелями и ждали вечной могилы своей. Одного солдата, раненного пулей в живот навылет, два товарища водили под руки, а он, несчастный, стонал от боли... Доктор сказал мне, что он умрет, как скоро рвота начнется, и, действительно, смерть быстро охватывала несчастного. Он стал жалобно прощаться с товарищами и просил отдать крест и образок, бывшие у него на груди, в церковь и вскоре в самом деле скончался. Почти все раненые жалобно просили пить, и я исполнял их желания, подавая им из манерки воду с уксусом. Я не мог долго выносить этого печального зрелища и вскоре удалился.

Бивак наш очень красиво расположился на небольшой долине, в редком вековом лесу. Кругом нас высятся уступами горы, все выше и выше, и венчаются снеговым хребтом.

Неугомонные горцы поставили пушки, у нас с разбитых судов заграбленные, в неприступных местах и постоянно сверху стреляют по лагерю и по палаткам, по выбору. Зеленая походная церковь наша служит им хорошею мишенью, и, предполагая ее шатром паши Раевского, они преимущественно осыпают ее снарядами. Но более всех страдал в этом случае бедный священник с дьячком, которых палатка была поставлена возле церкви. Всякое неприятельское ядро, не попавшее в храм божий, непременно ложилось возле обиталища скромного пастыря, и он с своим прислужником, подняв рясы, ищет спасения в более отдаленном месте. Бывало, утром, лежа в своей палатке, мне по одному шествию уходящего пастыря можно было догадаться, что горцы начали бомбардирование и шальным ядром заставили его сняться с позиции... Но бывали и в лагере нашем случаи неожиданной, быстрой смерти, и незваные ядра мешали солдатикам заниматься своими делами в палатках. Раз я шел к Нарышкину, как вдруг встречаю его повара, бледного, расстроенного, потерянного... «Что с тобою?» — спросил я его. «Помилуйте: ядро попало в суп к барину»,— отвечал он мне. «Ставь новую кастрюлю, любезнейший,— сказал я ему, смеючись,— авось другое не попадет». И таких анекдотов было множество.

Наконец стрельба эта всем нам страшно надоела, и Раевский приказал нашим огромного калибра чугунным пушкам заставить молчать горцев. Орудия наши гремели целый день, разрыли гору, занимаемую горцами, порядочно, но не прекратили их огня, и он, ослабевая, прекратился у них тогда только, когда, кажется, недостало пороху или снарядов.

Нарышкин стоял в одной палатке с Загорецким, а так как у Одоевского был собственный шатер, то он и предложил мне поселиться с ним, на что я с удовольствием, конечно, согласился, любя его искренно и приобретая в нем приятного и умного собеседника. Он отлично был образован, знал отлично наш отечественный язык, и после всякого дела Раевский, диктовавший всегда сам реляции, присылал их к Одоевскому для просмотрения и поправок. Отрядная молодежь наша постоянно, как эхо, вторила громкой диктовке Раевского, раздававшейся по всему лагерю.

Ко всем приятностям собеседничества с Одоевским он обладал отличным поваром, и мы с ним согласились

дать обед и для этой цели накупили у маркитанта всего необходимого вдоволь и составили пригласительный список. Приглашенных набралось до 20 человек, и в иванов день, 24 июня, в трех соединенных палатках с разнокалиберными приборами, занятыми у званых же, все собрались. Капитан Маслович был именинник, и мы пили радушно его здоровье и веселились на славу. После обеда Пушкина, знавшего наизусть все стихи своего брата и отлично читавшего вообще, заставили декламировать, и он прочел нам поэму «Цыгане».

Кто-то предложил обществу купаться в море, а потом пить жженку, и шумная компания отправилась погружаться в волны понта Евксинского, а я остался распорядиться жженкой и пуншем. Мы вообще преприятно провели этот день, но во время нашего обеда дерзкие горцы, как будто нарочно, при первой раскупоренной бутылке шампанского грянули по лагерю из своих пушек, а Одоевский нашелся и, выпивая свой стакан шипучего за здоровье Масловича, уверял, что это в честь его гремят заздравные тосты. Поздно вечером разошлись наши гости.

На другой день горцы, собравшись в огромные толпы, атаковали наш лагерь. Храбрый Ольшевский с 2 батальонами первый пошел прямо в гору. Отряд поручен был полковнику Данзасу, недавно присланному из Петербурга за участие в дуэли А. С. Пушкина, у которого он был секундантом. Подобной храбрости и хладнокровия, каким обладал Данзас, мне не случалось встречать в людях, несмотря на мою долговременную военную службу... Бывало, с своей подвязанной рукой стоит он на возвышении, открытый граду пуль, которые, как шмели, жужжат и прыгают возле него, а он говорит остроты, сыплет каламбуры... Ему кто-то заметил, что напрасно стоит на самом опасном месте, а он отвечал: «Я сам это вижу, но лень сойти».

По мне, он был замечательным человеком, хотя большой оригинал. Он любил хороший стол и большую часть времени лежал в постели, однако все его любили и звали, между нами, Maréchal de Soubise. Вот еще один оригинальный поступок его: когда он еще был поручиком в саперах, его откомандировали в Бендеры, от которых он недалеко стоял со своим батальоном. В Москве он явился к генерал-губернатору к<н>. Голицыну и на вопрос, куда он едет из Москвы, Данзас отвечал: «Я еду

через Москву в Бендеры и прошу ваше сиятельство позволить мне ехать через Петербург». Конечно, князь не согласился и, смеясь, советовал ему ехать через Москву только, так как путь этот будет короче.

Во время Турецкой войны, не помню, под какою крепостью, генерал Паскевич пожелал узнать ширину рва, и Данзас тотчас же принялся исполнять буквально приказание начальства. Само собою разумеется, что на смельчака посыпались пули. Но напрасно Паскевич громко отменял свое приказание,— Данзас спустился в ров, медленно шагами измерил его и принес генералу записку с подробным отчетом...

Отбитые горцы засели в окружающих нас лесах и упорно защищались на этот раз. С 10 часов утра до 3 ночи беглый огонь не прекращался, и скоро Данзас прислал просить подкрепления изнемогшим от усталости людям. Назначили две роты тенгинцев под начальством Масловича. Мы отправились на выручку товарищам. По дороге встретили много раненых, но особенно было жалко видеть двух братьев-юнкеров, раненных страшно в рот и, что странно, одинаковым образом... Наши стрелки сменили усталых бойцов, не имевших времени проглотить куска хлеба почти полсуток.

К счастию, к вечеру горцы мало-помалу стали отступать: мы, конечно, за ними и оттеснили их в горы. Поздно вечером мы возвратились в лагерь, и Данзас, лежа беспечно на ковре, играл в карты и отпускал каламбуры по-прежнему.

Постройка форта скоро будет окончена, но покамест придется терпеть от несносного жара. Весь лагерь бегает освежиться по несколько раз в день в море. Страшные грозы нимало не освежают палящего жара. Молния часто падает в котловину, на которой расположен наш лагерь, и тогда ощущается запах фосфора. Часовой, стоявший в 20 шагах от моей палатки, забыв опустить штык во время грозы, был убит.

Раевский прислал сказать нам, что так как экспедиция кончилась, то мы можем ехать в Тамань и Керчь. Заболевший было горячкою, но оправившийся, хотя и слабый, Нарышкин и я чрезвычайно обрадовались этому позволению и спешили им воспользоваться. Одоевский, получивший недели две тому назад горестное известие о кончине своего отца, совершенно переменился и морально и физически. Не стало слышно его звонкого сме-

ха; он грустил не на шутку и по целым дням не выходил из палатки и решительно отказался ехать с нами в Керчь. В день нашего отъезда он проводил нас на берег и на наши просьбы ехать с нами упорствовал до последней минуты «Je reste et je serai le victime» *— были его последние слова на берегу. Чтоб отдалить хоть несколько минут расставания, Одоевский сел с нами в лодку и пожелал довезти нас до парохода. Там он сделался веселее, шутил и смеялся. «Ведь еще успеют перевезти твои вещи: едем вместе»,— уговаривал я его... «Нет, любезный друг, я остаюсь». Лодка с Одоевским отвалила от парохода, я долго следил за его белой фуражкой, мы махали платками, и пароход наш, пыхтя и шумя колесами, скоро повернул за мыс, и мы наглядно расстались с нашим добрым, милым товарищем. Думал ли я, что это было последнее с ним свидание в здешнем мире!

На другой день мы были в Тамани и наняли с Нарышкиным в 2 верстах от станции хорошенькую и покойную квартирку с садом у казачьего офицера. В саду много фруктовых деревьев, отягченных плодами, и весь он разделен на участки и принадлежит разным владельцам, которые и живут с доходов от плодов. У самого окна нашей квартиры стоит огромное персиковое дерево, желтое почти от плодов, его покрывающих. Часто ложась с Нарышкиным на коврах под ним, нам стоило открывать только рты, и персики сами валились на нас. Чтоб не отнимать доходов от бедного владельца, мы купили это дерево за 10 руб. ассигн. и тогда уже смело пользовались им. И мы, и люди наши, и все знакомые Тамани, как-то: Нейдгарт, Дорошенко, Ромберг и проч.,— ели вдоволь, и дерево казалось неистощимым.

Я блаженствовал в этом far niente **, но Нарышкин начал скучать по своей жене, которая жила на кавказской линии, в Прочном Окопе.

Скоро и весь отряд вернулся из экспедиции, и товарищи принесли нам горестное известие о смерти Одоевского, которого мы так недавно оставили... Кавказская лихорадка чрез несколько дней после нашего прощания на берегу моря сразила его, и болезнь не уступила всем стараниям медиков. Раевский с первого дня его болезни предложил товарищам больного перенести его в одну из комнат в новоустроенном форте, и добрые люди на своих

* Я остаюсь и буду жертвой *(фр.)*.

** ничегонеделанье *(ит.)*.

руках это сделали. Ему два раза пускали кровь, но надежды к спасению не было. Весь отряд и даже солдаты приходили справляться о его положении, а когда он скончался, то все штаб- и обер-офицеры отряда пришли в полной форме отдать ему последний долг с почестями, и даже солдаты нарядились в мундиры. Говорят, что когда Одоевский лежал уже на столе, готовый, на лице его вдруг выступил пот... Все возымели еще луч надежды, но скоро и он отлетел.

До могилы его несли офицеры. За новопостроенным фортом, у самого обрыва Черного моря, одинокая могила с большим крестом оставила нам воспоминание об Одоевском, но и этот вещественный знак памяти недолго стоял над прахом того, кого все любили. Горцы сняли этот символ христианский. Кончу об милом Саше воспоминанием и стихами Лермонтова на смерть А. И. Одоевского. Поэт наш в своих звучных стихах упоминает о шуме моря, который так любил покойник, и кончает свою поэму:

И мрачных гор зубчатые хребты...
И вкруг твоей могилы неизвестной
Все, чем при жизни радовался ты,
Судьба соединила так чудесно:
Немая степь синеет, и венцом
Серебряным Кавказ ее объемлет:
Над морем он, нахмурясь, тихо дремлет,
Как великан, склонившись над щитом,
Рассказам волн кочующих внимая;
А море Черное шумит не умолкая!

Одоевский немногим пережил своего отца и скончался на 37-м году от роду.

Скоро Нарышкин уехал к жене в Прочный Окоп, я не в силах был вынести одиночества и перебрался в Фанагорию, в мою лачужку, поближе к старым знакомым.

Глава XXII

Осень.— Приезд доктора Мейера.— Поход на Анапу.— Шутки Данзаса.— Обратный поход.— Романтическое происшествие.— Приезд Голицына.— Переправа Цебрикова.— Куриозный случай с Цебриковым.— Знакомство с М. Лермонтовым

Осень быстро наступала, и скука становилась нестерпимою. В одно утро вовсе неожиданно навестил меня доктор Мейер из Керчи и объявил, что назначен глав-

ным доктором Восточного берега и что он едет теперь в Анапу к Раевскому, который собирается предпринять экспедицию в горы, к шапсугам, чтоб наказать их за частые грабежи, которые они делали у наших новых поселенцев близ Анапы. Попробую и я сделать этот сухопутный поход, пойду воевать a ma manière* с бедными горцами, которые и мне ничего не сделали и против которых и я ничего не имею. Вздумано, сделано! Я нанял себе казачью повозку и с своим Антипом последовал за Мейером, ехавшим в тарантасе.

Ранним утром, без конвоя отправились мы в путь и скоро достигли казачьего поста Кубани, которая отделяет нас от неприязненного берега. Тут же и переправа на жиденьком плоту. Кубань так быстра при своем впадении в море, что плоту необходимо подыматься вверх по течению почти на версту и тогда пуститься вперерез, чтоб пристать к противоположному берегу. Мы с доктором счастливо совершили свою переправу и потом ехали песчаной дорогой еще несколько верст. Наконец набрели на бедную деревушку, почти зарытую в сыпучем песке, с песчаным валом и ротою солдат для защиты своей. Дело подходило к вечеру, и мы должны были ночевать в этом негостеприимном месте. Доктор и еще один штаб-офицер улеглись в тарантасе, а я едва упросил хозяйку очистить мне уголок ее хаты, загроможденный огромными тыквами, и хоть не на розах, а уснул. Усталость свое возьмет.

Рано утром, по барабанному бою собрались мы у квартиры начальника оказии. Караван наш был велик и разнообразен. Крестьяне-поселенцы с женами, с детьми, отправляющиеся в Анапу за покупками, татары, мирные черкесы — все это составляло мирную толпу под прикрытием 150 рядовых и 30 казаков. Мы выступили, соблюдая обычный порядок, и подвигались медленно.

На Кавказе нельзя никому ни отстать, ни выдвинуться в сторону, и предосторожности строго соблюдаются. Чуть сломалось что-нибудь у кого бы то ни было, весь караван останавливается и не прежде двигается, как все приведено в порядок. Правый фланг нашего небольшого подвижного отряда упирался в море, левый шел по

---

* по-своему (*фр.*).

небольшим песчаным возвышенностям, из-за которых стали показываться горцы, сначала конные, а потом и пешие, и набралось их несколько десятков.

Я шутил над доктором Мейером, предрекая ему неизбежный плен, но на всякий случай мы намеревались обратить его экипаж в крепость и не дешево продать свою свободу. К большой радости нашей, мы достигли каменной передовой башни, устроенной для сигналов. На верхней платформе стоит постоянно заряженная пушка и 6 казаков зорко следят за окрестностью. Незавидное местечко, и не желал бы я там жить. От башни открылись нам турецкий минарет и Анапа — цель нашего путешествия.

Крепость Анапа довольно обширная и окружена глубоким рвом. Ее трудно взять, однако к<н>. Меншиков взял ее в <18>28 году. Впрочем, и граф Гудович брал ее однажды. По крайней мере, против горцев, и азиатских народов вообще, она представляет оплот совершенно надежный. В Анапе я посетил на досуге коменданта Бринкена, который вообще очень жаловал всех нас, сосланных по 25-му году. Раевского и отряда мы не застали в крепости и на другой день только настигли их в лагере верст за 6 от города. Я с радостью обнял моего ротного командира Масловича и поступил в ряды.

На другой день отряд поднялся в горы и проходил мимо Раевского, лежавшего на бурке и здоровавшегося с людьми. И я в боевой амуниции прошел на своем месте и отвечал русским «здравия желаем» на французское приветствие Раевского ко мне.

Места, шапсугами обитаемые, мне более понравились, нежели прибрежье Черного моря. Там природа громадна, дико-грандиозна, черные скалы упираются в вечно бушующее море, вершины гор подпирают облака и покрыты девственными снегами,— здесь небольшие возвышения, молодой лес, рощицы и полянки, а кой-где и возделанная земля и копны сена. Изредка попадаются в зелени садов сакли горцев, обмазанные глиной и выбеленные, напоминающие вам Малороссию. Но война имеет свои права, и отряд наш без церемонии забирал для своего употребления запасы неприятельские, а мирные черкесы молча, хотя и угрюмо, посматривали на незваных гостей, как делали безответные немцы в <18>14 году в Германии при подобном же нашествии союзных полчищ.

Мы шли густою колонною с стрелками по бокам. К вечеру мы пришли на возвышенное плато и остановились, чтоб строить новый форт. Так как на дворе был сентябрь месяц, то ночью порядочно морозило. В отряде свирепствовали лихорадки, более от арбузов и дынь, которые раскупались и потреблялись в огромном количестве от умышленных промышленников, подвозивших их из Анапы. Сам Раевский заболел, но не оставлял отряда, несмотря на советы доктора Мейера, настаивавшего, чтоб он ехал в Анапу.

И октябрь месяц не заставил себя долго ждать. Мы зябли и дрожали от холода, а форт Раевский (это имя дано ему в честь строителя) рос и рос себе понемногу. Какая-то унылость, апатия всех нас обуяла, и мы жаждали хоть бы перестрелки, а то и ее не было. Не слышно в лагере ни музыки, ни песельников; не видно картежной игры и попоек. И только Данзас, вечно веселый, иногда вас рассмешит.

Недавно он нам рассказывал, что сделал открытие в своем батальоне и теперь будто бы убежден, что солдаты его умеют делать каламбуры не хуже какого-нибудь салонного камер-юнкера. Я подошел (говорил он) ночью к огоньку, у которого грелись солдатики, незамеченным и вдруг слышу, как один из них спрашивает: «Отчего это нашего полковника зовут Данзас?» — «Вестимо,— отвечал другой,— отчего. Родился он на Дону и приходится сродни генералу Зассу, ну вот и вышло Дон-Засс». Солдатик-краснобай получил целковый от виновника этой шутки.

Но как всему есть свой конец, то и мы дождались обратного восвояси похода. Полковник Бринкен командовал колонною. Едва двинулась голова колонны, как шапсуги начали свое преследование и надоедали и наседали на нас страшно, но пушечными выстрелами их удерживали, и мы, отступая шаг за шагом, наконец избавились от преследования.

При захождении солнца мы уже были в Анапе. Раевский отпустил гвардейцев в Петербург, 6-месячная экспедиция кончена. На площади собрались и остающиеся и отъезжающие. Шум, суета. Друзья и знакомые прощаются с бутылками шампанского. Молодежь едет в Керчь, а там в Петербург. И я, добыв себе коня, пустился в Фанагорию, в мою скромную землянку. Так я кончил мою четвертую экспедицию. Неужели это не послед-

няя? Хотя я уже и был произведен за одну экспедицию в унтер-офицеры, но и за последнюю был представлен к награде на всемилостивейшее воззрение. А, бог знает, каково-то оно будет!

Я зажил прежнею тихою, однообразною жизнию, проводя свое время с книгою и изредка уделяя час-другой моим прежним друзьям — Ромбергу и старушке Нейдгарт, которая с моим возвращением думала иметь во мне лишнего защитника против горцев. Мне не случилось оказать ей подобной услуги, тем не менее очень легко могло осуществиться это предполагаемое нападение горцев, ибо вот что случилось на моей памяти.

В саду, где я жил с Нарышкиным и где мы объедались персиками и который, как я говорил уже, принадлежал нескольким владельцам, жила в соседстве с нами вдова казачьего офицера с молоденькою дочерью. Я часто видел их на паре волов, отправляющихся на хутор, им принадлежащий, расположенный в нескольких верстах. Возвращение их оттуда сопровождалось обыкновенно грудами арбузов, дынь, тыкв, которые, попадая и к нам, продавались на базаре. В одну из таковых поездок семейство не возвратилось, и мы все узнали, что ночью горцы напали на хутор, сожгли его и взяли в плен и старуху, и дочь, и работника. Вскоре старуха, не знаю, каким случаем, возвратилась, но одна, без дочери, и проводила все свое время, прогуливаясь по саду в каком-то самозабвении, и голосила страшным образом. Через месяц стараниями черноморцев дочь выкупили или выкрали, и я опять ее видел в своем саду, веселую, как бы ни в чем не бывало. Она наивно рассказала мне свое романтическое происшествие, а месяцев через 8 родила — не хочу грешить — горца или русского. Старуха, продав почти все свое достояние для выкупа дочери, ненамного пережила это несчастье и умерла с горя.

Мой отец и командир, храбрый Кошутин, произведен в генералы, и в штабе полка пир горой. Раевский уехал в Керчь к жене, которая должна родить. Мейер при ней неотлучно, а когда наступила критическая минута и все кончилось благополучно, то, вышед поздравить генерала, <он> застал этого храброго человека в страшном беспокойстве. Как сильна в человеке любовь к семейной жизни!

Мрачный ноябрь месяц наступил, и я почти безвыходно сижу в своей лачужке. Однажды утром слышу

знакомый голос, осведомлявшийся обо мне, и чрез несколько минут я обнимал своего доброго товарища князя Валериана Михайловича Голицына, который, наконец, получил свою отставку и едет, счастливец, к матери и к братьям. Как истый москвич, после первых дружеских объятий, он потребовал чайку. Я послал сказать Ромбергу, что буду обедать у него с товарищем, угостил покуда приятеля самоваром, а он мне успел передать покуда все затруднения, которые ему делали при получении отставки. И меня, стало быть, ждет подобная же участь. Заботою Голицына в настоящее время было, как бы переправить в Керчь свою карету. Я взялся похлопотать об этом и, пригласив к себе Дорошенку, просил его помощи и содействия. Он обещал достать большую шаланду, но требовал терпения и согласия князя выждать более благоприятной погоды. Волею и неволею надо было согласиться, но ненадолго, ибо на другой же день все было исполнено: карету до Тамани перевезли на волах, а там поставили на большую лодку с 6 человеками гребцов. На берегу я простился с этим милым человеком и весело возвратился к себе в лачужку, радуясь, что и еще один из наших свободен и после 17 лет несчастной ссылки возвращается на родину.

В <18>59 году в Москве я навещал князя Голицына, уже женатого на княжне Ухтомской, и познакомился с его детьми, с сыном и дочерью. Дом их, как и большей части русских вельмож, был открыт и гостеприимен, и мы часто проводили вечера наши в воспоминаниях о Кавказе. В князе Валериане Михайловиче много было странного, и при всем его либерализме он был аристократ до мозга своих костей, как говорят французы, и очень часто говаривал про дом Романовых, «que ce sont des parvenus» *, и очень чванился своим гербом, помещая его всюду, где можно и не можно: на набалдашнике своей трости, на экипаже, на ливрее, на серебре и каждой вещи в доме.

Через месяц я имел удовольствие переправить на родину в Россию другого товарища-изгнанника — Цебрикова. Но этот приехал ко мне и возвращался в отечество на перекладной с одним желтым чемоданом и небольшим чайным погребцом. По следственному делу нашему Цебриков отправлен был в гарнизон в Оренбург солда-

---

* что это выскочки (*фр.*).

том, а все преступление его заключалось в том, что он, быв поручиком Финляндского полка и не зная ничего про происшествия 14 декабря и видя полк выступившим на Исаакиевскую площадь, взял знамя с квартиры полкового командира и присоединился к полку. Вскоре из Оренбурга его перевели на Кавказ, и он попал в самый разгар Персидской и Турецкой кампании и участвовал во всех сражениях этой войны. Храбрость его была замечена, и он получил Георгиевский крест, бывши рядовым, и наконец был произведен в офицеры и теперь только вышел в отставку. Он страшно постарел, голова его покрылась ранними сединами. Он явился ко мне в форменном сюртуке и желтых нанковых панталонах и, кажется, не с блестящим имуществом. Однако был весел и много без желчи рассказывал про прошлое. Вот один куриозный случай, с ним бывший.

При самом своем разжаловании из гвардейских поручиков Цебриков попал в Оренбургский гарнизон, как я уже говорил, к необразованному и неделикатному майору (какими обыкновенно бывают командующие гарнизонными батальонами), который стал с ним обращаться, как с простым рядовым, и вскоре поставил его на часы у своего дома. Цебриков был тогда молод и хорош собою. На беду майорша была шаловлива, ей приглянулся красавец часовой, и она через окно стала обращать на него слишком большое внимание, присылала ему сласти, делала глазки, наконец кинула записочку и завела, одним словом, игру опасную. Может быть, все это делалось из одного участия к положению несчастного разжалованного, но, во всяком случае, любезничание это не могло понравиться ревнивому мужу, майору. Не знаю, как он узнал и догадался о проделках своей возлюбленной супруги, однако кончилось тем, что в одно утро сменили с часов Дон-Жуана в солдатской шинели и повлекли на расправу. Разъяренный майор хотел под эгидою своего служебного места выместить розгами на Цебрикове свое поражение у законной супруги, но смелый любовник тотчас обезоружил пехотного Отелло, напомнив ему, что он — государственный преступник и что один государь может его наказать, а что ежели г. майор считает его виновным в новом каком-либо преступлении, то должен донести о нем по команде. Сконфуженный и грубый начальник, не желая делать гласным свое домашнее несчастие, смягчился и запретил только впредь ста-

вить Цебрикова к себе на часы. Зато бедного стали посылать к каким-то соляным магазинам за городом, и зимою часто доставалось ему чуть-чуть не замерзать по беспечности или умышленной неисправности ефрейторов. Но к счастию, Цебрикова взяли на Кавказ, где новое начальство сумело найти в нем и добрую честную душу, и блистательную храбрость. И его я скромно проводил до Тамани и до пристани. Отчаливая от берегов Кавказа, Цебриков стоял в лодке, и я заставил его повторить громко слова Наполеона I: «Adieu, France!» *

«Прощайте, берега Кавказа!» С напутственным благословением и крестом моим переехал он на родину.

В это же время в одно утро явился ко мне молодой человек в сюртуке нашего Тенгинского полка, рекомендовался поручиком Лермонтовым, переведенным из лейб-гусарского полка. Он привез мне из Петербурга от племянницы моей, Александры Осиповны Смирновой, письмо и книжку «Imitation de Iesus Christ» ** в прекрасном переплете. Я тогда еще ничего не знал про Лермонтова, да и он в то время не печатал, кажется, ничего замечательного, и «Герой нашего времени» и другие его сочинения вышли позже. С первого шага нашего знакомства Лермонтов мне не понравился. Я был всегда счастлив нападать на людей симпатичных, теплых, умевших во всех фазисах своей жизни сохранить благодатный пламень сердца, живое сочувствие ко всему высокому, прекрасному, а говоря с Лермонтовым, он показался мне холодным, желчным, раздражительным и ненавистником человеческого рода вообще, и я должен был показаться ему мягким добряком, ежели он заметил мое душевное спокойствие и забвение всех зол, мною претерпенных от правительства. До сих пор не могу отдать себе отчета, почему мне с ним было как-то неловко, и мы расстались вежливо, но холодно. Он ехал в штаб полка явиться начальству и весною собирался на воды в Пятигорск. Это второй раз, что он ссылается на Кавказ: в первый — за немножко вольные стихи, написанные им на смерть Пушкина Александра Сергеевича, а теперь — говорят разно,— но, кажется, за дуэль (впрочем, не состоявшуюся) с сыном французского посла в Петербурге Барантом.

---

* Прощай, Франция *(фр.)*.
** Подражание Иисусу Христу *(лат.)*.

Глава XXIII

Мое доброе дело.— Пансион старушки Нейдгарт.— Производство в прапорщики.— Поздравления.— Поездка в Керчь.— Зима в доме Херхеулидзевых.— Отъезд в Пятигорск.— Генерал Засс и анекдоты о нем

Приближались праздники рождества Христова. В целой православной России, в особенности же в моей родине, в Малороссии, праздники эти справляются с большой торжественностью, и весь люд, кто имеет малейшие средства, после долгого поста тешит себя излишеством и изысканностью яств. Мне приходилось плохо на этот раз по случаю давней неприсылки денег из дому, и я готовился встретить праздники с полтинником в кармане.

Человек мой, Антип, сходил в Тамань и вернулся довольно чистым и незамаранным, солнышко весело играло на голубой лазури, стало быть, и мне можно вылезти из моей конурки, и я вознамерился прогуляться. Только что намеревался я привести свой план в исполнение, как вдруг, вовсе неожиданно, на пороге моей избушки появляется какая-то ветхая старушонка, которой я прежде никогда не видал. «Что тебе надобно, голубушка?» — сказал я ей, надевая фуражку. «Да, пане,— отвечала она мне,— живу недалеко, на хуторку, и часто видаю пана, как он ходит и бродит, грустный, по нашим полям. Добрый человек, подумала я, пан, и пришла до вас... Там, за курганами, в землянке живет офицер с женой и четырьмя детьми. Завтра великий праздник, все добрые люди будут разговляться, а им хлеба не на что купить. Дети валяются по полу и просят есть, а взять неоткуда. Помогите им, пане...» Малороссийское наречие старухи меня тронуло, и я подал ей свой последний полтинник, сказав: «Спасибо за то, что указала мне возможность сделать доброе дело. А как мне отыскать это бедное семейство?» — «А вот за третьим курганом, самым большим, отойдя с версту, увидите копну бурьяну, а тут же и землянка их».— «Сейчас иду, добрая старушка»,— отвечал я и пустился на розыски. Вышед от себя, я вспомнил, что помощь моя бедному семейству не будет велика, ежели принесу ему одно соболезнование без вещественного, а так как у меня самого не было ни копейки, то я и надумал обратиться за деньгами к первому мне попавшемуся доброму и достаточному человеку. Благодетельному промыслу угодно было для доброго де-

ла послать мне коменданта Дорошенку, который снабдил меня 25 рублями, и я полетел к несчастному семейству.

Дойдя по рассказам старушки до большого кургана, я вдали увидел копну сена или бурьяну и искал глазами признака жилища. Хоть бы труба какая-нибудь выказывалась на ровной безграничной степи! Да где быть и трубе в местах, где хлебов не пекут и не ставят горшка щей в печь? Я бы не отыскал приюта несчастия и нужды, ежели б не залаяла какая-то жалкая, тощая собачонка. Я пошел по направлению хриплого лая этого и вскоре увидал яму, можно сказать, из которой выполз человек большого роста, в рубахе и больших сапогах, наподобие тех, какие употребляются всеми кавказцами в экспедициях, и тотчас же скрылся. Когда я был уже невдалеке от лачужки, то он снова показался, но в старом военном артиллерийском сюртуке, с медалями на груди... за ним следовали два хорошеньких, но грязных, почти нагих мальчика. Я догадался, что это предмет моей прогулки, но не знал, как начать разговор и не затронуть его самолюбия.

Я спросил, что заставило его поселиться в таком уединенном месте, где он служил, давно ли в отставке и проч., и услышал грустную, но обыкновенную у нас на Руси повесть, которую и передаю здесь вкратце. Бедный старик из нижних чинов дослужился в гарнизонной артиллерии до офицерского звания и в преклонных летах вышел в отставку. Продав небольшое имущество свое, намеревался он поселиться где-нибудь возле Тамани и доживать свой век. Не получая достаточной пенсии, он истратил дорогою все свое наличное богатство на лечение жены и, прибыв в Керчь, уже не имел средств нанять квартиры, но, как было лето, то и поселился на первый случай в заброшенной и никем не обитаемой землянке, которую кое-как поправил своими руками, промаячил лето и осень, а теперь с женою и четырьмя детьми уже не может поправиться из своих стесненных обстоятельств. В конце этого рассказа вышла из норы женщина, довольно еще красивая, в оборванном каком-то капоте, с ребенком на руках. Другой держался за ее одежду. Рассказ старика, при всей его правдоподобности, показался мне обыкновенною нерасчетливостью необразованного и неразвитого человека, который неудачами и несчастием доведен был до нищеты, и я тотчас же предложил ему принесенные 25 рублей. Он взял их с не-

которого рода гордостию, а жена его со слезами на глазах чуть не целовала мне рук.

Я был счастлив, что принес радость и покой на некоторое время добрым людям, и вскоре, обласкав детей, ушел домой. На другой день бедная мать приходила ко мне со всеми ребятишками благодарить еще раз за помощь, им оказанную, а я напоил их чаем, накормил досыта булками и приказал сказать мужу, что надеюсь помочь им бо́льшим чем-нибудь при посредстве супруги градоначальника Керчи, которая ежегодно постом устраивает концерты в пользу бедных и, вероятно, не откажет мне на этот раз уделить небольшую сумму и для них. Впоследствии мне в самом деле удалось чрез любезную Херхеулидзеву доставить этому бедному семейству 175 руб., и я унес с собою неисчислимые благословения его.

Вскоре, поощренный удачею одного доброго дела, мне удалось и другое. Я частенько заходил к доброй старушке Нейдгарт и, несмотря на ее аккуратность, чистоту, чопорность, замечал, что средства ее должны быть очень ограниченны. Однажды в разговоре я как-то спросил ее, какой пенсион получает она по муже.

— Никакого, мой любезнейший Николай Иванович. Муж мой был под судом и умер хотя неоправданным, но невинным, это я знаю; но суд этого не принимает во внимание.

— Но вы мне говорили, почтеннейшая Анна Ивановна, что и вы и супруг ваш были когда-то в Киеве еще в доме корпусного командира Раевского?

— Да, муж мой командовал тогда батареею, а я была молода, но это давно... да и к чему это вам вздумалось расшевелить мое счастливое прошлое?

— А потому, милая Анна Ивановна, что я на этом обстоятельстве рассчитываю на возвращение вашего пенсиона. Вот в чем дело: нынешний начальник наш — сын корпусного командира, который знал и любил вашего мужа. Я с ним хорошо знаком. Хотите, я напишу ему письмо и изображу ваше стесненное положение, затрону его доброе сердце, прибавлю немного поэзии, и авось нам удастся что-нибудь сделать для вас. Начальник штаба, Филипсон, меня любит и, готовый всегда на добрые дела, вероятно, мне не откажет и представит ва-

ше прошение к командующему войсками. Попытка не шутка, а спрос не беда.

Старушка согласилась, я написал письмо от нее и от себя к Филипсону и отправил в Керчь. Через несколько дней получаю ответ от Филипсона с извещением, что генерал Раевский милостиво принял и прочитал письмо, действительно припомнил, что в юности своей видывал в доме своего отца полковника Нейдгарта, и велел представить прошение в Тифлис. И я, и старушка радовались такому блистательному обороту дела, а старуха начала уже рассчитывать, сколько она может получить. Месяца не прошло, как добрая Анна Ивановна официальной бумагой извещена была, что ей велено ежегодно выдавать по 300 рублей ассигнациями из феодосийского казначейства. Счастливая женщина, взяв меня за голову обеими руками, со слезами на глазах целовала, как своего благодетеля, а вечером употчевала сухарями своего печения. Впоследствии я докончил свое благодеяние тем, что по просьбе Анны Ивановны, которой затруднительно было в самом деле лично получать свои деньги из Феодосии, перевел ассигновку в Керченское уездное казначейство, где она и довольствовалась впредь.

После праздника рождества Христова, 28 декабря, сижу я, по обыкновению, один-одинешенек в моей хижине. Снег и дождь однообразно колотят в мои окошечки, Азовское море однообразно и уныло шумит, плещется и разбивается у подошвы кручи, на которой лепится моя избушка. Угол землянки стал осыпаться, и дождевая вода неумолимо стала показываться в моем скромном жилище как бы для того, чтоб насильно выгнать меня из него. Едва кончил я свой утренний чай, как входит ко мне казак, обыкновенно занимавшийся перевозкой почты и казенных пакетов в Керчь и обратно, и подает мне пакет. Так как я часто получал письма со всех концов России, то и на сей раз не слишком торопился распечатывать и читать его, а сначала спросил казака, как он решается в такую страшную погоду с большим риском переправляться в Керчь или из Керчи. «На этот раз приказано было, ваше благородие, доставить вам непременно это письмо»,— сказал он мне и особенно весело посмотрел на меня. Не знаю отчего, но у меня крепко забилось сердце, и я поспешил сорвать печать.

«Поздравляю вас, любезнейший Николай Иванович, с всемилостивейшим производством в прапорщики. По-

лучен приказ» — вот строки, начертанные дружескою рукою, которые я прочел. Итак, я еще одним шагом приблизился к свободе. После первых минут восторга, весьма понятного для всякого, мне сделалось грустно. Воспоминания роились в моей голове, и я мысленно проследил всю свою протекшую жизнь. 34 года тому назад этот самый чин получил я в гвардии. Тогда для меня он был высочайшею наградою и осчастливил меня и возрадовал донельзя. Теперь он падает на меня, так же как и в первый раз, служа мне улучшением в моем положении, но мне уже 48 лет, и ощущения уже не те. Тогда была надежда на будущность, теперь сожаление о прошедшем. Бедный чин прапорщика, ты, как будто оставив меня в юные годы, кружил и маячил по белу свету, падал, тонул и, наконец, обрел меня в дальнем уголку почти незнакомой неизвестной страны. Не тем встретил ты меня, милый товарищ, чем оставил! Мы расстались, когда я был молод, полон сил и здоровья, а встретил ты меня печальным стариком.

Первым делом моим после нескольких минут самозабвения было поблагодарить казака за торопливость его доставить мне это приятное известие, потом я разделил свою радость с Антипом моим и тотчас же послал уведомить об этом важном происшествии друзей моих, Ромберга, Нейдгарт и прочих. Последняя, по словам моего возвратившегося посланца, как услыхала про счастье, меня постигшее, то бросилась на колени перед образами своими и принесла всевышнему подателю всех благ теплые благодарения.

Вскоре радостная весть обежала всю Фанагорию и Тамань, и все мои знакомые прибегали поздравить меня, обнимали, целовали, и я так устал, что должен был лечь в кровать. Краткая записочка, присланная мне с нарочным казаком, была написана рукою хорошего приятеля моего Генерального штаба капитаном Зальстетом, шведом по рождению. Он первый потщился сообщить мне радостную весть эту. Итак, после 12-летней каторги, 5-летнего поселения в Сибири и 6-летней службы рядовым на Кавказе наконец-то выполз я из этой бездны! Бог поможет, и, может быть, я буду, наконец, наслаждаться свободой, за которую пострадал, которую люблю и которой так мало пользовался.

На другой день я ничем больше не мог возблагодарить моих таманских и фанагорийских приятелей за

постоянно мне оказываемое в продолжение многих лет истинное внимание, как пригласить их на вечер. На счет будущих благ я запасся всем необходимым на холостой дружеский кавказский вечер, осветил свою келью и в 6 часов принимал своих дорогих гостей: Дорошенко, Ромберг, госпитальные медики, смотритель, комиссар и проч. Хотя было очень тесно, но зато было очень весело, и друзья пили единодушно здоровье нового прапорщика русской армии.

Меня тянуло в Керчь. К счастию, пришел тендер «Часовой» и отвез меня к крымским берегам. Не стану описывать, как обрадовались мне в семействе доброго Херхеулидзева. Счастие мое было бы полнее, ежели б монаршее благоволение осенило бы и еще кого-нибудь из моих сибирских товарищей. Но благодатный солнечный луч озарил меня одного, и мне чего-то недоставало до полного блаженства. Человек так уж устроен, что счастие его неполно, если он не разделит его с кем-нибудь близким. А где они, близкие? И чувства счастия сменяются грустью... Меня утешали тем, что царские милости выйдут и другим, но в позднейших приказах. Дай-то бог!

В Керчи я сшил себе сюртук Тенгинского пехотного полка и когда посмотрелся в зеркало, то нашел себя очень смешным. Солдатская шинель мне как-то была более к лицу. На другой день я ходил являться и благодарить Раевского, который меня очень ласково принял и оставил у себя обедать, не боясь уже быть скомпрометированным.

Так кончился длинный период моих разнообразных страданий. Были минуты славные, было много поэзии, но было больше горя, тревог, лишений, и часто, очень часто душа изнемогала. Покровительство всеблагого провидения и рука всевышнего поддержали меня, и благодарю господа бога моего.

Почти всю зиму провел я в Керчи, в доме у Херхеулидзевых, весною ездил в Тамань навещать моих тамошних друзей и приятелей, а в мае испросил себе увольнение на Кавказские минеральные воды для излечения недугов.

Дорогой в Пятигорск я заезжал в Ивановское в штаб полка, потом чрез Екатеринодар приехал к друзьям Нарышкиным в Прочный Окоп и провел у них несколько

счастливых часов. Нарышкины обзавелись своим домиком, и я застал друзей моих здоровыми и счастливыми. Елизавета Петровна грустит иногда о том, что часто должна разлучаться с мужем, который не пропускает ни одной экспедиции и был на восточном берегу и с Зассом в горах. В одной из последних он чуть не утонул в Кубани, переправляясь верхом. Лошадь его, сбитая быстрыми волнами, едва-едва успела его вынести на берег. В деле Засс был ранен пулею в нескольких шагах от Нарышкина,— само собою разумеется, что подобные опасности, которыми бывает окружен всякий на Кавказе, не могли внушить спокойствия любящей его жене...

Генерал Засс, командующий правым флангом нашей линии, был в то время грозой горцев, и так как он жил в крепости Прочноокопской, в трех верстах от станции, то и Нарышкины, и я часто с ним виделись. С первого моего знакомства с Зассом меня поразила его рыцарская физиономия. Он высок ростом, имеет светло-голубые глаза и огромные висячие усы. В доме его постоянно преобладает какая-то таинственность, и я часто мысленно воображал себя в каком-нибудь ливонском замке, в сообществе тевтонского рыцаря XV века. Часто случалось, что при гостях его таинственно вызывают, шепчут ему на ухо... Бывало, адъютант молча войдет в комнату, наклонится к Зассу, отрывисто произнесет какое-нибудь слово и исчезнет на краткое кивание головой таинственного начальника. В его комнатах постоянно и во всех углах встречаешь людей с загадочными лицами. Может быть, во всем этом и крылось что-нибудь в самом деле важное, а может быть, Засс нарочно окружал себя тайной, чтобы сохранить к себе поболее уважения и страха,— два чувства, сильно действующие на толпу.

Однажды мы были у генерала, и он был как-то особенно с нами любезен, но вдруг исчез. Прождав его довольно долго, мы осведомились о хозяине и узнали, что <он> ушел за Кубань, узнав, что горцы в сборе. В разговоре с Зассом я заметил ему, что мне не нравится его система войны, и он мне тогда же отвечал: «Россия хочет покорить Кавказ во что бы то ни стало. С народами, нашими неприятелями, чем взять, как не страхом и грозой?.. Тут не годится филантропия, и А. П. Ермолов,

вешая беспощадно, грабя и сожигая аулы, только этим и успевал более нашего. Еще до сих пор имя его с трепетом произносится в горах, и им пугают маленьких детей».

В поддержание проповедуемой Зассом идеи страха на нарочно насыпанном кургане у Прочного Окопа при Зассе постоянно на пиках торчали черкесские головы, и бороды их развевались по ветру. Грустно было смотреть на это отвратительное зрелище.

Раз Засс пригласил к себе m-me Нарышкину, и она согласилась с условием, что неприятельские головы будут сняты. Засс исполнил ее желание, и мы все были у него в гостях. Взойдя как-то в кабинет генерала, я был поражен каким-то нестерпимым отвратительным запахом, а Засс, смеючись, вывел нас из заблуждения, сказав, что люди его, вероятно, поставили под кровать ящик с головами, и в самом деле вытащил пред нами огромный сундук с несколькими головами, которые страшно смотрели на нас своими стеклянными глазами. «Зачем они здесь у вас?» — возразил я. «Я их вывариваю, очищаю и рассылаю по разным анатомическим кабинетам и друзьям моим профессорам в Берлин».

Мне показался страшным генерал Засс, и я невольно сравнил его с анапским комендантом Ротом, который придерживается совершенно противной системы и старается привязать к себе горцев ласковым, человеческим обращением и соблазняет их выгодами и барышами торговли как вернейшим средством указать дикарям выгоду сближения с более образованным народом — русскими. М. С. Воронцов, вполне европейский человек и даже англоман, в более обширных размерах придерживался, в свое управление Кавказским краем, той же системы. В то время, по крайней мере, Засс не достиг своей цели, и горцы так его ненавидели или, лучше сказать, боялись, что присылали депутатов к Роту просить его помочь им пушками и казаками идти вместе с ним против Засса... Такое наивное предложение, по нашему суждению, и совершенно логичное, по понятиям свободных горцев, конечно, не могло быть исполнено.

Про Засса рассказывают много анекдотов, из коих половина, конечно, выдумки; но во всех их проглядывает какое-то таинственное и сверхъестественное моральное влияние, которого и добивался Засс. Он разными шарлатанствами успел уверить диких сынов Кавказа,

что сам знается с шайтаном и может знать их сокровеннейшие мысли. Часто дурачил он у себя в Прочном Окопе грубых сынов Кавказа с помощью новейших открытий науки и не пренебрегал ни электрическою машиною, ни вольтовым столбом, ни духовым пистолетом, ни гальванизмом.

Вот еще одна шутка его, которая могла стоить жизни человеку, с которым была сыграна. У него проживал в доме старинный друг его, маиор в отставке, курляндец по рождению, М. Однажды маиору надоела вечная суета и тревога в доме и во дворе друга. Постоянные приезды лазутчиков, гонцов, князей и всего военного казачьего сброда. Вечное движение, шум, гам гончих и борзых свор и вся суета эта решили наконец маиора уединиться в Ставрополь и расстаться с своим другом. Приближались святки, и маиор получил приглашение от Засса приехать к нему погостить и отпраздновать Мартына Лютера жареным гусем с яблоками и черносливом. Маиор мигом собрался и пустился в Прочный Окоп. Не доезжая до станицы, на экипаж мирного старого маиора нападает партия черкес, завязывает ему глаза и рот, берет в плен и, связанного, мчит в горы. Пленник, окруженный толпою горцев, громко говорящих на своем варварском наречии, предался своему жребию и был ни жив ни мертв. Наконец, он чувствует, что его вводят в дом, слышит, что находится подле огня, который его несколько согревает, а шум и спор между похитителями продолжается. «Вероятно,— думает старик, они делят меня и спорят о праве владеть мною». Но вдруг снимают с него повязку и удивленному, пораженному маиору представляется кабинет Засса... Сам, довольный, смеющийся, генерал и много казаков, совершенно схожих с неприятелями, которых одежду и вооружение издавна, как известно, себе усвоили. Маиор рассердился за злую шутку, плевался, бранился самыми отборными словами и едва было не рассорился со своим другом, который только и умилостивил разгневанного потомка Ливонских Рыцарей обещанием, ежели б, чего боже сохрани, подобная беда стряслась над маиором в самом деле, то дружба заставила бы непременно его освободить из плена. Вкусный приготовленный гусь помирил друзей. Однако маиор прохворал с неделю, от потрясения ли, страха или несварения желудка — неизвестно.

Глава XXIV

Мой товарищ Назимов.— Приезд в Ставрополь.— Товарищ молодости Хомутов.— Мой племянник Арнольди и его отец.— Пятигорск.— Доктор Барклай де Толли.— Известия о смерти Лихарева.— Лихарев и Лермонтов.— Кавказские воды. Гвардейская молодежь.— Приезд Льва Пушкина в больших эполетах.— Лермонтов и Дмитревский.— «Карие глаза»

Через неделю собрался я в Пятигорск, на воды, чтоб скрепить хоть несколько потерянное здоровье мое после нескольких трудных экспедиций и житья моего в сырой землянке. Товарищ мой Михаил Александрович Назимов мне сопутствовал, и мы в двух повозках отправились. Назимов служил в гвардейском коннопионерном эскадроне, которого шефом был в<ел>. к<н>. Николай Павлович. Великий князь знал его всегда за отличного офицера и очень уважал и любил. Назимов поступил в члены тайного общества вместе с Михайлом Пущиным, родным братом Ивана Пущина, и оба были истинными друзьями А. С. Пушкина. Когда дело наше было открыто, Назимов был взят и приведен в кабинет к императору, который стал, конечно, упрекать его в заговоре. «Государь,— отвечал Назимов,— меня удивляет только то, что из Зимнего дворца сделали съезжую». Конечно, подобное замечание не могло понравиться государю. Назимова судили, как прочих, и сослали на поселение в Сибирь. Немного людей встречал я с такими качествами, талантами и прекрасным сердцем, всегда готовым к добру, каким был Михаил Александрович Назимов, делал добро на деле, а не на словах и был в полном смысле филантропом, готовым ежеминутно жертвовать собою для других. Все деньги, которые присылались ему из дому, он раздавал нуждающемуся товарищу и неимущим. Прибавьте к этому, что М<ихаил> А<лександрович> обладал многосторонним образованием, читал много с пользою и постоянно встречал вас с приветливою улыбкою, которая очаровывала вас с первого же раза, а черные, блестящие глаза так и говорили: «Не нужен ли я? Не могу ли быть тебе полезным?»

Наши судьи-умники сослали Назимова в такую глушь, что фельдъегерь, везший его туда, чуть было не потерялся. Принуждены были воротиться в Иркутск, и только тогда М<ихаила> А<лександровича> поселили в <Витиме>, в месте, где, по крайней мере, живут лю-

ди. Спустя некоторое время он опять переведен был в Курган, где мы жили с ним вместе пять лет и были отправлены солдатами на Кавказ. В настоящую минуту Назимов в отставке, женат и счастливо живет добродетельным философом в своей деревушке. Как отрадно бы было мне пожать еще однажды в этой жизни руку твою, благородный товарищ!

Без приключений прибыли мы в Ставрополь, и я остановился на квартире у молодого Вревского, впоследствии генерала, убитого в сражении при Черной, в Крыму, подле корпусного командира Реада. Тогда еще молодой человек этот подавал уже большие надежды, быв отличным учеником в военной Академии, и со временем оправдал эти ожидания. Так как мне нужно было остаться в Ставрополе на несколько дней, то Назимов не мог меня дожидаться и уехал вперед.

В Ставрополе я нашел моего старого приятеля и однополчанина Хомутова, которого я и пошел навестить. Он занимался в своем саду, и я послал о себе доложить. Мне всегда было странно и как-то неловко встречаться со старыми товарищами молодости, ушедшими далеко по службе. Помнишь, бывало, все проделки юности, шалости, бесцеремонное обращение и вдруг видишь заслуженного человека, какое-нибудь превосходительство! Хорошо еще, что многие из них остались с своими заслугами теми же добрыми людьми, какими были в молодости. Но, покуда в этом уверишься, говорю я, мне всегда было как-то неловко. Я сомневался и в Хомутове, но добрейший Иван Петрович встретил меня по-старому, бросился обнимать, и я радовался, что нашел в нем прежнего штабс-капитана. Он был чрезвычайно предупредителен, оставил меня у себя обедать, и мы весело провели время в сладких воспоминаниях. За обедом, с бокалами шампанского, мы оба пожалели о своей прошедшей молодости и пожелали друг другу возможного для каждого из нас различного счастия, при стихах Пушкина, которые продекламировал Хомутов:

Давайте чаши! не жалей
Ни вин моих, ни ароматов!
Готовы чаши? Мальчик, лей!
Теперь некстати воздержанье.
Как дикий скиф, хочу я пить
И, с другом празднуя свиданье,
В вине рассудок утопить.

Мы сговорились свидеться в Пятигорске и расстались.

Входя в ворота гостиницы вечного Найтаки, я увидал несколько дорожных экипажей и тут же встретил гвардейского гусарского молодого офицера. Вообразите себе мое удивление, когда, расспросив о проезжающих, я узнал, что это фамилия генерала Арнольди, отправляющаяся на Кавказские минеральные воды. Молодой человек был сыном славного генерала Арнольди, женатого в первом браке на моей родной сестре, и приходился мне племянником. Я тотчас же направился к нему и назвал себя, мы обнялись и тут, можно сказать, познакомились, ибо я оставил его 8-летним мальчиком, при моей ссылке в 1826 году.

Не стану описывать радости моей при свидании с первыми родными, с которыми я сошелся после долгой моей ссылки и изгнания,— каждый поймет мои чувства. Иван Карлович Арнольди — из курляндских дворян, выходцев италианских, получил воспитание во 2-м шляхетском корпусе при известном Мелисино. Произведен в офицеры в 1799 году в артиллерию. Из 74 учеников, представленных на экзамен императору Павлу, четыре юноши, в том числе два брата Арнольди, получили первый офицерский чин. Своими познаниями, ловкостью, исполнительностью молодой человек сумел отличиться и был взят вскоре по выпуске в адъютанты к тогдашнему инспектору всей артиллерии, г. Богданову, и впоследствии был постепенно отличен всеми нашими артиллерийскими знаменитостями — Меллером-Закомельским и графом Кутайсовым, которого Арнольди сделался вместе адъютантом и другом, и состоял в этой должности до <18>11 года, то есть до принятия конной батареи № 13, которой начальником был назначен, состоя в армии Чичагова в Турции, находясь в авангарде Чаплица при присоединении ее к войскам, теснившим Наполеона, Иван Карлович под Березиной в первый раз вступил в бой с Наполеоном. На долю его выпало счастье трое суток простоять против пробивающегося Наполеона и не уступить ни пяди земли. Батарея Арнольди в несколько часов была уничтожена отчаянным неприятелем, и А. П. Ермолов, сделанный в то время начальником штаба и бывший другом Арнольди, уговаривал его отойти с остатками батареи для исправления в ариергард. Но пылкий капитан потребовал подкрепления орудиями

чужих батарей и, укомплектовавшись гусарами, продолжал стойко держаться трое суток. Постепенно 6 батарей наших было уничтожено неприятелем на этом месте и 3 лошади убиты под самим молодым и храбрым начальником. Но он достойно исполнил свою обязанность. До самого Немана, при преследовании, 28-летнему капитану пришлось сидеть на пятах бегущего неприятеля. За границей Арнольди состоял во многих отрядах и, как отличнейший, попал, наконец, к принцу шведскому Бернадотту, называвшему обыкновенно 13-ю батарею своими карманными деньгами. Денневицкая сумасшедшая выходка молодого артиллериста передана военною историею, как отвага и находчивость начальника и <пример> твердой веры подчиненных в команду любимого командира. Арнольди в глазах принца и огромной блестящей свиты его с прислугой конно-артиллерийской своей батареи сумел вырвать 2 неприятельские пушки из рядов 3 колонн французских гренадеров и получил за это дело три ордена от трех иностранных монархов: св. Георгий, «Pour le mérite» и шведский «За достоинство» украсили грудь молодого героя. Принц Бернадотт снимал обыкновенно свою шляпу в знак особенного уважения к 13-й батарее. Под Лейпцигом, в этой бойне народов, Арнольди оторвало левую ногу, и государь присылал ему своего доктора Вилье. Он лечился в Таухе. Раною этою он лишен был счастия командовать своею батареею и с нею участвовать во всех славных делах <18>13 и <18>14 годов, до взятия Парижа, где на высотах Монмартра она еще гремела. По выздоровлении Арнольди, произведенный в полковники, снова привел свою батарею в Россию и был назначен начальником гвардейской конной артиллерии, коей, можно сказать, был и основателем. Государь Александр Павлович благоволил во всю свою жизнь к лихому артиллеристу и много давал ему важных поручений по артиллерийским делам. В 1825 году Арнольди случилось лично представлять своему императору отчет по следствию на луганском литейном заводе и вскоре командовать кортежем погребения боготворимого государя. Со смертью императора генерал Арнольди много потерял. Наушники, ласкатели, куртизаны окружили нового царя, и старые, прямые, честные слуги, особенно такие, которые владели таким беспощадным языком, как Арнольди, потеряли всю цену. Арнольди состоял долго при в<ел>. к<н>. Михаиле

Павловиче, тогдашнем генерал-фельдцейхмейстере, выпросился в Турецкую кампанию, где был сделан начальником артиллерии вместо г. Левенштерна и отличился особенною находчивостью в единственном полевом сражении этой войны под Кулевчей, а в 30-х годах был назначен начальником конно-артиллерийского резерва, который сам формировал. Наконец, в 1842 году был сделан начальником всей нашей конной артиллерии при инспекторе резервной кавалерии графе Никитине и жил в Кременчуге, уважаемый подчиненными и нелюбимый старшими начальниками и вообще бездарностью, окружавшею трон царя. В 1852 году, по расстроенному здоровью, после 50-летнего служения на конно-артиллерийском седле, 180 сражений и стычек, маститый старец назначен был сенатором в Петербург, где и умер в 1861 году. Арнольди был из числа тех людей, которые, сознавая свое превосходство пред другими, во всю свою жизнь не могут никому подчиниться. Язык его был резок; он ставил правду выше всего и удачно уничтожал мелкое ничтожество.

При захождении солнца я приехал в Пятигорск. За несколько верст от городка вы чувствуете, что приближаетесь к водам, потому что воздух пропитан серой. Первою заботою моею было найти себе помещение поуютнее и подешевле, и я вскоре нашел себе квартиру по вкусу в так называемой «солдатской слободке» у отставного унтер-офицера за 50 рублей на весь курс. Квартира моя состояла из двух чистеньких горенок и нравилась мне в особенности тем, что стояла у подошвы обрыва, а окнами выходила на обширную зеленую развалину, замыкавшуюся Эльбрусом, который при захождении солнца покрывается обыкновенно розовым блеском.

Устроившись немного, я начал приискивать себе доктора, чтобы, посоветовавшись с ним, начать пить какие-нибудь воды. По рекомендации моего товарища, вскоре явился ко мне молодой человек, доктор, по имени Барклай де Толли. Я тогда же сказал моему эскулапу: «Ежели вы такой же искусник воскрешать человечество, каким был ваш однофамилец — уничтожать, то я поздравляю вас и наперед твердо уверен, что вылечусь». К сожалению, мой доктор себя не оправдал впоследствии и, вероятно, не поняв моей болезни, как бы ощупью, беспрестанно заставлял меня пробовать разные воды. Наконец опыты эти мне надоели, и я с ним простился.

На третий день моего пребывания в Пятигорске я сделал несколько визитов. А вечером ко мне пришел Александр <Арнольди> и артист Шведе, любовались видом и из моих окон положили его на полотно, а Шведе впоследствии снял с меня портрет масляными красками.

Мне сказали, что полковник Фрейтаг, командир Куринского полка, жестоко раненный в шею, привезен из экспедиции и желает со мною видеться. Я поспешил исполнить его желание, и он объявил мне печальную весть о том, что товарищ мой по Сибири Лихарев убит в последнем деле. После него остались некоторые бумаги на разных языках и портрет красивой женщины превосходной работы, который Фрейтаг, зная мою дружбу с покойным, хотел мне передать. Я узнал портрет жены его, рисованный Изабе в Париже. Я посоветовал полковнику отправить все эти драгоценности к родным покойного и дал адрес.

Лихарев был один из замечательнейших людей своего времени. Он был выпущен из школы колонновожатых, основанной Муравьевым, в Генеральный штаб и при арестовании его как члена общества состоял при графе Витте. Он отлично знал четыре языка и говорил и писал на них одинаково свободно, так что мог занять место первого секретаря при любом посольстве. Доброта души его была несравненна. Он всегда готов был не только делиться, но, что <труднее>, отдавать свое последнее. К сожалению, он страстно любил карточную игру и вообще рассеянную жизнь. В последнем деле, где он был убит, он был в стрелках с Лермонтовым, тогда высланным из гвардии. Сражение приходило к концу, и оба приятеля шли рука об руку, споря о Канте и Гегеле, и часто, в жару спора, неосторожно останавливались. Но горская пуля метка, и винтовка редко дает промахи. В одну из таких остановок вражеская пуля поразила Лихарева в спину навылет, и он упал навзничь. Ожесточенная толпа горцев изрубила труп так скоро, что солдаты не поспели на выручку останков товарища-солдата. Где кости сибирского товарища моего? Подобною смертью погиб бесследно и Александр Бестужев.

Я очень был рад познакомиться с храбрым, славным Фрейтагом, и мы в частых беседах наших вспоминали про бедного Лихарева. Фрейтаг после этого недолго оставался на Кавказе, вскоре, выздоровев, произведен

был в генералы и назначен генерал-квартирмейстером к Паскевичу в Варшаву.

Кто не знает Пятигорска из рассказов, описаний и проч.? Я не берусь его описывать и чувствую, что перо мое слабо для воспроизведения всех красот природы. Скажу только, что в то время съезды на Кавказские воды были многочисленны со всех концов России. Кого, бывало, не встретишь на водах? Какая смесь одежд, лиц, состояний! Со всех концов огромной России собираются больные к источникам в надежде,— и большею частью справедливой,— исцеления. Тут же толпятся и здоровые, приехавшие развлечься и поиграть в картишки. С восходом солнца толпы стоят у целительных источников с своими стаканами. Дамы с грациозным движением опускают на беленьком снурочке свой <стакан> в колодец, казак с нагайкой через плечо,— обыкновенною <своей> принадлежностью,— бросает свой стакан в теплую вонючую воду и потом, залпом выпив какую-нибудь десятую порцию, морщится и не может удержаться, чтоб громко не сказать: «Черт возьми, какая гадость!» Легкобольные не строго исполняют предписания своих докторов держать диету, и я слышал, как один из таких звал своего товарища на обед, хвастаясь ему, что получил из колонии два славных поросенка и велел их обоих изжарить к обеду своему.

Гвардейские офицеры после экспедиции нахлынули в Пятигорск, и общество еще более оживилось. Молодежь эта здорова, сильна, весела, как подобает молодости, воды не пьет, конечно, и широко пользуется свободой после трудной экспедиции. Они бывают также у источников, но без стаканов: лорнеты и хлыстики их заменяют. Везде в виноградных аллеях можно их встретить, увивающихся и любезничающих с дамами.

У Лермонтова я познакомился со многими из них и с удовольствием вспоминаю теперь имена их: Алексей Столыпин (Монго), товарищ Лермонтова по школе и полку в гвардии; Глебов, конногвардеец, с подвязанной рукой, тяжело раненный в ключицу; Тиран, лейб-гусар; Александр Васильчиков, чиновник при Гане для ревизии Кавказского края, сын моего бывшего корпусного командира в гвардии; Сергей Трубецкой, Манзей и другие. Вся эта молодежь чрезвычайно любила декабристов вообще, и мы легко сошлись с ними на корот-

кую ногу. Часто любовались они моею палкою из виноградной лозы, которая меня никогда не оставляла и с которой я таскался по трущобам Кавказа в цепи застрельщиков,— мой верный Антонов, отличный стрелок, как я уже сказал, за меня отстреливался. В одном деле он в моих глазах положил двух горцев, и мы после ходили на них смотреть. Я просил своего полкового командира наградить моего телохранителя Георгиевским крестом из числа присылаемых в роты, но, оставив в то время отряд, не знаю, получил ли мой Антонов тот крестик, за который кавказский солдат делает часто чудеса молодечества, храбрости, отваги.

Товарищ мой по Сибири Игельстром все пребывание свое на Кавказе провел в этой охоте за людьми в цепи... В белом кителе, с двуствольным ружьем, вечно, бывало, таскается он по кустам и отыскивает своих жертв. В одном деле и ему удалось положить на месте двух горцев. Генерал Раевский, делая представление об отличившихся, велел написать в донесении своем, что рядовой саперной роты такой-то убил пятерых горцев. Лишь только Игельстром узнал об этом, то отправился к генералу и объяснил ему неверность слухов, дошедших до него, и что он, застрелив только двух, не берет на себя того, чего не сделал. Тогда Раевский, засмеявшись, сказал ему: «Пожалуйста, подари мне этих троих в счет будущего...» Донесение пошло, и Игельстром произведен был в офицеры.

Лев Пушкин приехал в Пятигорск в больших эполетах. Он произведен в маиоры, а все тот же! Прибежит на минуту впопыхах, вечно чем-то озабочен,— уж такая натура! Он свел меня с Дмитревским, нарочно приехавшим из Тифлиса, чтобы с нами, декабристами, познакомиться. Дмитревский был поэт и в то время был влюблен и пел прекрасными стихами о каких-<то> прекрасных карих глазах. Лермонтов восхищался этими стихами и говорил обыкновенно: «После твоих стихов разлюбишь поневоле черные и голубые очи и полюбишь карие глаза». Дмитревскому везло, как говорится, и по службе; он назначен был вице-губернатором Кавказской области, но, к сожалению, не долго пользовался этими благами жизни и скоро скончался. Я был с ним некоторое время в переписке и теперь еще храню автограф его «Карих глаз».

Глава XXV

Пятигорское общество.— Бал.— Лермонтов и «карие глаза».— Конец бала.— Последнее свидание с Лермонтовым.— Дуэль и смерть Лермонтова.— Похороны

Гвардейская молодежь жила разгульно в Пятигорске, а Лермонтов был душою общества и делал сильное впечатление на женский пол. Стали давать танцевальные вечера, устраивали пикники, кавалькады, прогулки в горы, но для меня они были слишком шумны, и я не пользовался ими часто. В это же время приехал из Тифлиса командир Нижегородского драгунского полка полковник Сергей Дмитриевич Безобразов, один из красивейших мужчин своего века, и много прибавил к веселью блестящей молодежи. Я знал его еще в Варшаве, когда он был адъютантом в<ел>. к<н>. Константина Павловича. В то время его смело можно было назвать Аполлоном Бельведерским, а при его любезности, ловкости, уменье танцевать, в особенности мазурку, немудрено было ему сводить всех полек с ума. В 1841 году я нашел Безобразова уже не тем, и время взяло свое, хотя еще оставило следы прежней красоты.

В июле месяце молодежь задумала дать бал пятигорской публике, которая более или менее, само собою разумеется, была между собою знакома. Составилась подписка, и затея приняла громадные размеры. Вся молодежь дружно помогала в устройстве праздника, который 8 июля и был дан на одной из площадок аллеи у огромного грота, великолепно украшенного природой и искусством. Свод грота убрали разноцветными шалями, соединив их в центре в красивый узел и прикрыв круглым зеркалом, стены обтянули персидскими коврами, повесили искусно импровизированные люстры из простых обручей и веревок, обвитых чрезвычайно красиво великолепными живыми цветами и вьющеюся зеленью; снаружи грота, на огромных деревьях аллей, прилегающих к площадке, на которой собрались танцевать, развесили, как говорят, более 2500 разноцветных фонарей... Хор военной музыки поместили на площадке, над гротом, и во время антрактов между танцами звуки музыкальных знаменитостей нежили слух очарованных гостей, бальная музыка стояла в аллее. Красное сукно длинной лентой стлалось до палатки, назначенной слу-

жить уборною для дам. Она также убрана была шалями и снабжена заботливыми учредителями всем необходимым для самой взыскательной и избалованной красавицы. Там было огромное зеркало в серебряной оправе, щетка, гребни, духи, помада, шпильки, булавки, ленты, тесемки и женщина для прислуги. Уголок этот был так мило отделан, что дамы бегали туда для того только, чтоб налюбоваться им. Роскошный буфет не был также забыт. Природа, как бы согласившись с общим желанием и настроением, выказала себя в самом благоприятном виде. В этот вечер небо было чистого темно-синего цвета и усеяно бесчисленными серебряными звездами. Ни один листок не шевелился на деревьях. К 8 часам приглашенные по билетам собрались, и танцы быстро следовали один за другим. Неприглашенные, не переходя за черту импровизированной танцевальной залы, окружали густыми рядами кружащихся и веселящихся счастливцев.

Лермонтов необыкновенно много танцевал, да и все общество было как-то особенно настроено к веселью. После одного бешеного тура вальца Лермонтов, весь запыхавшийся от усталости, подошел ко мне и тихо спросил:

— Видите ли вы даму Дмитревского?.. Это его «карие глаза»... Неправда ли, как она хороша?

Я тогда стал пристальнее ее разглядывать и в самом деле нашел ее красавицей. Она была в белом платье, какой-то изумительной белизны и свежести. Густые каштановые волосы ее были гладко причесаны, а из-за уха только спускались красивыми локонами на ее плечи; единственная нитка крупного жемчуга красиво расположилась на лебединой шее этой молодой женщины как бы для того, чтоб на ее природной красоте сосредоточить все внимание наблюдателя. Но главное, что поразило бы всякого, это были большие карие глаза, осененные длинными ресницами и темными, хорошо очерченными бровями. Красавица, как бы не зная, что глаза ее прелестны, иногда прищуривалась, а обращаясь к своему кавалеру, вслед за сим скромным движением, обдавала его таким огнем, что в состоянии была бы увлечь и, вероятно, увлекала не одного своего поклонника. Я не любопытствовал узнать, кто она, боясь разочароваться тою обстановкой, которою она может быть окружена. Я не хотел знать даже, замужем ли она, опасаясь, что мне назовут и укажут какого-либо уродливого мужа —

грузина, армянина или казачьего генерала. На другой день бала она уехала из Пятигорска, а счастливый Дмитревский полетел за ней.

Бал продолжался до поздней ночи или, лучше сказать, до самого утра. Семейство Арнольди удалилось раньше, а скоро и все стали расходиться. Я говорю «расходиться», а не «разъезжаться», потому что экипажей в Пятигорске нет, да и участницы бала жили все недалеко, по бульвару. С вершины грота я видел, как усталые группы спускались на бульвар и белыми пятнами пестрили отблеск едва заметной утренней зари.

Молодежь также разошлась. Фонари стали гаснуть, шум умолк: «и тихо край земли светлеет, и, вестник утра, ветер веет, и всходит постепенно день», а я все еще сидел, погруженный в мои мечты, устремив взоры мои в величественный Машук, у подошвы которого тогда находился. Медленными шагами добрел я до своего жилища, и хотя вся долина спала еще в синем тумане, но Эльбрус горел уже розовым атласом. При полном рассвете я лег спать. Кто думал тогда, кто мог предвидеть, что через неделю после такого веселого вечера настанет для многих, или, лучше сказать, для всех нас, участников, горесть и сожаление?

В одно утро я собирался идти к минеральному источнику, как к окну моему подъехал какой-то всадник и постучал в стекло нагайкой. Обернувшись, я узнал Лермонтова и просил его слезть и войти, что он и сделал. Мы поговорили с ним несколько минут и потом расстались, а я и не предчувствовал, что вижу его в последний раз... Дуэль его с Мартыновым уже была решена, и 17 июля он был убит.

Мартынов служил в кавалергардах, перешел на Кавказ в линейный казачий полк и только что оставил службу. Он был очень хорош собой и с блестящим светским образованием. Нося по удобству и привычке черкесский костюм, он утрировал вкусы горцев и, само собой разумеется, тем самым навлекал на себя насмешки товарищей, между которыми Лермонтов по складу ума своего был неумолимее всех. Пока шутки эти были в границах приличия, все шло хорошо, но вода и камень точит, и когда Лермонтов позволил себе неуместные шутки в обществе дам, называя Мартынова «homme à poignard *», потому что он в самом деле носил одежду

* человек с кинжалом *(фр.)*.

черкесскую и ходил постоянно с огромным кинжалом у пояса, шутки эти показались обидны самолюбию Мартынова, и он скромно заметил Лермонтову всю неуместность их. Но желчный и наскучивший жизнью человек не оставлял своей жертвы, и когда они однажды снова сошлись в доме Верзилиных, Лермонтов продолжал острить и насмехаться над Мартыновым, который, наконец выведенный из терпения, сказал, что найдет средство заставить молчать обидчика. Избалованный общим вниманием, Лермонтов не мог уступить и отвечал, что угроз ничьих не боится, а поведения своего не переменит.

Наутро враги взяли себе по секунданту: Мартынов — Глебова, а Лермонтов — А. Васильчикова. Товарищи обоих, находя, что Лермонтов виноват, хотели помирить противников и надеялись, что Мартынов смягчится и первым пожелает сближения. Но судьба устроила иначе, и все переговоры ни к чему не повели, хотя Лермонтов, лечившийся в это время в Железноводске, и уехал туда по совету друзей. Мартынов остался непреклонен, и дуэль была назначена. Антагонисты встретились недалеко от Пятигорска, у подошвы Машука, и Лермонтов был убит наповал — в грудь под сердце, навылет.

На другой день я еще не знал о смерти его, когда встретился с одним товарищем сибирской ссылки, Вегелиным, который, обратившись ко мне, вдруг сказал:

— Знаешь ли ты, что Лермонтов убит?

Ежели бы гром упал к моим ногам, я бы и тогда, думаю, был менее поражен, чем на этот раз. «Когда? Кем?» — мог я только воскликнуть.

Мы оба с Вегелиным пошли к квартире покойного, и тут я увидел Михаила Юрьевича на столе, уже в чистой рубашке и обращенного головой к окну. Человек его обмахивал мух с лица покойника, а живописец Шведе снимал портрет с него масляными красками. Дамы — знакомые и незнакомые — и весь любопытный люд стали тесниться в небольшой комнате, а первые являлись и украшали безжизненное чело поэта цветами... Полный грустных дум, я вышел на бульвар. Во всех углах, на всех аллеях только и было разговоров, что о происшествии. Я заметил, что прежде в Пятигорске не было ни одного жандармского офицера, но тут, бог знает откуда, их появилось множество, и на каждой лавочке отдыхало, кажется, по одному голубому мундиру. Они, как черные

враны, почувствовали мертвое тело и нахлынули в мирный приют исцеления, чтоб узнать, отчего, почему, зачем, и потом доносить по команде, правдиво или ложно.

Глебова, как военного, посадили на гауптвахту. Васильчикова и Мартынова — в острог, и следствие и суд начались. Вскоре приехал начальник штаба Траскин и велел всей здоровой молодежи из военных отправиться по полкам. Пятигорск опустел.

Со смертью Лермонтова отечество наше лишилось славного поэта, который мог бы заменить нам отчасти покойного А. С. Пушкина, который так же, как и Грибоедов, и Бестужев, и Одоевский, все умерли в цветущих летах, полные сил душевных, умственных и телесных, и не своею смертью.

На другой день были похороны при стечении всего Пятигорска. Представители всех полков, в которых Лермонтов волею и неволею служил в продолжение своей короткой жизни, нашлись, чтоб почтить последнею почестью поэта и товарища. Полковник Безобразов был представителем от Нижегородского драгунского полка, я — от Тенгинского пехотного, Тиран — от лейб-гусарского и А. Арнольди от Гродненского гусарского. На плечах наших вынесли гроб из дому и донесли до уединенной могилы кладбища на покатости Машука. По закону священник отказывался было сопровождать останки поэта, но деньги сделали свое, и похороны совершены были со всеми обрядами христианина и воина. Печально опустили мы гроб в могилу, бросили со слезою на глазах горсть земли, и все было кончено.

Через год тело Лермонтова по просьбе бабки его перевезено было в родовое именье его, кажется Пензенской губернии.

Глава XXVI

Переезд в Железноводск.— «Шотландка».— В Пятигорске у Хомутова.— Судьба Мартынова — убийцы Лермонтова.— Хомутов и колонисты

На другой день я переехал в Железноводск, где находилась и половина семейства Арнольди. Железноводск, по-моему, еще лучше Пятигорска, хотя не так обстроен и не имеет тех удобств для материальной жизни.

Он весь лежит в горах, покрытых тенистым вековым лесом. Извиваясь, красивые дорожки приведут вас непременно к какому-нибудь целительному ключу, бьющему из ребр отвесных гор. Сюда должен удалиться человек, который ищет уединения... Здесь только, беседуя с прекрасно разнообразною природою, может он обрести тишину душевную. А в созерцательной жизни, живя с природою рука об руку, и человек-то делается лучше. Для описания красот Железноводска нужна кисть пошире моей, а потому я и остановлюсь покуда.

Я забыл сказать, что по дороге от Пятигорска к Железноводску красиво разбросалась и существует давно уже колония шотландцев, отчего называется «Шотландкою». Чистые на немецкий манер домики имеют садики и огороды, и вся постройка тонет в зелени садов. Зажиточные колонисты часто отдают свои домики под пикники, устраиваемые наезжающими сюда семействами из Пятигорска. Подобных роз сентифолий, какие я рвал в «Шотландке», мне не случалось видеть нигде.

Однажды одному польскому семейству вздумалось устроить небольшую прогулку. Пригласили меня и моих двух сибирских товарищей, и я отправился заранее позаботиться о некоторых приготовлениях. Стол накрыли в саду между кустами роз, которые красным ковром устилали лужайку, на столе красовался огромный букет тех же цветов. К обеду подали кислое молоко, спаржу, жареных цыплят, яйца, пиво, шампанское и черешни. Мы дружески, весело отобедали и после осматривали колонию. Жители живут в довольстве и покое, но лет десять тому назад подвергались набегам горцев.

В некоторых болезнях медики минеральных вод предписывают своим пациентам после серных ванн железные. Я испытал на себе благотворное действие их и после 10 ванн уже почувствовал какую-то необыкновенную силу. Все нервы ваши укрепляются, расположение духа вашего меняется к лучшему, ноги ваши несут вас в горы легко и свободно. Вы шагаете и не чувствуете усталости. Да, Железноводск и меня, видимо, оживил.

Однажды явился ко мне казак с известием, что губернатор Хомутов приехал и просит меня в Пятигорск. Я собрался и поехал. При выезде из Железноводска урядник останавливает моих лошадей.

— Что это значит? — спросил я его.

— При захождении солнца не велено никого выпускать.

— Но, помилуй, солнце еще высоко.

— Никак нельзя, ваше благородие.

— Вот тебе, любезный, двугривенный, пусти меня, и <я> успею засветло переехать благополучно в Пятигорск.

— Извольте ехать, ваше благородие, солнце и впрямь еще не село,— сказал мне соблазненный часовой, и я поехал.

На другой день я прошатался с Хомутовым и племянницей его по Пятигорску, а вечер провел на бульваре, в толпе гуляющих, при звуке музыки полковой, которая особенно часто тешит публику любимым <Aurorevalse>.

— Чем кончится судьба Мартынова и двух секундантов? — спросил я одного знакомого.

— Да ведь царь сказал: «туда ему и дорога», узнав о смерти Лермонтова, которого не любил, и я думаю, эти слова послужат к облегчению судьбы их,— отвечал он мне.

И в самом деле, в то время, когда дуэли так строго преследовались, с убийцею и секундантами обошлись довольно снисходительно. Секундантам зачли в наказание продолжительное содержание их под арестом и велели обойти чином, а Мартынова послали в Киев на покаяние на 12 лет. Но он там скоро женился на прехорошенькой польке и поселился в своем собственном доме в Москве.

В это пребывание мое в Пятигорске я зашел одним утром к губернатору Хомутову и застал его окруженного колонистами. Его превосходительство что-то очень горячился, кричал и шумел. Я стал прислушиваться, в чем дело. Колонисты жаловались на несправедливости чиновников, на станового, говорили, что их притесняют, разоряют, требуют незаконно каких-то денег за землю и подать собирают по нескольку раз в год. Губернатор наконец прогнал их и сердитый вошел в комнату, где я немым сидел слушателем.

— Как мне надоели своими жалобами эти немцы! — обратился он ко мне.

— А какое решение дал ты им? — спросил я.

— Да прогнал их, вот и все.

— Напрасно! Я думаю, почтеннейший Иван Петрович, что твоя святая обязанность хладнокровно выслушивать всякие просьбы. За что же ты получаешь чины,

кресты, жалованье, почести? За что тебя встречали у въезда комендант и полицеймейстер? Не забудь, любезный, что бедные люди ожидали тебя целый год, думая найти в тебе начальника справедливого, и вот как ты их разочаровываешь. Нехорошо, нехорошо... Я говорю с тобой, как с моим старым товарищем, и желаю оправдать тебя. Пошли за ними, вели воротить их, выслушай и разбери их жалобы.

Хомутов, ходивший большими шагами по комнате, вдруг подошел ко мне и пожал мою руку, а вслед за сим послал за колонистами-просителями, выслушал их хладнокровно и приказал чиновнику своему разобрать все дело. Счастливые колонисты кланялись ему в пояс и разошлись, а мы, довольные каждый собою, весело провели свое утро за чайным столиком.

Глава XXVII

Богатырь-вода — Нарзан.— Отъезд с минеральных вод.— В Прочном Окопе.— Прошение об отставке.— Отставка пошла в Петербург.— А. О. Россет — madame Récamier du Nord.— Письмо от А. О. Россет и записочка Клейнмихеля.— Отставка подписана! — Смерть Кошутина.— Сборы

Весь выздоравливающий Пятигорск переехал в Кисловодск, чтоб погружаться в богатырь-воду — нарзан. Это последнее очищающее и укрепляющее средство, это венец лечения кавказских минеральных вод. Здесь выздоравливающим разрешают все есть и пить. Это самый холодный источник, и в нем не бывает никогда более 9° тепла; но что делает его выносимым — это газы, которыми он изобилует, покрывающие обыкновенно тело купающегося мелкими пузырьками, подобно искрам пенящегося шампанского. Мне доктор не позволил купаться в нарзане, но я отправился туда из любопытства только и сопутствовал Хомутову.

Не доходя до ванн еще, мы услыхали ужасные крики и визг, как будто бы горцы налетели и делают похищение вроде саби<ня>нок! Это были голоса купающихся дам! Да и немудрено, что нежные творения эти не с таким терпением выносят те страшные ощущения холодной кусающейся воды, когда и редкий мужчина может просидеть в бассейне не более пяти минут, а обыкновенно ограничивает свое купанье тем, что, погружен-

ный по горло, пройдет только бассейн во всю его ширину, которая ограничивается 2—3 саженями. Один Лев Пушкин высиживал там $^{1}/_{4}$ часа, и еще с бутылкой шампанского в руках, которую и выпивал там. Но подобные шутки кончаются мгновенным ударом, т. е. апоплексией. Княгиня Гагарина, урожденная Поджио, после бала взяла холодную ванну нарзана и тут же умерла от удара. Рассказывали про одного чудака генерала, впрочем, здорового человека, который из любопытства в Пятигорске погружался в Александровский источник (теперь иссякший), в воду, имевшую 41 градус тепла, где яйцо сваривалось всмятку в несколько минут, и в Кисловодске в цельный нарзан, при 9 градусах тепла. После этого опыта генерал здоровым уехал в Россию.

По возвращении моем в Пятигорск я стал подумывать об отъезде своем в обратный путь. Август был в исходе. Я проводил моих родных в Россию. Добрый племянник мой Александр Арнольди спешит на службу в Петербург. Когда-то мы с ним увидимся? Я обнял его родственно и радовался, что нашел в нем благородную, чистую душу и славного, по отзывам товарищей-гвардейцев, фронтового офицера.

В один день я еще в последний раз прошелся по пятигорскому бульвару. Аллеи и скамейки были пусты и только изредка попадались неизлечившиеся хромые или кривые. Лошади мои были готовы, и я отправился в Ставрополь.

Там я нашел моего приятеля Вревского, о котором говорил уже выше. Новая встреча моя с ним утвердила меня в намерении подать в отставку, так как Вревский, служа при военном министре, заведовал отделением, в котором производились подобные дела, и мог быть мне полезен. Я откровенно сообщил ему мое намерение, а он обещал свое содействие, предупреждая только, чтоб прошение и все документы, требуемые положением, были бы верны, точны, безошибочны.

Полный надежд в скором времени оставить Кавказ и службу, я приехал в Прочный Окоп к друзьям своим Нарышкиным. М<ихаил> М<ихайлович> только что возвратился из экспедиции и был представлен в офицеры на всемилостивейшее воззрение, которое, как я после узнал, и на этот раз не воспоследовало.

В штабе полка я отыскал отличного мастера-художника писать прошение об отставке. Долго занимались

мы этим делом и наконец, как казалось, уладили его, у меня как гора свалилась с плеч. Полковая канцелярия отправила мою отставку в Тифлис на утверждение корпусного командира, потом ее пошлют в Петербург к военному министру Чернышеву, а там представят и царю на всемилостивейшее воззрение. Господи! сколько хлопот и писания о бедном армейском прапорщике! Но не забудьте при этом, что в формуляре этого прапорщика в графе происхождения значилось: «из государственных преступников».

Оставалось терпеливо ждать окончания задуманного мною дела, и я поехал в свою Фанагорию, к друзьям моим Дорошенке, Ромбергу с женою и почтенной старушке Нейдгарт. На этот раз я остановился не в прежней своей лачужке, а у Ромберга, однако ж навестил свою прежнюю хозяйку, и в комнатке, <в> которой я провел четыре скучные зимы, нашел я груды тыкв, арбузов, кочаны капусты... Она служила складочным местом.

На другой день я сделал свою последнюю прогулку к курганам и у Турецкого фонтана напился из ключа холодной воды. Потом пришел знакомый уже читателям тендер «Часовой» с лейтенантом Десятым, и я собрался в Керчь. Ромбергу нужно было съездить в Керчь, и он меня провожал. До этого мы зашли к коменданту, и тут я был обрадован, узнав, что княгиня Херхеулидзева прислала моему бедному отставному артиллеристу 175 рублей,— бедняк, говорят, верить не хотел своему благополучию. Сегодня же поблагодарю милую княгиню за такое щедрое приношение на пользу неимущих, мною рекомендованных.

Итак, мы втроем благополучно достигли Керчи, и я вечером был уже у Херхеулидзевых и благодарил княгиню за добро, которое она сделала. Во всю мою жизнь я находил более людей симпатичных и готовых на добро, чем черствых и равнодушных. Пушкин где-то сказал: «Сколько высоких душ знал я, сколько знаю доселе! Они мирят человека с человечеством, как мирит природа человечество с его судьбою». Поверьте, если не все добро делают, то все добро знают, а это не безделица. Слова эти истинны и справедливы и служили к утешению моему в продолжение всей моей жизни. Я решился перезимовать в Керчи, по неотступной просьбе милых хозяев. Музыка, книги, круг избранных друзей, чего мне искать лучшего? — останусь.

Вскоре я получил уведомление, что отставка моя, просмотренная в Тифлисе, пошла в Петербург. Слава богу! Главное сделано, стало быть. Однако и в это время я сильно беспокоился в счастливом окончании дела, получив письмо от родственника моего, генерала Арнольди, из Петербурга, в котором он пишет, что, принимая во мне родственное внимание, говорил обо мне с Дубельтом (тогда весьма значащим человеком) и спрашивал его, есть ли надежда получить отставку такому-то, и что будто бы генерал отвечал ему, чтобы я и не смел думать об увольнении из службы ранее шести лет. Подобный совет или предостережение не могли, конечно, подействовать на меня благотворно. Мне оставалось рапортоваться больным и ждать в Керчи развязки, чтоб избавиться от трудной, по моим летам, кавказской службы, где прапорщикам, даже и 48-летним, ежедневно выпадают случаи ходить с оказиями за камышом, за дровами, за провиантом. Итак, уповая на свою счастливую звезду, я проводил время свое в Керчи в мечтах о минуте, которая позволит мне сбросить с себя тяжелое и ненатуральное положение, в котором я находился. Кому не мила свобода? Меня же тянуло после 20-летнего отсутствия на родину, мне хотелось еще раз в этой жизни обнять брата, сестер, родных, близких моему сердцу.

Я говорил уже в своих записках о существе, которое влиянием своим облегчило уже однажды судьбу мою в то время, когда я по ее просьбе одним из первых вырвался из Сибири и переведен был рядовым на Кавказ! Это была моя племянница А. О. Россет, тогда фрейлина императрицы, а в минуту, когда я пишу эти строки, в замужестве за Н. М. Смирновым. Одаренная красотой телесной и душевной, она умом своим имела сильное влияние и при дворе, и в кругу великосветских, сильных мира сего. Все наши знаменитые поэты пели ее в своих стихах — Пушкин, Жуковский, Лермонтов, князь Вяземский, Мятлев, Хомяков дарили ей свои послания. В позднейшие времена она сдружилась с Гоголем и была с ним долгое время в переписке. Она олицетворяла в себе идеал тех женщин Франции, которые блестели в золотой век ее, и название Madame Récamier du Nord * шло к ней как нельзя больше. Направляя к добру все свое влияние, она многим помогала во всю свою жизнь.

---

* Северная мадам Рекамье *(фр.)*.

Так однажды, известясь, что Гоголь нуждается за границей даже в необходимом, она на балу смело подошла к Николаю Павловичу и просто сказала: «Государь, наш народный поэт умирает в Риме в нищете, помогите ему... Он просит только 3000 рублей».— «Скажите Алексею Федоровичу, чтобы завтра мне об этом напомнил»,— отвечал царь. Смирнова пошла отыскивать Орлова, поймала его наконец и объяснила ему волю государя.

— Что это за Гоголь? — спросил ее Орлов.

— Стыдитесь, граф, что вы — русский и не знаете, кто такой Гоголь.

— Что за охота вам хлопотать об этих голых поэтах? — возразил Орлов.

Однако на другой день было послано Гоголю 3000 рублей.

Выпущенная из Екатерининского института, с первым шифром M-lle Rossette взята была прямо ко дворцу фрейлиной к императрице Марье Федоровне, а по кончине ее перешла к императрице Александре Федоровне. В вихре светских удовольствий Александра Осиповна находила достаточно времени, чтоб обогащать свой ум разными новыми сведениями, которых в институте приобрести, конечно, не могла. Она выучилась италианскому, английскому языку, а потом изучала греческий и еврейский, владея в совершенстве французским, немецким и, в особенности, своим отечественным, русским языком. Она в часы досугов написала записки о своей юности и впечатлениях при дворе, и Хомяков, которому она их читала, говорил мне, что считает их перлом русской прозы. К сожалению, племянница моя сожгла их в минуту сознания, что все на сем свете суета сует...

Многие из наших сочинителей и поэтов представляли на ее суд свои произведения и пользовались ее советами. Так однажды и Хомяков прислал ей какую-то политическую брошюру, прося ее передать при удобном случае императору Николаю. А<лександра> О<сиповна> пригласила к себе Вяземского и занялась прочтением ее; и результатом этого совещания было решение не подавать брошюры государю, а Вяземский сказал при этом случае, что и «вы и Хомяков непременно будете сидеть в крепости». Не знаю, что это было, но, верно, что-нибудь уже чересчур неперевариемое для тогдашнего времени.

К этой-то умной, влиятельной женщине и моей доброй племяннице написал я письмо и просил ее ходатайства и заступничества к увольнению меня из службы.

Сижу я однажды у себя в комнате, в квартире Херхеулидзева, грустный, задумчивый... Ветер страшно свистел в окнах. Густой туман лежал над всею Керчью, и часто проливной дождь затоплял окрестность. Вдруг мне подают письмо... почерк руки моей племянницы... печать сорвана... у меня сильно забилось сердце. Маленькая записочка выпала из конверта:

«Спешу поздравить А. О. Смирнову. Сегодня подписана государем отставка дядюшки вашего Н. И. Лорера по болезни.

Клейнмихель».

Конечно, я не дал себе времени читать письмо моей племянницы,— бегу, кричу:

— Князь, княгиня, я свободен... я счастлив!

Чудак князь, обнимая меня, поздравлял, приговаривая: «Поздравляю, но не радуюсь до тех пор, пока не увижу имени твоего в приказах».

Но вот принесли «Инвалид», и я в числе бесчисленного множества производств, наград, перемещений, отставок прочел и свою фамилию, а неверный Фома мог смело дать волю своим восторгам. Скоро весь город узнал о моем счастии, и все спешили меня поздравлять. Даже дети Керченского института, куда я часто ходил, быв знаком с их начальницей г-жой Телесницкой, и которым часто нашивал конфект, приняли участие в моей радости. Бедненькие, они воображали, что я с ними останусь и буду по-прежнему лакомить их!

Князь дал обед в честь моей отставки, и друзья пили тост за мою новую жизнь. И в Фанагории откликнулась моя радость, и там радовались за меня добрые знакомые и друзья.

Я дал знать о своей свободе всем родным моим в Россию и собирался вскоре и сам на родину, но, признаюсь, после минутных восторгов я скучал по своей хижине в Фанагории, по своим курганам с фонтанами, по уединению... Странно создан человек! Он вечно чего-нибудь желает... Тогда были надежды, теперь они стали действительностью, и я вступаю в общую колею.

Я стал дожидаться из Тифлиса своих документов, а между тем в один день получил приглашение на похороны моего храброго полкового командира Кошутина.

Сколько раз странствовали мы с ним по горам Кавказа, сколько раз видал я его с шашкою наголо впереди своих колонн, и смерть его щадила, и вдруг он умер спокойно, на своей постели, в своей деревушке, в 12 верстах от Керчи. Сниму же и я свою военную форму на его могиле, подумал я, и в последний раз оделся в военные доспехи и поехал на похороны. После панихиды в доме родные и корпус офицеров полка, которым командовал полковник, понесли своего отца и командира на бедное сельское кладбище, в вечное его успокоение... Там мы оба вышли в отставку, там оба вместе исключены были из списков Тенгинского полка.

Наконец я получил свои бумаги в Керчи и стал ожидать весны, чтобы ехать на родину к брату, которого не видал более 20 лет... Я оставил его бодрым, свежим, теперь, вероятно, обниму старика, да и во мне он, конечно, найдет большую перемену.

На третьей неделе великого поста, отслужив благодарственный молебен творцу всеблагому, пожав руки друзьям, которые постоянно ласкали, лелеяли меня, я из дома князя Херхеулидзева выехал в г. Херсон 1842 <года> апреля 17-го числа. Отставка моя довольно оригинальна тем, что по исчислении моих подвигов на Кавказе как рядового начальство не поместило моей военной службы до ссылки в Сибирь и в графе о происхождении прописало: «из государственных преступников» и запретило въезд в обе столицы, подчинив меня надзору местной полиции. И тут еще не полное прощение, не полная свобода.

Глава XXVIII

В Херсоне.— Владимир Пестель.— Свидание с братом.— Представление Воронцову.— Поселение в сельце Водяном.— Заключение.— Память о верных слугах декабристов: Анисья, Акулина, гувернантка Трубецких.— Семья Трубецких.— Конец

Наконец я на родине, в Херсоне. Я явился к гражданскому губернатору В<ладимиру> Ивановичу Пестелю, которого знал еще в кавалергардском полку. Он был родным братом покойного Павла Ивановича, моего друга, которого казнили, и сделан был флигель-адъютантом в тот самый день, когда брат его смертью своею искупал свое заблуждение, по мнению Николая-императора... Какая жалкая насмешка над человеческими чувства-

ми — как будто можно чем-нибудь утешить огорченное сердце брата!

Пестель принял меня ласково, с участием и объявил мне, что я буду под надзором земской полиции, и в случае желания моего перемещения обещал давать мне письменное разрешение. Странное стечение обстоятельств! Я кончил свою службу до ссылки в Сибирь под начальством одного Пестеля и после 20 лет разных мытарств попадаю опять под заведение другого брата Пестеля! Таким образом, и на своем родном пепелище я не нашел той свободы, о которой мечтал так детски всю мою жизнь, да и вряд ли она и есть где-нибудь.

Меня много обрадовало и утешило свидание с родным братом моим, который нарочно приехал по этому случаю из своей деревни мне навстречу. С каким восторгом мы обнялись и он прижал к груди своей брата-изгнанника — легко можно себе вообразить. Мне позволили удалиться в деревню к брату, и я уехал с ним в свое родное гнездо. Из сельца нашего сделалась деревня, и все изменилось. Что оставил я молодым, состарилось: кусты нашего сада разрослись в огромные деревья, а многих стариков слуг я не застал уже в живых. Невестка моя также состарилась, а из шести мною оставленных сестер я нашел в живых одну... На могиле моей матери, похороненной у нас в саду, я плакал о потерянных счастливых днях своей юности.

Я съездил в Одессу, чтоб одеться в гражданское платье. Граф М. С. Воронцов был тогда там генерал-губернатором Новороссийского края. Граф меня знал лично в Варшаве, когда мы возвратились из-за границы в 1815 году, и я почел своим долгом представиться ему. Адъютант его Суворов представил меня графу в его кабинете. Внимательный, ласковый старик спросил меня, чем может быть мне полезным, и требовал, чтобы я всегда лично к нему обращался с моими просьбами. Граф был тип вельможи и обладал европейским образованием, каким в то время не многие из наших сановников пользовались. Он истинно любил Россию, а южный край и Одессу, свое создание,— в особенности. Веллингтон о нем справедливо отнесся, назвав звездою России. Но вмешательство правительства много мешало Воронцову в осуществлении его благих предначертаний и намерений, равно как и Дюку-де-Ришелье, первому основателю благоденствия южного края, который говаривал даже:

«Пусть правительство забудет этот край на 25 лет только, и я ручаюсь, что он сделается цветущим краем, а Одесса перещеголяет Марсель в коммерческом отношении». Г. Ланжерон заменил Дюка-де-Ришелье, и все еще кое-как дела шли своем чередом, но тут Аракчеев уже, видимо, стал портить будущую судьбу южного края. Не постигая нужд края, он, как известно, завел военные поселения, которые впоследствии умертвили все жизненные силы народа под управлением создания Аракчеева — графа Витта, совершенно затормозили процветание новороссийских степей. Но я не стану описывать исторических ошибок нашего времени... Кто их не знает, кто их не видит! Они не касаются моей жизни.

С моим возвращением моя политическая и гражданская деятельность кончилась. Я поселился мирным поселенцем в родительском доме сельца Водяной. Благодаря бога, пользуюсь на 70-м году полным здоровьем и обладаю еще вполне всеми дарами природы. Все мои прошлые невзгоды не навели на сердце мое черствой коры, и я еще горячо сочувствую всему теплому, прекрасному.

Товарищи моего изгнания, после коронации государя Александра Николаевича, все уже, подобно мне, на свободе, и из декабристов теперь нет ни одного в Сибири и на Кавказе. Они живут тихо по своим уголкам. Но многие из них положили свои головы на Кавказе, многие умерли своею смертью и в Сибири.

Я хотел было поставить точку, любезный читатель, но не могу окончить своих записок, не передав потомству, не назвав тех верных слуг, которые не оставляли своих господ и в дни их тяжелых испытаний и несчастий.

Правительство не позволяло женам преступников брать с собой крепостных своих слуг, но эти последние добровольно последовали за своими господами.

Графиня Анна Ивановна Коновницына, не желая лишить свою дочь прислуги, к которой она привыкла, собрала всю свою дворню и вызывала охотников на добровольное изгнание, обещая каждому, последующему за дочерью, волю после пятилетнего служения как им самим, так и семействам их. Охотников нашлось много, но выбор пал на сестру с братом. 20-летняя Анисья последовала за Нарышкиной и усердно, верно исполнила свою обязанность. Поведением своим она заслужила уважение даже самого Лепарского, который обыкновенно при встрече с нею здоровался, снимая свою фуражку.

Все власти, имевшие какое-либо влияние на ее господ, Анисья ненавидела и выражала свою антипатию к ним тем, что обыкновенно отворачивалась от них. Впоследствии она сделалась, можно сказать, другом своих господ и умела всегда утешить и успокоить их. После пяти лет службы и Анисья и брат ее, по обещанию, получили свободу от своих господ, но верные слуги остались при своих благодетелях и только просили дозволения съездить в Россию, чтоб повидаться с престарелыми родными своими. Конечно, Нарышкины поспешили исполнить желание этих добрых людей, снабдили их деньгами, подорожной и благословили в дальнюю дорогу. Бедная женщина в пути своем подвергалась в каждом городе строгому осмотру, и правительство опасалось, чтобы подобным путем сосланные не вошли в сношение с свободною Россиею. Мужественная Анисья выдержала все эти обиды и по прошествии пяти месяцев снова была в Сибири, готовая к услугам своих добрых господ. Она пренаивно рассказывала, что однажды в Петербурге, встретив государя, совсем было решилась упасть к ногам монарха и просить прощения своим господам, но удержалась, подумав, что может повредить им своим неуместным заступничеством. К тому же она в Петербурге еще узнала, что участь ее господ несколько облегчена и что они живут на поселении в Кургане Тобольской губернии.

Другая личность, подобная этой, была Акулина, принадлежавшая Т. С. Уваровой, родная сестра которой была матерью М. С. Лунина. Уварова знала, что брату ее нужны деньги (кому они не нужны?), но Лунину хотелось иметь их непременно золотом. Желая исполнить фантазию брата, Уварова решилась поручить это дело горничной. Храбрая Акулина, снабженная законным видом и большой суммою денег, садится на перекладную и перелетает 6000-ное пространство от Петербурга до Петровского завода. В каждом губернском городе она подвергалась осмотру и, несмотря на это, сумела выполнить поручение своих господ и доставила в целости Лунину большую сумму денег золотом. О прочих верных слугах, оставшихся при своих господах, можно также отнестись с большою похвалой.

Е. И. Трубецкая, пробыв в замужестве более 10 лет, не имела детей, ездила за границу, лечилась и оставалась бездетною. В Сибири, как бы в наслаждение до-

стойной супруге, она сделалась матерью трех <дочерей?> и сына. Когда дети подросли и стали нуждаться в научном образовании, княгиня, имея средства, не жалела на приискание хорошей гувернантки огромных денег. Но всех пугала отдаленная Сибирь. Наконец нашлась одна достойная женщина свободной Англии, которая взяла на себя эту обязанность и добросовестно исполнила ее, воспитав умственно, морально и телесно всех троих детей. По возвращении из Сибири все три дочери Трубецкой вышли замуж: одна за Ребиндера, что ныне сенатором; другая за сына изгнанника Давыдова; а третья за Николая Свербеева, которого сестра замужем за моим племянником Львом Арнольди.

Молодой Трубецкой, кончив курс в Ришельевском лицее, перешел в Московский университет и подает большие надежды.

Екатерина Ивановна скончалась в Иркутске и похоронена в 6 верстах от города, в монастыре. Старшая дочь, бывшая за Ребиндером, умерла от чахотки в Дрездене. Николай Свербеев умер в 1860 году, оставив жену свою, урожденную Трубецкую, с двумя малолетними детьми, и сам старый князь Сергей Петрович Трубецкой умер в Москве в 1860 году, в одно почти время с дочерью и молодым Свербеевым. Мир праху их.

КОНЕЦ

Все, что знавал, все, что любил,
Я невозвратно схоронил,
И в области веселой дня
Ничто уж не живит меня.
Без места на пиру земном,
Я только лишний гость на нем.

ПРИМЕЧАНИЯ

Из обширного корпуса декабристской мемуаристики для настоящего издания отобраны 4 текста, характеризующие разные стороны движения дворянских революционеров. Тексты печатаются по новейшим научным изданиям без указаний на разночтения и редакторские конъюнктуры, принятые публикаторами. Все подстрочные примечания, кроме перевода иноязычных слов и выражений, принадлежат мемуаристам. В примечаниях, по необходимости кратких, составитель опирался на работы советских историков, прежде всего, В. П. Павловой, Г. А. Невелева, Б. Е. Сыроечковского, Л. А. Сокольского, И. В. Пороха, М. В. Нечкиной, подготовивших научные издания мемуаров С. П. Трубецкого, А. Е. Розена, И. И. Горбачевского, Н. И. Лорера. Составитель стремился раскрыть перед читателем возможность знакомства с декабристской мемуаристикой — этим объясняются частые отсылки к воспоминаниям, не вошедшим в настоящую книгу. В примечаниях приняты следующие сокращения:

ВД — Восстание декабристов. М.; Л., 1925—1980, т. 1—17.

Воспоминания и рассказы — Воспоминания и рассказы деятелей тайных обществ 1820-х годов. М., 1933, т. 1—2. Общая редакция Ю. Г. Оксмана.

Горбачевский — И. И. Горбачевский. Записки. Письма. М., 1963. Издание подготовили Б. Е. Сыроечковский, Л. А. Сокольский, И. В. Порох.

Гордин — Я. Гордин. События и люди 14 декабря. М., 1985.

Декабристы — Декабристы. Избранные сочинения: в 2-х т. М., 1987.

Лорер — Н. И. Лорер. Записки декабриста. Иркутск, 1984. Изд. 2-е. Подготовлено М. В. Нечкиной.

МДСО — Мемуары декабристов. Северное общество. Издательство Московского университета, 1981. Составление, общая редакция, вступительная статья и комментарии В. А. Федорова.

МДЮО — Мемуары декабристов. Южное общество. Издательство Московского университета, 1982. Собрание текстов и общая редакция проф. В. И. Пороха и проф. В. А. Федорова.

Нечкина — М. В. Нечкина. Движение декабристов. М., 1955, т. 1—2.

Писатели-декабристы — Писатели-декабристы в воспоминаниях современников: в 2-х т. М., 1980. Вступительная статья

И. Б. Мушиной и Я. Л. Левкович; составление и примечание Р. В. Иезуитовой, Я. Л. Левкович, И. Б. Мушиной.

Розен.— А. Е. Розен. Записки декабриста. Иркутск, 1984. Издание подготовлено Г. А. Невелевым.

Трубецкой — С. П. Трубецкой. Материалы о жизни и революционной деятельности, т. 1. Идеологические документы, воспоминания, письма, заметки. Иркутск, 1983. Издание подготовлено В. П. Павловой.

Сергей Петрович Трубецкой (1790—1860)

С. П. Трубецкой — потомок одного из знатнейших в России княжеского рода. Получил основательное домашнее воспитание, в 1807 г. слушал лекции в Московском университете. С 1808 г.— на военной службе (лейб-гвардии Семеновский полк, с 1821 г. числился в лейб-гвардии Преображенском полку, служа с 1819 г. в Главном штабе; к 1825 г.— гвардии полковник, дежурный штаб-офицер 4-го Пехотного корпуса). Участник Отечественной войны 1812 г. (сражения при Бородино, Тарутине, Малом Ярославце) и заграничного похода (сражения при Люцене, Бауцене, Кульме). Награжден орденами св. Владимира 4-й степени, св. Анны 2-й степени, прусским орденом «За заслуги» и знаком железного креста. Один из учредителей Союза спасения (1816), участник декабристского движения на всех его этапах. Осужден по 1 разряду (смертная казнь отсечением головы, по конфирмации Николая I — пожизненная каторга). С сентября 1826 г.— на каторге (Нерчинск, Чита, Петровский завод), с 1839 г.— на поселении (с. Оек Иркутской губернии). По амнистии 22 августа 1856 г. восстановлен в правах дворянства, но без княжеского титула. Вернувшись в Европейскую Россию, жил в Киеве, с 1858 г.— в Одессе, с августа 1859 г.— в Москве.

«Записки» С. П. Трубецкого, задуманные, по-видимому, еще в 1830-х гг., писались на поселении; весьма вероятен тесный контакт Трубецкого с Н. М. Муравьевым и М. С. Луниным, работавшими над историей революционного движения в России.

«Записки» были изданы впервые в 1863 г. в Лондоне А. И. Герценом, затем в 1874 г. в Лейпциге — Э. Л. Каспровичем и в 1903 г. в Берлине — Г. Штейницем. Первое издание в России — в журнале «Всемирный вестник» (1906) с сокращениями. В том же году вышло отдельное издание.

Текст печатается по изд.: Трубецкой, с. 217—285. Там же см. другие сочинения Трубецкого; подробности творческой истории «Записок» и их анализ представлены в комментариях В. П. Павловой — там же, с. 352—360.

С. 21... *позор Тильзитского мира...*— Тильзитский мир между Россией и Францией заключен в 1807 г. Россия была поставлена в невыгодные экономические условия (участие в Континентальной блокаде), что усугубляло тяжесть морального гнета от военных поражений.

С. 22. *9 февраля 1816 года...*— Мемуарист не точен. Инициаторами создания первого тайного общества в начале 1816 г. были А. Н. Муравьев, Н. М. Муравьев и С. П. Трубецкой. Вскоре были привлечены С. И. и М. И. Муравьевы-Апостолы и И. Д. Якушкин.

В течение 1816 г. членами общества стали М. С. Лунин, М. Н. Новиков, Ф. П. Шаховской, Ф. Н. Глинка, П. И. Пестель, С. П. и И. П. Шиловы, И. А. Долгоруков, братья Петр и Павел Колошины. Подробнее см.: Нечкина, т. 1. с. 141—147.

...пристрастие к формам масонским...— Масонство — религиозно-этическое течение, известное в России с 1730-х гг. Многие из декабристов, в том числе и Трубецкой, испытали увлечение масонством. Известны попытки использовать масонские ложи как своеобразные филиалы тайного общества. См. подробнее: Н. М. Дружинин. К истории идейных исканий П. И. Пестеля.— В его кн.: Избранные труды. Революционное движение в России в XIX в. М., 1985, с. 330—356.

...Франция блаженствовала под управлением Комитета общей безопасности.— Комитет общественной безопасности, возглавляемый Ж. Дантоном, а после его казни — М. Робеспьером, неформальное правительство Франции в годы якобинской диктатуры. Приверженность Пестеля уже в 1817 г. к якобинским идеям представляется сомнительной. Вероятно, Трубецкой перенес в 1817 г. более поздние воззрения Пестеля. Можно предположить, однако, что разногласия многих членов общества с Пестелем наметились уже на раннем этапе.

С. 23 *...проект для освобождения крестьян Эстляндской губернии...*— Проект разрабатывался с 1810 г., был утвержден в 1816 г. Крестьяне получали личную свободу, право на покупку и аренду земельных участков, наем батраков. Земля оставалась за помещиками. Аналогичные меры были введены в 1817—19 гг. в Курляндской и Лифляндской губерниях.

...слова благодарного манифеста...— Имеются в виду манифест 30 августа 1814 г. «О установлении празднества декабря 25-го в воспоминание избавления церкви и державы Российския от нашествия галлов и с ними двадесяти язык», где, в частности, обещалось «содержание воинов привесть в лучшее и обильнейшее прежнего <...> дать им оседлость и присоединить к ним их семейства».

С. 25. *...к генерал-губернаторству маркиза Паулуччи...*— т. е. к Прибалтийскому генерал-губернаторству, в которое входили Эстляндская, Лифляндская и Курляндская губернии.

С. 26. *...ходили рукописи харьковского помещика Каразина...*— Имеется в виду записка В. Н. Каразина (1773—1842), общественного деятеля, основателя Харьковского университета, позже печально прославившегося своими доносами, «Мнение одного украинского помещика, выраженное после беседы с своими собратьями об указе 23 мая и об эстляндских постановлениях». Каразин высказывался против освобождения крестьян без земли, противопоставляя «ненужную» личную свободу благоденствию при просвещенном и гуманном помещике. Текст записки см.: Сборник материалов из архива е. и. в. Канцелярии. СПб., 1905, т. 7.

Член общества А. Н. Муравьев написал возражения...— декабрист Александр Николаевич Муравьев (1792—1863) полемизировал с «Посланием российского дворянина к князю Репнину (Николаю Григорьевичу), малороссийскому военному губернатору и генерал-адъютанту», написанным калужским губернским предводителем дворянства кн. Н. Г. Вяземским (1767—1846), в работе «Ответ сочинителю речи о защищении права дворян на владение крестьянами, писанной в Москве апреля 4-го дня 1818 года, древнему российскому

дворянину, старцу, служившему в войске и суде, верноподданному государя от Россиянина». Как следует из заголовка труда Муравьева, эта полемика (вопреки изложению Трубецкого) приходится на более позднее время, чем «московский заговор» (осень 1817 г.). Текст Вяземского см.: Сборник исторических материалов, извлеченных из архива собственной е. и. в. канцелярии. СПб., 1895, вып. 7. Текст Муравьева см.: А. Н. Муравьев. Сочинения и письма. Иркутск, 1986, с. 129—137. О нем см. там же в статье О. С. Тальской «Декабрист Александр Николаевич Муравьев».

...так сильно поразила одного из членов...— Имеется в виду И. Д. Якушкин (1793—1857). Трубецкой очень бегло пишет о «московском заговоре» 1817 г. Подробное изложение событий представлено в «Записках» И. Д. Якушкина. См.: Декабристы, т. 2, с. 389—391.

С. 27. *...Тугендбунд* (Союз добродетели) — немецкое тайное общество, боровшееся с Наполеоном в 1808—1813 гг.

Первый устав...— Устав Союза спасения не сохранился. Реконструкцию текста см.: Нечкина, т. 1, с. 162—163. Далее речь идет о «Законоположении Союза Благоденствия» («Зеленой книге»). Текст его см.: Декабристы, т. 1, с. 21—45. Об этом документе см. также: С. Н. Чернов. Из работ над «Зеленой книгой».— В его кн.: У истоков русского освободительного движения. Саратов, 1960, с. 261—328. О структуре Союза Благоденствия см.: Нечкина, т. 1, с. 206—208.

С. 29. *...приговорили профессора...*— Лекции офицерам читал профессор политической экономии при Петербургском главном педагогическом институте (с 1819 г.— университете) Карл Федорович Герман (1767—1838). Об увлечении в русском обществе рубежа 1810—20-х гг. политической экономией см.: Ю. М. Лотман. Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий. Л., 1980, с. 134—135.

...блюститель его Трубецкой.— Трубецкой отбыл за границу 26 июня 1819 г. Вернулся в июне 1821 г.

...приехал в Петербург Пестель...— 21 ноября 1819 г., пробыл в Петербурге до начала лета 1820 г. См.: Нечкина, т. 1, с. 285. В этот период проходят многочисленные совещания членов тайного общества, выявившие как разногласия, так и единство по вопросу о предпочтительности республиканского способа правления (совещание 8 января 1820 г. у Ф. Н. Глинки; подробнее см.: С. С. Ланда. Дух революционных преобразований... 1816—1825. М., 1975, с. 131).

С. 30. *...общий съезд в Москве...*— Съезд состоялся в Москве в начале января 1821 г. в доме Фонвизиных. О ходе съезда вспоминал И. Д. Якушкин. См.: Декабристы, т, 2, с. 414—417. Подробную характеристику съезда, приведшего к формальному роспуску Союза Благоденствия и установке на военную революцию, см. в работах: Нечкина, т 1, с. 324—333; С. Н. Чернов. Ук. соч., с. 46—95.

...происшествия ... в лейб-гвардии Семеновском полку...— О возмущении Семеновского полка (16—18 октября 1820 г.) подробнее см. в «Записках моего времени» Н. И. Лорера (наст. изд., с. 327—331), «Записках» И. Д. Якушкина (Декабристы, т. 2, 420—422; примеч.— с. 541; там же указана основная литература), воспоминаниях М. И. Муравьева-Апостола — МДЮО, с. 178—185.

Пестель опять приехал...— имеется в виду приезд Пестеля в марте — апреле 1824 г. с предложением объединить Северное и Юж-

ное общества. В этот приезд Пестеля «северяне» ознакомились с политической концепцией его труда «Русская правда».

Оно требовало отделения Польши...— Польское патриотическое общество настаивало на независимости Польши. В ходе переговоров, которые вели с его представителями с 1823 г. С. И. Муравьев-Апостол и М. П. Бестужев-Рюмин, было достигнуто соглашение о поддержке поляками революционных преобразований в России и переходе под власть Польши Гродненской, части Виленской, Минской, Волынской губерний.

С. 31. *...прочие обещали увенчаться успехом.*— В Киеве Трубецкой тесно контактировал с лидерами Васильковской управы — С. И. Муравьевым-Апостолом и М. П. Бестужевым-Рюминым, чьи взгляды на «польский вопрос», видимо, постепенно сближались с идеями Трубецкого.

С. 32. *Последний поспешил в столицу.*— Неточность мемуариста: А. Ф. Бригген прибыл в Киев летом 1825 г., а Трубецкой в Петербург (вероятно для того, чтобы сообщить «северянам» о решении Южного общества начать революционные действия в 1826 г.) около 10 ноября 1825 г.

С. 33. ... *тайное общество под названием Славянского.*— Об Обществе соединенных славян см. в наст. изд. «Записки» И. И. Горбачевского и примеч. к ним.

...государь был при смерти.— Александр I умер в Таганроге 19 ноября 1825 г., 25 ноября в Петербурге было получено известие о его тяжелой болезни. 27 ноября стало известно о его смерти.

С. 34. *...женат на польке...*— Второй женой вел. кн. Константина Павловича была с 12 мая 1820 г. графиня Иоанна Грудзинская, получившая фамилию Ловицкой (Ловичевой, Лович). Ниже Трубецкой не точен, полагая, что отречение Константина предшествовало его женитьбе.

... *представил им возможность упразднения престола и свои на оный права.*— 14 января 1822 г. Константин направил Александру I письмо с отречением от престола. 2 февраля он был извещен императорским рескриптом о согласии. Манифест о переходе престола к Николаю мимо Константина был подписан 16 августа 1823 г. Акт отречения держался в строгой тайне. О событиях начала междуцарствия, в том числе об откровенно «проконстантиновской» позиции военного генерал-губернатора Петербурга гр. М. А. Милорадовича, а также поддерживающих его командующего гвардией А. Л. Воинова и командующего гвардейской пехотой К. И. Бистрома см.: Гордин, с. 15—20, 23—24, 34—37, 41—42.

С. 35. *В публике давно было известно, что...*— Здесь обрывается текст поздней редакции «Записок», далее печатается текст «Записок» 1844—45 гг.

С. 36. *Опочинин уехал в ночь.*— В описании перемещений Ф. П. Опочинина Трубецкой не точен (ср. другую его версию в Замечаниях на «Записки» В. И. Штейнгеля.— Трубецкой, с. 298—299). Опочинин, действительно, выехал в Варшаву 27 ноября; 28 ноября вернулся в Петербург по неизвестным причинам, отправлен в Нарву (для встречи Константина) в ночь на 30 ноября. В этот раз он, действительно, встретился с вел. кн. Михаилом Павловичем и с ним вернулся в Петербург. В ночь с 3 на 4 ноября вновь отбыл в Варшаву.

С. 38. *...в пожилом человеке предполагали больше опытности, нежели в молодом...*— Константину было 46 лет, Николаю — 29.

С. 39. *Между тем тайное общество...*— О положении в тайном обществе в начале междуцарствия (от растерянности к новым планам) см.: Гордин, с. 21—22, 32—34, 46—49.

С. 42. *Время же междуцарствия продолжалось ровно 2 недели.*— На самом деле: 17 дней (27 ноября —13 декабря).

...известный картежный игрок...— Коллежский советник П. Е. Никитин.

...уверены были в содействии некоторых из высших сановников государства...— Вероятно, имеются в виду намечавшиеся в состав Временного правительства М. М. Сперанский, Н. С. Мордвинов, А. П. Ермолов, Н. Н. Раевский (старший), Д. А. Столыпин, П. Д. Киселев, И. М. Муравьев-Апостол и др. Подробнее см.: А. В. Семенова. Временное революционное правительство в планах декабристов. М., 1982.

С. 43. *Здесь прилагаем список...*— В списке перечислено 136 человек (Трубецкой дважды поставил № 5). Из них 117 было осуждено Верховным уголовным судом. Трое пропущено (один из братьев Бодиско, И. И. Иванов и принимавший участие в восстании 14 декабря, хотя и не бывший членом общества О. В. Горский). А. И. Вегелин, М. И. Рукевич, К. Г. Игельстром (члены Военного общества), как и В. Ф. Раевский, И. И. Сухинов, В. Н. Соловьев, А. Е. Мозалевский, А. А. Быстрицкий были осуждены особыми военными судами. Четверо (А. М. Булатов, И. И. Муравьев-Апостол, М. А. Щепило, А. Д. Кузьмин) погибли до суда. О судьбе трех последних см. в «Записках» И. И. Горбачевского. Двое (находящиеся за границей Н. И. Тургенев и Я. Н. Толстой) были осуждены заочно. Четверо (М. Ф. Орлов, В. И. Путята, В. А. Мусин-Пушкин, С. М. Семенов) привлекались к следствию, но не к суду. Участие в тайном обществе Рамоль-Сапеги и Казикова не установлено. В списке Трубецкого ряд фамилий воспроизведен неточно, в настоящем издании они исправлены, согласно примечаниям В. П. Павловой.

С. 45. *Булатов согласился принять начальство над войсками...*— О роли А. М. Булатова (1793—1826) в восстании (фактически его действия сорвали продуманный план Рылеева и Трубецкого) см.: Гордин, с. 37—38, 101—104, 128—133, 146—148, 173—174 и др.

...оба батальонных командира лейб-гвардии Финляндского полка...— Полковники А. Ф. Моллер и А. Н. Тулубьев, об их действиях см. в «Записках декабриста» А. Е. Розена, ср. также: Гордин, с. 100—101, там же о поведении С. П. Шипова.

С. 47. *...полковой командир Преображенского полка...*— Генерал-майор Н. А. Исленьев.

...идти за ним.— К этим словам Трубецкой дал подробное примечание (позже зачеркнутое), в котором рассказал о восстании Черниговского полка. См.: Трубецкой, с. 250.

С. 48. *Кап.-лейт. Николай Бестужев...*— рассказ о приюте, предоставленном Н. А. Бестужеву неким домовладельцем, восходит к воспоминаниям самого Бестужева «Четырнадцатое декабря» (см.: Декабристы, т. 2, с. 64—68, примеч. с. 514). Не исключено, что в рассказах Н. Бестужева содержался элемент вымысла.

С. 49. *...прочел в нем показание...*— Это было показание К. Ф. Рылеева. См.: ВД, т. 1, с. 152.

С. 51. *Пишите к вашей жене.*— Письма Трубецкого к жене, о первом из которых он повествует, см.: Трубецкой, т. 1, с. 103—217.

С. 54. *...она знала не более, как и вы.*— По ряду сведений, Е. И. Трубецкая, вопреки уверениям мемуариста, знала о деятельности тайного общества.

С. 58. *...о членах общества на юге.*— Вопросы о Южном обществе Трубецкому не задавались, но в его показаниях «южане» неоднократно упоминаются.

До масленицы я не получил никаких... вопросов...— До 22 февраля (начало масленицы) Трубецкой дважды (10 января и 15 февраля) подвергался допросам. 11, 12 января и 2 февраля отвечал на «вопросные пункты» письменно. См.: ВД, т. 1, с. 51—55.

...этого никогда не было...— Предложение убить Николая сделал П. Г. Каховскому К. Ф. Рылеев (см.: Нечкина, т. 2, с. 243). Трубецкой об этом плане Рылеева, входящем в противоречие с общим замыслом (арест царской фамилии), вероятно, не знал.

С. 59. *...неосторожные слова на ... Арбузова.*—15 февраля Трубецкой показал о том, что Арбузов на совещании у Рылеева говорил «мы и холодным оружием с ней <артиллерией> справимся», а также о своем разговоре с Арбузовым об удержании войск от присяги.

...пришел ко мне священник.— Личность П. Н. Мысловского (1777—1846) по-разному оценивалась декабристами. Кроме положительных суждений Трубецкого, Н. И. Лорера, И. Д. Якушкина известны и отрицательные отзывы М. С. Лунина, Н. В. Бассаргина. Роль Мысловского не получила однозначной оценки у историков.

С. 62. *...наконец решился написать...*— Это письмо не обнаружено. Нигде не зафиксированы и сведения тайного допроса о Сперанском, снятого с Трубецкого Бенкендорфом.

...возили полковника Батенькова во дворец.— Батенькова постоянно допрашивали о связях декабристов с либерально настроенными сановниками. Вызов 29 или 30 марта во дворец не зафиксирован.

С. 65. *...в объятия мои бросается сестра.*— Свидание с Е. П. Потемкиной произошло 1 апреля 1826 г.

С. 66. *...обнять мою жену.*— Это свидание состоялось 19 апреля.

С. 68. *...я увидел себя пред Бриггеном...*— Эта очная ставка состоялась 12 мая. А. Ф. Бригген (1792—1859) был осужден к каторжным работам на 4 года, по конфирмации Николая I — на 2 года, затем срок был сокращен до года. О Бриггене см. в статье О. С. Тальской в кн.: А. Ф. Бригген. Письма. Исторические сочинения. Иркутск, 1986.

С лейтенантом Арбузовым...— Это происходило 16 мая. Трубецкой, не допуская перекрестного допроса, отказался от прежних показаний; см.: ВД, т. 2, с. 43.

В день преполовения — 19 мая.

Вид Рылеева...— Очная ставка Трубецкого с Рылеевым была 6 мая, т. е. до «дня преполовения».

С. 69. *...«Никто не будет обижен».*— Свидание Рылеева с женой состоялось 10 июня. В это время активно циркулировали слухи о предстоящем помиловании декабристов. Эти сведения появились и на страницах иностранной прессы. Как установлено Г. А. Невелевым, Николай I в беседе с французским послом гр. Ла-Ферроне обещал удивить Европу своим милосердием. См.: Новый мир, 1975, № 1, с. 192—193.

С. 70. *Последний запрос...*— На поступивший 16 июня вопрос о том, высказывался ли Н. И. Тургенев за республику и предлагал ли вывезти царскую фамилию за границу, Трубецкой отвечал отрицательно. См.: ВД, т. 15, с. 297—298.

С. 71. *...как вдруг 10-го числа...*— Приговор был объявлен не 10, а 12 июля.

С. 74. *...наших товарищей повесили.*— Свод свидетельств о казни пятерых декабристов (К. Ф. Рылеев, П. И. Пестель, С. И. Муравьев-Апостол, М. П. Бестужев-Рюмин, П. Г. Каховский) см.: Писатели-декабристы, т. 1, с. 240—272. Анализ противоречивых сведений о казни см.: Н. Я. Эйдельман. Апостол Сергей. М., 1975, с. 355—383.

С. 75. *В пятницу, 12-го...*— Описка. Пятница — 16 июля.

...княгиню С. Г. Волконскую...— Сестра декабриста С. Г. Волконского. Трубецкой был отправлен в Сибирь с первой партией в ночь с 23 на 24 июля. Е. И. Трубецкая выехала из Петербурга 24 июля.

Андрей Евгеньевич Розен (1799—1884)

А. Е. Розен родился в семье эстляндского барона, до 12 лет воспитывался дома, затем в Нарвском народном училище. В 1815 г. поступил в 1-й Кадетский корпус, откуда в 1818 г. выпущен прапорщиком в лейб-гвардии Финляндский полк. 19 апреля 1825 г. женился на Анне Васильевне Малиновской (1797—1883), дочери первого директора Царскосельского лицея. К моменту восстания 14 декабря — поручик л.-гв. Финляндского полка. Вовлечен в декабристскую орбиту накануне восстания, формально членом тайного общества, видимо, не был, принимал активное участие в совещаниях по подготовке восстания. Осужден по V разряду (каторжная работа на 10 лет с дальнейшим поселением в Сибири; приговор не был смягчен Николаем I). По указу от 22 августа 1826 г. срок каторги был уменьшен до 6 лет. Каторгу отбывал в Чите и Петровском заводе. С 1832 г. на поселении в Кургане. В 1837 г. определен рядовым на Кавказ. 10 января 1839 г. удовлетворено его прошение об отставке. Розен безвыездно живет на родине в Эстляндии, в 1856 г. переезжает в имение жены Каменку Изюмского уезда Харьковской губернии. Проживая в Каменке, Розен учительствовал, избирался присяжным заседателем окружного суда, шесть лет служил мировым посредником.

«Записки декабриста», замысел и первоначальные разработки которых относятся еще к 1828—30 гг., писались в основном в 1840-е гг. В конце 1850 — начале 1860-х гг. мемуары были существенно дополнены, Розен учел, в частности, ряд материалов, появившихся в эмигрантской и русской печати. Книга Розена состоит из трех частей, вторая и третья ее части посвящены Эстляндии и общественным проблемам 1850-60-х гг.

Попытки публикации мемуаров Розен предпринимал, начиная с середины 1860-х гг. Так он во время заграничного путешествия 1865 г. вел переговоры с издателями Брюсселя и Парижа, в 1868 г. он пытался издать книгу в собственном немецком переводе в Лейпциге. В том же году фрагменты мемуаров без указания автора в переводе Ю. Экардта появились в лейпцигском журнале «Die grenz-

boten». В 1869 г. первая часть мемуаров была анонимно издана на немецком языке в Лейпциге. Немецкое издание вызвало интерес в Европе и России, появились переводы и изложения книги на английском и французском языках, а также «обратные переводы» на русский. Готовящееся без участия Розена издание 1869 г. было арестовано III Отделением. Весной 1870 г. «Записки декабриста» были изданы на русском языке в Лейпциге. Издание вызвало ряд замечаний декабристов В. С. Толстого (преимущественно по 2—3 частям) и П. Н. Свистунова (по истории декабризма; далеко не во всех случаях Свистунов был справедлив, материалы полемики Свистунова с Розеном см.: Воспоминания и рассказы, т. II, с. 248—274; 282—312). После ряда переработок и цензурных мытарств мемуары Розена начали печататься в «Отечественных записках» (1876, февраль — ноябрь), однако публикация завершена не была. Работа над «Записками декабриста» продолжалась и позднее. В 1882 г. Розен подготовил издание «Полного собрания стихотворений» А. И. Одоевского.

После смерти Розена дважды (1899; 1900) выходили его воспоминания в пределах издания в «Отечественных записках». Полный текст «Записок декабриста» был издан П. Е. Щеголевым в 1907 г.

Текст печатается по изд.: Розен, с. 117—203. Опущены главы 1—2 («Детство и молодость», «Возвращение гвардии и служба») и 7—14 («Ссылка в читинский острог», «Пребывание в Чите», «Тюрьма за Байкалом в Петровском железном заводе», «Переезд из Восточной Сибири в Западную», «Поселение в Кургане», «От Кургана до Тифлиса», «Грузия в 1838 году», «Кавказские минеральные воды»). Подробнее об истории создания и восприятия записок см.: Г. А. Невелев. Андрей Евгеньевич Розен и его «Записки декабриста».— В кн.: Розен, с. 3—57.

С. 80. *...добровольно дал он конституцию Польше...*—15 ноября 1815 г. Царство Польское, вошедшее в состав Российской империи, получило конституцию. О русской конституции Александр I говорил в речи на открытии польского сейма 15 марта 1818 г. Об открытии сейма см. подробнее в мемуарах Н. И. Лорера.

...удар по греческому, или восточному вопросу...— Восстание Греции против турецкого ига началось весной 1821 г. Александр I воздержался от оказания помощи грекам, разделяя принципы Священного союза.

С. 81. *...граф М. А. Милорадович...*— Розен ошибается. Позиция Милорадовича была последовательно «проконстантиновской». См. подробнее в «Записках» С. П. Трубецкого (наст. изд., с. 34 и примеч. к ней).

С. 82. *...известны цель тайного общества и члены его?* — Хотя, вопреки мнению Розена (см. ниже), донос А. И. Майбороды был получен И. И. Дибичем в Таганроге уже после смерти Александра I (26 ноября), а в Петербурге информация о нем была получена лишь 12 декабря, Николаю было известно о докладах 1821 г. И. В. Васильчикова и А. Х. Бенкендорфа (последний передал царю «записку» М. К. Грибовского), доносе И. В. Шервуда (июль 1825 г.), донесении И. О. Витта, сопровожденным доносом его агента А. К. Бошняка (август 1825).

С. 83. *...следовало только арестовать Рылеева, Бестужевых, Оболенского...*— По аргументированному мнению Я. А. Гордина, «Мило-

радович сознательно предоставил заговорщикам свободу действий, с тем чтобы вмешаться, когда он сочтет нужным и как он сочтет нужным» — Гордин, с. 137.

С. 84. *11 декабря ... 12 декабря...* — На совещании 11 декабря присутствовал Е. П. Оболенский. На совещании 12 декабря присутствовали представители разных полков, в т. ч. А. Н. Сутгоф, Д. А. Щепин-Ростовский, А. И. Одоевский, А. М. Булатов, А. П. Арбузов и др.

...вверить начальство над войском князю Трубецкому... — Трубецкой был избран диктатором 8—9 декабря. Вызов М. Ф. Орлову был выслан с П. Н. Свистуновым 13 декабря. М. В. Нечкина полагает, что он был связан с более отдаленными планами декабристов. См.: Нечкина, т. 2, с. 246.

С. 86. *Было 10 часов утра...* — Розен ошибается. Он выехал из дому не раньше 11 часов. Московский полк был поднят М. А. Бестужевым и Д. А. Щепиным-Ростовским и около половины одиннадцатого вышел на Сенатскую площадь.

С. 88. *...тремя с половиною ротами...* — Розен мог располагать лишь двумя с половиною ротами (около 500 солдат).

...батальон Гвардейского экипажа. — Прибыл на Сенатскую площадь во главе с Н. А. Бестужевым около часа дня.

С. 89. *Потом присоединились три роты л.-гв. Гренадерского полка...* — События развивались несколько иначе. Еще до появления Гвардейского экипажа на площадь вышла рота Сутгофа; позже прибыла и рота Панова (о его действиях см.: Гордин, с. 243—251). А. Л. Кожевников был арестован во время присяги в л.-гв. Гренадерском полку.

...больше 2000 солдат. — На самом деле — больше 3000.

С. 90. *...в каре находился цесаревич...* — Вел. кн. Александр Николаевич (в будущем — Александр II) был привезен из Аничкова дворца (прежняя резиденция Николая) в Зимний утром 14 декабря.

...все батальонные командиры... — Это сведение ошибочно.

С. 91. *Граф М. А. Милорадович ... полковник Стюрлер...* — Милорадович был ранен около половины первого (умер ночью). Стюрлер — между половиной третьего и тремя.

...подъехал митрополит Серафим... — Примерно в то же время, что и Стюрлер.

С. 92. *Первый выстрел пушки...* — Артиллерия была введена в дело в пятом часу. Всего было сделано не менее 7 выстрелов.

С. 97. *...молодой офицер Я. И. Ростовцев...* — 12 декабря член тайного общества Я. И. Ростовцев (1803—1860) подал Николаю обширное письмо, в котором сообщал о возможности восстания не называя имен. По предположениям Я. А. Гордина, Ростовцев стремился запугать Николая, рассчитывая на компромисс между ним и умеренной группой заговорщиков (Г. С. Батеньков, В. И. Штейнгейль). Подробнее см.: Гордин, с 105—112.

С. 98. *В тот же самый день...* — Пестель был арестован 13 декабря. О его аресте см. в воспоминаниях Н. И. Лорера.

С. 99. *...был убит во время атаки.* — И. И. Муравьев-Апостол был ранен. Застрелился 3 января 1826 г. Подробнее о восстании Черниговского полка см. в «Записках» И. И. Горбачевского.

С. 100. *...застало еще 25 ссыльных в Сибири...* — По коронационному манифесту Александра II от 26 августа 1856 г. право возвратиться из Сибири получил 31 декабрист.

С. 101. *...спал К. В. Чевкин...*— Агитировал преображенцев в ночь на 14 декабря не К. В. Чевкин, а его брат — А. В. Чевкин.

...таким же порядком отвели И. И. Пущина — А. А. Бестужев был арестован 15, а И. И. Пущин — 16 декабря. Розен видел во дворце, вероятно, М. И. Пущина.

С. 102. *...мой бригадный командир...*— Е. А. Головин.

С. 104. *...11 июля 1826 года...*— Указ Верховному уголовному суду, утвердивший приговор декабристам, был подписан 10 июля.

С. 106. *...были изъяты от предания суду...*— Ряд членов Союза спасения и Союза благоденствия были осуждены (А. Ф. Бригген, А. Н. Муравьев, П. А. Муханов, Ф. П. Шаховской).

С. 110. *...шесть аршин длины.*— Это значит, что камера Розена имела в длину около 3, в ширину — около 2 метров.

С. 111. *...«Кто счастлив был, тот жил сто лет».*— Неточная цитата из стихотворения В. А. Жуковского «К Делию» (1809).

С. 113. *Главным правителем дел назначен был ... Д. Н. Блудов...*— Правителем дел комитета был А. Д. Боровков. Д. Н. Блудов появился в комитете в марте 1826 г. для написания статьи о тайных обществах по заданию Министерства иностранных дел. В начале мая 1826 г. эта статья была превращена в «Донесение Следственной комиссии». Над донесением кроме Блудова работали А. И. Чернышев и В. Ф. Адлерберг.

С. 114. *...артибузирован!* — расстрелян.

С. 117. *...П. Х. Граббе ... оставлен был в крепости под арестом на шесть месяцев...*— Неточность, Граббе был освобожден 19 июля 1826 г.

С. 118. *...хранилась «Русская правда»...*— «Русская правда» была закрыта А. С. и Н. С. Бобрищевыми-Пушкиными во второй половине декабря 1825 г., в феврале она была открыта. См.: ВД, т. 7, с. 72—74.

С. 119. *...Фаленберга все-таки осудили...*— Версия о самооговоре П. И. Фаленберга (1721—1873) восходит к его «Воспоминаниям» и не соответствует действительности. Текст воспоминаний см.: Воспоминания и рассказы, т. 2, с. 223—242; там же очерк А. В. Предтеченского «Декабрист Фаленберг» — с. 205—222.

С. 120. *6 марта...*— В этот день тело Александра I было привезено в Петербург, семь дней гроб стоял в Казанском соборе, похороны императора состоялись 13 марта.

С. 123. *...следующими стихами...*— Сохранился ряд списков этого стихотворения Одоевского с разночтениями и под разными названиями. Подробнее см.: А. И. Одоевский. Полн. собр. стихотв. Л., 1958, с. 206 (примеч. М. А. Брискмана).

С. 124. *...потребовали меня на очную ставку.*— Очная ставка Розена с А. И. Богдановым состоялась 24 апреля.

С. 127. *...начались действия новых судебных учреждений.*— Имеется в виду постепенно вводившаяся судебная реформа 1864 г. 17 мая 1866 г. открылись новые суды Петербургской и Московской судебных палат.

С. 128. *...да и не было таких сторожей...*— Это свидетельство Розена опровергается воспоминаниями многих декабристов.

Тут Рылеев ... написал...— Стихотворения Рылеева передал Оболенскому сторож Н. Нефедьев. Розен цитирует их по первой публикации (в составе воспоминаний Е. П. Оболенского) — Будущность.

Париж, 1861, № 10—11, с. 82. Второе из стихотворений печатается ныне в иной редакции. См.: К. Ф. Рылеев. Полн. собр. стихотв. Л., 1971, с. 103—104, 417 (примеч. А. В. Архиповой и А. Е. Ходорова). Известно и более раннее стихотворное обращение Рылеева к Оболенскому («Прими, прими, святой Евгений...» — 21 января 1826, день именин Оболенского); см.: там же, с. 103.

С. 131. *...под Лейпцигом...*— Решающее сражение союзных армий с войсками Наполеона произошло в октябре 1813 г.

...не был назначен генерал-адъютантом...— Генерал-адъютантом Бистром стал уже 25 декабря 1825 г. после активного ходатайства принца Евгения Вюртембергского. Несмотря на фактическую неточность, Розен по существу прав: Николай I негодовал на Бистрома и за его «проконстантиновскую» позицию в междуцарствие, и за «выжидательные» действия 14 декабря. О них см.: Гордин, с. 232—235.

С. 133. *«...мне уже за пятьдесят лет от роду!»* — Лунину было 39 лет. О загадочных обстоятельствах смерти Лунина, прямо или косвенно связанных с его публицистической работой в Сибири, стоившей ему второго заточения, см.: С. Б. Окунь. Декабрист М. С. Лунин, Л., 1985, с. 269—272; Н. Я. Эйдельман. Обреченный отряд. М., 1987, с. 266—274.

Суд состоял из 80 членов...— На самом деле — из 72. Подробнее о составе суда и разных позициях его членов см.: Н. Я. Эйдельман. Ук. соч., с. 162—168.

С. 137. *...тут писал он последнее, всем известное письмо...*— Это письмо было передано по распоряжению императора вдове Рылеева. Письмо широко ходило в списках. Впервые опубликовано в 1868 г.

Много лет трудился он над «Русской правдою»...— Свод всех известных редакций «Русской правды» см.: ВД, т. 7.

С. 139. *...двое первых написали биографию Рылеева...*— Имеются в виду упоминавшиеся выше «Воспоминания о Кондратии Федоровиче Рылееве» Е. П. Оболенского (их текст см.: МДСО, с. 79—96) и «Воспоминание о Рылееве» Н. А. Бестужева (см.: Декабристы, т. 2, с. 35—63). Свод воспоминаний о Рылееве см.: Писатели-декабристы, т. 2, С. 7—118.

С. 140. *Задумчив, одинокий...*— М. С. Лунин в письме из Сибири к сестре Е. С. Уваровой от 1(13) января 1840 г. сообщает текст этих стихов и утверждает, что слышал их во время заключения в Петропавловской крепости. См.: М. С. Лунин. Письма из Сибири. М., 1987, с. 27, 53. В примечаниях к «Разбору Донесения Тайной Следственной комиссии государю императору в 1826 году» Лунин пишет, что стихи эти сочинены в Каменке в конце 1824 г. Там же, с. 82.

С. 141. *...наставником Александра I.*— Имеется в виду известный литератор, друг Карамзина Михаил Никитич Муравьев (1757—1807).

...было только 23 года от роду.— М. П. Бестужеву-Рюмину было 25 лет.

Петр Григорьевич Каховский...— Обстоятельства жизни Каховского (1797—1826) изложены неточно: Каховский начал службу в 7-м Егерском полку в 1817 г. В ноябре 1819 г.—переведен в Астраханский кирасирский полк, в отставку вышел в 1821 г. Об обстоятельствах казни см.: наст. изд., с. 552.

С. 142. *Так кончилось решение суда 13 июля...*— Далее Розен поместил список декабристов, преданных суду, и «Роспись государственным преступникам, приговором Верховного уголовного суда осужденным к разным казням и наказаниям». Опубликованные Розеном материалы содержат много ошибок. Подлинные материалы см.: ВД, т. 17, с. 62—65, 224—236.

С. 143. *...длинная оговорка в сентенции Николая Цебрикова...*— «...поручика Цебрикова по важности вредного примера, поданного им присутствием его в толпе бунтовщиков в виду его полка, как недостойного благородного имени, разжаловать в солдаты без выслуги и с лишением дворянства».— ВД, т. 17, с. 245. Остальные осужденные по XI разряду были записаны в солдаты с выслугой и без лишения дворянства. О Н. Р. Цебрикове (ок. 1800—1866) см. в очерке С. Гессена.— Воспоминания и рассказы, т. 2, с. 247—254, его мемуары см. там же, с. 255—267; МДСО, с. 267—277.

С. 144. *...удивит Европу своим милосердием.*— Эти сведения ошибочны. А.-У. Веллингтон прибыл в Россию 18 февраля 1826 г. для подписания Греческого протокола, регламентирующего отношения России и Англии к Греции. Маршала Э.-А. Мортье Розен путает с маршалом О.-Ф. Мармоном, прибывшим на коронацию Николая I. Сами же слова императора были произнесены в беседе с П. Л.-А. Ла-Ферроне 20 декабря 1825. Ср. об этом в «Записках» Трубецкого и примеч. к ним; наст. изд., с. 69.

С. 145. *...«Михаила Орлова».*— М. Ф. Орлов (1788—1842), один из важнейших деятелей тайных обществ, был прощен по ходатайству брата А. Ф. Орлова, оказавшего императору неоценимые услуги 14 декабря. Вел. кн. Константин не присутствовал при чтении приговора; информация Розена, видимо, не лишена вовсе оснований. Известно, что, встретив А. Ф. Орлова во время коронации, Константин сказал: «Ну, слава богу! все хорошо; я рад, что брат коронован! А жаль твоего брата не повесили» — М. Ф. Орлов. Капитуляция Парижа. Политические сочинения. Письма. М., 1963, с. 300.

...задержан был в каземате Г. С. Батеньков...— Причины двадцатилетнего (1827—1846) заключения Батенькова (1793—1863), осужденного по III разряду, остаются невыясненными. О Батенькове см.: В. Г. Карцов. Декабрист Батеньков. Новосибирск, 1965; С. Н. Чернов. Г. С. Батеньков и его исторические припоминания.— Воспоминания и рассказы, т. I, с. 55—87. А. О. Корнилович (1800—1834) был в 1828 г. увезен из Читинского острога в Петербург по доносу Ф. В. Булгарина, в котором говорилось о связях Корниловича с австрийскими дипломатами.

С. 147. *...трое из декабристов.*— В данном случае слово «декабрист» означает участника восстания на Сенатской площади. Розен имеет в виду себя, М. А. Бестужева и А. П. Беляева. О термине «декабрист» и полемике, с ним связанной, см.: М. К. Азадовский. Мемуары Бестужевых как исторический и литературный памятник.— В кн.: Воспоминания Бестужевых. М.; Л., 1951, с. 584—585.

Из них назначил он трех министрами...— Имеются в виду соответственно Мих. Н. Муравьев, Л. А. Перовский, П. И. Колошин, А. А. Кавелин, И. М. Бибиков, А. А. Суворов, Д. Г. Бибиков (последние два членами тайных обществ не были), П. Х. Граббе, И. Г. Бурцов, В. Д. Вольховский, Н. Н. Раевский (младший), С. П. Шипов, В. А. Долгоруков. Членство Н. Н. Раевского в обществе сомнительно.

С. 148. *Издатели «Колокола» бранят его предателем...*— Имеется в виду статья А. И. Герцена «Черный кабинет» («Колокол» от 1 августа 1858 г.) с эпиграфом: «Совесть нужна человеку в частном, домашнем быту, а на службе и в гражданских отношениях ее заменяет высшее начальство».

С. 151. *...отрешил от должности князя А. Н. Голицына и лучших профессоров Педагогического института...*— Разгром Педагогического института произошел в 1821 г. при деятельном участии тогдашнего министра духовных дел и народного просвещения А. Н. Голицына, вовсе не склонного к либерализму. Падение последнего по проискам А. А. Аракчеева произошло в 1824 г.

«У нас, кто смел, тот грабит...» — Неточная цитата из письма А. А. Бестужева Николаю I «Об историческом ходе свободомыслия в России»: «Одним словом, в казне, в судах, в комиссариатах, у губернаторов, у генерал-губернаторов, везде, где замешался интерес, кто мог, тот грабил, кто не смел, тот крал».— А. А. Бестужев-Марлинский. Соч.: в 2-х т. М., 1981, т. 2, с. 489.

С. 152. *...укорял его даже преступлениями предка.*— Предок Блудова киевский воевода Ивещей (Иона) Блуд убил в 981 г. князя Ярополка. Обыгрывая этот сюжет, Н. И. Тургенев писал: «Правнук оказался достойным родоначальника» — Н. И. Тургенев. Россия и русские. М., 1915, т. 1, с. 253—254; после появления «Донесения» в ходу были каламбуры с фамилией Блудова.

С. 156. *Приведенными выписками...*— Выписки сделаны из издания: Донесение Следственной комиссии 30 мая 1826 года <...> СПб., 1826. Ср. текст донесения: ВД, т. 17, с. 24—61.

С. 158. *...заподозренных было с лишком шестьсот,...*— К следствию было привлечено 579 человек.

С. 162. *...все виновники заслуживают смертной казни...*— Основными родами преступлений, по классификации Сперанского, были: 1) цареубийство; 2) бунт; 3) мятеж воинский. Внутри родов были выделены виды преступлений: 1) знание умысла; 2) согласие в нем; 3) вызов на совершение его. В Докладе Верховного уголовного суда, составленном Сперанским, действительно говорилось: «что все подсудимые без изъятия, по точной силе законов наших, подлежат смертной казни» — ВД, т. 17, с. 211. Это не противоречило бессистемным российским законам, но противоречило установившейся традиции.

С. 163. *«Пусть судит потомство!»* — слова из книги Е. П. Ковалевского «Граф Блудов и его время». Далее в текст включены статьи М. С. Лунина «Разбор Донесения...» и «Взгляд на тайное общество в России (1816—1826)», в наст. изд. не воспроизводящиеся. Их текст см.: М. С. Лунин. Письма из Сибири. М., 1987, с. 67—82, 54—58.

...запечатлены характерами Палена, Орлова и их сообщников...— имеются в виду лидеры дворцовых переворотов 11 марта 1801 г. (убийство Павла I) и 28 июня 1762 г. (свержение Петра III, увенчавшееся его убийством).

Иван Иванович Горбачевский (1800—1869)

И. И. Горбачевский родился в семье провиантского чиновника. В 1817 г. определен в «Дворянский полк» в Петербурге (об этом военно-учебном заведении см. в воспоминаниях Н. И. Лорера).

В 1820 г. произведен в прапорщики и назначен в 1-ю батарейную роту 8-й артиллерийской бригады (г. Новоград-Волынск). Одним из первых принят в Общество соединенных славян (конец 1823 г.). Арестован 20 января 1826 г. Осужден по I разряду. В 1827—1839 гг.— каторга в Чите и Петровском Заводе, 1839—1856 гг.— поселение в Петровском заводе, где Горбачевский остается и после амнистии.

«Записки» Горбачевского были впервые опубликованы П. И. Бартеневым в журнале «Русский архив», 1882 г., кн. 2 под названием «Записки неизвестного из Общества соединенных славян», с рядом цензурных изъятий. Первоначальный тираж, где текст был представлен без купюр, уничтожен почти полностью. Сохранились, однако, экземпляры первоначального тиража, использовавшиеся при отдельных изданиях, «Записок» в 1916 и 1925 гг.

Анонимность публикации в «Русском архиве» вызвала сомнения в авторстве Горбачевского. М. В. Нечкина полагала, что «Записки» составлены П. И. Борисовым. Подробнее об истории «Записок» и их авторе см.: Б. Е. Сыроечковский, Л. А. Сокольский, И. В. Порох. Декабрист Горбачевский и его «Записки» — В кн.: Горбачевский, с. 257—305. Об авторстве Горбачевского см. также: М. П. Мироненко. Мемуарное наследие декабристов в журнале «Русский архив» — В кн.: Археографический ежегодник за 1975 год. М., 1976, с. 112—114.

С. 167. ...*тайное общество под названием Славянского союза*...— Общество соединенных славян было основано офицерами 8-й артиллерийской бригады братьями Андреем Ивановичем (1798—1854) и Петром Ивановичем (1800—1854) Борисовыми (в тексте Горбачевского — Борисов 1-й и Борисов 2-й) и польским ссыльным Юлианом Казимировичем Люблинским (1798—1872). Задачи общества — установление республиканского правления, ликвидация крепостного права; конечная цель — создание республиканской федерации всех славянских народов. Программные документы — «Правила Соединенных Славян» и «Присягу Соединенных Славян», написанные в основном П. И. Борисовым см.: Декабристы, т. I, с. 82—85.

С. 172. ...*извлечение из «Русской правды»*...— Это был текст документа «Конституция. Государственный завет», воспроизводящий положение ранней редакции «Русской правды».

С. 178. ...*военные революции*...— Вопрос о тактике Общества соединенных славян остается дискуссионным. Весьма вероятно, что высказанные Горбачевским соображения характеризуют его умонастроения времени создания «Записок».

...*желание*...... — По мнению М. В. Нечкиной место отточия должно занимать слово «свободы», выпущенное при первой публикации. Данные наборной рукописи этому противоречат: слово «свободы» вписано в нее карандашом в сопровождении двух знаков вопроса.

С. 184. ...*Кузьмин и Соловьев состоят в Обществе ... два года*...— Это утверждение ошибочно. В. Н. Соловьев вступил в тайное общество в феврале 1825 г. (см.: ВД, т. 6, с. 139), Кузьмин также не мог к августу 1825 г. иметь двухлетнего стажа пребывания в тайном обществе.

С. 192. ...*считаются нашими сочленами*...— И. И. Сухинов не был членом Общества соединенных славян (см. показания самого Сухинова — ВД, т. 4, с. 324; т. 6, с. 142; ср. также замечания по этому поводу Ю. Г. Оксмана — Воспоминания и рассказы, т. 2, с. 33—35).

С. 196. *...магическому жезлу Эндоры...*— Имеется в виду библейский эпизод: волшебница, живущая недалеко от Эндора, вызывает по просьбе царя Саула тень умершего пророка Самуила.

С. 197. *Муравьев думал иначе...*— Это утверждение неточно. Известна широкая агитационная деятельность С. Муравьева-Апостола среди солдат Черниговского полка, особенно — среди бывших семеновцев.

С. 200. *...написавши к Пестелю...*— Идея создания особого отряда заговорщиков-цареубийц несколько раз возникала в планах декабристов. На совещании руководителей Южного общества в январе—феврале 1823 г. ее активно выдвигал П. И. Пестель (см.: ВД, т. 4, с. 176, 180 и др.) Бестужев-Рюмин действовал по плану Пестеля, принятому Директорией Южного общества, а потому и информировал Пестеля.

С. 202. *...Пестель ... угнетал самыми ужасными способами солдат...*— Эта информация явно тенденциозна. В частности, ей противоречит сообщение правительственного агента Станкевича о настроениях солдат Вятского полка после ареста их командира: «Нижние чины и офицеры непримерно жалеют Пестеля <...> говорят, что им хорошо с ним было <...> что такого командира не было и не будет» («Красный архив», 1926, т. 3, с. 192).

С. 203. *...пробудить ее от бездействия.*— В данном случае мемуарист тенденциозен. Васильковская управа была наиболее деятельным звеном в цепи декабристских организаций. В дальнейшем изложении Горбачевский систематично подчеркивает нерешительность лидеров Васильковской управы С. И. Муравьева-Апостола и М. П. Бестужева-Рюмина во время восстания Черниговского полка, преувеличивая заслуги И. И. Сухинова, А. Д. Кузьмина, В. Н. Соловьева. Подробнее см.: И. В. Порох. Восстание Черниговского полка.— В кн.: Очерки из истории движения декабристов. М., 1954; Н. Эйдельман. Апостол Сергей. М., 1975.

С. 207. *...умереть за...*— Вероятно, далее должно следовать слово «царя».

...узнали о происшествии 14 декабря.— С. И. Муравьев-Апостол узнал о событиях 14 декабря не 23, а утром 25 декабря; см.: ВД, т. 4, с. 370—371.

С. 212. *...подорожную на имя ... Сухинова...*— В «Записке о И. И. Сухинове» В. Н. Соловьев ошибочно утверждал, что его подорожная была передана Бестужеву-Рюмину (а не Андреевичу, как справедливо пишет Горбачевский) — См.: Воспоминания и рассказы, т. 2, с. 22, 35—36 (примеч. Ю. Г. Оксмана).

С. 213. *...писал он Горбачевскому...*— Вероятно, эта информация была передана не в письме, но Андреевичем устно.

С. 217. *...к двум ротным командирам Троицкого полка...*— Имеются в виду капитан Киселевич и поручик Ярошевич; принадлежность их тайному обществу не установлена.

С. 218. *Креницкий* — фамилия поручика: Красницкий.

Некорысть — на самом деле: Искорысть.

С. 225. *...не думал о возмущении...*— Это утверждение мемуариста опровергается показаниями В. Н. Соловьева на следствии и мемуарным рассказом Ф. Ф. Вадковского «Белая Церковь». См.: ВД, т. 4, с. 139; Воспоминания и рассказы, т. I, с. 192. Начиная с 24 декабря (т. е. известия об аресте П. И. Пестеля, ср. свидетельство Н. И. Лорера о записке С. И. Муравьева Пестелю — наст. изд., с. 352), Муравьев-Апостол работал над организацией восстания.

О восстании Черниговского полка см. также в воспоминаниях М. И. Муравьева-Апостола.— МДЮО, с. 191—196 и И. Руликовского — Воспоминания и рассказы, т. 2, с. 373—418.

С. 243. *...поведение Башмакова и Фурмана...*— Рассказ об особых поручениях, данных Ф. М. Башмакову и А. Ф. Фурману, не соответствует действительности.

С. 246. *...спасена жизнь Гебелю...*— Гебеля в это время не было дома, он скрывался в другом месте. В целом эпизод, видимо, соответствует действительности. Горбачевский путает, однако, прапорщика А. Е. Мозалевского с поручиком В. Н. Петиным, принимавшим участие в событиях на квартире Гебеля.

Кто первый выдумал столь унизительную ложь...— Официальным источником клеветнической версии о грабежах и бесчинствах (в ходе восстания солдаты Черниговского полка вели себя очень дисциплинированно) был, вероятно, рапорт волынского гражданского губернатора М. Ф. Бутова-Андржейковича от 31 декабря 1825 г.

С. 247. *Генерал Тихановский...*— Эпизод встречи Шутова с Тихановским не находит документальных подтверждений, скорее всего вымышлен Горбачевским.

С. 250. *Священник...*— Полковой священник Даниил Кайзер должен был сопровождать полк в походе, однако остался в Василькове. После разгрома восстания был исключен из духовного сословия, затем лишен дворянства и приговорен к «вечной» службе в солдатах (заменена бессрочными каторжными работами). Находился в заключении в одном из монастырей Смоленской губернии до 1858 г. Дальнейшая его судьба неизвестна.

Политический катехизис...— Имеется в виду «Православный катехизис», составленный С. И. Муравьевым-Апостолом и М. П. Бестужевым-Рюминым, вероятно, в период междуцарствия. Широко опираясь на тексты священного писания, авторы проводили республиканские идеи. Вопросно-ответная форма изложения должна была облегчить восприятие текста, а обращение к Библии и Евангелию — сделать его более авторитетным для солдат. См. выше описание спора Муравьева-Апостола с Горбачевским о религиозности народа.

С. 253. *...письмо трем членам тайного общества...*— Эпизод с командованием Мозалевского в Киев представляется неясным. На следствии Муравьев-Апостол показал, что посылал Мозалевского с письмом к майору Курского полка Крупникову, лично ему не известному, но рекомендованному А. Д. Кузьминым. Как выяснилось, никакого майора (подполковника) Крупникова (Крупенникова) в Курском полку не было. В нем служил поручик Крупенников, встретиться с которым Мозалевскому не удалось. Эпизод этот вновь должен подчеркнуть оперативность действий офицеров — «славян» и «медлительность» С. Муравьева-Апостола. Ср. финал главки.

С. 261. *...унтер-офицера Аврамова...*— Имеется в виду фельдфебель Клим Абрамов, лично преданный С. Муравьеву-Апостолу и высоко им ценившийся.

С. 267. *...стреляли холостыми зарядами.*— На самом деле холостых выстрелов не было. Правительственным войскам были даны указания не вступать с мятежниками в переговоры.

С. 275. *...его брат Матвей...*— О М. И. Муравьеве-Апостоле см. в очерке В. А. Федорова — МДЮО, с. 298—301; его изложение хода восстания Черниговского полка — там же, с. 191—196. Отрицатель-

ные характеристики, даваемые Горбачевским М. И. Муравьеву-Апостолу, не во всем соответствуют действительности.

С. 282. *...без особенного внушения со стороны Давыдова.*— В «Записке о поручике Черниговского полка И. И. Сухинове» хорошо информированный В. Н. Соловьев освещает этот эпизод иначе: «Зная уже о черниговском происшествии, Зинкевич радушно принял Сухинова, дал ему на дорогу денег, но не советовал долго у него оставаться».—Воспоминания и рассказы, т. 2, с. 25—26. В. Л. Давыдов узнал о посещении Сухиновым Зинкевича уже после того, как Сухинов покинул Каменку; см.: Красный архив, 1926, т. 6, с. 41—42. Весь эпизод вымышлен Горбачевским и логично встраивается в развиваемую им концепцию, противопоставляющую «демократов»-славян — «аристократам»-южанам. Подробный анализ обстоятельств бегства Сухинова предпринят Ю. Г. Оксманом в статье «Поимка поручика И. И. Сухинова».— В кн.: Декабристы. Неизданные материалы и статьи. М., 1925, с. 53—74.

С. 285. *Действия славян в Полтавском полку.*— Этот эпизод мало соответствует действительности. В феврале 1826 г. прапорщик С. И. Трусов во время смотра Полтавского полка пытался поднять солдат, выкрикивая резкие лозунги. Поручик Троцкий в это время находился в госпитале, где его накануне навещал Трусов. На допросе свои действия Трусов объяснял «болезненным припадком», подчеркивал, что не был знаком ни с М. П. Бестужевым-Рюминым, ни с бывшим командиром полка декабристом В. К. Тизенгаузеном. «Зловещая» роль последнего в истории Трусова — вымысел Горбачевского. В. К. Тизенгаузен был арестован 5 января 1826 г. и в феврале находился в Петропавловской крепости. Трусов был действительно отправлен в каторжные работы. Троцкий — на год посажен в крепость. Подробнее см.: Нечкина, т. 2, с. 390—391.

С. 288. *...в Могилеве было две комиссии военного суда...*— Известна военно-судная, созданная 18 января 1826 г., комиссия, под председательством командира 3-й дивизии генерал-майора Набокова (см.: ВД, т. 6, с. 75). Возможно, под второй комиссией Горбачевский подразумевал созданную 18 февраля 1826 г. не в Могилеве, а в Белой Церкви (председатель — генерал-майор Антропов). Эта комиссия судила солдат-черниговцев.

С. 290. *...приговорено было к наказанию 120 человек...*— Подробнее о наказании солдат — участников восстания см.: Г. С. Габаев. Солдаты — участники заговора и восстания декабристов.— В кн. Декабристы и их время. М., 1932, т. 2.

С. 299. *Сухинов в Нерчинском заводе.*— Подробный анализ истории заговора в Зерентуйском руднике см.: Нечкина, т. 2, с. 435—438. Не исключено, что с заговором связаны планы побега декабристов из Читинского острога, о которых вспоминали Н. В. Басаргин (см. МДЮО, с. 74—75), А. Е. Розен (см.: Розен, с. 239—241) и Д. И. Завалишин (см.: М. К. Азадовский. Неосуществленный замысел побега декабристов из Читы (неопубликованная глава записок Д. И. Завалишина).— В кн.: Декабристы и их время. М., 1927, т. I, с. 216—228).

С. 300. *...по известному делу полковника Шварца.*— Т. е. по «семеновской истории», о ней см. в воспоминаниях С. П. Трубецкого и Н. И. Лорера (наст. изд., с. 30, 327—331 и примеч. к ним).

Николай Иванович Лорер (1795—1873).

Обстоятельства жизни Н. И. Лорера до выхода в отставку (1842) подробно изложены в его воспоминаниях. В дальнейшем он живет в сельце Водяном, с 1851 г. пользуется правом поездок в Москву. В 1857 г. публикует рассказ «Из воспоминаний русского офицера» в журнале «Русская беседа». Над «Записками моего времени» Лорер работает в 1862-67 гг. В 1874 г. П. И. Бартенев публикует конец записок Лорера в «Русском архиве» (кн. 2, 9); начало записок опубликовано в журнале «Русское богатство» (1904, №№ 3, 6, 7). Научное издание мемуаров Лорера было осуществлено в 1931 г. М. В. Нечкиной, обследовавшей рукописные материалы и выявившей большое количество купюр в дореволюционных публикациях. Это издание было повторено в 1984 г. с небольшими уточнениями. На обследованных М. В. Нечкиной рукописях сохранились пометы читавших мемуары Лорера знакомых декабриста: М. В. Юзефовича, Д. Н. Свербеева; издателя «Русского архива» П. И. Бартенева, декабриста П. Н. Свистунова, просматривавшего текст Лорера в ходе подготовки его к печати. Эти пометы, воспроизведенные в научном издании, нами опущены, наиболее важные из них приводятся в примечаниях.

Текст печатается по изд.: Лорер, с. 38—289. Другие сочинения Лорера см. там же.

С. 315. *...П<етра> В<асильевича> Капниста...*— Об обстановке в доме Капниста см. в воспоминаниях его племянницы, дочери поэта В. В. Капниста С. В. Капнист (по мужу — Скалон): Воспоминания и рассказы, т. 1, с. 312—314 и 407—408 (примеч. Ю. Г. Оксмана). Мемуары С. В. Скалон подробно характеризуют декабристские связи семейства Капнистов (в частности, с Муравьевыми-Апостолами).

С. 316. *...из общества Братьев Моравии (гернгутера)...*— протестантская секта с утопической программой, содержащей социалистические элементы. Фамилия воспитателя Лорера — Нидерштегер (см.: ВД, т. 12, с. 52).

С. 319. *Лагарп Фридрик-Цезарь* (1754—1838) — швейцарский публицист-просветитель, воспитатель вел. кн. Александра (в будущем — императора) и Константина.

С. 322. *Я видел, как светлейший Кутузов...*— Либо ошибка памяти, либо неточность в изложении. М. И. Кутузов был назначен главнокомандующим и отбыл к армии в августе 1812 г. Москва была оставлена 14 сентября. Между тем описываемые ранее события происходят в октябре.

С. 323. *«Воспоминания русского офицера»* — Мемуарный рассказ Лорера «Из воспоминаний русского офицера» впервые напечатан: Русская беседа, 1857, кн. 3; 1860, кн. 1. Текст см.: Лорер, с. 289—337.

С. 324. *...как и для самой Польши, в 1831 г.*— Имеется в виду восстание 1831 г.

С. 326. *...в особенности у Г. Р. Державина...*— Ошибка памяти мемуариста. «Беседа любителей русского слова» была основана в 1811 г., заседания ее, происходившие в доме Г. Р. Державина на Фонтанке, прекратились со смертью последнего в 1816 г.

С. 328. *...генерал Шварц...*— Ф. Е. Шварц был не генералом, а полковником.

...так что однажды...— В публикации «Русского архива» описание восстания Семеновского полка было заменено описанием, составленным декабристом П. Н. Свистуновым. Его текст см.: Лорер, с. 377—378.

С. 329. *...Чаадаев сибаритом сделал это путешествие...*— История об опоздании Чаадаева носит легендарный характер. Александр I узнал о «семеновской истории» 29 октября от фельдъегеря, посланного раньше Чаадаева, 30 — принял Чаадаева и лишь 3 ноября лично информировал о случившемся австрийского канцлера Меттерниха. Слухи об «опоздании» Чаадаева, а также о недовольстве Александра I разговором с ним возникли в связи с тем, что Чаадаев неожиданно подал в отставку. Изложение истории поездки Чаадаева в Троппау см.: Б. Тарасов. Чаадаев. М., 1986, с. 63—75. Ср. также анализ поведения Чаадаева в статье: Ю. М. Лотман. Декабрист в повседневной жизни (Бытовое поведение как историко-психологическая категория).— В кн. Литературное наследие декабристов. Л., 1975, с. 41—47.

С. 331. *Лайбах* — ныне: Любляна, столица Словении (Югославия); в Лайбахе продолжался с 13 января 1821 г. конгресс Священного союза, начавшийся в октябре 1820 г. в Троппау.

...генерал Ермолов...— А. П. Ермолов действительно был вызван в Лайбах; предполагалось, что он возглавит интервенцию в Италию. Ермолов сознательно задержал свой отъезд и прибыл в Лайбах, когда революция была уже подавлена (10 апреля 1821 г.) См.: А. В. Семенова. Временное революционное правительство в планах декабристов. М., 1982, с. 115. Дальнейшее (с. 335) упоминание о «досаде», с которой Ермолов возвращался на Кавказ, плохо согласуется с его умонастроением той поры. В изложении Лорера заметны анахронизмы.

С. 336. *Тогда же вышел IX том «Истории государства Российского»...*— IX том, посвященный царствованию Иоанна Грозного, поступил в продажу 9 мая 1821 г. Об общественной реакции на IX том см.: Н. Эйдельман. Последний летописец. М., 1983, с. 124—127. Сведения об особе из Аничкова дворца (Лорер имел в виду великого князя Николая Павловича) вызвали возражения М. В. Юзефовича. Не исключено, что сведения эти недостоверны.

...о восстании в Греции.— Восстание началось весной 1821 г.

С. 337. *...Пушкина услали в Кишинев...*— Пушкин покинул Петербург 6 мая 1820 г.; его высылка была оформлена как перевод по службе. Среди лиц, ходатайствующих за поэта, кроме упомянутых Н. М. Карамзина и Е. А. Энгельгардта (директора лицея), были П. Я. Чаадаев, В. А. Жуковский, Н. И. Гнедич и др. Особую роль в решении судьбы Пушкина сыграл петербургский генерал-губернатор М. А. Милорадович, объявивший поэту прощение от имени императора без согласования с последним. Подробнее см.: Ф. Н. Глинка. Удаление А. С. Пушкина из С.-Петербурга в 1820 году.— В кн.: А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1974, т. 1, с. 206—210.

...наш Бартеньев.— Имеется в виду труд издателя «Русского архива» П. И. Бартенева (1829—1912) «Пушкин в Южной России» (М., 1862).

С. 341. *...славно изобразил Д. В. Давыдов...*— Имеется в виду «Замечания на некрологию Н. Н. Раевского» (1830, изд.— 1832). В брошюре Давыдова подчеркиваются гражданские добродетели

Раевского, оказавшегося в николаевское царствование не у дел (два зятя Раевского — М. Ф. Орлов и С. Г. Волконский — были активными деятелями тайных обществ, оба сына его привлекались к следствию).

С. 342. *...на три управы...* — В действительности существовало два общества — Северное и Южное, в последнее входила Васильковская управа. Наименование Северного общества «управой» может рассматриваться как свидетельство борьбы Пестеля за единство общества. С другой стороны, не исключено, что Лорер ощутил некоторую независимость Васильковской управы. Как известно, взгляды С. И. Муравьева-Апостола не во всем совпадали со взглядами Пестеля. Десятилетний срок существования Южного общества — вымысел. Первые «декабристские» организации возникли в 1816 г.; Южное общество образовалось после распада Союза благоденствия в 1821 г.

С. 343. *...перевел с латинского «Временщика» времен Рима.* — В этом эпизоде Лорер объединяет два известных ему, вероятно, по слухам события. В № 10 «Невского зрителя» за 1820 г. появилось стихотворение К. Ф. Рылеева «К временщику (Подражание Персиевой сатире «К Рубеллию»)», метившее в гр. А. А. Аракчеева. Об общественной реакции на это стихотворение, гневе Аракчеева и неудавшейся попытке наказания Рылеева см. в воспоминаниях Н. А. Бестужева и И. Н. Лобойко: Писатели-декабристы, т. 2, с. 65—66, 47—48, 333 (примеч. 8). В связи с восстанием Семеновского полка к следствию был привлечен Н. И. Греч; по Петербургу ходили слухи, что он был высечен в тайной полиции. Упоминаемое ниже Грузино — любимое имение Аракчеева.

С. 344. *12 лет писал он свою «Русскую правду».* — Свод всех имеющихся редакций «Русской правды» см.: ВД, т. 7. Слова о 12 годах работы над текстом «Русской правды» либо преувеличение, либо должны толковаться расширительно (сбор материалов, изучение политических, экономических, социальных проблем).

С. 345. *...познакомился с 80-летним Паленом...* — О роли П. А. Палена в заговоре 11 марта 1801 г. (убийство Павла I) см.: Н. Я. Эйдельман. Грань веков. Политическая борьба в России. Конец XVIII — начало XIX столетия. М., 1982, с. 186—340. Об общении Палена с Пестелем в 1817-18 гг. — там же, с. 212—217.

С. 347. *Можно ли довериться Витту?* — Действия И. О. Витта (1781—1840) носили провокационный характер.

С. 348. *П. Д. Киселев.* — О связях П. Д. Киселева (1788—1872) с декабристами см.: А. В. Семенова. Временное революционное правительство в планах декабристов. М., 1982, с. 142—175.

С. 349. *Бурцева сослали на Кавказ...* — В рассказе о службе И. Г. Бурцева (1795—1829) во время русско-турецкой войны есть преувеличения (постоянные письма на имя императора, упоминание в молебнах), на что указал в замечаниях на рукописи Лорера М. В. Юзефович. Следует отметить, что Бурцев был действительно фактическим руководителем военной кампании.

С. 352. *...на руки Крюкову и Черкасову...* — В рукописи ошибочно: Черкасскому (декабрист с такой фамилией неизвестен). Следственные материалы не упоминают о роли А. И. Черкасова в сохранении «Русской правды»; речь идет о Н. Ф. Заикине и Н. А. Крюкове. Зарывали «Русскую правду» братья Н. С. и П. С. Бобрищевы-Пушкины. О розыске документа см. рапорт штабс-ротмистра Слепцова: ВД, т. 4, с. 127—128.

С. 367. *...Сукин, впоследствии граф.*— По справедливому замечанию М. В. Юзефовича, комендант Петропавловской крепости А. Я. Сукин (1765—1837) графом не стал.

С. 368. *Сильвио Пеллико* (1789—1854) — итальянский писатель и революционер, много лет проведший в заключении. Книга Пеллико «Мои тюрьмы» вызывала глубокий интерес декабристов. Упоминания в этом же абзаце имени Меттерниха, по мысли Лорера,— главного проводника реакционной политики Священного союза подчеркивает связь между Пеллико и декабристами.

С. 370. *...подобном Венецианск<ому> «совет<у> десяти»...*— «Совет десяти» — орган аристократической диктатуры в Венеции (XIV в.). *«Мост вздохов»* вел в здание тюрьмы — по нему проводили осужденных на казнь. По преданию, действия «Совета десяти» были тайными, осужденных могли казнить (бросать в воду) без какой-либо огласки.

С. 371. *Немец Шницлер...*— Имеется в виду работа И.-Г. Шницлера «Тайная история России в царствование императоров Александра и Николая и в частности во время кризиса 1825 года», вышедшая в 1847 г. в Париже на французском языке.

С. 372. *...узнал почерк руки Пестеля...*— Признание Пестеля и подтверждение его Лорером, в действительности более подробное, см.: ВД, т. 4, с. 121—122.

С. 373. *Не помню фамилию члена.*— Это был Н. Ф. Заикин, лично не зарывавший «Русской правды», но знавший о ее местоположении.

С. 374 *...Павел Николаевич Мысловский...*— Ошибка памяти; Мысловского звали Петром. О Мысловском см. в примеч. к «Запискам» С. П. Трубецкого, наст. изд., с. 552.

Из гроба я пел мысленно «Воскресение».— Лорер вольно цитирует заключительную строку стихотворения А. И. Одоевского. Текст его см. в «Записках» А. Е. Розена, наст. изд. с. 123—124.

С. 378. *...узнал уже о решении судьбы пятерых...*— Эти сведения не находят подтверждений. По многим свидетельствам, П. Н. Мысловский долго надеялся на амнистию.

С. 381. *...чиновник ... стал читать...*— Лорер был осужден по четвертому разряду: каторга на 15 (по указанию императора, на 12) лет с последующим поселением.

С. 383. *...тут есть и другой.*— Имеется в виду Александр Николаевич Муравьев, не лишенный дворянства, а потому и не подвергавшийся ошельмованию, и Александр Михайлович Муравьев (младший брат Никиты Муравьева), осужденный по 4 разряду.

С. 385. *А. Муравьев* — Имеется в виду Артамон Захарович Муравьев (1793—1846).

С. 387. *...могила княжны Таракановой...*— Дочь Елизаветы Петровны и А. Г. Разумовского, известная под именем Августы Тимофеевны, умерла в Ивановском монастыре в 1810 г. Авантюристка княжна Тараканова была обманом доставлена в Россию в 1755 г.; в том же году умерла в Петропавловской крепости. Смерть княжны Таракановой во время наводнения — распространенная легенда. На легендарность сведений, приводимых Лорером, указал в своем примечании М. В. Юзефович.

С. 388. *...сочинил на французском языке стихи.*— В оригинале текст «Стансов в темнице» А. И. Барятинского (1799—1844) приведен по-французски. Мы печатаем перевод М. В. Нечкиной. В руко-

писи Лорер заметил, что помнит лишь «некоторые куплеты» и не помнит начала стихотворения. «Стансы в темнице» насыщены автобиографическими мотивами.

С. 391. *...с своей сестрой...*— Имеется в виду Е. И. Бибикова (1795—1861).

С. 395. *...после двухлетнего заключения...*— К слову «двухлетнего» относится помета П. И. Бартенова: «4 янв. 1826—28 февраля 1827: 1 год».

С. 396. *...в которой он просидел 22 года.*— Батеньков находился в заключении до марта 1846 г. (июль 1826 — июнь 1827 в крепости Свартгольм в Финляндии, затем в Алексеевском равелине). Причины столь сурового наказания (формально Батеньков был осужден по III разряду, т. е. с учетом будущих облегчений,— на 15 лет) остаются невыясненными. Вероятно, дело заключалось в личной ненависти императора к Батенькову как к потенциальному узурпатору. Честолюбивый Батеньков не скрыл от следствия своих «больших планов» на будущее в случае победы декабристов. Немаловажна также известная следствию и императору близость Батенькова к М. М. Сперанскому.

С. 399. *...Яблоновый хребет...*— К этим словам относится помета П. Н. Свистунова: «Яблоновый хребет за Байкалом находится».

С. 400. *...два сенатора...*— Кроме упомянутого В. К. Безродного— Б. А. Куракин. Встреча их с партией, в которой находился Лорер, произошла не в Иркутске, а в Тобольске, вероятно, в мае 1827 г. О сенаторской ревизии см.: Б. Л. Модзалевский. Декабристы на пути в Сибирь. Донесения сенатора Б. А. Куракина, 1827.— В кн.: Декабристы. Неизданные материалы и статьи. М., 1925.

С. 408. *Некоторые жены моих товарищей...*— Подробнее о судьбе декабристок см.: Э. А. Павлюченко. В добровольном изгнании. О женах и сестрах декабристов. М., 1986. Изд. 4-е, исправ. и доп. Там же приведена основная литература вопроса, данные о мемуарах декабристок.

С. 409. *Она была 15 лет замужем...*— Ошибка Лорера, отмеченная П. Н. Свистуновым. Е. И. Лаваль вышла замуж за С. П. Трубецкого в 1821 г.

С. 410. *Многие из своих повестей Пушкин, под именем Белкина, написал в Каменке.*— Пушкин бывал в Каменке в годы Южной ссылки (1821—23 гг.) «Повести Белкина» написаны в Болдине осенью 1830 г. Не исключено, однако, что в опубликованных повестях «каменские» знакомые Пушкина могли заметить отголоски его устных рассказов.

...личность Фон-Визина.— О Михаиле Александровиче Фонвизине (1788—1854) подробнее см.: М. А. Фонвизин. Сочинения и письма. Иркутск, 1979, 1982, т. I—II (издание подготовили С. В. Житомирская, С. В. Мироненко).

С. 415. *Между нами устроилась академия...*— О литературной деятельности декабристов в Чите, а затем и в Петровском заводе см. в ответах М. А. Бестужева М. И. Семевскому (1869—70 гг.): Декабристы, т. 2, с. 168 и примеч. к ним.

С. 416. *...тешил нас своими прекрасными баснями...*— Известны басни П. С. Бобрищева-Пушкина (1802—1865): «Лисица-секретарь», «Брага», «Шахматы», «Дровни».

С. 417. *...не видать нам боле нашего Корниловича.*— А. О. Корнилович (1800—1834) в начале 1828 г. был отправлен в Петербург. Причиной вызова Корниловича была версия о контактах декабристов с австрийскими дипломатами, возникшая в результате доноса Ф. В. Булгарина. Корнилович опроверг эту версию, однако был оставлен в Петропавловской крепости. Находясь там, он работал над художественными и публицистическими сочинениями, переводил Тацита и Тита Ливия. В ноябре 1832 г. был отправлен рядовым в Грузию. Упоминаемая ниже «Русская старина» — исторический альманах, изданный Корниловичем совместно с В. Д. Сухоруковым в 1824 г.

С. 418. *...переводом к нам из Нерчинска...*— В сентябре 1827 г. (т. е. до «возвращения» Корниловича в Петербург) в Читу из Нерчинска были переведены прежде содержавшиеся там С. П. Трубецкой, С. Г. Волконский, Е. П. Оболенский, П. И. и А. И. Борисовы, А. З. Муравьев.

...он снял все наши портреты...— Об этом подробнее см.: И. С. Зильберштейн. Николай Бестужев и его живописное наследие.— Литературное наследство, т. 60, ч. II.

С. 420. *...мир с Турциею в Адрианополе!* — Адрианопольский мир, завершивший русско-турецкую войну, был заключен 2 сентября 1829 г.

...по проискам родственника своего...— Здесь помета М. В. Юзефовича: «Между ними никогда не было никакого родства». История безуспешных домогательств А. И. Чернышевым прав на майорат постоянно обсуждалась в обществе. В другой помете М. В. Юзефовича приведен следующий случай: «Сюда еще можно добавить ответ Захара Чернышева его однофамильцу генералу Чернышеву: когда Захара Чернышева ввели первый раз в Следственную комиссию, генерал Чернышев встретил его такими словами: «Comment, cousin, vous êtes coupable aussi?» — «Coupable, peut-être, mais cousin — jamais» <«Как, кузен, вы тоже виновны?» — «Виновен — может быть, но кузен — никогда» — *фр.*>,— ответил ему Захар. Я это слышал от него самого» — Лорер, с. 105.

...председатель Государственного совета...— Здесь Юзефович заметил: «Мордвинов никогда не был председателем Государственного совета». Роль Мордвинова в вопросе о чернышевском майорате освещена мемуаристом точно.

С. 421. *...дочь.*— Софья Никитична Муравьева (в замужестве — Бибикова; 1829—1892).

С. 422. *Шествие наше было радостное...*— Подробности перехода из Читы в Петровский завод см. в «Записках декабриста»: Розен, с. 242—245, 249—256. Этому событию посвящено стихотворение А. И. Одоевского «Что за кочевья чернеются...» (август 1830), см.: А. И. Одоевский. Полн. собр. стихотворений. Л., 1958, с. 135—136 и примеч. к нему.

С. 424. *...знает ли он, за что мы сосланы...*— В «Записках декабриста» сходный эпизод с несколько иными акцентами связывается с М. С. Луниным: «Однажды вздумал он показать себя (Лунин ехал в закрытой повозке и постоянно осаждался любопытствующими бурятами.— *А. Н.*) и спросил, что им надо? Переводчик объявил от имени предстоящих, что желает его видеть и узнать, за что он сослан. «Знаете ли вы вашего Тайшу?» — «Знаем». Тайша есть главный местный начальник бурят. «А знаете ли вы Тайшу, который над

вашим Тайшою и может посадить его в мою повозку или сделать ему угей (конец)?» — «Знаем».— «Ну, так знайте, что я хотел сделать угей его власти, вот за что я сослан».— Розен, с. 244.

С. 426. *...смертью ... А. Г. Муравьевой.*— А. Г. Муравьева умерла 22 ноября 1832 г.

С. 437. *Он приходился племянником гр. В. П. Кочубея...*— По свидетельству М. В. Юзефовича, родство Краснокутского с Кочубеем было гораздо более дальним.

С. 446. *Вы назначены солдатом на Кавказ...*— После встречи с декабристами в письме на имя Николая I от 6 июня 1837 г. (см.: Русская старина, 1902, № 4, с. 98—99) наследник ходатайствовал о смягчении участи ссыльных. 21 июня был издан указ об определении ссыльных рядовыми на Кавказ. См. также: Розен, с. 318; Воспоминания и рассказы, т. I, с. 396.

С. 448. *Одоевский* — Александр Иванович Одоевский (1802—1839). Его отношения с А. С. Грибоедовым охарактеризованы в письме последнего к В. Ф. Одоевскому от 10 июня 1825 г. См.: А. С. Грибоедов. Сочинения М., 1953, с. 533. Грибоедов неоднократно ходатайствовал за Одоевского, в том числе — в последнем своем письме (от 3 декабря 1828 г.) к И. Ф. Паскевичу; см. там же, с. 605. В характеристике Одоевского, данной Лорером, присутствует скрытая цитата из пушкинского послания к Чаадаеву (1818).

С. 449. *...поляком Янушкевичем...*— Адольф Михайлович Янушкевич (1803—1857), сосланный в Сибирь за участие в Польском патриотическом обществе. Обращенное к нему стихотворение Одоевского написано 30 августа 1836 г.; известен ряд разночтений. См.: А. И. Одоевский. Ук. соч., с. 167, 231.

С. 450. *...вшестером...*— Описка Лорера, отмеченная Юзефовичем. На Кавказ отправлялось 8 декабристов: В. Н. Лихарев, Н. И. Лорер, М. А. Назимов, М. М. Нарышкин, А. И. Одоевский, А. Е. Розен, И. Ф. Фохт, А. И. Черкасов.

Гумбольдт — Имеется в виду немецкий географ, естествоиспытатель и путешественник Александр фон Гумбольдт (1769—1859).

С. 451. *...скончался от простуды в том же году...*— Лорер ошибается: С. М. Семенов умер в 1852 г. Более достоверный рассказ о Семенове составлен П. Н. Свистуновым. См. Лорер, с. 390.

С. 453. *Недолго старик пережил свое детище.*— Ошибка Лорера: И. С. Одоевский умер 6 апреля, а А. И. Одоевский — 10 октября 1839 г.

...умилительные стихи... Лермонтова...— Стихотворение «Памяти А. И. О<доевског>о» (1839).

С. 460. *...описал мне смерть его в горах...*— А. А. Бестужев (Марлинский) был убит 7 июня 1837 г. во время высадки русских войск на мысе Адлер. Ошибка Лорера (или его информатора) отмечена Юзефовичем. Романтическая фигура Марлинского постоянно порождала различные слухи и легенды о его жизни и гибели.

С. 462. *...о назначении на место его Раевского.*— Ошибка Лорера, отмеченная Юзефовичем: «Раевский никогда не был назначен на место Вельяминова. Он никогда не был начальником всей Кавказской линии, как Вельяминов».

...брате его Александре, друге Пушкина.— Замечание Юзефовича: «Другом Пушкина был Николай, а не Александр. Последнего Пушкин уважал, но боялся — Александр Раевский держал его в большом к себе решпекте». Свидетельство Юзефовича в целом справедливо,

хотя и упрощает характер сложных взаимоотношений Пушкина и А. Н. Раевского. Подробнее см.: В. Я. Лакшин. «Спутник странный» (Александр Раевский в судьбе Пушкина и роман «Евгений Онегин»).— В его кн.: Биография книги. М., 1979, с. 72—223; Ю. М. Лотман. Александр Сергеевич Пушкин. Биография писателя. Л., 1982, с. 101—104.

С. 469. *Однажды он получает от Пущина из Москвы письмо...*— По мнению современного исследователя, письмо Пущина было, вероятно, отправлено перед отъездом последнего из Москвы в Петербург (5—6 декабря 1825 г.). План незаконного приезда Пушкина в Петербург (предположительно, на квартиру К. Ф. Рылеева, далекого от светского круга) мог обсуждаться во время визита Пущина в Михайловское 11 января 1825 г. Ситуация междуцарствия делала этот замысел легко осуществимым. Подробнее см.: Н. Я. Эйдельман. Пушкин и декабристы. М., 1979, с. 281—283. Эпизод с несостоявшимся отъездом Пушкина из Михайловского зафиксирован в статье хорошо информированного друга поэта С. А. Соболевского «Таинственные приметы в жизни Пушкина» (опубл.— 1870); см. А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1974, т. 2, с. 7.

В 1826 году в одно прекрасное утро...— Фельдъегерь, посланный за Пушкиным, выехал из Москвы 28 августа 1826 г., прибыл в Михайловское в ночь на 4 сентября. 4 сентября Пушкин выезжает, а 8 — прибывает в Москву, где в тот же день получает аудиенцию у Николая I. Подробный анализ ситуации и беседы царя с Пушкиным см.: Н. Эйдельман. Пушкин. Из биографии и творчества. 1826—1837. М., 1987, с. 9—64.

С. 472. *...получил начальствование над войсками на Кавказской линии.*— Н. Н. Раевский был в опале с декабря 1829 г. До весны 1831 г. он, несмотря на приказ о переводе на службу в Россию, фактически командовал Нижегородским драгунским полком (полк сдан полковнику К. М. Доброву 10 марта 1831 г.). В 1831-37 гг. Раевский официально числился по кавалерии, затем при начальнике 4-й гусарской дивизии, затем — командиром 2-й бригады 2-й конно-егерской дивизии. В 1837 он был назначен начальником отделения Черноморской береговой линии (но не всей линии). Ошибки Лорера оговорены в замечании Юзефовича, тоже содержащем неточности.

...флигель-адъютанта N.— Н. А. Бутурлин. Его имя названо в замечании Юзефовича, подробнее излагающего этот сюжет. См.: Лорер, с. 208.

С. 474. *«Верни мне молодость назад»* — Слова Поэта из «Пролога в театре» к «Фаусту» И.-В. Гете. Расстановка слов в немецкой цитате у Лорера произвольна.

С. 477. *...в последней безумной войне.*— Имеется в виду Крымская война (1853—1856), закончившаяся поражением России. Упомянутые выше выдающиеся флотоводцы активно участвовали в героической обороне Севастополя (1854—1855). Поражение в Крымской войне обостренно переживалось русской общественностью, в том числе и декабристами.

С. 508. *Цебриков* — о Цебрикове см. в примеч. к «Запискам декабриста» А. Е. Розена (с. 557).

С. 510. *Лермонтов* — Знакомство Лермонтова с Лорером произошло в конце 1840 г. Сводку данных об их взаимоотношениях см.: Лермонтовская энциклопедия. М., 1981, с. 266—267 (статья

Л. И. Кузьминой). К моменту встречи Лорера с Лермонтовым, вопреки мнению мемуариста, были уже опубликованы в «Отечественных записках» «Бэла», «Фаталист» и «Тамань», вышло первое отдельное издание «Героя нашего времени».

Дуэль Лермонтова с Барантом, послужившая причиной его второй ссылки, состоялась 18 февраля 1840 г.

Отношения Лорера с декабристами (исключением была его дружба с А. И. Одоевским) были осложнены конфликтом поколений. «Люди двадцатых годов», что видно и по запискам Лорера, не всегда могли понять людей, духовно сформировавшихся после 1825 г. См. об этом: Н. Эйдельман. Эфирная поступь.— В его кн.: Обреченный отряд. М., 1987, с. 486—492.

«Подражание Иисусу Христу» — сочинение средневекового философа Фомы Кемпийского (ок. 1441 г.). Неоднократно выходило в русском переводе и пользовалось большой популярностью.

С. 514. *...которые я прочел.*— На полях рукописи — примечание Лорера: «Письмо от Генерального штаба поручика Зальстет». Ниже Зальстет именуется капитаном.

С. 520. *«...из Зимнего дворца сделали съезжую».*— Выше (с. 363). Лорер приписал эту остроту себе.

С. 521. *Давайте чаши...*— Неточно цитируется стихотворение Пушкина «Кто из богов мне возвратил...» (вольный перевод оды Горация «К Помпею Вару», 1835).

С. 526. *Какая смесь одежд, лиц, состояний!* — Вольная цитата из поэмы Пушкина «Братья разбойники», Ср.: «Какая смесь одежд и лиц. / / Племен, наречий, состояний!»

С. 530. *«и тихо край земли светлеет...»* — Цитата из «Евгения Онегина» (гл. II, строфа XXVIII).

Дуэль его с Мартыновым уже была решена...— Ссора Лермонтова с Мартыновым произошла 13 июля 1841 г., дуэль — 15 июля. Сводку данных о дуэли Лермонтова с Мартыновым см. в статье Л. М. Аринштейна и В. А. Мануйлова: Лермонтовская энциклопедия. М., 1981, с. 150—154.

С. 536. *Княгиня Гагарина, урожденная Поджио.*— Ошибка Лорера, исправленная П. Н. Свистуновым: «Бороздина. <Она> была в первый раз замужем за Поджио». Мария Андреевна Бороздина была женой декабриста И. В. Поджио, за мужем в Сибирь не поехала и, расторгнув свой первый брак, вышла замуж за князя А. И. Гагарина. Аналогично поступила ее сестра Екатерина Андреевна, бывшая замужем за декабристом В. Н. Лихаревым. Последний тяжело пережил измену жены и сохранил чувство к ней до смерти. Ср. выше (с. 525) о портрете, найденном среди вещей убитого Лихарева.

С. 539. *...племянница моя сожгла их...*— А. О. Смирнова-Россет оставила довольно значительное мемуарное наследие, породившее ряд споров о мере его подлинности. См.: А. О. Смирнова. Записки, дневник, воспоминания, письма. М., 1929; А. О. Смирнова-Россет. Автобиография. Неизданные материалы. М., 1931. См. также: С. В. Житомирская. К истории мемуарного наследия А. О. Смирновой-Россет.— В кн.: Пушкин. Исследования и материалы. Л., 1979, т. IX, с. 329—344.

С. 540. *Клейнмихель* — Здесь примечание П. И. Бартенева: «Он был тогда дежурным генералом Главного штаба».

Но вот принесли «Инвалид»...— В газете «Русский инвалид» публиковались приказы по армии, в том числе — об отставке.

С. 543. *...создания Аракчеева — графа Витта...*— Отношения Витта с Аракчеевым были конфликтны. Отмечено М. В. Юзефовичем.

...из декабристов теперь нет ни одного в Сибири и на Кавказе.— В 1867 г. еще был жив оставшийся в Петровском заводе по своей воле И. И. Горбачевский.

С. 545. *...нашлась одна достойная женщина...*— Это место вызвало возражения П. Н. Свистунова. «Две дочери княгини Трубецкой были воспитаны в Иркутском институте, а старшая дома немкой-гувернанткой. По выпуске младшей из института при ней была гувернантка-полька, но не англичанка».

Все что знавал, все что любил...— Неточная цитата из поэмы Байрона «Шильонский узник» в переводе В. А. Жуковского (гл. XII).

А. НЕМЗЕР

СОДЕРЖАНИЕ

М 49 Мемуары декабристов / Сост., вступ. ст. и ком. А. С. Немзера.— М.: Правда, 1988.— 576 с. 8 л. илл.

В сборник входят воспоминания декабристов — участников Северного и Южного обществ, Общества соединенных славян. В мемуарах освещены этапы декабристского движения, ключевые события восстания 14 декабря 1825 года и восстания Черниговского полка, суд и следствие над декабристами, пребывание их в крепости, на каторге и в ссылке.

М $\frac{4702010100—1601}{080(02)—88}$ 1601—88 84 Р 1

МЕМУАРЫ ДЕКАБРИСТОВ

Составитель
Андрей Семенович Немзер

Редактор
Т. В. Лодяная

Оформление художника
С. Н. Оксмана

Художественный редактор
И. С. Захаров

Технический редактор
Е. Н. Щукина

ИБ 1601

Сдано в набор 28.12.87. Подписано к печати 13.06.88.
Формат 84Х108[1]/32. Бумага книжно-журнальная.
Гарнитура «Литературная». Печать высокая.
Усл. печ. л. 31,08. Усл. кр.-отт. 32,34. Уч.-изд. л. 33,48.
Тираж 500 000 экз. (2-й завод: 210 001—355 000).
Заказ № 68. Цена 2 р. 30 к.

Набрано и сматрицировано в ордена Ленина и ордена
Октябрьской Революции типографии имени В. И. Ленина
издательства ЦК КПСС «Правда». 125865, ГСП. Москва,
А-137, улица «Правды», 24.

Отпечатано в типографии издательства «Радянська Донеччина»
Донецкого обкома Компартии Украины. 340118, Донецк,
Киевский проспект, 48.



ВОССТАНИЕ НА СЕНАТСКОЙ ПЛОЩАДИ
В ПЕТЕРБУРГЕ 14 ДЕКАБРЯ 1825 ГОДА
Акварель К. Кольма. 1830-е гг.



С. И. МУРАВЬЕВ-АПОСТОЛ
Акварель Н. Уткина. 1815.



П. И. ПЕСТЕЛЬ
Портрет работы неизвестного художника. 1820-е гг.



К. Ф. РЫЛЕЕВ

Гравюра неизвестного художника. 1820-е гг.



С. П. ТРУБЕЦКОЙ

Акварель Н. Бестужева. 1839.



Н. И. ЛОРЕР
Акварель Н. Бестужева. 1832.



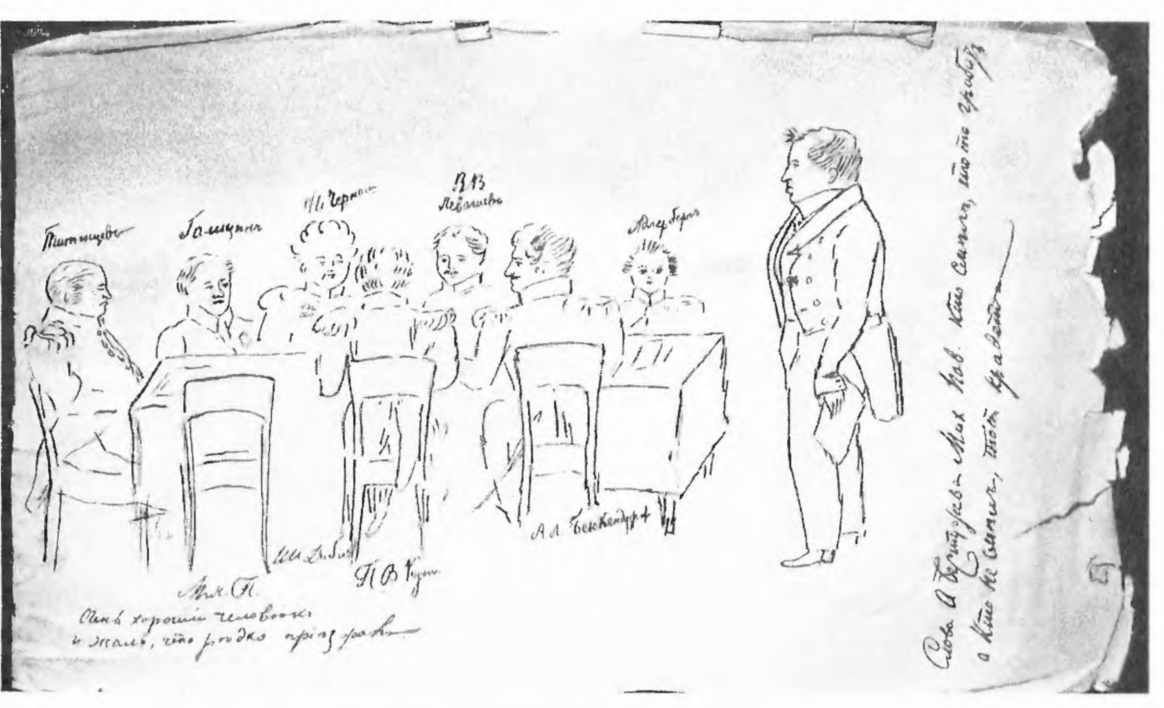
И. И. ГОРБАЧЕВСКИЙ
Акварель Н. Бестужева. 1837.



А. Е. РОЗЕН
Акварель Н. Бестужева. 1832.

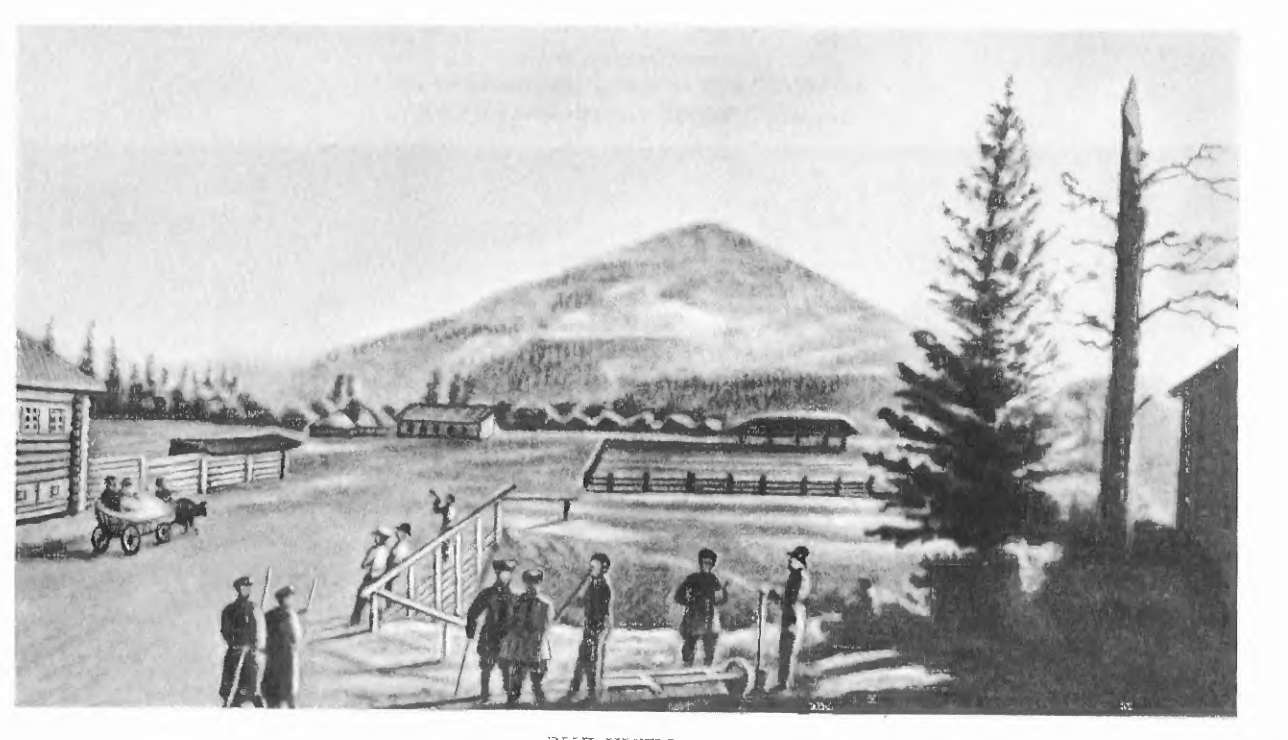


А. И. ЯКУБОВИЧ
Акварель Н. Бестужева. 1831.



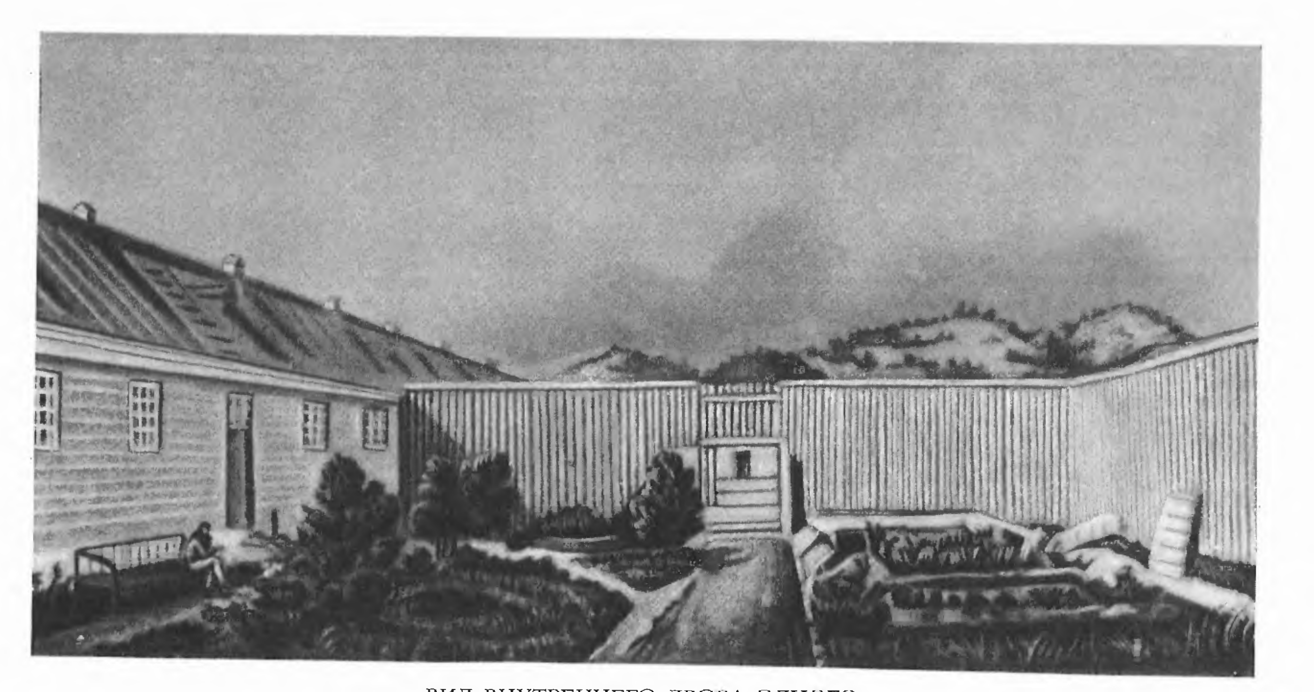
ЗАСЕДАНИЕ СЛЕДСТВЕННОЙ КОМИССИИ

Рис. В. Адлерберга. 1826.

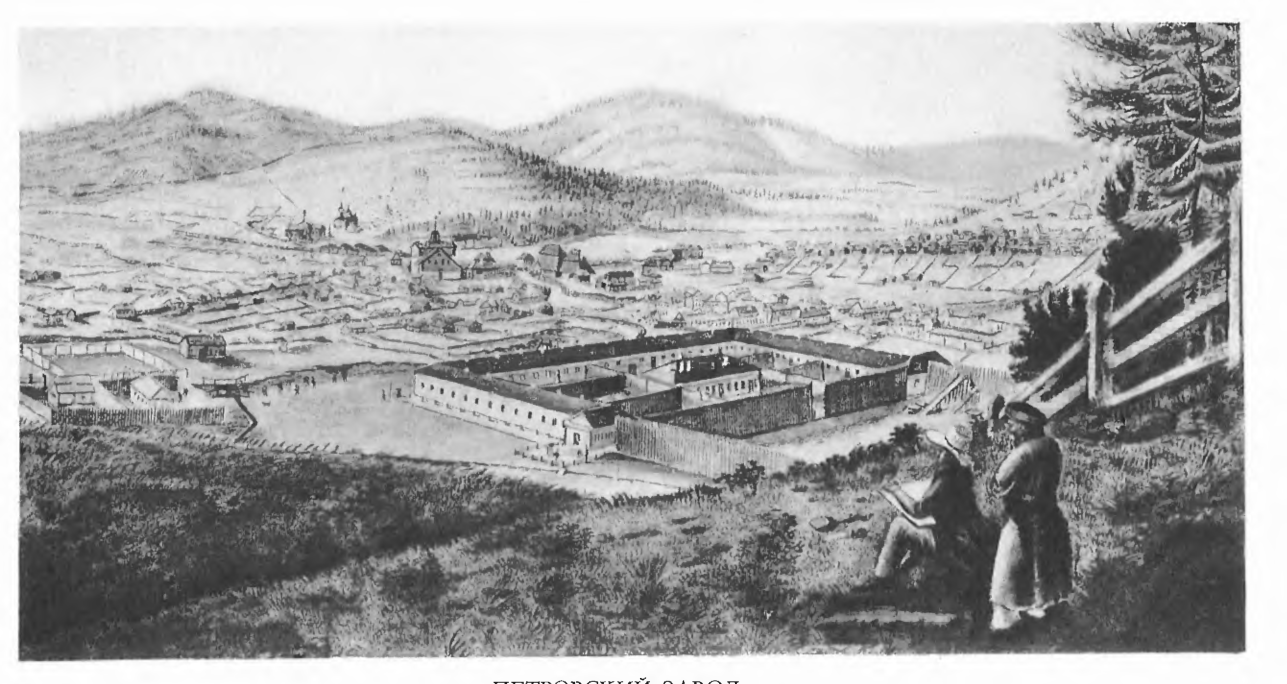


ВИД ЧИТЫ

Акварель Н. Бестужева. 1829—1830 г.



ВИД ВНУТРЕННЕГО ДВОРА ОДНОГО
ИЗ ОТДЕЛЕНИЙ ПЕТРОВСКОЙ ТЮРЬМЫ
Акварель Н. Бестужева. 1832.



ПЕТРОВСКИЙ ЗАВОД –
МЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДЕКАБРИСТОВ
Акварель Н. Бестужева. 1831.



А. И. ОДОЕВСКИЙ
Акварель Н. Бестужева. 1833.



Н. П. РЕПИН
Акварель Н. Бестужева. 1831.



Н. А. БЕСТУЖЕВ
Автопортрет. Гуашь. 1825.



М. А. БЕСТУЖЕВ
Акварель Н. Бестужева. 1837—1839 гг.



А. А. БЕСТУЖЕВ-МАРЛИНСКИЙ
Акварель Н. Бестужева (копия с портрета, помещенного в книге «Сто русских литераторов»). 1839.



Д. А. ЩЕПИН-РОСТОВСКИЙ
Акварель Н. Бестужева. 1839.



А. Н. СУТГОФ
Акварель Н. Бестужева. 1839.

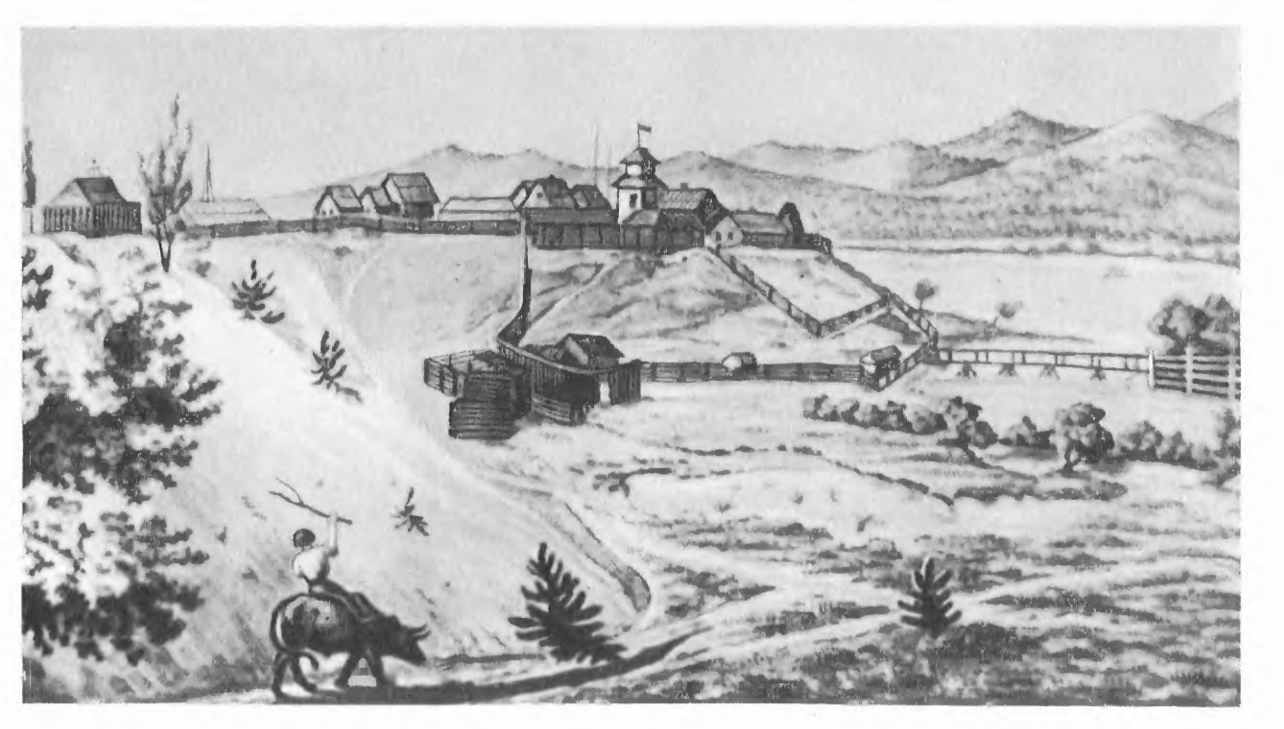


Н. А. ПАНОВ
Акварель Н. Бестужева. 1839.



КАМЕРА ДЕКАБРИСТОВ В ЧИТИНСКОМ ОСТРОГЕ

Акварель Н. Репина. 1829.



ВИД ЧИТЫ

Акварель Н. Бестужева. 1829—1830 гг.



«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»
Обложка альманаха А. И. Герцена и Н. П. Огарева.